



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

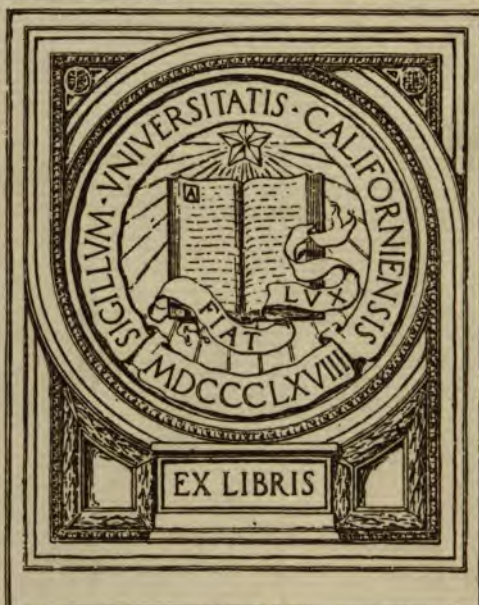
We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

· FROM · THE · LIBRARY · OF ·
· PAUL · N · MILIUKOV ·



EX LIBRIS

ЭСТЕТИКА И ПОЭЗИЯ

—Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности.—
«О поэзіи», Аристотеля.—«Пѣсни разныхъ народовъ».—
Критическія статьи о русской поэзіи: Огаревъ, Бенедиктовъ,
Щербина, Плещеевъ.—Лессингъ, его время, его жизнь и дѣя-
тельность.—

(„Современникъ“ 1854—1861 гг.).

ИЗДАНИЕ

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКАГО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія и Литографія В. А. Тиханова. Садовая № 27.
1893.

к Эстетика и поэзия

ЭСТЕТИКА И ПОЭЗИЯ

— Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности.—
«О поэзіи», Аристотеля.— «Пѣсни разныхъ народовъ». —
Критическія статьи о русской поэзіи: Огаревъ, Бенедиктовъ,
Щербина, Плещеевъ.— Лессингъ, его время, его жизнь и дѣя-
тельность.—

(„Современникъ“ 1854—1861 гг.).

ИЗДАНИЕ

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКАГО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія и Литографія В. А. Тиханова. Садовая № 27.

1893.

11100200

70 VIBU
A1180711A0

ЭСТЕТИЧЕСКІЯ ОТНОШЕНІЯ ИСКУССТВА КЪ ДѢЙСТВИ- ТЕЛЬНОСТИ *).

Всѣ сферы духовной дѣятельности подчинены закону восхожденія отъ непосредственности къ посредственности. Вслѣдствіе этого закона идея, вполнѣ постигаемая только мышленіемъ (познаваніе подѣ формою посредственности), первоначально является духу подѣ формою непосредственности или подѣ формою воззрѣнія. Потому человѣческому духу кажется, что отдѣльное существо, ограниченное предѣлами пространства и времени, совершенно соотвѣтствуетъ своему понятію, кажется, что въ немъ вполнѣ осуществилась опредѣленная идея, а въ этой опредѣленной идеѣ вполнѣ осуществилась идея вообще. Такое воззрѣніе предмета есть призракъ (ist ein Schein) въ томъ отношеніи, что идея никогда не проявляется въ отдѣльномъ предметѣ вполнѣ; но подѣ этимъ призракомъ скры-

*) Настоящій трактатъ ограничивается общими выводами изъ фактовъ, подтверждая ихъ опять только общими указаніями на факты. Вотъ первый пунктъ, относительно котораго должно дать объясненіе. Нынѣ вѣкъ монографій, и сочиненіе можетъ подвергнуться упреку въ несовременности. Удаленіе изъ него всѣхъ специальныхъ изслѣдованій можетъ быть сочтено за пренебреженіе къ нимъ или за слѣдствіе мнѣнія, что общіе выводы могутъ обойтись безъ подтвержденія фактами. Но такое заключеніе основывалось бы только на внѣшней формѣ труда, а не на внутреннемъ его характерѣ. Реальное направленіе мыслей, развиваемыхъ въ немъ, уже достаточно свидѣтельствуетъ, что онѣ возникли на почвѣ реальности и что авторъ вообще придаетъ очень мало значенія для нашего времени фантастическимъ полетамъ даже и въ области искусства, не только въ дѣлѣ науки. Сущность понятій, излагаемыхъ авторомъ, ругается за то, что онъ желалъ бы, еслибъ могъ, привести въ своемъ сочиненіи многочисленные факты, изъ которыхъ выведены его мнѣнія. Но еслибъ онъ рѣшился слѣдовать своему желанію, объемъ труда далеко превзошелъ бы

ваётся истина, потому что въ въ опредѣленной идеѣ дѣйствительно осуществляется до нѣкоторой степени общая идея, а опредѣленная идея осуществляется до нѣкоторой степени въ отдѣльномъ предметѣ. Этотъ скрывающій подъ собою истину призракъ проявленія идеи вполне въ отдѣльномъ существѣ есть прекрасное (das Schöne).

Такъ развивается понятіе прекраснаго въ господствующей эстетической системѣ. Изъ этого основнаго воззрѣнія слѣдуютъ дальнѣйшія опредѣленія: прекрасное есть идея въ формѣ ограниченнаго проявленія; прекрасное есть отдѣльный чувственный предметъ, который представляется чистымъ выраженіемъ идеи, такъ что въ идеѣ не остается ничего, что не проявлялось бы чувственно въ этомъ отдѣльномъ предметѣ, а въ отдѣльномъ чувственномъ предметѣ нѣтъ ничего, что не было бы чистымъ выраженіемъ идеи. Отдѣльный предметъ въ этомъ отношеніи называется образомъ (das Bild). Итакъ прекрасное есть совершенное соотвѣтствіе, совершенное тожество идеи съ образомъ.

Я не буду говорить о томъ, что основныя понятія, въ зависимости отъ которыхъ выставлено такое воззрѣніе на прекрасное, теперь уже признаны не выдерживающими критики; не буду говорить и о томъ, что прекрасное въ этой системѣ понятій является только «призракомъ», проистекающимъ отъ непроницательности

опредѣленныя ему границы. Авторъ думаетъ однако, что общихъ указаній, имъ приводимыхъ, достаточно, чтобы напомнить читателю десятки и сотни фактовъ, говорящихъ въ пользу мнѣній, излагаемыхъ въ этомъ трактатѣ, и потому надѣется, что краткость объясненій не есть бездоказательность.

Но зачѣмъ же авторъ избралъ такой общій, такой обширный вопросъ, какъ эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности, предметомъ своего изслѣдованія? Почему не избралъ онъ какого-нибудь спеціальнаго вопроса, какъ это большею частью нынѣ дѣлается?

По силамъ ли автора задача, которую хотѣлъ онъ объяснить, рѣшать это, конечно, не ему самому. Но предметъ, привлечшій его вниманіе, имѣетъ нынѣ полное право обращать на себя вниманіе всѣхъ людей, занимающихся эстетическими вопросами, то есть всѣхъ, интересующихся искусствомъ, поэзіею, литературою.

Автору кажется, что бесполезно толковать объ основныхъ вопросахъ науки только тогда, когда нельзя сказать о нихъ ничего новаго и основательнаго, когда не приготовлена еще возможность видѣть, что наука измѣняетъ свои прежнія воззрѣнія, и показать, въ какомъ смыслѣ, по всей вѣроятности, должны они измѣниться. Но когда выработаны матеріалы для новаго воззрѣнія на

взгляда, не просвѣтленнаго философскимъ мышленіемъ, предъ которымъ исчезаетъ кажущаяся полнота проявленія идеи въ отдѣльномъ предметѣ, такъ что чѣмъ выше развито мышленіе, тѣмъ болѣе исчезаетъ предъ нимъ прекрасное, и наконецъ для вполне развитаго мышленія есть только истинное, а прекраснаго нѣтъ; не буду опровергать этого фактомъ, что на самомъ дѣлѣ развитіе мышленія въ человѣкѣ нисколько не разрушаетъ въ немъ эстетическаго чувства: все это уже было высказано много разъ. Какъ слѣдствіе и часть метафизической системы, изложенное выше понятіе о прекрасномъ падаетъ вмѣстѣ съ нею. Но можетъ быть ложна система, а частная мысль, въ нее вошедшая, можетъ, будучи взята самостоятельно, оставаться справедливою, утверждаясь на своихъ особенныхъ основаніяхъ. Поэтому остается еще показать, что господствующее понятіе о прекрасномъ не выдерживаетъ критики, будучи взято и внѣ связи съ унавшими нынѣ метафизическими системами.

«Прекрасно то существо, въ которомъ вполне выражается идея этого существа» въ переводѣ на простой языкъ будетъ значить: «прекрасно то, что превосходно въ своемъ родѣ; то, лучшее чего нельзя себѣ вообразить въ этомъ родѣ». Совершенно справедливо, что предметъ долженъ быть превосходенъ въ своемъ родѣ для того, чтобы называться прекраснымъ. Такъ, напр., лѣсъ можетъ быть прекрасенъ, но только «хорошій» лѣсъ, высокій, прямой, густой, однимъ словомъ, превосходный лѣсъ: коряжникъ, жалкій, низенькій, рѣдкій лѣсъ, не можетъ быть прекрасенъ. Роза прекрасна; но

основные вопросы нашей спеціальной науки, и можно и должно высказать эти основныя идеи.

Уваженіе къ дѣйствительной жизни, недовѣрчивость къ апріорическимъ хотя бы и пріятнымъ для фантазіи, гипотезамъ—вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ. Автору кажется, что необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетическія убѣжденія, если еще стоить говорить объ эстетикѣ.

Авторъ не менѣе, нежели кто-нибудь, признаетъ необходимость спеціальныхъ изслѣдованій; но ему кажется, что отъ времени до времени необходимо также обозрѣвать содержаніе науки съ общей точки зрѣнія; кажется, что если важно собирать и изслѣдовать факты, то не менѣе важно и стараться проникнуть въ смыслъ ихъ. Мы всѣ признаемъ высокое значеніе исторіи искусства, особенно исторіи поэзіи; итакъ не могутъ не имѣть высокаго значенія и вопросы о томъ, что такое искусство, что такое поэзія.

1855.

Примѣч. автора.

1*

только «хорошая», свѣжая, неошипанная роза. Однимъ словомъ, все прекрасное превосходно въ своемъ родѣ. Но не все превосходное въ своемъ родѣ прекрасно; кротъ можетъ быть превосходнымъ экземпляромъ породы кротовъ, но никогда не покажется онъ «прекраснымъ»; точно то же надобно сказать о большей части амфибій, многихъ породахъ рыбъ, даже многихъ птицахъ: чѣмъ лучше для естествоиспытателя животное такой породы, т. е. чѣмъ полнѣе выражается въ немъ его идеи, тѣмъ оно некрасивѣе съ эстетической точки зрѣнія. Чѣмъ лучше въ своемъ родѣ болото, тѣмъ хуже оно въ эстетическомъ отношеніи. Не все превосходное въ своемъ родѣ прекрасно; потому что не всѣ роды предметовъ прекрасны. Опредѣленіе прекраснаго какъ полного соотвѣтствія отдѣльнаго предмета съ его идеею слишкомъ широко. Оно высказываетъ только, что въ тѣхъ разрядахъ предметовъ и явленій, которые могутъ достигать красоты, прекрасными кажутся лучшіе предметы и явленія; но не объясняетъ, почему самые разряды предметовъ и явленій раздѣляются на такіе, въ которыхъ является красота, и другіе, въ которыхъ мы не замѣчаемъ ничего прекраснаго.

Но съ тѣмъ вмѣстѣ оно и слишкомъ тѣсно. «Прекраснымъ кажется то, что кажется полнымъ осуществленіемъ родовой идеи» значитъ также: «надобно, чтобы въ прекрасномъ существѣ было все, что только можетъ быть хорошаго въ существахъ этого рода; надобно, чтобы нельзя было найти ничего хорошаго въ другихъ существахъ того же рода, чего не было бы въ прекрасномъ предметѣ». Этого мы въ самомъ дѣлѣ и требуемъ отъ прекрасныхъ явленій и предметовъ въ тѣхъ царствахъ природы, гдѣ нѣтъ разнообразія типовъ одного и того же рода предметовъ. Такъ, напр., у дуба можетъ быть одинъ только характеръ красоты: онъ долженъ быть высокъ и густъ; эти качества всегда находятся въ прекрасномъ дубѣ, и ничего другаго хорошаго не найдется въ другихъ дубахъ. Но уже въ животныхъ является разнообразіе типовъ одной породы, какъ скоро дѣлаются они домашними. Еще болѣе такого разнообразія типовъ красоты въ человѣкѣ, и мы даже никакъ не можемъ представить себѣ, чтобы всѣ оттѣнки человѣческой красоты совмѣщались въ одномъ человѣкѣ.

Выраженіе: «прекраснымъ называется полное проявленіе идеи въ отдѣльномъ предметѣ» вовсе не опредѣленіе прекраснаго. Но въ немъ есть справедливая сторона—то, что «прекрасное» есть отдѣль-

ный живой предметъ, а не отвлеченная мысль; есть и другой справедливый намекъ на свойство истинно художественныхъ произведений искусства; они всегда имѣютъ содержаніемъ своимъ что-нибудь интересное вообще для человѣка, а не для одного художника (намекъ этотъ заключается въ томъ, что идея—«нѣчто общее, дѣйствующее всегда и вездѣ»); отъ чего происходитъ это, увидимъ на своемъ мѣстѣ.

Совершенно другой смыслъ имѣетъ другое выраженіе, которое выставляютъ за тождественное съ первымъ: «прекрасное есть единство идеи и образа, полное сліяніе идеи съ образомъ»; это выраженіе говоритъ дѣйствительно о существенномъ признакѣ—только не идеи прекраснаго вообще, а того, что называется «мастерскимъ произведеніемъ» или художественнымъ произведеніемъ искусства: прекрасно будетъ произведеніе искусства дѣйствительно тогда только, когда художникъ передалъ въ произведеніи своемъ все то, что хотѣлъ передать. Конечно портретъ хорошъ только тогда, когда живописецъ сумѣлъ нарисовать совершенно того человѣка, котораго хотѣлъ нарисовать. Но «прекрасно нарисовать лицо» и «нарисовать прекрасное лицо» — двѣ совершенно различныя вещи. Объ этомъ качествѣ художественнаго произведенія придется говорить при опредѣленіи сущности искусства. Здѣсь же считаю излишнимъ замѣтить, что въ опредѣленіи красоты какъ единства идеи и образа,—въ этомъ опредѣленіи, имѣющемъ въ виду не прекрасное живой природы, а прекрасныя произведенія искусствъ, уже скрывается зародышъ или результатъ того направленія, по которому эстетика обыкновенно отдаетъ предпочтеніе прекрасному въ искусствѣ предъ прекраснымъ въ живой дѣйствительности.

Что же такое въ сущности прекрасное, если нельзя опредѣлить его какъ «единство идеи и образа» или какъ «полное проявленіе идеи въ отдѣльномъ предметѣ»?

Новое строится не такъ легко, какъ разрушается старое, и защищать не такъ легко, какъ нападать; потому очень можетъ быть, что мнѣніе о сущности прекраснаго, кажущееся мнѣ справедливымъ, не для всѣхъ покажется удовлетворительнымъ; но если эстетическія понятія, выводимыя изъ господствующихъ нынѣ воззрѣній на отношенія человѣческой мысли къ живой дѣйствительности, еще остались въ моемъ изложеніи неполны, односторонни, или шатки,

то это, я надѣюсь, недостатки не самыхъ понятій, а только моего изложенія.

Ощущеніе, производимое въ человѣкѣ прекраснымъ, — свѣтлая радость, похожая на ту, какую наполняетъ насъ присутствіе милаго для насъ существа *). Мы безкорыстно любимъ прекрасное, мы любимся, радуемся на него, какъ радуемся на милого намъ человѣка. Изъ этого слѣдуетъ, что въ прекрасномъ есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно быть нѣчто чрезвычайно многообъемлющее, нѣчто способное принимать самыя разнообразныя формы, нѣчто чрезвычайно общее; потому что прекрасными кажутся намъ предметы чрезвычайно разнообразные, существа совершенно непохожія другъ на друга.

Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свѣтѣ—жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось бы ему вести, какую любить онъ; потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чѣмъ не жить: все живое уже по самой природѣ своей ужасается гибели, небытія и любить жизнь. И кажется, что опредѣленіе:

«прекрасное есть жизнь»;

«прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни», —

кажется, что это опредѣленіе удовлетворительно объясняетъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго. Прослѣдимъ главныя проявленія прекраснаго въ различныхъ областяхъ дѣйствительности, чтобы провѣрить это.

«Хорошая жизнь», «жизнь, какъ она должна быть», у простаго народа состоитъ въ томъ, чтобы сытно ѣсть, жить въ хорошей избѣ, спать вдоволь; но вмѣстѣ съ этимъ у поселянина въ понятіи

*) Я говорю о томъ, что прекрасно по своей сущности, а не по тому только, что прекрасно изображено искусствомъ; о прекрасныхъ предметахъ и явленіяхъ, а не о прекрасномъ ихъ изображеніи въ произведеніяхъ искусства: художественное произведеніе, пробуждая эстетическое наслажденіе своими художественными достоинствами, можетъ возбуждать тоску, даже отвращеніе сущностью изображаемаго.

«жизнь» всегда заключается понятіе о работѣ: жить безъ работы нельзя; да и скучно было бы. Слѣдствіемъ жизни въ довольствѣ при большой работѣ, не доходящей однако до изнуренія силъ, у молодого поселянина или сельской дѣвушки будетъ чрезвычайно свѣжій цвѣтъ лица и румянецъ во всю щеку—первое условіе красоты по простонароднымъ понятіямъ. Работая много, поэтому будучи крѣпка сложеніемъ, сельская дѣвушка при сытной пищѣ будетъ довольно плотна—это также необходимое условіе красавицы сельской: свѣтская «полувоздушная» красавица кажется поселянину рѣшительно «невзрачною», даже производить на него непріятное впечатлѣніе; потому что онъ привыкъ считать «худобу» слѣдствіемъ болѣзненности или «горькой доли». Но работа не дастъ разжирѣть: если сельская дѣвушка толста, это родъ болѣзненности, знакъ «рыхлага» сложенія, и народъ считаетъ большую полноту недостаткомъ; у сельской красавицы не можетъ быть маленькихъ ручекъ и ножекъ, потому что она много работаетъ—объ этихъ принадлежностяхъ красоты и не упоминается въ нашихъ пѣсняхъ. Однимъ словомъ, въ описаніяхъ красавицы въ народныхъ пѣсняхъ не найдется ни одного признака красоты, который не былъ бы выраженіемъ цвѣтущаго здоровья и равновѣсія силъ въ организмѣ, всегдашняго слѣдствія жизни въ довольствѣ при постоянной и нешуточной, но нечрезмѣрной работѣ. Совершенно другое дѣло свѣтская красавица: уже нѣсколько поколѣній предки ея жили не работая руками; при бездѣйственномъ образѣ жизни, крови льется въ конечности мало; съ каждымъ новымъ поколѣніемъ мускулы рукъ и ногъ слабѣютъ, кости дѣлаются тоньше; необходимымъ слѣдствіемъ всего этого должны быть маленькія ручки и ножки—онѣ признакъ такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высшихъ классовъ общества—жизни безъ физической работы; если у свѣтской женщины большія руки и ноги, это признакъ или того, что она дурно сложена, или того, что она не изъ старинной хорошей фамиліи. Поэтому же самому у свѣтской красавицы должны быть маленькія ушки. Мигрень, какъ извѣстно, интересная болѣзнь—и не безъ причины: отъ бездѣйствія кровь остается вся въ среднихъ органахъ, приливаетъ къ мозгу; нервная система и безъ того уже раздражительна отъ всеобщаго ослабленія въ организмѣ; неизбѣжное слѣдствіе всего этого—продолжительныя головныя боли и разнаго рода нервическія разстройства; что дѣлать, и болѣзнь интересна, чуть не завидна,

когда она слѣдствіе того образа жизни, который намъ нравится. Здоровье, правда, никогда не можетъ потерять своей цѣны въ глазахъ человѣка; потому что и въ довольствѣ, и въ роскоши плохо жить безъ здоровья—вслѣдствіе того румянецъ на щекахъ и цвѣтушая здоровьемъ свѣжесть продолжаютъ быть привлекательными и для свѣтскихъ людей; но болѣзненность, слабость, вялость, томность также имѣютъ въ глазахъ ихъ достоинство красоты, какъ скоро кажутся слѣдствіемъ роскошно-бездѣйственного образа жизни. Блѣдность, томность, болѣзненность имѣютъ еще другое значеніе для свѣтскихъ людей: если поселянинъ ищетъ отдыха, спокойствія, то люди образованнаго общества, у которыхъ матеріальной нужды и физической усталости не бываетъ, но которымъ зато часто бываетъ скучно отъ бездѣлья и отсутствія матеріальныхъ заботъ, ищутъ «сильныхъ ощущеній, волненій, страстей», которыми придается цвѣтъ, разнообразіе, увлекательность свѣтской жизни, безъ того монотонной и безцвѣтной. А отъ сильныхъ ощущеній, отъ пылкихъ страстей человѣкъ скоро изнашивается: какъ же не очароваться томностью, блѣдностью красавицы, если томность и блѣдность ея служатъ признакомъ, что она «много жила?»

Мила живая свѣжесть цвѣта,
Знакъ юныхъ дней;
Но блѣдный цвѣтъ, тоски примѣта,
Еще милѣй.

Но если увлеченіе блѣдною, болѣзненною красотою признаковъ искусственной испорченности вкуса, то всякій истинно образованный человѣкъ чувствуетъ, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатлѣвается въ выраженіи лица, всего яснѣе въ глазахъ—потому выраженіе лица, о которомъ такъ мало говорится въ народныхъ пѣсняхъ, получаетъ огромное значеніе въ понятіяхъ о красотѣ, господствующихъ между образованными людьми; и часто бываетъ, что человѣкъ кажется намъ прекрасенъ только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза.

Я пересмотрѣлъ, сколько позволяло мѣсто, главныя принадлежности человѣческой красоты, и мнѣ кажется, что всё онѣ производятъ на насъ впечатлѣніе прекраснаго потому, что въ нихъ мы видимъ проявленіе жизни, какъ понимаемъ ее. Теперь надобно посмотреть противоположную сторону предмета, рассмотреть, отчего человѣкъ бываетъ некрасивъ.

Причину некрасивости общей фигуры человѣка всякій укажетъ въ томъ, что человѣкъ, имѣющій дурную фигуру, — «дурно сложенъ». Мы очень хорошо знаемъ, что уродливость—слѣдствіе болѣзни или пагубныхъ случаевъ, отъ которыхъ особенно легко уродуется человѣкъ въ первое время развитія. Если жизнь и ея проявленія—красота, очень естественно, что болѣзнь и ея слѣдствія—безобразіе. Но человѣкъ дурно сложенный — также уродъ, только въ меньшей степени, и причины «дурнаго сложенія» тѣ же самыя, которыя производятъ уродливость, только слабѣе ихъ. Если человѣкъ родится горбатымъ — это слѣдствіе несчастныхъ обстоятельствъ, при которыхъ совершалось первое его развитіе; но сутуловатость та же горбатость, только въ меньшей степени, и должна происходить отъ тѣхъ же самыхъ причинъ. Вообще худо сложенный человѣкъ — до нѣкоторой степени искаженный человѣкъ; его фигура говоритъ намъ не о жизни, не о счастливомъ развитіи, а о тяжелыхъ сторонахъ развитія, о неблагоприятныхъ обстоятельствахъ. Отъ общаго очерка фигуры переходимъ къ лицу. Черты его бываютъ нехороши или сами по себѣ или по своему выраженію. Въ лицѣ не нравится намъ «злое», «непріятное» выраженіе, потому, что злость — ядъ, отравляющій нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выраженію, а по самымъ чертамъ: черты лица некрасивы бываютъ въ томъ случаѣ, когда лицевыя кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы въ своемъ развитіи болѣе или менѣе носятъ отпечатокъ уродливости, т. е. когда первое развитіе человѣка совершалось въ неблагоприятныхъ обстоятельствахъ.

Совершенно излишне пускаться въ подробныя доказательства мысли, что красотою въ царствѣ животныхъ кажется человѣку то, въ чемъ выражается по человѣкообразнымъ понятіямъ жизнь свѣжая, полная здоровья и силъ. Въ млекопитающихъ животныхъ, организація которыхъ болѣе близкимъ образомъ сравнивается нашими глазами съ наружностью человѣка, прекраснымъ кажется человѣку округленность формъ, полнота и свѣжесть; кажется прекраснымъ граціозность движеній, потому что граціозными бываютъ движенія какого-нибудь существа тогда, когда оно «хорошо сложено», т. е. напоминаетъ человѣка хорошо сложенного, а не урода. Некрасивымъ кажется все «неуклюжее», то есть до нѣкоторой степени уродливое по нашимъ понятіямъ, вездѣ отыскивающимъ

сходство съ человѣкомъ. Формы крокодила, ящерицы, черепахи напоминаютъ млекопитающихъ животныхъ, но въ уродливомъ, искаженномъ, нелѣпомъ видѣ; потому ящерица, черепаха отвратительны. Въ лягушкѣ къ непріятности формы присоединяется еще то, что это животное покрыто холодною слизью, какою бываетъ покрытъ трупъ; отъ того лягушка дѣлается еще отвратительнѣе.

Не нужно подробно говорить и о томъ, что въ растеніяхъ намъ нравится свѣжесть цвѣта и роскошность, богатство формъ, обнаруживающія богатую силами, свѣжую жизнь. Увядающее растеніе нехорошо; растеніе, въ которомъ мало жизненныхъ соковъ, нехорошо.

Кромѣ того шумъ и движеніе животныхъ напоминаютъ намъ шумъ и движеніе человѣческой жизни; до нѣкоторой степени напоминаютъ о ней шелестъ растеній, качанье ихъ вѣтвей, вѣчно колеблющіеся листочки ихъ — вотъ другой источникъ красоты для насъ въ растительномъ и животномъ царствѣ; пейзажъ прекрасенъ тогда, когда оживленъ.

Проводить въ подробности по различнымъ царствамъ природы мысль, что прекрасное есть жизнь и, ближайшимъ образомъ, жизнь, напоминающая о человѣкѣ и о человѣческой жизни, я считаю излишнимъ потому, что есть уже нѣсколько курсовъ эстетики, нечуждыхъ мысли, что красоту въ природѣ составляетъ то, что напоминаетъ человѣка (или выражаясь ихъ терминологіею, предвѣщаетъ личность), утверждающихъ, что прекрасное въ природѣ имѣетъ значеніе прекраснаго только какъ намекъ на человѣка; потому, показавъ, что прекрасное въ человѣкѣ—жизнь, не нужно и доказывать, что прекрасное во всѣхъ остальныхъ областяхъ дѣйствительности, которое становится въ глазахъ человѣка прекраснымъ только потому, что служитъ намекомъ на прекрасное въ человѣкѣ и его жизни, также есть жизнь.

Но нельзя не прибавить, что вообще на природу смотреть человѣкъ глазами владѣльца, и на землѣ прекраснымъ кажется ему также то, съ чѣмъ связано счастье, довольство человѣческой жизни. Солнце и дневной свѣтъ очаровательно прекрасны между прочимъ потому, что въ нихъ источникъ всей жизни въ природѣ, и потому, что дневной свѣтъ благотворно дѣйствуетъ прямо на жизненные отправления человѣка, возвышая въ немъ органическую дѣятель-

ность, а чрезъ это благотворно дѣйствуетъ даже на расположеніе нашего духа.

Можно вообще сказать, что, читая въ новѣйшихъ эстетикахъ мѣста, гдѣ перечисляются различные виды и качества прекраснаго въ дѣйствительности, приходишь къ мысли, что, сознательно поставляя красоту въ полнотѣ проявленія идеи, бессознательно принимаютъ ихъ авторы, что полнота жизни и красота въ дѣйствительности тождественны. И не только эта мысль кажется лежащею бессознательно въ основаніи взгляда ихъ на прекрасное въ природѣ, но и въ самомъ развитіи общей идеи прекраснаго слово «жизнь» попадаетъ въ новѣйшихъ эстетическихъ сочиненіяхъ такъ часто, что наконецъ можно спросить, есть ли существенное различіе между нашимъ опредѣленіемъ: «прекрасное есть жизнь» и обыкновеннымъ опредѣленіемъ: «прекрасное есть единство идеи и образа»? Такой вопросъ рождается тѣмъ естественнѣе, что подъ «идею» въ новѣйшей эстетикѣ понимается общее понятіе, какъ оно опредѣляется всѣми подробностями своего дѣйствительнаго существованія, и потому между понятіемъ идеи и понятіемъ жизни (или, точнѣе, понятіемъ жизненной силы) есть прямая связь. Не есть ли предлагаемое нами опредѣленіе только переложеніе на обыкновенный языкъ того, что высказывается въ господствующемъ опредѣленіи терминологіею спекулятивной философіи?

Мы увидимъ, что есть существенная разница между тѣмъ и другимъ способомъ понимать прекрасное. Опредѣляя прекрасное какъ полное проявленіе идеи въ отдѣльномъ существѣ, мы необходимо прійдемъ къ выводу: «прекрасное въ дѣйствительности только призракъ, влагаемый въ нее нашею фантазіею»; изъ этого будетъ слѣдовать, что «собственно говоря, прекрасное создается нашею фантазіею, а въ дѣйствительности (или говоря языкомъ спекулятивной философіи: въ природѣ) истинно прекраснаго нѣтъ»; изъ того, что въ природѣ нѣтъ истинно прекраснаго, будетъ слѣдовать, что «искусство имѣетъ своимъ источникомъ стремленіе человѣка восполнить недостатки прекраснаго въ объективной дѣйствительности», и что «прекрасное, создаваемое искусствомъ, выше прекраснаго въ объективной дѣйствительности» — всѣ эти мысли составляютъ сущность господствующихъ нынѣ эстетическихъ понятій и занимаютъ столь важное мѣсто въ системѣ ихъ не случайно, а по строгому логическому развитію основнаго понятія о прекрасномъ.

Напротивъ того, изъ опредѣленія: «прекрасное есть жизнь» будетъ слѣдовать, что истинная, высочайшая красота есть именно красота встрѣчаемая человѣкомъ въ мірѣ дѣйствительности, а не красота создаваемая искусствомъ; происхожденіе искусства должно быть при такомъ воззрѣніи на красоту въ дѣйствительности объясняемо изъ совершенно другаго источника; послѣ того и существенное значеніе искусства явится совершенно въ другомъ свѣтѣ.

Итакъ должно сказать, что новое понятіе о сущности прекраснаго, будучи выводомъ изъ такихъ общихъ воззрѣній на отношенія дѣйствительнаго міра къ воображаемому, которыя совершенно различны отъ господствовавшихъ прежде въ наукѣ, приводя къ эстетической системѣ, также существенно различающейся отъ системъ господствовавшихъ въ послѣднее время, и само существенно различно отъ прежнихъ понятій о сущности прекраснаго. Но съ тѣмъ вмѣстѣ оно представляется какъ ихъ необходимое дальнѣйшее развитіе. Существенное различіе между господствующею и предлагаемою эстетическими системами будемъ видѣть постоянно; чтобы указать на точку тѣснаго родства между ними, скажемъ, что новое воззрѣніе объясняетъ важнѣйшіе эстетическіе факты, которые выставлялись на видъ въ прежней системѣ. Такъ напримѣръ, изъ опредѣленія «прекрасное есть жизнь», становится понятно, почему въ области прекраснаго нѣтъ отвлеченныхъ мыслей, а есть только индивидуальныя существа — жизнь мы видимъ только въ дѣйствительныхъ живыхъ существахъ, а отвлеченныя, общія мысли не входятъ въ область жизни.

Что касается существеннаго различія прежняго и предлагаемаго нами понятія о прекрасномъ, оно обнаруживается, какъ мы сказали, на каждомъ шагѣ; первое доказательство этого представляется намъ въ понятіяхъ объ отношеніи къ прекрасному возвышеннаго и комическаго, которыя въ господствующей эстетической системѣ признаются соподчиненными видоизмѣненіями прекраснаго, происходящими отъ различнаго отношенія между двумя его факторами, идею и образомъ. Въ господствующей системѣ эстетическихъ понятій чистое единство идеи и образа есть то, что называется собственно прекраснымъ; но не всегда бываетъ равновѣсіе между образомъ и идею: иногда идея беретъ перевѣсъ надъ образомъ и, являясь намъ въ своей всеобщности, безконечности, переноситъ насъ въ область абсолютной идеи, въ область безконечнаго — это

называется возвышеннымъ (*das Erhabene*); иногда образъ подавляетъ, искажаетъ идею—это называется комическимъ (*das Komische*).

Подвергнувъ критикѣ коренное понятіе, мы должны подвергнуть ей и вытекающія изъ него воззрѣнія, должны изслѣдовать сущность возвышеннаго и комическаго и ихъ отношенія къ прекрасному.

Господствующая эстетическая система даетъ намъ два опредѣленія возвышеннаго, какъ давала два опредѣленія прекраснаго. «Возвышенное есть перевѣсъ идеи надъ формою» и «возвышенное есть проявленіе абсолютнаго». Въ сущности эти два опредѣленія совершенно различны, какъ существенно различными найдены были нами и два опредѣленія прекраснаго, представляемые господствующею системою; въ самомъ дѣлѣ, перевѣсъ идеи надъ формою производить не собственно понятіе возвышеннаго, а понятіе «туманнаго, неопредѣленнаго» и понятіе «безобразнаго» (*das Hässliche*); между тѣмъ, какъ формула: «возвышенное есть то, что пробуждаетъ въ насъ (или, употребляя терминологию спекулятивной философіи: что проявляетъ въ себѣ) идею безконечнаго» остается опредѣленіемъ собственно возвышеннаго. Потому каждое изъ нихъ должно разсмотрѣть особенно.

Очень легко показать неприменимость къ возвышенному опредѣленія: «возвышенное есть перевѣсъ идеи надъ образомъ», послѣ того какъ самъ Фишеръ, его принимающій, сдѣлалъ это, объяснивъ, что отъ перевѣса идеи надъ образомъ (выражая ту же мысль обыкновеннымъ языкомъ: отъ превозможенія силы, проявляющейся въ предметѣ, надъ всѣми стѣсняющими ее силами, или, въ природѣ органической, надъ законами организма, ее проявляющаго) происходитъ безобразное или неопредѣленное («безобразное» сказалъ бы я, еслибъ не боялся впасть въ игру словъ, сопоставляя безобразное и безобразное). Оба эти понятія совершенно различны отъ понятія возвышеннаго. Правда, безобразное бываетъ возвышеннымъ, когда оно ужасно; правда, туманная неопредѣленность усиливаетъ впечатлѣніе возвышеннаго, производимое ужаснымъ или огромнымъ; но безобразное, если оно не страшно, бываетъ просто отвратительно или некрасиво; туманное, неопредѣленное не производитъ никакого эстетическаго дѣйствія, если не огромно или не ужасно. Безобразіемъ или туманною неопредѣленностью характеризуются не всѣ роды возвышеннаго; безобразное или неопредѣленное не всегда

имѣть характеръ возвышеннаго. Очевидно, что эти понятія различны отъ понятія возвышеннаго. «Перевѣсъ идеи надъ формою», говоря строго, относится къ тому роду событій въ мірѣ нравственномъ и явленій въ мірѣ матеріальномъ, когда предметъ разрушается отъ избытка собственныхъ силъ; неоспоримо, что эти явленія часто имѣютъ характеръ чрезвычайно возвышенный; но только тогда, когда сила, разрушающая сосудъ, ее заключающій, уже имѣетъ характеръ возвышенности, или предметъ, ею разрушаемый, уже кажется намъ возвышеннымъ, независимо отъ своей гибели собственною силою. Иначе о возвышенномъ не будетъ и рѣчи. Когда ніагарскій водопадъ, сокрушивъ скалу, его образующую, уничтожится напоромъ собственныхъ силъ; когда Александръ Македонскій погибаетъ отъ избытка собственной энергіи, когда Римъ падаетъ собственной тяжестью, это явленія возвышенныя; но потому, что ніагарскій водопадъ, Римская Имперія, личность Александра Македонскаго сами по себѣ уже принадлежатъ области возвышеннаго; какова жизнь, такова и смерть, какова дѣятельность, таково и паденіе. Тайна возвышенности здѣсь не въ «перевѣсѣ идеи надъ явленіемъ», а въ характерѣ самаго явленія; только отъ величія сокрушающагося явленія заимствуетъ свою возвышенность и его сокрушеніе. Само по себѣ исчезновеніе отъ перевѣса внутренней силы надъ ея временнымъ проявленіемъ не есть еще критеріумъ возвышеннаго. Яснѣе всего «перевѣсъ идеи надъ формою» высказывается въ томъ явленіи, когда зародышъ листа, разрастаясь, разрываетъ оболочку почки, его родившей: но это явленіе рѣшительно не относится къ разряду возвышенныхъ. «Перевѣсомъ идеи надъ формою», погибелью самого предмета отъ избытка развивающихся въ немъ силъ, отличается такъ называемая отрицательная форма возвышеннаго отъ положительной. Справедливо, что возвышенное отрицательное выше возвышеннаго положительнаго; потому надобно согласиться, что «перевѣсомъ идеи надъ формою» усиливается эффектъ возвышеннаго, какъ можетъ онъ усиливаться многими другими обстоятельствами, напр. уединенностью возвышеннаго явленія (пирамида въ открытой степи величественнѣе, нежели была бы среди другихъ громаднхъ построекъ; среди высокихъ холмовъ ея величіе исчезло бы); но усиливающее эффектъ обстоятельство не есть еще источникъ самаго эффекта; притомъ перевѣса идеи надъ образомъ, силы надъ явленіемъ очень часто не бываетъ въ положитель-

номъ возвышенномъ. Примѣры этого могутъ быть во множествѣ отысканы въ каждомъ курсѣ эстетики.

Переходимъ къ другому опредѣленію возвышеннаго: «возвышенное есть проявленіе идеи безконечнаго», или выражая эту философскую формулу обыкновеннымъ языкомъ: «возвышенное есть то, что возбуждаетъ въ насъ идею безконечнаго». Самый бѣглый взглядъ на трактатъ о возвышенномъ въ новѣйшихъ эстетикахъ убѣждаетъ насъ, что это опредѣленіе возвышеннаго лежитъ въ сущности господствующихъ понятій о немъ. Мало того; мысль, что возвышенными явленіями возбуждается въ человѣкѣ предчувствіе безконечнаго, господствуетъ и въ понятіяхъ людей, чуждыхъ строгой наукѣ; рѣдко можно найти сочиненіе, въ которомъ не высказывалось бы она, какъ скоро представляется поводъ, хотя самый отдаленный; почти въ каждомъ описаніи величественнаго пейзажа, въ каждомъ разсказѣ о какомъ-нибудь ужасномъ событіи найдется подобное отступленіе или примѣненіе. Потому на мысль о возбужденіи величественнымъ идеи абсолютнаго должно обратить больше вниманія, нежели на предыдущее понятіе о перевѣсѣ въ немъ идеи надъ образомъ, критику котораго было достаточно ограничить нѣсколькими словами.

Къ сожалѣнію, здѣсь не мѣсто подвергать анализу идею «абсолютна» или безконечнаго и показывать настоящее значеніе абсолютнаго въ области метафизическихъ понятій; тогда только, когда мы поймемъ это значеніе представится намъ вся неосновательность пониманія подъ возвышеннымъ безконечнаго. Но и не пускаясь въ метафизическія пренія, мы можемъ увидѣть изъ фактовъ, что идея безконечнаго, какъ бы ни понимать ее, не всегда, или лучше сказать почти никогда, не связана съ идеею возвышеннаго. Строго и безпристрастно наблюдая за тѣмъ, что происходитъ въ насъ, когда мы созерцаемъ возвышенное, мы убѣдимся, что 1) возвышеннымъ представляется намъ самый предметъ, а не какія-нибудь вызываемыя этимъ предметомъ мысли; такъ, напр., величественъ самъ по себѣ Казбекъ, величественно само по себѣ море, величественна сама по себѣ личность Цезаря или Катона. Конечно, при созерцаніи возвышеннаго предмета могутъ пробуждаться въ насъ различнаго рода мысли, усиливающія впечатлѣніе, имъ на насъ производимое; но возбуждаются онѣ или нѣтъ, дѣло случая, независимо отъ котораго предметъ остается возвышеннымъ: мысли и воспоминанія,

усиливающія ощущеніе, рождаются при всякомъ ощущеніи, но онѣ уже слѣдствіе, а не причина первоначальнаго ощущенія; и если, задумавшись надъ подвигомъ Муція Сцеволы, я дохожу до мысли: «да, безгранична сила патріотизма», то мысль эта только слѣдствіе впечатлѣнія, произведеннаго на меня независимо отъ нея самымъ поступкомъ Муція Сцеволы, а не причина этого впечатлѣнія; точно также, мысль: «нѣтъ ничего на землѣ прекраснѣе человѣка», которая можетъ пробудиться во мнѣ, когда я задумаюсь, глядя на изображеніе прекраснаго лица, не причина того, что я восхищаюсь имъ, какъ прекраснымъ, а слѣдствіе того, что оно уже прежде нея, независимо отъ нея кажется мнѣ прекрасно. И потому еслибы даже согласиться, что созерцаніе возвышеннаго всегда ведетъ къ идеѣ безконечнаго, то возвышенное, порождающее такую мысль, а не порождаемое ею, должно имѣть причину своего дѣйствія на насъ не въ ней, а въ чемъ-нибудь другомъ. Но рассматривая свое представленіе о возвышенномъ предметѣ, мы открываемъ, что 2) очень часто предметъ кажется намъ возвышенъ, не переставая въ тоже время казаться далеко не безпредѣльнымъ и оставаясь въ рѣшительной противоположности съ идеею безграничности. Такъ Монбланъ или Казбекъ — возвышенный, величественный предметъ; но никто изъ насъ не думаетъ, въ противорѣчіе собственнымъ глазамъ, видѣть въ немъ безграничное или неизмѣримо великое. Море кажется безпредѣльнымъ, когда не видно береговъ; но всѣ эстетики утверждаютъ (и совершенно справедливо), что море кажется гораздо величественнѣе, когда виднѣнъ берегъ, нежели тогда, когда береговъ не видно. Вотъ фактъ, обнаруживающій, что идея возвышеннаго не только не порождается идеею безграничнаго, но даже можетъ быть (и часто бываетъ) въ противорѣчій съ нею, что условіе безграничности можетъ быть невыгодно для впечатлѣнія, производимаго возвышеннымъ. Идемъ далѣе, пересматривая рядъ величественныхъ явленій по мѣрѣ возрастанія эффекта, ими производимаго на чувство возвышеннаго. Гроза одно изъ величественнѣйшихъ явленій въ природѣ; но необходимо имѣть слишкомъ восторженное воображеніе, чтобы видѣть какую бы то ни было связь между грозою и безконечностью. Во время грозы, мы восхищаемся, думая при этомъ только о самой грозѣ. «Но во время грозы человѣкъ чувствуетъ собственную ничтожность предъ силами природы, силы природы кажутся ему безмѣрно превышающими его силы».

Что силы грозы кажутся намъ чрезвычайно превышающими наши собственные силы, это правда; но если явленіе представляется непреодолимымъ для человѣка, изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы оно казалось намъ неизмѣримо, безконечно могущественнымъ. Напротивъ, человѣкъ, смотря на грозу, очень хорошо помнитъ, что она безсильна надъ землею, что первый ничтожный холмъ непоколебимо отразитъ весь напоръ урагана, всѣ удары молніи. Правда, ударъ молніи можетъ убить человѣка; но чтожь изъ того? не эта мысль причиною, что гроза кажется мнѣ величественною. Когда я смотрю на то, какъ вертятся крылья вѣтряной мельницы, я также очень хорошо знаю, что, зацѣпъ меня, мельничное крыло переломитъ меня, какъ щепку, я «сознаю ничтожность своихъ силъ предъ силою» мельничнаго крыла; а между тѣмъ едвали въ комъ-нибудь взглядъ на вертящуюся вѣтряную мельницу возбуждалъ ощущеніе возвышеннаго. «Но здѣсь не пробуждается во мнѣ опасеніе за себя; я знаю, что мельничное крыло не зацѣпитъ меня; во мнѣ нѣтъ чувства ужаса, какое пробуждается грозою» — справедливо; но этимъ говорится уже совершенно не то, что говорилось прежде; этимъ говорится: «возвышенное есть ужасное, грозное». Посмотримъ на это опредѣленіе «возвышеннаго силъ природы», которое въ самомъ дѣлѣ находимъ въ эстетикахъ. Ужасное очень часто бываетъ возвышеннымъ, это правда; но не всегда оно бываетъ возвышеннымъ: гремучая змѣя, скорпионъ, тарантулъ ужаснѣе льва; но они отвратительно-ужасны, а не возвышенно-ужасны. Чувство ужаса можетъ усиливать ощущеніе возвышеннаго, но ужасъ и возвышенность — два совершенно различныя понятія. Идемъ однако далѣе по ряду величественныхъ явленій. Въ природѣ мы не видѣли ничего, прямо говорящаго о безграничности; противъ заключенія, выводимаго отсюда, можно замѣтить, что «истинно возвышенное не въ природѣ, а въ самомъ человѣкѣ»; согласимся, хотя и въ природѣ много истинно возвышеннаго. Но почему же «возвышенна» кажется намъ «безграничная» любовь или порывъ «всесокрушающаго» гнѣва? неужели потому, что сила этихъ стремленій «неодолима», пробуждаетъ идею безконечнаго своею неодолимостью? Если такъ, то гораздо неодолимѣе потребность спать: самый страстный любовникъ едвали можетъ пробыть безъ сна четверо сутокъ; гораздо неодолимѣе потребности «любить» потребность ѣсть и пить: это истинно безграничная потребность, потому что нѣтъ человѣка, не признаю-

щаго силы ея, между тѣмъ какъ о любви очень многіе не имѣютъ и понятія: изъ-за этой потребности совершается гораздо больше и гораздо труднѣйшихъ подвиговъ, нежели отъ «всесильнаго» могущества любви. Почему же мысль о ѣдѣ и питьѣ не возвышенна, а идея любви возвышенна? Непреоборимость не есть еще возвышенность; безграничность и безконечность вовсе не связаны съ идеею величественнаго.

Едва ли можно послѣ этого раздѣлять мысль, что «возвышенное есть перевѣсъ идеи надъ формою», или что «сущность возвышеннаго состоитъ въ пробужденіи идеи безконечнаго». Въ чемъ же состоитъ она? Очень простое опредѣленіе возвышеннаго будетъ, кажется, вполне обнимать и достаточно объяснять всѣ явленія, относящіяся къ его области.

«Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, съ чѣмъ сравнивается нами». — «Возвышенный предметъ—предметъ, много превосходящій своимъ размѣромъ предметы, съ которыми сравнивается нами; возвышенно явленіе, которое гораздо сильнѣе другихъ явленій, съ которыми сравнивается нами».

Монбланъ и Казбекъ величественныя горы, потому что гораздо огромнѣе дюжинныхъ горъ и пригорковъ, которые мы привыкли видѣть; «величественный» лѣсъ въ двадцать разъ выше нашихъ яблонь, акацій и въ тысячу разъ огромнѣе нашихъ садовъ и рощъ; Волга гораздо шире Тверцы или Клязьмы; гладкая площадь моря гораздо обширнѣе площади прудовъ и маленькихъ озеръ, которыя безпрестанно попадаютъ путешественнику; волны моря гораздо выше волнъ этихъ озеръ, потому буря на морѣ возвышенное явленіе, хотя бы никому не угрожала опасностью; свирѣпый вѣтеръ во время грозы во сто разъ сильнѣе обыкновеннаго вѣтра, шумъ и ревъ его гораздо сильнѣе шума и свиста, производимаго обыкновеннымъ крѣпкимъ вѣтромъ; во время грозы гораздо темнѣе, нежели въ обыкновенное время, темнота доходитъ до черноты; молнія ослѣпительнѣе всякаго свѣта—все это дѣлаетъ грозу возвышеннымъ явленіемъ. Любовь гораздо сильнѣе нашихъ ежедневныхъ мелочныхъ расчетовъ и побужденій; гнѣвъ, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнѣе ихъ—потому страсть возвышенное явленіе. Юлій Цезарь, Отелло, Дездемона, Офелія возвышенные личности; потому что Юлій Цезарь, какъ полководецъ и государственный человѣкъ далеко выше всѣхъ полководцевъ и государ-

ственныхъ людей своего времени; Отелло любить и ревнуетъ гораздо сильнѣе дюжинныхъ людей; Дездемона и Офелія любятъ и страдаютъ съ такою полною преданностью, способность къ которой найдется далеко не во всякой женщинѣ. «Гораздо больше, гораздо сильнѣе»—вотъ отличительная черта возвышеннаго.

Надобно прибавить, что вмѣсто термина «возвышенное» (das Erhabene) было бы гораздо проще, характеристичнѣе и лучше говорить «великое» (das Grosse). Юлій Цезарь, Марій не «возвышенныя», а «великія» характеры. Нравственная возвышенность только одинъ частный родъ величія вообще.

Просмотрѣвъ лучшіе курсы эстетики, легко убѣдиться, что въ нашемъ краткомъ обзорѣ подведены подъ принимаемое нами понятіе возвышеннаго или великаго всѣ его главныя видоизмѣненія. Остается показать, какъ принимаемое нами воззрѣніе на сущность возвышеннаго относится къ подобнымъ мыслямъ, высказаннымъ въ извѣстныхъ нынѣ курсахъ эстетики.

О томъ, что «возвышенность» слѣдствіе превосходства надъ окружающимъ, говорится у Канта, и въ слѣдъ за нимъ у позднѣйшихъ эстетиковъ: «мы сравниваемъ, говорятъ они, возвышенное въ пространствѣ съ окружающими его предметами; для этого на возвышенномъ предметѣ должны быть легкія подраздѣленія, дающія возможность, сравнивая, считать, во сколько разъ онъ больше окружающихъ его предметовъ, во сколько разъ, напр., гора больше дерева, растущаго на ней. Счетъ такъ длиненъ, что не дошедши до конца, мы уже теряемся въ немъ; окончивъ его, должны опять начинать, потому что не могли сосчитать, и считаемъ опять безуспѣшно. Такимъ образомъ намъ кажется наконецъ, что гора неизмѣримо велика, бесконечно велика». — «Сравненіе съ окружающими предметами необходимо для того, чтобы предметъ казался возвышеннымъ»,—мысль очень близкая къ принимаемому нами воззрѣнію на основной признакъ возвышеннаго. Но обыкновенно она прилагается только въ возвышенному въ пространствѣ, между тѣмъ какъ ее должно одинаково проводить по всѣмъ родамъ возвышеннаго; обыкновенно говорятъ: «возвышенное состоитъ въ превозможеніи идеи надъ формою, и это превозможеніе на низшихъ степеняхъ возвышеннаго узнается сравненіемъ предмета по величинѣ съ окружающими предметами»; намъ кажется, что должно говорить: «превосходство великаго (или возвышеннаго) надъ мелкимъ и дю-

жизненнымъ состоитъ въ гораздо болѣе величинѣ (возвышенное въ пространствѣ или во времени) или въ гораздо болѣе силѣ (возвышенное силѣ природы и возвышенное въ человѣкѣ)». Изъ второстепеннаго и частнаго признака возвышенности сравненіе и превосходство по великости должно быть возведено въ главную и общую мысль при опредѣленіи возвышеннаго.

Такимъ образомъ принимаемое нами понятіе возвышеннаго точно такъ же относится къ обыкновенному опредѣленію его, какъ наше понятіе о сущности прекраснаго къ прежнему взгляду—въ обоихъ случаяхъ возводится на степень общаго и существеннаго начала. То, что прежде считалось частнымъ и второстепеннымъ признакомъ, было закрываемо отъ вниманія другими понятіями, которыя мы отбрасываемъ, какъ побочныя. Вслѣдствіе измѣненія точки зрѣнія и возвышенное, подобно прекрасному, представляется намъ какъ явленіе болѣе самостоятельное и однакоже болѣе близкое человѣку, нежели представлялось. Съ тѣмъ вмѣстѣ наше воззрѣніе на сущность возвышеннаго признаетъ его фактическую реальность, между тѣмъ какъ обыкновенно полагаютъ, будто бы возвышенное въ дѣйствительности только кажется возвышеннымъ отъ внимательства нашей фантазіи, расширяющей до безграничности объемъ или силу возвышеннаго предмета или явленія. И дѣйствительно, если возвышенное существенно есть безконечное, то возвышеннаго нѣтъ въ мірѣ, доступномъ нашимъ чувствамъ и нашему уму.

Но если по опредѣленіямъ прекраснаго и возвышеннаго, нами принимаемымъ, прекрасному и возвышенному придается независимость отъ фантазіи; то съ другой стороны этими опредѣленіями выставляется на первый планъ отношеніе къ человѣку вообще и къ его понятіямъ тѣхъ предметовъ и явленій, которыя находятъ человѣкъ прекрасными и возвышенными: прекрасное то, въ чемъ мы видимъ жизнь такъ, кака мы понимаемъ и желаемъ ея, какъ она радуетъ насъ; великое то, что гораздо выше предметовъ, съ которыми сравниваемъ его мы. Изъ обыкновенныхъ опредѣленій напротивъ, по странному противорѣчію, слѣдуетъ: прекрасное и великое вносятся въ дѣйствительность человѣческимъ взглядомъ на вещи, создаются человѣкомъ, но не имѣютъ никакой связи съ понятіями человѣка, съ его взглядомъ на вещи. Ясно также, что опредѣленіями прекраснаго и возвышеннаго, которыя кажутся намъ справедливыми, разрушается непосредственная связь этихъ понятій,

подчиняемыхъ одно другому опредѣленіями: «прекрасное есть равновѣсіе идеи и образа», «возвышенное есть перевѣсъ идеи надъ образомъ». Въ самомъ дѣлѣ, принимая опредѣленіе: «прекрасное есть жизнь», «возвышенное есть то, что гораздо больше всего близкаго или подобнаго», мы должны будемъ сказать, что прекрасное и возвышенное — совершенно различныя понятія, неподчиненныя другъ другу и соподчиненныя только одному общему понятію, очень далекому отъ такъ называемыхъ эстетическихъ понятій: «интересное».

Потому, если эстетика—наука о прекрасномъ по содержанію, то она не имѣетъ права говорить о возвышенномъ, какъ не имѣетъ права говорить о добромъ, истинномъ и т. д. Если же понимать подъ эстетику науку объ искусствѣ, то конечно она должна говорить о возвышенномъ; потому что возвышенное входитъ въ область искусства.

Но говоря о возвышенномъ, до сихъ поръ мы не касались трагическаго, которое обыкновенно признаютъ высшимъ глубочайшимъ родомъ возвышеннаго. Господствующія нынѣ въ наукѣ понятія о трагическомъ играютъ очень важную роль не только въ эстетикѣ, но и во многихъ другихъ наукахъ (напр., въ исторіи), даже сливаются съ необходимыми понятіями о жизни. Поэтому я считаю неизлишнимъ довольно подробно изложить ихъ, чтобы дать основаніе своей критикѣ. Въ изложеніи буду я строго слѣдовать Фишеру, котораго эстетика нынѣ считается наилучшею въ Германіи.

«Субъектъ по своей природѣ существо дѣятельное. Дѣйствуя, онъ переноситъ во внѣшній міръ свою волю и тѣмъ самымъ приходитъ въ столкновеніе съ закономъ необходимости, властвующимъ во внѣшнемъ мірѣ. Но дѣйствіе субъекта необходимо запечатлѣно индивидуальною ограниченностью и потому нарушаетъ абсолютное единство объективной связи міра. Это оскорбленіе есть вина (die Schuld), и отзывается въ субъектѣ тѣмъ, что связанный узами единства внѣшній міръ весь какъ одно цѣлое взволновывается дѣйствіемъ субъекта и чрезъ это отдѣльный поступокъ субъекта влечетъ за собою необозримый и непредусмотримый рядъ послѣдствій, въ которыхъ субъектъ уже не узнаетъ своего поступка и своей воли; тѣмъ не менѣе онъ долженъ признавать необходимую связь всѣхъ этихъ послѣдующихъ явленій со своимъ поступкомъ и чувствовать себя въ отвѣтственности за нихъ. Отвѣтственность за то, чего не хотѣлъ, и что однако сдѣлалъ субъектъ, имѣетъ для него

послѣдствіемъ страданіе,—т. е. выраженіе противодѣйствія отъ нарушеннаго хода вещей во внѣшнемъ мірѣ нарушившему ихъ дѣйствію. Необходимость этого противодѣйствія и страданія усиливается тѣмъ, что угрожаемый субъектъ предвидитъ послѣдствія, предвидитъ зло себѣ, но подвергается ему чрезъ тѣ самыя средства, которыми хотѣлъ избѣжать его. Страданіе можетъ усиливаться до гибели субъекта и его дѣла. Но дѣло субъекта погибаетъ только повидимому, погибаетъ не совершенно: объективный рядъ послѣдствій переживаетъ гибель субъекта и, мало-по-малу сливаясь съ всеобщимъ единствомъ, очищается отъ своей индивидуальной ограниченности, полученной отъ субъекта. Если субъектъ, погибая, усваиваетъ себѣ это сознаніе правдивости своего страданія и того, что дѣло его не погибаетъ, а очищается и торжествуетъ его гибелью, то примиреніе полно, и самъ субъектъ просвѣтленнымъ образомъ переживаетъ себя въ своемъ очищающемся и торжествующемъ дѣлѣ. Все это движеніе называется судьбою или «трагическимъ». Трагическое бываетъ различныхъ родовъ. Первая форма его та, когда субъектъ является не фактически, а только въ возможности виновнымъ, и когда поэтому сила, его губящая, является слѣпою силою природы, которая на отдѣльномъ субъектѣ, отличающемся болѣе внѣшнимъ блескомъ богатства и т. п., нежели внутренними достоинствами, показываетъ примѣръ, что индивидуальное должно погибнуть потому, что оно индивидуальное. Гибель субъекта исходитъ здѣсь не отъ нравственнаго закона, а отъ случая, который однако находитъ себѣ объясненіе и оправданіе въ примиряющей мысли, что смерть — всеобщая необходимость. Въ трагическомъ простой вины (*die einfache Schuld*) возможность вины переходитъ въ дѣйствительную вину. Но вина лежитъ не въ необходимомъ объективномъ противорѣчій, а въ какой-нибудь запутанности, связанной съ дѣйствіемъ субъекта. Вина эта нарушаетъ въ чемъ-нибудь нравственную цѣлость міра. Чрезъ нее страдаютъ другіе субъекты, такъ какъ вина здѣсь на одной сторонѣ, то сначала кажется, что они страдаютъ невинно. Но въ такомъ случаѣ субъекты были бы чистымъ объектомъ для другаго субъекта, что противорѣчитъ значенію субъективности. Потому они должны открыть къ себѣ слабую сторону какою нибудь ошибкою, находящеюся въ связи съ ихъ сильными сторонами, и погибать чрезъ эту слабую сторону; страданіе главнаго субъекта, какъ обратная сторона его

поступка, истекаетъ силою оскорбленнаго нравственнаго порядка изъ самой вины. Орудіемъ наказанія могутъ быть или оскорбленные субъекты или самъ преступникъ, сознающій свою вину. Наконецъ высшая форма трагическаго — трагическое нравственнаго столкновения. Общій нравственный законъ дробится на частныя требованія, которыя часто могутъ находиться въ противоположности между собою, такъ что, удовлетворяя одному, человѣкъ необходимо оскорбляетъ другое. Борьба эта, истекающая изъ внутренней необходимости, а не изъ случайностей, можетъ оставаться внутреннею борьбою въ сердцѣ одного человѣка. Такова борьба въ сердцѣ Антигоны у Софокла. Но какъ искусство олицетворяетъ все въ отдѣльных образахъ, то обыкновенно борьба двухъ требованій нравственнаго закона представляется въ искусствѣ борьбою двухъ лицъ. Одно изъ двухъ противорѣчащихъ стремленій справедливѣе и потому сильнѣе другого; оно сначала побѣждаетъ все, ему сопротивляющееся, и тѣмъ самымъ становится уже несправедливо, подавляя справедливое право противоположнаго стремленія. Теперь справедливость на сторонѣ, которая сначала была побѣждена, и стремленіе, въ сущности болѣе справедливое, погибаетъ подъ тяжестью собственной несправедливости отъ ударовъ противоположнаго стремленія, которое, будучи оскорблено въ своемъ правѣ, имѣетъ за собою, въ началѣ противоѣдствія, всю силу истины и справедливости, но, побѣждая, впадаетъ само точно такимъ же образомъ въ несправедливость, влекущую за собою гибель или страданіе. Прекрасно весь этотъ родъ трагическаго развивается въ «Юліѣ Цезарѣ» Шекспира: Римъ стремится къ монархической формѣ правленія; представителемъ этого стремленія является Юліѣ Цезарь; оно справедливѣе и потому сильнѣе противоположнаго на правленія, стремящагося сохранить издавна установившееся устройство Рима; Юліѣ Цезарь побѣждаетъ Помпея. Но существующее издавна также имѣетъ право существовать, оно возстаетъ противъ своего побѣдителя въ лицѣ Брута. Цезарь погибаетъ; но заговорщики сами мучатся сознаніемъ того, что Цезарь, погибшій отъ нихъ, выше ихъ, и сила, которой онъ былъ представителемъ, воскресаетъ въ лицѣ Триумвировъ. Брутъ и Кассій погибаютъ; но на гробѣ Брута Антоній и Октавій высказываютъ свое сожалѣніе о немъ. Такъ совершается наконецъ примиреніе противоположныхъ стремленій, изъ которыхъ каждое и справедливо и несправедливо

въ своей односторонности, которая постепенно сглаживается паденіемъ каждого изъ нихъ; изъ борьбы и гибели возникаетъ единство и новая жизнь».

Изъ этого изложенія видно, что понятіе трагическаго въ нѣмецкой эстетикѣ соединяется съ понятіемъ судьбы, такъ что трагическая участь человѣка представляется обыкновенно какъ «столкновеніе человѣка съ судьбою», какъ слѣдствіе «вмѣшательства судьбы». Понятіе судьбы обыкновенно искажается въ новыхъ европейскихъ книгахъ, старающихся объяснить его нашими научными понятіями, даже связать съ ними; потому необходимо представить его во всей чистотѣ и наготѣ. Оно чрезъ это избавится отъ несообразнаго смѣшенія съ понятіями науки, въ сущности ему противорѣчащими, и выкажетъ всю свою неосновательность, которая прячется при новѣйшихъ передѣлкахъ его на наши нравы. Живое и неподдѣльное понятіе о судьбѣ было у старинныхъ грековъ (т. е. у грековъ до появленія у нихъ философіи) и до сихъ поръ живетъ у многихъ восточныхъ народовъ; оно господствуетъ въ разсказахъ Геродота, въ греческихъ мифахъ, въ индійскихъ поэмахъ, сказкахъ Тысячи и одной ночи и проч. Что касается позднѣйшихъ превращеній этого основнаго воззрѣнія подъ вліяніемъ понятій о мірѣ, доставленныхъ наукою, эти видоизмѣненія мы считаемъ лишнимъ исчислять, и еще менѣе находимъ нужды подвергать ихъ особенной критикѣ, потому что всѣ они, подобно понятію новѣйшихъ эстетиковъ о трагическомъ, представляясь слѣдствіемъ стремленія согласить непримиримое—фантастическія представленія полудикаго и научныя понятія—страждутъ такою же несостоятельностью, какъ и понятіе новѣйшихъ эстетиковъ о трагическомъ: различіе только то, что натянутость соединенія противоположныхъ началъ въ предшествующихъ попыткахъ сближенія была очевиднѣе, нежели въ понятіи о трагическомъ, которое составлено съ чрезвычайнымъ диалектическимъ глубокомысліемъ. Поэтому не считаемъ за нужное излагать всѣ эти искаженные понятія о судьбѣ, считая достаточнымъ показать, какъ угловато видѣется первоначальная основа даже изъ-подъ послѣдней и искуснѣйшей диалектической одежды, которою облеклась она въ господствующемъ нынѣ эстетическомъ воззрѣніи на трагическое.

Вотъ какъ понимаютъ ходъ жизни человѣческой народы, имѣющіе неподдѣльное понятіе о судьбѣ: если я не буду принимать ни-

какихъ предосторожностей противъ несчастія, я могу уцѣлѣть, и почти всегда уцѣлѣю; но если я приму предосторожности, я непременно погибну, и погибну именно отъ того, въ чемъ искалъ спасенія. Я собираюсь въ дорогу, и принимаю всѣ предосторожности противъ несчастій, могущихъ случиться въ дорогѣ; между прочимъ, зная, что не вездѣ можно найти медицинскія пособія, беру съ собой нѣсколько флакончиковъ съ нужнѣйшими лекарствами и прячу ихъ въ боковой карманъ экипажа. Чтò необходимо должно выйти изъ этого по понятіямъ старинныхъ грековъ? То, что экипажъ мой опрокидывается въ дорогѣ, флакончики летятъ изъ кармана; опрокидываясь самъ, я попадаю вискомъ на одинъ изъ флакончиковъ, раздавливаю его, осколокъ стекла врѣзывается въ мой високъ и я умираю. Еслибы не взято было мною предосторожностей, не было бы мнѣ никакой бѣды; но я хотѣлъ принять мѣры противъ несчастія и погибъ отъ того самаго, въ чемъ искалъ безопасности. Подобный взглядъ на человѣческую жизнь такъ мало подходитъ къ нашимъ понятіямъ, что имѣетъ для насъ интересъ только фантастическаго; трагедія, основанная на идеѣ восточной или старинной греческой судьбы, для насъ будетъ имѣть значеніе сказки, обезображенной передѣлкою. А между тѣмъ, все представленное нами изложеніе понятій о трагическомъ въ нѣмецкой эстетикѣ есть только опытъ привести понятіе о судьбѣ въ согласіе съ понятіями современной науки. Это введеніе понятія о судьбѣ въ науку посредствомъ эстетическаго воззрѣнія на сущность трагическаго было сдѣлано съ чрезвычайнымъ глубокомысліемъ, свидѣтельствующимъ о великой силѣ умовъ, трудившихся надъ примиреніемъ чуждыхъ наукъ воззрѣній на жизнь съ понятіями науки; но эта глубокомысленная попытка служить рѣшительнымъ доказательствомъ того, что подобныя стремленія никогда не могутъ быть успѣшны: наука можетъ только объяснить происхожденіе фантастическихъ мнѣній полудикаго человѣка, но не примирить ихъ съ истинною. Понятіе о судьбѣ родилось и развилось слѣдующимъ образомъ.

Одно изъ дѣйствій образованности на человѣка состоитъ въ томъ, что она, расширяя кругъ его зрѣнія, даетъ ему возможность понимать въ истинномъ смыслѣ явленія, несходныя съ ближайшими къ нему, которыя одни только кажутся удобопонятными для необразованнаго ума, не постигающаго явленій чуждыхъ непосредственной сферѣ его жизненныхъ отправленій. Наука даетъ чело-

вѣку понятіе о томъ, что жизнь природы, жизнь растений и животныхъ совершенно отлична отъ человѣческой жизни. Дикарь или полудикій человѣкъ не представляетъ себѣ жизни иной, какъ та, которую знаетъ онъ непосредственно, какъ человѣческая жизнь; ему кажется, что дерево говоритъ, чувствуетъ, наслаждается и страдаетъ, подобно человѣку; что животныя дѣйствуютъ такъ же сознательно, какъ человѣкъ—у нихъ свой языкъ; даже и на человѣческомъ языкѣ не говорятъ они только потому, что хитры и надѣются выиграть молчаніемъ больше, нежели разговорами. Точно такъ же онъ воображаетъ себѣ жизнь рѣки, скалы: скала—это окаменѣвшій богатырь, сохранившій чувства и мысль; рѣка—это наяда, русалка, водяной. Землетрясенія Сициліи происходятъ оттого, что гигантъ, заваленный этимъ островомъ, старается сбросить тяжесть, которая лежитъ на его членахъ. Во всей природѣ видитъ дикарь человѣкоподобную жизнь, всѣ явленія природы производитъ отъ сознательнаго дѣйствія человѣкообразныхъ существъ. Какъ онъ очеловѣчиваетъ вѣтеръ, холодъ, жаръ (припомнимъ нашу сказку о томъ, какъ спорили мужикъ-вѣтеръ, мужикъ-морозъ, мужикъ-солнце, кто изъ нихъ сильнѣе), болѣзни (разказы о холерѣ, о двѣнадцати се-страхъ-лихорадкахъ, о цынгѣ—послѣдній между шпицбергенскими промышленниками), точно такъ же очеловѣчиваетъ онъ и силу случая. Приписывать его дѣйствія произволу человѣкообразнаго существа еще легче, нежели объяснять подобнымъ образомъ другія явленія природы и жизни; потому что именно дѣйствія случая скорѣе, нежели явленія другихъ силъ, могутъ пробудить мысль о капризѣ, произволѣ, о всѣхъ тѣхъ качествахъ, которыя составляютъ исключительную принадлежность человѣческой личности. Посмотримъ же, какимъ образомъ изъ воззрѣнія на случай, какъ на дѣло человѣкообразнаго существа, развиваются всѣ качества, приписываемыя судьбѣ дикими и полудикими народами. Чѣмъ важнѣе дѣло, задуманное человѣкомъ, тѣмъ больше нужно условій, чтобы оно исполнилось именно такъ, какъ задумано; почти никогда всѣ условія не встрѣтятся такъ, какъ человѣкъ рассчитывалъ; и потому почти никогда важное дѣло не дѣлается именно такъ, какъ предполагалъ человѣкъ. Эта случайность, разстроивающая наши планы, кажется полудикому человѣку, какъ мы сказали, дѣломъ человѣкообразнаго существа, судьбы; изъ этого основнаго характера, замѣчаемаго въ случаѣ, или судьбѣ, сами собою слѣдуютъ всѣ качества, прида-

ваемые судьбѣ современными дикарями, очень многими восточными народами и старинными греками. Ясно, что самая важная дѣла именно и служатъ игрищемъ судьбы (потому, какъ мы сказали, что чѣмъ важнѣе дѣло, тѣмъ отъ большаго числа условій оно зависитъ, и слѣдовательно тѣмъ обширнѣе въ немъ поле для случайностей), идемъ далѣе. Случай уничтожаетъ наши расчеты — значитъ судьба любитъ уничтожать наши расчеты, любитъ посмѣяться надъ человѣкомъ и его расчетами; случай невозможно предусмотрѣть, — невозможно сказать, почему случилось такъ, а не иначе — слѣдовательно судьба капризна, своенравна; случай часто пагубенъ для человѣка — слѣдовательно судьба любитъ вредить человѣку, судьба зла, и въ самомъ дѣлѣ у грековъ судьба — человѣконенавистница; злой и сильный человѣкъ любитъ вредить именно самымъ лучшимъ, самымъ умнымъ, самымъ счастливымъ людямъ — ихъ преимущественно любитъ губить и судьба; злобный, капризный и очень сильный человѣкъ любитъ выказать свое могущество, говоря напередъ тому, кого хочетъ уничтожить: «я хочу сдѣлать съ тобою вотъ-что; попробуй бороться со мною» — такъ и судьба объявляетъ впередъ свои рѣшенія, чтобъ имѣть злую радость доказать намъ наше безсиліе предъ нею и посмѣяться надъ нашими слабыми, безуспѣшными попытками бороться съ нею, избѣжать ея. Странными кажутся намъ теперь подобныя мнѣнія. Но посмотримъ, какъ они отразились въ эстетической теоріи трагическаго.

Она говоритъ: свободное дѣйствіе человѣка возмущаетъ естественный ходъ природы; природа и ея законы встаютъ противъ оскорбителя своихъ правъ; слѣдствіемъ этого бываетъ страданіе и гибель дѣйствующаго лица, если дѣйствіе было такъ могущественно, что вызванное имъ противодѣйствіе было серьезно: «потому все великое подлежитъ трагической участи». Природа здѣсь представляется живымъ существомъ, чрезвычайно раздражительнымъ, чрезвычайно шекотливымъ насчетъ своей неприкосновенности. Неужели въ самомъ дѣлѣ природа оскорбляется? неужели въ самомъ дѣлѣ природа мститъ? нѣтъ; она продолжаетъ вѣчно дѣйствовать по своимъ законамъ, она не знаетъ о человѣкѣ и его дѣлахъ, о его счастьи и его гибели; ея законы могутъ имѣть и часто имѣютъ пагубное для человѣка и его дѣлъ дѣйствіе; но на нихъ же опирается всякое человѣческое дѣйствіе. Природа безстрастна къ человѣку; она не врагъ и не другъ ему: она — то удобное, то неудоб-

ное поприще для его дѣятельности. Въ томъ нѣтъ сомнѣнія, что всякое важное дѣло человѣка требуетъ сильной борьбы съ природою или съ другими людьми; но почему это такъ? потому только, что какъ бы ни было само по себѣ важно дѣло, мы привыкли не считать его важнымъ, если оно совершается безъ сильной борьбы. Такъ дыханіе важнѣе всего въ жизни человѣка; но мы не обращаемъ и вниманія на него, потому что ему обыкновенно не противостоятъ никакія препятствія; для дикаря, питающагося даромъ ему достающимися плодами хлѣбнаго дерева, и для европейца, которому хлѣбъ достается только чрезъ тяжелую работу земледѣлія, пища одинаково важна; но собираніе плодовъ хлѣбнаго дерева — «не важное» дѣло, потому, что оно легко; «важно» земледѣліе, потому что оно тяжело. Итакъ: не всѣ важныя по существенному значенію своему дѣла требуютъ борьбы; но мы привыкли называть важными только тѣ изъ важныхъ въ сущности дѣлъ, которыя трудны. Много есть драгоценныхъ вещей, которыя не имѣютъ никакой цѣны, потому что достаются даромъ, напр. вода и солнечный свѣтъ; и много есть очень важныхъ дѣлъ, которымъ не придается никакой важности, потому только, что они дѣлаются легко. Но согласимся съ обыкновенною фразеологіею; пусть важны будутъ только тѣ дѣла, которыя требуютъ тяжелой борьбы. Неужели эта борьба всегда трагична? вовсе нѣтъ; иногда трагична, иногда нетрагична, какъ случится. Мореходецъ борется съ моремъ, бурями, подводными скалами; тяжело его поприще; но развѣ необходимо этому поприщу быть трагичнымъ? на одинъ корабль, который будетъ разбитъ бурей о подводныя скалы, приходится сотня кораблей, которые невредимы достигаютъ гавани. Пусть всегда нужна борьба; но не всегда борьба бываетъ несчастна. А счастливая борьба, какъ бы ни была она тяжела, не страданіе, а наслажденіе, не трагична, а только драматична. И не правда ли, что если приняты всѣ нужныя предосторожности, то почти всегда дѣло кончается счастливо? Гдѣ же необходимость трагическаго въ природѣ? Трагическое въ борьбѣ съ природою случайность. Этимъ однимъ разрушается теорія, видящая въ немъ «законъ вселенной». — «Но общество? но другіе люди? развѣ не долженъ выдержать съ ними тяжелую борьбу всякій великій человѣкъ»? Опять надобно сказать, что не всегда сопряжены съ тяжелою борьбою великія событія въ исторіи, но что мы, по злоупотребленію языка, привыкли называть великими собы-

тіями только тѣ, которыя были сопряжены съ тяжелою борьбою. Крещеніи франковъ было великимъ событіемъ; но гдѣ же при немъ тяжелая борьба? Не было тяжелой борьбы и при крещеніи русскихъ. Трагична ли судьба великихъ людей? Иногда трагична, иногда не трагична, какъ и участь мелкихъ людей; необходимости тутъ нѣтъ никакой. И даже надобно вообще сказать, что участь великихъ людей обыкновенно бываетъ легче участи незамѣчательныхъ людей; впрочемъ опять не отъ особеннаго расположенія судьбы къ замѣчательнымъ или нерасположенія къ незамѣчательнымъ людямъ, а просто потому, что у первыхъ больше силъ, ума, энергіи, что другіе люди больше питаютъ къ нимъ уваженія, сочувствія, скорѣе готовы содѣйствовать имъ. Если въ людяхъ есть склонность завидовать чужому величію, то еще больше въ нихъ склонности уважать величіе; общество будетъ благоговѣть предъ великимъ человѣкомъ, если нѣтъ особенныхъ, случайныхъ причинъ обществу считать его вреднымъ для себя. Трагична или не трагична судьба великаго человѣка, зависитъ отъ обстоятельствъ; и въ исторіи меньше можно встрѣтить великихъ людей, участь которыхъ была трагична, нежели такихъ, въ жизни которыхъ много было драматизма, но не было трагичности. Крезъ, Помпей, Юлій Цезарь имѣли трагическую судьбу; но Нума Помпилій, Марій, Сулла, Августъ окончили свое поприще очень счастливо. Что можно найти трагическаго въ судьбѣ Карла Великаго, Петра Великаго, Фридриха II, въ жизни Лютера, Вольтера, Гёте, Вальтеръ-Скотта? Борьбы въ жизни этихъ людей было много; но, говоря вообще, надобно сознаться, что удача и счастье были на ихъ сторонѣ. А если Сервантесъ умеръ въ нищетѣ, то развѣ не умираютъ въ нищетѣ тысячи незамѣчательныхъ людей, которые могли бы не меньше Сервантеса разсчитывать на счастливую развязку въ жизни и по своей незначительности вовсе не могли подлежать закону трагизма? Случайности жизни безразлично поражаютъ замѣчательныхъ и незамѣчательныхъ людей, безразлично благопріятствуютъ тѣмъ и другимъ. Но продолжаемъ нашъ обзоръ и отъ общаго понятія о трагическомъ переходимъ къ трагическому «простой вины».

«Въ характерѣ великаго человѣка, — говоритъ господствующая эстетическая теорія, — всегда есть слабая сторона; въ дѣйствованіи замѣчательнаго человѣка есть всегда что-нибудь ошибочное или преступное. Эта слабость, проступокъ, преступленіе губятъ его. А

между тѣмъ они необходимо лежатъ въ глубинѣ его характера, такъ что великій человѣкъ гибнетъ отъ того же самаго, въ чемъ источникъ его величія». Не подвержено никакому сомнѣнію: что часто бываетъ это на самомъ дѣлѣ: безконечныя войны возвысили Наполеона; онъ же и низвергли его; почти то же было и съ Людовикомъ XIV. Но не всегда бываетъ такъ. Часто великій человѣкъ погибаетъ безъ всякой вины съ своей стороны. Такъ погибъ Генрихъ IV и съ нимъ вмѣстѣ палъ Сюлли. До нѣкоторой степени это безвинное паденіе находимъ и въ трагедіяхъ, несмотря на то что авторы ихъ бывали связаны своими понятіями: неужели Дездемона была въ самомъ дѣлѣ причиною своей гибели? всякій видитъ, что одні гнусныя хитрости Яго погубили ее. Неужели Ромео и Джульетта сами причиною своей гибели? Конечно, если мы захотимъ непремѣнно въ каждомъ погибающемъ видѣть преступника, то можемъ обвинять всѣхъ: Дездемона виновата тѣмъ, что была невинна душою и слѣдовательно не могла предвидѣть клеветы; Ромео и Джульетта виноваты тѣмъ, что любятъ другъ друга. Мысль видѣть въ каждомъ погибающемъ виноватаго—мысль натянутая и жестокая. Связь ея съ идеею греческой судьбы и различными ея видоизмѣненіями очень ясна. Здѣсь можно указать на одну сторону этой связи: по греческимъ понятіямъ о судьбѣ, въ гибели своей бываетъ всегда виноватъ самъ человѣкъ; еслибы онъ поступилъ иначе, его не постигла бы гибель.

Другой родъ трагическаго, трагическое нравственнаго столкновенія, эстетика выводитъ изъ той же мысли, только взятой наоборотъ: въ трагическомъ простой вины основаніемъ трагической судьбы считаютъ мнимую истину, что каждое бѣдствіе, и особенно величайшее изъ бѣдствій, гибель, есть слѣдствіе преступленія; въ трагическомъ нравственнаго столкновенія новѣйшіе эстетики исходятъ отъ мысли, что за преступленіемъ всегда слѣдуетъ наказаніе преступника или гибелью или мученіями его собственной совѣсти. И эта мысль явнымъ образомъ ведетъ свое начало отъ преданія о фуріяхъ, бичующихъ преступника. Само собою разумѣется, что въ ней подъ преступленіями разумѣются не въ частности уголовныя преступленія, которыя всегда наказываются государственными законами, а вообще нравственныя преступленія, которыя могутъ быть наказаны только или стеченіемъ обстоятельствъ, или общественнымъ мнѣніемъ, или совѣстью самого преступника.

Что касается до наказанія посредствомъ стеченія обстоятельствъ, то мы уже давно подсмѣиваемся надъ старинными романами, въ которыхъ «всегда подъ конецъ торжествовала добродѣтель и наказывался порокъ». Правда, мы могли бы не забывать при томъ, что и въ наше время пишутся подобные романы (въ примѣръ укажемъ на большую часть Диккенсовыхъ). Но мы во всякомъ случаѣ начинаемъ понимать, что земля не мѣсто суда, а мѣсто жизни. Однако романистамъ и эстетикамъ все-таки непремѣнно хочется, чтобы порокъ и преступленіе наказывались на землѣ. И вотъ явилась теорія, утверждающая, что они всегда наказываются общественнымъ мнѣніемъ и угрызениями совѣсти. Но и это бываетъ не всегда. Что касается до общественного мнѣнія, то оно преслѣдуетъ далеко не всѣ нравственные преступленія. А если голосъ общества не пробуждаетъ ежеминутно нашей совѣсти, то въ самой большей части случаевъ она и не проснется въ насъ, или, проснувшись, очень скоро заснетъ. Всякій образованный человѣкъ понимаетъ, какъ смѣшно смотрѣть на міръ тѣми глазами, какими смотрѣли греки геродотовскихъ временъ; всякій нынѣ очень хорошо понимаетъ, что въ страданіи и гибели великихъ людей нѣтъ ничего необходимаго; что не всякій гибнущій человѣкъ гибнетъ за свои преступленія, что не всякій преступникъ погибаетъ; что не всякое преступленіе наказывается судомъ общественного мнѣнія, и проч. Поэтому нельзя не сказать, что трагическое не всегда пробуждаетъ въ насъ идею необходимости и что вовсе не въ идеѣ необходимости основаніе дѣйствія его на человѣка и сущность его. Въ чемъ же сущность трагическаго?

Трагическое есть страданіе или гибель человѣка — этого совершенно достаточно, чтобы исполнить насъ ужасомъ и состраданіемъ, хотя бы въ этомъ страданіи, въ этой гибели и не проявлялась никакая «безконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость причина страданія и гибели человѣка — все равно, страданіе и гибель ужасны. Намъ говорятъ: «чисто случайная гибель — нелѣпость въ трагедіи» — въ трагедіяхъ, писанныхъ авторами, можетъ быть; въ дѣйствительной жизни — нѣтъ. Въ поэзіи авторъ считаетъ необходимою обязанностью «выводить развязку изъ самой завязки»; въ жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участь можетъ быть совершенно случайною, не переставая быть трагическою. Мы согласны,

что трагична участь Макбета и леди Макбетъ, необходимо вытекающая изъ ихъ положенія и дѣлъ. Но неужели не трагична участь Густава-Адольфа, который погибъ совершенно случайно въ битвѣ подъ Люценомъ, на пути торжества и побѣдъ? Опредѣленіе:

трагическое есть ужасное въ человѣческой жизни,

кажется, будетъ совершенно-полнымъ опредѣленіемъ трагического въ жизни и въ искусствѣ. Правда, что большая часть произведеній искусства даетъ право прибавить: «ужасное, постигающее человѣка болѣе или менѣе неизбежно»; но во-первыхъ сомнительно, до какой степени справедливо поступаетъ искусство, представляя это ужасное почти всегда неизбежнымъ, когда въ самой дѣйствительности оно бываетъ болѣею частію вовсе не неизбежно, а чисто случайно; во-вторыхъ, кажется, что очень часто только по привычкѣ доискиваться во всякомъ великомъ произведеніи искусства «необходимаго сцѣпленія обстоятельствъ», «необходимаго развитія дѣйствія изъ сущности самаго дѣйствія» мы находимъ, съ грѣхомъ пополамъ, «необходимость въ ходѣ событій» и тамъ, гдѣ ея вовсе нѣтъ, напримѣръ въ большей части трагедій Шекспира.

Съ господствующимъ опредѣленіемъ комического: «комическое есть перевѣсъ образа надъ идеєю», иначе сказать: внутренняя пустота и ничтожность, прикрываемаяя внѣшностью, имѣющею притязаніе на содержаніе и реальное значеніе, нельзя не согласиться; но вмѣстѣ съ тѣмъ надобно сказать, что слишкомъ ограничиваютъ понятіе комического, противопоставляя его, для сохраненія діалектическаго метода развитія понятій, только понятію возвышеннаго. Комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному. Возвышенное, по изложенію самого Фишера, можетъ быть безобразнымъ: какимъ же образомъ комическое безобразное противоположно возвышенному, когда они различны между собою не сущностью, а степенью, не качествомъ, а количествомъ, когда безобразное мелочное принадлежитъ къ комическому, безобразное огромное или страшное принадлежитъ къ возвышенному?—Что безобразное противоположно прекрасному, ясно само по себѣ.

Окончивъ разборъ понятій о сущности прекраснаго и возвышеннаго, должно теперь перейти къ разбору господствующихъ взглядовъ на различные способы осуществленія идеи прекраснаго.

Здѣсь-то, кажется, сильнѣе всего выказывается важность основныхъ понятій, анализъ которыхъ занялъ такъ много страницъ въ этомъ очеркѣ: отступленіе отъ господствующаго взгляда на сущность того, что служить главнѣйшимъ содержаніемъ искусства, необходимо ведетъ къ измѣненію понятій и о самой сущности искусства. Господствующая нынѣ система эстетики совершенно справедливо различаетъ три формы существованія прекраснаго, подъ которыми понимаются въ ней, какъ его видоизмѣненія, также возвышенное и комическое. (Мы будемъ говорить только о прекрасномъ, потому что было бы утомительно повторять три раза одно и то же: все, что говорится въ господствующей нынѣ эстетикѣ о прекрасномъ, совершенно прилагается въ ней къ его видоизмѣненіямъ; точно также наша критика господствующихъ понятій о различныхъ формахъ прекраснаго и наши собственные понятія объ отношеніи прекраснаго въ искусствѣ къ прекрасному въ дѣйствительности вполне прилагаются и ко всѣмъ остальнымъ элементамъ, входящимъ въ содержаніе искусства, а въ числѣ ихъ къ возвышенному и комическому).

Три различныя формы, въ которыхъ существуетъ прекрасное, слѣдующія: прекрасное въ дѣйствительности (или въ природѣ, если захотимъ удержать философскую терминологию), прекрасное въ фантазії и прекрасное въ искусствѣ (въ объективномъ существованіи, придаваемомъ ему творческою фантазіею человѣка). Первый изъ основныхъ вопросовъ, здѣсь встрѣчающихся,—вопросъ объ отношеніи прекраснаго въ дѣйствительности къ прекрасному въ фантазії и въ искусствѣ. Господствующая нынѣ система эстетическихъ понятій рѣшаетъ его такъ: прекрасное въ объективной дѣйствительности имѣетъ недостатки, уничтожающіе красоту его, и наша фантазія поэтому принуждена прекрасное, находимое въ объективной дѣйствительности, передѣлывать для того, чтобы, освободивъ его отъ недостатковъ, неразлучныхъ съ реальнымъ его существованіемъ, сдѣлать его истинно прекраснымъ. Фишеръ полнѣе и рѣче другихъ эстетиковъ входитъ въ анализъ недостатковъ объективнаго прекраснаго. Потому его анализъ и должно подвергнуть критикѣ. Для избѣжанія упрека въ томъ, что преднамѣренно смягчилъ я недостатки, выставляемые на видъ нѣмецкими эстетиками въ объективномъ прекрасномъ, я долженъ буквально привести здѣсь Фи-

перову критику прекраснаго въ дѣйствительности (Aesthetik, II. Theil, Seite 299 und folg.).

«Внутренняя несостоятельность всей объективной формы существованія прекраснаго открывается въ томъ, что красота находится въ чрезвычайно щаткомъ отношеніи къ цѣлямъ историческаго движенія даже и на томъ поприщѣ, гдѣ она кажется наиболѣе обезпеченною (т. е. въ человѣкѣ; историческія событія часто уничтожаютъ много прекраснаго; напримѣръ, говоритъ Фишеръ, реформація уничтожила веселую привольность и пестрое разнообразіе нѣмецкой жизни, XIII—XV столѣтій). Но вообще очевидно, что предполагаемая въ § 234 благосклонность случая рѣдко имѣетъ мѣсто въ дѣйствительности (§ 234 говоритъ: для бытія красоты необходимо, чтобы при осуществленіи прекраснаго не было вмѣшательства вредныхъ случайностей (der störende Zufall)). Сущность случайности состоитъ въ томъ, что она можетъ быть и не быть или быть иначе, слѣдственно вредная случайность можетъ иногда и не быть въ предметѣ. Потому кажется, что вмѣстѣ съ безобразными индивидуумами должны быть и истинно-прекрасные). Кромѣ того именно по самой живости (Lebendigkeit), составляющей неотъемлемое преимущество прекраснаго въ дѣйствительности, красота его мимолетна; основаніе этой мимолетности въ томъ, что прекрасное въ дѣйствительности возникаетъ не изъ стремленія къ прекрасному; оно возникаетъ и существуетъ по общему стремленію природы къ жизни, при осуществленіи котораго появляется только вслѣдствіе случайныхъ обстоятельствъ, а не какъ что-нибудь преднамѣренное (alles Naturschöne nicht gewollt ist). Проблески прекраснаго рѣдки въ исторіи; рѣдко воплѣтъ прекрасное и въ природѣ вообще. Въ извѣстномъ своемъ письмѣ Рафаэль, жившій въ странѣ красоты, жалуется на *carentia di belle donne*; и не часто встрѣчаются въ Римѣ такія модели, какова была Витторія изъ Альбано во время Румора. «Послѣднее созданіе все выше и выше стремящейся природы—прекрасный человѣкъ. Правда, рѣдко создаетъ она его, потому что слишкомъ много условій, противодействующихъ ея идеямъ» (Гёте). Все живущее имѣетъ множество враговъ. Борьба съ ними можетъ быть возвышенною или комическою; но рѣдки случаи, когда безобразное переходитъ въ комическое или возвышенное. Мы стоимъ среди жизни и ея бесконечно разнообразныхъ отношеній. Потому прекрасное въ природѣ живо; но, находясь среди неисчислимо разнообразныхъ отношеній, оно подвергается столкновеніямъ, порцѣ со всѣхъ сторонъ; потому что природа заботится о всей массѣ предметовъ, а не объ одномъ отдѣльномъ предметѣ, ей нужно сохраненіе, а не собственное красота. Если такъ, то для природы нѣтъ потребности поддерживать прекраснымъ и то немногое прекрасное, которое она случайно производитъ: жизнь стремится впередъ, не заботясь о гибели образа, или сохраняетъ его только искаженными. «Природа борется изъ-за жизни и бытія, изъ-за сохраненія и размноженія своихъ произведеній не заботясь о ихъ красотѣ или безобразіи. Форма, отъ рожденія предназначенная быть прекрасною, можетъ случаемъ повредиться въ какой-нибудь части; тотчасъ же страдаютъ отъ этого и другія части; потому что природѣ тогда бываютъ нужны силы для

возстановленія поврежденной части, и она отнимаетъ ихъ у другихъ частей, что необходимо вредитъ ихъ развитію. Существо становится уже не такимъ, какимъ должно было быть, а такимъ, какимъ можетъ быть» (Гёте, въ примѣч. къ Дидро). Замѣтно или незамѣтно, поврежденія повторяются и увеличиваются, пока все существо разрушится. Мимолетность, непрочность—скорбная участь всего прекраснаго въ природѣ. Нетолько прекрасное освѣщеніе пейзажа, но и цвѣтущая пора органической жизни—одно мгновеніе. «Говоря строго, можно сказать, что только въ продолженіе одного мгновенія прекрасенъ прекрасный человѣкъ».—«Чрезвычайно непродолжительный періодъ времени, въ теченіе котораго человѣческое тѣло можетъ называться прекраснымъ» (Гёте). Правда, изъ увядшей красоты юности развивается высшая красота—красота характера, которую возрѣніе замѣчаетъ въ чертахъ фізіогноміи и въ поступкахъ. Но и эта красота мимолетна; потому что характеръ заботится о нравственныхъ цѣляхъ, а не о красотѣ фигуры и движеній при ихъ достиженіи... Въ одно время личность бываетъ исполнена сознаніемъ своей нравственной цѣли, является такъ, какъ есть, прекрасною въ глубочайшемъ смыслѣ слова; но въ другое время человѣкъ занятъ бываетъ чѣмъ-нибудь имѣющимъ только посредственную связь съ цѣлью жизни его, и при этомъ истинное содержаніе характера не проявляется въ выраженіи лица; иногда человѣкъ бываетъ занятъ дѣломъ, возлагаемымъ на него только житейскою или жизненнымъ необходимою, и при этомъ всякое высшее выраженіе погребено подъ равнодушіемъ или скукою, неохотою. Такъ бываетъ и во всѣхъ сферахъ природы, принадлежать ли онѣ или нѣтъ къ нравственной области... Эта группа сражающихся воиновъ располагается и движется, какъ будто бы воспламененная духомъ Марса; но чрезъ минуту она разсыпалась, движенія перестали быть прекрасны, лучшіе люди лежатъ ранены или убиты: эти воины не *tableau vivant*, они думаютъ о битвѣ, а не о томъ, чтобъ ихъ битва имѣла прекрасный видъ. Непредназначенность (*das Nichtgewolltsein*) сущность всего прекраснаго въ природѣ; она лежитъ въ его сущности до такой степени, что на насъ чрезвычайно неспрiятно дѣйствуетъ, если мы замѣчаемъ въ сферѣ реальнаго-прекраснаго какой бы то ни было предназнѣренный расчетъ именно на красоту. Красота, сознающая свою красоту и занимающаяся ею, учащаяся предъ зеркаломъ быть прекрасною, суетна, т. е. ничтожна. Аффектація красоты въ дѣйствительно существующемъ совершенная противоположность истинной граціи... Случайность, непредназначенность красоты, ея незнаніе о самой себѣ—зерно смерти, но и прелесть прекраснаго въ дѣйствительности; такъ что въ сознательной сферѣ прекрасное исчезаетъ въ ту минуту, какъ узнаетъ о своей красотѣ, начинаетъ любоваться на нее. Наявность простаго человѣка погибаетъ, какъ скоро касается до него цивилизація; народныя плѣни исчезаютъ, когда обращаютъ на нихъ вниманіе, начинаютъ собирать ихъ; живописный костюмъ полудикихъ народовъ перестаетъ имъ нравиться, когда они видятъ кокетливый фракъ живописца, пришедшаго изучать ихъ; если цивилизація, прельстившись живописнымъ нарядомъ, хочетъ сохранить его, онъ уже обратился въ маску, и народъ покидаетъ его.

«Но благопріятность случая не только рѣдка и мимолетна,—она вообще

должна считаться благоприятною только относительно: вредная, искажающая случайность всегда оказывается въ природѣ не вполне побѣжденною, если мы отбросимъ свѣтлую маску, накидываемую отдаленностью мѣста и времени на воспріятіе (*Wahrnehmung*) прекраснаго въ природѣ, и строже всмотримся въ предметъ; искажающая случайность вноситъ въ прекрасную, повидимому, группировку нѣсколькихъ предметовъ много такого, что вредитъ ея полной красотѣ; мало того, эта вредящая случайность вторгается и въ отдѣльный предметъ, который казался намъ сначала вполне прекрасенъ, и мы видимъ, что ничто не изъято отъ ея владычества. Если мы сначала не замѣчали недостатковъ, это происходило изъ другой благоприятности случая — изъ счастливаго расположенія нашего духа, которое дѣлало субъектъ способнымъ видѣть предметъ съ точки зрѣнія чистой формы. Ближайшимъ образомъ такое расположеніе духа возбуждаетъ въ насъ самый предметъ своею относительно чистою отъ искажающаго случая.

Надобно только ближе посмотрѣть на прекрасное въ дѣйствительности, чтобы убѣдиться, что оно не истинно прекрасно: тогда будетъ ясно, что мы до сихъ поръ только скрывали отъ себя очевидную истину. Эта истина — необходимое и повсемѣстное владычество искажающаго случая. Не мы должны доказывать, что оно простирается рѣшительно на все, а нуждалась бы въ доказательствахъ противоположная мысль, нуждалось бы въ доказательствахъ мнѣніе, что, при безконечно-разнообразномъ и тѣсномъ сдѣленіи всего въ мірѣ, какой бы то ни было отдѣльный предметъ можетъ сохраниться въ цѣлости отъ всѣхъ препятствій, помѣхъ, искажающихъ столкновѣній. Мы должны только изслѣдовать, откуда происходитъ обольщеніе, говорящее нашимъ чувствамъ, будто бы иные предметы составляютъ исключеніе изъ общаго закона подвластности искажающему случаю; это мы сдѣлаемъ вполнѣ послѣдствіи; а теперь покажемъ только, что видимыя исключенія изъ общаго правила дѣйствительно составляютъ обольщеніе, призракъ (*ein Schein*). Нѣкоторые прекрасные предметы составляютъ соединеніе многихъ предметовъ; въ этомъ случаѣ, всматриваясь внимательно, мы всегда найдемъ во-первыхъ, что мы видимъ эти предметы въ такой связи, въ такомъ соотношеніи только потому, что случайно стали на извѣстное мѣсто, случайно смотримъ на нихъ съ извѣстной точки зрѣнія. Особенно прилагается это къ ландшафтамъ: ихъ равнины, горы, деревья ничего не знаютъ другъ о другѣ; имъ не можетъ вздуматься соединиться въ живописное цѣлое; въ стройныхъ очеркахъ и краскахъ мы ихъ видимъ только потому, что сами стоимъ на томъ, а не на другомъ мѣстѣ. Но и съ этой благоприятной точки зрѣнія мы найдемъ здѣсь кустарникъ, тамъ холмъ, нарушающій гармонию; тутъ недостатокъ возвышенія, тамъ тѣни; и мы должны будемъ сознаться, что внутренний глазъ передѣлывалъ, дополнялъ, исправлялъ ландшафтъ. То же самое бываетъ и съ движущеюся, дѣйствующею группою живыхъ существъ. Иногда сцена можетъ быть въ самомъ дѣлѣ полна значенія и выраженія, но въ ней группы, существенно связанныя, раздѣлены пространствомъ; внутренний глазъ опять уничтожаетъ его, сближаетъ связанное, выбрасываетъ ненужное, лишнее. Другіе предметы прекрасны въ отдѣльности. Тогда мы отказываемся отъ красоты обстановки, выпускаемъ обстановку, изъ

самаго воззрѣнія, совершаемъ актъ отдѣленія предмета отъ обстановки, большею частію безсознательно и безнамѣренно; когда красавица входитъ въ общество, наши глаза устремляются исключительно на нее, мы забываемъ о другихъ лицахъ. Но и въ томъ и въ другомъ случаѣ, въ отдѣльномъ ли предметѣ мы находимъ красоту, или въ сгруппировкѣ предметовъ, слѣдствіе будетъ одно и то же, если мы строже рассмотримъ красоту. На поверхности прекраснаго предмета мы откроемъ то же, что въ прекрасной сгруппировкѣ предметовъ: между прекрасными частями найдутся непрекрасныя, и найдутся онѣ въ каждомъ предметѣ, какъ бы ни благоприятствовала ему счастливая случайность. Хорошо еще, что нашъ глазъ не микроскопъ, и простое зрѣніе уже идеализируетъ предметы; иначе грязь и инфузориі въ чистѣйшей водѣ, нечистоты на нѣжнѣйшей кожѣ разрушали бы для насъ всякую красоту. Мы видимъ только при извѣстной степени отдаленія. А отдаленность идеализируетъ уже сама по себѣ. Она не только скрываетъ нечистоту поверхности, но и вообще сглаживаетъ подробности состава тѣлъ, приковывающія ихъ къ землѣ, отнимаетъ пошлую ясность, точность, считающую песчинки, ставящую «каждое лыко въ строку». Такъ уже самый процессъ зрѣнія беретъ на себя часть труда возведенія предмета къ чистой формѣ. Отдаленность во времени дѣйствуетъ такъ же, какъ отдаленность въ пространствѣ: исторія и воспоминаніе передаютъ намъ не всѣ мелкія подробности о великомъ человѣкѣ или великомъ событіи; они умалчиваютъ о мелкихъ второстепенныхъ мотивахъ великаго явленія, о его слабыхъ сторонахъ; они умалчиваютъ о томъ, сколько времени въ жизни великихъ людей было потрачено на одѣванье и раздѣванье, ѣду, питье, насморкъ и т. п. Но мало того, что чрезъ это скрывается отъ насъ мелочное и мѣшающее красотѣ: при внимательномъ разсмотрѣніи даже въ прекраснѣйшемъ, повидимому, предметѣ мы ясно замѣчаемъ очень много важныхъ и неважныхъ недостатковъ. Если бы, напр., въ человѣческой фигурѣ и не было отпечатлѣнно никакихъ искажающихъ случайностей на поверхности, то въ основныхъ формахъ непременно замѣчался нами какое-нибудь нарушеніе пропорціональности. Это ясно будетъ, какъ только мы взглянемъ на гипсовую модель, въ точности снятую съ дѣйствительнаго лица. Руморъ, въ предисловіи къ своимъ «Итальянскимъ изслѣдованіямъ», чрезвычайно перепуталъ всѣ относящіяся сюда понятія: онъ хотѣлъ обличить ложность фальшиваго идеализма въ искусствѣ, стремящагося улучшать природу въ ея чистыхъ и постоянныхъ формахъ; онъ справедливо говоритъ противъ подобнаго идеализма, что искусство не можетъ передѣлывать неизмѣнныхъ формъ природы, которыя даются ему природою необходимо и неизмѣнно. Но вопросъ въ томъ, находятся ли въ дѣйствительности въ совершенно чистомъ развитіи основныя, ненарушимыя для искусства формы природы. Руморъ отвѣчаетъ на это, что «природа не отдѣльный предметъ, представляющійся намъ подъ владычествомъ случая, а совокупность всѣхъ живыхъ формъ, совокупность всего произведеннаго природою, или, лучше сказать, сама производящая сила»—ей долженъ предаться художникъ, не довольствуясь отдѣльными моделями. Это совершенно справедливо. Но Руморъ впадаетъ потомъ въ натурализмъ, который хотѣлъ преслѣдовать, какъ и дожный идеализмъ; его положеніе, что «природа наилучшимъ

образомъ выражаетъ все своими формами», становится опаснымъ, когда онъ предлагаетъ его къ отдѣльному явленію, и, противорѣча тому, что самъ сказалъ выше, утверждаетъ, будто бы въ дѣйствительности бывають «совершенныя модели», какъ, напр., «Витторія изъ Альбано, которая была прекраснѣе всѣхъ созданій искусства въ Римѣ, красота которой была недосыгаема для художниковъ». Мы твердо убѣждены, что ни одинъ изъ художниковъ, бравшихъ ее моделью, не могъ перенести въ свое произведеніе всѣхъ ея формъ въ томъ видѣ, въ какомъ находилъ, потому что Витторія была отдѣльная красавица, а индивидуумъ не можетъ быть абсолютнымъ — этимъ дѣло рѣшается, больше мы не хотимъ и говорить о вопросѣ, который предлагаетъ Руморъ. Если даже согласимся, что въ Витторіи были совершенны всѣ основныя формы, то кровь, теплота, процессъ жизни съ искажающими красоту подробностями, слѣды которыхъ остаются на кожѣ, всѣ эти подробности были бы достаточны, чтобы поставить живое существо, о которомъ говоритъ Руморъ, несравненно ниже тѣхъ высокихъ произведеній искусства, которыя имѣютъ только вображаемую кровь, теплоту, процессъ жизни на кожѣ и т. д....

Итакъ предметъ, принадлежащій къ рѣдкимъ явленіямъ красоты, какъ показываетъ ближайшее разсмотрѣніе, не истинно прекрасенъ, а только ближе другихъ къ прекрасному, свободнѣе отъ искажающихъ случайностей.

Прежде нежели подвергнемъ критикѣ отдѣльные упреки, дѣлаемые прекрасному въ дѣйствительности, смѣло можно сказать, что оно истинно прекрасно и вполне удовлетворяетъ здороваго человѣка, несмотря на всѣ свои недостатки, какъ бы ни были они велики. Конечно, праздная фантазія можетъ о всемъ говорить: «здѣсь это не такъ, этого недостаетъ, это лишнее»; но такое развитіе фантазіи, недовольствующейся ничѣмъ, надобно признать болѣзненнымъ явленіемъ. Здоровый человѣкъ встрѣчаетъ въ дѣйствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые не приходится ему въ голову желать, чтобы они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнѣніе, будто человѣку непремѣнно нужно «совершенство», — мнѣніе фантастическое, если подѣ «совершенствомъ» понимать такой видъ предмета, который бы совмѣщалъ всѣ возможныя достоинства и былъ чуждъ всѣхъ недостатковъ, какіе отъ нечего дѣлать можетъ отыскать въ предметѣ фантазія человѣка съ холоднымъ или пресыщеннымъ сердцемъ. «Совершенство» для меня то, что для меня вполне удовлетворительно въ своемъ родѣ. А такихъ явленій видитъ здоровый человѣкъ въ дѣйствительности очень много. Когда у человѣка сердце пусто, онъ можетъ давать волю своему воображенію; но какъ скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная дѣйствительность, крылья фантазіи связаны. Фантазія вообще овладѣваетъ нами только тогда, когда мы слишкомъ скудны въ дѣйстви-

тельности. Лежа на голыхъ доскахъ, человѣку иногда приходитъ въ голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханнаго драгоцѣннаго дерева, о пуховикѣ изъ гагачьяго пуха, о подушкахъ съ брабантскими кружевами, о пологѣ изъ какой-то невообразимой ліонской матеріи; но неужели станеть мечтать обо всемъ этомъ здоровый человѣкъ, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель? «Отъ добра добра не ищутъ». Если человѣку пришлось жить среди сибирскихъ тундръ или въ заводскихъ солончакахъ, онъ можетъ мечтать о волшебныхъ садахъ съ невиданными на землѣ деревьями, у которыхъ коралловые вѣтви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но переселившись въ какую-нибудь Курскую губернію, получивъ полную возможность гулять досыта по небогатому, но сносному саду съ яблонями, вишнями, грушами, мечтатель навѣрное забудеть не только о садахъ Тысячи и одной ночи, но и о лимонныхъ рощахъ Испаніи. Воображеніе строить свои воздушные замки тогда, когда нѣтъ на дѣлѣ не только хорошаго дома, даже сносной избушки. Оно развигрывается тогда, когда незаняты чувства; бѣдность дѣйствительной жизни источникъ жизни въ фантазіи. Но едва дѣлается дѣйствительность сколько нибудь ссною, скучны и блѣдны кажутся намъ предъ нею всѣ мечты воображенія. Мнѣнія, будто бы «желанія человѣческія безпредѣльны», ложно въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимается обыкновенно, въ смыслѣ, что «никакая дѣйствительность не можетъ удовлетворить ихъ»; напротивъ, человѣкъ удовлетворяется не только «наилучшимъ, что можетъ быть въ дѣйствительности», но и довольно посредственною дѣйствительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самомъ дѣлѣ, отъ того, что только говорится. Желанія раздражаются мечтательнымъ образомъ до горючечнаго напряженія только при совершенномъ отсутствіи здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это фактъ, доказываемый всей исторіей человѣчества и испытанный на себѣ всякимъ, кто жилъ и наблюдалъ себя. Онъ составляетъ частный случай общаго закона человѣческой жизни, что страсти достигаютъ ненормальнаго развитія только вслѣдствіе ненормальнаго положенія предающагося имъ человѣка, и только въ такомъ случаѣ, когда естественная и въ сущности довольно спокойная потребность изъ которой возникаетъ та или другая страсть, слишкомъ долго не находила себѣ соотвѣтственнаго удовлетворенія, спокойнаго и далеко не титани-

ческаго. Несомнѣнно то, что организмъ человѣка не требуетъ и не можетъ выносить титаническихъ стремленій и удовлетвореній; несомнѣнно и то, что въ здоровомъ человѣкѣ стремленія соразмѣрны съ силами организма. Съ этой общей точки перейдемъ на другую, специальную.

Извѣстно, что чувства наши скоро утомляются и пресыщаются, т. е. удовлетворяются. Это справедливо не только относительно низшихъ чувствъ (осязанія, обонянія, вкуса), но также и относительно высшихъ—зрѣнія и слуха. Съ чувствами зрѣнія и слуха неразрывно соединено эстетическое чувство, и не можетъ быть мыслимо безъ нихъ. Когда у человѣка отъ утомленія исчезаетъ охота смотрѣть на прекрасное, не можетъ не исчезать и потребность эстетическаго наслажденія этимъ прекраснымъ. И если человѣкъ не можетъ цѣлый мѣсяцъ ежедневно смотрѣть не утомляясь на картину, хотя бы Рафаэлевскую, то нѣтъ сомнѣнія, что не одни глаза его, но также и чувство эстетическое пресытилось, удовлетворено на нѣкоторое время. Что достоверно относительно продолжительности наслажденія, то же самое должно сказать и объ его интенсивности. При нормальномъ удовлетвореніи сила эстетическаго наслажденія имѣетъ свои предѣлы. Если она иногда переходитъ ихъ, это бываетъ слѣдствіемъ не внутренняго и натурального развитія, а особенныхъ обстоятельствъ, болѣе или менѣе случайныхъ и ненормальныхъ (напр., мы особенно восторженно восхищаемся прекраснымъ, когда знаемъ, что скоро должны будемъ разстаться съ нимъ, что не будемъ имѣть столько времени наслаждаться имъ, сколько намъ хотѣлось бы и т. п.). Однимъ словомъ, нѣтъ, повидимому, возможности подвергать сомнѣнію фактъ, что наше эстетическое чувство, подобно всѣмъ другимъ, имѣетъ свои нормальныя границы относительно продолжительности и интенсивности своего напряженного состоянія и что въ этихъ двухъ смыслахъ нельзя называть его ненасытнымъ или безконечнымъ.

Точно также оно имѣетъ границы—и довольно тѣсныя—относительно своей разборчивости, тонкости, требовательности или такъ называемой жажды совершенства. Мы будемъ впослѣдствіи имѣть случай говорить, какъ многое даже вовсе не первокласное по красотѣ своей удовлетворяетъ эстетическому чувству въ дѣйствительности. Здѣсь мы хотимъ сказать, что и въ области искусства разборчивость его въ сущности очень снисходительна. За одно какое-нибудь достоинство мы прощаемъ произведенію искусства сотни

недостатковъ; даже не замѣчаемъ ихъ, если только они не слишкомъ безобразны. Въ примѣръ довольно указать на большую часть произведеній римской поэзіи. Не восхищаться Горациемъ, Виргилиемъ, Овидіемъ можетъ только тотъ, у кого недостаетъ эстетическаго чувства. А сколько въ этихъ поэтахъ слабыхъ сторонъ! Собственно говоря, все въ нихъ слабо, кромѣ одного—отдѣлки языка и развитія мыслей. Содержанія у нихъ или вовсе нѣтъ или оно самое ничтожное: самостоятельности нѣтъ; свѣжести нѣтъ; простоты нѣтъ; у Виргилія и Горациа почти нигдѣ нѣтъ даже искренности и увлеченія. Но пусть критика указываетъ намъ всѣ эти недостатки—съ тѣмъ вмѣстѣ она прибавляетъ, что форма у этихъ поэтовъ доведена до высокаго совершенства, и нашему эстетическому чувству довольно этой одной капли хорошаго, чтобы удовлетворяться и наслаждаться. А между тѣмъ даже и въ отдѣлкѣ формы у всѣхъ этихъ поэтовъ есть значительные недостатки: Овидій и Виргилій почти всегда растянуты; очень часто растянуты и Горациевы оды; монотонность во всѣхъ трехъ поэтахъ чрезвычайно велика; часто непріятнымъ образомъ бросается въ глаза искусственность, натянутость. Нужды нѣтъ, все-таки остается въ нихъ нѣчто хорошее, и мы наслаждаемся. Какъ совершенную противоположность этимъ поэтамъ внѣшней отдѣлки можно привести въ примѣръ народную поэзію. Какова бы ни была первоначальная форма народныхъ пѣсенъ, но до насъ доходятъ онѣ почти всегда искаженными, передѣланными или растерзанными на куски; монотонность ихъ также очень велика; наконецъ есть во всѣхъ народныхъ пѣсняхъ механическіе приемы, проглядываютъ общія пружины, безъ помощи которыхъ никогда не развиваютъ онѣ своихъ темъ; но въ народной поэзіи очень много свѣжести, простоты,—и этого довольно для нашего эстетическаго чувства, чтобы восхищаться народною поэзіею.

Однимъ словомъ, какъ и всякое здоровое чувство, какъ всякая истинная потребность, эстетическое чувство имѣетъ больше стремленія удовлетворяться, нежели требовательности въ претензіяхъ; оно по своей натурѣ радуется удовлетворяясь, недовольно отсутствіемъ пищи, потому готово удовлетворяться первымъ сноснымъ предметомъ. Малотребовательность эстетическаго чувства доказывается и тѣмъ, что, имѣя первоклассныя произведенія, оно вовсе не пренебрегаетъ второклассными. Рафаэлевы картины не заставляютъ насъ находить плохими произведеніями Грѣза, имѣя Шекс-

пира, мы съ наслажденіемъ перечитываемъ произведенія второстепенныхъ, даже третье-степенныхъ поэтовъ. Эстетическое чувство ищетъ хорошаго, а не фантастически-совершеннаго. Потому, если бы въ дѣйствительномъ прекрасномъ было очень много важныхъ недостатковъ, мы все-таки удовлетворялись бы имъ. Но посмотримъ ближе, до какой степени справедливы упреки, дѣлаемые прекрасному въ дѣйствительности, и до какой степени справедливы слѣдствія, изъ нихъ выводимыя.

I. «Прекрасное въ природѣ непредназначенно; уже по этому одному не можетъ быть оно такъ хорошо, какъ прекрасное въ искусствѣ, создаваемое предназначенно» — Дѣйствительно, неодушевленная природа не думаетъ о красотѣ своихъ произведеній, какъ дерево не думаетъ о томъ, чтобы его плоды были вкусны. Но тѣмъ не менѣе надобно признаться, что наше искусство до сихъ поръ не могло создать ничего подобнаго даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошныхъ плодахъ тропическихъ земель. Конечно, предназначенное произведеніе будетъ по достоинству выше непредназначеннаго; но только тогда, когда силы производителей равны. А силы человѣка гораздо слабѣе силъ природы, работа его чрезвычайно груба, неловка, неуклюжа въ сравненіи съ работою природы. И потому въ произведеніяхъ искусства превосходство со стороны предназначенности перевѣшивается, и далеко перевѣшивается слабостью ихъ въ исполненіи. Притомъ же непредназначенна красота только въ природѣ безчувственной, мертвой: птица и животное уже заботятся о своей внѣшности, безпрестанно охорашиваются: почти всѣ онѣ любятъ опрятность. Въ человѣкѣ красота рѣдко бываетъ совершенно непредназначенною: забота о своей наружности чрезвычайно сильна у всѣхъ насъ. Разумѣется, мы здѣсь говоримъ не объ изысканныхъ средствахъ поддѣлывать красоту, а подразумеваемъ постоянныя заботы о внѣшнемъ благообразіи, которыя составляютъ часть народной гигиены. Но если красота въ природѣ въ строгомъ смыслѣ не можетъ назваться предназначенною, какъ и все дѣйствование силъ природы; то съ другой стороны нельзя сказать, чтобы вообще природа не стремилась къ произведенію прекраснаго: напротивъ, понимая прекрасное какъ полноту жизни, мы должны будемъ признать, что стремленіе къ жизни, проникающее всю природу, есть вмѣстѣ и стремленіе къ произведенію прекраснаго. Если мы должны вообще видѣть въ природѣ не цѣли, а только резуль-

таты, и потому не можемъ назвать красоту цѣлью природы, то не можемъ не назвать ее существеннымъ результатомъ, къ произведенію котораго напряжены силы природы. Непредназначенность (*das Nichtgewolltsein*), бессознательность этого направленія нисколько не мѣшаетъ его реальности, какъ бессознательность геометрическаго стремленія въ пчелѣ, бессознательность стремленія къ симметріи въ растительной силѣ, нисколько не мѣшаетъ правильности шестиграннаго строенія ячеекъ сота, симметрію двухъ половинъ листа.

II. «Отъ предназначенности красоты въ природѣ происходитъ то, что прекрасное рѣдко встрѣчается въ дѣйствительности».—Но еслибъ и дѣйствительно было такъ, его малочисленность была бы прискорбна только для нашего эстетическаго чувства, нисколько не уменьшая красоты этого малочисленнаго ряда явленій и предметовъ. Алмазы величиною въ голубиное яйцо попадаютъ очень рѣдко; любители брильянтовъ могутъ справедливо жалѣть о томъ, и все-таки они соглашаются, что эти очень рѣдкіе алмазы прекрасны. Но жалобы на рѣдость прекраснаго въ дѣйствительности не совершенно справедливы; несомнѣнно по крайней мѣрѣ, что прекраснаго въ дѣйствительности вовсе не такъ мало, какъ утверждаютъ нѣмецкіе эстетики. Прекрасныхъ и величественныхъ пейзажей очень много; есть страны, въ которыхъ они попадаютъ на каждомъ шагу, напр., не говоря уже о Швейцаріи, Альпахъ, Италіи, укажемъ на Финляндію, Крымъ, берега Днѣпра, даже берега Волги. Величественное въ жизни человѣка встрѣчается не безпрестанно но сомнительно, согласился ли бы самъ человѣкъ, чтобы оно было чаще: великія минуты жизни слишкомъ дорого обходятся человѣку, слишкомъ истощаютъ его; а кто имѣетъ потребность искать и силу выносить ихъ вліяніе на душу, тотъ можетъ найти случаи къ возвышеннымъ ощущеніямъ на каждомъ шагу: путь доблести, самоотверженія и высокой борьбы съ низкимъ и вреднымъ, съ бѣдствіями и пороками людей не закрыть никому и никогда. И были всегда, вездѣ тысячи людей, вся жизнь которыхъ была непрерывнымъ рядомъ возвышенныхъ чувствъ и дѣлъ. То же самое должно сказать и объ увлекательно-прекрасныхъ минутахъ въ жизни человѣка. Вообще нельзя человѣку жаловаться на ихъ рѣдость; потому что отъ самого человѣка зависитъ, до какой степени жизнь его наполнена прекраснымъ и великимъ. Жизнь такъ широка и многосторонна,

что въ ней человѣкъ почти всегда найдетъ досыта всего, искать чего чувствуетъ сильную и истинную потребность. Пуста и безцвѣтна бываетъ жизнь только у безцвѣтныхъ людей, которые толкуютъ о чувствахъ и потребностяхъ, на самомъ дѣлѣ не будучи способны имѣть никакихъ особенныхъ чувствъ и потребностей, кромѣ потребности рисоваться. Это потому, что духъ, направленіе, колоритъ жизни человѣка придается ей характеромъ самаго человѣка: отъ человѣка не зависятъ событія жизни, но духъ этихъ событий зависитъ отъ его характера. «На ловца звѣрь бѣжитъ». Въ заключеніе было бы надобно объяснить насчетъ того, что спеціально называется красотою, разсмотрѣть вопросъ о томъ, до какой степени рѣдкое явленіе женская красота. Но, быть можетъ, это не совсѣмъ уместно въ нашемъ отвѣченномъ трактатѣ; ограничимся только замѣчаніемъ, что почти всякая женщина въ цвѣтѣ молодости кажется большинству красавицею, потому говорить здѣсь было бы можно развѣ о неразборчивости эстетическаго чувства большинства людей, а не о томъ, что красота рѣдкое явленіе. Людей прекрасныхъ лицомъ нисколько не меньше, нежели людей добрыхъ, умныхъ и т. д. Какъ же объяснить жалобу Рафаэля на недостатокъ красавицъ въ Италіи, классической странѣ красоты? Очень просто; онъ искалъ наилучшей красавицы, а наилучшая красавица конечно одна въ цѣломъ свѣтѣ—и гдѣ же отыскать ее? первостепеннаго въ своемъ родѣ всегда очень мало, по очень простой причинѣ: если его соберется много, то мы опять раздѣлимъ его на классы и будемъ называть первостепеннымъ то, чего найдется всего два-три индивидуума; все остальное назовемъ второстепеннымъ. И вообще надобно сказать, что мысль, будто бы «прекрасное рѣдко встрѣчается въ дѣйствительности» основана на смѣшеніи понятій «вполнѣ» и «первое»: вполнѣ величественныхъ рѣкъ очень много, первая изъ величественныхъ рѣкъ конечно одна; великихъ полководцевъ много, первымъ полководцемъ въ мірѣ былъ кто-нибудь одинъ изъ нихъ. Обыкновенно думаютъ: если есть или можетъ быть предметъ X, выше находящагося у меня подъ глазами предмета A, то предметъ A низокъ; но такъ только думаютъ, не такъ чувствуютъ въ самомъ дѣлѣ, и, находя Миссиссиппи величественнѣе Волги, мы продолжаемъ однако считать и Волгу величественною рѣкою. Обыкновенно говорится, что если одинъ предметъ больше другаго, то превосходство перваго надъ вторымъ есть не-

достатокъ другого: вовсе нѣтъ; въ дѣйствительности недостатокъ есть нѣчто положительное, а не нѣчто вытекающее изъ превосходства другихъ предметовъ. Рѣка, имѣющая одинъ футъ глубины въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, не потому считается мелкою, что есть рѣки гораздо глубже ея; она мелка безъ всякихъ сравненій, сама по себѣ, мелка потому, что неудобна для судоходства; каналъ, имѣющій тридцать футовъ глубины, не мелокъ въ дѣйствительной жизни, потому что совершенно удобенъ для судоходства; никому не придетъ и въ голову называть его мелкимъ, хотя всякому извѣстно, что Па-де-Кале далеко превосходитъ его своею глубиною. Отвлеченное математическое сравненіе не есть взглядъ дѣйствительной жизни. Потому, находя предметъ X прекраснѣе предмета А, мы въ дѣйствительной жизни нисколько не перестаемъ находить прекраснымъ предметъ А. Положимъ, что «Отелло» выше «Макбета», или «Макбетъ» выше «Отелло» — несмотря на превосходство одной изъ этихъ трагедій надъ другой, онѣ обѣ остаются прекрасными. Достоинства «Отелло» не могутъ быть вмѣняемы въ недостатки «Макбету» и наоборотъ. Такъ мы смотримъ на произведенія искусства. Если смотрѣть такъ же и на прекрасныя явленія дѣйствительности, то очень часто мы должны будемъ сознаться, что красота одного явленія безукоризненна, хотя красота другого еще выше. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ кто-нибудь называетъ итальянскую природу не прекрасною, хотя природа Антильскихъ острововъ или Остъ-Индіи гораздо богаче? А только съ подобной точки зрѣнія, находящей себѣ подтвержденія въ дѣйствительныхъ чувствахъ и сужденіяхъ человѣка, и можетъ эстетика утверждать, будто бы въ мірѣ дѣйствительности красота есть явленіе рѣдкое.

III. «Красота прекраснаго въ дѣйствительности мимолетна» — согласимся; но развѣ отъ этого она менѣе прекрасна? И притомъ это не всегда справедливо: цвѣтокъ дѣйствительно увядаетъ скоро; но человѣкъ долго остается прекраснымъ; можно даже сказать, что чело-вѣческая красота продолжается именно столько, сколько надобно чело-вѣку, ея наслаждающемуся. Не совсѣмъ, быть можетъ, соотвѣтствовало бы характеру нашего отвлеченнаго трактата вдаваться въ подробное доказательство этого положенія; потому скажемъ только, что красота каждаго поколѣнія существуетъ и должна существовать для этого самаго поколѣнія; и нисколько не нарушаетъ гармоніи, нисколько не противно эстетическимъ потребностямъ этого поколѣнія,

если красота его увядаетъ вмѣстѣ съ нимъ—у послѣдующихъ будетъ своя новая красота, и жаловаться тутъ некому и не на что. Быть можетъ неумѣстно было бы здѣсь также вдаваться въ подробныя доказательства того, что желаніе «не старѣть»—фантастическое желаніе, что на самомъ дѣлѣ пожилой человѣкъ и хочетъ быть пожилымъ человѣкомъ, если только его жизнь прошла нормальнымъ образомъ и если онъ не принадлежитъ къ числу людей поверхностныхъ. Но это ясно и безъ подробныхъ доказательствъ. Всѣ мы «съ сожалѣніемъ» вспоминаемъ о дѣтствѣ, говоримъ иногда, что «хотѣли бы снова перенестись въ то счастливое время»; но едва ли кто-нибудь согласился бы на самомъ дѣлѣ превратиться въ ребенка. То же самое должно сказать и относительно сожалѣній о томъ, что «прошла красота нашей юности» — эти слова не имѣютъ реального значенія, если юность прошла сколько-нибудь удовлетворительнымъ образомъ. Пережитое было бы скучно переживать вновь, какъ скучно слушать во второй разъ анекдотъ, хотя бы онъ казался чрезвычайно интересенъ въ первый разъ. Надобно различать дѣйствительныя желанія отъ фантастическихъ, мнимыхъ желаній, которыя вовсе и не хотятъ быть удовлетворенными; таково мнимое желаніе, чтобы красота въ дѣйствительности не увядала. «Жизнь стремится впередъ и уносить красоту дѣйствительности въ своемъ теченіи» говорятъ эстетики;—правда; но вмѣстѣ съ жизнью стремятся впередъ, т. е. измѣняются въ своемъ содержаніи, наши желанія, и слѣдовательно фантастичны сожалѣнія о томъ, что прекрасное явленіе исчезаетъ—оно исчезаетъ исполнивъ свое дѣло, доставивъ нынѣ столько эстетическаго наслажденія, сколько могъ вмѣстить нынѣшній день; завтра будетъ новый день, съ новыми потребностями, и только новое прекрасное можетъ удовлетворить ихъ. Еслибы красота въ дѣйствительности была неподвижна и неизмѣнна, «бессмертна», какъ того требуютъ эстетики, она надобла бы, опротивѣла бы намъ. Живой человѣкъ не любитъ неподвижнаго въ жизни; потому никогда не наглядится онъ на живую красоту, и очень скоро пресыщается его *tableau vivant*, которую предпочитаютъ живымъ сценамъ исключительные поклонники искусства. Но по ихъ мнѣнію красота должна быть однообразна въ своей вѣчности, нетолько вѣчна; потому противъ прекраснаго въ дѣйствительности является новое обвиненіе.

IV. «Прекрасное въ дѣйствительности непостоянно въ своей

«красотѣ—но на это надобно отвѣчать тѣмъ же самымъ вопросомъ, какъ и прежде:—развѣ это мѣшаетъ ему быть прекраснымъ по временамъ? Развѣ пейзажъ менѣе прекрасенъ поутру оттого, что красота его померкнетъ на время съ закатомъ солнца? И опять надобно сказать, что большею частью этотъ упрекъ несправедливъ; положимъ, что есть пейзажи, красота которыхъ пропадаетъ съ пурпурнымъ озареніемъ утренней зари; но большая часть прекрасныхъ пейзажей прекрасны при всякомъ освѣщеніи; и надобно прибавить, что незавидна красота того пейзажа, который хорошъ только въ данную минуту, а не все время, пока существуетъ. «Иногда фізіогномія выражаетъ всю полноту жизни, иногда она не выражаетъ ничего»—нѣтъ; справедливо то, что иногда фізіогномія бываетъ чрезвычайно выразительна, иногда она гораздо менѣе выразительна; но чрезвычайно рѣдки минуты, когда фізіогномія челоѣка, свѣтящаяся умомъ или добротою, бываетъ лишена выраженія: умное лицо и во время сна сохраняетъ выраженіе ума, доброе лицо сохраняетъ и во снѣ выраженіе доброты: а бѣглое разнообразіе выраженія въ лицѣ выразительномъ придаетъ ему новую красоту. Точно такъ же разнообразіе позъ придаетъ новую красоту живому существу. Очень часто бываетъ и то, что исчезновеніе прекрасной позы одно только и спасаетъ ея драгоцѣнность для насъ: «группа сражающихся воиновъ прекрасна; но чрезъ нѣсколько минутъ она уже разстроилась»—а что было бы, еслибы она не разстроилась еслибы схватка атлетовъ продолжалась цѣлыя сутки? намъ наскучило бы смотрѣть, и мы отвернулись бы, какъ это впрочемъ бываетъ часто въ дѣйствительности. Чѣмъ обыкновенно кончается эстетическое впечатлѣніе, подѣ влияніемъ котораго держать насъ полчаса или часъ неподвижная «вѣчно прекрасная», «вѣчно неизмѣнная въ красотѣ своей» картина—тѣмъ, что мы уходимъ сами, недождавшись, пока насъ «оторветъ отъ наслажденія» мракъ вечера.

V. «Прекрасное въ дѣйствительности прекрасно только потому, что мы смотримъ на него съ такой точки зрѣнія, съ которой оно кажется прекраснымъ».—Напротивъ, гораздо чаще случается, что прекрасное прекрасно со всѣхъ точекъ зрѣнія, такъ, напр., прекрасный пейзажъ бываетъ большею частью хорошъ, откуда бы ни смотрѣли мы на него,—конечно, онъ бываетъ въ высшей степени хорошъ только съ одной точки зрѣнія—но что же изъ этого? и на произведенія живописи надобно смотрѣть съ извѣстнаго мѣста,

для того, чтобы они представлялись намъ во всей своей красотѣ. Это слѣдствіе законовъ перспективы, которые одинаково должны быть соблюдаемы при наслажденіи прекраснымъ въ дѣйствительности и прекраснымъ въ искусствѣ.

Вообще надобно, кажется, сказать, что всѣ разсмотрѣнные упреки прекрасному въ дѣйствительности преувеличены, а нѣкоторые совершенно несправедливы; что нѣтъ изъ нихъ ни одного, который прилагался бы ко всѣмъ родамъ прекраснаго. Но нами не разсмотрѣны еще главнѣйшіе, существеннѣйшіе недостатки, открываемые господствующими эстетическими воззрѣніями въ прекрасномъ дѣйствительнаго міра. До сихъ поръ упреки были обращены на то, что прекрасное въ дѣйствительности неудовлетворительно для человѣка; теперь слѣдуютъ прямые доказательства, что прекрасное въ дѣйствительности, собственно говоря, не можетъ и назваться прекраснымъ. Доказательствъ этихъ три. Пересмотримъ ихъ, начиная съ менѣе сильнаго и менѣе общаго.

VI. «Прекрасное въ дѣйствительности или группа предметовъ (пейзажъ, группа людей), или одинъ предметъ въ отдѣльности. Вредная случайность всегда портитъ въ дѣйствительности группу, кажущуюся прекрасной, внося въ нее посторонніе, ненужные предметы, мѣшающіе красотѣ и единству цѣлаго; она портитъ и кажущійся прекраснымъ отдѣльный предметъ, портя нѣкоторые его части: внимательное разсмотрѣніе покажетъ намъ всегда, что нѣкоторые части дѣйствительнаго предмета, представляющагося прекраснымъ, вовсе не прекрасны».—Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ мыслью, что красота есть совершенство. Но эта мысль только частное приложеніе общей мысли, что человѣкъ удовлетворяется вообще только математически совершеннымъ: нѣтъ, практическая жизнь человѣка убѣждаетъ насъ, что онъ ищетъ только приближительнаго совершенства, которое, выражаясь строго, и не должно называться совершенствомъ. Человѣкъ только ищетъ хорошаго, а не совершеннаго. Совершенства требуетъ только чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приближительными вычисленіями. Искать совершенства въ какой бы то ни было сферѣ жизни—дѣло отвлеченной, болѣзненной или праздной фантазіи. Мы хотимъ дышать чистымъ воздухомъ; но замѣчаемъ ли мы, что абсолютно чистъ воздухъ не бываетъ нигдѣ и никогда? Мы хотимъ пить чистую воду, но не абсолютно чистую воду: совершенно чи-

стая (дистиллированная) вода даже непріятна для вкуса. Эти при-
мѣры слишкомъ матеріальны? Приведемъ другіе: развѣ кому при-
ходила мысль называть неученымъ человѣка, которому не все
извѣстно? Нѣтъ, мы и не ищемъ человѣка, которому было бы
извѣстно все; мы требуемъ отъ ученаго только того, чтобы ему
было извѣстно все существенное и чтобы ему было извѣстно очень
многое. Развѣ мы недовольны, напр., историческою книгою, въ ко-
торой не всѣ рѣшительно вопросы объяснены, не всѣ рѣшительно
подробности приведены, не всѣ до одного взгляды и слова автора
абсолютно справедливы? нѣтъ, мы довольны, и чрезвычайно до-
вольны книгою, когда въ ней разрѣшены главныя вопросы, при-
ведены самонужнѣйшія подробности, когда главныя мнѣнія автора
справедливы, и въ книгѣ его очень мало невѣрныхъ или не-
удачныхъ объясненій. (Ниже мы увидимъ, что въ сферѣ искусства
мы также довольствуемся приблизительнымъ совершенствомъ). Послѣ
этихъ указаній можно сказать, не боясь сильного противорѣчія, что
и въ области прекраснаго дѣйствительной жизни мы довольствуемся
тѣмъ, когда находимъ очень хорошее, но не ищемъ совершенства
математическаго, изъятаго отъ всѣхъ мелкихъ недостатковъ. Не-
ужели кому-нибудь вздумается говорить, что пейзажъ не прекра-
сенъ, если на какомъ-нибудь мѣстѣ его растутъ три куста, а лучше
было бы, еслибъ росло два или четыре? Вѣроятно никому еще изъ
людей, любовавшихся моремъ, не приходило въ голову, что море
могло бы быть лучше, нежели оно есть; а если математически
строгаго смотрѣть на море, то въ немъ дѣйствительно есть недо-
статки; и первый недостатокъ—оно не плоская, а выпуклая по-
верхность. Правда, этого недостатка не видно, его открываетъ не
глазъ, а вычисленіе; можно поэтому прибавить, что смѣшно и го-
ворить объ этомъ недостаткѣ, котораго невозможно замѣтить, о ко-
торомъ можно только знать—но таковы большею частью недо-
статки прекраснаго въ дѣйствительности: ихъ не видно, они не-
чувствительны, они открываются только изслѣдованію, а не воззрѣ-
нію. Не забудемъ же, что чувство прекраснаго имѣетъ дѣло съ воз-
зрѣніемъ, а не съ наукою: что нечувствительно, то не существуетъ
для эстетическаго чувства. Но въ самомъ ли дѣлѣ недостатки пре-
краснаго въ дѣйствительности большею частью нечувствительны
для воззрѣнія? Въ этомъ убѣждаетъ насъ опытъ. Нѣтъ человѣка,
одареннаго эстетическимъ чувствомъ, которому бы не встрѣчались

въ дѣйствительности тысячи лицъ, явленій и предметовъ, казавшихся ему безукоризненно прекрасными. Но что же особенно важнаго, когда въ прекрасномъ предметѣ и замѣтны для воззрѣнія недостатки? Вѣрно они слишкомъ неважны, если, несмотря на нихъ, предметъ продолжаетъ казаться прекраснымъ—если они важны, предметъ будетъ уродливъ, а не прекрасенъ. А не важное не стоитъ того, чтобъ и говорить о немъ. И дѣйствительно, эстетически здоровый челоѣкъ не обращаетъ на него вниманія.—Человѣку, не приготовленному спеціальнымъ изученіемъ новѣйшей эстетики, странно будетъ услышать второе доказательство, приводимое въ подтвержденіе того, что такъ называемое прекрасное въ дѣйствительности не можетъ быть прекрасно въ полномъ смыслѣ слова.

VII. «Дѣйствительный предметъ не можетъ быть прекрасенъ уже потому, что онъ живой предметъ, въ которомъ совершается дѣйствительный процессъ жизни со всею своею грубостью, со всѣми своими антиэстетическими подробностями».—Едвали можно себѣ представить высшую степень фантастическаго идеализма. Какъ, неужели живое лицо не прекрасно, а изображенное на портретѣ или снятое въ дагерротипъ прекрасно? и почему же? потому, что на живомъ лицѣ неизбѣжно бываютъ всегда матерьяльные слѣды процесса жизни; потому, что, если мы посмотримъ въ микроскопъ на живое лицо, то всегда увидимъ его покрытое испариною и т. п. Какъ, живое дерево не можетъ быть прекраснымъ, потому, что на немъ всегда гнѣздятся мелкія насѣкомыя, питающіяся его листьями? Странное мнѣніе, которое даже не требуетъ опроверженія: какое же дѣло моему эстетическому воззрѣнію до того, чего оно не замѣчаетъ? можетъ ли производить какое-нибудь вліяніе на мое ощущеніе тотъ недостатокъ, котораго оно не чувствуетъ? Въ опроверженіе этого мнѣнія не нужно даже приводить истину, что странно искать такихъ людей, которые бы не пили, не ѣли, не имѣли надобности умываться и перемѣнять бѣлье. Распространяться о подобныхъ требованіяхъ совершенно бесполезно. Лучше рассмотримъ одну изъ тѣхъ идей, изъ которыхъ возникъ столь странный упрекъ прекрасному въ дѣйствительности, идею составляющую одно изъ основныхъ воззрѣній господствующей эстетики. Вотъ эта мысль: «Прекрасное есть не самый предметъ, а чистая поверхность, чистая форма (*die reine Oberfläche*) предмета». Неосновательность этого взгляда на прекрасное обнаружится, когда мы пересмотримъ источ-

ники, изъ которыхъ оно произошло. Прекрасное чаще всего мы видимъ глазами; а глаза конечно видятъ только оболочку, абрисъ, наружность предмета, а не внутреннее его сложеніе. Изъ этого легко вывести заключеніе, что прекрасное есть поверхность предмета, а не самый предметъ. Но въ первыхъ, кромѣ прекраснаго для зрѣнія есть прекрасное для слуха (пѣніе и музыка), въ которомъ нельзя говорить ни о какой поверхности. Въ вторыхъ, не всегда и глазами видимъ мы только оболочку предмета: въ прозрачныхъ предметахъ мы видимъ весь предметъ, все его внутреннее сложеніе; водѣ и драгоценнымъ камнямъ именно прозрачность и сообщаетъ красоту. Наконецъ человѣческое тѣло, лучшая красота на землѣ, полупрозрачно, и мы въ человѣкѣ видимъ не чисто одну только поверхность: сквозь кожу просвѣчиваетъ тѣло, и это просвѣчиваніе тѣла придаетъ чрезвычайно много прелести человѣческой красотѣ. Въ третьихъ, странно говорить, что и въ совершенно непрозрачныхъ тѣлахъ мы видимъ только поверхность, а не самый предметъ: воззрѣніе принадлежитъ не исключительно глазамъ, извѣстно, что въ немъ всегда участвуетъ припоминающій и соображающій разумъ; соображеніе всегда наполняетъ матеріей пустую форму, представляющуюся глазу. Человѣкъ видитъ движущійся предметъ, хотя органъ его глаза самъ по себѣ не видитъ движенія; человѣкъ видитъ отдаленность предмета, хотя самъ по себѣ глазъ не видитъ отдаленія; такъ точно человѣкъ видитъ матеріальный предметъ, хотя глазъ его видитъ только пустую, нематеріальную отвлеченную поверхность предмета. Другое основаніе для мысли: «прекрасное есть чистая поверхность» состоитъ въ предположеніи, что эстетическое наслажденіе несовмѣстимо съ матеріальнымъ интересомъ, принимаемымъ въ предметъ. Не будемъ входить въ разсмотрѣніе того, какимъ образомъ надобно понимать отношеніе матеріальной интересности для насъ предмета и эстетическаго наслажденія имъ, хотя это изслѣдованіе привело бы къ убѣжденію, что эстетическое наслажденіе отлично отъ матеріальнаго интереса или практическаго взгляда на предметъ, но не противоположно ему. Довольно будетъ указать на свидѣтельство опыта, что и дѣйствительный предметъ можетъ казаться прекраснымъ не возбуждая матеріальнаго интереса: какая же своекорыстная мысль пробуждается въ насъ, когда мы любуемся звѣздами, моремъ, лѣсомъ (неужели при взглядѣ на дѣйствительный лѣсъ я необходимо долженъ ду-

мать, годится ли онъ мнѣ на постройку или отопленіе дома?),—какая своекорыстная мысль пробуждается въ насъ, когда мы заслушиваемся шелеста листьевъ, пѣсни соловья? Что касается человѣка, мы часто любимъ его безъ всякихъ своекорыстныхъ побужденій, нисколько не думая о себѣ; тѣмъ скорѣе можетъ онъ эстетически нравиться намъ, не возбуждая матеріальнаго (stoffartig) раздумья о нашихъ отношеніяхъ къ нему. Наконецъ ближайшимъ образомъ мысль о томъ, что прекрасное есть чистая форма, вытекаетъ изъ понятія, что прекрасное есть чистый призракъ; а такое понятіе—необходимое слѣдствіе опредѣленія прекраснаго какъ полноты осуществленія идеи въ отдѣльномъ предметѣ, и падаетъ вѣстѣ съ этимъ опредѣленіемъ.

Послѣ длиннаго ряда упрековъ прекрасному въ дѣйствительности, становившихся все общѣе и сильнѣе, мы доходимъ теперь до послѣдней, самой сильной и самой общей причины, почему реальное прекрасное не можетъ быть считаемо дѣйствительно прекраснымъ.

VIII. «Отдѣльный предметъ не можетъ быть прекрасенъ уже потому, что онъ не абсолютенъ; а прекрасное есть абсолютное».—Доказательство дѣйствительно неопровержимое въ кругу понятій философскихъ школъ, породившихъ его и принимающихъ мѣриломъ не только теоретической истины, но и дѣятельныхъ стремленій человѣка абсолютное. Но эти системы уже распались, уступивъ мѣсто другимъ, развившимся изъ нихъ по силѣ внутренняго діалектическаго процесса, но понимающимъ жизнь совершенно иначе. Ограничиваясь этимъ указаніемъ на философскую несостоятельность воззрѣнія, изъ котораго произошло подведеніе всѣхъ человѣческихъ стремленій подъ абсолютъ, станемъ для нашей критики на другую точку зрѣнія, болѣе близкую къ чисто эстетическимъ понятіямъ, и скажемъ, что вообще дѣятельность человѣка не стремится къ абсолютному, и ничего не знаетъ о немъ, имѣя въ виду различныя чисто человѣческія цѣли. Въ этомъ совершенно сходны съ другими чувствами и дѣятельностями человѣка чувство и дѣятельность эстетическія. Въ дѣйствительности мы не встрѣчаемъ ничего абсолютнаго; потому не можемъ сказать по опыту, какое впечатлѣніе произвела бы на насъ абсолютная красота; но то мы знаемъ, по крайней мѣрѣ, изъ опыта, что *similis simili gaudet*, что поэтому намъ, существамъ индивидуальнымъ, не могущимъ перейти за гра-

ницы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности. Послѣ этого дальнѣйшія опроверженія излишни. Надобно только прибавить, что мысль объ индивидуальности истинной красоты развита тою же системою эстетическихъ воззрѣній, которая поставляетъ мѣриломъ прекраснаго абсолютъ. Изъ мысли о томъ, что индивидуальность существеннѣйшій признакъ прекраснаго, само собою вытекаетъ положеніе, что мѣрило абсолютнаго чуждо области прекраснаго—выводъ противорѣчащій основному воззрѣнію этой системы на прекрасное. Источники подобныхъ противорѣчій, не всегда избѣгаемыхъ системою, о которой мы говоримъ,—смѣшеніе въ ней геніальныхъ выводовъ изъ опыта и столько же геніальныхъ, но страдающихъ внутреннею несостоятельностью попытокъ подчинить всѣ ихъ апіористическому взгляду, который часто противорѣчитъ имъ.

Теперь просмотримы всѣ упреки, болѣе или менѣе несправедливо дѣлаемые прекрасному въ дѣйствительности, и можно приступить къ рѣшенію вопроса о существенномъ значеніи искусства. По господствующимъ эстетическимъ понятіямъ, «искусство имѣетъ своимъ источникомъ стремленіе человѣка освободить прекрасное отъ недостатковъ (нами разсмотрѣнныхъ), мѣшающихъ прекрасному на степени своего реального существованія въ дѣйствительности быть вполне удовлетворительнымъ для человѣка. Прекрасное, создаваемое искусствомъ, свободно отъ недостатковъ прекраснаго въ дѣйствительности». Посмотримъ же, до какой степени на самомъ дѣлѣ прекрасное, создаваемое искусствомъ, выше прекраснаго въ дѣйствительности по свободности своей отъ упрековъ, вводимыхъ на это послѣднее: послѣ того намъ легко будетъ рѣшить, вѣрно ли опредѣляется господствующимъ воззрѣніемъ происхожденіе искусства и его отношеніе къ живой дѣйствительности.

1. «Прекрасное въ природѣ не преднамѣренно». — Прекрасное въ искусствѣ бываетъ преднамѣренно, это правда; но во всѣхъ ли случаяхъ и во всѣхъ ли подробностяхъ? Не будемъ говорить о томъ, часто ли, и въ какой степени художникъ и поэтъ ясно понимаютъ, что именно выразится въ ихъ произведеніи — безсознательность художническаго дѣйствованія давно уже стала общимъ мѣстомъ, о которомъ всѣ толкуютъ; быть можетъ нужнѣе нынѣ рѣзко выставить на видъ зависимость красоты произведенія отъ

сознательныхъ стремленій художника, нежели распространяться о томъ, что произведенія истинно творческаго таланта имѣютъ всегда очень много непреднамѣренности, инстинктивности. Какъ бы то ни было, объ эти точки зрѣнія извѣстны, и бесполезно здѣсь останавливаться на нихъ. Но можетъ быть не излишне сказать, что и преднамѣренныя стремленія художника (особенно поэта) не всегда даютъ право сказать, чтобы забота о прекрасномъ была истиннымъ источникомъ его художественныхъ произведеній; правда, поэтъ всегда старается «сдѣлать какъ можно лучше»; но это еще не значить, чтобы вся его воля и соображенія управлялись исключительно или даже преимущественно заботою о художественности или эстетическомъ достоинствѣ произведенія: какъ у природы есть много стремленій, находящихся между собою въ борьбѣ и губящихъ или искажающихъ своею борьбою красоту; такъ и въ художникѣ, въ поэтѣ есть много стремленій, которыя своимъ вліяніемъ на его стремленіе къ прекрасному искажаютъ красоту его произведенія. Сюда въпервыхъ принадлежатъ различныя житейскія стремленія и потребности художника, не позволяющія ему быть только художникомъ и болѣе ничѣмъ, въ вторыхъ, его умственные и нравственные взгляды, также не позволяющіе ему думать при исполненіи исключительно только о красотѣ; въ третьихъ наконецъ, идея художественнаго созданія является у художника обыкновенно не вслѣдствіе одного только стремленія создать прекрасное: поэтъ, достойный своего имени, обыкновенно хочетъ въ своемъ произведеніи передать намъ свои мысли, свои взгляды, свои чувства, а не исключительно только созданную имъ красоту. Однимъ словомъ, если красота въ дѣйствительности развивается въ борьбѣ съ другими стремленіями природы, то и въ искусствѣ красота развивается также въ борьбѣ съ другими стремленіями и потребностями человека, ее создающаго; если въ дѣйствительности эта борьба портитъ или губитъ красоту, то едвали меньше шансовъ, что она испортитъ или погубитъ ее въ произведеніи искусства; если въ дѣйствительности прекрасное развивается подъ вліяніями, ему чуждыми, недопускающими его быть только прекраснымъ, то и созданіе художника или поэта развивается подъ множествомъ различныхъ стремленій, результатъ которыхъ долженъ быть таковъ же. Мы готовы однакоже согласиться, что преднамѣренности больше въ прекрасныхъ произведеніяхъ искусства, нежели въ прекрасныхъ

созданіяхъ природы, и что въ этомъ отношеніи искусство стояло бы выше природы, еслибъ его преднамѣренность была свободна отъ недостатковъ, отъ которыхъ свободна природа. Но выигрывая преднамѣренностью съ одной стороны, искусство проигрываетъ тѣмъ же самымъ съ другой; дѣло въ томъ, что художникъ, задумывая прекрасное, очень часто задумываетъ вовсе не прекрасное: мало—хотѣть прекраснаго, надобно умѣть постигать его въ его истинной красотѣ—а какъ часто художники заблуждаются въ своихъ понятіяхъ о красотѣ! какъ часто обманываетъ ихъ даже художническій инстинктъ, не только рефлексивныя понятія, большею частью одностороннія! Всѣ недостатки индивидуальности неразлучны въ искусствѣ съ преднамѣренностью.

II. «Прекрасное рѣдко встрѣчается въ дѣйствительности»;—но развѣ чаще оно встрѣчается въ искусствѣ? Сколько ежедневно бываетъ истинно трагическихъ или драматическихъ событій! А много ли насчитается истинно прекрасныхъ трагедій или драмъ? во всѣхъ западныхъ литературахъ три-четыре десятка, въ русской—если не ошибаемся, кромѣ Бориса Годунова и Сценъ изъ рыцарскихъ временъ—ни одной, которая стояла бы выше посредственности. Сколько романовъ совершается въ дѣйствительности! А много ли насчитывается истинно прекрасныхъ романовъ? можетъ быть по нѣскольку десятковъ въ англійской и французской литературахъ, и пять-шесть въ русской. Что скорѣе можно встрѣтить: прекрасный пейзажъ въ природѣ, или въ живописи?—Почему же такъ? Потому, что великихъ поэтовъ и художниковъ очень мало, какъ и вообще мало гениальныхъ людей во всякомъ родѣ. Если рѣдко бываетъ въ дѣйствительности совершенно благоприятный случай для созданія прекраснаго или возвышеннаго, то еще рѣже благоприятный случай рожденія и безпрепятственнаго развитія великаго гения, потому что здѣсь нужно стеченіе гораздо большаго числа благоприятныхъ условий. Этотъ упрекъ противъ дѣйствительности еще съ большею силою падаетъ на искусство.

III. «Прекрасное въ природѣ мимолетно»;—въ искусствѣ оно часто бываетъ вѣчно, это правда; но не всегда, потому что и произведеніе искусства подвержено гибели и портѣ отъ случая. Греческіе лирики погибли для насъ; погибли картины Апеллеса и статуи Лизиппа. Но не останавливаясь на этомъ, перейдемъ къ другимъ причинамъ невѣчности очень многихъ произведеній иску-

ства, отъ которыхъ свободно прекрасное въ природѣ—это мода и обетшаніе матеріала. Природа не старѣетъ, вмѣсто увядшихъ произведеній своихъ она рождаетъ новыя; искусство лишено этой вѣчной способности воспроизведенія, возобновленія, а между тѣмъ время не безъ слѣда проходитъ и надъ его созданіями. Въ произведеніяхъ поэзіи скоро старѣетъ языкъ, и мы по этой одной причинѣ не можемъ наслаждаться Шекспиромъ, Данте, Вольфрамомъ такъ свободно, какъ наслаждались ихъ современники. Еще гораздо важнѣе то, что съ теченіемъ времени многое въ произведеніяхъ поэзіи дѣлается непонятнымъ для насъ (мысли и обороты, заимствованные отъ современныхъ обстоятельствъ, намеки на событія и лица); многое становится безцвѣтно и безвкусно; ученые комментаріи не могутъ сдѣлать для потомковъ всего столь же яснымъ и живымъ, какъ все было ясно для современниковъ; притомъ ученые комментаріи и эстетическое наслажденіе—противоположныя вещи; не говоримъ уже, что черезъ нихъ произведеніе поэзіи перестаетъ быть общедоступнымъ. Еще важнѣе то, что развитіе цивилизациі, измѣненіе понятій иногда совлекаетъ всю красоту съ произведенія поэзіи, иногда превращаетъ его даже въ нѣчто непріятное или отвратительное. Примѣровъ не хотимъ указывать, кромѣ эклогъ Виргилія, скромнѣйшаго изъ римскихъ поэтовъ. Отъ поэзіи переходимъ къ другимъ искусствамъ. Произведенія музыки погибаютъ вмѣстѣ съ тѣми инструментами, для которыхъ были писаны. Вся древняя музыка погибла для насъ. Красота старыхъ музыкальныхъ произведеній блѣднѣетъ съ усовершенствованіемъ оркестровки. Краски въ живописи очень скоро линяютъ и чернѣютъ; картины XVI—XVII вѣка уже давно потеряли свою первобытную красоту. Какъ ни сильно вліяніе всѣхъ этихъ обстоятельствъ, не въ нихъ однакоже главная причина мимолетности произведеній искусства—она заключается во вліяніи на нихъ вкуса эпохи, почти всегда вліяніи моднаго настроенія, односторонняго и очень часто фальшиваго. Мода сдѣлала половину каждой драмы Шекспира негодною для эстетическаго наслажденія въ наше время; мода, отразившаяся на трагедіяхъ Расина и Корнея, заставляетъ насъ не столько наслаждаться ими, сколько подсмѣиваться надъ ними. Ни въ живописи, ни въ музыкѣ, ни въ архитектурѣ не найдется почти ни одного произведенія, созданнаго за 100 или 150 лѣтъ, которое не казалось бы нынѣ или вялымъ, или смѣшнымъ, несмотря на всю

силу гѣнія, впечатлѣнную на немъ. И современное искусство черезъ пятьдесятъ лѣтъ будетъ часто вызывать улыбку.

IV. «Прекрасное въ дѣйствительности непостоянно въ своей красотѣ». — Это правда; но прекрасное въ искусствѣ мертвенно-неподвижно въ своей красотѣ, это гораздо хуже. На живое лицо можно смотрѣть по нѣскольку часовъ; картина надоѣдаетъ чрезъ четверть часа, и рѣдки примѣры дилеттантовъ, которые устояли бы часъ предъ картиною. Произведенія поэзій живѣе, нежели произведенія живописи, архитектуры и ваянія; но и они пресыщаютъ насъ довольно скоро: конечно не найдется человѣка, который былъ бы въ состояніи перечитать романъ пять разъ сряду; между тѣмъ жизнь, живыя лица и дѣйствительныя событія увлекательны своими разнообразіемъ.

V. «Красота въ природу вносятся только тѣмъ, что мы смотримъ на нее съ той, а не съ другой точки зрѣнія» — мысль, почти никогда не бывающая справедливою; но къ произведеніямъ искусства она почти всегда прилагается. Всѣ произведенія искусства не нашей эпохи и не нашей цивилизаціи непременно требуютъ, чтобы мы перенеслись въ ту эпоху, въ ту цивилизацію, которая создала ихъ; иначе они покажутся намъ непонятными, странными, но не прекрасными. Если мы не перенесемся въ древнюю Грецію, пѣсни Сафо и Анакреона покажутся намъ выраженіемъ антиэстетическаго наслажденія, чѣмъ-то похожимъ на тѣ произведенія нашего времени, которыхъ стыдится печать; если мы не перенесемся мыслью въ патріархальное общество, пѣсни Гомера будутъ оскорблять насъ цинизмомъ, грубымъ обжорствомъ, отсутствіемъ нравственнаго чувства. Но греческій міръ слишкомъ далекъ отъ насъ; возьмемъ ближайшую эпоху. Сколько у Шекспира, у итальянскихъ живописцевъ такого, что понимается и цѣнится только тогда, когда мы перенесемся въ прошедшее съ его понятіями о вещахъ! Представимъ примѣръ еще ближе къ нашему времени: «Фаустъ» Гёте покажется страннымъ произведеніемъ человѣку, не способному перенестись въ ту эпоху стремленій и сомнѣній, выраженіемъ которой служить «Фаустъ».

VI. «Прекрасное въ дѣйствительности заключаетъ въ себѣ много непрекрасныхъ частей или подробностей». — А въ искусствѣ развѣ не то же самое, только въ гораздо большей степени? укажите произведеніе искусства, въ которомъ нельзя было бы найти недостат-

ковъ. Романы Вальтеръ-Скотта слишкомъ растянуты, романы Диккенса почти постоянно приторно-сентиментальны и очень часто растянуты, романы Теккерея иногда (или, лучше сказать, очень часто) надоедаютъ своею постоянною претензіею на иронически-злое простодушіе. Но гении новѣйшіе рѣдко являются путеводителями въ эстетику; она преимущественно любитъ Гомера, греческихъ трагиковъ и Шекспира. Гомеровы поэмы безсвязны: Эсхилъ и Софоклъ слишкомъ суровы и сухи, у Эсхила кромѣ того недостаетъ драматизма; Эврипидъ плаксивъ; Шекспиръ риториченъ и напыщенъ; художественное построение драмъ его было бы вполне хорошо, если бъ ихъ нѣсколько передѣлать, какъ и предлагаетъ Гёте. Перейдемъ къ живописи, и должны будемъ признаться въ томъ же самомъ: противъ одного Рафаэля рѣдко возвышаютъ голосъ; во всѣхъ остальныхъ живописцахъ давно открыто множество слабыхъ сторонъ. Но самого Рафаэля упрекаютъ въ незнаніи анатоміи. О музыкѣ нечего и говорить: Бетховенъ слишкомъ непонятенъ и часто дикъ; у Моцарта слаба оркестровка; у новыхъ композиторовъ слишкомъ много шума и трескотни. Безукоризненная опера по мнѣнію знатоковъ одна — Донъ-Жуанъ; незнатки находятъ его скучнымъ. Если совершенства нѣтъ въ природѣ и въ живомъ человѣкѣ, то еще меньше можно найти его въ искусствѣ и въ дѣлахъ человѣка: «въ слѣдствіи не можетъ быть того, чего нѣтъ въ причинѣ, въ человѣкѣ». Широкое, безпредѣльное поле открывается тому, кто захочетъ доказывать слабость всѣхъ вообще произведеній искусства. Само собою разумѣется, что подобное предпріятіе могло бы свидѣтельствовать о ѣдкости ума, но не о безпристрастіи: достоинствъ сожалѣнія человѣкъ, не преклоняющійся предъ великими произведеніями искусства; но простительно, когда принуждаютъ преувеличенныя похвалы, напоминать, что если на солнцѣ есть пятна, то въ «земныхъ дѣлахъ» человѣка ихъ не можетъ не быть.

VII. «Живой предметъ не можетъ быть прекрасенъ уже и потому что въ немъ совершается тяжелый, грубый процессъ жизни». — Произведеніе искусства — мертвый предметъ; поэтому кажется, что оно должно быть изъято отъ этого упрека. И однакоже такое заключеніе поверхностно. Факты противорѣчатъ ему. Произведеніе искусства — созданіе жизненнаго процесса, созданіе живаго человѣка, который произвелъ дѣло не безъ тяжелой борьбы, и на про-

изведеніи отражается тяжелый, грубый слѣдъ борьбы производства. Развѣ много такихъ поэтовъ и художниковъ, которые работаютъ шута, какъ шута, безъ поправокъ, писалъ, говорятъ, свои драмы Шекспиръ? А если произведеніе создано не безъ тяжелаго труда, на немъ будутъ «пятна масляной лампы», при свѣтѣ которой работалъ художникъ. Тяжеловатость можно найти во всѣхъ почти произведеніяхъ искусства, какъ бы легки ни казались они съ перваго взгляда. А если они въ самомъ дѣлѣ созданы безъ большаго, тяжелаго труда, то они будутъ страдать грубостью отдѣлки. Итакъ, одно изъ двухъ: или грубость, или тяжелая отдѣлка—вотъ Сцилла и Харибда для произведеній искусства.

Я не хочу сказать, что всѣ недостатки, выставляемые этимъ анализомъ, всегда до грубости рѣзко отпечатываются на произведеніяхъ искусства. Я хочу только показать, что щепетильной критики, которую направляютъ на прекрасное въ дѣйствительности, никакъ не можетъ выдержать прекрасное, создаваемое искусствомъ.

Изъ обзора, нами сдѣланнаго, видно, что еслибъ искусство вытекало отъ недовольства нашего духа недостатками прекраснаго въ живой дѣйствительности и отъ стремленія создать нѣчто лучшее, то вся эстетическая дѣятельность человѣка оказалась бы напрасна, бесплодна, и человѣкъ скоро отказался бы отъ нея, видя, что искусство не удовлетворяетъ его намѣреніямъ. Вообще говоря, произведенія искусства страдаютъ всѣми недостатками, какіе могутъ быть найдены въ прекрасномъ живой дѣйствительности; но если искусство вообще не имѣетъ никакихъ правъ на предпочтеніе природѣ и жизни, то, быть можетъ, нѣкоторыя искусства въ частности обладаютъ какими-нибудь особенными преимуществами, ставящими ихъ произведенія выше соотвѣствующихъ явленій живой дѣйствительности? быть можетъ даже, то или другое искусство производить нѣчто не имѣющее себѣ соотвѣстствія въ реальномъ мірѣ? Эти вопросы еще не рѣшаются нашею общею критикою, и мы должны прослѣдить частные случаи, чтобы видѣть, каково отношеніе прекраснаго въ опредѣленныхъ искусствахъ къ прекрасному въ дѣйствительности, производимой природою независимо отъ стремленія человѣка къ прекрасному. Только этотъ обзоръ дастъ намъ положительный отвѣтъ на то, можетъ ли происхожденіе искусства быть объясняемо неудовлетворительностью живой дѣйствительности въ эстетическомъ отношеніи.

Рядъ искусствъ начинаютъ обыкновенно съ архитектуры, изъ всѣхъ многоразличныхъ дѣятельностей человѣка для осуществленія болѣе или менѣе практическихъ цѣлей уступаая одной строительной дѣятельности право возвышаться до искусства. Но не справедливо такъ ограничивать поле искусства, если подѣ «произведеніями искусства» понимаются «предметы, производимые человѣкомъ подѣ преобладающимъ вліяніемъ его стремленія къ прекрасному» — есть такая степень развитія эстетическаго чувства въ народѣ, или, вѣрнѣе сказать, въ кругу высшаго общества, когда подѣ преобладающимъ вліяніемъ этого стремленія замышляются и исполняются почти всѣ предметы человѣческой производительности: вещи, нужныя для удобства домашней жизни (мебель, посуда, убранство дома), платье, сады и т. п. Этрусскія вазы и галлантерейныя вещи древнихъ всѣми признаны за «произведеніе искусства»; ихъ относятъ къ отдѣлу «скульптуры», конечно не совсѣмъ справедливо; но неужели къ архитектурѣ должны мы причислить мебельное искусство? къ какому отдѣлу отнесены будутъ нами цвѣтники и сады, въ которыхъ первоначальное назначеніе — служить мѣстомъ прогулки или отдыха — совершенно подчиняется назначенію быть предметами эстетическаго наслажденія? въ нѣкоторыхъ эстетикахъ садоводство называется отраслью архитектуры, но это явная натяжка. Называя искусствомъ всякую дѣятельность, производящую предметы подѣ преобладающимъ вліяніемъ эстетическаго чувства, должно будетъ значительно расширить кругъ искусствъ; потому что нельзя не признать существеннаго тождества архитектуры, мебельнаго и моднаго искусства, садоводства, лѣпнаго искусства и т. д. Намъ скажутъ: «архитектура создаетъ новое, не существовавшее въ природѣ, она совершенно передѣлываетъ свой матеріалъ; другія отрасли человѣческой производительности оставляютъ свой матеріалъ въ его первобытной формѣ» — нѣтъ, есть много отраслей человѣческой дѣятельности, не уступающихъ архитектурѣ и въ этомъ отношеніи. Въ примѣръ представимъ цвѣтоводство: полевые цвѣты нисколько не похожи на роскошныя махровыя цвѣты, обязанныя своимъ происхожденіемъ цвѣтоводству. Что общаго между дикимъ лѣсомъ и искусственнымъ садомъ или паркомъ? Какъ архитектура обтесываетъ камни, такъ садоводство очищаетъ, выпрямляетъ деревья, придаетъ каждому дереву совершенно не тотъ видъ, какой имѣетъ оно въ дѣвственномъ лѣсу; какъ архитектура соеди-

няетъ камни въ правильныя группы, такъ садоводство соединяетъ въ паркѣ деревья въ правильныя группы. Однимъ словомъ, цѣтоводство или садоводство передѣлываютъ, обрабатываютъ «грубый матеріалъ», не менѣе, нежели архитектура. То же самое надобно сказать и о промышленности; создающей подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному, напримѣръ, ткани, которымъ природа не представляетъ ничего подобнаго и въ которыхъ первоначальный матеріалъ еще менѣе остался неизмѣннымъ, нежели камень въ архитектурѣ. «Но архитектура, какъ искусство, гораздо болѣе, нежели другія отрасли практической дѣятельности, подчиняется исключительнымъ требованіямъ эстетическаго чувства, совершенно отказываясь отъ стремленія удовлетворять житейскимъ цѣлямъ»;—но какой житейской цѣли удовлетворяютъ цвѣты, искусственные парки? и развѣ Паренонъ или Альгамбра не имѣли практическаго назначенія? Гораздо въ меньшей степени, нежели архитектура, подчиняются практическимъ соображеніямъ садоводство, мебельное, ювелирное и модное искусства, которымъ однако же не посвящается особенной главы въ курсахъ эстетики. Мы видимъ причину того, что изъ всѣхъ практическихъ дѣятельностей одна строительная обыкновенно удостоивается имени изящнаго искусства, не въ существѣ ея, а въ томъ, что другія отрасли дѣятельности, возвышавшіяся до степени искусства, забываются по «маловажности» своихъ произведеній, между тѣмъ, какъ произведенія архитектуры не могутъ быть упущены изъ виду по своей важности, дороговизнѣ и наконецъ просто по своей массивности, прежде всего и больше всего остальнаго, производимаго человѣкомъ, бросающіяся въ глаза. Всѣ отрасли промышленности, всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять «вкусу» или эстетическому чувству, мы признаемъ «искусствами» въ такой же степени, какъ архитектуру, когда ихъ произведенія замышляются и исполняются подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному и когда другія цѣли (которыя всегда имѣетъ и архитектура) подчиняются этой главной цѣли. Совершенно другой вопросъ о томъ, до какой степени достойны уваженія произведенія практической дѣятельности, задуманныя и исполненныя подъ преобладающимъ стремленіемъ произвести не столько что-нибудь дѣйствительно нужное или полезное, сколько произвести что-нибудь прекрасное. Какъ рѣшить этотъ вопросъ, не входить въ сферу нашего разсужденія; но какъ рѣшенъ будетъ

онъ, точно такъ же долженъ быть рѣшенъ вопросъ и о степени уваженія, которой заслуживаютъ созданія архитектуры въ значеніи чистаго искусства, а не практической дѣятельности. Какими глазами смотритъ мыслитель на кашмирскую шаль, стоящую 10,000 франковъ, на столовые часы, стоящіе 10,000 франковъ, такими же глазами долженъ смотрѣть онъ и на изящный кіоскъ, стоящій 10,000 франковъ. Быть можетъ онъ скажетъ, что всѣ эти вещи—произведенія не столько искусства, сколько роскоши; быть можетъ онъ скажетъ, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннѣйшій характеръ прекраснаго—простота. Каково же отношеніе этихъ произведеній фривольнаго искусства въ безыскусственной дѣйствительности? Вопросъ рѣшается тѣмъ, что во всѣхъ указанныхъ нами случаяхъ дѣло идетъ о произведеніяхъ практической дѣятельности человѣка, которая, уклонившись въ нихъ отъ своего истиннаго назначенія—производить нужное или полезное, тѣмъ не менѣе сохраняетъ свой существенный характеръ—производить нѣчто такое, чего не производитъ природа. Потому не можетъ быть и вопроса, какъ въ этихъ случаяхъ относится красота произведеній искусства къ красотѣ произведеній природы: въ природѣ нѣтъ предметовъ, съ которыми было бы можно сравнивать ножи, вилки, сукно, часы; точно такъ же въ ней нѣтъ предметовъ, съ которыми было бы можно сравнивать дома, мосты, колонны и т. п.

Итакъ, если даже причислить къ области изящныхъ искусствъ всѣ произведенія, создаваемые подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному, то надобно будетъ сказать, что произведенія архитектуры или сохраняютъ свой практическій характеръ, и въ такомъ случаѣ не имѣютъ права быть рассматриваемы какъ произведенія искусства, или на самомъ дѣлѣ становятся произведеніями искусства, но искусство имѣетъ столько же права гордиться ими, какъ произведеніями ювелирнаго мастерства. По нашему понятію о сущности искусства, стремленіе къ произведенію прекраснаго въ смыслѣ граціознаго, изящнаго, красиваго не есть еще искусство; для искусства, какъ увидимъ, нужно больше; потому произведеній архитектуры ни въ какомъ случаѣ мы не рѣшимся назвать произведеніями искусства. Архитектура—одна изъ практическихъ дѣятельностей человѣка, которая всѣ не чужды стремленія къ красавости формы, и отличается въ этомъ отношеніи

отъ мебельнаго мастерства не существеннымъ характеромъ, а только размѣромъ своихъ произведеній.

Общій недостатокъ произведеній скульптуры и живописи, по которому они стоятъ ниже произведеній природы и жизни—ихъ мертвенность, ихъ неподвижность; въ этомъ всё признаются, и потому было бы излишне распространяться относительно этого пункта. Посмотримъ же лучше на мнимыя преимущества этихъ искусствъ передъ природою.

Скульптура изображаетъ формы человѣческаго тѣла; все остальное въ ней аксессуаръ; потому и будемъ говорить о томъ только, какъ она изображаетъ человѣческую фигуру. Обратилось въ какую-то аксіому, что красота очертаній Венеры Медицейской или Милосской, Аполлона Бельведерскаго и т. д. гораздо выше, нежели красота живыхъ людей. Въ Петербургѣ нѣтъ ни Венеры Медицейской, ни Аполлона Бельведерскаго; но есть произведенія Кановы; потому мы, жители Петербурга, можемъ имѣть смѣлость судить до нѣкоторой степени о красотѣ произведеній скульптуры. Мы должны сказать, что въ Петербургѣ нѣтъ ни одной статуи, которая по красотѣ очертаній лица не была бы гораздо ниже безчисленнаго множества живыхъ людей и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улицѣ, чтобы встрѣтить нѣсколько такихъ лицъ. Въ этомъ согласятся большая часть тѣхъ, которые привыкли судить самостоятельно. Но этого собственнаго впечатлѣнія не будемъ однако считать доказательствомъ. Есть другое, гораздо болѣе твердое. Математически строго можно доказать, что произведеніе искусства не можетъ сравниться съ живымъ человѣческимъ лицомъ по красотѣ очертаній: извѣстно, что въ искусствѣ исполненіе всегда неизмѣримо ниже того идеала, который существуетъ въ воображеніи художника. А самый этотъ идеалъ никакъ не можетъ быть по красотѣ выше тѣхъ живыхъ людей, которыхъ имѣлъ случай видѣть художникъ. Силы «творческой фантазіи» очень ограничены: она можетъ только комбинировать впечатлѣнія, полученные изъ опыта; воображеніе только разнообразитъ и экстенсивно увеличиваетъ предметъ, но интенсивнѣе того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можемъ вообразить. Я могу представить себѣ солнце гораздо больше по величинѣ, нежели каково оно въ дѣйствительности; но ярче того, какъ оно являлось мнѣ въ дѣйствительности, я не могу его вообразить. Точно такъ же я могу представить себѣ

человѣка выше ростомъ, толще и т. д., нежели тѣ люди, которыхъ я видѣлъ; но лица прекраснѣе тѣхъ лицъ, которыя случалось мнѣ видѣть въ дѣйствительности, я не могу себѣ вообразить. Это выше силъ человѣческой фантазіи. Одно могъ бы сдѣлать художникъ: соединить въ своемъ идеалѣ лобъ одной красавицы, носъ другой, ротъ и подбородокъ третьей; не споримъ, что это иногда и дѣлаютъ художники; но сомнительно: вопервыхъ, нужно ли это; во вторыхъ, въ состояніи ли воображеніе соединить эти части, когда онѣ дѣйствительно принадлежатъ разнымъ лицамъ. Нужно это было бы только тогда, когда бы художнику попадались все такія лица, въ которыхъ одна часть была бы хороша, а другія дурны. Но обыкновенно въ лицѣ всѣ части почти одинаково хороши или почти одинаково дурны, такъ что художникъ, будучи доволенъ, напр., лбомъ, долженъ почти въ такой же степени остаться доволенъ и очертаніемъ носа и рта. Обыкновенно, если лицо не изуродовано, то всѣ части его бывають въ такой гармоніи между собою, что нарушать ее значило бы портить красоту лица. Этому учить насъ сравнительная анатомія. Правда, очень часто случается слышать: «какъ хорошо было бы это лицо, еслибы носъ былъ нѣсколько приподнятъ къ верху, губы нѣсколько потоньше» и т. п. — нисколько не сомнѣваясь въ томъ, что иногда при красотѣ всѣхъ остальныхъ частей лица одна часть его бываетъ некрасива, мы думаемъ, что обыкновенно, или лучше сказать почти всегда, подобное недовольство проистекаетъ или отъ неспособности понимать гармонію, или отъ прихотливости, которая граничитъ съ отсутствіемъ истинной, сильной способности и потребности наслаждаться прекраснымъ. Части человѣческаго тѣла, какъ и всякаго живаго организма, постоянно возрождающагося подъ вліяніемъ своего единства, находятся между собою въ тѣснѣйшей связи, такъ что форма одного члена зависитъ отъ формъ всѣхъ остальныхъ, и въ свою очередь онѣ зависятъ отъ нея. Тѣмъ болѣе надобно это сказать о различныхъ частяхъ одного органа, о различныхъ частяхъ лица. Взаимная зависимость очертаній доказывается, какъ мы говорили, наукою, но и безъ помощи науки очевидна для всякаго, одареннаго чувствомъ гармоніи. Человѣческое тѣло—одно цѣлое; его нельзя разрывать на части и говорить: эта часть хороша, прекрасна, эта некрасива. И здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, подбораніе, мозаичность, эклектизмъ ведетъ къ несообразностямъ: принимайте все, или не

принимайте ничего — только тогда вы будете правы, по крайней мѣрѣ съ своей точки зрѣнія. Только въ уродахъ, въ этихъ эклектическихъ существахъ, умѣстна мѣрка эклектизма. А оригиналами при изваяніи «великихъ произведеній скульптуры» конечно служили не они. Еслибы художникъ взялъ для своего изваянія лобъ съ одного лица, носъ съ другого, ротъ съ третьяго, онъ доказалъ бы этимъ только одно: собственное безвкусіе или по крайней мѣрѣ неумѣнье отыскать дѣйствительно прекрасное лицо для своей модели. На основаніи всѣхъ приведенныхъ соображеній, мы думаемъ, что красота статуи не можетъ быть выше красоты живаго индивидуальнаго человѣка; потому что снимокъ не можетъ быть прекраснѣе оригинала. Правда, не всегда статуя бываетъ вѣрнымъ снимкомъ съ натурщика; иногда «художникъ воплощаетъ въ своей статуѣ свой идеалъ» — но какимъ образомъ составляется идеалъ художника, не похожій на его модель, мы будемъ имѣть случай говорить впослѣдствіи. Мы не забываемъ и того, что, кромѣ очертаній, въ произведеніи скульптуры есть еще группировка и выраженіе; но оба эти элемента красоты гораздо полнѣе, нежели въ статуѣ, мы встрѣчаемъ въ картинѣ; потому и анализируемъ ихъ, говоря о живописи, къ которой переходимъ. Живопись съ нашей настоящей точки зрѣнія мы должны раздѣлить на изображеніе отдѣльныхъ фигуръ и группъ, живопись изображающую внѣшній міръ и живопись изображающую фигуры и группы среди ландшафта или, выражаясь общѣе, среди обстановки.

Что касается до очертаній отдѣльной человѣческой фигуры, надобно сказать, что живопись уступаетъ въ этомъ отношеніи не только природѣ, но и скульптурѣ: она не можетъ очерчивать такъ полно и опредѣленно; за то, распоряжаясь красками, она изображаетъ человѣка гораздо ближе къ живой природѣ и можетъ придавать его лицу гораздо болѣе выразительности, нежели скульптура. Не знаемъ, до какой степени совершенства дойдетъ со временемъ составленіе красокъ; но при настоящемъ положеніи этой стороны техники, живопись не можетъ хорошо передавать цвѣтъ человѣческаго тѣла вообще, и особенно цвѣтъ лица. Краски ея въ сравненіи съ цвѣтомъ тѣла и лица — грубое, жалкое подражаніе; вмѣсто вѣснаго тѣла она рисуетъ что-то зеленоватое или красноватое; и, говоря безотносительно, не принимая въ соображеніе, что и для этого зеленоватого или красноватого изображенія нужно имѣть не-

обыкновенное «умѣнье», мы должны будемъ признаться, что живое тѣло не можетъ быть удовлетворительно передано мертвыми красками. Одинъ только изъ оттѣнковъ его передаетъ живопись довольно хорошо—потерявшій жизненность, сухой цвѣтъ стариковскаго или загрубѣлаго лица. Покрѣпы оспенными ямочками или болѣзненныя лица также выходятъ на картинахъ несравненно удовлетворительнѣе, нежели свѣжія, молодая. Наилучшее выходитъ въ живописи наихудшимъ, наихудшее—наиболѣе удовлетворительнымъ. То же самое надобно сказать и о выраженіи лица. Лучше другихъ оттѣнковъ жизни удается живописи изображать судорожныя искаженія лица при разрушительно-сильныхъ аффектахъ, напр., выраженіе гнѣва, ужаса, свирѣпости, буйнаго разгула, физической боли или нравственнаго страданія, переходяшаго съ физическое страданіе; потому что въ этихъ случаяхъ съ чертами лица происходятъ рѣзкія измѣненія, которыя достаточно могутъ быть изображены довольно грубыми взмахами кисти, и мелочная невѣрность или неудовлетворительность подробностей исчезаетъ среди крупныхъ штриховъ: самый грубый намекъ здѣсь понятенъ для зрителя. Удовлетворительнѣе другихъ оттѣнковъ выраженія передается также сума-шествовіе, тупоуміе или отсутствіе мысли; потому что здѣсь почти нечего передавать или надобно передать дисгармонію—дисгармонія не портится, а развивается несовершенствомъ исполненія. Но всѣ остальные видоизмѣненія фізіогноміи передаются живописью чрезвычайно неудовлетворительно; потому что никогда не можетъ она достигъ нѣжности штриховъ, гармоничности всѣхъ мельчайшихъ видоизмѣненій въ мускулахъ, отъ которыхъ зависитъ выраженіе нѣжной радости, тихой задумчивости, легкой веселости и т. д. Руки человѣческія грубы, и въ состояніи удовлетворительно сдѣлать только то, для чего не требуется слишкомъ удовлетворительной отдѣлки; «топорная работа»—вотъ настоящее имя всѣхъ пластическихъ искусствъ, какъ скоро сравнимъ ихъ съ природою. Впрочемъ живопись (и скульптура) еще больше, нежели очертаніями или выраженіемъ своихъ фигуръ, гордится предъ природою группировкою. Но эта гордость еще менѣе понятна. Правда, искусству иногда удается безукоризненно сгруппировать фигуры, но напрасно будетъ оно превозноситься своею чрезвычайно рѣдкою удачею; потому что въ дѣйствительности никогда не бываетъ въ этомъ отношеніи неудачи: въ каждой группѣ живыхъ людей всѣ держатъ себя со-

вершенно сообразно 1) сущности сцены, происходящей между ними; 2) сущности собственного своего характера и 3) условіямъ обстановки. Все это само собою всегда соблюдается въ дѣйствительной жизни и съ чрезвычайнымъ трудомъ достигаетъ этого искусство. «Всегда и само собою» въ природѣ; «очень рѣдко и съ величайшимъ напряженіемъ силъ» въ искусствѣ — вотъ фактъ, почти во всѣхъ отношеніяхъ характеризующій природу и искусство.

Переходимъ къ живописи изображающей природу. Очертанія предметовъ, опять, никакъ не могутъ быть не только нарисованы рукою, но и представлены воображеніемъ лучше, нежели встрѣчаются въ дѣйствительности; причину объясняли мы выше. Лучше дѣйствительной розы воображеніе не можетъ ничего представить; а исполненіе всегда ниже воображаемаго идеала. Цвѣта нѣкоторыхъ предметовъ удаются живописи очень хорошо; но есть много предметовъ, колоритъ которыхъ она не можетъ передать. Вообще лучше удаются темные цвѣта и грубые, жесткіе оттѣнки; свѣтлые хуже; колоритъ предметовъ, освѣщенныхъ солнцемъ, хуже всего; такъ же неудачны выходятъ оттѣнки голубаго полуденнаго неба, розовые и золотистые оттѣнки утра и вечера. — «Но именно побѣжденіемъ этихъ трудностей прославились великіе художники», — т. е. тѣмъ, что побѣждали ихъ гораздо лучше, нежели другіе живописцы. Мы не говоримъ объ относительномъ достоинствѣ произведеній живописи, а сравниваемъ лучшія изъ нихъ съ природою. Насколько лучшія изъ нихъ лучше другихъ, настолько же уступаютъ природѣ. — «Но живопись лучше можетъ сгруппировать пейзажъ?» — сомнѣваемся; по крайней мѣрѣ въ природѣ на каждомъ шагу встрѣчаются картины, къ которымъ нечего прибавить, изъ которыхъ нечего выбросить. Не такъ говорятъ очень многіе люди, посвятившіе свою жизнь изученію искусства и опустившіе изъ вида природу. Но простое естественное чувство каждаго человѣка, не вовлеченнаго въ пристрастіе художническою или диллетантскою односторонностью, будетъ согласно съ нами, когда мы скажемъ, что въ природѣ очень много такихъ мѣстоположеній, такихъ зрѣлищъ, которыми можно только восхищаться и въ которыхъ нечего осудить. Войдите въ порядочный лѣсъ — не говоримъ о лѣсахъ Америки, говоримъ о тѣхъ лѣсахъ, которые уже пострадали отъ руки человѣка, о нашихъ европейскихъ лѣсахъ — чего недостаетъ этому лѣсу? Кому изъ видѣвшихъ порядочный лѣсъ приходило въ голову, что

въ этомъ лѣсу надобно что-нибудь измѣнить, что-нибудь дополнить для полноты эстетическаго наслажденія имъ? — Проѣзжайте двѣсти, триста верстъ по дорогѣ—не говоримъ въ Крыму или въ Швейцаріи, нѣтъ, въ Европейской Россіи, которая, говорятъ, бѣдна видами—сколько вамъ встрѣтится на этомъ небольшомъ переѣздѣ такихъ мѣстностей, которыя восхитятъ васъ, любуясь на которыя вы не подумаете о томъ, что «еслибы тутъ вотъ это прибавить, тутъ вотъ это убавить, пейзажъ былъ бы лучше». Человѣкъ съ неиспорченнымъ эстетическимъ чувствомъ наслаждается природою вполне, не находитъ недостатковъ въ ея красотѣ. Мнѣніе, будто бы рисованный пейзажъ можетъ быть величественнѣе, граціознѣе или въ какомъ бы то ни было отношеніи лучше дѣйствительной природы, отчасти обязано своимъ происхожденіемъ предрассудку, надъ которымъ самодовольно подсмѣиваются въ наше время даже тѣ, которые въ сущности еще не отдѣлились отъ него,—предрассудку, что природа груба, низка, грязна, что надобно очищать и украшать ее для того, чтобъ она облагородилась. Это принципъ подстриженныхъ садовъ. Другой источникъ мнѣнія о превосходствѣ рисованныхъ пейзажей надъ дѣйствительными анализируемъ ниже, когда будемъ разсматривать вопросъ, въ чемъ именно состоитъ наслажденіе, доставляемое намъ произведеніями искусства.

Остается взглянуть на отношеніе къ природѣ третьяго рода картинъ—картинъ, на которыхъ изображается группа людей среди пейзажа. Мы видѣли, что группы и пейзажи, изображаемые живописью, по идѣ никакъ не могутъ быть выше того, что представляетъ намъ дѣйствительность, а по исполненію всегда неизмѣримо ниже дѣйствительности. Но то справедливо, что на картинѣ группа можетъ быть поставлена въ обстановкѣ болѣе эффектной и даже болѣе приличной сущности ея, нежели обыкновенная дѣйствительная обстановка (радостныя сцены часто происходятъ среди довольно тусклой или даже грустной обстановки; потрясающія, величественныя сцены часто, и даже болѣею частію—среди обстановки вовсе не величественной; и наоборотъ, очень часто пейзажъ не наполненъ группами, характеръ которыхъ былъ бы приличенъ его характеру). Искусство очень легко исполняетъ эту неполноту, и мы готовы сказать, что оно имѣетъ въ этомъ случаѣ преимущество предъ дѣйствительностью. Но, признавая это преимущество, мы должны разсмотрѣть во первыхъ, до какой степени оно важно, во-

вторыхъ, всегда ли оно бываетъ истиннымъ преимуществомъ.—Картина изображаетъ пейзажъ и группу людей среди этого пейзажа. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ или пейзажъ есть только рамка для группы, или группа людей только второстепенный аксессуаръ, а главное въ картинѣ—пейзажъ. Въ первомъ случаѣ преимущество искусства надъ дѣйствительностью ограничивается тѣмъ, что оно съискала для картины золоченную рамку вмѣсто простой; во второмъ искусство прибавило, можетъ быть прекрасный, но второстепенный аксессуаръ—выигрышъ также не слишкомъ великъ. Но дѣйствительно ли внутреннее значеніе картины возвышается, когда живописцы стараются дать группѣ людей обстановку, соответствующую характеру группы? Это сомнительно въ большей части случаевъ. Не будетъ ли слишкомъ однообразно сцены счастливой любви всегда освѣщать лучами радостнаго солнца и помѣщать среди смѣющейся зелени луговъ, и притомъ еще весною, когда «вся природа дышетъ любовью», а сцены преступленій освѣщать молніею и помѣщать среди дикихъ скалъ? И кромѣ того, не будетъ ли не совсемъ гармонирующая съ характеромъ сцены обстановка, какова обыкновенно бываетъ она въ дѣйствительности, своею дисгармоніею возвышать впечатлѣніе, производимое самою сценою? И не имѣетъ ли почти всегда обстановка вліянія на характеръ сцены, не придаетъ ли она ей новыхъ оттѣнковъ, не придаетъ ли она ей чрезъ то больше свѣжести, и больше жизни?

Окончательный выводъ изъ этихъ сужденій о скульптурѣ и живописи: мы видимъ, что произведенія того и другого искусства по многимъ и существеннѣйшимъ элементамъ (по красотѣ чертаній, по абсолютному совершенству исполненія, по выразительности и т. д.) неизмѣримо ниже природы и жизни; но, кромѣ одного мало-важнаго преимущества живописи, о которомъ сейчасъ говорили, рѣшительно не видимъ, въ чемъ произведенія скульптуры или живописи стояли бы выше природы и дѣйствительной жизни. Теперь намъ остается говорить о музыкѣ и поэзіи—высшихъ, совершеннѣйшихъ искусствахъ, предъ которыми исчезаютъ и живопись, и скульптура. Но прежде мы должны обратить вниманіе на вопросъ: въ какомъ отношеніи находится инструментальная музыка къ вокальной, и въ какихъ случаяхъ вокальная музыка можетъ назваться искусствомъ?

Искусство есть дѣятельность, посредствомъ которой осущест-

вляеть человѣкъ свое стремленіе къ прекрасному—таково обыкновенное опредѣленіе искусства; мы не согласны съ нимъ; но пока не высказана наша критика, еще не имѣемъ права отступать отъ него, и подстановивъ впослѣдствіи вмѣсто употребляемаго нами здѣсь опредѣленія то, которое кажется намъ справедливымъ, мы не измѣнимъ чрезъ это нашихъ выводовъ относительно вопроса: всегда ли пѣніе есть искусство, и въ какихъ случаяхъ становится оно искусствомъ.—Какова первая потребность, подъ вліяніемъ которой человѣкъ начинаетъ пѣть? участвуетъ ли въ ней насколько-нибудь стремленіе къ прекрасному? Намъ кажется, что это потребность, совершенно отличная отъ заботы о прекрасномъ. Человѣкъ спокойный можетъ быть замкнутъ въ себѣ, можетъ молчать. Человѣкъ, находящійся подъ вліяніемъ чувства радости или печали, дѣлается сообщителемъ; этого мало: онъ не можетъ не выражать во внѣшности своего чувства: «чувство просится наружу». Какимъ же образомъ выступаетъ оно во внѣшній міръ? Различно, смотря потому, каковъ его характеръ. Внезапныя и потрясающія ощущенія выражаются крикомъ или восклицаніями; чувства непріятныя, переходящія въ физическую боль, выражаются разными гримасами и движеніями; чувство сильнаго недовольства также—безпокойными, разрушительными движеніями; наконецъ чувства радости и грусти рассказомъ, когда есть кому рассказать, и пѣніемъ, когда некому рассказывать, или когда человѣкъ не хочетъ рассказывать. Эта мысль найдется въ каждомъ разсужденіи о народныхъ пѣсняхъ. Странно только, почему не обращаютъ вниманія на то, что пѣніе, будучи по сущности своей выраженіемъ радости или грусти, вовсе не происходитъ отъ нашего стремленія къ прекрасному. Неужели подъ преобладающимъ вліяніемъ чувства человѣкъ будетъ еще думать о томъ, чтобы достигать прелести, граціи, будетъ заботиться о формѣ? Чувство и форма противоположны между собою. Уже изъ этого одного видимъ, что пѣніе, произведеніе чувства, и искусство, заботящееся о формѣ, два совершенно различные предмета. Пѣніе первоначально и существенно—подобно разговору—произведеніе практической жизни, а не произведеніе искусства; но какъ всякое «умѣнье», пѣніе требуетъ привычки, занятія, практики, чтобы достигъ высокой степени совершенства; какъ всѣ органы, органъ пѣнія, голосъ, требуетъ обработки, ученія, для того, чтобы сдѣлаться покорнымъ орудіемъ воли—и естественное пѣніе становится въ

этомъ отношеніи «искусствомъ», но только въ томъ смыслѣ, въ какомъ называется «искусствомъ» умѣнье писать, считать, пахать землю, всякая практическая дѣятельность; а вовсе не въ томъ смыслѣ, какой придается слову «искусство» эстетикой.

Но въ противоположность естественному пѣнію существуетъ искусственное пѣніе, старающееся подражать естественному. Чувство придаетъ особенный, высокій интересъ всему, что производится подъ его вліяніемъ; оно даже придаетъ всему особенную прелесть, особенную красоту. Одушевленное грустью или радостью лицо въ тысячу разъ прекраснѣе, нежели холодное. Естественное пѣніе, какъ изліяніе чувства, будучи произведеніемъ природы, а не искусства, заботящагося о красотѣ, имѣетъ однако высокую красоту; потому является въ человѣкѣ желаніе пѣть нарочно, подражать естественному пѣнію. Каково отношеніе этого искусственнаго пѣнія къ естественному?—оно гораздо обдуманнѣе, оно рассчитано, украшено всѣмъ, чѣмъ только можетъ украсить его геній человѣка: какое сравненіе между арією итальянской оперы и простымъ, бѣднымъ, монотоннымъ мотивомъ народной пѣсни! Но вся ученость, гармонія, все изящество развитія, все богатство украшеній геніальной аріи, вся гибкость, все несравненное богатство голоса, ее исполняющаго, не замѣняютъ недостатка искренняго чувства, которымъ проникнуть бѣдный мотивъ народной пѣсни и неблестящій, мало-обработанный голосъ человѣка, который поетъ не изъ желанія блеснуть и выказать свой голосъ и искусство, а изъ потребности излить свое чувство. Различіе между естественнымъ и искусственнымъ пѣніемъ—различіе между актеромъ, играющимъ роль веселаго или печальнаго и человѣкомъ, который въ самомъ дѣлѣ обрадованъ или опечаленъ чѣмъ-нибудь—различіе между оригиналомъ и копіею, между дѣйствительностью и подражаніемъ. Спѣшимъ прибавить, что композиторъ можетъ въ самомъ дѣлѣ проникнуться чувствомъ, которое должно выражаться въ его произведеніи; тогда онъ можетъ написать нѣчто гораздо высшее не только по внѣшней красивости, но и по внутреннему достоинству, нежели народная пѣсня: но въ такомъ случаѣ его произведеніе будетъ произведеніемъ искусства или «умѣнья» только съ технической стороны, только въ томъ смыслѣ, въ которомъ и всѣ, человѣческія произведенія, созданныя при помощи глубокаго изученія, соображеній, заботы о томъ, чтобы «вышло какъ возможно лучше», могутъ назваться произведеніями

искусства; въ сущности же произведеніе композитора, написанное подъ преобладающимъ вліяніемъ произвольнаго чувства, будетъ созданіе природы (жизни) вообще, а не искусства. Точно такъ же, искусный и впечатлительный пѣвецъ можетъ войти въ свою роль, проникнуться тѣмъ чувствомъ, которое должна выражать его пѣсня, и въ такомъ случаѣ онъ пропоетъ ее на театрѣ, предъ публикою, лучше другаго человѣка, поющаго не на театрѣ, отъ избытка чувства, а не на показъ публикѣ; но въ такомъ случаѣ пѣвецъ перестаетъ быть актеромъ, и его пѣніе становится пѣснью самой природы, а не произведеніемъ искусства. Это увлеченіе чувствомъ мы не думаемъ смѣшивать съ вдохновеніемъ: вдохновеніе есть особенно благоприятное настроеніе творческой фантазіи; оно и увлеченіе чувствомъ имѣютъ общаго только то, что въ людяхъ, одаренныхъ поэтическимъ талантомъ и вмѣстѣ особенно впечатлительностью, вдохновеніе можетъ переходить въ увлеченіе чувствомъ, когда предметъ вдохновенія располагаетъ къ чувству. Между вдохновеніемъ и чувствомъ то же самое различіе, какое между фантазією и дѣйствительностью, между мечтами и впечатлѣніями.

Первоначальное и существенное назначеніе инструментальной музыки—служить аккомпаниментомъ для пѣнія. Правда, впоследствии, когда пѣніе становится для высшихъ классовъ общества преимущественно искусствомъ, когда слушатели начинаютъ быть очень требовательны въ отношеніи къ technikѣ пѣнія — за недостаткомъ удовлетворительнаго пѣнія инструментальная музыка старается замѣнить его, и является какъ нѣчто самостоятельное; правда, что она имѣетъ и полное право обнаруживать притязанія на самостоятельное значеніе при усовершенствованіи музыкальных инструментовъ, при чрезвычайномъ развитіи технической стороны игры и при господствѣ предпочтительнаго пристрастія къ исполненію, а не къ содержанію. Но тѣмъ неменѣе истинное отношеніе инструментальной музыки къ пѣнію сохраняется въ оперѣ, полнѣйшей формѣ музыки какъ искусства, и въ нѣкоторыхъ другихъ отрасляхъ концертной музыки. И нельзя не замѣтить, что несмотря на всю искусственность нашего вкуса, на изысканное пристрастіе ко всѣмъ трудностямъ и хитростямъ блестящей техники, всѣ продолжаютъ отдавать пѣнію предпочтеніе предъ инструментальною музыкою: едва начинается пѣніе, мы перестаемъ обращать вниманіе на оркестръ. Выше всѣхъ инструментовъ ставится скрипка, потому что

она «ближе всѣхъ инструментовъ подходить къ человѣческому голосу»; высочайшая похвала артисту: въ звукахъ его инструмента слышится человѣческій голосъ». Итакъ: инструментальная музыка—подражаніе пѣнію, его аккомпаниментъ или суррогатъ; въ самомъ пѣніи, пѣніе какъ произведеніе искусства только подражаніе и суррогатъ пѣнію, какъ произведенію природы. Послѣ этого мы имѣемъ право сказать, что въ музыкѣ искусство есть только слабое воспроизведеніе явленій жизни, независимыхъ отъ стремленія нашего къ искусству.

Переходимъ къ высочайшему и полнѣйшему изъ искусствъ, поэзіи, вопросы о которой заключаютъ въ себѣ всю теорію искусства. Неизмѣримо выше другихъ искусствъ стоитъ поэзія по своему содержанию; всѣ другія искусства не въ состояніи сказать намъ и сотой доли того, что говоритъ поэзія. Но совершенно измѣняется это отношеніе, когда мы обращаемъ вниманіе на силу и живость субъективнаго впечатлѣнія, производимаго поэзіею съ одной стороны и остальными искусствами съ другой. Всѣ другія искусства, подобно живой дѣйствительности, дѣйствуютъ прямо на чувства; поэзія дѣйствуетъ на фантазію; фантазія у однихъ людей гораздо впечатлительнѣе и живѣе, нежели у другихъ, но вообще должно сказать, что у здороваго человѣка ея образы блѣдны, слабы въ сравненіи съ воззрѣніями чувствъ; потому надобно сказать, что по силѣ и ясности субъективнаго впечатлѣнія поэзія далеко ниже не только дѣйствительности, но и всѣхъ другихъ искусствъ. Посмотримъ же, какова степень объективнаго совершенства содержанія и формы въ произведеніяхъ поэзіи, и можетъ ли она хотя въ этомъ отношеніи соперничать съ природою.

Много говорятъ о «законченности», «индивидуальности», «живой опредѣленности» лицъ и характеровъ, изображаемыхъ великими поэтами. Но вмѣстѣ съ этимъ говорятъ намъ, что «это однако же не отдѣльныя лица, а общіе типы»—послѣ такой фразы было бы излишне доказывать, что самое опредѣленное, наилучшимъ образомъ обрисованное лицо остается въ поэтическомъ произведеніи только общимъ, неопредѣленно-очерченнымъ абрисомъ, которому живая опредѣленная индивидуальность придается только воображеніемъ (собственно говоря, воспоминаніями) читателя. Образъ въ поэтическомъ произведеніи точно такъ же относится къ дѣйствительному живому образу, какъ слово относится къ дѣйствительному

предмету, имъ обозначаемому—это не болѣе, какъ блѣдный и общій, неопредѣленный намекъ на дѣйствительность. Многіе въ этой «общности» поэтическаго образа видятъ превосходство его надъ лицами, представляющимися намъ въ дѣйствительной жизни. Такое мнѣніе основывается на предполагаемой противоположности между общимъ значеніемъ существа и его живою индивидуальностью, на предположеніи, будто бы «общее, индивидуализируясь, теряетъ свою общность» въ дѣйствительности и «возводится опять къ ней только силою искусства, совлекающаго съ индивидуума его индивидуальность». Не вдаваясь въ метафизическія сужденія о томъ, каковы на самомъ дѣлѣ каузальныя отношенія между общимъ и частнымъ (причемъ необходимо было бы придти къ заключенію, что для человѣка общее только блѣдный и мертвый экстрактъ изъ индивидуальнаго, что поэтому между ними такое же отношеніе, какъ между словомъ и реальностью), скажемъ только, что на самомъ дѣлѣ индивидуальныя подробности вовсе не мѣшаютъ общему значенію предмета, а, напротивъ, оживляютъ и дополняютъ его общее значеніе; что, во всякомъ случаѣ, поэзія признаетъ высокое превосходство индивидуальнаго ужъ тѣмъ самымъ, что всѣми силами стремится къ живой индивидуальности своихъ образовъ; что съ тѣмъ вмѣстѣ никакъ не можетъ она достичь индивидуальности, а успѣваетъ только нѣсколько приблизиться къ ней, и что степенью этого приближенія опредѣляется достоинство поэтическаго образа. Итакъ: стремится, но не можетъ никогда достичь того, что всегда встрѣчается въ типическихъ лицахъ дѣйствительной жизни—ясно, что образы поэзіи слабы, неполны, неопредѣленны въ сравненіи съ соотвѣтствующими имъ образами дѣйствительности. «Но встрѣчаются ли въ дѣйствительности истинно-типическія лица?»—достаточно предложить подобный вопросъ, и не дожидаться на него отвѣта какъ на вопросы о томъ, дѣйствительно ли въ жизни встрѣчаются добрые и дурные люди, моты, скупцы и т. д., дѣйствительно ли ледъ холоденъ, хлѣбъ очень питателенъ и т. п. Есть люди, которымъ все надобно указать и доказывать. Но ихъ нельзя убѣдить общими доказательствами въ общемъ сочиненіи; на нихъ можно дѣйствовать только порознь, для нихъ убѣдительно только спеціальныя примѣры, заимствованныя изъ кружка знакомыхъ имъ людей, въ которомъ, какъ бы ни былъ онъ тѣсенъ, всегда найдется нѣсколько истинно-типическихъ личностей; указаніе на истинно-типич-

ческія личности въ исторіи едва ли поможетъ: есть люди, готовые сказать: «историческія личности опоэтизированы преданіемъ, удивленіемъ современниковъ, гениемъ историковъ или своимъ исключительнымъ положеніемъ».

Отчего произошло мнѣніе, будто бы типическіе характеры въ поэзіи выставляются гораздо чище и лучше, нежели представляются они въ дѣйствительной жизни, рассмотримъ послѣ; теперь обратимъ вниманіе на процессъ, посредствомъ котораго «создаются» характеры въ поэзіи—онъ обыкновенно представляется ручательствомъ за большую въ сравненіи съ живыми лицами типичность этихъ образовъ. Обыкновенно говорятъ: «Поэтъ наблюдаетъ множество живыхъ индивидуальных личностей; ни одна изъ нихъ не можетъ служить полнымъ типомъ; но онъ замѣчаетъ, что въ каждой изъ нихъ есть общаго, типическаго; отбрасывая въ сторону все частное, соединяетъ въ одно художественное цѣлое разбросанныя въ различныхъ людяхъ черты, и такимъ образомъ создаетъ характеръ, который можетъ быть названъ квинтъ-эссенцію дѣйствительныхъ характеровъ». Положимъ, что все это совершенно справедливо, и что всегда бываетъ именно такъ; но квинтъ-эссенція вещи обыкновенно непохожа бываетъ на самую вещь: теинъ не чай, алкоголь не вино; по правилу, приведенному выше, въ самомъ дѣлѣ поступаютъ «сочинители», дающіе намъ вмѣсто людей квинтъ-эссенцію героизма и злобы въ видѣ чудовищъ порока и каменныхъ героевъ. Всѣ, или почти всѣ, молодые люди влюбляются—вотъ общая черта, въ остальныхъ они не сходны—и во всѣхъ произведеніяхъ поэзіи мы услаждаемся дѣвцами и юношами, которые и мечтаютъ и толкуютъ всегда только о любви, и во все продолженіе романа только и дѣлаютъ, что страдаютъ или блаженствуютъ отъ любви; всѣ пожилые люди любятъ порезонерствовать, въ остальномъ они не похожи другъ на друга; всѣ бабушки любятъ внучатъ и т. д.,—и вотъ всѣ повѣсти и романы населяются стариками, которые только и дѣла дѣлаютъ, что резонерствуютъ, бабушками, которыя только и дѣла дѣлаютъ, что ласкаютъ внучатъ и т. п. Но большею частью рецептъ не совсѣмъ соблюдается: у поэта, когда онъ «создаетъ» свой характеръ, носится предъ воображеніемъ обыкновенно образъ какого-нибудь дѣйствительнаго лица; иногда сознательно, иногда бессознательно, «воспроизводитъ» онъ его въ своемъ типическомъ лицѣ. Въ доказательство напомнимъ о безчисленномъ количествѣ

произведеній, въ которыхъ главное дѣйствующее лицо—болѣе или менѣе вѣрный портретъ самого автора (напр. Фаустъ, Донъ Карлосъ и маркизъ Поза, герои Байрона, герои и героини Жоржъ-Занда, Ленскій, Онегинъ, Печоринъ); напомнимъ еще объ очень частыхъ обвиненіяхъ противъ романистовъ, что они «въ своихъ романахъ выставляютъ портреты своихъ знакомыхъ»—эти обвинения обыкновенно отвергаются съ насмѣшкою и негодованіемъ; но они болѣе частью бываютъ только утрированы и несправедливо выражаемы, а не по сущности своей несправедливы. Съ одной стороны, приличія, съ другой обыкновенное стремленіе человѣка къ самостоятельности, къ «творчеству, а не списыванію копій» заставляютъ поэта видоизмѣнять характеры, списываемые имъ съ людей, которые встрѣчались ему въ жизни, представлять ихъ до нѣкоторой степени не точными; кромѣ того, списанному съ дѣйствительнаго человѣка лицу обыкновенно приходится въ романѣ дѣйствовать совершенно не въ той обстановкѣ, какой оно было окружено на самомъ дѣлѣ, и отъ этого виднѣе сходство теряется. Но всѣ эти перемѣны не мѣшаютъ характеру въ сущности оставаться списаннымъ, а не созданнымъ, портретомъ, а не оригиналомъ. Противъ этого можно сказать: правда, что первообразомъ для поэтическаго лица служить очень часто дѣйствительное лицо; но поэтъ «возводитъ его къ общему значенію»—возводитъ обыкновенно не зачѣмъ, потому что и оригиналъ уже имѣетъ общее значеніе въ своей индивидуальности; надобно только — и въ этомъ состоитъ одно изъ качествъ поэтическаго генія—умѣть понимать сущность характера въ дѣйствительномъ человѣкѣ, смотрѣть на него проникающими глазами; кромѣ того надобно понимать или чувствовать, какъ сталъ бы дѣйствовать и говорить этотъ человѣкъ въ тѣхъ обстоятельствахъ, среди которыхъ онъ будетъ поставленъ поэтомъ—другая сторона поэтическаго генія; въ третьихъ надобно умѣть изобразить его, умѣть передать его такимъ, какимъ понимаетъ его поэтъ—едвали не самая характеристическая черта поэтическаго генія. Понять, умѣть сообразить или почувствовать инстинктомъ и передать понятое—вотъ задача поэта при изображеніи большей части изображаемыхъ имъ лицъ. Вопросъ о томъ, что называется «возведеніемъ къ идеальному значенію», «поэтизированіемъ прозы и нескладницы жизни», представится намъ ниже. Мы нисколько не сомнѣваемся однако, что бываетъ въ поэтическихъ произведеніяхъ очень много лицъ,

которыя не могутъ быть названы портреты, которыя «созданы» поэтомъ. Но это происходитъ вовсе не отъ того, чтобы не нашлось въ дѣйствительности достойныхъ натурщиковъ; а совершенно отъ другой причины, чаще всего просто отъ забывчивости или недостаточнаго знакомства: если въ памяти поэта исчезли живыя подробности, осталось только общее отвлеченное понятіе о характерѣ, или поэтъ знаетъ о типическомъ лицѣ гораздо меньше, нежели нужно для того, чтобы оно было живымъ лицомъ, то поневолѣ приходится ему самому дополнять общій очеркъ, отгнѣять абрисъ. Но почти никогда эти придуманные лица не обрисовываются предъ нами какъ живые характеры. Вообще, чѣмъ больше намъ извѣстно о характерѣ поэта, о его жизни, о лицахъ, съ которыми онъ сталкивался, тѣмъ больше видимъ у него портретовъ съ живыхъ людей. Трудно не согласиться, что «созданнаго» въ лицахъ, изображаемыхъ поэтами, бываетъ и всегда бывало гораздо меньше, а списаннаго съ дѣйствительности гораздо больше, нежели обыкновенно предполагаютъ; трудно не прійти къ убѣжденію, что поэтъ въ отношеніи къ своимъ лицамъ почти всегда только историкъ или авторъ мемуаровъ. Само собою разумѣется, что всѣмъ этимъ не не хотимъ мы сказать, будто бы каждое слово, произносимое Маргаритою или Мефистофелемъ, было буквально слышано Гёте отъ Гретхенъ и Мерка. Не только гениальный поэтъ, но и самый ненаходчивый рассказчикъ въ состояніи къ одной фразѣ придѣлать другую въ томъ же родѣ, прибавить вступленія и переходы.

Гораздо больше бываетъ «самостоятельно изобрѣтеннаго» или «придуманнаго»—рѣшаемся замѣнить этими терминами обыкновенный, слишкомъ гордый терминъ: «созданнаго»—въ событіяхъ, изображаемыхъ поэтомъ, въ интригѣ, завязкѣ и развязкѣ ея и т. д., хотя очень легко доказать, что сюжетами романовъ, повѣстей и т. д. обыкновенно служатъ поэту дѣйствительно совершившіяся событія или анекдоты, разнаго рода рассказы и пр. (укажемъ въ примѣръ на всѣ прозаическія повѣсти Пушкина: Капитанская дочка—анекдотъ; Дубровский—анекдотъ; Пиковая дама—анекдотъ; Выстрѣлъ—анекдотъ, и т. д.). Но общій очеркъ сюжета самъ по себѣ еще не придастъ высокаго поэтическаго достоинства роману или повѣсти—надобно уметь воспользоваться сюжетомъ; потому, оставляя безъ рассмотрѣнія «самостоятельность» сюжета, обратимъ вниманіе на то, выше или ниже дѣйствительныхъ событій «поэтичность» поэти-

ческихъ произведеній се стороны сюжета, какъ онъ представляется въ нихъ вполне развитымъ. Какъ пособія для полученія окончательнаго вывода, выставимъ нѣсколько вопросовъ, изъ которыхъ большая часть разрѣшаются сами собою: 1) Бываютъ ли въ дѣйствительности поэтическія событія, совершаются ли въ дѣйствительности драмы, романы, комедіи, трагедіи, водевили? — ежеминутно. 2) Истинно ли поэтичны эти событія въ своемъ развитіи и развязкѣ? — имѣютъ ли въ дѣйствительности художественную полноту и законченность? — Какъ случится; часто не имѣютъ, но очень часто имѣютъ. Есть очень много такихъ событій, въ которыхъ строго-поэтическое воззрѣніе не находитъ никакихъ недостатковъ въ художественномъ отношеніи. Этотъ пунктъ рѣшается чтеніемъ первой хорошо написанной исторической книги, первымъ вечеромъ, проведеннымъ въ бесѣдѣ съ человѣкомъ, много на своемъ вѣку выдавшимъ; разрѣшается, наконецъ, первыми взятыми въ руки нумерами какой-нибудь французской или англійской судебной газеты. 3) Есть ли между этими законченными поэтическими событіями такія, которыя могли бы безъ всякаго измѣненія быть переданы подъ заглавіемъ «драма», «трагедія», «романъ» и т. п.? — очень много; правда, что многія изъ дѣйствительныхъ событій неправдоподобны, основаны на слишкомъ рѣдкихъ, исключительныхъ положеніяхъ или сдѣвленіяхъ обстоятельствъ, и потому въ настоящемъ своемъ видѣ имѣютъ видъ сказки или натянutoй выдумки (изъ этого можно видѣть, что дѣйствительная жизнь часто бываетъ слишкомъ драматична для драмы, слишкомъ поэтична для поэзіи); но очень много есть событій, въ которыхъ при всей ихъ замѣчательности, нѣтъ ничего эксцентрическаго, невѣроятнаго, все сдѣвленіе происшествій, весь ходъ и развязка того, что въ поэзіи называется интригою, просты, естественны. 4) Имѣютъ ли дѣйствительныя событія «общую» сторону, которая необходима въ поэтическомъ произведеніи? — конечно ее имѣетъ всякое событіе, достойное вниманія мыслящаго человѣка; а такихъ событій очень много.

Послѣ всего этого трудно не сказать, что въ дѣйствительности есть много событій, которыя надобно только знать, понять и умѣть рассказать, чтобы они въ чистомъ прозаическомъ рассказѣ историка, писателя мемуаровъ или собирателя анекдотовъ отличались отъ настоящихъ «поэтическихъ произведеній» только меньшимъ объемомъ, меньшимъ развитіемъ сценъ, описаній и тому подобныхъ

подробностей. И въ этомъ мы находимъ существенное различіе поэтическихъ произведеній отъ точнаго, прозаическаго пересказыванія дѣйствительныхъ происшествій. Большая полнота подробностей, или то, что въ плохихъ произведеніяхъ приобрѣтаетъ имя «реторическаго распространенія» — вотъ къ чему въ сущности приводится все превосходство поэзіи надъ точнымъ разсказомъ. Мы не меньше другихъ готовы смѣяться надъ риторикою; но, признавая законными всѣ стремленія, всѣ потребности человѣческаго сердца, какъ скоро замѣчаемъ ихъ всеобщность, мы признаемъ важность этихъ поэтическихъ распространеній, потому что всегда и вездѣ видимъ стремленіе къ нимъ въ поэзіи: въ жизни всегда есть эти подробности, ненужныя для сущности дѣла, но необходимыя для его дѣйствительнаго развитія; должны онѣ быть и въ поэзіи, Разница только въ томъ, что въ дѣйствительности подробности никогда не могутъ быть умысленнымъ механическимъ растягиваніемъ дѣла, а въ поэтическихъ произведеніяхъ онѣ на самомъ дѣлѣ очень часто отзываются риторикою, механическимъ растягиваніемъ разсказа. За что же и превозносятъ Шекспира, если не за то, что въ рѣшительныхъ, лучшихъ сценахъ онъ отбрасываетъ въ сторону эти распространенія? Но сколько найдется ихъ даже у него, у Гете и у Шиллера! Намъ кажется (можетъ быть это — пристрастіе къ своему, родному), что русская поэзія носитъ въ себѣ зародыши отвращенія къ растягиванію сюжета механически подбираемыми подробностями. Въ повѣстяхъ и разсказахъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя общее свойство — краткость и быстрота разсказа. — Итакъ вообще, по сюжету, по типичности и полнотѣ обрисовки лицъ, поэтическія произведенія далеко уступаютъ дѣйствительности; но есть двѣ стороны, которыми они могутъ стоять выше дѣйствительности; — это украшеніе и сочетаніе лицъ съ тѣми событіями, въ которыхъ они участвуютъ.

Мы говорили, что живопись чаще, нежели дѣйствительность, окружаетъ группу обстановкою, соотвѣтствующею существенному характеру сцены; точно такъ же и поэзія чаще, нежели дѣйствительность, двигателями и участниками событій выставляетъ людей, которыхъ существенный характеръ совершенно соотвѣтствуетъ духу событій. Въ дѣйствительности очень часто мелкіе по характеру люди являются двигателями трагическихъ, драматическихъ и т. д. событій; ничтожный повѣса, въ сущности даже вовсе не дурной

человѣкъ, можетъ надѣлать много ужасныхъ дѣлъ; человѣкъ, котораго нисколько нельзя назвать дурнымъ, можетъ погубить счастье многихъ людей, и надѣлать несчастій гораздо больше, нежели Яго или Мефистофель. Въ произведеніяхъ поэзіи, напротивъ того, очень дурныя дѣла дѣлаютъ и люди, очень дурные; хорошія дѣла дѣлаютъ и люди, особенно хорошіе. Въ жизни часто не знаешь, кого винить, кого хвалить; въ поэтическихъ произведеніяхъ обыкновенно положительнымъ образомъ раздается честь и безчестье. Но преимущественно это, или недостатокъ?—Бываетъ иногда то, иногда другое; чаще бываетъ это недостаткомъ. Не говоримъ пока о томъ, что слѣдствіемъ подобнаго обыкновенія бываетъ идеализація въ хорошую и въ дурную сторону, или, просто говоря, преувеличеніе; потому что мы не говорили еще о значеніи искусства, и рано еще рѣшать, недостатокъ или достоинство эта идеализація; скажемъ только, что вслѣдствіе постоянного приспособленія характера людей къ значенію событій, является въ поэзіи монотонность, однообразны дѣлаются лица, и даже самыя событія; потому, что отъ разности въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ и самыя происшествія, существенно сходныя, пріобрѣтали бы различный оттѣнокъ, какъ это бываетъ въ жизни, вѣчно разнообразной, вѣчно новой, между тѣмъ какъ въ поэтическихъ произведеніяхъ очень часто приходится читать повторенія.—Въ наше время принято смѣяться надъ украшеніями, не истекающими изъ сущности предмета и не нужными для достиженія главной цѣли; но до сихъ поръ еще удачное выраженіе, блестящая метафора, тысячи прикрасъ, придумываемыхъ для того, чтобы сообщить внѣшній блескъ сочиненію, имѣютъ чрезвычайно большое вліяніе на сужденіе о произведеніяхъ поэзіи. Что касается украшеній, внѣшняго великолѣпія, замысловатости и т. д., мы всегда признаемъ возможность превзойти въ вымышленномъ разсказѣ дѣйствительность. Но стоить только указать это мнимое достоинство повѣсти или драмы, чтобы уронить ее въ глазахъ людей со вкусомъ, и низвести изъ области «искусства» въ область «искусственности».

Нашъ разборъ показалъ, что произведеніе искусства можетъ имѣть преимущество предъ дѣйствительностью развѣ только въ двухъ-трехъ ничтожныхъ отношеніяхъ, и по необходимости остается далеко ниже ея въ существенныхъ своихъ качествахъ. Разборъ этотъ можно упрекнуть въ томъ, что онъ ограничивался самими

общими точками зрѣнія, не входилъ въ подробности, не ссылался на примѣры. Дѣйствительно, его краткость кажется недостаткомъ, когда вспомнимъ о томъ, до какой степени укоренилось мнѣніе, будто бы красота произведеній искусства выше красоты дѣйствительныхъ предметовъ, событій и людей; но когда посмотришь на шаткость этого мнѣнія, когда вспомнишь, какъ люди, его выставляющіе, противорѣчатъ сами себѣ на каждомъ шагу, то покажется, что было бы довольно, изложивъ мнѣніе о превосходствѣ искусства надъ дѣйствительностью, ограничиться прибавленіемъ словъ: это несправедливо, всякій чувствуетъ, что красота дѣйствительной жизни выше красоты созданий «творческой» фантазіи. Если такъ, то на чемъ же основывается или, лучше сказать, изъ какихъ субъективныхъ причинъ происходитъ преувеличенно высокое мнѣніе о достоинствѣ произведеній искусства?

Первый источникъ этого мнѣнія—естественная склонность человека чрезвычайно высоко цѣнить трудность дѣла и рѣдкость вещи. Никто не цѣнитъ чистоты выговора француза, говорящаго по-французски, нѣмца, говорящаго по-нѣмецки—«это ему не стоило никакихъ трудовъ, и это вовсе не рѣдкость»; но если французъ говоритъ сносно по-нѣмецки, или нѣмецъ по-французски—это составляетъ предметъ нашего удивленія и даетъ такому человеку право на нѣкоторое уваженіе съ нашей стороны; почему? потому, во-первыхъ, что это рѣдко; потому, во-вторыхъ, что это достигнуто цѣлыми годами усилій. Собственно говоря, почти каждый французъ превосходно говоритъ по-французски—но какъ мы взыскательны въ этомъ случаѣ!—малѣйшій, почти незамѣтный отгѣнокъ провинциализма въ его выговорѣ, одна не совсѣмъ изящная фраза—и мы объявляемъ, что «этотъ господинъ говоритъ очень дурно на своемъ родномъ языкѣ». Русский, говоря по-французски, въ каждомъ звукѣ изобличаетъ, что для органовъ его неуловима полная чистота французскаго выговора, безпрестанно изобличаетъ свое иностранное происхожденіе въ выборѣ словъ, въ построеніи фразы, во всемъ складѣ рѣчи—и мы прощаемъ ему всѣ эти недостатки, мы даже не замѣчаемъ ихъ, а объявляемъ, что онъ превосходно, несравненно говоритъ по-французски, наконецъ мы объявляемъ, что «этотъ русскій говоритъ по-французски лучше самихъ французовъ», хотя въ сущности мы не думаемъ сравнивать его съ настоящими французами, сравнивая его только съ другими русскими, также усиливающимися

говорить по-французски—онъ дѣйствительно говоритъ несравненно лучше ихъ, но несравненно хуже французъ—это подразумѣвается каждымъ, имѣющимъ понятіе о дѣлѣ; но многихъ гиперболическая фраза можетъ вводить въ заблужденіе. Точно то же и съ приговоромъ эстетики о созданіяхъ природы и искусства: малѣйшій, истинный или мнимый, недостатокъ въ произведеніи природы—и эстетика толкуетъ о этомъ недостаткѣ, шокируется имъ, готова забывать о всѣхъ достоинствахъ, о всѣхъ красотахъ: стоить ли цѣнить ихъ, въ самомъ дѣлѣ, когда они явились безъ всякаго усилія! Тотъ же самый недостатокъ въ произведеніи искусства во сто разъ больше, грубѣе и окруженъ еще сотнями другихъ недостатковъ—и мы не видимъ всего этого, а если видимъ, то прощаемъ и восклицаемъ: «и на солнцѣ есть пятна». Собственно говоря, произведенія искусства могутъ быть сравниваемы только другъ съ другомъ при опредѣленіи относительнаго ихъ достоинства: нѣкоторые изъ нихъ оказываются выше всѣхъ остальныхъ; и въ восторгѣ отъ ихъ красоты (только относительной) мы восклицаемъ: «они прекраснѣе самой природы и жизни! красота дѣйствительности — ничто предъ красотою искусства!» Но восторгъ пристрастенъ; онъ даетъ больше, нежели можетъ дать справедливость: мы цѣнимъ трудность — это прекрасно; но не должно забывать и существеннаго, внутренняго достоинства, которое независимо отъ степени трудности; мы дѣлаемся рѣшительно несправедливыми, когда трудность исполненія предпочитаемъ достоинству исполненія. Природа и жизнь производятъ прекрасное не заботясь о красотѣ, она является въ дѣйствительности безъ усилія и слѣдовательно безъ заслуги въ нашихъ глазахъ, безъ права на сочувствіе, безъ права на снисхожденіе; да и къ чему снисхожденіе, когда прекраснаго въ дѣйствительности такъ много! «Все не въ совершенствѣ прекрасное въ дѣйствительности—дурно; все сколько-нибудь сносное въ искусствѣ — превосходно» — вотъ правило, на основаніи котораго мы судимъ. Чтобы доказать, какъ высоко цѣнится трудность исполненія и какъ много теряетъ въ глазахъ человѣка то, что дѣлается само собою, безъ всякихъ усилій съ нашей стороны, укажемъ на дагерротипные портреты; въ числѣ ихъ найдется очень много не только вѣрныхъ, но и передающихъ въ совершенствѣ выраженіе лица—цѣнимъ ли мы ихъ? странно даже услышать апологію дагерротипныхъ портретовъ. Другой примѣръ: какъ высоко уважалась каллиграфія! между тѣмъ, до-

вольно посредственно напечатанная книга несравненно прекраснѣе всякой рукописи; но кто же восхищается искусствомъ типографскаго фактора и кто не будетъ въ тысячу разъ больше любоваться на прекрасную рукопись, нежели на порядочно напечатанную книгу, которая въ тысячу разъ прекраснѣе рукописи? Что легко, то мало интересуется насъ, хотя бы по внутреннему достоинству. было несравненно выше труднаго. Само собою разумѣется, что даже и съ этой точки зрѣнія мы правы только субъективно: «дѣйствительность производить прекрасное безъ усилій»—значить только, что усилія въ этомъ случаѣ дѣлаются не волею человѣка; на самомъ же дѣлѣ все въ дѣйствительности—и прекрасное и непрекрасное, и великое и мелкое—результатъ высочайшаго возможнаго напряженія силъ, не знающихъ ни отдыха, ни усталости. Но что намъ за дѣло до усилій и борьбы, которыя совершаются не нашими силами и въ которыхъ не участвуетъ наше сознание? мы не хотимъ и знать о нихъ; мы цѣнимъ только человѣческую силу, цѣнимъ только человека. И вотъ другой источникъ нашей пристрастной любви къ произведеніямъ искусства: они—произведенія человека; потому мы гордимся ими, считая ихъ чѣмъ-то не чуждымъ намъ; они свидѣтельствуютъ объ умѣ человека, о его силѣ, и потому дороги для насъ. Всѣ народы, кромѣ французовъ, очень хорошо видятъ, что между Корнелемъ или Расиномъ и Шекспиромъ неизмѣримое разстояніе; но французы до сихъ поръ еще сравниваютъ ихъ,—трудно дойти до сознанія: «наше не совсѣмъ хорошо»; между нами найдется очень много людей, готовыхъ утверждать, что Пушкинъ—всемирный поэтъ; есть даже люди, думающіе, что онъ выше Байрона: такъ высоко человекъ ставитъ свое. Какъ отдѣльный народъ преувеличиваетъ достоинство своихъ поэтовъ, такъ человекъ вообще преувеличиваетъ достоинство поэзіи вообще.

Причины пристрастія къ искусству, нами приведенныя, заслуживаютъ уваженія, потому что онѣ естественны: какъ человеку не уважать человѣческаго труда, какъ человеку не любить человека, не дорожить произведеніями, свидѣтельствующими объ умѣ и силѣ человека? Но едвали заслуживаетъ такого уваженія третья причина предпочтительной любви нашей къ искусству. Искусство льститъ нашему искусственному вкусу. Мы очень хорошо понимаемъ, какъ искусственны были нравы, привычки, весь образъ мыслей временъ Людовика XIV; мы приблизились къ природѣ, гораздо лучше по-

нимаемъ и цѣнимъ ее, нежели понимало и цѣнило общество XVII вѣка; тѣмъ не менѣе мы еще очень далеки отъ природы; наши привычки, нравы, весь образъ жизни и вслѣдствіе того весь образъ мыслей еще очень искусственны. Трудно видѣть недостатки своего вѣка, особенно когда эти недостатки стали слабѣе, нежели были въ прежнее время; вмѣсто того, чтобы замѣчать, какъ много еще въ насъ изысканной искусственности, мы замѣчаемъ только, что XIX вѣкъ стоитъ въ этомъ отношеніи выше XVII, лучше его понимая природу, и забываемъ, что ослабѣвшая болѣзнь не есть еще полное здоровье. Наша искусственность видна во всемъ, начиная съ одежды, надъ которою такъ много всѣ смѣются и которую всѣ продолжаютъ носить, до нашего купанья, приправляемаго всевозможными примѣсами, совершенно измѣняющими естественный вкусъ блюдъ; отъ изысканности нашего разговорнаго языка до изысканности нашего литературнаго языка, который продолжаетъ украшаться антитезами, остротами, распространеніями изъ *loci topici*, глубокомысленными разсужденіями на избитыя темы и глубокомысленными замѣчаніями о человѣческомъ сердцѣ, на-манеръ Корнеля и Расина въ беллетристикѣ и на-манеръ Іоанна Миллера въ историческихъ сочиненіяхъ. Произведенія искусства льстятъ всѣмъ мелочнымъ нашимъ требованіямъ, происходящимъ отъ любви къ искусственности. Не говоримъ о томъ, что мы до сихъ поръ еще любимъ «умывать» природу, какъ любили наряжать ее въ XVII вѣкѣ—это завлекло бы насъ въ длинныя сужденія о томъ, что такое «грязное» и до какой степени оно должно являться въ произведеніяхъ искусства. Но до сихъ поръ въ произведеніяхъ искусства господствуетъ мелочная отдѣлка подробностей, которой цѣль не приведеніе подробностей въ гармонію съ духомъ цѣлаго, а только то, чтобы сдѣлать каждую изъ нихъ въ отдѣльности интереснѣе или красивѣе, почти всегда во вредъ общему впечатлѣнію произведенія, его правдоподобию и естественности; господствуетъ мелочная погоня за эффектностью отдѣльныхъ словъ, отдѣльныхъ фразъ и цѣлыхъ эпизодовъ, разцвѣчиванье не совсѣмъ натуральными, но рѣзкими красками лицъ и событій. Произведеніе искусства мелочнѣе того, что мы видимъ въ жизни и въ природѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ эффектнѣе—какъ же не утвердиться мнѣнію, что оно прекраснѣе дѣйствительной природы и жизни, въ которыхъ такъ мало искусственности, которымъ чуждо стремленіе заинтересовать?

Природа и жизнь выше искусства; но искусство старается угодить нашимъ наклонностямъ, а дѣйствительность не можетъ быть подчинена стремленію нашему видѣть все въ томъ цвѣтѣ и въ томъ порядкѣ, какой нравится намъ или соотвѣтствуетъ нашимъ понятіямъ, часто одностороннимъ. Изъ многихъ случаевъ этого угожденія господствующему образу мыслей укажемъ на одинъ: многіе требуютъ, чтобы въ сатирическихъ произведеніяхъ были лица, «на которыхъ могло бы съ любовью отдохнуть сердце читателя»—требованіе очень естественное; но дѣйствительность очень часто не удовлетворяетъ ему, представляя множество событій, въ которыхъ нѣтъ ни одного отраднаго лица; искусство почти всегда угождаетъ ему; и не знаемъ, найдется ли, напримѣръ, въ русской литературѣ, кромѣ Гоголя, писатель, который бы не подчинился этому требованію; и у самого Гоголя за недостатокъ «отрадныхъ» лицъ вознаграждаютъ «высоко-лирическія» отступленія. Другой примѣръ: человѣкъ наклоненъ къ сентиментальности; природа и жизнь не раздѣляютъ этого направленія; но произведенія искусства почти всегда больше или меньше удовлетворяютъ ему. То и другое требованіе—слѣдствіе ограниченности человѣка; природа и дѣйствительная жизнь выше этой ограниченности; произведенія искусства, подчиняясь ей, становясь этимъ ниже дѣйствительности и даже очень часто подвергаясь опасности впадать въ пошлость или въ слабость, приближаясь къ обыкновеннымъ потребностямъ человѣка и чрезъ это выигрываютъ въ его глазахъ.—«Но въ такомъ случаѣ вы сами соглашаетесь, что произведенія искусства лучше, полнѣе, нежели объективная дѣйствительность, удовлетворяютъ природѣ человѣка; слѣдовательно для человѣка они лучше произведеній дѣйствительности».—Заключеніе, не совсѣмъ точно выраженное; дѣло въ томъ, что искусственно развитой человѣкъ имѣетъ много искусственныхъ, исказившихся до лживости, до фантастичности требованій, которымъ нельзя вполнѣ удовлетворить, потому что они въ сущности не требованія природы, а мечты испорченнаго воображенія; которымъ почти невозможно и угождать, не подвергаясь насмѣшкѣ и презрѣнію отъ самого того человѣка, которому стараемся угодить, потому что онъ самъ инстинктивно чувствуетъ, что его требованіе не стоитъ удовлетворенія. Такъ публика и въ слѣдъ за нею эстетика требуютъ «отрадныхъ» лицъ, сентиментальности—и та же самая публика смѣется надъ произведеніями искусства, удовлетворяющими

этимъ желаніямъ. Угодить прихотямъ человѣка не значитъ еще удовлетворять потребностямъ человѣка. Первѣйшая изъ этихъ потребностей—истина. — Мы говорили объ источникахъ предпочтенія произведеній искусства явленіямъ природы и жизни относительно содержанія и выполненія; но очень важно и впечатлѣніе, производимое на насъ искусствомъ или дѣйствительностью: степенью его также измѣряется достоинство вещи.

Мы видѣли, что впечатлѣніе, производимое созданіями искусства, должно быть гораздо слабѣе впечатлѣнія, производимаго живою дѣйствительностью, и не считаемъ нужнымъ доказывать это. Однакоже въ этомъ отношеніи произведеніе искусства находится въ гораздо благопріятнѣйшихъ обстоятельствахъ, нежели явленія дѣйствительности; и эти обстоятельства могутъ заставить человѣка, не привыкшаго анализировать причины своихъ ощущеній, предполагать, что искусство само по себѣ производитъ на человѣка больше дѣйствія, нежели живая дѣйствительность. Дѣйствительность представляется нашимъ глазамъ независимо отъ нашей воли, большею частью не во время, не кстати. Очень часто мы отправляемся въ общество, на гулянье, вовсе не затѣмъ, чтобы любоваться человѣческой красотой, не затѣмъ, чтобы наблюдать характеры, слѣдить за драмою жизни; отправляемся съ заботами въ головѣ, съ замѣнутымъ для впечатлѣній сердцемъ. Но кто же отправляется въ картинную галерею не затѣмъ, чтобы наслаждаться красотой картинъ? кто принимается читать романъ не затѣмъ, чтобы вникать въ характеры изображенныхъ тамъ людей и слѣдить за развитіемъ сюжета? На красоту, на величіе дѣйствительности мы обыкновенно обращаемъ вниманіе почти насильно. Пусть она сама, если можетъ, привлечетъ на себя наши глаза, обращенные совершенно на другіе предметы, пусть она насильно проникнетъ въ наше сердце, занятое совершенно другимъ. Мы обращаемся съ дѣйствительностью какъ съ докучливымъ гостемъ, напрашивающимся на наше знакомство: мы стараемся запереться отъ нея. Но есть часы, когда пусто остается въ нашемъ сердцѣ отъ нашего же собственнаго невниманія къ дѣйствительности—и тогда мы обращаемся къ искусству, умоляя его наполнить эту пустоту; мы сами играемъ предъ нимъ роль заискивающаго просителя. На жизненномъ пути нашемъ разбросаны золотыя монеты; но мы не замѣчаемъ ихъ, потому что думаемъ о цѣли пути, не обращая вниманія на дорогу, лежащую

подъ нашими ногами; замѣтивъ, мы не можемъ нагнуться чтобы, собрать ихъ, потому что «телѣга жизни» неудержимо уносить насъ впередъ—вотъ наше отношеніе къ дѣйствительности; но мы пріѣхали на станцію, и прохаживаемся въ скучномъ ожиданіи лошадей—тутъ мы со вниманіемъ разсматриваемъ каждую жестяную бляху, которая, быть можетъ, не стоитъ и вниманія—вотъ наше отношеніе къ искусству. Не говоримъ уже о томъ, что явленія жизни каждому приходится оцѣнивать самому, потому что для каждого отдѣльнаго человѣка жизнь представляетъ особенныя явленія, которыхъ не видятъ другіе, надъ которыми поэтому не произносить приговора цѣлое общество; а произведенія искусства оцѣнены общимъ судомъ. Красота и величіе дѣйствительной жизни рѣдко являются намъ патентованными, а про что не трубить молва; то немногіе въ состояніи замѣтить и оцѣнить; явленія дѣйствительности—золотой слитокъ безъ клейма: очень многіе откажутся уже поэтому одному взять его, очень многіе не отличать отъ куска мѣди; произведеніе искусства—банковый билетъ, въ которомъ очень мало внутренней цѣнности, но за условную цѣнность котораго ручается все общество, которымъ поэтому дорожить всякій и относительно котораго немногіе даже сознаютъ ясно, что вся его цѣнность заимствована только отъ того, что онъ представитель золотого куска. Когда мы смотримъ на дѣйствительность, она сама занимаетъ насъ собою, какъ нѣчто совершенно самостоятельное, и рѣдко оставляетъ намъ возможность переноситься мыслями въ нашъ субъективный міръ, въ наше прошлое. Но когда я смотрю на произведеніе искусства,—тутъ полный просторъ моимъ субъективнымъ воспоминаніямъ, и произведеніе искусства для меня обыкновенно бываетъ только поводомъ къ сознательнымъ или безсознательнымъ мечтамъ и воспоминаніямъ. Трагическая сцена совершается предо мною въ дѣйствительности—тогда мнѣ не до того, чтобы вспоминать о себѣ; но я читаю въ романѣ эпизодъ о гибели человѣка—и въ моей памяти ясно или смутно воскресаютъ всѣ опасности, въ которыхъ я былъ самъ, всѣ случаи гибели близкихъ ко мнѣ людей. Сила искусства есть обыкновенно сила воспоминанія. Уже и по самой своей незаконченности, неопредѣленности, именно потому самому, что обыкновенно оно только «общее мѣсто», а не живой индивидуальный образъ или событіе, произведеніе искусства особенно способно вызывать наши воспоминанія. Дайте мнѣ закон-

ченный портретъ человѣка—онъ не напомнимъ мнѣ ни одного изъ моихъ знакомыхъ, и я холодно отвернусь, сказавъ «недурно»; но покажите мнѣ въ благопріятную минуту едва набросанный, неопредѣленный абрисъ, въ которомъ ни одинъ человѣкъ не узнаетъ себя положительнымъ образомъ—и этотъ жалкій, слабый абрисъ напомнимъ мнѣ черты кого нибудь милаго мнѣ; и, холодно смотря на живое лицо, полное красоты и выразительности, я въ упоеніи буду смотрѣть на ничтожный эскизъ, говорящій мнѣ о мнѣ самомъ. Сила искусства есть сила общихъ мѣстъ. Есть еще въ произведеніяхъ искусства сторона, по которой они въ неопытныхъ или недалеко-видныхъ глазахъ выше явленій жизни и дѣйствительности—въ нихъ все выставлено на показъ, объяснено самимъ авторомъ, между тѣмъ какъ природу и жизнь надобно разгадывать собственными силами. Сила искусства—сила комментарія; но объ этомъ должны будемъ говорить мы ниже.

Много нашли мы причинъ предпочтенія, отдаваемого искусству передъ дѣйствительностью; но всѣ онѣ только объясняютъ, а не оправдываютъ это предпочтеніе. Не соглашаясь, чтобы искусство стояло нетолько выше дѣйствительности, но и наравнѣ съ нею по внутреннему достоинству содержанія или исполненія, мы, конечно, не можемъ согласиться съ господствующимъ нынѣ взглядомъ на то, изъ какихъ потребностей возникаетъ оно, въ чемъ цѣль его существованія, его назначеніе. Господствующее мнѣніе о происхожденіи и значеніи искусства выражается такъ: «имѣя непреодолимое стремленіе къ прекрасному, человѣкъ не находитъ истинно-прекраснаго въ объективной дѣйствительности; этимъ онъ поставленъ въ необходимость самъ создавать предметы или произведенія, которыя соотвѣтствовали бы его требованію, предметы и явленія истинно-прекрасныя». Иначе сказать: «идея прекраснаго, не осуществляемая дѣйствительностью, осуществляется произведеніями искусства». Мы должны анализировать это опредѣленіе, чтобы открыть истинное значеніе неполныхъ и одностороннихъ намековъ, въ немъ заключающихся. «Человѣкъ имѣетъ стремленіе къ прекрасному»,—но если подъ прекраснымъ понимать то, что понимается въ этомъ опредѣленіи—полное согласіе идеи и формы, то изъ стремленія къ прекрасному надобно выводить не искусство въ частности, а вообще всю дѣятельность человѣка, основное начало которой—полное осуществленіе извѣстной мысли; стремленіе къ единству идеи и образа—

формальное начало всякой техники, стремленіе къ созданію и усовершенствованію всякаго произведенія или издѣлія; выводъ изъ стремленія къ прекрасному искусство, мы смѣшиваемъ два значенія этого слова: 1) изящное искусство (поэзія, музыка и т. д.) и 2) умѣнье или старанье хорошо сдѣлать что-нибудь; только послѣднее выводится изъ стремленія къ единству идеи и формы. Если же подъ прекраснымъ должно понимать (какъ намъ кажется) то, въ чемъ человѣкъ видитъ жизнь—очевидно, что изъ стремленія къ нему происходитъ радостная любовь ко всему живому и что это стремленіе въ высочайшей степени удовлетворяется живою дѣйствительностью.—«Человѣкъ не встрѣчаетъ въ дѣйствительности истинно и вполне прекраснаго»—мы старались доказать, что это несправедливо, что дѣятельность нашей фантазіи возбуждается не недостатками прекраснаго въ дѣйствительности, а его отсутствіемъ; что дѣйствительное прекрасное вполне прекрасно, но, къ сожалѣнію нашему, не всегда бываетъ предъ нашими глазами. Еслибы произведенія искусства возникали вслѣдствіе нашего стремленія къ совершенству и пренебреженія всѣмъ несовершеннымъ, человѣкъ долженъ былъ бы давно покинуть, какъ бесплодное усиліе, всякое стремленіе къ искусству, потому что въ произведеніяхъ искусства нѣтъ совершенства; кто недоволенъ дѣйствительною красотою, тотъ еще меньше можетъ удовлетвориться красотою, создаваемою искусствомъ. Итакъ, невозможно согласиться съ обыкновеннымъ объясненіемъ значенія искусства; но въ этомъ объясненіи есть намеки, которые могутъ быть названы справедливыми, если будутъ истолкованы надлежащимъ образомъ. «Человѣкъ неудовлетворяется прекраснымъ въ дѣйствительности, ему мало этого прекраснаго—вотъ въ чемъ сущность и правдивость обыкновеннаго объясненія, которая, будучи ложно понимаема, сама нуждается въ объясненіи.

Море прекрасно; смотря на него, мы не думаемъ быть имъ недовольны въ эстетическомъ отношеніи; но не всѣ люди живутъ близъ моря; многимъ не удастся ни разу въ жизни взглянуть на него; а имъ хотѣлось бы полюбоваться на море—и для нихъ являются картины, изображающія море. Конечно, гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображеніе; но за недостаткомъ лучшаго, человѣкъ довольствуется и худшимъ, за недостаткомъ вещи—ея суррогатомъ. И тѣмъ людямъ, которые могутъ любоваться моремъ въ дѣйствительности, не всегда, когда хочется,

можно смотрѣть на море—они вспоминаютъ о немъ; но фантазія слаба, ей нужна поддержка, напоминаніе—и, чтобы оживить свои воспоминанія о морѣ, чтобы яснѣе представлять его въ своемъ воображеніи, они смотрятъ на картину, изображающую море. Вотъ единственная цѣль и значеніе очень многихъ (большой части) произведеній искусства: дать возможность, хотя въ нѣкоторой степени, познакомиться съ прекраснымъ въ дѣйствительности тѣмъ людямъ, которые не имѣли возможности наслаждаться имъ на самомъ дѣлѣ; служить напоминаніемъ, возбуждать и оживлять воспоминаніе о прекрасномъ въ дѣйствительности у тѣхъ людей, которые знаютъ его изъ опыта и любятъ вспоминать о немъ. (Оставляемъ пока выраженіе «прекрасное есть существенное содержаніе искусства»; впоследствии мы подставимъ вмѣсто термина «прекрасное» другой, которымъ содержаніе искусства опредѣляется, по нашему мнѣнію, точнѣе и полнѣе). Итакъ, первое значеніе искусства, принадлежащее всѣмъ безъ исключенія произведеніямъ его—воспроизведеніе природы и жизни. Отношеніе ихъ къ соотвѣтствующимъ сторонамъ и явленіямъ дѣйствительности таково же, какъ отношеніе гравюры къ той картинѣ, съ которой она снята, какъ отношеніе портрета къ лицу, имъ представляемому. Гравюра снимается съ картины не потому, чтобы картина была не хороша, а именно потому, что картина очень хороша; такъ дѣйствительность воспроизводится искусствомъ не для сглаживанья недостатковъ ея, не потому, что сама по себѣ дѣйствительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думаетъ быть лучше картины, она гораздо хуже ея въ художественномъ отношеніи; такъ и произведеніе искусства никогда не достигаетъ красоты или величія дѣйствительности; но картина одна, ею могутъ любоваться только люди, пришедшіе въ галерею, которую она украшаетъ; гравюра расходуется въ сотняхъ экземпляровъ по всему свѣту, каждый можетъ любоваться ею когда ему угодно, не выходя изъ своей комнаты, не вставая съ своего дивана, не скидая своего халата; такъ и предметъ прекрасный въ дѣйствительности доступенъ не всякому и не всегда, воспроизведенный (слабо, грубо, блѣдно, это правда, но все-таки воспроизведенный) искусствомъ, онъ доступенъ всякому и всегда. Портретъ снимается съ человѣка, который намъ дорогъ и милъ, не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что намъ за дѣло до этихъ недостатковъ? они для насъ незамѣтны или милы),

но для того, чтобы доставить намъ возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда на самомъ дѣлѣ оно не предъ нашими глазами; такова же цѣль и значеніе произведеній искусства: они не поправляютъ дѣйствительности, не украшаютъ ее, а воспроизводятъ, служатъ ей суррогатомъ.

Итакъ первая цѣль искусства—воспроизведеніе дѣйствительности. Нисколько не думая, чтобы этими словами было высказано нѣчто совершенно новое въ исторіи эстетическихъ воззрѣній, мы однако же полагаемъ, что псевдоклассическая «теорія подражанія природѣ», господствовавшая въ XVII—XVIII вѣкахъ, требовала отъ искусства не того, въ чемъ поставляется формальное начало его опредѣленіемъ, заключающемся въ словахъ: «искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности. Чтобы за существенное различіе нашего воззрѣнія на искусство отъ понятій, которыя имѣла о немъ теорія подражанія природѣ, ручались не наши только собственные слова, приведемъ здѣсь критику этой теоріи, заимствованную изъ лучшаго курса господствующей нынѣ эстетической системы. Критика эта съ одной стороны покажетъ различіе опровергаемыхъ ею понятій отъ нашего воззрѣнія, съ другой стороны обнаружитъ, чего недостаетъ въ нашемъ первомъ опредѣленіи искусства, какъ дѣятельности воспроизводящей, и такимъ образомъ послужитъ переходомъ къ точнѣйшему развитію понятій объ искусствѣ.

«Въ опредѣленіи искусства какъ подражанія природѣ показывается только его формальная цѣль; оно должно по такому опредѣленію стараться по возможности повторять то, что уже существуетъ во внѣшнемъ мірѣ. Такое повтореніе должно быть признано излишнимъ, такъ какъ природа и жизнь уже представляютъ намъ то, что по этому понятію должно представить искусство. Этого мало; подражать природѣ—тщетное усиліе, далеко не достигающее своей цѣли, потому что, подражая природѣ, искусство, по ограниченности своихъ средствъ, даетъ только обманъ вмѣсто истины и вмѣсто дѣйствительно-живаго существа только мертвую маску».

Здѣсь прежде всего замѣтимъ, что словами: «искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности», какъ и фразою: «искусство есть подражаніе природѣ», опредѣляется только формальное начало искусства; для опредѣленія содержанія искусства, первый выводъ, нами сдѣланный, относительно его цѣли, долженъ быть дополненъ, и мы займемся этимъ дополненіемъ впослѣдствіи. Другое возраженіе нисколько не прилагается къ воззрѣнію, нами высказанному: изъ

предъидущаго развитія видно, что воспроизведеніе или «повтореніе» предметовъ и явленій природы искусствомъ—дѣло вовсе не излишнее, напротивъ, необходимое. Переходя къ замѣчанію, что это повтореніе—тщетное усиліе, далекое не достигающее своей цѣли, надобно сказать, что подобное возраженіе имѣетъ силу только въ томъ случаѣ, когда предполагается, будто бы искусство хочетъ соперничать съ дѣйствительностью, а не просто быть ея суррогатомъ. Но мы именно то и утверждаемъ, что искусство не можетъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью и вовсе не имѣетъ той жизненности, какъ реальная дѣйствительность; это мы признаемъ несомнѣннымъ. Итакъ справедливо, что фраза: «искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности» должна быть дополнена для того, чтобы быть всестороннимъ опредѣленіемъ; не исчерпывая въ этомъ видѣ все содержаніе опредѣляемаго понятія, опредѣленіе, однако вѣрно, и возраженія противъ него пока могутъ быть основаны только на затаенномъ требованіи, чтобы искусство являлось по своему опредѣленію выше, совершеннѣе дѣйствительности; объективную неосновательность этого предположенія мы старались доказать, и потомъ обнаружили его субъективныя основанія. Посмотримъ, прилагаются ли къ нашему воззрѣнію дальнѣйшія возраженія противъ теоріи подражанія.

«При невозможности полнаго успѣха въ подражаніи природѣ, оставалось бы только самодовольное наслажденіе относительнымъ успѣхомъ этого фокусъ-покуса, но и это наслажденіе становится тѣмъ холоднѣе, чѣмъ больше бываетъ наружное сходство копій съ оригиналомъ, и даже обращается въ пресыщеніе или отвращеніе. Есть портреты похожіе на оригиналъ, какъ говорится, до отвратительности. Намъ тотчасъ же становится скучнымъ и отвратительнымъ превосходнѣйшее подражаніе пѣнію соловья, какъ скоро мы узнаемъ, что это не въ самомъ дѣлѣ пѣніе соловья, а подражаніе ему какого-нибудь искусника, выдѣлывающаго соловьиныя трели, потому что отъ человѣка мы въ правѣ требовать не такой музыки. Подобные фокусы искуснѣйшаго подражанія природѣ можно сравнить съ искусствомъ того фокусника, который безъ промаха бросалъ чечевичныя зерна сквозь отверстія величиною также не болѣе чечевичнаго зерна, и котораго Александръ Великій награждалъ медимномъ чечевицы».

Эти замѣчанія совершенно справедливы; но относятся къ безполезному и бессмысленному копированію содержанія, недостойнаго вниманія, или рисованью пустой виѣшности, обнаженной отъ содержанія. (Сколько превозносимыхъ произведеній искусства подпадаютъ этой горькой, но заслуженной насмѣшкѣ!) Содержаніе, достойное

вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто бы оно—пустая забава, чѣмъ оно и дѣйствительно бываетъ чрезвычайно часто: художественная форма не спасетъ отъ презрѣнія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно важностью своей идеи не въ состояніи дать отвѣта на вопросъ: «да стоило-ли трудиться надъ подобными пустяками?» Безполезное не имѣетъ права на уваженіе. «Человѣкъ самъ себѣ цѣль»; но дѣла человѣка должны имѣть цѣль въ потребностяхъ человѣка, а не въ самихъ себѣ. Потому-то безполезное подражаніе и возбуждаетъ тѣмъ большее отвращеніе, чѣмъ совершеннѣе внѣшнее сходство: «зачѣмъ потрачено столько времени и труда?» думаемъ мы, глядя на него: «и какъ жаль, что такая несостоятельность относительно содержанія можетъ совмѣщаться съ такимъ совершенствомъ въ технике!» Скука и отвращеніе, возбуждаемыя фокусникомъ, подражающимъ соловьиному пѣнію, объясняются самими замѣчаніями, сопровождающими въ критикѣ указаніе на него: жалокъ человѣкъ, который не понимаетъ, что долженъ пѣть человѣческую пѣсню, а не выдѣлывать безсмысленныя трели. Что касается портретовъ, сходныхъ до отвратительности, это надобно понимать такъ: всякая копія, для того, чтобы быть вѣрною, должна передавать существенныя черты подлинника; портретъ не-передающій главныхъ, выразительнѣйшихъ чертъ лица невѣренъ; а когда мелочныя подробности лица переданы при этомъ отчетливо, лицо на портретѣ выходитъ обезображеннымъ, безсмысленнымъ, мертвымъ—какъ же ему не быть отвратительнымъ? Часто встаютъ противъ такъ называемаго «дегерротипнаго копирования» дѣйствительности—не лучше ли было бы говорить только, что копировка, также какъ и всякое человѣческое дѣло, требуетъ пониманія, способности отличать существенныя черты отъ несущественныхъ? «Мертвая копировка»—вотъ обыкновенная фраза; но человѣкъ не можетъ скопировать вѣрно, если мертвенность механизма не направляется живымъ смысломъ: нельзя сдѣлать даже вѣрнаго fac-simile, не понимая значенія копируемыхъ буквъ.

Прежде, нежели перейдемъ къ опредѣленію существеннаго содержанія искусства, чѣмъ дополнится принимаемое нами опредѣленіе его формальнаго начала, считаемъ нужнымъ высказать нѣсколько ближайшихъ указаній объ отношеніи теоріи «воспроизведенія» къ теоріи такъ называемаго «подражанія». Воззрѣніе на

искусство, нами принимаемое, проистекаетъ изъ воззрѣній, принимаемыхъ новѣйшими нѣмецкими эстетиками и возникаетъ изъ нихъ чрезъ діалектическій процессъ, направленіе котораго опредѣляется общими идеями современной науки. Итакъ, непосредственнымъ образомъ оно связано съ двумя системами идей — начала нынѣшняго вѣка съ одной стороны, послѣднихъ десятилѣтій съ другой. Всякое другое соотношеніе—только простое сходство, не имѣющее генетическаго вліянія. Но если понятіе древнихъ и старинныхъ мыслителей не могутъ при настоящемъ развитіи науки имѣть вліянія на современный образъ мыслей, то нельзя не видѣть, что во многихъ случаяхъ современные понятія оказываются сходны съ понятіями предшествующихъ вѣковъ. Особенно часто сходятся они съ понятіями греческихъ мыслителей. Таково положеніе дѣла и въ настоящемъ случаѣ. Опредѣленіе формальнаго начала искусства, нами принимаемое, сходно съ воззрѣніемъ, господствовавшимъ въ греческомъ мірѣ, и находимымъ у Платона, Аристотеля, и, по всей вѣроятности, высказаннымъ у Демокрита. Ихъ *mimesis* соответствуетъ нашему термину «воспроизведеніе». И если позднѣе понимали это слово какъ «подражаніе» (*Nachahmung*), то переводъ не былъ удаченъ, стѣсняя кругъ понятія и пробуждая мысль о поддѣлкѣ подъ внѣшнюю форму, а не о передачѣ внутренняго содержанія. Псевдоклассическая теорія дѣйствительно понимала искусство какъ поддѣлку подъ дѣйствительность съ цѣлью обмануть чувства; но это—злоупотребленіе, принадлежащее только эпохамъ испорченнаго вкуса.

Теперь мы должны дополнить выставленное нами выше опредѣленіе искусства и отъ разсмотрѣнія формальнаго начала искусства перейти къ опредѣленію его содержанія.

Обыкновенно говорятъ, что содержаніе искусства есть прекрасное; но этимъ слишкомъ стѣсняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое—моменты прекраснаго, то множество произведеній искусства не подойдутъ по содержанію подъ эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. Въ живописи не подходятъ подъ эти подраздѣленія картины домашней жизни, въ которыхъ нѣтъ ни одного прекраснаго или смѣшнаго лица, изображеніе старика или старухи, не отличающихся особенною старческою красотою и т. д. Въ музыкѣ еще труднѣе провести обыкновенныя подраздѣленія: если отнесемъ марши, патетическія пьесы и т. д. къ отдѣлу величественнаго; если пьесы, дышашія лю-

бовью или веселостью, причислимъ къ отдѣлу прекраснаго; если отыщемъ много комическихъ пѣсенъ, то у насъ еще останется огромное количество пѣсень, которыя по своему содержанію не могутъ быть безъ натяжки причислены ни къ одному изъ этихъ родовъ: куда отнести грустные мотивы? неужели къ возвышенному, какъ страданіе? или къ прекрасному, какъ вѣжныя мечты? Но изъ всѣхъ искусствъ наиболѣе противится подведенію своего содержанія подъ тѣсныя рубрики прекраснаго и его моментовъ поэзія. Область ея—вся область жизни и природы; точки зрѣнія поэта на жизнь въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ такъ же разнообразны, какъ понятія мыслителя объ этихъ разнохарактерныхъ явленіяхъ; а мыслитель находитъ въ дѣйствительности очень многое, кромѣ прекраснаго, возвышеннаго и комическаго. Не всякое горе доходитъ до трагизма; не всякая радость граціозна или комична. Что содержаніе поэзіи не исчерпывается тремя извѣстными элементами, внѣшнимъ образомъ видимъ изъ того, что ея произведенія перестали вмѣщаться въ рамки старыхъ подраздѣленій. Что драматическая поэзія изображаетъ не одно трагическое или комическое, доказывается тѣмъ, что кромѣ комедій и трагедій должна явиться драма. Вмѣсто эпоса, по преимуществу возвышеннаго, явился романъ, съ безчисленными своими родами. Для большей части нынѣшнихъ лирическихъ пѣсень не отыскивается въ старыхъ подраздѣленіяхъ заглавія, которое могло бы обозначить характеръ содержанія: недостаточны сотни рубрикъ, тѣмъ менѣе можно сомнѣваться, что не могутъ всего обнять три рубрики (мы говоримъ о характерѣ содержанія, а не формѣ, которая всегда должна быть прекрасна).

Проще всего рѣшить эту запутанность, сказавъ, что сфера искусства не ограничивается однимъ прекраснымъ и его такъ называемыми моментами, а обнимаетъ собою все, что въ дѣйствительности (въ природѣ и въ жизни) интересуетъ человѣка, не какъ ученаго, а просто какъ человѣка; общинтересное въ жизни—вотъ содержаніе искусства. Прекрасное, трагическое, комическое—только три наиболѣе опредѣленные элемента изъ тысячи элементовъ, отъ которыхъ зависитъ интересъ жизни и перечислить которые значило бы перечислить всѣ чувства, всѣ стремленія, отъ которыхъ можетъ волноваться сердце человѣка. Едва ли надобно вдаваться въ болѣе подробныя доказательства принимаемаго нами понятія о содержаніи искусства; потому что, если въ эстетикѣ предлагается

обыкновенно другое, болѣе тѣсное опредѣленіе содержанія, то взгляды, нами принимаемый, господствуетъ на самомъ дѣлѣ, т. е. въ самихъ художникахъ и поэтахъ, постоянно высказывается въ литературѣ и въ жизни. Если считаютъ необходимою опредѣлять прекрасное какъ преимущественное и, выражаясь точнѣе, какъ единственное существенное содержаніе искусства, то истинная причина этого скрывается въ неясномъ различеніи прекраснаго, какъ объекта искусства, отъ прекрасной формы, которая дѣйствительно составляетъ необходимое качество всякаго произведенія искусства. Но эта формальная красота или единство идеи и образа, содержанія и формы, не специальная особенность, которая отличала бы искусство отъ другихъ отраслей человѣческой дѣятельности. Дѣйствованіе человѣка всегда имѣетъ цѣль, которая составляетъ сущность дѣла; по мѣрѣ соответствія нашего дѣла съ цѣлью, которую мы хотѣли осуществить имъ, цѣнится достоинство самаго дѣла; по мѣрѣ совершенства выполненія оцѣнивается всякое человѣческое произведеніе. Это общій законъ и для ремесла, и для промышленности, и для научной дѣятельности и т. д. Онъ примѣняется и къ произведеніямъ искусства: художникъ (сознательно или безсознательно, все равно) стремится воспроизвести предъ нами извѣстную сторону жизни—само собою разумѣется, что достоинство его произведенія будетъ зависѣть отъ того, какъ онъ выполнилъ свое дѣло. «Произведеніе искусства стремится къ гармоніи идеи съ образомъ» ни больше, ни меньше, какъ произведеніе сапожнаго мастерства, ювелирнаго ремесла, каллиграфіи, инженернаго искусства, нравственной рѣшимости. «Всякое дѣло должно быть хорошо выполнено»—вотъ смыслъ фразы: «гармонія идеи и образа». Итакъ 1) прекрасное какъ единство идеи и образа вовсе не характеристическая особенность искусства въ томъ смыслѣ, какой придается этому слову эстетикой; 2) «единство идеи и образа» опредѣляетъ одну формальную сторону искусства, нисколько не относясь къ его содержанію; оно говоритъ о томъ, какъ должно быть исполнено, а не о томъ, что исполняется. Но мы уже замѣтили, что въ этой фразѣ важно слово «образъ»—оно говоритъ о томъ, что искусство выражаетъ идею не отвлеченными понятіями, а живымъ индивидуальнымъ фактомъ; говоря: «искусство есть воспроизведеніе природы и жизни», мы говоримъ то же самое: въ природѣ и жизни нѣтъ ничего отвлеченно существующаго; въ нихъ все конкретно; воспроизведеніе

должно по мѣрѣ возможности сохранять сущность воспроизводи-
 маго; потому созданіе искусства должно стремиться къ тому, чтобы
 въ немъ было какъ можно меньше отвлеченнаго, чтобы въ немъ
 все было, по мѣрѣ возможности, выражено конкретно, въ живыхъ
 картинахъ, въ индивидуальныхъ образахъ. (Совершенно другой во-
 просъ: можетъ ли искусство достигъ этого вполне? Живопись,
 скульптура и музыка достигаютъ; поэзія не всегда можетъ и не
 всегда должна слишкомъ заботиться о пластичности подробностей:
 довольно и того, когда вообще, въ цѣломъ, произведеніе поэзіи
 пластично; излишнія хлопоты о пластической отдѣлкѣ подробностей
 могутъ повредить единству цѣлаго, слишкомъ рельефно очертивъ
 его части, и, что еще важнѣе, будутъ отвлекать вниманіе худож-
 ника отъ существеннѣйшихъ сторонъ его дѣла). Красота формы,
 состоящая въ единствѣ идеи и образа, общая принадлежность не
 только искусства (въ эстетическомъ смыслѣ слова), но и всякаго
 человѣческаго дѣла, совершенно отлична отъ идеи прекраснаго,
 какъ объекта искусства, какъ предмета нашей радостной любви въ
 дѣйствительномъ мірѣ. Смѣшеніе красоты формы, какъ необходи-
 маго качества художественнаго произведенія, и прекраснаго, какъ
 одного изъ многихъ объектовъ искусства, было одною изъ причинъ
 печальныхъ злоупотребленій въ искусствѣ. «Предметъ искусства—
 прекрасное», прекрасное, во что бы то ни стало, другаго содержа-
 нія нѣтъ у искусства. Что же прекраснѣе всего на свѣтѣ? Въ че-
 ловѣческой жизни—красота и любовь; въ природѣ—трудно и рѣшить,
 что именно—такъ много въ ней красоты. Итакъ надобно кстати и
 не кстати наполнить поэтическія созданія описаніями природы: чѣмъ
 больше ихъ, тѣмъ больше прекраснаго въ нашемъ произведеніи. Но
 красота и любовь еще прекраснѣе—и вотъ (большею частью совер-
 шенно не кстати) на первомъ планѣ драмы, повѣсти, романа и т. д.
 является любовь. Неумѣстныя распространенія о красотахъ природы
 еще не такъ вредны художественному произведенію: ихъ можно вы-
 пускать, потому что они приклеиваются внѣшнимъ образомъ; но
 что дѣлать съ любовною интригою? ее невозможно опустить изъ
 вниманія, потому что къ этой основѣ все приплетено гордіевыми
 узлами, безъ нея все теряетъ связь и смыслъ. Не говоримъ уже о
 томъ, что влюбленная чета, страдающая или торжествующая, при-
 даетъ цѣлымъ тысячамъ произведеній ужасающую монотонность; не
 говоримъ и о томъ, что эти любовныя приключенія и описанія красоты

отнимаютъ мѣсто у существенныхъ подробностей; этого мало: привычка изображать любовь, любовь и вѣчно любовь, заставляеть поэтовъ забывать, что жизнь имѣетъ другія стороны, гораздо болѣе интересующія человѣка вообще; вся поэзія и вся изображаемая въ ней жизнь принимаетъ какой-то сентиментальный розовый колоритъ; вмѣсто серьезнаго изображенія человѣческой жизни произведенія искусства представляютъ какой-то слишкомъ юный (чтобы удержаться отъ болѣе точныхъ эпитетовъ) взглядъ на жизнь, и поэтъ является обыкновенно молодымъ, очень молодымъ юношею, котораго рассказы интересны только для людей того же нравственнаго или физиологическаго возраста. Это наконецъ роняетъ искусство въ глазахъ людей, уже вышедшихъ изъ счастливой поры ранней юности; искусство кажется имъ забавою, приторною для развитыхъ людей и не совсѣмъ безопасною для молодежи. Мы вовсе не думаемъ запрещать поэту описывать любовь; но эстетика должна требовать, чтобы поэтъ описывалъ любовь только тогда, когда хочетъ именно ее описывать: къ чему выставлять на первомъ планѣ любовь, когда дѣло идетъ, собственно говоря, вовсе не о ней, а о другихъ сторонахъ жизни? къ чему, напримѣръ, любовь на первомъ планѣ въ романахъ, которые собственно изображаютъ бытъ извѣстнаго народа въ данную эпоху, или бытъ извѣстныхъ классовъ народа? Въ исторіи, въ психологіи, въ этнографическихъ сочиненіяхъ также говорится о любви — но только на своемъ мѣстѣ, точно такъ же какъ и обо всемъ. Историческіе романы Вальтеръ-Скотта основаны на любовныхъ приключеніяхъ — къ чему это? развѣ любовь была главнымъ занятіемъ общества и главною двигательною силой событій въ изображаемыя имъ эпохи? «Но романы Вальтеръ-Скотта устарѣли» — точно такъ же кстати и не кстати наполнены любовью романы Диккенса и романы Жоржъ-Занда изъ сельскаго быта, въ которыхъ опять дѣло идетъ вовсе не о любви. «Пишите о томъ, о чемъ вы хотите писать», — правило, которое рѣдко рѣшаются соблюдать поэты. Любовь кстати и не кстати — первый вредъ, проистекающій для искусства изъ понятія, что «содержаніе искусства — прекрасное»; второй, тѣсно съ нимъ соединенный — искусственность. Въ наше время подписываются надъ Расиномъ и мадамъ Дезульеръ; но едвали современное искусство далеко ушло отъ нихъ въ отношеніи простоты и естественности пружинъ дѣйствія и безыскусственной натуральности рѣчей; раздѣленіе дѣйствующихъ лицъ на

героевъ и злодѣевъ до сихъ поръ можетъ быть прилагаемо къ произведеніямъ искусства въ патетическомъ родѣ; какъ связано, плавно, краснорѣчиво объясняются эти лица! монологи и разговоры въ современныхъ романахъ немногимъ ниже монологовъ классической трагедіи: «въ художественномъ произведеніи все должно быть облечено красотою»—и намъ даются такіе глубоко обдуманые планы дѣйствования, какихъ почти никогда не составляютъ люди въ настоящей жизни; а если выводимое лицо сдѣлаетъ какъ нибудь инстинктивный, необдуманный шагъ, авторъ считаетъ необходимымъ оправдывать его изъ сущности характера этого лица, а критики остаются недовольны тѣмъ, что «дѣйствіе не мотивировано»—какъ будто бы оно мотивируется всегда индивидуальнымъ характеромъ, а не обстоятельствами и общими качествами человѣческаго сердца. «Красота требуетъ законченности характеровъ» — и вмѣсто лицъ живыхъ, разнообразныхъ при всей своей типичности, искусство даетъ неподвижныя статуи. «Красота художественнаго произведенія требуетъ законченности разговоровъ» — и вмѣсто живаго разговора ведутся искусственныя бесѣды, въ которыхъ разговаривающіе волею и неволею высказываютъ свой характеръ. Слѣдствіемъ всего этого бываетъ монотонность произведеній поэзіи: люди всѣ на одинъ ладъ, событія развиваются по извѣстнымъ рецептамъ, съ первыхъ страницъ видно, что будетъ дальше, и не только, что будетъ, но и какъ будетъ. Возвратимся однако къ вопросу о существенномъ значеніи искусства.

Первое и общее значеніе всѣхъ произведеній искусства, сказали мы,—воспроизведеніе интересныхъ для человѣка явленій дѣйствительной жизни. Подъ дѣйствительною жизнью конечно понимаются не только отношенія человѣка къ предметамъ и существамъ объективнаго міра, но и внутренняя жизнь человѣка; иногда человѣкъ живетъ мечтами—тогда мечты имѣютъ для него (до нѣкоторой степени и на нѣкоторое время) значеніе чего-то объективнаго; еще чаще человѣкъ живетъ въ мірѣ своего чувства; эти состоянія, если достигаютъ интересности, также воспроизводятся искусствомъ. Мы упомянули объ этомъ, чтобы показать, какъ нашимъ опредѣленіемъ охватывается и фантастическое содержаніе искусства.

Но мы говорили выше, что кромѣ воспроизведенія, искусство имѣетъ еще другое значеніе—объясненіе жизни; до нѣкоторой степени это доступно всѣмъ искусствамъ: часто достаточно обратить

вниманіе на предметъ (что всегда и дѣлаетъ искусство), чтобы объяснить его значеніе или заставить лучше понять жизнь. Въ этомъ смыслѣ искусство ничѣмъ не отличается отъ разсказа о предметѣ; различіе только въ томъ, что искусство вѣрнѣе достигаетъ своей цѣли, нежели простой разсказъ, тѣмъ болѣе ученый разсказъ: подъ формою жизни мы гораздо легче знакомимся съ предметомъ, гораздо скорѣе начинаемъ интересоваться имъ, нежели тогда, когда находимъ сухое указаніе на предметъ. Романы Купера болѣе, нежели этнографическіе разсказы и разсужденія о важности изученія быта дикарей, познакомили общество съ ихъ жизнью. Но если всѣ искусства могутъ указывать новые интересные предметы, то поэзія всегда по необходимости указываетъ рѣзкимъ и яснымъ образомъ на существенныя черты предмета. Живопись воспроизводитъ предметъ со всѣми подробностями, скульптура также; поэзія не можетъ объять слишкомъ много подробностей и, по необходимости выпускающая изъ своихъ картинъ очень многое, сосредоточиваетъ наше вниманіе на удержанныхъ чертахъ. Въ этомъ видятъ преимущество поэтическихъ картинъ предъ дѣйствительностью;—но то же самое дѣлаетъ и каждое отдѣльное слово съ своимъ предметомъ: въ словѣ (въ понятіи) также выпущены всѣ случайныя и оставлены однѣ существенныя черты предмета; можетъ быть, для неопытнаго соображенія, слово яснѣе самаго предмета; но это уясненіе есть только ослабленіе. Мы не отрицаемъ относительной пользы компендіумовъ; но не думаемъ, чтобы Русская исторія Таппе, очень полезная для дѣтей, была лучше Исторіи Карамзина, изъ которой извлечена. Предметъ или событіе въ поэтическомъ произведеніи можетъ быть удобопонятнѣе, нежели въ самой дѣйствительности; но мы признаемъ за нимъ только достоинство живаго и яснаго указанія на дѣйствительность, а не самостоятельное значеніе, которое могло бы соперничествовать съ полнотою дѣйствительной жизни. Нельзя не прибавить, что всякій прозаическій разсказъ дѣлаетъ то же самое, что поэзія. Сосредоточеніе существенныхъ чертъ не есть характеристическая особенность поэзіи, а общее свойство разумной рѣчи.

Существенное значеніе искусства — воспроизведеніе того, чѣмъ интересуется человѣкъ въ дѣйствительности. Но интересуясь явлениями жизни, человѣкъ не можетъ, сознательно или безсознательно, не произносить о нихъ своего приговора; поэтъ или художникъ, не будучи въ состояніи перестать быть человѣкомъ вообще, не мо-

жетъ, еслибъ и хотѣлъ, отказаться отъ произнесенія своего приговора надъ изображаемыми явленіями; приговоръ этотъ выражается въ его произведеніи—вотъ новое значеніе произведеній искусства, по которому искусство становится въ число нравственныхъ дѣятельностей человѣка. Бываютъ люди, у которыхъ сужденіе о явленіяхъ жизни состоитъ почти только въ томъ, они обнаруживаютъ расположеніе къ извѣстнымъ сторонамъ дѣйствительности и избѣгаютъ другихъ—это люди, у которыхъ умственная дѣятельность слаба; когда подобный человѣкъ—поэтъ или художникъ, его произведенія не имѣютъ другаго значенія, кромѣ воспроизведенія любимыхъ имъ сторонъ жизни. Но если человѣкъ, въ которомъ умственная дѣятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюденіемъ жизни, одаренъ художническимъ талантомъ, то въ его произведеніяхъ, сознательно или безсознательно, выразится стремленіе произнести живой приговоръ о явленіяхъ, интересующихъ его (и его современниковъ, потому что мыслящій человѣкъ не можетъ мыслить надъ ничтожными вопросами, никому кромѣ его неинтересными), будутъ предложены или разрѣшены вопросы, возникающіе изъ жизни для мыслящаго человѣка; его произведенія будутъ, чтобы такъ выразиться, сочиненіями на темы, предлагаемыя жизнью. Это направленіе можетъ находить себѣ выраженіе во всѣхъ искусствахъ (напр., въ живописи можно указать на каррикатуры Гогарта); но преимущественно развивается оно въ поэзіи, которая представляетъ полнѣйшую возможность выразить определенную мысль. Тогда художникъ становится мыслителемъ, и произведеніе искусства, оставаясь въ области искусства, пріобрѣтаетъ значеніе научное. Само собою разумѣется, что въ этомъ отношеніи произведенія искусства не находятъ себѣ ничего соответствующаго въ дѣйствительности,—но только по формѣ: что касается до содержанія, до самыхъ вопросовъ, предлагающихся или разрѣшаемыхъ искусствомъ, они всѣ найдутся въ дѣйствительной жизни, только безъ преднамѣренности, безъ *aggrè—pensée*. Предположимъ, что въ произведеніи искусства развивается мысль: «временное уклоненіе отъ прямого пути не погубитъ сильной натуры»; или «одна крайность вызываетъ другую»; или изображается распаденіе человѣка съ самимъ собою; или, если угодно, борьба страстей съ высшими стремленіями (мы указываемъ различныя основныя идеи, которыя видѣли въ «Фаустѣ») — развѣ не представляются въ дѣй-

дѣйствительной жизни случаи, въ которыхъ развивается то же самое положеніе? Развѣ изъ наблюденія жизни не выводится высокая мудрость? Развѣ наука не есть простое отвлеченіе жизни, подведеніе жизни подъ формулы? Все, что высказывается наукою и искусствомъ, найдется въ жизни, и найдется въ полнѣйшемъ, совершеннѣйшемъ видѣ, со всѣми живыми подробностями, въ которыхъ обыкновенно и лежитъ истинный смыслъ дѣла, которыя часто не понимаются наукою и искусствомъ, еще чаще не могутъ быть ими обняты; въ дѣйствительной жизни все вѣрно, нѣтъ недосмотровъ, нѣтъ односторонней узкости взгляда, которою страдаетъ всякое человѣческое произведеніе,—какъ поученіе, какъ наука, жизнь полнѣе, правдивѣе, даже художественнѣе всѣхъ твореній ученыхъ и поэтовъ. Но жизнь не думаетъ объяснять намъ своихъ явленій, не заботится о выводѣ аксіомъ; въ произведеніяхъ науки и искусства это сдѣлано; правда, выводы неполны, мысли односторонни въ сравненіи съ тѣмъ, что представляетъ жизнь; но ихъ извлекли для насъ гениальные люди; безъ ихъ помощи наши выводы были бы еще одностороннѣе, еще бѣднѣе. Наука и искусство (поэзія)—«Handbuch» для начинающаго изучать жизнь; ихъ значеніе—приготовить къ чтенію источниковъ и потомъ отъ времени до времени служить для справокъ. Наука не думаетъ скрывать этого; не думаютъ скрывать этого и поэты въ бѣглыхъ замѣчаніяхъ о сущности своихъ произведеній; одна эстетика продолжаетъ утверждать, что искусство выше жизни и дѣйствительности.

Соединяя все сказанное, получимъ слѣдующее воззрѣніе на искусство: существенное значеніе искусства—воспроизведеніе всего, что интересно для человѣка въ жизни; очень часто, особенно въ произведеніяхъ поэзіи, выступаетъ также на первый планъ объясненіе жизни, приговоръ о явленіяхъ ея. Искусство относится къ жизни совершенно такъ же, какъ исторія; различіе по содержанію только въ томъ, что исторія говоритъ о жизни человѣчества, искусство о жизни человѣка, исторія о жизни общественной, искусство о жизни индивидуальной. Первая задача исторіи—воспроизвести жизнь; вторая, исполняемая не всѣми историками—объяснить ее; не заботясь о второй задачѣ, историкъ остается простымъ летописцемъ, и его произведеніе только матеріалъ для настоящаго историка или чтеніе для удовлетворенія любопытства; думая о второй задачѣ, историкъ становится мыслителемъ, и его твореніе при-

обрѣтаетъ чрезъ это научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать объ искусствѣ. Исторія не думаетъ соперничествовать съ дѣйствительною историческою жизнью, сознается, что ея картины блѣдны, неполны, болѣе или менѣе невѣрны или по крайней мѣрѣ односторонни. Эстетика также должна признать, что искусство точно такъ же и по тѣмъ же самымъ причинамъ не должно и думать сравниться съ дѣйствительностью, тѣмъ болѣе превзойти ее красотою.

Но гдѣ же творческая фантазія при такомъ возрѣніи на искусство? какая же роль предоставляется ей? Не будемъ говорить о томъ, откуда пронстекаетъ въ искусствѣ право фантазіи видоизмѣнять видѣнное и слышанное поэтѣмъ. Это ясно изъ цѣли поэтического созданія, отъ котораго требуется вѣрное воспроизведеніе извѣстной стороны жизни, а не какого-нибудь отдѣльнаго случая; посмотримъ только, въ чемъ необходимость вмѣшательства фантазіи, какъ способности передѣлывать (посредствомъ комбинаціи) воспринятое чувствами и создавать нѣчто новое по формѣ. Предполагаемъ, что поэтъ беретъ изъ опыта собственной жизни событіе, вполне ему извѣстное (это случается не часто; обыкновенно многія подробности остаются мало извѣстны, и для связности разсказа должны быть дополняемы соображеніемъ); предполагаемъ также, что взятое событіе совершенно закончено въ художественномъ отношеніи, такъ что простой разсказъ о немъ былъ бы вполне художественнымъ произведеніемъ, т. е. беремъ случай, когда вмѣшательство комбинирующей фантазіи кажется наименѣе нужнымъ.—Какъ бы сильна ни была память, она не въ состояніи удержать всѣхъ подробностей, особенно тѣхъ, которыя неважны для сущности дѣла; но многія изъ нихъ нужны для художественной полноты разсказа, и должны быть заимствованы изъ другихъ спенъ, оставшихся въ памяти поэта (напр. веденіе разговора, описанія мѣстности и т. д.)—правда, что дополненіе событія этими подробностями еще нисколько не измѣняетъ его, и различіе художественнаго разсказа отъ передаваемого въ немъ событія ограничивается пока одною формою. Но этимъ не исчерпывается вмѣшательство фантазіи. Событіе въ дѣйствительности было перепутано съ другими событіями, находившимися съ нимъ только во внѣшнемъ спѣвленіи, безъ существенной связи; но когда мы будемъ отдѣлять избранное нами событіе отъ другихъ происшествій и отъ ненуж-

ныхъ эпизодовъ, мы увидимъ, что это отдѣленіе оставитъ новыя пробѣлы въ жизненной полнотѣ разсказа; поэтъ опять долженъ будетъ восполнять ихъ. Это мало; отдѣленіе не только отнимаетъ жизненную полноту у многихъ моментовъ событія, но часто измѣняетъ ихъ характеръ—и событіе явится въ разсказѣ уже не такимъ, каково было въ дѣйствительности, или, для сохраненія сущности его, поэтъ принужденъ будетъ измѣнять многія подробности, которыя имѣютъ истинный смыслъ въ событіи только при его дѣйствительной обстановкѣ, отнимаемой изолирующимъ разсказомъ. Какъ видимъ, кругъ дѣятельности творческихъ силъ поэта очень мало стѣсняется нашими понятіями о сущности искусства. Но предметъ нашего изслѣдованія—искусство, какъ объективное произведеніе, а не субъективная дѣятельность поэта; потому было бы неумѣстно вдаваться въ исчисленіе различныхъ отношеній поэта къ матеріаламъ его произведенія: мы показали одно изъ этихъ отношеній, наименѣе благопріятствующее самостоятельности поэта. и нашли, что при нашемъ воззрѣніи на сущность искусства, художникъ и въ этомъ положеніи не теряетъ существеннаго характера, принадлежащаго не поэту или художнику въ частности, а вообще человѣку во всей его дѣятельности,—того существеннѣйшаго человѣческаго права и качества, чтобы смотрѣть на объективную дѣйствительность только какъ на матеріалъ, только какъ на поле своей дѣятельности, и, пользуясь ею, подчинять ее себѣ. Еще обширнѣе кругъ вмѣшательства комбинирующей фантазіи при другихъ обстоятельствахъ: когда, напримѣръ, поэту не вполне извѣстны подробности событія, когда онъ знаетъ о немъ, (и дѣйствующихъ лицахъ) только по чужимъ разсказамъ, всегда одностороннимъ, невѣрнымъ или неполнымъ въ художественномъ отношеніи, по крайней мѣрѣ съ личной точки зрѣнія поэта. Но необходимость комбинировать и видоизмѣнять проистекаетъ не изъ того, чтобы дѣйствительная жизнь не представляла (и въ гораздо лучшемъ видѣ) тѣхъ явленій, которыя хочетъ изобразить поэтъ или художникъ; а изъ того, что картина дѣйствительной жизни принадлежитъ не той сферѣ бытія, какъ дѣйствительная жизнь; различіе рождается отъ того, что поэтъ не располагаетъ тѣми средствами, какими располагаетъ дѣйствительная жизнь. При переложеніи оперы для фортепьяно теряется большая и лучшая часть подробностей и эффектовъ; многое рѣшительно не можетъ быть съ человѣческаго голоса или съ полного оркестра

передено на жалкій, блѣдный, мертвый инструментъ, который долженъ по мѣрѣ возможности воспроизвести оперу; потому при арранжировкѣ многое должно быть передѣлываемо; многое дополняемо—не съ тою надеждою, что въ арранжировкѣ опера выйдетъ лучше, нежели въ первоначальномъ своемъ видѣ, а для того, чтобы сколько-нибудь вознаградить необходимую порчу оперы при арранжировкѣ; не потому, чтобы арранжировщикъ исправлялъ ошибки композитора, а просто потому, что онъ не располагаетъ тѣми средствами, какими владѣетъ композиторъ. Еще больше различія въ средствахъ дѣйствительной жизни и поэта. Переводчикъ поэтического произведенія съ одного языка на другой до нѣкоторой степени долженъ передѣлывать переводимое произведеніе; какъ же не являться необходимости передѣлкѣ при переводѣ событія съ языка жизни на скучный, блѣдный, мертвый языкъ поэзіи?

Апология дѣйствительности сравнительно съ фантазією, стремленіе доказать, что произведенія искусства рѣшительно не могутъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью, вотъ сущность этого разсужденія.—Говорить объ искусствѣ такъ, какъ говоритъ авторъ, не значитъ ли унижать искусство?—Да, если показывать, что искусство и иже дѣйствительной жизни по художественному совершенству своихъ произведеній, значитъ унижать искусство; но возставать противъ панегириковъ не значитъ еще быть хулителемъ. Наука не думаетъ быть выше дѣйствительности; это не стыдъ для нея. Искусство также не должно думать быть выше дѣйствительности; это не унижительно для него. Наука не стыдится говорить, что цѣль ея—понять и объяснить дѣйствительность, потомъ примѣнить ко благу человѣка свои объясненія; пусть и искусство не стыдится признаться, что цѣль его: для вознагражденія человѣка въ случаѣ отсутствія полнѣйшаго эстетическаго наслажденія, доставляемаго дѣйствительностью, воспроизвести, по мѣрѣ силъ, эту драгоценную дѣйствительность и ко благу человѣка объяснить ее.

Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности быть нѣкоторою замѣною ея и быть для человѣка учебникомъ жизни.

Дѣйствительность выше мечты, и существенное значеніе выше фантастическихъ притязаній.

Задачею автора было изслѣдовать вопросъ объ эстетическихъ отношеніяхъ произведеній искусства къ явленіямъ жизни, разсмотрѣть справедливость господствующаго мнѣнія, будто бы истинно-прекрасное, которое принимается существеннымъ содержаніемъ произведеній искусства, не существуетъ въ объективной дѣйствительности и осуществляется только искусствомъ. Съ этимъ вопросомъ неразрывно связаны вопросы о сущности прекраснаго и о содержаніи искусства. Изслѣдованіе вопроса о сущности прекраснаго привело автора къ убѣжденію, что прекрасное есть—жизнь. Послѣ такого рѣшенія надобно было изслѣдовать понятія возвышеннаго и трагическаго, которыя, по обыкновенному опредѣленію прекраснаго, подходятъ подъ него, какъ моменты; и надобно было признать, что возвышенное и прекрасное—неподчиненные другъ другу предметы искусства. Это уже было важнымъ пособіемъ для рѣшенія вопроса о содержаніи искусства. Но если прекрасное есть жизнь, то самъ собою рѣшается вопросъ объ эстетическомъ отношеніи прекраснаго въ искусствѣ къ прекрасному въ дѣйствительности. Пришедши къ выводу, что искусство не можетъ быть обязано своимъ происхожденіемъ недовольству человѣка прекраснымъ въ дѣйствительности, мы должны были отыскивать, вслѣдствіе какихъ потребностей возникаетъ искусство и изслѣдовать его истинное значеніе. Вотъ главнѣйшіе изъ выводовъ, къ которымъ привело это изслѣдованіе:

1) Опредѣленіе прекраснаго: «прекрасное есть полное проявленіе общей идеи въ индивидуальномъ явленіи» не выдерживаетъ критики, оно слишкомъ широко, будучи опредѣленіемъ формальнаго стремленія всякой человѣческой дѣятельности.

2) Истинное опредѣленіе прекраснаго таково: «прекрасное есть жизнь»; прекраснымъ существомъ кажется человѣку то существо, въ которомъ онъ видитъ жизнь, какъ онъ ее понимаетъ; прекрасный предметъ, тотъ предметъ, который напоминаетъ ему о жизни.

3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности, должно отличать отъ совершенства формы, которое состоитъ въ единствѣ идеи и формы, или въ томъ, что предметъ вполне удовлетворяетъ своему назначенію.

4) Возвышенное дѣйствуетъ на человѣка вовсе не тѣмъ, что пробуждаетъ идею абсолютнаго; оно почти никогда не пробуждаетъ ея.

5) Возвышеннымъ кажется человѣку то, что гораздо больше предметовъ или гораздо сильнѣе явленій, съ которыми сравнивается человѣкомъ.

6) Трагическое не имѣетъ существенной связи съ идеею судьбы или необходимости. Въ дѣйствительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекаетъ изъ сущности предшествующихъ моментовъ. Форма необходимости, въ которую облекается оно искусствомъ, слѣдствіе обыкновеннаго принципа произведеній искусства: «развязка должна вытекать изъ завязки», или неумѣстное подчиненіе поэта понятіямъ о судьбѣ.

7) Трагическое по понятіямъ новаго европейскаго образованія есть «ужасное въ жизни человѣка».

8) Возвышенное (и моментъ его, трагическое) не есть видоизмѣненіе прекраснаго; идеи возвышеннаго и прекраснаго совершенно различны между собою; между ними нѣтъ ни внутренней связи, ни внутренней противоположности.

9) Дѣйствительность не только живѣе, но и совершеннѣе фантазіи. Образы фантазіи только блѣдная и почти всегда неудачная передѣлка дѣйствительности.

10) Прекрасное въ объективной дѣйствительности вполне прекрасно.

11) Прекрасное въ объективной дѣйствительности совершенно удовлетворяетъ человѣка.

12) Искусство рождается вовсе не отъ потребности человѣка восполнить недостатки прекраснаго въ дѣйствительности.

13) Созданія искусства ниже прекраснаго въ дѣйствительности не только потому, что впечатлѣніе, производимое дѣйствительностью, живѣе впечатлѣнія, производимаго созданіями искусства: созданія искусства ниже прекраснаго (точно такъ же, какъ ниже возвышеннаго, трагическаго, комическаго) въ дѣйствительности и съ эстетической точки зрѣнія.

14) Область искусства не ограничивается областью прекраснаго въ эстетическомъ смыслѣ слова, прекраснаго по живой сущности своей, а не только по совершенству формы: искусство воспроизводитъ все, что есть интереснаго для человѣка въ жизни.

15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляетъ характеристической черты искусства въ эстетическомъ смыслѣ слова (изящныхъ искусствъ); прекрасное какъ единство идеи и об-

раза, или какъ полное осуществленіе идеи, есть цѣль стремленія искусства въ обширѣйшемъ смыслѣ слова или «умѣнья», цѣль всякой практической дѣятельности человѣка.

16) Потребность, рождающая искусство въ эстетическомъ смыслѣ слова (изящныя искусства) есть та же самая, которая очень ясно выказывается въ портретной живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живаго человѣка не удовлетворяли насъ; а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человѣкѣ, когда его нѣтъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ людямъ, которые не имѣли случая его видѣть. Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нѣкоторой степени познакомить насъ съ тѣми интересными сторонами жизни, которыхъ не имѣли мы случая испытать или наблюдать въ дѣйствительности.

17) Воспроизведеніе жизни—общій характеристическій признакъ искусства, составляющій сущность его; часто произведенія искусства имѣютъ и другое значеніе—объясненіе жизни; часто имѣютъ они и значеніе приговора о явленіяхъ жизни.

О ПОЭЗИИ. Сочиненіе Аристотеля. Перевелъ, изложилъ и объяснилъ
Б. Ордынскій. Москва. 1854.

Г. Ордынскій заслуживаетъ полнаго одобренія и благодарности за то, что предметомъ своего разсужденія избралъ «Поэтику» Аристотеля; это первый и капитальнѣйшій трактатъ объ эстетикѣ, служившій основаніемъ всѣхъ эстетическихъ понятій до самаго конца прошедшаго вѣка. Но точно ли его выборъ удаченъ? Нынѣ довольно много найдется людей, не считающихъ эстетики наукою, заслуживающею особеннаго вниманія, готовыхъ даже сказать, что эстетика ни къ чему не ведетъ и ни на что ненужна, и что пустоту ея мѣшаетъ видѣть развѣ только темнота ея. Но, съ другой стороны, едва ли изъ этихъ многихъ найдется хоть одинъ, который бы не говорилъ съ улыбкою состраданія о Лагарпѣ, что «у этого дѣйствительно умнаго и ученаго историка литературы нѣтъ никакихъ прочныхъ и опредѣленныхъ основаній для оцѣнки писателей», и который бы не примолвилъ съ сожалѣніемъ о Мерзляковѣ, что «этотъ критикъ, дѣйствительно-замѣчательный по тонкости вкуса, къ несчастью, былъ только «русскимъ Лагарпомъ», и потому надѣлалъ русской критикѣ, можетъ быть, больше вреда нежели пользы». Такіе отзывы, отъ которыхъ не откажется, вѣроятно, ни одинъ изъ современныхъ недоброжелателей эстетики, почти избавляютъ насъ отъ надобности защищать необходимость этой науки отъ людей, столь сильно къ ней нерасположенныхъ и, однакожъ, несомнѣвающихся въ необходимости «ясныхъ и твердыхъ общихъ началъ», для критика или историка литературы. Чтожъ такое и понимается подъ эстетикою, если не система общихъ принциповъ искусства вообще и поэзіи въ особенности? Мы очень хорошо понимаемъ, что эстетика заслуживала сильнѣйшихъ преслѣдованій въ

тѣ времена, когда изъ-за нея позабывали объ исторіи литературы, на двадцати-пяти листахъ толкуя объ «отличныхъ», «очень хорошихъ», «посредственныхъ» и «плохихъ» строфахъ какой нибудь оды, а кончивъ эту сортировку, опять на столькихъ же листахъ разбирали «сильныя» или «неправильныя» выраженія въ этихъ «отличныхъ», «посредственныхъ» и т. д. строфахъ. Но когда жъ было у насъ это время, еще и доселѣ, къ несомнѣнному удовольствію французовъ, презирающихъ всякую эстетику, продолжающееся во французской литературѣ? Оно у насъ прекратилось съ 1830 годовъ, съ той поры, какъ начали мы знакомиться съ эстетикою. Ей обязаны мы тѣмъ, что въ самой плохой русской книгѣ не прочитаемъ, напримѣръ, слѣдующаго сужденія о «великихъ заслугахъ Боссюэта», взятаго нами изъ очень порядочной «Исторіи Французской Литературы», г. Демажд (Paris, 1852!!): «Боссюэтъ одинъ образуетъ отдѣльный міръ въ великомъ литературномъ мірѣ XVII вѣка. Другіе писатели—дѣти Рима; онъ переноситъ на западъ Востокъ, *непрочно смѣлыми и новыми сочетаніями словъ, гигантскими фигурами* (par des alliances de mots d'une hardiesse et d'une nouveauté incroyables, par des figures gigantesques), которыхъ не внушилъ бы ему европейскій вкусъ, но которыя онъ умѣетъ покорять законамъ пропорціи, внося мѣру въ самую неизмѣримость. Таковъ плодъ его постояннаго занятія и т. д. Это гениальное по ограниченности своей мѣсто такъ понравилось г-ну Демаждъ, что онъ занялъ его у другаго писателя, очень дѣльнаго историка, Анри Мартена: вѣроятно г. Демаждъ считаетъ образцовымъ сужденіемъ о дѣятельности великаго писателя разсужденія о тропяхъ и фигурахъ, которыми украшены его сочиненія!

Будемъ же благодарны эстетикѣ за то, что она избавила насъ отъ труда читать и писать подобныя сужденія о Державинѣ и Карамзинѣ. Повторяемъ: мы понимали бы вражду противъ эстетики, еслибъ она сама была враждебна исторіи литературы; но, напротивъ, у насъ всегда провозглашалась необходимость исторіи литературы; и люди, особенно-занимавшіеся эстетическою критикою, очень много—больше, нежели кто-нибудь изъ нашихъ нынѣшнихъ писателей—сдѣлали и для исторіи литературы. У насъ эстетика всегда признавала, что должна основываться на точномъ изученіи фактовъ, и упреки въ отвлеченной неосновательности содержанія могутъ идти къ ней также мало, какъ напр., къ русской грамма-

тихъ. Если же прежде она не заслуживала вражды со стороны приверженцевъ историческаго изслѣдованія литературы, то еще меньше можетъ заслуживать ее теперь, когда всякая теоретическая наука основывается на возможно-полномъ и точномъ изслѣдованіи фактовъ. Но мы готовы предполагать, что у насъ многіе ошибаются еще относительно современныхъ понятій о томъ, что такое теорія и что такое философія. У насъ еще многіе думаютъ, что у современныхъ мыслителей господствуютъ трансцендентальныя идеи объ «априорическомъ знаніи», «развитіи науки самой-изъ-себя», ohne Voraussetzung и т. п.: смѣемъ ихъ увѣрить, что, по мнѣнію современныхъ мыслителей, эти понятія были очень хороши и, главное, необходимо нужны, какъ переходная ступень въ свое время, назадъ тому 40, 30 или, пожалуй, даже 20 лѣтъ, но не теперь: теперь они устарѣли, признаны односторонними и недостаточными. Смѣемъ увѣрить, что истинно-современные мыслители понимаютъ «теорію» точно также, какъ понимаетъ ее Бэконъ, а вслѣдъ за нимъ астрономы, химики, физики, врачи и другіе адепты положительной науки. Правда, по этимъ новымъ понятіямъ не написано еще, сколько намъ извѣстно, формальнаго «курса эстетики»; но понятія, которыя будутъ лежать въ его основаніи, ужь достаточно обозначились и развились въ отдѣльныхъ маленькихъ статьяхъ и эпизодахъ большихъ сочиненій. Смѣемъ даже утверждать, что и прежніе, нынѣ устарѣлые курсы такъ называемой трансцендентальной эстетики основываютъ свои положенія на гораздо большемъ числѣ фактовъ, нежели думаютъ ихъ противники. Вспомните, что въ главнѣйшемъ изъ этихъ курсовъ, составляющемъ всего *три* тома, историческая часть занимаетъ почти *два*, и большая половина третьяго наполнена также историческими подробностями. Но мы не хотимъ предполагать, чтобъ противники эстетики въ частности, или теорій вообще, нуждались въ этихъ напоминаніяхъ: не желая представлять ихъ людьми, отсталыми отъ современнаго движенія мысли, мы скорѣе предположимъ другую, чрезвычайно лестную причину нерасположенія къ эстетикѣ: непріатели ея видятъ въ ней теорію отвлеченную и бесплодную и преслѣдуютъ ее изъ сильной приверженности къ знаніямъ «живымъ», имѣющимъ какое нибудь серьезное значеніе для такъ называетъ жизненныхъ вопросовъ. Съ этой точки зрѣнія, какъ увидимъ ниже, Платонъ нападалъ не на эстетику (это было бы еще не такъ важно, да притомъ эстетики въ

платоновое время и не существовало, кромѣ той, отрывки которой разсѣяны въ его же собственныхъ сочиненіяхъ) — нѣтъ, онъ напалъ на самое искусство, и мы только сожалѣемъ, что искусство заслуживало до нѣкоторой степени его нападеній, но не можемъ не сочувствовать и Платону. Если же поэзія, литература, искусство признаются предметомъ такой важности, что исторія, напримѣръ, литературы должна быть предметомъ всеобщаго вниманія и изученія, то и общіе вопросы о сущности, значеніи, вліяніи поэзіи, литературы, искусства, должны имѣть огромный интересъ, потому что отъ разрѣшенія ихъ зависить взглядъ нашъ на предметъ; а именно для того, чтобъ образовался ясный и правильный взглядъ, нужны факты. Зачѣмъ же и знать ихъ, если не для того, чтобъ дѣлать изъ нихъ выводы? Словомъ: намъ кажется, что весь споръ противъ эстетики основывается на недоразумѣніи, на ошибочности понятій о томъ, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая наука вообще. Исторія искусства служить основаніемъ теоріи искусства, потому теорія искусства помогаетъ болѣе совершенной, болѣе полной обработкѣ исторіи его; лучшая обработка исторіи послужитъ дальнѣйшему усовершенствованію теоріи, и такъ далѣе, до безконечности будетъ продолжаться это взаимодействіе на обоюдную пользу исторіи и теоріи, пока люди будутъ изучать факты и дѣлать изъ нихъ выводы, а не обратятся въ ходячія хронологическія таблицы и библіографическіе реестры, лишеныя потребности мыслить и способности соображать. Безъ исторіи предмета нѣтъ теоріи предмета; но и безъ теоріи предмета нѣтъ даже мысли о его исторіи, потому что нѣтъ понятія о предметѣ, его значеніи и границахъ. Это такъ же просто, какъ то, что дважды-два — четыре, а единица есть единица; но мы знаемъ людей, доказывающихъ, посредствомъ ньютонова бинома, что единица равняется двумъ...

Впрочемъ, у насъ многое еще имѣетъ интересъ новости, многое, кромѣ нѣсколькихъ обыкновенно-ничтожныхъ книжечекъ на различныхъ языкахъ, а чаще всего на французскомъ, въ родѣ твореній какого-нибудь Мишеля Шевалье и ему подобныхъ «великихъ ученыхъ», «глубокомысленныхъ и вмѣстѣ ясныхъ мыслителей» да еще послѣднихъ номеровъ *Revue des deux Mondes*, съ его великими мудрецами. Эти книги не составляютъ ни тайны, ни новости ни для кого: за-то онѣ служатъ кодексомъ для нѣкоторыхъ мыслителей, предметомъ ихъ глубокихъ размысленій. По всей вѣроят-

ности, въ нихъ-то и заключается причина отвращенія многихъ отъ эстетики: эти книги и статьи натолковали намъ, въ числѣ многихъ истинъ, и ту, что эстетика наука темная, мертвая, отвлеченная ни къ чему неприменимая.

Эстетика наука мертвая! Мы не говоримъ, чтобъ не было наукъ живѣй ея; но хорошо было бы, еслибъ мы думали объ этихъ наукахъ. Нѣтъ, мы превозносимъ другія науки, представляющія гораздо менѣе живаго интереса. Эстетика наука безплодная! Въ отвѣтъ на это спросимъ: помнимъ ли мы еще о Лессингѣ, Гётѣ и Шиллерѣ, или ужъ они потеряли право на наше воспоминаніе съ тѣхъ поръ, какъ мы познакомились съ Теккереемъ? Признаемъ ли мы достоинство нѣмецкой поэзіи второй половины прошедшаго вѣка?...

Но, можетъ быть, нѣкоторые возстаютъ не противъ самой пользы и необходимости теоретическихъ выводовъ, а противъ стѣсненія ихъ въ узкія рамки системы? Прекрасное побужденіе къ враждѣ, еслибъ только оно имѣло какое нибудь основаніе, еслибъ кто нибудь изъ современныхъ людей смотрѣлъ на чью бы то ни было систему какой бы то ни было науки, какъ на вѣчное вмѣстелище всей истины. Но теперь почти всѣ (и составители системъ обыкновенно искреннѣе всѣхъ) говорятъ, что всякая система порождается и разрушается, или, лучше сказать, измѣняется вмѣстѣ съ понятіями времени, ее произведшаго; теперь никто не принуждаетъ васъ *jugare in verba magistri*: система — только временной переплетъ для науки; и если вы дѣйствительно выросли выше понятій системы, не отвергать науку будете вы, а создадите новую систему ея — и всѣ будутъ вамъ благодарны. Систематичность науки не представляетъ препятствій къ ея развитію. Учитѣ насъ, и чѣмъ больше новаго будетъ въ вашей новой системѣ, тѣмъ больше будетъ вамъ славы. А неприведенными въ одно стройное цѣлое истинами неудобно пользоваться: кто составилъ систему науки, тотъ одинъ сдѣлалъ науку общедоступною, и его понятія разольются въ массы хотя бы у другихъ были понятія гораздо глубже, нежели у него что не сформулировано, то остается бездѣйственнымъ.

И лучшій примѣръ того, какое важное условіе для плодотворности мыслей система, представляетъ намъ «Піитика», или, какъ называетъ ее г. Ордынскій, «Сочиненіе Аристотеля о поэзіи». Аристотель первый изложилъ въ самостоятельной системѣ эстетическія

понятія, и его понятія господствовали слишкомъ 2,000 лѣтъ; а у Платона больше, нежели у него, найдется истинно великихъ мыслей объ искусствѣ: можетъ быть, даже его теорія не только глубже, но и полнѣе аристотелевой, но она не облечена въ систему и до новѣйшаго времени не обращала на себя почти никакого вниманія.

Чтобъ показать, какой интересъ и въ наши времена еще имѣютъ эстетическія понятія этихъ людей, жившихъ до насъ за 2,200 лѣтъ, попробуемъ изложить въ краткомъ очеркѣ самыя общіе, самыя отвлеченныя вопросы ихъ эстетики: «объ источникѣ и значеніи искусства». Конечно, въ современной теоріи рѣшеніе этихъ вопросовъ представляетъ гораздо болѣе живаго и интереснаго; но... кто, по вашему мнѣнію, выше: Пушкинъ или Гоголь? Я вчера слышалъ споръ объ этомъ, и на него готовы отвѣчать Платонъ и Аристотель. Въ самомъ дѣлѣ, рѣшеніе зависитъ отъ понятій о сущности и значеніи искусства. Послушаемъ же мнѣнія объ этомъ предметѣ нашихъ великихъ учителей въ дѣлѣ эстетическаго суда. Если сущность искусства дѣйствительно состоитъ, какъ нынче говорятъ, въ идеализаціи; если цѣль его—«доставлять сладостное и возвышенное ощущеніе прекраснаго», то въ русской литературѣ нѣтъ поэта равнаго автору «Полтавы», «Бориса Годунова», «Мѣднаго Всадника», «Каменнаго Гостя» и всѣхъ этихъ безчисленныхъ, благоуханныхъ стихотвореній; если же отъ искусства требуется еще нѣчто другое, тогда... но въ чемъ же, кромѣ этого, можетъ состоять сущность и значеніе искусства?

Итакъ, въ чемъ состоитъ сущность искусства? Что именно дѣлаетъ живописецъ, изображая пейзажъ, или группу людей; поэтъ, изображая въ лирическомъ стихотвореніи восторги или страданія любви, въ романѣ или драмѣ—людей съ ихъ страстями и характерами? «Онъ идеализируетъ природу и людей. Сущность искусства состоитъ въ созданіи идеаловъ», отвѣчаетъ господствующая нынѣ эстетическая теорія «въ человѣкѣ есть предчувствіе и потребность чего-то лучшаго и полнѣйшаго, нежели блѣдная и скудная дѣйствительность («проза жизни», по выраженію дюжинныхъ романистовъ), которой не удовлетворяется его безсмертный духъ. Это лучшее и полнѣйшее (идеалъ) живо постигается художникомъ и передается жаждущему человѣчеству въ созданіяхъ искусства». Прежняя тео-

рія искусства говорила не такъ *): «искусство — больше ничего, какъ подражаніе тому, что мы видимъ въ дѣйствительности; картины, статуи, романы, драмы — больше ничего, какъ копіи съ подлинниковъ, представляемыхъ художнику дѣйствительностью». Эта теорія, надъ которою нынѣ смѣются, потому что знаютъ ее только въ искаженной передѣлкѣ Буало и Баттѣ, дѣйствительно достойной осмѣянія, извѣстна подъ названіемъ аристотелевой. Въ самомъ дѣлѣ, Аристотель признавалъ ее справедливою: въ тѣхъ отдѣленіяхъ его трактата «О поэтическомъ искусствѣ», въ которыхъ находятся общія соображенія о происхожденіи и сущности искусства вообще и поэзии въ частности, основная мысль дѣйствительно та, что «искусство есть подражаніе». Но совершенно несправедливо было бы считать Аристотеля творцомъ «теоріи подражанія»: она, по всей вѣроятности, господствовала еще задолго до Сократа и Платона, а развита у Платона гораздо глубже и многостороннѣе, нежели у Аристотеля. Полагая основаніемъ своихъ понятій объ искусствѣ мысль, что она «состоитъ въ подражаніи». Платонъ не ограничивается тѣми довольно недалекими приложеніями кореннаго принципа, какими довольствуется Аристотель. Поэзія есть подражаніе, говоритъ Аристотель; слѣдовательно, трагедія есть подражаніе дѣйствіямъ великихъ людей, комедія — подражаніе дѣйствіямъ низкихъ людей; другихъ выводовъ не найдемъ у него. Платонъ, напротивъ, извлекаетъ изъ своего понятія объ искусствѣ живыя, блестящія, глубокомысленныя заключенія; опираясь на свою аксіому, онъ опредѣляетъ значеніе искусства въ жизни человѣческой, его отношенія къ другимъ направленіямъ дѣятельности; вооружась ею, Платонъ уличаетъ искусство въ бѣдности, слабости, бесполезности, ничтожествѣ. Его сарказмы жестоки и мѣткі, можетъ быть, односторонни, особенно для нашего времени, но во многомъ справедливы и благородны, при всей своей односторонности. Но, чтобъ объяснить презрѣніе Платона къ искусству, надобно сказать нѣсколько словъ о существенномъ направленіи его ученія.

*) Считаемъ почти за излишнее замѣчать, какъ очевидное для каждого знакомаго съ предметомъ, что почти исключительно мы пользовались при этомъ изложеніи греческихъ эстетическихъ понятій прекраснымъ сочиненіемъ Э. Мюллера «Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten. 2 Bde. Breslau. 1834—1837.

Платона многіе считаютъ какимъ-то греческимъ романтикомъ, вздыхающимъ о невѣдомомъ и туманномъ, чудномъ и прекрасномъ краѣ, стремящимся «туда, туда» (dahin, dahin), неизвѣстно куда, только далеко, далеко отъ людей и земли... Платонъ былъ вовсе не таковъ. Дѣйствительно, онъ былъ одаренъ возвышенною душою, и все благородное и великое увлекало его до энтузіазма; но онъ не былъ празднымъ мечтателемъ, думалъ не о звѣздныхъ мірахъ, а о землѣ, не о призракахъ, а о человѣкѣ. И прежде всего Платонъ думалъ о томъ, что человѣкъ долженъ быть гражданиномъ государства, не мечтать о ненужныхъ для государства вещахъ, а *жить* благородно и дѣлательно, содѣйствуя матеріальному и нравственному благосостоянію своихъ согражданъ. Благородная, но не мечтательная, не умозрительная (какъ для Аристотеля), а дѣлательная, практическая жизнь была для него идеаломъ человѣческой жизни. Не съ ученой или артистической, а съ общественной и нравственной точки смотрѣлъ онъ на науку и искусство, какъ и на все. Не человѣкъ живетъ для того, чтобы быть артистомъ или ученымъ (какъ думали многіе великіе философы, между прочимъ, Аристотель), а наука и искусство должны служить для блага человѣка. Послѣ этого понятно, какъ Платонъ долженъ былъ смотрѣть на искусство, которое, большею частью, служить (должно ли служить, это другой вопросъ), а во время Платона почти исключительно служило прекрасною, съ тѣмъ вмѣстѣ, чрезвычайно дорогою и, можетъ быть, очень благородною забавою, но все-таки забавою для людей, которымъ нечего дѣлать, кромѣ того, какъ любоваться на болѣе или менѣе сладострастные картины и статуи, да упиваться мелодіею болѣе или менѣе сладострастныхъ стиховъ. «Искусство — забава»: этимъ рѣшено для Платона все. А что онъ не клеветалъ на искусство, признавая его забавою, лучше всего свидѣтельствуетъ намъ одинъ изъ серьезѣйшихъ поэтовъ, Шиллеръ, конечно, не враждебными глазами смотрѣвшій на свое искусство: Кантъ, по его мнѣнію, совершенно справедливо называетъ искусство *игрою* (или забавою, *das Spiel*), потому что «только играя, человѣкъ исполнѣнъ человѣкъ» *). Представимъ же теперь мнѣнія Платона о значеніи искусства, выпуская, однако, слишкомъ жесткія изъ его нападеній.

Искусства, говоритъ Платонъ, бываютъ двухъ родовъ: произ-

*) «Объ эстетич. воспит. человѣка», письмо 13 и слѣд.

водительныя и подражательныя (по нашей терминологіи: практическія или техническія и изящныя). Первые производятъ что нибудь нужное для жизни, годное для употребленія. Сюда принадлежатъ, напримѣръ, земледѣіе, ремесла, гимнастика, дающая человѣку силы, и медицина, дающая ему здоровье. Имъ полное уваженіе. Но какое сравненіе могутъ выдержать съ ними подражательныя искусства (впредь мы, сообразно нынѣшней терминологіи, будемъ называть ихъ изящными), которыя не даютъ человѣку ничего, кромѣ обманчивыхъ, ни въ какое употребленіе не годныхъ копій съ дѣйствительныхъ предметовъ? Ихъ значеніе ничтожно. Къ чему они служатъ? Къ пріятному, но бесполезному препровожденію времени. Это игра, пустая въ глазахъ серьезнаго человѣка. Но иныя игры (напр. гимнастическія) имѣютъ серьезную цѣль; изящныя искусства ея не имѣютъ. Нѣтъ, они стараются только забавлять; они только хотятъ угодить толпѣ; они принадлежатъ къ одному разряду занятій съ риторикою (искусствомъ подбирать красныя слова) и софистикою (искусствомъ говорить не полезное, а пріятное слушателямъ), съ парикмахерскимъ и поварскимъ искусствами. И живопись, и музыка, и поэзія, даже возвышенная и превозносимая трагедія — искусства угодничества, лести, потому что стараются только объ удовольствіи, а не о пользѣ толпы (замѣтимъ, что подобнымъ же образомъ смотритъ на изящныя искусства авторъ «Эмиля» и «Новой Элоизы»; Кампе, знаменитый нѣмецкій педагогъ, также говоритъ: «выпрясть фунтъ шерсти полезнѣе, нежели написать томъ стиховъ»). А между тѣмъ, какъ высоко ставятъ себя эти ничтожныя искусства! Живописецъ, напримѣръ, говоритъ, что создаетъ и деревья, и людей, и землю, и море! да еще какъ скоро—въ одну минуту! и потомъ продаетъ вамъ и землю и море за золотую монету. Правда, его созданія не стоятъ и мѣдной, потому что они пустые призраки, годные лишь на то, чтобъ обманывать ребятишекъ. И эти фокусники еще не хотятъ признавать себя подражателями—нѣтъ, они говорятъ вамъ о творчествѣ! (Изъ этого видимъ, что идея, служащая основаніемъ господствующей нынѣ эстетической теоріи, существовала уже и при Платонѣ: «искусство и творчество»). И могутъ ли они дать что нибудь, кромѣ плохой, невѣрной копій? Вѣдь художнику нѣтъ дѣла до внутренняго содержанія: ему нужна только оболочка; онъ довольствуется поверхностнымъ знаніемъ поверхности предмета: ее ко-

пируетъ онъ; дальнѣе ея ничего не знаетъ (новѣйшая эстетика, согласно съ этими художниками, или, скорѣе, съ ѣдкими сарказмами Платона, говорящаго за нихъ, признаетъ, что «прекрасное, существенное содержаніе искусства—призракъ, пустой призракъ», ein Schein, ein reiner Schein, и что искусство имѣетъ дѣло только съ поверхностью, оболочкою предмета, die Oberfläche). Устройство человѣческаго тѣла извѣстно врачу — живописецъ его не знаетъ. Такъ и поэтъ не знаетъ основательно жизни и сердца человѣческаго: это знаніе достигается только глубокимъ изученіемъ филозофіи (по нынѣшней терминологіи «только путемъ науки»), а не отрывочными наблюденіями собственной опытности, слишкомъ неполной и поверхностной. И заслуживаютъ ли даже имени искусства эти гордые изящныя искусства? Нѣтъ! Чтобы моя дѣятельность достойна была имени искусства, мнѣ необходимо имѣть ясное сознаніе о томъ, что я дѣлаю—художникъ не имѣетъ его. Столяръ, дѣлая столъ, знаетъ, что, зачѣмъ и какъ онъ дѣлаетъ: живописецъ и поэтъ сами не знаютъ истинной природы предметовъ, которыми подражаютъ. Ихъ искусство не искусство, а слѣпая работа по темному инстинкту, наудачу; они называютъ это «вдохновеніемъ»; на самомъ дѣлѣ съ вдохновеніемъ соединяется у нихъ невѣжество самоучки *). Изящныя искусства—пустая игра, незаслуживающая имени искусства..

*) Для объясненія послѣднихъ словъ надобно замѣтить, что Платонъ нападаетъ не на «вдохновеніе», а на то, что очень многіе поэты (не говоримъ ужъ о другихъ художникахъ) къ величайшему вреду искусства, полагаясь на однѣ силы «творческаго генія, инстинктомъ прозирающаго въ тайны природы и жизни», пренебрегаютъ наукою, которая избавляетъ отъ пустоты и ребяческой отсталости содержанія:

«Ich singe, wie der Vogel singt».

говорятъ они; за то ихъ пѣніе, подобно соловьиной пѣснѣ, остается годнымъ только для забавы отъ нечего дѣлать, очень скоро надоедающей, какъ и слушанье соловьиной пѣсни. Прекрасное ученіе, что поэтъ пишетъ по вдохновенію, чуждому всякой разсчитанности, и что произведенія придумывающаго, разсчитывающаго поэта холодны, непоэтичны — господствовало въ Греціи со временъ гениальнаго Демокрита. У Аристотеля вдохновеніе стоитъ ужъ на второмъ планѣ: онъ учитъ писать трагедіи, подбирать эффектные завязки и развязки по рецепту. Изъ этого даже видно, что Аристотель, какъ эстетикъ, принадлежитъ временамъ паденія искусства: вмѣсто живаго духа, у него ученыя правила, холодный формализмъ. Отъ Горация и Буало, отъ всѣхъ послѣдующихъ составителей «реторикъ» и «пѣтикъ», отличается онъ только, какъ ге-

Полемика Платона противъ искусства чрезвычайно сурова — правда, но порождена высокимъ и благороднымъ взглядомъ на человѣческую дѣятельность. И легко было бы показать, что многіе изъ строгихъ обличеній платоновыхъ продолжаютъ быть справедливыми и въ отношеніи къ современному искусству. Но гораздо пріятнѣе говорить за искусство, нежели противъ искусства, и потому, отказываясь отъ тяжелой обязанности указывать и въ новѣйшемъ искусствѣ тѣ слабыя стороны, которыя общи ему съ греческимъ, мы постараемся только показать, какими соображеніями могутъ быть въ наше время смягчены нѣкоторые изъ безусловныхъ приговоровъ Платона о ничтожности значенія изящныхъ искусствъ.

Платонъ возстаетъ противъ искусства за то, что оно бесполезно для человѣка. Не будемъ опровергать этого страшнаго упрека устарѣлою мыслью, что «искусство должно существовать для искусства», что «дѣлать искусство служителемъ человѣческихъ нуждъ, значитъ унижать его» и т. п. Мысль эта имѣла смыслъ тогда, когда надобно было доказывать, что поэтъ не долженъ писать великолѣпныхъ одъ, не долженъ искажать дѣйствительности въ угоду различнымъ произвольнымъ и приторнымъ сентенціямъ. Къ сожалѣнію, для этого она появилась ужъ слишкомъ поздно, когда борьба была кончена; а теперь и подавно она ни къ чему ненужна: искусство успѣло ужъ отстоять свою самостоятельность и должно думать о томъ, какъ ею пользоваться. «Искусство для искусства» — мысль такая же странная въ наше время, какъ «богатство для богатства», «наука для науки» и т. д. Всѣ человѣческія дѣла должны служить на пользу человѣку, если хотятъ быть непустымъ и празднымъ занятіемъ: богатство существуетъ для того, чтобъ имъ пользовался человѣкъ, наука для того, чтобъ быть руководительницею человѣка; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на безплодное удовольствіе. «Но именно эстетическое наслажденіе само по себѣ приноситъ существенное благо человѣку, смягчая его сердце, возвышая его душу»... Мы не хотимъ выводить серьезное значеніе искусства и изъ этой мысли — справедливой, но еще мало говорящей въ пользу искусства. Конечно, наслажденіе произведеніями искусства, какъ и всякое (непреступное) удоволь-

пѣтельный учитель отъ ограниченныхъ учениковъ: различіе здѣсь не въ сущности понятій, а въ степени ума, ихъ развивающаго.

ствие производитъ въ человѣкѣ свѣтлое, радостное расположеніе духа; а радостный и довольный человѣкъ, конечно, добрѣе и лучше, нежели недовольный и мрачный. И мы согласны, что, выходя изъ картинной галереи или изъ театра, человѣкъ чувствуетъ себя и добрѣе, и лучше (по крайней мѣрѣ на полчаса, пока не разлетѣлось эстетическое довольство); но точно также и изъ за сытнаго обѣда человѣкъ встаетъ снисходительнѣе, добрѣе того, каковъ былъ съ отоппавшимъ желудкомъ. Благодѣтельное вліяніе искусства, какъ искусства (независимо отъ такого или иного содержанія его произведеній), состоитъ почти исключительно въ томъ, что искусство— вещь пріятная; подобное же благодѣтельное качество принадлежитъ всѣмъ другимъ пріятнымъ занятіямъ, отношеніямъ, предметамъ, отъ которыхъ зависитъ «хорошее расположеніе духа». Здоровый человѣкъ гораздо менѣе эгоистъ, гораздо добрѣе, нежели больной, всегда болѣе или менѣе раздражительный и недовольный, хорошая квартира также больше располагаетъ человѣка къ добротѣ, нежели сырая, мрачная, холодная; спокойный человѣкъ (т. е. находящійся не въ непріятномъ положеніи) добрѣе, нежели раздосадованный и т. д. И надобно сказать, что практическія, житейскія, серьезныя условія довольства своимъ положеніемъ дѣйствуютъ на человѣка сильнѣе и постояннѣе, нежели пріятныя впечатлѣнія, доставляемыя искусствомъ. Для большинства людей, оно—только развлеченіе, то есть довольно ничтожная вещь, немогущая принести серьезнаго довольства. И, взвѣсивъ хорошенько факты, мы убѣдимся, что многія самыя неблестящія, обыденныя развлеченія больше вносятъ довольства и благорасположенія въ человѣческое сердце, нежели искусство: еслибъ явился между нами Платонъ, вѣроятно, сказалъ бы онъ, что, напримѣръ, сидѣнье на завалѣхъ (у поселянъ), или вокругъ самовара (у горожанъ) больше развило въ нашемъ народѣ хорошаго расположенія духа и добраго расположенія къ людямъ, нежели всѣ произведенія живописи, начиная съ лубочныхъ картинъ до «Послѣдняго дня Помпей». Польза, приносимая искусствомъ, какъ однимъ изъ источниковъ довольства, развитію всего хорошаго въ человѣкѣ, несомнѣнна, но ничтожна въ сравненіи съ пользою, приносимою другими благопріятными отношеніями и условіями жизни; потому и не хотимъ мы указывать на нее для того, чтобъ показать высокое значеніе искусства въ жизни. Правда, обыкновенно вліяніе искусства на нравственное развитіе понимаютъ не

такъ, какъ мы его представили, и говорятъ будто бы эстетическое наслажденіе не просто, какъ источникъ хорошаго расположенія духа, смягчаетъ сердце, а непосредственно возвышаетъ и облагораживаетъ душу, по возвышенности и благородству предметовъ и чувствъ, которыми прельщаемся мы въ произведеніяхъ искусства; обыкновенно говорятъ, что представляющееся намъ «прекраснымъ» въ искусствѣ есть ужъ по этому самому благородное и возвышенное. Но мы, рѣшительно не желая касаться щекотливаго вопроса о серьезномъ значеніи существеннаго содержанія въ большей части произведеній искусства, не хотѣли даже выписывать грозныхъ нападеній Платона на искусство за его содержаніе; тѣмъ не менѣе сами будемъ вдаваться въ эти нападенія. Напомнимъ только, что искусство должно угождать требованіямъ публики, а большинство, смотрящее на него какъ на развлеченіе, конечно, требуетъ отъ развлеченія не возвышенности или благородства содержанія, а граціозности, интересности, забавности, даже легкости. Одинъ изъ серьезнѣйшихъ и благороднѣйшихъ поэтовъ нашего времени говорить въ предисловіи къ своимъ пѣснямъ: «Я хотѣлъ бы воспѣвать вовсе не любовь, но кто сталъ бы читать мои пѣсни, еслибъ ихъ содержаніе было серьезно? Поэтому, написавъ нѣсколько серьезныхъ пѣсень, которыя однѣ хотѣлъ бы я писать, я долженъ былъ потопить ихъ во множествѣ любовныхъ пѣсенокъ для того, чтобъ вмѣстѣ съ этими приманками публика поглотила и здоровую пищу». Таково почти всегда положеніе художника, имѣющаго серьезное и благородное направленіе (не хотимъ прибавлять, что не всѣ изъ художниковъ имѣютъ его). Кому эти краткіе намеки покажутся недостаточными, тотъ пусть потрудится припомнить, что главнѣйшее содержаніе поэзіи (самаго серьезнаго изъ искусствъ) — «любовь», т. е. влюбленность, очень далекая отъ истинной любви и очень мало имѣющая серьезнаго значенія. Обыкновенная забота искусства—заинтересовать, завлечь, чѣмъ и какъ—все равно.

Но если, стремясь къ этой цѣли, искусство почти всегда позавбываетъ о другихъ, важнѣйшихъ цѣляхъ, то надобно признаться, что завлекаетъ огромную массу оно очень удачно, и этимъ самымъ, вовсе о томъ не думая, содѣйствуетъ распространенію образованности, ясныхъ понятій о вещахъ—всего, что приноситъ умственную, а потомъ принесетъ и матеріальную пользу людямъ. Искусство или, лучше сказать, поэзія (одна только поэзія, потому что другія

искусства очень мало дѣлають въ этомъ отношеніи) распростра-
няетъ въ массѣ читателей огромное количество свѣдѣній и, что
еще важнѣе, знакомство съ понятіями, вырабатываемыми наукою—
вотъ въ чемъ заключается великое значеніе поэзіи для жизни.

Въ наше время странно уже—хотя, быть можетъ, и вовсе еще
неизлишне — пускаться въ подробныя объясненія того, что такое
наука, въ чемъ состоитъ и какъ велико ея значеніе для жизни. Въ
наукѣ хранятся плоды опытности и размышлений человѣческаго
рода, и главнѣйшимъ образомъ на основаніи науки улучшаются
понятія, а потомъ нравы и жизнь людей. Но открытія и сообра-
женія науки приносятъ дѣйствительную пользу только тогда, когда
разливаются въ массѣ публики. Наука сурова и незаманчива въ
своемъ настоящемъ видѣ; она не привлечетъ толпы. Наука тре-
буетъ отъ своихъ адептовъ очень много приготовительныхъ позна-
ній и, что еще рѣже, встрѣчается въ большинствѣ—привычки къ
серьезному мышленію. Поэтому, чтобъ проникнуть въ массу, наука
должна сложить съ себя форму науки. Ея крѣпкое зерно должно
быть перемолото въ муку и разведено водою для того, чтобъ стать
пищею, вкусною и удобоваримою. Это достигается «популярнымъ»
изложеніемъ науки. Но и популярныя книги еще не исполняютъ
всего, что нужно для распространенія понятій о наукѣ въ боль-
шинствѣ публики: онѣ предлагаютъ чтеніе легкое, но не заманчи-
вое—а большинство читателей хочетъ, чтобъ книга была слад-
кимъ десертомъ. Это обольстительное чтеніе представляютъ ему
романы, повѣсти и т. д. Безъ всякаго сомнѣнія, очень немногіе
беллетристы думаютъ, подобно Вальтеръ-Скотту, употреблять свой
талантъ именно для распространенія образованности между чита-
телями. Но какъ изъ разговора съ образованнымъ человѣкомъ
малообразованный всегда вынесетъ какія-нибудь новыя свѣдѣнія,
хотя бы разговоръ и не касался повидимому ничего серьезнаго,
такъ и изъ чтенія романовъ, повѣстей, по крайней мѣрѣ историче-
скихъ, даже стихотвореній, которыя пишутся людьми, во всякомъ
случаѣ стоящими по образованности выше, нежели большинство
ихъ читателей, масса публики, нечитающая ничего, кромѣ этихъ
романовъ и повѣстей, узнаетъ многое. И нѣтъ никакого сомнѣнія,
что не только «Юрій Милославскій», но даже и «Леонидъ, или нѣ-
которыя черты и т. д.» значительно распространили кругъ свѣдѣ-
ній своихъ читателей. Если популярныя книги перечеканивають

въ ходячую монету, тяжелый слитокъ золота, выплавленный наукою, то поэзія пускаетъ въ ходъ мелкія серебряныя деньги, которыя обращаются и тамъ, куда рѣдко заходитъ золотая монета, и которыя все-таки имѣютъ свою неотъемлемую цѣнность. Поэзія, какъ распространительница знаній и образованности, имѣетъ чрезвычайно важное значеніе для жизни. «Забава» ея приноситъ пользу умственному развитію забавляющагося; потому, оставаясь забавою для массы читателей, поэзія получаетъ серьезное значеніе въ глазахъ мыслителя.

Итакъ, принуждены будучи признать справедливость очень многихъ нападеній Платона на искусство, мы, однако, въ правѣ сказать, что поэзія имѣетъ высокое значеніе для образованности и идущаго вслѣдъ за нею улучшенія нравовъ и матеріальнаго благосостоянія; она имѣетъ это значеніе даже и тогда, когда не заботится о немъ. Но много было поэтовъ, которые сознательно и серьезно хотѣли быть служителями нравственности и образованности, понимали, что вмѣстѣ съ талантомъ получили они обязанность быть наставниками своихъ согражданъ. Были такіе поэты и во время Платона; достовѣрно мы знаемъ съ этой стороны Аристофана. «Поэтъ—учитель взрослыхъ», говоритъ онъ—и всѣ его комедіи проникнуты самымъ серьезнымъ направленіемъ. Излишне и говорить о томъ, какое важное практическое значеніе получаетъ поэзія въ ихъ рукахъ. Но если Платонъ впадаетъ въ односторонность, считая поэзію только пустою забавою, то за нимъ остается заслуга, что онъ смотрѣлъ на искусство въ связи съ жизнью; а оправданіе его порицаній находится въ понятіяхъ объ искусствѣ большей части художниковъ и даже философовъ, которые полагаютъ, что значеніе искусства не зависитъ отъ его житейской пользы, что «служить какимъ бы то ни было интересамъ, кромѣ собственныхъ, унижительно и пагубно для искусства», что «оно само себѣ цѣль», что «доставлять эстетическое наслажденіе—единственное назначеніе искусства». Эти господствующія воззрѣнія дѣйствительно отнимаютъ у искусства всякое дѣльное значеніе, превращаютъ его въ пустую игру и вполне заслуживаютъ грозныхъ изобличеній Платона, доказывающаго, что, отказываясь отъ практическаго значенія для жизни, искусство, какъ и всякое дѣло, неимѣющее такого значенія, становится пустою забавою въ глазахъ мыслителя.

Аристотель, уступая Платону въ возвышенности требованій, го-

раздо снисходительнѣе, даже съ любовью смотритъ на искусство, особенно на поэзію и музыку; его понятія о значеніи музыки и поэзіи не такъ поучительны, какъ платоновы, но гораздо многостороннѣе—правда, съ тѣмъ выѣстъ иногда и мелочны.

Первую пользу искусства для человѣка (потому что и Аристотель требуетъ отъ искусства *пользы*) онъ видитъ именно въ томъ, въ чемъ Платонъ находитъ причину блѣдности и ничтожности произведеній искусства сравнительно съ живою дѣйствительностью—въ томъ, что искусство есть подражаніе. «Стремленіе къ подражанію, которое служить источникомъ искусствъ, находится въ непосредственной связи съ любознательностью. Любознательность, заставляющая сравнивать копію съ подлинникомъ—причина и того удовольствія, которое доставляютъ намъ произведенія искусства: подражая предмету, а потомъ сравнивая подражаніе съ оригиналомъ мы изучаемъ предметъ, изучаемъ его легко и скоро; въ этомъ тайна наслажденія, приносимаго искусствомъ. «Итакъ, искусство находится въ ближайшемъ родствѣ съ важнѣйшимъ и высочайшимъ стремленіемъ человѣческаго духа; потому что Аристотель ставитъ науку выше жизни, умственную дѣятельность выше практической: образъ мыслей, очень легко рождающійся у людей, для которыхъ наука—главнѣйшая цѣль жизни. Искусству, этимъ объясненіемъ его происхожденія, назначается очень почетное мѣсто среди возвышеннѣйшихъ направленій человѣческаго духа; но объясненіе страсти къ подражанію изъ любознательности не выдерживаетъ критики. Подражаемъ вообще мы изъ желанія сдѣлать, а не узнать что-нибудь; подражаніе—не теоретическое, а практическое стремленіе. Справедливо только то, что *иногда* (довольно рѣдко) мы *читаемъ* произведенія поэзіи изъ желанія познакомиться съ нравами людей, съ обычаями народовъ далекихъ отъ насъ, и т. п.; но и читаемъ мы произведенія поэзіи обыкновенно вовсе не по этому побужденію, а возникаютъ они рѣшительно не изъ желанія поэта уяснить себѣ какой-нибудь вопросъ (какъ пишутся ученые трактаты): стремленіе *создавать* (черезъ подражаніе или «воспроизведеніе», какъ выражаются нынѣ), производить—источникъ поэтической дѣятельности; восхищеніе творческимъ талантомъ, удовольствіе, происходящей отъ сознанія гениальности человѣческой—источникъ наслажденія, доставляемаго намъ произведеніями искусства. Не указываемъ другихъ источниковъ искусства и наслажденія искусствомъ, потому что это

отвлекло бы насъ далеко отъ Аристотеля (точно также и выше, пополняя мѣнія Платона, мы ограничились указаніемъ одной только стороны высокаго значенія искусства, чтобы не вдаваться въ излишнія подробности).

Но если Аристотель одностороннимъ образомъ объясняетъ стремленіе человѣка къ подражанію и происхожденіе искусства, то нельзя не отдать ему полной справедливости за то, что онъ старается отыскать для искусства высокое значеніе въ области умственной дѣятельности; и если нельзя согласиться съ его мнѣніемъ объ источникѣ искусства вообще, то нельзя безъ удивленія видѣть, какъ вѣрно опредѣляетъ онъ отношеніе поэзіи къ философіи: поэзія, изображающая человѣческую жизнь съ общей точки зрѣнія, представляющая не случайныя и ничтожныя мелочи ея, а то, что есть въ жизни существеннаго и характеристическаго, чрезвычайно много имѣетъ, какъ думаетъ Аристотель, философскаго достоинства. Она въ этомъ отношеніи даже гораздо выше, по его мнѣнію, нежели исторія, которая безъ разбора должна описывать и важное и неважное, и существенное, характеристическое, и случайныя, неимѣющіе никакого внутренняго значенія факты; поэзія гораздо выше исторіи также и потому, что представляетъ все во внутренней связи, между тѣмъ, какъ исторія безъ всякой внутренней связи, по хронологическому порядку рассказываетъ разнородныя факты, неимѣющіе между собою ничего общаго. Въ поэтической картинѣ смыслъ и связь; въ исторіи множество неговорящихъ ничего нужнаго подробностей, и нѣтъ связи; она даетъ не картины, а только отрывки картинъ. Вотъ это глубокомысленное и знаменитое мѣсто, въ переводѣ г. Ордынскаго, выписку изъ котораго дѣлаемъ для того, чтобы познакомить читателей съ его языкомъ:

«Дѣло поэта—излагать не столько случающееся, сколько то, что могло бы случиться, т. е. возможное по вѣроятію или по необходимости. *(Мысль, доселѣ служащая основаніемъ нашимъ понятіямъ о томъ, какъ долженъ поэтъ пользоваться матеріалами, доставляемыми ему действительностью, что изъ нихъ долженъ онъ брать для своихъ картинъ, и что долженъ отбрасывать).* Историкъ и поэтъ не тѣмъ различаются, что говорятъ одинъ мѣрною рѣчью, другой немѣрною: вѣдь сочиненіе Геродота можно было бы переложить въ метры, и все-таки въ метрахъ, какъ и безъ всякихъ метровъ, была бы это исторія. Различаются они тѣмъ, что одинъ излагаетъ случившееся, а другой, что можетъ случиться. Поэтому поэзія глубже и значительнѣе исторіи. Поэзія излагаетъ болѣе общее, исторія—частное. Общее есть: такому то лицу, что при-

лично говорить, либо дѣлать по вѣроятію, либо необходимости? Этого достигаетъ поэзія, изобрѣтая имена? Частное есть: что сдѣлалъ Алкивіадъ, или что съ нимъ случилось? На комедіи это очевидно: комики, составляя вымыселъ изъ вѣроятныхъ событій, даютъ имена произвольныя, а не занимаются... частностями. Что касается трагедій... въ нѣкоторыхъ одно или два имени извѣстныхъ, прочія вымышлены; въ иныхъ ни одного извѣстнаго, какъ въ «Цвѣтѣ» Агафона: въ немъ и дѣйствія, и имена равно вымышлены, и тѣмъ не менѣе онъ нравится».

Ученый отдаетъ искусству справедливость до такой степени, что ставитъ его выше науки (правда, не своей специальной науки). Явленіе замѣчательное... Но мнѣніе Аристотеля объ исторіи требуетъ объясненія: оно приложимо только къ тому виду исторіи, который былъ извѣстенъ въ его время—это была не собственно исторія, а лѣтопись. У Геродота дѣйствительно нѣтъ никакой внутренней связи: всѣ девять книгъ его «Исторій» наполнены эпизодами; онъ хочетъ собственно писать исторію «войны персовъ съ греками»—и успѣваетъ начать рассказъ о ней только въ шестой книгѣ. Ему хочется поговорить обо всемъ, что только ему извѣстно изъ исторіи и нравовъ знакомыхъ ему народовъ. Его методъ таковъ: персы воевали съ египтянами: поговоримъ о египтянахъ—и слѣдуетъ цѣлая книга о Египтѣ же; воевали они также со скиѣами: поговоримъ о скиѣахъ—и слѣдуетъ цѣлая книга о скиѣахъ и Скиѣи. Въ каждомъ эпизодѣ у него опять новые эпизоды, вилетенные почти такъ: у египтянъ главный городъ Мемфисъ—описаніе Мемфиса; а также былъ въ Мемфисѣ—описаніе того, что онъ видѣлъ въ Мемфисѣ; между прочимъ, былъ я тамъ въ одномъ храмѣ—описаніе храма; въ этомъ храмѣ видѣлъ я жреца—описаніе жреца и его одежды; жрецъ этотъ говорилъ со мною о томъ то—рассказывается, что говорилъ ему жрецъ; но другіе говорятъ объ этомъ не такъ—рассказывается, какъ говорятъ объ этомъ другіе, и т. д. и т. д. Геродотъ рассказчикъ, бывалый человѣкъ, и его исторія похожа на простодушныя, интересныя, но безсвязныя рассказы всѣхъ бывалыхъ людей. Фукидидъ—чисто-лѣтописецъ, правда ученый и глубоко-мысленный, но располагающій свою «Исторію Пелопоннесской войны» такимъ образомъ: въ шестую зиму войны произошло въ Атикѣ вотъ что; въ эту же зиму въ Пелопоннесѣ произошло вотъ что; въ то же время на Корцирѣ произошло вотъ что; во Эракии произошло тогда же вотъ что; на Лесбосѣ—вотъ что и т. д. Въ слѣдующее за тѣмъ лѣто произошло въ Атикѣ то-то и то-то, въ Пелопоннесѣ

то-то и то-то и т. д. У Эукидида еще меньше внутренней связи между рассказами, нежели у Геродота; даже ни одно событие не рассказано за одинъ разъ: начало, середина и конецъ его разбросаны въ разныхъ книгахъ по «зимамъ» и «лѣтамъ». Очень понятно, какъ много мелочнаго и рѣшительно ненужнаго для характеристики главнаго событія и главныхъ дѣятелей находится въ подобныхъ «исторіяхъ». Форму науки исторія приняла только въ наше время; у новѣйшихъ великихъ историковъ всегда господствуетъ строгое единство; у нихъ не найдется ненужныхъ мелочей, приводятся факты и черты, только «имѣющія общее значеніе», котораго требуетъ Аристотель, то-есть только необходимыя для характеристики вѣка и людей.

Эти выписки достаточно показываютъ проницательность и многосторонность аристотелева ума; но, при всей своей геніальности, часто онъ впадаетъ въ мелочность отъ всегдашняго своего стремленія найти глубокое философское объясненіе не только главнымъ явленіямъ, но и всѣмъ ихъ подробностямъ. Это стремленіе, выразившееся въ аксіомѣ одного новѣйшаго философа, соперника аристотелева: «все дѣйствительное разумно и все разумное дѣйствительно», часто заставляло обоихъ мыслителей придавать важное значеніе мелочнымъ фактамъ только потому, что эти факты хорошо подходили подъ ихъ систему. Превосходный примѣръ этого представляетъ выписанное нами мѣсто изъ Аристотеля. Совершенно справедливо опредѣляя, что поэзія изображаетъ не мелочи, а общее, характеристическое, въ чемъ находитъ Аристотель подтвержденіе своего понятія?—въ томъ, что комики всегда, а трагики иногда, даютъ характеристическія имена дѣйствующимъ лицамъ, т. е. и въ оставленномъ нынѣ обыкновеніи выводить на сцену Вороватиныхъ, Правдинныхъ, Прямосудовыхъ, Коршуновыхъ, Разлюмиевыхъ (весельчаки), Бородкиныхъ (живущіе по старымъ обычаямъ), Стародумовъ и т. д.

На нѣсколькихъ страницахъ излагаемъ мы мнѣнія Платона и Аристотеля о «подражательныхъ искусствахъ», нѣсколько десятковъ разъ пришлось намъ употребить слово «подражаніе» и однако до сихъ поръ еще ни разу не встрѣтили читатели обычнаго выраженія «подражаніе природѣ»—отчего это? Неужели Платонъ и, особенно, Аристотель, учитель всѣхъ Баттѣ, Буало и Гораціевъ, составляютъ сущность искусства не въ подражаніи *природѣ*, какъ

привыкли всё мы дополнять фразу, говоря о теории подражания? Действительно, и Платонъ и Аристотель, считаютъ истиннымъ содержаніемъ искусства, и въ особенности поэзіи, вовсе не природу, а *человѣческую* жизнь. Имъ принадлежитъ великая честь думать о главномъ содержаніи искусства именно то самое, что послѣ нихъ высказалъ уже только Лессингъ, и чего не могли понять всё ихъ послѣдователи. У Аристотеля въ «Поэтикѣ» нѣтъ ни слова о природѣ; онъ говоритъ о людяхъ, ихъ дѣйствіяхъ, событіяхъ съ людьми, какъ о предметахъ, которымъ подражаетъ поэзія. Дополненіе: «природѣ» могло быть принято въ поэтикахъ только тогда, когда процвѣтала вялая и фальшивая описательная поэзія (которая едва ли не грозитъ снова войти въ моду) и неразлучная съ нею дидактическая поэзія—роды, которые изгоняются Аристотелемъ изъ поэзіи. Подражаніе *природѣ* чуждо истинному поэту, главный предметъ котораго—человѣкъ. «Природа» выступаетъ на первый планъ только въ пейзажной живописи, и фраза «подражаніе *природѣ*» послышалась въ первый разъ изъ устъ живописца; но и живописецъ произнесъ ее не въ томъ смыслѣ, какой получила она у современниковъ Дезульеръ и Делила: когда Лизиппъ (разсказываетъ Плиній), еще будучи юношею, спросилъ у знаменитаго въ то время живописца Эвпомпа: кому изъ прежнихъ великихъ художниковъ надобно подражать? Эвпомпъ отвѣчалъ, указывая на толпу людей, среди которой они стояли: «не художникамъ надобно подражать, а самой природѣ». Ясно, онъ говорилъ о томъ, что живая дѣйствительность должна служить матеріаломъ и образцомъ для художника, а не о «садахъ», которые воспѣвалъ Делиль, и не объ «озерахъ», которыя описывались Уордсвортомъ и Уильсономъ съ братією.

Изъ этого можно убѣдиться, что многія возраженія, дѣлаемыя противъ теории подражания, относятся собственно не къ ней, а къ той искаженной формѣ, къ какой представляли ее теоретики псевдоклассической школы. Здѣсь не мѣсто высказывать личныя убѣжденія, и потому не будемъ доказывать, что по нашему мнѣнію, называть искусство воспроизведеніемъ дѣйствительности (замѣняя современнымъ терминомъ неудачно-передающее смыслъ греческаго *mimesis* слово «подражаніе») было бы вѣрнѣе, нежели думать, что искусство осуществляетъ въ своихъ произведеніяхъ нашу идею совершенной красоты, которой будто бы нѣтъ въ дѣйствительности. Но нельзя не выставить на видъ, что напрасно думаютъ, будто бы,

поставляя верховнымъ началомъ искусства воспроизведеніе дѣйствительности, мы заставимъ его «дѣлать грубыя и пошлыя копии и изгоняемъ изъ искусства идеализацію». Чтобъ не вдаваться въ изложеніе мнѣній необщепринятыхъ въ нынѣшней теоріи, не будемъ говорить о томъ, что единственная необходимая идеализація должна состоять въ исключеніи изъ поэтического произведенія ненужныхъ для полноты картины подробностей, каковы бы ни были эти подробности; что если понимать подъ идеализаціею безусловное «облагороженіе» изображаемыхъ предметовъ и характеровъ, то она будетъ равняться чопорности, надутости, фальшивому драматизированью. Но вотъ выписка изъ аристотелевой «Піитики», доказывающая, что идеализація, даже въ послѣднемъ смыслѣ, очень хорошо можетъ входить въ систему эстетики, признающую основнымъ началомъ поэзіи подражаніе или воспроизведеніе:

«Такъ какъ трагедія есть подражаніе лучшимъ (*воспроизводитъ дѣйствія и приключенія людей съ великими, а не мелочными характеристиками, сказали бы мы теперь; но Аристотель говоритъ, увлекаясь Эсхиломъ и Софокломъ: людей, лучшихъ, нежели обыкновенные люди*), то должны (*трагики*) подражать хорошимъ портретистамъ: они, передавая кого нибудь въ настоящемъ видѣ, дѣлаютъ портретъ похожимъ и вмѣстѣ красивѣе. Такъ и поэту, когда онъ подражаетъ сердитымъ, лѣнивымъ и другіе недостатки въ характерѣ имѣющимъ (*т. е. воспроизводитъ ихъ характеры*), слѣдуетъ таковыхъ облагораживать».

«Распалась поэзія на два рода (говоритъ далѣе Аристотель), по характеру поэтовъ: люди солидные описывали высокія дѣла возвышенныхъ по характеру людей, и сначала писали гимны, потомъ трагедіи; люди легкомысленные описывали людей «низкихъ: они сочиняли сначала ямбы (сатиры), потомъ комедіи». Опять какая односторонности! Платону было простительно, говоря объ отсутствіи серьезнаго нравственнаго значенія въ произведеніяхъ искусства, не упомянуть намъ о прекрасномъ исключеніи, о комедіяхъ Аристофана—вражда Аристофана противъ Сократа извиняла молчаніе преданнаго ученика сократова. Но Аристотель, немогшій имѣть никакого горькаго воспоминанія противъ Аристофана, также не хочетъ замѣчать высокаго значенія комедіи.

Мысль, что «искусство состоитъ въ подражаніи» живой дѣйствительности, и преимущественно воспроизводитъ человѣческую

жизнь, безпрекословно считалась справедливою въ древней Греціи. Платонъ и Аристотель одинаково полагали ее въ основаніе своихъ эстетическихъ понятій; они до того были увѣрены, какъ и всѣ ихъ современники, въ неоспоримой истинѣ этого начала, что вездѣ высказываютъ его, какъ аксіому, не думая доказывать его. На чемъ же основано, что именемъ «платоновой» называютъ совершенно другую теорію искусства, рѣшительно противоположную излагаемой Платономъ—теорію, объясняющую начало искусства такъ: «идея прекраснаго, присущая духу человѣческому, не находя себѣ соотвѣтствія и удовлетворенія въ дѣйствительномъ мірѣ, заставляетъ человѣка создавать искусство, въ которомъ находитъ она себѣ полное осуществленіе»? И кто изъ мыслителей, въ самомъ дѣлѣ, первый высказалъ начала такой теоріи?

Въ первый разъ «идеальное начало» искусства было высказано Платиномъ, однимъ изъ тѣхъ туманныхъ мыслителей, которые называются неоплатониками. У нихъ нѣтъ ничего простаго, яснаго—все таинственно, невыразимо; у нихъ нѣтъ ничего положительнаго, дѣйствительнаго—все заоблачно и мечтательно; всѣ ихъ понятія... но мы ошибаемся: у нихъ нѣтъ понятій, потому что понятіе есть нѣчто опредѣлительное, доступное простому уму; у нихъ какія то грезы, которымъ нѣтъ нигдѣ соотвѣствующихъ предметовъ, которыя постигаются только въ состояніи экстаза, когда, посредствомъ искусственнаго образа жизни, неестественнаго напряженія ума, человѣкъ погружается въ таинственный міръ, недоступный никакимъ чувствамъ. Грезы эти величественны, но величественны только для освободившейся отъ власти разсудка фантазіи; малѣйшее прикосновеніе положительной, ясной мысли уничтожаетъ ихъ. Неоплатоники—люди, хотѣвшіе соединить древнюю греческую философію съ таинственными азіатскими философами, придать мечтамъ распаленной египетской и индійской фантазіи форму науки; изъ этого соединенія образовалось у нихъ нѣчто еще болѣе странное и фантастическое, нежели самыя индійскія и египетскія мудрованія. Мысль, возникшая на такой заоблачной почвѣ, едва ли можетъ надолго овладѣть положительными и свѣтлыми понятіями народовъ, у которыхъ есть опытная наука, все подвергающая анализу. Но здѣсь не мѣсто излагать наши понятія объ «идеальномъ началѣ» искусства: довольно и того, что мы сказали, какъ странный источникъ, изъ котораго взято оно. Излагать идеи Платина о сущности

прекраснаго мы также не будемъ, отчасти ужъ и потому что излагать ихъ значило бы почти то же самое, что излагать господствующія нынѣ эстетическія начала. Впрочемъ, едва ли справедливо называемъ мы «современными» мнѣніе объ идеальномъ началѣ искусства: та система понятій, которой онѣ принадлежали, уже оставлена всѣми; она имѣла только переходное значеніе и нынѣ забыта вмѣстѣ съ романтизмомъ, своимъ порожденіемъ. И если эстетическія понятія, разнесенныя по свѣту Шлегелями и ихъ сподвижниками, принятыя потомъ и ихъ противниками, еще не замѣнились въ новѣйшихъ эстетикахъ другими понятіями, то это единственно потому, что нынѣшняя наука, обращенная на другіе вопросы, едва касалась эстетическихъ.

Неоплатоники передѣляли платонову философію на египетскій ладъ; но, будучи совершенно различно отъ платоновой философіи по своей сущности, ученіе ихъ сохранило черты наружнаго сходства съ нею. Вотъ причина, по которой Платону было приписано многое, вовсе ему непринадлежащее, въ томъ числѣ и ученіе объ идеальномъ началѣ искусства. Его понятія о красотѣ, подъ вліяніемъ системы неоплатониковъ, были смѣшаны съ понятіями его объ искусствѣ, между тѣмъ, какъ красоту видитъ онъ въ живой дѣйствительности, еще высшую красоту находитъ въ идеяхъ и поступкахъ мудреца; изъ послѣдняго очевидно, что его «прекрасное» вообще то, что мы въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ называемъ «прекраснымъ» (добродѣтель прекрасна; патриотизмъ—прекрасное чувство; прекрасно имѣть благородный образъ мыслей; цвѣтущій садъ прекрасенъ и т. д.), а не то «прекрасное», о которомъ говоритъ эстетика и которое состоитъ въ совершенствѣ матеріальной формы, вполне проявляющей свое внутреннее содержаніе.

Но возвратимся къ Аристотелю и его «Поэтикѣ». Въ ней, кромѣ изложеннаго нами ученія о происхожденіи искусства вообще, отъ котораго послѣпно переходитъ онъ къ спеціальному вопросу о трагедіи, мы находимъ еще довольно много мнѣній, имѣющихъ интересъ и для нашего времени. Скажемъ нѣсколько словъ о нихъ. Мнѣній же прилагающихся только къ греческой поэзіи, имѣющихъ теперь только историческое значеніе, мы не должны касаться по нашему плану; точно также должны мы пройти молчаніемъ множество прекрасныхъ мыслей о сущности драматической поэзіи по-

тому что нынѣ ихъ справедливость извѣстна всѣмъ; и если нынѣшніе драматурги не всегда съ ними соображаются въ своихъ произведеніяхъ, то единственно по недостатку силъ, или искусства: такова, напримѣръ, мысль о томъ, что въ драмѣ (Аристотель говорить это о трагедіи) самое существенное—дѣйствіе, при недостаткѣ котораго пьеса непременно будетъ слаба, какъ бы ни велики были другія ея достоинства; требованіе, чтобъ въ пьесѣ господствовало строжайшее единство дѣйствія (считаемъ излишнимъ повторять давно всѣми высказываемую мысль, что, кромѣ единства дѣйствія, Аристотель не требуетъ никакихъ другихъ единствъ), и т. д.

Очень часто случается слышать мнѣніе, что событія изъ дѣйствительной жизни именно такъ, какъ случились, не должны быть изображаемы въ поэзи; что, напримѣръ, историческій романъ долженъ непременно передѣлывать историческія событія по требованіямъ искусства, «потому что историческій фактъ, въ своей наготѣ, не имѣетъ никогда достаточнаго внутренняго единства и сдѣленія между частями» — Аристотель приходитъ къ этому вопросу по поводу историческихъ трагедій, и рѣшаетъ его такъ: для поэзи необходимо, чтобъ подробности дѣйствія вытекали необходимо одна изъ другой, и чтобъ ихъ сдѣленіе было правдоподобно; нѣкоторымъ изъ дѣйствительно случившихся событій ничто не препятствуетъ удовлетворять этому требованію: все въ нихъ развилось по необходимости, и все правдоподобно — почему же не брать ихъ поэту въ ихъ истинномъ видѣ? Къ чему же, послѣ этого, служить всѣ эти вымышленные герои, заслоняющіе настоящихъ героевъ и введенные только затѣмъ, чтобъ своими выдуманнѣйшими приключеніями «придать поэтическое единство» изображенію эпохи, какъ будто нельзя было найти истинно поэтическихъ событій въ жизни настоящихъ героевъ романа? Но мода на историческіе романы прошла, и потому обратимъ наше замѣчаніе на рассказы и драмы изъ современнаго быта: къ чему это безцеремонное драматизированье дѣйствительныхъ событій, которое такъ часто встрѣчается въ романахъ и повѣстяхъ? Выберите связанное и правдоподобное событіе и расскажите его такъ, какъ оно было на самомъ дѣлѣ: если вашъ выборъ будетъ не дуренъ (а это такъ легко!), то ваша передѣланная изъ дѣйствительности повѣсть будетъ лучше всякой передѣланной «по требованіямъ искусства», т. е., обыкновенно—по требованіямъ литературной эффектности. Но въ чемъ же тогда

выкажется ваше «творчество»?—въ томъ, что вы съумѣете отдѣлить нужное отъ ненужнаго, принадлежащее къ сущности событія отъ посторонняго.

Фальшивое понятіе о необходимой связи между развязкою и завязкою, было источникомъ ложнаго понятія о сущности трагическаго въ нынѣшней эстетикѣ. Трагическое событіе обыкновенно представляютъ происходящимъ подъ вліяніемъ какой то особенной «трагической судьбы», по которой сокрушается все великое и прекрасное. Аристотель, которому понятіе «рока» было гораздо ближе, нежели намъ, ничего не говоритъ о внимательствѣ судьбы въ участіе героевъ трагедіи. Но герои трагическіе обыкновенно погибаютъ? Это очень просто объясняется у него тѣмъ, что трагедія имѣетъ цѣлью возбудить чувства ужаса и состраданія; а если развязка будетъ счастлива, то это впечатлѣніе будетъ сглажено ею, хотя бы и было пробуждено предъидущими сценами. Вы возразите, что лица, погибающія въ концѣ, представляются въ началѣ трагедіи мощными, счастливыми и т. д.? Это также просто объясняется у Аристотеля тѣмъ, что контрастъ поражаетъ сильнѣе однообразности: увидѣвъ здороваго—мертвымъ, счастливаго—погибающимъ, зрители сильнѣе проникаются ужасомъ и состраданіемъ, нежели тогда, когда этого контраста недостаетъ. И Аристотель совершенно справедливъ, не вводя «судьбы» въ понятіе трагическаго: эта внѣшняя, посторонняя сила только ослабляетъ внутреннюю связь событій, придавая имъ направленіе, не вытекающее изъ сущности дѣйствія—вотъ эстетическій вредъ «судьбы» въ трагедіи. Поэзія должна изображать человѣческую жизнь—пусть же она не искажаетъ ея картинъ посторонними примѣсами.

Наконецъ, послѣднее замѣчаніе: главнѣйшую разницу между гомеровыми эпопеями и позднѣйшими трагедіями Аристотель поставляетъ только въ томъ, что «Иліада» и «Одиссея» гораздо длиннѣе трагедій и не имѣютъ такого строгаго единства дѣйствія, какое необходимо для трагедій: эпизоды въ трагедіяхъ неумѣстны, въ эпопее не вредятъ красотѣ цѣлаго. Но различія по направленію, по духу, по характеру содержанія, между трагедіями и гомеровыми поэмами, Аристотель не замѣчаетъ никакого (различіе въ способѣ изложенія, конечно, онъ видитъ очень хорошо). Напротивъ, онъ очевидно предполагаетъ существенную тождественность эпического и трагическаго содержанія, говоря, что изъ «Иліады» или «Одис-

сеи» можно сдѣлать по нѣскольку трагедій. Надобно ли считать недосмотромъ Аристотеля несогласіе его въ этомъ случаѣ съ новѣйшими эстетиками, полагающими существенное различіе между содержаніемъ эпическимъ и драматическимъ? Можетъ быть; но скорѣе можно думать, что наши эстетики полагають слишкомъ глубокое различіе, по содержанію, между эпическою и драматическою поэзію, которыя у грековъ, очевидно, различались одна отъ другой болѣе формою, нежели содержаніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, безпристрастно подумавъ объ этомъ вопросѣ (а наши эстетики явно пристрастны къ драматической формѣ, «высочайшей формѣ поэзіи»), едва ли не должно будетъ заключить, что если многіе сюжеты повѣстей и романовъ негодятся для драмы, то едва ли есть драматическое произведеніе, сюжетъ котораго не могъ бы такъ же хорошо (или еще лучше) быть рассказанъ въ эпической формѣ. Да и то, что нѣкоторыя повѣсти и романы (очень хорошія, но мало заключающія въ себѣ дѣйствія и много лишннихъ эпизодовъ и разглагольствованій, чего, конечно, нельзя считать достоинствомъ и въ эпическомъ произведеніи) не могли быть обращены въ сносныя пьесы, не происходитъ ли главнымъ образомъ оттого, что скука—очень сносная, и отчасти даже пріятная наединѣ, въ удобные для этого часы, становится несносною, когда усиливается скукою тысячи скучающихъ, подобно вамъ, въ душевной атмосферѣ театра? Если присоединить къ этому десятки другихъ обстоятельствъ того же рода—напримѣръ, неудачность всѣхъ арранжировокъ вообще, упущеніе изъ виду, со стороны повѣствователя, всѣхъ сценическихъ условій, стѣснительность самой драматической формы—то увидимъ, что негодность для сцены многихъ пьесъ, передѣланныхъ изъ повѣстей, достаточно объясняется и безъ предположенія существеннаго различія между эпическимъ и драматическимъ сюжетомъ.

Къ «последнему» замѣчанію позволяемъ себѣ прибавить еще одно, уже рѣшительно последнее. Аристотель ставитъ трагиковъ выше Гомера и, признавая при всякомъ случаѣ всевозможныя достоинства въ его поэмахъ, находитъ, однако, что трагедіи Софокла и Эврипида несравненно художественнѣе ихъ по формѣ (и глубже по содержанію, могъ бы онъ прибавить). Не слѣдуетъ ли и намъ, по его прекрасному примѣру, безъ ложнаго подобострастія смотрѣть на Шекспира? Лессингу было натурально ставить его выше всѣхъ поэтовъ, существовавшихъ на землѣ, и признавать его трагедіи

геркулесовыми столбами искусства. Но теперь, когда мы имѣемъ самого Лессинга, Гете, Шиллера, Байрона, когда прошли причины возставать противъ слишкомъ усердныхъ подражателей французскимъ писателямъ, стало, можетъ быть, уже не столь естественно отдавать Шекспиру безконтрольную власть надъ нашими эстетическими убѣжденіями, и, кстати и некстати, приводить въ примѣръ всего прекраснаго его трагедіи, находя въ нихъ все прекраснымъ. Вѣдь Гете признаетъ же «Гамлета» нуждающимся въ передѣлкѣ? И, можетъ быть, Шиллеръ не выказалъ неразборчивости вкуса, передѣлавъ, наравнѣ съ шекспировымъ «Макбетомъ», и расинову «Федру». Мы безпристрастны къ давно прошедшему: зачѣмъ же такъ долго медлить признавать и недавно прошедшее вѣкомъ вышшаго, нежели прежде, развитія поэзіи? Развѣ ея развитіе не идетъ рядомъ съ развитіемъ образованности и жизни?

Мы старались показать, что, не смотря на односторонность нѣкоторыхъ положеній, мелочность многихъ фактовъ и выводовъ, и главнѣйшій недостатокъ — преобладаніе формализма надъ живымъ ученіемъ о прекрасномъ въ поэзіи, какъ слѣдствіи развитаго наукою таланта и благороднаго образа мыслей (требованія, гораздо сильнѣе высказанныя у Платона, нежели у Аристотеля)—что не смотря на всѣ эти недостатки, сочиненіе Аристотеля «О поэтическомъ искусствѣ» *) имѣетъ еще много живаго значенія и для современной теоріи, и достойно было служить основаніемъ для всѣхъ послѣдующихъ эстетическихъ понятій до Вольфа и Баумгартена, или даже до Лессинга и Канта (теоріи Гогарта, Борка и Дидро не имѣли большаго значенія, встрѣтивъ мало сочувствія). Изъ этого очевидно, какъ прекрасно сдѣлалъ г. Ордынскій, рѣшившись усвоить русской литературѣ столь важное для науки сочиненіе. Дѣйствительно, едва ли можно было сдѣлать выборъ, болѣе счастливый. Точно такъ же вѣрнѣе было такъ, руководившій г. Ордынскаго и при выборѣ предметовъ для прежнихъ сочиненій: о «Характерахъ Теофраста», «О комедіяхъ Аристофана»; точно такъ же прекрасно было и намѣреніе его перевести Гомера прозою—мысль чрезвычайно вѣрная въ своемъ основаніи, потому что самыя лучшіе русскіе гекзаметры —

*) Переводъ заглавія аристотелевой книги περί ποιητικῆς «О поэтическомъ искусствѣ» подразумѣвая τέχνη (сравн. заглавіе τέχνη ῥητορικῆ) мы считаемъ болѣе вѣрнымъ, нежели предлагаемый г. Ордынскимъ: «О поэзіи».

одежда все еще слишком тяжелая и запутанная для Гомера, дѣтски простаго душою. Надобно отдать полную справедливость и добросовѣстности, съ которою занимался онъ каждымъ своимъ трудомъ. Такъ и въ новомъ его разсужденіи нельзя не видѣть труда, чрезвычайнаго добросовѣстно исполненнаго. Г. Ордынскій изслѣдовалъ текстъ аристотелевой «Піитики» съ примѣрною аккуратностью; воспользовался трудами всѣхъ лучшихъ издателей и комментаторовъ, съ истинною ученою скромностью указывая всегда, откуда что почерпнулъ; переводъ текста сдѣланъ не на-скоро, не кое-какъ: г. Ордынскій взвѣшивалъ каждое слово, обсуживалъ каждое выраженіе. Однимъ словомъ: переводъ и комментарий г. Ордынского удовлетворяютъ большей части условій, отъ которыхъ зависитъ достоинство труда. А между тѣмъ нельзя не предвидѣть, что его переводъ «Піитики» найдетъ себѣ довольно мало сочувствія даже въ той немногочисленной части публики, которая специально интересуется классическою литературою; другихъ читателей онъ рѣшительно оттолкнетъ. Да и комментарий г. Ордынского, составленный съ большимъ знаніемъ дѣла и вниманіемъ, едва ли принесетъ много пользы русскимъ читателямъ. Переводъ г. Ордынского очень тяжелъ и теменъ, а комментарий написанъ почти только въ доказательство личныхъ мнѣній переводчика, утверждающаго, что аристотелева книга «О поэтическомъ искусствѣ» дошла до насъ *вполнѣ*, а не въ отрывочномъ извлеченіи, какъ думаютъ обыкновенно, и что текстъ этого сочиненія, или извлеченія, не испорченъ и не нуждается въ исправленіи. Къ изложенію этого вопроса мы теперь и должны приступить.

Нуждается ли въ исправленіи текстъ аристотелевой «Піитики»? Въ какой степени испорченъ текстъ аристотелевыхъ сочиненій—очень хорошо показываетъ даже не филологу судьба ихъ до того времени, когда они стали общеизвѣстными, что случилось ужъ черезъ два съ половиною вѣка послѣ смерти Аристотеля. Эта исторія довольно занимательна, и потому перескажемъ ее въ нѣсколькихъ словахъ. Аристотель самъ при жизни не обнародовалъ своихъ сочиненій; по смерти его они перешли въ руки его ученика Теофраста, который также не обнародовалъ ихъ, можетъ быть, потому, что Аристотель, подобно Анаксагору, подвергся подъ конецъ жизни сильнымъ гоненіямъ за то, что отвергалъ многобожіе; думаютъ даже, что онъ этими преслѣдованіями принужденъ былъ отравить себя.

Умирая, Теофрастъ передалъ ихъ Нелею Скепсійскому вмѣстѣ съ книгами аристотелевой библіотеки. Нелей продалъ аристотелеву библіотеку египетскому царю Птоломею Филадельфу, но съ самыми сочиненіями Аристотеля не рѣшился разстаться: они остались у Нелея. Наслѣдники Нелея были невѣжды, вовсе недумавшіе пользоваться Аристотелемъ; но они слышали отъ Нелея, что книги эти чрезвычайно драгоцѣнны; живя въ пергамскихъ владѣніяхъ, они опасались, чтобъ цари пергамскіе, соперничествовавшіе съ Птоломеями въ заведеніи у себя такой же огромной и полной библіотеки, какъ александрійская, и повсюду отыскивавшіе книгъ, не взяли у нихъ даромъ, или за ничтожное вознагражденіе, этой драгоцѣнности; надобно было утаить ее—и они спрятали аристотелевы сочиненія въ погребъ. Долго скрывались они тамъ. Наконецъ одинъ богатый аѳинскій библіофилъ, Апелликонъ Теосскій, узналъ случайнымъ образомъ, гдѣ аристотелевы сочиненія, и за большую цѣну купилъ ихъ. Это было уже во времена Митридата Великаго: слѣдовательно, въ сыромъ погребѣ онѣ должны были пролежать лѣтъ сто или полтораста, если даже не болѣе. Апелликонъ нашелъ ихъ испортившимися отъ сырости погреба; кромѣ того, они были источены червями. Какъ велика должна была быть порча, можно вообразить, припомнивъ, сколько времени они подвергались ей. Привезши ихъ въ Аѳины, онъ велѣлъ ихъ переписать, *дополняя* по догадкамъ мѣста, испортившіяся отъ сырости и червей. По завоеваніи Аѳинъ Силлою апелликонова библіотека была взята побѣдителемъ и перевезена въ Римъ. Жившій въ Римѣ ученый грекъ Тиранніонъ получилъ отъ Силлы позволеніе пользоваться его библіотекою, и, нашедши тамъ аристотелевы сочиненія, сдѣлалъ съ нихъ нѣсколько списковъ, которые доставилъ, между прочимъ, Цицерону, Лукуллу и Андронику Теосскому. Андроникъ употребилъ все стараніе, чтобъ привести въ порядокъ доставшійся ему списокъ: разбралъ книги по содержанію, снова исправилъ текстъ, и въ его редакціи аристотелевы сочиненія распространились между учеными. Надобно думать, что Апелликону достались вмѣстѣ съ оконченными сочиненіями и неоконченныя; по всей вѣроятности, было у Аристотеля и по нѣскольку различныхъ списковъ одного сочиненія въ различныхъ передѣлкахъ; вѣроятно, были въ томъ числѣ извлеченія, черновыя бумаги и т. д. Одно изъ такихъ извлеченій, или черновыхъ эскизовъ, по всей вѣроятности—и «Піитика», дошедшая

до насъ. Этотъ разсказъ нѣкоторые ученые старались опровергнуть; но ихъ возраженія слабы, и онъ остается достовѣрнымъ. Итакъ, въ безпорядкѣ оставшіяся сочиненія Аристотеля, полусгнившія и источенныя червями, были два раза дополняемы и исправляемы. Можетъ ли послѣ этого подлежать сомнѣнію, что текстъ ихъ очень нуждается въ очищеніи и критическомъ исправленіи?

Дѣйствительно, аристотелевы сочиненія дошли до насъ въ чрезвычайно безпорядочномъ видѣ. Множество изъ нихъ погибло; другія неудачно составлены изъ безпорядочно собранныхъ частей, съ примѣсъ писанныхъ на-черно эскизовъ, неоконченныхъ отрывковъ, извлеченій, подложныхъ отрывковъ. Чтобы указать на разительный примѣръ, напомнимъ о характерѣ сборника, называющагося «Аристотелевой Метафизикой» и состоящаго изъ 14 книгъ. 2-я и 3-я изъ нихъ, по всей вѣроятности, не принадлежатъ Аристотелю; 1-я, если и принадлежитъ ему, то не имѣетъ ничего общаго съ остальными. «Метафизика» начинается собственно только съ 4-й книги. 5-я также должна была составлять особенное сочиненіе и ошибочно введена въ составъ «Метафизики». За 4-ю по внутренней связи непосредственно должна слѣдовать 6-я. 10-я — повтореніе 4-ой и 5-ой; это или извлеченіе, сдѣланное какимъ-нибудь читателемъ, или черновая рукопись, изъ которой произошли потомъ 4-ая и 5-ая книги; 11-ая и 12-ая заключаютъ въ себѣ много извлеченій изъ Аристотеля, съ прибавленіемъ чуждыхъ ему мыслей — онѣ также сборникъ, сдѣланный однимъ изъ читателей. Итакъ, изъ 14 книгъ «Метафизики», собственно принадлежатъ Аристотелю и составляютъ связанное сочиненіе только 4, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 книги; остальные — или составлены изъ черновыхъ бумагъ, или извлеченія и компиляціи, составленные изъ аристотелевыхъ сочиненій другими учеными, и не должны входить въ составъ аристотелевой «Метафизики». Многія изъ такъ называемыхъ «аристотелевыхъ сочиненій» рѣшительно во всемъ своемъ составѣ только извлеченія, сдѣланныя другими философами изъ его сочиненій; такъ, напримѣръ, «Большая Этика» — извлеченіе изъ его «Этики для Никомаха»; «О мнѣніяхъ Ксенофана, Зенона и Горгія» — собраніе отрывковъ, въ которыхъ именно о Ксенофанѣ и не говорится; «О направленіяхъ и именахъ вѣтровъ» — отрывокъ изъ его сочиненія «О признакахъ бурь»; «Проблемы» — позднѣйшее извлеченіе изъ различныхъ его сочиненій; «Исторія животныхъ» въ 9 или 10 книгахъ

(подлинность одной подлежить сомнѣнію) — отрывокъ изъ сочиненія, имѣвшаго по крайней мѣрѣ 50 книгъ; однимъ словомъ, половина, если не больше, аристотелевыхъ сочиненій, уцѣлѣвшихъ отъ гибели, дошла до насъ не въ полномъ и не въ настоящемъ своемъ видѣ.

Поэтому нисколько не удивительно, если мы должны будемъ и «Піитику» Аристотеля признать отрывочнымъ сокращеніемъ, или черновымъ эскизомъ, въ которомъ текстъ довольно сильно искаженъ. Не будемъ пускаться въ мелкія доказательства испорченности и неполноты текста; они встрѣчаются на каждомъ шагѣ: грамматическія ошибки, недомолвки, безсвязность въ сочетаніи предложеній попадаютъ на каждой почти строкѣ; безпрестанно встрѣчаются такія мѣста: «мы здѣсь должны рассмотретьъ четыре случая», и рассматриваются только два или три изъ обѣщанныхъ четырехъ; такая критика, очень убѣдительная для филолога, была бы непонятна безъ длинныхъ грамматическихъ объясненій. Взглянемъ только на начало и конецъ дошедшей до насъ «Піитики» — и они ужь даютъ возможность судить о ея полнотѣ. Въ самомъ началѣ своего сочиненія Аристотель говоритъ, что содержаніемъ ея будутъ: «эпоея, трагедія, комедія, диэирамбическая поэзія, авлетика и киеаристика» (различные роды лирической поэзіи съ музыкальнымъ аккомпаниментомъ), а въ дошедшемъ до насъ текстѣ говорится только о трагедіи, и очень мало объ эпоеѣ. Ясно, что до насъ дошла только часть сочиненія. И дѣйствительно, по цитатамъ изъ «Піитики» у другихъ писателей, мы знаемъ, что она состояла изъ двухъ (или даже трехъ) книгъ. Ясно, что до насъ дошла только часть первой книги, въ извлеченіи ли, сдѣланномъ другими, или въ набросанномъ на-черно эскизѣ. Оканчивается дошедшій до насъ текстъ предложеніемъ, въ которомъ стоитъ союзъ *μεν*, необходимо требующій соотвѣтствующаго послѣдующаго предложенія съ союзомъ *δέ*. Чтобъ дать понятіе о необходимости этого дополненія въ греческомъ языкѣ и незнающимъ греческаго языка читателямъ, скажемъ, что соотвѣтствіе союзовъ *μεν* и *δέ* можно уподобить соотвѣтствію словъ «съ одной стороны», «съ другой стороны», или «хотя—однако». Вообразимъ себѣ, что текстъ русской книги оканчивается такими словами: «вотъ что съ одной стороны надобно сказать о трагедіи»... не ясно ли, что текстъ этой книги остался безъ конца, и ближайшимъ продолженіемъ должны

были быть слова: «а съ другой стороны»... Подобнымъ образомъ оканчивается дошедшій до насъ греческій текстъ аристотелевой «Піитики» *): ясно, что здѣсь оканчивается только одно отдѣленіе книги, и дальше слѣдовало другое отдѣленіе о другомъ родѣ поэзи—вѣроятно, о комедіи.

Итакъ, основная мысль разсужденія г. Ордынскаго: «Піитика Аристотеля дошла до насъ вполне и текстъ ея не нуждается въ исправленіи» едва ли можетъ быть признана правдоподобною, а въ доказательство ея написанъ весь комментарий. Поэтому пользоваться имъ будетъ неудобно.

Точно также и его переводъ аристотелева текста, вѣроятно, принесъ бы гораздо больше пользы, еслибъ не отличался столь же сильнымъ стремленіемъ къ оригинальности въ языкѣ, какъ отличается его комментарий стремленіемъ къ оригинальности въ мнѣніяхъ. Изъ небольшихъ выписокъ, нами приведенныхъ, читатели, конечно, замѣтили, что г. Ордынскій перевелъ Аристотеля языкомъ очень тяжелымъ и темнымъ. Мы не говоримъ чтобъ аристотелеву «Піитику» прочла вся русская публика, какъ бы ни былъ изыщенъ и легокъ языкъ перевода; но все-таки она въ изыщномъ переводѣ нашла бы довольно много читателей; а переводъ г. Ордынскаго едва-ли привлечетъ многихъ; онъ испытаетъ участь очень дѣльныхъ переводовъ Мартынова, которые остались ни кѣмъ не читаны—именно по темнотѣ и тяжеловатости языка. Зачѣмъ же г. Ордынскій далъ намъ такой неудобочитаемый переводъ, когда въ томъ же самомъ разсужденіи слогомъ своего комментарія показываетъ онъ, что умѣетъ писать языкомъ очень понятнымъ и довольно легкимъ? Онъ говоритъ въ предисловіи, что старался перевести какъ можно ближе къ подлиннику—прекрасно! но, во-первыхъ, всему есть предѣлы, и заботиться о буквальности перевода съ ущербомъ ясности и правильности языка, значитъ вредить самой точности перевода, потому что ясное въ подлинникѣ должно быть ясно и въ переводѣ; иначе къ чему же и переводъ? Во-вторыхъ, переводъ г. Ордынскаго, правда, очень близкій, вовсе, однакожъ, не можетъ назваться подстрочнымъ: въ немъ очень часто два слова подлинника переводятся однимъ, одно—двумя словами, даже и тамъ, гдѣ можно было перевести слово въ слово. Не отступая отъ подлинника далѣе, нежели отступаетъ

*) *Περὶ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας εἰρήσθω τὸν αὐτὰ.*

г. Ордынскій, можно было дать переводъ ясный и удобочитаемый. Не слишкомъ стѣснительная близость къ подлиннику, а оригинальныя понятія г. Ордынского о русскомъ слоgѣ причиною недостатковъ его перевода. Онъ стремится къ какой то изысканной простонародности языка, умышленно не соблюдаетъ правилъ языка литературнаго, старается не употреблять словъ его, любить слова устарѣлыя или мало употребительныя. Къ чему это? Пишите, какъ всѣми принято писать; и если у васъ есть живая сила простоты и народности въ слоgѣ, то она сама-собою, безъ всякой преднамѣренной погони, придастъ вашему слогу простоту и народность. Всякое преднамѣренное стремленіе къ оригинальности имѣетъ слѣдствіемъ вычурность; и намъ кажется, что труды г. Ордынского сохраняя все свое неотъемлемое достоинство, будутъ гораздо болѣе читаемы и, слѣдовательно принесутъ гораздо болѣе пользы, если онъ откажется отъ притязаній на оригинальность языка, рѣшительно ненужныхъ для ученаго.

Конечно, мы высказываемъ эти замѣчанія только потому, что, уважая полезную дѣятельность г. Ордынского, желаемъ его трудамъ пріобрѣтать больше и больше сочувствія въ русской публикѣ. Простимся же съ нашимъ молодымъ ученымъ—конечно не надолго—съ желаніемъ, чтобъ русская литература навсегда сохранила въ немъ дѣятеля по части греческой филологіи столь же добросовѣстнаго и трудолюбиваго, какимъ былъ онъ до сихъ поръ.

ПѢСНИ РАЗНЫХЪ НАРОДОВЪ. Перевелъ Н. Бергъ. Москва. 1854.

Говорять, будто бы человѣкъ не бываетъ ничѣмъ доволенъ. Дѣйствительно, такъ иногда случается, и нельзя не сказать, что въ избитой фразѣ о ненасытности человѣка, о безграничности его требованій есть своя доля правды, какъ есть своя доля правды во всемъ, что когда нибудь было или будетъ сказано. Но гораздо болѣе справедливости въ противоположной мысли, которая слышится не столь часто: человѣкъ вообще чрезвычайно склоненъ къ самодовольству и, вслѣдствіе того, къ довольству всѣмъ, что считаетъ своимъ. Посмотрите, какъ неумѣренно каждый народъ превозноситъ свое участіе въ исторіи, какъ ставитъ онъ себя первымъ въ мірѣ народомъ! Для насъ, на примѣръ, постороннихъ, и потому до высокой степени безпристрастныхъ зрителей, забавно видѣть, какъ французы почитаютъ первую въ мірѣ литературою свою литературу, англичане свою, нѣмцы свою; мало этого, даже итальянцы до сихъ поръ продолжаютъ считать себя стоящими въ челѣ всемірнаго движенія, воображаютъ, будто бы ихъ поэты и ученые—не Данте или Аріосто, не Джордано Бруно или Галилей, нѣтъ, современные, неважные ни для кого, кромѣ самихъ итальянцевъ, поэты и ученые—первые двигатели умственнаго и нравственнаго міра. Послѣ этого легко будетъ опѣнить и степень основательности притязаній каждаго новаго поколѣнія на безусловную справедливость стремленій своего вѣка. Безпрестанно повторяется старая исторія присужденія греками награды тому человѣку, который наиболѣе содѣйствовалъ побѣдѣ надъ Ксерксомъ: когда началась балотировка, каждый изъ присутствовавшихъ клалъ въ урну свое собственное имя. Мы не говоримъ, чтобы всѣ притязанія настоящаго поколѣнія на славу были несправедливы; мы даже не хотимъ рѣшать и того, спрaве-

дивы ли притязанія нашего времени на первенство надъ всѣми предыдущими историческими эпохами, на безусловную справедливость того «духа вѣка», который вѣетъ нынѣ. Мы только хотимъ сказать, что похвала изъ собственныхъ устъ ненадежна, что самодовольство не ручается еще за справедливость и превосходство, что надобно ждать похвалы отъ другихъ, не опираясь на собственную, что истина не есть исключительная привилегія одного какого нибудь поколѣнія, и что полезнѣе подвергать строгому по возможности анализу свои понятія о «собственныхъ достоинствахъ, нежели успокаивать свое самолюбіе фразами: «мы обладатели полной, всесторонней истины; всѣ наши предшественники ошибались; мы выше и лучше всѣхъ; наши стремленія безусловно безошибочны». Любовь къ себѣ такъ сильна, что можетъ нуждаться только въ разумномъ обузданіи, а не въ безотчетныхъ подстреканіяхъ.

Одно изъ любимыхъ обвиненій со стороны нашего вѣка противъ предыдущаго — «наши отцы и дѣды мало заботились о народности». Какъ полно прилагается теперь эта мѣрка самовосхваленія, напримѣръ, къ русской литературѣ! «Элементъ народности слабъ у Карамзина и Жуковского; потому содержаніе ихъ произведеній безконечно ниже того содержанія, какое находимъ въ современной литературѣ». Быть можетъ и справедливо, что въ наше время литература развила въ себѣ содержаніе болѣе высокое и живое, нежели какое влагалось въ нее нашими отцами; не хотимъ рѣшать этого вопроса, онъ можетъ быть рѣшенъ только послѣдующими поколѣніями, и для насъ было бы горько рѣшить его отрицательно. У кого поднимается рука на то, что кажется ему своимъ? Но если трудно для насъ признаться, что мы ниже нашихъ отцовъ, что

«Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодотворной,
Ни геніемъ начатаго труда,
И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ»,

если намъ трудно отказаться отъ претензій на превосходство, то, быть можетъ, не такъ тяжело для насъ взглянуть, дѣйствительно ли наше превосходство основывается на тѣхъ стремленіяхъ, которыя считаются отличительными чертами нашего вѣка и которыми такъ гордится нашъ вѣкъ.

Исключительное развитіе племенныхъ особенностей и общечеловѣчность—противуположные элементы; стремленіе къ одному изъ нихъ необходимо обращается въ ущербъ пристрастію къ другому. Въ окончательномъ результатѣ, правда, народность развивается соразмѣрно развитію общечеловѣчности: только образованіе дастъ индивидуальности содержаніе и просторъ; варвары всѣ сходны между собою; каждая изъ высоко-образованныхъ націй отличается отъ другихъ рѣзко обрисованною индивидуальностью. Потому, заботясь о развитіи общечеловѣческихъ началъ, мы въ то же время содѣйствуемъ развитію своихъ особенныхъ качествъ, хотя бы вовсе о томъ не заботились. Исторія всѣхъ націй свидѣтельствуетъ объ этомъ. Французскій характеръ выработался только тогда, когда подъ древне-классическимъ, итальянскимъ и испанскимъ вліяніемъ развилось во Франціи общее образованіе: Рабле, Корнель и Мольеръ—чистые французы; между тѣмъ французскіе трубадуры и труверы чрезвычайно мало отличаются отъ средневѣковыхъ пѣвцовъ остальныхъ земель западной Европы. То же самое надобно сказать объ англичанахъ и нѣмцахъ: Шекспиръ явился, когда все въ Англіи заботилось о древне-классической и итальянской литературахъ; Лессингъ, Гете и Шиллеръ были воспитаны не изученіемъ средневѣковой поэзіи, а вліяніемъ древне-классической и англійской образованности и литературы. Развитіе самостоятельности идетъ вслѣдъ за образованностью. Истина, по видимому, очень простая. О ней и не говорили сто или даже шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ. И мы не знаемъ, до какой степени слѣдуетъ нашему времени гордиться тѣмъ, что стало необходимо напоминать о ней.

Совершенно къ другому результату приводитъ то, когда преимущественное вниманіе обращается на развитіе содержанія спеціально принадлежащаго тому или другому народу. Эта племенная особенность не можетъ быть понимаема иначе, какъ сумма тѣхъ особенностей, которыми извѣстная нація на извѣстной степени развитія отличается отъ остальныхъ народовъ, и преимущественно отъ образованныхъ народовъ, потому что, какъ мы говорили, необразованные народы существенно не отличаются другъ отъ друга. Заботясь о развитіи столь исключительнаго содержанія, необходимо становясь въ отталкивающее положеніе противъ общечеловѣчныхъ элементовъ; временное и случайное проявленіе становится въ этомъ случаѣ выше общаго начала, форма выше содержанія. Въмѣсто

движенія превозносится застой, вмѣсто живаго духа начинаетъ господствовать мертвая буква. Если мы захотѣли найти поразительный примѣръ всего этого въ ближайшихъ временахъ и земляхъ, мы должны были бы припомнить грустную исторію тевтономаніи, которая нанесла такъ много вреда блистательно начавшемуся возрожденію Германіи, которая заглушила благородныя сѣмена жизни, посѣянные императоромъ Іосифомъ II, Фридрихомъ Великимъ, Лессингомъ, Кантомъ, Шиллеромъ. Здѣсь было бы неумѣстно повторять исторію жалкаго нѣмецкаго романтизма въ наукѣ и литературѣ и выказывать его внутреннюю слабость и несообразность. Все это уже было краснорѣчиво высказываемо на русскомъ языкѣ, и желающіе припомнить давно читанное, но въ послѣднее время забытое многими, лучше всего сдѣлаютъ, если обратятся къ изученію тѣхъ понятій, которыя были высказываемы въ эпоху Лермонтова и Гоголя. Возвращаясь къ примѣру, нами представленному, укажемъ только на состояніе нѣмецкой литературы въ настоящее время. Она наводнена переводами дюмазовскихъ романовъ. Вотъ къ чему привела тевтономанія: она, думая возвысить специальную самостоятельность въ литературѣ, убила ее; трудами Шлегелей, Тика и т. д. нѣмецкая литература приведена совершенно въ то же состояніе, отъ котораго избавили ее гуманическія усилія Лессинга; разница развѣ только въ томъ, что въ нынѣшній разъ упала она гораздо ниже того уровня, на которомъ стояла до Лессинга, въ эпоху Виланда. Такое печальное слѣдствіе необходимо, и объясняется очень просто. Забота объ оригинальности губитъ оригинальность; истинно самостоятеленъ только тотъ, кто и не думаетъ о возможности быть не самостоятельнымъ. Толкуетъ объ энергіи своего характера только слабохарактерный, боится подчиняться чужому влиянію только тотъ, кто чувствуетъ, что его легко подчинить. Прочно мы владѣемъ только тѣмъ, чего не боимся потерять. Итакъ хлопоты о самостоятельности служатъ уже признакомъ отсутствія самостоятельности. Сознательная забота объ оригинальности есть забота о формѣ. У кого есть содержаніе, тотъ не будетъ хлопотать, чтобъ отличиться оригинальностью. Онъ не можетъ не быть оригиналенъ, потому и не думаетъ объ этомъ. А забота о формѣ приводитъ къ пустотѣ и ничтожности. За ничтожностью слѣдуетъ подчиненіе.

Поклоненіе народной поэзіи болѣе всего основывается на по-

добныхъ заботахъ о томъ, чтобы «литература прониклась своеоб-
разнымъ содержаніемъ». Высказанныя нами убѣжденія достаточно
свидѣтельствуютъ, что мы не увлекаемся безпредѣльнымъ пристра-
стіемъ къ народнымъ пѣснямъ. Мы не думаемъ ставить, какъ это
дѣлаютъ многіе, цыганскаго хора выше оперы или концерта. «Ай,
вдоль по улицѣ молодчикъ идетъ» выше моцартовской или росси-
нѣвской аріи, не считаемъ «Древнихъ Русскихъ Стихотвореній»
Кириши Данилова выше «Стихотвореній Пушкина». Намъ кажется,
что послѣ всего сказаннаго, исключительные почитатели народной
поэзіи, въ томъ числѣ и г. Бергъ, могутъ упрекнуть насъ въ хо-
лодности къ ней, и никто не причислитъ насъ къ ихъ разряду.
Итакъ, если въ продолженіи нашей статьи мы должны будемъ вы-
сказать о достоинствахъ народной поэзіи сужденія, которыя для
незнакомыхъ съ нею близко могутъ показаться слишкомъ высо-
кими, то читатели могутъ быть увѣрены, что высокое уваженіе къ
народной поэзіи вызывается въ насъ только требованіями справед-
ливости, а не безотчетнымъ пристрастіемъ и никакими нибудь посто-
ронними соображеніями, какъ это часто бываетъ.

Отношеніе народныхъ пѣсенъ къ произведеніямъ письменной
литературы почти совершенно соотвѣтствуетъ отношенію періода,
въ которомъ онѣ развиваются, къ характеру послѣдующаго разви-
тія народа. «Крайне трудно опредѣлить—говоритъ г. Бергъ—при
«какихъ именно условіяхъ является хорошая пѣсня у народа. Если
скажутъ: у народа, способнаго къ литературѣ—можно указать
случаи, гдѣ хорошая пѣсня является вовсе не у литературнаго
народа. Если скажутъ: у благоденствующаго—и тутъ можно найти
опроверженіе, и выставить случаи, гдѣ неблагоденствіе какъ будто
помогаетъ явленію лучшей пѣсни. Новая Греція тогда запѣла свои
прекрасныя клефтическія пѣсни, когда нагрянули турки, и внесли
въ Морею смерть и опустошеніе. Можетъ быть, нѣтъ ничего столь
прихотливаго какъ пѣсня». Совершенно справедливо, что степень
развитія народной поэзіи у извѣстнаго народа не опредѣляется ни
послѣдующимъ богатствомъ его литературы, ни его благоденствіемъ.
Но самъ г. Бергъ опредѣляетъ время процвѣтанія народной поэзіи,
говоря: «всегда движеніе цивилизаціи уничтожало пѣсню. Являясь
у народа младенчествующаго, но чуткаго къ своему слову (?), пѣсня
впослѣдствіи замѣнялась произведеніями отдѣльных лицъ. Простой
человѣкъ терялъ къ ней привязанность и забывалъ ее для новыхъ

романсовъ». Итакъ, народная поэзія принадлежитъ специально младенческому періоду народной жизни. Этого общепринятаго опредѣленія однако недостаточно. Не у всѣхъ младенствующихъ народовъ есть прекрасная и богатая народная поэзія. Чѣмъ же обуславливается ея развѣтъ? Энергіею народной жизни. Только тамъ являлась богатая народная поэзія, гдѣ масса народа (нѣтъ надобности прибавлять, что слово *народа* мы здѣсь принимаемъ въ смыслѣ націи, племени, говорящей однимъ языкомъ) волновалась сильными и благородными чувствами, гдѣ совершались силою народа всякія событія. Такими періодами жизни были у испанцевъ войны съ маврами, у сербовъ и грековъ войны съ турками, у малоруссовъ войны съ поляками. Прослѣдимъ ближе характеръ младенствующаго народа, чтобы справедливымъ образомъ оцѣнить достоинство произведеній, выражающихъ понятія и высказывающихъ жизнь того времени; потомъ взглянемъ на причины паденія народной поэзіи, чтобы видѣть, почему не удовлетворяется ею народъ, какъ скоро начинаютъ цивилизоваться.

Одинъ изъ величайшихъ мыслителей нашего вѣка высказалъ идею о томъ, что высшая степень развитія по формѣ совпадаетъ съ совершенною неразвитостію, существенно отличаясь отъ нея содержаніемъ. Въ приложеніи къ исторіи такая идея оказывается совершенно справедливою. Мы видимъ, теперь, что конечный результатъ историческаго развитія состоитъ въ тѣснѣйшемъ сближеніи всѣхъ членовъ націи въ одно плотное духовное цѣлое. Таково же положеніе людей до начала цивилизаціи. Все младенствующее племя проникается совершенно одинаково духовною жизнью. Въ народѣ необразованномъ масса понятій такъ незначительна, что семейныя преданія, патріархальныя наставленія старшихъ въ семействѣ совершенно достаточны для того, чтобы познакомить каждого изъ членовъ патріархальнаго общества со всею массою идей и познаній, вращающихся въ обществѣ. Нѣсколько наблюденій надъ свойствами травъ, нѣсколько правилъ относительно обращенія съ больнымъ или раненымъ,—и патріархальный человѣкъ постигъ всю премудрость отечественной медицины; нѣсколько именъ самыхъ яркихъ звѣздъ и созвѣздій,—и патріархальный человѣкъ знаетъ все, что извѣстно его соплеменникамъ объ астрономіи. То же самое должно сказать относительно удобствъ и образа жизни. Ихъ такъ мало, что самые могущественные, самые богатые члены патріархаль-

наго общества живутъ почти совершенно также, какъ и вся масса народа. Вспомнимъ о гомеровыхъ герояхъ, которые сами готовятъ кушанье, которыхъ жены и дочери сами ткуть и пьютъ платье, сами его моютъ. Нераздѣленные отъ остальной массы населенія ни привычками къ особенному образу жизни, ни степенью образованности, высшіе классы общества сливаются съ другими въ одно цѣлое, неразрывное по своимъ чувствамъ и стремленіямъ. Не отталкиваемая различіемъ понятій и образа жизни изъ постоянныхъ и домашнихъ соотношеній съ могущественнѣйшими членами общества, остальная масса не принуждена сознать своего ничтожества. Напротивъ, каждый членъ племени проникнутъ чувствомъ собственного достоинства. Оно всегда сильно развито въ младенчествующемъ обществѣ. Удобствъ жизни почти совершенно не существуетъ; всѣ привыкли довольствоваться самымъ простымъ удовлетвореніемъ первѣйшихъ жизненныхъ потребностей. Потому нищета и соединенныя съ нею чувства замѣчаются рѣдко. Въ сущности всѣ бѣдны, но этого никто не сознаетъ, никто этимъ не тяготится. Общественныя отношенія таковы, что масса населенія принимаетъ непосредственное участіе въ дѣлахъ (вспомнимъ о характерѣ общественнаго устройства у германцевъ и славянъ при ихъ появленіи въ исторіи); національные вопросы такъ просты и близки къ выгодамъ каждаго, что каждый членъ племени вполне понимаетъ ихъ и принимаетъ въ нихъ самое живое участіе. Въ самомъ дѣлѣ, вопросы эти ограничиваются нападеніями на сосѣдей для грабежа или защитой собственного имущества отъ раззореній. Однимъ словомъ, вся масса народа составляетъ однообразное цѣлое, въ которомъ каждый отдѣльный членъ совершенно подобенъ другимъ. При всеобщности чувства собственного достоинства, патріархальное общество вообще проникнуто какою-то нравственною возвышенностью; при всеобщей самостоятельности и участіи въ національныхъ дѣлахъ, каждый членъ его представляется мыслителемъ, мудрецомъ; вообще, каждый привыкъ жить умственно и нравственно, привыкъ имѣть какую-то возвышенную, благородную настроенность духа. Кромѣ того, по малочисленности развитыхъ потребностей, по самой малочисленности способовъ пріискивать имъ удовлетвореніе, по многимъ другимъ обстоятельствамъ, у каждаго остается очень много времени, свободного отъ физическихъ работъ. Такимъ образомъ у народа, находящагося на степени патріархальности, существуютъ всѣ условія.

поэтическаго настроенія духа, и нужно только, чтобы какія нибудь событія возбудили энергію въ народѣ, дали пищу въ его нравственной жизни, тогда необходимо возникаетъ могущественная народная поэзія. Мы говорили, что умственная и нравственная жизнь для всѣхъ членовъ такого народа одинакова, потому и произведенія поэзіи, порожденной возбужденіемъ такой жизни, одинаково близки и понятны, одинаково милы и родственны всѣмъ членамъ народа.

Итакъ народная поэзія возникаетъ при отсутствіи рѣзкихъ различій въ умственной жизни народа, и тѣснѣйшимъ образомъ связана съ патриархальнымъ бытомъ. При выходѣ изъ этого быта, при самомъ началѣ цивилизаціи, народъ распадается на различныя подраздѣленія, изъ которыхъ каждое отличается отъ остальныхъ степенью образованности, образомъ жизни и т. д. Это—первое явленіе въ исторіи народнаго развитія. Имъ разрушаются всѣ условія существованія общенародной поэзіи. Здравый смыслъ едва ли допускаетъ идею о томъ, что необходимость цивилизаціи нуждается въ доказательствахъ, что неизмѣримое превосходство цивилизованнаго быта надъ варварскимъ или полуварварскимъ можетъ подлежать сомнѣніямъ. Но какъ и все на землѣ, развитіе цивилизаціи сопровождается не одними выгодами. Какъ первые лучи солнца озаряютъ только вершины горъ, и проходитъ долгое время, пока они достигнутъ низменныхъ долинъ, такъ и цивилизаціею сначала проникаются одни только могущественнѣйшіе, высшіе члены общества. Большинство остается въ прежнемъ бытѣ. Мало того; время и силы его все болѣе и болѣе поглощаются чисто физическимъ трудомъ. Всѣ условія поэтической настроенности исчезаютъ; нѣтъ и содержанія для народной поэзіи съ тѣхъ поръ, какъ масса народа перестала быть живою и сознательною участницею національныхъ предпріятій. Народная поэзія увядаетъ и гибнетъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что съ этой чисто литературной точки зрѣнія цивилизація можетъ представляться въ невыгодномъ свѣтѣ. Потому-то приверженцы поэзіи, принадлежащей патриархальному быту, могутъ быть и часто бываютъ возбуждаемы къ непріязни противъ цивилизаціи соображеніями, вытекающими изъ благороднаго образа мыслей. Тѣмъ не менѣе ихъ понятія никогда не могутъ заслужить одобренія. Они существенно ошибочны.

Люди, познакомившіеся съ выгодами и прелестью цивилизаціи, никакимъ образомъ не могутъ быть приведены къ тому, чтобы от-

казаться отъ нея. Ихъ отвѣтъ всегда будетъ одинъ и тотъ же: «вкусивъ сладкаго, мы отвратились отъ горькаго»; и потому всѣ сожалѣнія о паденіи патріархальнаго быта и, чтобы спеціальнѣе говорить о нашемъ предметѣ, объ увяданіи народной поэзіи, совершенно бесполезны.

Существенныя качества народной поэзіи, достойной своего имени, очевидны изъ качествъ народа, которому она принадлежитъ, изъ обстоятельствъ ея происхожденія и роли, какую играетъ она въ народной жизни. Народная поэзія развивается только у народовъ энергическихъ, свѣжихъ, полныхъ кипучей жизни, искренности, достоинства и благородства. Потому она всегда полна свѣжаго, энергическаго, истинно поэтическаго содержанія. Она всегда возвышенна, цѣломудренна, если можно такъ выразиться, чиста, проникнута всѣми началами прекраснаго, которые вполне развиваются въ человѣкѣ, правда, только цивилизаціею, но которые, однако же, лежатъ въ сущности нашей нравственной организаціи, потому инстинктивно владычествуетъ человекомъ, если онъ не испорченъ неблагоприятными обстоятельствами. Она принадлежитъ цѣлому народу, потому чужда всякой мелочности и пустоты, которой въ неиспорченномъ народѣ можетъ поддаваться только отдѣльный человекъ, а не цѣлая масса; она вообще полна жизни, энергіи, простоты, искренности, дышетъ нравственнымъ здоровьемъ. Каково ея содержаніе, такова и форма ея: проста, безыскусственна, благородна, энергична. Г. Бергъ говоритъ: «Первое, почему народная пѣсня заслуживаетъ вниманія образованнаго человѣка, есть достоинство ея языка, свѣжаго, яркаго, неискаженнаго чуждымъ вліяніемъ». Мы совершенно согласны, что она обладаетъ этимъ достоинствомъ, но думаемъ, что оно въ ней уже второстепенное, какъ всѣ достоинства формы въ произведеніяхъ поэзіи вообще, и само есть слѣдствіе свѣжести, яркости и самостоятельности ея содержанія. Такимъ образомъ въ народной поэзіи мы находимъ несравненно высшее достоинство, нежели какое указываетъ даже г. Бергъ, ея страстный поклонникъ.

Чрезвычайно высокое поэтическое достоинство народной поэзіи обнаружилось для всѣхъ знающихъ людей съ тѣхъ поръ, какъ доказано было, что гомеровы поэмы не болѣе, какъ сборники народныхъ греческихъ пѣсень; точно также прекрасное твореніе Фирдуси, иранская «Книга царей», только сборникъ и передѣлка на-

родныхъ пѣсень. Въ ней много есть эпизодовъ, подобныхъ которымъ по красотѣ не найдется даже въ «Илиадѣ» и «Одиссее». Прекрасные романсы о Сидѣ также показываютъ, что не однимъ грекамъ досталось на долю развить чудную народную поэзію. Но мы можемъ указать примѣры еще болѣе близкіе къ намъ. Сербскія эпическія пѣсни прекрасны не менѣе греческихъ. Жалѣемъ, что не можемъ на этотъ разъ воспользоваться книгою г. Берга, у котораго не находимъ достойныхъ эпическихъ пѣсень, и потому принуждены для доказательства нашихъ словъ представить въ жалкомъ прозаическомъ переводѣ одинъ изъ отрывковъ несравненно прекрасной сербской эпопеи. Для примѣра мы выбираемъ пѣсни о косовской битвѣ (1389 г.), въ которой погибло сербское войско, погибъ князь сербскій Лазарь, которая на четыре вѣка предала Сербію во власть турокъ. Для объясненія собственныхъ именъ довольно будетъ сказать, что князь Лазарь былъ женатъ на Милицѣ, дочери Юга-Богдана, у котораго было девять сыновей (девять Юговичей), что Вукъ Бранковичъ, первый сербскій вельможа, передался на сторону турокъ, и что въ одной изъ пѣсень представляется, будто бы онъ передъ битвою старался оклеветать лучшаго воина сербскаго, Милоша Обилича, который дѣйствительно потомъ пожертвовалъ собою въ битвѣ для того, чтобы убить Мурата, успѣлъ заколоть его и былъ тутъ же изрубленъ его тѣлохранителями. Наконецъ замѣтимъ, что у сербовъ есть обычай побратимства (братства по оружію). Побратимство такая же крѣпкая и тѣсная связь, какъ родство по крови. Побратимы неразлучны на жизнь и смерть. Три главные богатыря или юнака—Милошъ Обиличъ, Иванъ Косанчичъ и Топлица Миланъ—побратимы.

«Султанъ Муратъ идетъ на Косово поле; пришедши, пишетъ онъ письмо и посылаетъ его въ городъ Крушевацъ, къ сербскому князю Лазарю: «Лазарь, сербскій князь! Никогда не бывало и не можетъ быть, чтобъ въ одной землѣ были два господина, чтобъ одинъ подданный давалъ двѣ дани. Мы не можемъ оба царствовать. Пришли же мнѣ ключи и дань, золотые ключи отъ всѣхъ городовъ, и дань за семь лѣтъ впередъ. А если не приплешь, выходи на Косово поле, и подѣлимъ саблями землю». Получилъ Лазарь письмо, читаетъ его, а самъ крупными слезами плачетъ.

«Вотъ какое заклѣтье наложилъ князь Лазарь: «кто не пойдетъ на бой на Косово, пусть не родится ничто отъ рукъ его, ни на полѣ бѣлая пшеница, ни въ виноградникѣ лоза!»

«Пиръ пируетъ сербскій князь Лазарь, въ Крушевцѣ, крѣпкомъ городѣ, Всѣхъ господъ и дѣтей господскихъ посадилъ онъ за столъ: по правую руку стараго Юга Богдана (своего тестя), и подлѣ него девятерыхъ Юговичей (его сыновей, своихъ шурьевъ); а по лѣвую руку Вука Бранковича (знатнѣйшаго изъ вельможъ) и всѣхъ остальныхъ господъ по порядку; а на конецъ стола воеводу Милоша (славнѣйшаго богатыря) и подлѣ него двухъ другихъ воеводъ, Ивана Косанчича и Топлицу Милана. Беретъ царь золотой кубокъ вина и говоритъ сербскимъ господамъ: «За чье здоровье пить мнѣ этотъ кубокъ? Если по старшинству, то за стараго Юга Богдана; если по вельможеству, за Вука Бранковича; если по родству, за моихъ девятерыхъ шурьевъ, Юговичей; если по красотѣ, за Ивана Косанчича; если по росту, за Топлицу Милана; если по богатству за воеводу Милоша. Ни за кого другого не стану же я пить, выпью за здоровье Милоша Обилича: Твое здоровье, Милошъ, вѣрный и измѣнникъ! Прежде вѣрный, а потомъ измѣнникъ! Завтра выдашь ты меня на Косовомъ полѣ, и перебѣжишь къ турецкому царю Мурату, Твое здоровье! Пей же вино! отдаю тебѣ кубокъ» Всклакиваетъ Милошъ на легкія ноги и кланяется до черной земли. «Благодарю тебя, славный князь Лазарь, благодарю тебя за твой тостъ, за твой тостъ и подарокъ, только не благодарю тебя за такую рѣчь. Клянусь жизнью, никогда не бывалъ я измѣнникомъ, не бывалъ и никогда не буду. Нѣтъ, завтра на Косовомъ полѣ хочу я умереть за христіанскую вѣру. Измѣнникъ сидитъ подлѣ тебя; это проклятый Вукъ Бранковичъ. Завтра мы увидимъ на Косовомъ полѣ, кто вѣренъ, а кто измѣнникъ. Клянусь я Богомъ великимъ, зарѣжу я завтра на Косовомъ полѣ турецкаго царя Мурата, стану на горло ему ногою. А если дастъ мнѣ Богъ и счастье мое воротиться живымъ въ Крушевацъ, схвачу я Вука Бранковича, привяжу его къ боевому копыю, какъ баба кудель на пряслицу, и отнесу его на Косово поле».

Какая чудная сцена! Измѣнникъ Вукъ старается поколебать увѣренность князя въ преданности лучшаго богатыря; князь вѣритъ клеветѣ и говоритъ богатырю:

— Теперь ты сталъ измѣнникомъ, но, все-таки, пью за твое здоровье!

— Завтра мы увидимъ, измѣнникъ ли я, отвѣчаетъ богатырь.

Послѣ этого Милошъ посылаетъ своего побратима, Ивана Косанчица, осмотрѣть турецкій лагерь, высмотрѣть, гдѣ шатеръ Мурата.

— Ну что, много ли войска у турокъ, можемъ ли мы съ ними биться? Можемъ ли побѣдить турокъ? спрашиваетъ Милошъ его по возвращеніи.

— Сильное войско у турокъ, братъ мой Милошъ Обиличъ! Если бы мы всѣ обратились въ соль, не осолили-бъ о насъ рукъ турки. Пятнадцать дней ходилъ я по турецкому стану, не нашелъ ему края. Отъ мрамора до сухого явора, отъ явора до Сазли, отъ Сазли до желѣзнаго моста, отъ желѣзнаго моста до Звечана, отъ Звечана до Чечана, отъ Чечана до горнаго хребта — все покрыто турецкимъ войскомъ: конь стоитъ плотно къ коню, человекъ къ человеку. Если бы съ неба упала крупа, не упала бы она нигдѣ на землю, а вездѣ на добрыхъ коней и людей.

— Гдѣ же шатеръ царя Мурата. Я поклялся князю заколотъ турецкаго царя Мурата, стать ему ногой на горло.

— Безумство это, милый побратимъ! Если-бъ у тебя были соколинныя крылья, и упалъ бы ты съ неба на Мурата среди его сильной стражи, не унесли бы и крылья твоего тѣла.

— Ну, Иванъ, милый братъ, не говори же ты этого князю, чтобъ не испугать князя и войска. А скажи ты князю: довольно войска у турокъ, но можно съ ними намъ сразиться, и легко ихъ побѣдить; не боевое у нихъ войско, а все старики и малолѣтки, не выдавшіе боя; а какое войско у нихъ и было, то богатыри перемерли отъ тяжкихъ болѣзней, а добрые кони отъ мора.

«Сидитъ Лазарь за ужиномъ, подлѣ него царица Милица. И говоритъ ему царица: «Царь Лазарь! завтра ты идешь на Косово поле, ведешь съ собою слугъ и воеводъ, а дома не оставляешь ни одного мужчины, который бы могъ отнести письмо къ тебѣ на Косово поле и воротиться назадъ (ко мнѣ съ вѣстью о тебѣ). Уводишь ты девятерыхъ моихъ братьевъ, девятерыхъ Юговичей: оставь вѣдь хоть одного брата, заклинаю тебя». Говоритъ ей сербскій князь

Лазарь: «Госпожа моя, царица Милица! котораго же изъ братьевъ угодно тебѣ выбрать, чтобъ я оставилъ его дома?»—«Оставь мнѣ Бошко Юговича». Тогда сказалъ сербскій князь Лазарь: «Госпожа моя, царица Милица! Когда завтра настанетъ бѣлый день и взойдетъ солнце, и когда откроются городскія ворота, выходи ты къ воротамъ. Черезъ нихъ строемъ пойдутъ войска. Поѣдутъ всадники съ боевыми копьями, а впереди ихъ Бошко Юговичъ, онъ несетъ крестоносное знамя. Скажи ему отъ меня разрѣшенье и просьбу, чтобъ онъ отдалъ кому нибудь знамя, а самъ остался дома съ тобою». Когда назавтра разсвѣло утро и отворились городскія ворота, вышла царица Милица, стала она у воротъ, и попли строемъ войска. Поѣхали всадники съ боевыми копьями, впереди ихъ Бошко Юговичъ; на конѣ онъ, весь въ чистомъ золотѣ; осѣнило его крестоносное знамя, свѣсилось оно до коня; на знамени золотыя яблоки, на яблокахъ золотые кресты, отъ крестовъ висятъ кисти, разстилаются по плечамъ Бошко. Бросилась къ нему царица Милица, схватила за узду коня, обвила руками около шеи брата и стала ему тихо говорить: «Братъ мой, Бошко Юговичъ! Царь тебя отдалъ мнѣ, чтобъ не ходилъ ты на бой на Косово поле; сказалъ тебѣ разрѣшенье и просьбу, чтобъ отдалъ ты кому-нибудь знамя, остался со мной въ Крушевцѣ, вымолила я себѣ брата». Но говоритъ Бошко Юговичъ: «Ступай сестра на бѣлую башню, а я съ тобой не ворочусь, и не отдамъ изъ рукъ крестоноснаго знамени, хоть бы царь дарилъ мнѣ Крушевецъ. Нѣтъ; тогда скажетъ остальная дружина: «Смотрите, какой трусъ Бошко Юговичъ! Онъ не смѣетъ идти на Косово поле пролить кровь за крестъ честный и умереть за свою вѣру!» И погналъ онъ коня въ ворота. Вотъ ѣдетъ старшій Югъ-Боганъ и за нимъ семь Юговичей. Всѣхъ семерыхъ останавливала она одного за другимъ: ни одинъ и слушать не хочетъ. И вотъ слѣдомъ ѣдетъ Воинъ-Юговичъ (*т. е. послѣдній братъ*). Схватила она за поводъ его коня, обвила руками около его шеи и стала ему говорить: «Братъ мой Воинъ-Юговичъ! Царь отдалъ тебя мнѣ, и сказалъ, чтобъ ты остался со мною въ Крушевцѣ». Говоритъ ей Воинъ-Юговичъ: «Ступай, сестра, на бѣлую башню: не ворочусь я съ тобою, хотя бы зналъ, что погибну. Иду я, сестра, на Косово поле пролить кровь за крестъ честный и умереть за свою вѣру съ братьями». И погналъ онъ коня въ ворота. Когда то увидѣла царица Милица,

упала она на холодный камень, упала и лишилась чувствъ. Тутъ ѣдетъ князь Лазарь. Поились у него слезы по лицу; озирается онъ направо и налѣво и кличетъ слугу Голубана. «Голубанъ, вѣрный мой слуга! Сойди ты съ коня, возьми госпожу на бѣлыя руки, отнеси ее на высокую башню. И приказываю тебѣ именемъ Божиимъ: не ходи ты на бой на Косово поле, а останься дома съ нею». Когда то услышалъ слуга Голубанъ, поились у него слезы по бѣлому лицу (*оттого что не можетъ онъ идти на бой*); сошелъ онъ съ коня, взялъ госпожу на бѣлыя руки, отнесъ ее на высокую башню. Но не можетъ онъ одолѣть своего сердца, чтобъ не идти на бой на Косово поле. Воротился онъ къ своему коню, сѣлъ на него, поѣхалъ на Косово. Когда назавтра разсвѣло утро, прилетѣли два ворона съ Косова поля широкаго и сѣли на бѣлую башню, на башню князя Лазаря; одинъ каркаетъ, другой говоритъ: «Это ли башня славнаго князя Лазаря? Или ужъ нѣтъ въ ней никого?» Никто въ башнѣ того не слышалъ, слышала только царица Милица; она вышла изъ бѣлой башни, спрашиваетъ двухъ вороновъ: «Ради Бога, скажите, два ворона, откуда вы полетѣли нынѣ? Не съ Косова ли поля? Не видали ли два сильные войска? Сразились ли войска? и чье войско побѣдило?» Говорятъ ей два ворона: «Богъ свидѣтель, царица Милица, нынѣ утромъ полетѣли мы съ Косова поля. Видѣли мы два сильные войска; сразились войска; оба царя погибли; изъ турокъ кое-кто и остался; а изъ сербовъ кто и остался, всѣ переранены, перекровавлены». Они это еще говорили, какъ ѣдетъ слуга Милутинъ, держитъ онъ правую руку въ лѣвой, на немъ семнадцать ранъ, весь конь подъ нимъ въ крови. Говоритъ ему госпожа Милица: «Что, невѣрный слуга Милутинъ? Или выдалъ ты царя на Косовомъ полѣ?» Но говоритъ слуга Милутинъ: «Сними меня, госпожа, съ богатырскаго коня, умой меня холодной водою, примочи мои раны краснымъ виномъ; изнемогъ я отъ тяжкихъ ранъ». Сняла его царица Милица, умыла его студеною водою, примочила его раны краснымъ виномъ. Когда онъ сталъ приходить въ память, спрашиваетъ его госпожа Милица: «Что было, слуга мой, на Косовомъ полѣ? Гдѣ погибъ славный князь Лазарь? Гдѣ погибъ старый Югъ-Богданъ? Гдѣ погибли девять Юговичей? Гдѣ погибъ Милошъ воевода? Гдѣ погибъ Вукъ Бранковичъ? Гдѣ погибъ Бановичъ-Страхиня?» И началъ слуга сказывать: «Всѣ легли, госпожа, на Косовомъ полѣ. Гдѣ погибъ славный князь Лазарь, тамъ много нахо-

мано копій, много копій и турецкихъ и сербскихъ, но больше сербскихъ, нежели турецкихъ, защищая, госпожа, своего князя. А Югъ, госпожа, погибъ въ началѣ, въ первомъ бою. Погибли восемь Юговичей, не выдавая братъ брата. Остался лишь Бошко-Юговичъ; развѣвается его крестоносное знамя по Косовому полю, еще разгоняетъ онъ турецкія толпы, какъ соколъ стадо голубей. Гдѣ стоитъ кровь по колѣно, тамъ погибъ Бановичъ-Страхиња. Милошъ, госпожа моя, погибъ у Ситницы, у воды студенной, гдѣ погибло много турокъ. Милошъ убилъ турецкаго царя Мурата и двѣнадцать тысячъ турокъ. Богъ да спасетъ его мать и отца! Онъ оставилъ по себѣ память сербскому народу, такъ что будутъ о немъ говорить, пока будутъ на свѣтѣ люди и Косово поле. А что спрашиваешь ты о проклятомъ Вукѣ, прокляты да будутъ и мать и отецъ его! Онъ измѣнилъ царю на Косовомъ полѣ, и отвелъ къ туркамъ, госпожа моя, двѣнадцать тысячъ латниковъ».

«Рано вышла въ поле косовская дѣвушка, вышла рано, до восхода солнца. Засучила бѣлые рукава до бѣлыхъ локтей; на плечахъ несетъ бѣлый хлѣбъ, въ рукахъ двѣ золотыя чаши; въ одной чашѣ холодная вода, въ другой красное вино. Идетъ она, молодая, на косовскую равнину, ходитъ по мѣсту битвы и переворачиваетъ юнаковъ, лежащихъ въ крови; котораго юнака найдетъ живымъ, умываетъ его холодною водою, поить его краснымъ виномъ, кормить хлѣбомъ. И дошла она до юнака Павла Орловича, до молодого княжескаго знаменовосца, и нашла его живымъ. Отсѣчена у него правая рука, и лѣвая нога до колѣна, и переломлены у него ребра, видны у него легкія. Поднимаетъ она его изъ глубокой крови, умываетъ его холодною водою, поить его краснымъ виномъ, кормить его бѣлымъ хлѣбомъ. Когда въ юнакѣ забилося сердце, говоритъ Павелъ Орловичъ: «Милая моя сестра, косовская дѣвушка! Что у тебя за великая нужда, что осматриваешь ты въ крови юнаковъ? Кого ты ищешь на мѣстѣ битвы? брата или племянника или родного отца?» Говоритъ косовская дѣвушка: «Милый братъ мой, незнакомый воинъ! Не ищу я никого изъ родныхъ, ни брата, ни племянника, ни стараго отца. А знаешь ли ты, незнакомый воинъ, когда у князя Лазаря причащали войска около прекрасной Самодержской церкви три недѣли, тридцать калугеровъ (старыхъ мона-

хоть)? Причастились всѣ сербскія войска, а послѣ всѣхъ три боевые воеводы, одинъ Милошъ воевода, другой Иванъ Косанчичъ, третій Топлица Миланъ. Я въ то время стояла въ воротахъ, когда шелъ воевода Милошъ. Красавецъ юнакъ! Волочитя у него сабля по землѣ, шелковая на немъ шапка, кованое перо (т. е. серебряное, на шапкѣ), пестрый на немъ плащъ, около шеи шелковый воротникъ. Озирается онъ и глядитъ на меня, снимаетъ съ себя пестрый плащъ, снимаетъ съ себя и даетъ мнѣ. «Возьми, дѣвушка, пестрый плащъ; по немъ и по имени моему вспомни ты меня. Я иду, моя душа, на смертный бой. Молись Богу, моя душа, чтобы воротился я здоровъ съ боя: тогда и тебѣ будетъ доброе счастье: возьму тебя въ жены своему побратиму Милану, а самъ буду у тебя свадебнымъ провожатымъ». За нимъ идетъ Иванъ Косанчичъ; прекрасный юнакъ! Волочитя у него сабля по землѣ (слѣдуетъ прежнее описаніе), на рукѣ у него позолоченный перстень. Озирается онъ и глядитъ на меня, снимаетъ съ руки золоченый перстень, скидаетъ съ руки и отдаетъ мнѣ: «Возьми, дѣвушка, золоченый перстень! По немъ и по имени моему найдешь ты меня (слѣдуетъ повтореніе прежнихъ словъ). Возьму тебя въ жены своему побратиму Милану, а самъ буду у тебя дружкою». За нимъ идетъ Топлица Миланъ. Красавецъ юнакъ! Волочитя у него сабля по землѣ, шелковая на немъ шапка, кованое перо, пестрый на немъ плащъ, около шеи шелковый воротникъ, на рукѣ у него золотое кольцо. Озирается онъ и глядитъ на меня, съ руки снимаетъ золотое кольцо, снимаетъ съ руки и даетъ мнѣ: «Возьми, дѣвушка, золотое кольцо, по кольцу и по имени моему вспомни меня: я иду на смертный бой, душа моя; молись Богу, милая душа моя, чтобы воротился я здоровъ съ боя. Тогда тебѣ, душа, будетъ доброе счастье: возьму я тебя себѣ вѣрною подругою». И «ушли три боевые воеводы. Ихъ я теперь ищу по мѣсту битвы». И говоритъ Павелъ Орловичъ: «Дорогая сестра, косовская дѣвушка! Видишь ли душа моя, гдѣ лежатъ боевыя копья наломаны густо и высоко? Тамъ текла юнацкая кровь доброму коню до стремени и до повода, юнаку до шелковаго пояса. Тамъ погибли всѣ трое они. Иди ты домой, не кровавъ рукавовъ и платья». Когда дѣвушка выслушала эту рѣчь, полились у нея слезы по бѣлому лицу; пошла она домой, рыдая бѣлою грудью: «бѣдная я! несчастная я! Если до зеленой сосны дотронусь я, несчастная, и зеленая сосна посохнетъ!»

Прелесть содержанія и художественная полнота формы одинаково совершенны въ этихъ превосходныхъ пѣсняхъ. Читатели позволяютъ намъ привести еще одинъ примѣръ изъ цикла нашихъ эпическихъ сказаній о Владимірѣ. Былина, извлеченіе изъ которой мы хотимъ представить здѣсь, записана г. Фаворскимъ и напечатана въ «Прибавленіяхъ къ I тому Извѣстій II Отдѣленія Академіи Наукъ». Мы позволяемъ себѣ держаться обыкновеннаго правописанія, чтобы не шокировать глаза читателей непривычными формами.

У князя Володимера пиръ; наѣвши въ полсыта, напившись въ полпьяна, бояре начинаютъ хвастаться другъ передъ другомъ:

въ полсыта бояре наѣдались,
въ полпьяна бояре напивались,
промежь себя бояре похвалялись:
сильн-отъ хвалится силою,
богатый хвалится богатствомъ,
купцы-то хвалятся товарами,
товарами хвалятся заморскими;
бояре-то хвалятся помѣстьями,
они хвалятся вотчинами.
Одинъ только не хвалится Данило Денисьевичъ.
Тутъ возговорить самъ Володиміръ князь:
Охъ ты гой еси, Данилушко Денисьевичъ,
еще что ты у меня ничѣмъ не хвалишься?
Али ничѣмъ тѣ похвалитися?
али нѣтъ у тебя золотой казны,
али нѣтъ у тебя молодой жены,
али нѣтъ у тебя платья цвѣтнаго?
Отвѣтъ держитъ Данило Денисьевичъ:
Ужъ ты батюшка нашъ, Володиміръ князь!
есть у меня золота казна,
еще есть у меня и молода жена,
еще есть у меня и платье цвѣтное.
Нечто такъ я это призадумался.
Тутъ пошолъ Данило съ широка двора.

Интродукція прекрасна. Тотчасъ по уходѣ Данила Денисьевича, князь Володиміръ совѣтуется съ боярами о выборѣ жены. Мишачка Путятинъ сынъ говоритъ, что нигдѣ не находитъ онъ невѣсты, достойной князя; одна только Василиса Никулишна, жена Данила Денисьевича, достойна быть супругою князя.

— Гдѣ же это видано, гдѣ слыхано, отъ живого мужа жену отнять? грозно говоритъ Владиміръ.

И велитъ казнить коварнаго совѣтника.

Но Мишаточка Путятинъ сынъ объясняетъ князю свой планъ отдѣлаться отъ Данила Денисьевича:

Мы Данилушку пошлемъ во чисто поле,
во тѣ ли луга леванидовы,
мы ко ключику пошлемъ ко гремачему,
велимъ поймать птичку бѣлогорлицу,
принести ее къ обѣду княжнецкому,
что еще убить ему льва лютаго,
принести его къ обѣду княжнецкому.

Данило погибнетъ при исполненіи такого порученія. Владиміру понравилось это предложеніе. Всѣ молчатъ, но старый козакъ Илья Муромецъ не скрываетъ своего неодобренія на этотъ замыселъ:

— Ужъ ты батюшка, Володиміръ князь! говоритъ онъ:—изведешь ты ясного сокола, не поймать тебѣ бѣлой лебеди.

Князь велитъ бросить его въ темницу, а самъ пишетъ письмо (ярлыкъ) къ Данилу Денисьевичу. Данило Денисьевичъ былъ въ это время на охотѣ, и письмо получила Василиса Никулишна: прочитавъ его, тотчасъ догадалась она о грозящей опасности:

Стала Василиса ярлыкъ пересматривать,
залилася она горячими слезми;
скидовала съ себя платье цвѣтное,
надѣваетъ на себя платье молодецкое,
сѣла на добра коня, поѣхала во чисто поле,
искать мила дружка своего, Данилушка.

Нашедши его, она говоритъ:

— Последнее у насъ съ тобой свиданье, мой сердечный другъ! Поѣдемъ домой!

Приготовляя мужа къ отъѣзду для исполненія княжескаго порученія, она подаетъ ему вмѣсто малаго колчана большой.

— Зачѣмъ это? я велѣлъ тебѣ подать малый?

— Ты надеженька, мой сердечный другъ, лишняя стрѣлочка тебѣ пригодится: пойдетъ она по своему братѣ богатырѣ.

Она предугадываетъ планъ враговъ. Данило ѣдетъ во чисто поле, въ поля леванидовы, ко ключику ко гремачему, къ колодезю къ студеному. Глядитъ онъ—съ кievской стороны:

Не бѣлы снѣги забѣлѣлися,
не черныя грязи зачернѣлися,
забѣлѣлася, зачернѣлася сила (войско) руское,
на того ли на Данилу на Денисьича.
Тутъ заплакалъ Данила горючими слезми,
возговорить онъ таково слово:
Знать, гораздо я князю сталъ ненадобенъ,
знать Володиміру не слуга я былъ.

Береть онъ саблю боевую, изрубилъ онъ высланное противъ
него войско. Но черезъ нѣсколько времени глядитъ онъ опять на
кіевскую сторону и видитъ, что на него посланы новые противники:

Не два слона въ чистомъ полѣ слонятся,
не два сыры дуба шатаются:
слонятся, шатаются два богатыря,
на того ли на Данилу на Денисьича:
его родной братъ Никита Денисьевичъ,
и названный братъ Добрыня Никитовичъ.
Тутъ заплакалъ Данило горючими слезми:
Ужъ и въ правду, знать, на меня Господь прогнѣвался,
Володиміръ князь на удалаго осердился:
еще гдѣ это слыхано, гдѣ видано,
братъ на брата со боемъ (бъ боемъ, на бой) идти.
Береть Данило свое востро копьѣ,
Тупымъ концомъ втыкаетъ во сыру землю,
А на вострый конецъ самъ упалъ.
Споролъ (асторолъ) себѣ Данило груди бѣлыя,
покрылъ себѣ Денисьевичъ очи ясныя.

Извѣщенный о его смерти. Володиміръ собираетъ свадебный
поѣздъ и ѣдетъ въ Черниговъ, входитъ въ теремъ вдовы:

Приѣхали ко двору ко Данилину,
восходятъ во теремъ Василиси-отъ.
Цѣловать ее Володиміръ во сахарныя уста.
Возговорить Василиса Никулишна:
Ужъ ты батюшка, Володиміръ князь
Не цѣлуй меня въ уста во кровавы,
безъ моего друга Данилы Денисьича.
Тутъ возговорить Володиміръ князь!
ой ты гой еси Василиса Никулишна!
наряжайся ты въ платье цвѣтное,
въ платье цвѣтное подвѣнечное.
Наряжалась она въ платье цвѣтное,
взяла съ собой булатный ножъ.
Поѣхали ко городу ко Кіеву.

Когда поравнялся поѣздъ съ лугами леванидовыми, Василиса Никулишна просить князя, чтобъ онъ отпустилъ ее проститься съ тѣломъ мужа. Володиміръ отпускаетъ ее подъ стражею двухъ богатырей.

Подходила Василиса ко милу дружку,
поклонилась она Данилѣ Денисьичу,
поклонилась она, да восклонилась;
возгворить она двумъ богатырямъ:
Охъ вы гой есте, мои вы два богатыря,
вы подите, скажите князю Володиміру,
чтобы не далъ намъ валяться по чисту полю,
по чисту полю со милымъ дружкомъ,
со тѣмъ ли Даниломъ Денисьевичемъ.
Беретъ Василиса свой булатный ножъ,
Спорола себѣ Василисушка груди бѣлыя,
Покрыла себѣ Василисушка очи ясныя.

Ея послѣднюю волю передаютъ Володиміру, и по пріѣздѣ въ Кіевъ онъ выпускаетъ изъ погреба Илью Муромца, который предвѣщалъ ему гибельный конецъ замысла, и наказываетъ злого советника Мишатку Путятина:

Выпущалъ Илью Муромца изъ погреба,
цѣловалъ его въ голову, во темичко:
Правду сказалъ ты, старой казакъ,
старой казакъ, Илья Муромецъ!
Жаловалъ его шубой собольною;
а Мишаткѣ пожаловалъ смолы котель.

Русская былина уступаетъ въ поэтическомъ достоинствѣ сербскимъ пѣснямъ; но и она прекрасна. Что же касается до сербскихъ пѣсенъ, нами переведенныхъ здѣсь, должно рѣшительно сказать, что только у первоклассныхъ поэтовъ могутъ быть найдены произведенія, равныя имъ по красотѣ. Почему же эта народная поэзія у всѣхъ народовъ уступала мѣсто письменной литературѣ, какъ скоро народъ начиналъ цивилизоваться? Почему повсюду вмѣсто пѣсенъ, созданныхъ всѣмъ народомъ, какъ однимъ нравственнымъ лицомъ, появлялись произведенія, писанныя отдѣльными лицами? Общій отвѣтъ мы уже видѣли выше: одинаковость умственной и нравственной жизни во всѣхъ членахъ племени уничтожается цивилизаціею, съ тѣмъ вмѣстѣ должна упасть и поэзія, принадлежавшая нераздѣльно цѣлому народу. Но если ясно изъ этого, почему въ

наше время у нѣмцевъ или русскихъ не можетъ вновь являться пѣсень, подобныхъ сербскимъ, то еще остается неразрѣшеннымъ важнѣйшій вопросъ: почему образованные слои народа не удовлетворяются прекрасными пѣснями, которыми довольствовались ихъ предки? Почему нѣмцы читаютъ Гете и Шиллера, а не Нибелунговъ, русскіе Пушкина, а не Киршу Данилова? Не есть ли пренебреженіе народныхъ пѣсень для произведеній отдѣльныхъ поэтовъ несправедливость? Подобные вопросы были подняты въ германской литературѣ тебноманами и романтиками. У насъ они слышатся еще довольно рѣдко, тѣмъ не менѣе могутъ имѣть свой интересъ.

Цивилизуясь, народъ перестаетъ вообще удовлетворяться патріархальнымъ бытомъ и его произведеніями; почему, здѣсь не мѣсто говорить; мы должны смотрѣть только на нашу специальную сторону общаго вопроса, на причины того, что, цивилизуясь, народъ перестаетъ удовлетворяться народной поэзіей. Умственная и нравственная жизнь патріархальнаго общества слишкомъ бѣдна для цивилизованнаго народа. Потому и содержаніе народной поэзіи слишкомъ бѣдно для него. Въ самомъ дѣлѣ, если народная поэзія превосходно развиваетъ свои темы, то темъ у нея очень мало, и онѣ слишкомъ просты; то же самое надобно сказать и о чувствахъ, проникающихъ народныя пѣсни. Воинскія воспоминанія—вотъ вся исторія патріархальнаго народа; любовь добраго молодца (безъ всякой опредѣленнѣйшей характеристики) къ красной дѣвицѣ (безъ всякой опредѣленнѣйшей характеристики) и два-три другіе, столь же общіе мотива—вотъ все содержаніе лирики. Народная пѣсня должна прилагаться къ чувствамъ рѣшительно cadaго человѣка; иначе она не нужна цѣлому народу, а годится только для нѣсколькихъ отдѣльныхъ лицъ—вотъ первая причина этой скудости; вторая причина—въ патріархальномъ обществѣ дѣйствительно нѣтъ ни духовнаго разнообразія, ни мыслей и чувствъ, сколько нибудь разнообразныхъ или многосложныхъ. Цивилизованный молодой человѣкъ, не просто «добрый молодецъ», любитъ «красную дѣвицу» не потому только, что она «красная дѣвица»—онъ, смотря по различію своего нравственнаго направленія, ищетъ въ ней особенныхъ качествъ характера, ума и т. д.; ни о чемъ подобномъ не знаетъ народная пѣсня. Потому ея портреты, ея чувства недовольно близко подходятъ къ лицамъ и чувствамъ образованнаго общества; въ ней мало индивидуальныхъ особенностей, ко-

торыхъ мы болѣе всего ищемъ, чтобы сказать: «это говорится обо мнѣ, это подходитъ къ моему положенію и чувствамъ». Что мы сказали объ эротической пѣснѣ, прилагается и ко всякой другой народной пѣснѣ. Моимъ потребностямъ соотвѣтствуютъ только пѣсни отдѣльныхъ поетовъ, выражающихъ не чувство вообще, а именно такое чувство, какимъ проникнуть именно я, и которое остается чуждо въ этомъ особенномъ развитіи для многихъ другихъ людей. Вотъ почему даже тѣ понятія и чувства, которыя общи образованному человѣку съ патріархальнымъ (наприм. любовь), выражаются въ народной поэзіи неудовлетворительнымъ для насъ образомъ. Не говоримъ уже о томъ, что цивилизація развиваетъ въ насъ множество чувствъ и особенно понятій, о которыхъ вовсе не знаетъ патріархальный человѣкъ. О многомъ, чего мы ищемъ въ поэзіи, народная поэзія вовсе не говоритъ; о чемъ говорить, говорить не такъ, какъ должна говорить поэзія по нашимъ требованіямъ. Содержаніе народной поэзіи слишкомъ бѣдно для насъ.

Столь же неудовлетворительна для насъ ея форма. Иногда случается слышать, что народную поэзію обвиняютъ въ недостаткѣ художественной формы. Это совершенно несправедливо. О чемъ говорить народная поэзія, говорить она чрезвычайно художественно. Ея недостатокъ совершенно другого рода; это—однообразіе, доходящее до чрезвычайной монотонности. Сущность патріархальной жизни неподвижность; формы этой жизни неподвижныя, оцѣпенѣвшія формы. Точно таковы же онѣ и въ народной поэзіи. Объ этомъ достаточно говорить ужъ внѣшній составъ стиха до чрезвычайности однообразный. Такъ всѣ греческія эпическія пѣсни сложены гексаметромъ; во всѣхъ сербскихъ одинъ и тотъ же стихъ десяти-сложный, раздѣляющійся на двѣ половины, изъ которыхъ въ первой четыре, а во второй шесть слоговъ, напимѣръ:

Цар Мурате | у Косово паде;
 Како паде | сятну книгу пише;
 Те је шале | на Крушевцу граду и т. д.

(Начало первой изъ переведенныхъ нами пѣсень: царь Муратъ на Косово пришелъ; какъ пришелъ, мелкое письмо пишетъ и его посылаетъ въ городъ Крушевацъ). Точно также неизмѣнныя обычныя, такъ называемыя «эпическія» выраженія, которыми наполнены всѣ пѣсни. У насъ, напимѣръ, всегда *добрый* молодецъ, никогда просто *молодецъ*, и никогда съ какимъ нибудь другимъ эпитетомъ; красна

дѣвица, лютая свекровь матушка, сыра земля, и т. д.; у сербовъ всегда легкія ноги, гибкія ребра, бѣлый дворъ, холодная вода, боевое копьѣ, и т. д. Какъ бы ни была велика мѣткость и красота подобныхъ эпитетовъ, безъ которыхъ не обходится ни одно часто употребляемое слово въ народной поэзіи, нельзя, однако же, не признаться, что ихъ безпрестанное повтореніе чрезвычайно монотонно. Этимъ не ограничивается монотонность, неподвижность формы; она идетъ гораздо далѣе: всѣ фразы, всѣ мысли, всѣ картины имѣютъ одинъ и тотъ же, разъ навсегда установившійся, неизбѣжный видъ. Постоянно повторяются одни и тѣ же стихи, цѣлыя отрывки изъ нѣсколькихъ стиховъ. Это каждый можетъ замѣтить, сличивъ нѣсколько пѣсенъ. Потому пѣсни такъ легко и перемѣшиваются одна съ другою, сливаются, раздробляются; каждая изъ нихъ—мозаика, составленная изъ кусковъ, безпрестанно повторяющихся въ другихъ пѣсняхъ. Каждый изъ нихъ прекрасенъ, въ этомъ нѣтъ спора; но что сказали бы мы, еслибъ, напримѣръ, у Пушкина повторились двадцать разъ въ разныхъ поэмахъ прекрасные стихи:

Буря мглою небо кроетъ,
Вихри свѣжные крутя;
То какъ звѣрь она завоевъ,
То заплачетъ, какъ дитя...

и если бъ онъ, говоря о Кавказѣ сто или болѣе разъ, каждый разъ описывалъ его такъ:

Кавказъ надо мною; одинъ въ вышинѣ
Стою надъ снѣгами у края стремнины;
Орелъ съ отдаленной поднявшись вершины, и проч.

Мы нисколько не оскорбляемся подобными повтореніями въ народныхъ пѣсняхъ. Изъ этого слѣдуетъ, что мы не прилагаемъ къ нимъ тѣхъ требованій, соблюденіе которыхъ ставимъ въ непремѣнную обязанность поэзіи, насъ удовлетворяющей.

Вообще намъ кажется фактомъ, подлежащимъ сомнѣнію, что народная поэзія не можетъ удовлетворять цивилизованнаго чело-вѣка. Ея содержаніе слишкомъ бѣдно и однообразно; форма столь же однообразна. Она отголосокъ прошедшаго младенчества, вспомнить о которомъ пріятно и прекрасно, но возвратиться къ которому для насъ невозможно, а еслибъ и было возможно, то нисколько не было бы пріятно. Но, не удовлетворяясь ею, мы не можемъ не

сочувствовать ей всегда, не заслушиваться часто до увлеченія прекрасныхъ, свѣжихъ, энергическихъ мотивовъ ея.

Не говоримъ уже о двухъ другихъ ея драгоценныхъ качествахъ. Она до сихъ поръ остается единственною поэзіею массы народонаселенія; поэтому она интересна и мила для всякаго, кто любитъ свой народъ. А не любить своего родного невозможно. Другое достоинство ея чисто ученое: въ народной поэзіи сохраняются преданія старины. Потому важность ея неизмѣримо велика и посвящать свою жизнь собиранію народныхъ пѣсней прекрасный подвигъ.

Народная поэзія прекрасна. Этого, кажется, было бы довольно для успокоенія нашей любви къ ней. Но есть люди, которымъ не премѣнно хочется, чтобы народная поэзія ихъ племени была признана превосходѣйшею въ мірѣ. Не знаемъ, зачѣмъ общій вопросъ необходимо низводить въ область споровъ. Но вотъ что говорить г. Бергъ въ своемъ «Предисловіи»:

«Въ главѣ лирическихъ пѣсней я ставлю русскую, пѣсню всѣхъ пѣсней. Нѣтъ пѣсни пѣсеней ея, оригинальнѣй и народнѣй. Въ этомъ отношеніи она стоитъ рѣшительно отдѣльно ото всѣхъ и никакая другая далеко къ ней не подходитъ. Ни одна не представляетъ такой свободы разбѣровъ въ одной и той же пѣснѣ при общей гармоніи (неодинаковое число слоговъ въ разныхъ стихахъ одного разбѣра—качество, о которомъ здѣсь говоритъ г. Бергъ,—находится не только въ народныхъ пѣсняхъ многихъ народовъ, но даже во многихъ письменныхъ версификаціяхъ, напр. въ греческой, латинской, отчасти даже нѣмецкой; удивительнаго и особеннаго здѣсь ничего нѣтъ). Съ другой стороны, ни одна не имѣетъ такого яркаго, играющаго языка. Ни въ одной нѣтъ такого размаха, такого собранія звуковъ, какъ бы вытекающихъ одинъ изъ другого (?) и неудержимо несущихся одинъ за другимъ. Откуда же явилось такое преимущество русской пѣсни? Прежде всего отъ ея языка, какого нигдѣ нѣтъ. Ни одинъ не устоитъ въ борьбѣ съ этимъ богатыремъ, съ этимъ Ильею Муромцомъ, у котораго еще не убавлено силы переходными каліками.

Кабы на сему часть ?»

Наука разрѣшаетъ вопросъ этотъ гораздо полнѣе и шире, нежели г. Бергъ. Превосходная народная поэзія была у многихъ народовъ. Теперь она почти у всѣхъ европейскихъ народовъ или совершенно, или очень низко упала. Исключеніе остается едва ли не за одними сербами, у которыхъ народная поэзія еще въ полной силѣ свѣжести. Также свѣжа и цвѣтуща была она у малороссовъ лѣтъ шестьдесятъ или восемьдесятъ назадъ; лѣтъ около ста или полутора ста назадъ (а можетъ быть и болѣе) она была также свѣжа

и цвѣтуща у великоруссовъ. Различіе только въ томъ, раньше или позже коснулась народа цивилизація, успѣли записать народныя пѣсни въ ихъ полной свѣжести, или принялись за это дѣло тогда, когда уже начался упадокъ. Сербь были такъ счастливы въ этомъ случаѣ, что лучший изъ всѣхъ собирателей пѣсенъ, Вукъ Стефановичъ Караджичъ, записывалъ и записываетъ сербскія пѣсни еще нисколько не утратившія первоначальной своей красоты. Нѣтъ сомнѣнія, что и для сербской народной поэзіи скоро начнется (и отчасти уже начался) періодъ паденія. Разсматривать здѣсь, у котораго изъ остальныхъ славянскихъ племенъ народныя пѣсни успѣли до сихъ поръ сохраниться лучше, значило бы вдаваться въ споры. По мнѣнію однихъ послѣ сербской поэзіи второе мѣсто занимаетъ великорусская, по мнѣнію другихъ малорусская, по мнѣнію третьихъ словацкая. Мы положительно увѣрены только въ томъ, что и великорусскія, и малорусскія, и словацкія пѣсни прекрасны. Изъ другихъ европейскихъ народовъ многіе также сохранили еще прекрасную народную поэзію, на примѣръ греки, испанцы, хотя, повторяемъ, у всѣхъ, кромѣ сербовъ, и, быть можетъ, грековъ, она ужъ давно находится въ періодѣ упадка.

Основаніемъ для всего этого длиннаго объясненія понятій, какихъ достигла наука относительно существеннаго достоинства народной поэзіи, послужило намъ «Предисловіе» г. Берга, написанное слишкомъ съ большимъ увлеченіемъ. Мы нисколько не ставимъ этого увлеченія въ вину г. Бергу; оно очень естественно въ поэтѣ, столь преданномъ народной поэзіи, какъ почтенный переводчикъ «Пѣсенъ разныхъ народовъ». Намъ только хотѣлось показать безпристрастную точку зрѣнія на явленія очень интересныя и въ самомъ дѣлѣ увлекательныя. Но уже давно пора намъ перейти отъ предисловія къ самой книгѣ. Г. Бергъ въ концѣ предисловія говоритъ: «Въ заключеніе прошу покорнѣйше всякаго, кому случится прочесть эти строки, во первыхъ, указать мнѣ замѣченные недостатки въ моемъ изданіи, относительно перевода, взгляда на тотъ или другой отдѣлъ, и даже, если можно, опечатки въ текстѣ. Во вторыхъ, сообщить мнѣ все, что есть у него любопытнаго въ пѣсенномъ родѣ»: Если бы не были мы увѣрены въ искренности желанія, высказываемаго на первомъ мѣстѣ, мы не стали бы вовсе говорить о томъ, что, по нашему мнѣнію, должно было бы въ изданіи г. Берга быть иначе: мы ограничились бы однѣми похва-

лами прекрасному и добросовѣстному труду; онъ вполне заслуживаетъ ихъ, и недостатки его далеко уступаютъ достоинствамъ. Но очевидно, что г. Бергъ страстно преданъ своему прекрасному дѣлу, и потому въ самомъ дѣлѣ будетъ доволенъ, если замѣчанія рецензентовъ дадутъ ему случай обратить вниманіе на тѣ или другія стороны его труда. Только это побужденіе и заставляетъ насъ высказать наши мнѣнія объ основаніяхъ которыми руководился г. Бергъ при выборѣ и переводѣ пѣсенъ.

Сборникъ г. Берга раздѣляется на двѣ половины—лирическія пѣсни и эпическія пѣсни. Въ лирическомъ отдѣлѣ онъ помѣстилъ пѣсни восемнадцати народовъ. Но изъ этихъ подраздѣленій четыре представляютъ только по одной пѣснѣ, и притомъ незначительной; именно г. Бергъ перевелъ одну санскритскую пѣсню, одну баскскую, одну армянскую, одну калмыцкую. Эти пѣсни ничего не показываютъ. Или надобно было представить болѣе пѣсенъ, чтобы ихъ собраніемъ сколько нибудь характеризовать поэзію народа, или не помѣщать въ сборникъ одинокой, ничего не говорящей пѣсни. Точно также недостаточны отдѣлы финскихъ, албанскихъ, арабскихъ, персидскихъ, татарскихъ пѣсенъ. Намъ кажется, что г. Бергъ слишкомъ увлекся желаніемъ представить рѣдкія пѣсни, и что это желаніе иногда имѣло несовсѣмъ благопріятное вліяніе и на выборъ пѣсенъ въ другихъ отдѣлахъ. Г. Бергъ жалуется на скудость матеріаловъ. Но мы увѣрены, что въ московскихъ бібліотекахъ онъ находилъ богатая коллекціи изданій народныхъ пѣсенъ. Что могло тамъ не быть армянскихъ или баскскихъ сборниковъ, мы готовы предположить; скудости пѣсенъ на другихъ языкахъ, особенно на славянскихъ нарѣчійхъ, предполагать нельзя. На этомъ, излишнемъ, по нашему мнѣнію, желаніи сообщать рѣдкія пѣсни основана и просьба «сообщить ему все, что каждый имѣетъ любопытнаго въ пѣсенномъ родѣ». Подобныхъ присылокъ вовсе не нужно ожидать г. Бергу, чтобы дополнить свой сборникъ; мы требуемъ отъ него не баскскихъ или калмыцкихъ пѣсенъ, а просто хорошаго и полного выбора пѣсенъ тѣхъ народовъ, которые имѣютъ хорошія изданія пѣсенъ. Выбирать и переводить—эта задача уже довольно велика и трудна, и напрасно г. Бергъ будетъ развлекать свои силы, заботясь также о собираніи пѣсенъ неизвѣстныхъ еще въ ученomъ мірѣ. Раздѣленіе труда—первое условіе его успѣшности. Вѣроятно также, что г. Бергу стоило чрезвычайно многихъ усилій

достать исправные списки армянской, калмыцкой, и такъ далѣе, пѣсенъ, и еще большихъ трудовъ исправно напечатать ихъ текстъ. Санскритскій текстъ онъ рѣшился даже литографировать, конечно по недостатку шрифта: сколько напрасныхъ трудовъ, траты времени и расходовъ! Нѣтъ сомнѣнiя, что прекрасно дѣлаетъ г. Бергъ, печатая вмѣстѣ съ переводомъ тексты пѣсенъ разныхъ славянскихъ нарѣчiй и общеизвѣстныхъ языковъ. Многимъ будетъ прiятно прочитать въ подлинникѣ словацкую, сербскую, французскую пѣсню; сличенiе текста съ переводомъ въ этихъ случаяхъ дастъ многимъ возможность вѣрнѣе судить о достоинствѣ перевода. Но кому изъ читателей принесетъ хотя малѣйшую пользу или удовольствiе текстъ санскритской, литовскихъ, мадьярскихъ, финскихъ, албанскихъ, арабскихъ, персидскихъ, татарскихъ, баскской, армянской, калмыцкой пѣсенъ? Едва ли многимъ будетъ полезенъ также испанскiй, норвежскiй, шведскiй, датскiй, бретонскiй тексты. Печатать ихъ совершенно излишняя ученая (или, лучше сказать, мнимо ученая) роскошь. Забота о ней была, вѣроятно, причиною того, что г. Бергъ мало заботился о пѣсняхъ менѣе рѣдкихъ. Такъ, напримѣръ, у него помѣщены только эпическiя сербскiя, испанскiя и французскiя пѣсни; лирическихъ нѣтъ; нѣмецкихъ пѣсенъ нѣтъ у него совершенно; англiйскихъ, шотландскихъ, ирландскихъ также совершенно нѣтъ.

Выборъ пѣсенъ также неудовлетворителенъ. Укажемъ одинъ примѣръ. Изъ множества превосходныхъ эпическихъ сербскихъ пѣсенъ у него выбрана только одна незамѣчательная ни въ какомъ отношенiи пѣсня о Бановичѣ Страхинѣ.

Наконецъ, важнѣйшая часть труда,—переводъ—бываетъ очень часто удаченъ. Читатели убѣдятся въ этомъ изъ примѣровъ, которые мы приведемъ ниже; но часто г. Бергъ нарушаетъ простоту подлинника прибавленiемъ эпитетовъ; иногда переводъ бываетъ и просто несовсѣмъ удаченъ. Приводимъ нѣсколько примѣровъ. Вотъ пѣсня чешскихъ реформатовъ (по недостатку шрифта пишемъ текстъ русскими буквами):

Красна е та рѣка,
Рѣка Волтава,
Гдѣ су наше дѣла
И власть ласкава;

*Святая ты рѣка
Рѣка ты Влтава!
Наше ты веселье,
Красота и слава!* •

Гезке е то место
То место Прага,
В ктерем были наше
Родина драга.... и т. д.

Красное ты мѣсто,
Прага дорогая,
Нашъ престольный городъ
Родина селятъ!

Вотъ буквальный переводъ:

Прекрасна та рѣка, рѣка Влтава, гдѣ наши дома и милая родина.

Прекрасенъ тотъ городъ, городъ Прага, гдѣ наши жилища, родина дорогая, и т. д.

Вотъ начало сербскихъ пѣсень:

1

Бога моли момче неженено
Да се створи край мора бисеромъ
(Бога просить неженатый молодецъ,
чтобы сдѣлаться жемчугомъ на берегу моря).

1

Бога молитъ молодецъ удамый
Чтобы далъ ему оборотиться

Жемчугомъ зернистымъ, перекатымъ
И разсыпаться край снѣга моря.

2

Лепо пева славуя
У зеленой шумици
(Хорошо поетъ соловушекъ въ зеленой рошѣ)

2

Распѣвала пташка мала
Пташка мала соловейка,
Въ темной рошѣ распѣвала...

Г. Бергъ говорить: «Обыкновенно думаютъ, что надо переводить слово въ слово. Не важень стихъ, а важень духъ, важень результатъ впечатлѣнїя. Въ народномъ языкѣ всего нужнѣе свобода слова» и т. д. Но приведенные нами примѣры показываютъ, что отступленїя отъ смысла и духа подлинника простираются у г. Берга иногда слишкомъ далеко. Напрасно ссылается онъ на примѣръ Пушкина. Пушкинъ переводилъ сербскїя пѣсни гораздо точнѣе. Но послѣ этихъ замѣчанїй, вызванныхъ желанїемъ самого г. Берга, мы должны показать читателямъ и примѣры удачныхъ переводовъ. Это гораздо прїятнѣе. Мы сказали, что выборъ пѣсень у г. Берга не можетъ достаточно знакомить съ духомъ поэзіи того или другого народа; потому беремъ пѣсни, лучшія въ эстетическомъ отношенїи, не заботясь о томъ, характеризуютъ ли онѣ народъ которому принадлежать, или только народную поэзію вообще. Во всякомъ случаѣ онѣ дадутъ читателю средство судить о достоинствахъ перевода г. Берга.

(Литовская.)

Какъ у батюшки сгороженъ огородъ,
Въ огородѣ липка-липочка растетъ.

Дочка батюшки по темнымъ по ночамъ
Съ дворяниномъ разговариваетъ тамъ.

Съ дворяниномъ, съ добрымъ парнемъ, съ молодцомъ,
Съ нимъ тихонько обручается кольцомъ.

«Не ходи, сестра, ты ночью къ молодцу,
А не то скажу я батюшкѣ-отцу!»

«Братецъ, братецъ, братецъ милой-дорогой,
Что ты скажешь объ сестрѣ своей родной?

Что два слова-то сказала съ молодцомъ?
Или то, что обручалась съ нимъ кольцомъ?»

«Не про тѣ твои два слова съ молодцомъ,
А про то, что обручалась съ нимъ кольцомъ.»

Въ понедѣльникъ вышла дѣвица гулять —
Не видать ее во вторникъ, не видать!

Выѣзжали братья въ среду поутру,
Стали спрашивать про милую сестру.

Въ барабаны барабанили три дни
И трубили въ трубы жѣдныя они.

Наконецъ къ рѣкѣ широкой подошли
И утопленницу бѣдную наши:

Тѣло бѣлое лежало на пескѣ,
И купались косы черныя въ рѣкѣ.

(Литовская.)

Ведите коня вороного,
Ведите коня молодцу.
Поѣду я къ старому тестю.
Я къ старому тестю, къ отцу.

Здорово! день добрый и вечеръ!
Какъ можешь-живешь, старина?
Что дѣлаетъ наша невѣста?
И все ли здорова она?

Больненька наша невѣста,
Больненька, въ новой клѣтѣ
Лежитъ горемыка въ постели,
Поди ты ее навѣсти.

Пошелъ черезъ дворъ я широкій,
А слезы-то, слезы ручьемъ!
Откинулъ я дверцу у клѣтѣ,
И слезы обтеръ рукавомъ.

Взялъ за руки бѣлы невѣсту,
Прижалъ ихъ, цалуя, къ себѣ:
Скажи мое красное солнце,
Не легче ли стало тебѣ?

Не легче; не будетъ мнѣ легче,
Не быть мнѣ невѣстой твоей:
Другую ты любишь-голубишь —
Ступай и присватайся къ ней!

А я собираюсь въ гости,
Мнѣ пиръ пировать на погостѣ...
Прощай... а скажи, хороша
Твоя чародѣйка-душа?

(Лужицкая.)

Красная дѣвица жала траву,
Травку-муравку зелененькую;

Много нажала зеленой травы,
Цѣлу вязанку наръзала.

Красна дѣвица лѣсомъ пошла,
Хлысть ее вѣтка по бѣлой щекѣ.

«Что ты, зеленая вѣтка моя,
Что ты дерешься, похлестываешь?

Есть у меня братья вѣрные,
Имъ я велю вѣтку срѣзати.

Имъ я велю вѣтку срѣзати,
Срѣзати, подъ самый срубить корешокъ.»

— «На зиму вѣтку вы срежете,
На весну снова я выбѣгу,

Свѣжими выйду побѣгами,
Новымъ кудравымъ деревцомъ.

Если жъ погубишь ты, дѣвица, честь —
Честъ къ тебѣ вѣкъ не воротится.»

(Лужицкая.)

Хочешь знать, кто я таковъ?
Изъ простыхъ я мужиковъ,
И хочу жениться!

Припасите для меня
Дѣву, саблю и коня —
На войнѣ годится!

На войну, въ кровавый бой,
Захвачу я ихъ съ собой....

(Чешская.)

Говорить мнѣ снова
Нынче мать милова,
Что бы я забыла,
Про-ея про сына.

На такіа рѣчи
Я ей отвѣчала,
Чтобъ она покрѣче
Сына привязала,

Привязала-бъ сына:
Не ходи, молъ, мимо,
Къ дѣвкѣну порогу
Не топчи дорогу.

(Словацкая.)

Конь подъ Вѣлградомъ стоитъ вороной;
На немъ сидитъ
Кровью покрытъ
Миленькій мой.

Знаешь ли, мила, какъ битва живетъ?
Видишь: съ меня,
Видишь: съ коня,
Кровь такъ и льетъ.

Знаешь ли, мила, какой нашъ обѣдъ?
Наша ѣда —
Хлѣбъ да вода,
Вотъ нашъ обѣдъ.

Знаешь, ли, мила, гдѣ я буду спать?
Тамъ, гдѣ убьютъ,
Тамъ погребутъ,
Тамъ мнѣ лежать.

Знаешь ли, кто у меня звонаремъ?
Раненыхъ стонъ,
Сабельный звонъ,
Пушечный громъ.

(Словацкая.)

Люди мнѣ сказали, будто въ полѣ тучи —
А то зачернили миленькаго очи.

Люди мнѣ сказали, поле загорѣлось —
А то у милѣва личико зардѣлось;

Люди мнѣ сказали, что гогочутъ гуси —
А то заиграли миленькаго гусли.

Люди мнѣ сказали, пролетѣла пташка —
А то забыла милого рубашка.

Люди мнѣ сказали, поле гулко стало —
Поле гулко стало — милой гонить стадо.

(Моравская.)

Ужъ не быть тому во вѣки, что прошло, что было,
Не свѣтитъ знать красну солнцу, какъ оно свѣтило!

Не знать мнѣ прежней доли съ прежней ночью-силой,
На конѣ своемъ удахомъ знать не ѣздить къ милой!

Мнѣ свѣтило красно солнце въ малое оконце,
А теперь свѣтитъ не хочетъ, частый дождикъ мочить;
Частый дождикъ, непогода, бьетъ, стучитъ въ окошко...
Заросла къ моей любезной торная дорожка.

Заросла она кустами, заросла травой,
Съ той поры, какъ я спознался съ милою другою.

(Польская.)

Дождикъ, дождикъ моросить, взмокла вся поляна
 Ахъ, люби меня, Ванюша, вѣрно, безъ обмана!
 Я люблю тебя, люблю, много, какъ умѣю;
 Коли стану измѣнять, чтобъ сломать мнѣ шею!
 Только сталъ онъ выбѣжать на большу дорогу,
 Онъ головушку сломилъ, а конь вѣрный ногу.
 Знать тебѣ не вѣренъ былъ милый твой Ванюша:
 Такъ вдругорядъ никого, дочка, ты не слушай.

(Польская, краковскъ.)

Свищутъ, свищутъ соловьи, пѣсенки заводять;
 Нынче молодцамъ не вѣрь: васъ они проводятъ;
 Нынче молодцамъ не вѣрь; да и дѣвкамъ тоже:
 Знать такая вышла мода, ни на что негожа!

(Польская, краковскъ.)

Сказываютъ люди — и что имъ за дѣло? —
 Что дѣвица съ молодцомъ вечеромъ сидѣла.

(Мадьярская.)

Два милыхъ было у меня
 Дороже всей родни,
 Да бѣдность одолѣла ихъ, —
 И умерли они.

Что одного-то милаго
 Въ саду я положу,
 Другого я сердечнаго
 Подъ сердцемъ схороню.

Полью въ саду я милаго
 Съ Дунай-рѣки водой,
 Полью дружка сердечнаго
 Горючихъ слезъ рѣкой.]

(Греческая.)

Скорѣ бросайся ты съ берега вплавь,
 Руками своими, что веслами, правь,
 А грудь молодецкую выгни рулемъ, —
 И легкимъ и быстрымъ плыви кораблемъ!
 Богъ дастъ и поможетъ Пречистая намъ.
 Ты будешь, товарищъ, сегодня же тамъ,
 Гдѣ, помнишь, мы жарили вмѣстѣ козлятъ....
 Про то, что погибъ я, не сказывай, братъ!
 А если разспрашивать станетъ родня, —
 Скажи, что въ чужбинѣ женили меня,
 Что былъ мнѣ булатъ посаженнымъ отцомъ,
 Что насъ угощали на свадьбѣ свинцомъ,
 Что мнѣ за женою моею отвели
 Въ приданое сажень косую земли.

(Греческая.)

Садилось солнце и день уходилъ,
 А Димъ полилкарамъ своимъ говорилъ:
 Неможется, дѣти! пора на покой!...
 Сходите на ужинъ себѣ за водой;
 А ты, мой Лабракисъ, одинъ мнѣ родня, —
 Ты будь капитаномъ за мѣсто меня;
 Покуда же, дѣти, вы саблей моею
 Зеленыхъ въ лѣсу нарубите вѣтвей:
 Я лягу на тѣхъ на зеленыхъ вѣтвяхъ,
 И каяться стану попу во грѣхахъ.
 Арматоломъ долго въ горахъ я служилъ,
 Албанцевъ и турокъ безъ счету побилъ;
 Но, видно, чередъ наступать и мой....
 Вы гробъ сколотите мнѣ, дѣти, большой.
 Чтобъ былъ онъ просторенъ, широкъ и высокъ,
 Чтобъ саблей въ гробу я размахивать могъ,
 Чтобъ могъ и винтовку я тамъ заряжать,
 И въ турокъ невѣрныхъ оттуда стрѣлять;
 Чтобъ было съ обѣихъ сторонъ по окну:
 Въ одно пусть мнѣ носить косатки весну,
 Къ другому летаютъ пускай соловьи,
 Пускай распѣваютъ мнѣ пѣсни свои.

(Баскская).

За пѣсни я снова —
 И пѣсня готова!
 Веселья такова
 Не знать никогда я,
 Лишь прибылъ сюда я
 Изъ вольнаго края,
 Играя
 Кипить моя кровь молодая!
 Однажды въ апрѣлѣ,
 Когда насъ хотѣли
 Опять въ цитадели
 Вести на работы —
 Мы шмыгъ подъ ворота,
 Не зная заботы,
 И съ моста
 Проворно спустились въ болота
 Когда жъ тамъ узнали,
 Что мы убѣжали,
 Ну, было печали!
 Пошли разговоры,
 И брань и укоры,
 И крики и споры,
 Гдѣ воры?
 А мы пробирались ужъ въ горы.

Нѣкоторые изъ выписанныхъ нами пѣсень переведены прекрасно, большая часть находящихся въ сборникѣ не дурно. Болѣе разборчивости при выборѣ—вотъ необходимѣйшее условіе для того, чтобы дополненный сборникъ (г. Бергъ очевидно не хочетъ останавливаться на первомъ опытѣ) получить еще большее достоинство. Впрочемъ и въ настоящемъ своемъ видѣ онъ свидѣтельствуетъ о добросовѣстной любви составителя къ своему дѣлу; многія пѣсни показываютъ въ переводчикѣ способность переводить хорошо. Русская литература должна быть благодарна г. Бергу за его прекрасное изданіе.

СТИХОТВОРЕНІЯ Н. ОГАРЕВА. Москва. 1856.

Господинъ Огаревъ никогда не пользовался шумною популярностью. Правда, критика всегда съ почетомъ говорила о немъ, когда ей, приводилось перечислять «лучшихъ нашихъ поэтовъ въ настоящее время»; правда, публика всегда уважала талантъ господина Огарева, и ей даже полюбилися нѣкоторыя изъ стихотвореній, подписанныхъ его именемъ, — кто не помнитъ прекрасныхъ пьесъ: «Старый Домъ», «Кабакъ», «Nocturno», «Младенецъ» (*Сидѣла мать у колыбели*), «Обыкновенная Повѣсть» (*Была чудесная весна*), «Еще любви безумно сердце проситъ», «Старикъ, какъ прежде, въ часъ привычный», «Проклясть бы могъ свою судьбу», и многихъ другихъ? Такъ; но, тѣмъ не менѣе, публика наша, еще въ такой свѣжести сохранившая наивную готовность увлекаться, не увлекалась поэзіей г. Огарева, и наша критика, въ послѣдніе годы творившая себѣ столько кумировъ, не разсыпалась передъ г. Огаревымъ въ тѣхъ непомѣрныхъ панегирикахъ, на которые бывала она такъ щедра въ послѣдніе годы. Произведенія г. Огарева не дѣлали шуму. Ему всегда принадлежало только тихое сочувствіе, да и то не слишкомъ многочисленной части публики.

Нѣтъ вѣроятности, чтобы даже и теперь, когда стихотворенія его, до сихъ поръ остававшіяся разсѣянными по журналамъ, собраны въ одну книгу, положеніе его въ современной литературѣ измѣнилось. Безъ сомнѣнія, всѣ журналы похвалятъ его, — но умеренно; публика будетъ читать его книгу — также умеренно. Всѣ скажутъ: «хорошо»; никто не выразитъ восторга. Поэтъ не будетъ ни огорченъ, ни удивленъ. Онъ и не требуетъ себѣ шумной славы: онъ писалъ не для нея, не рассчитывалъ на нее, быть можетъ, и не думалъ, что имѣетъ права на нее.

Поэтъ можетъ быть доволенъ. Но мы,—мы не хотимъ быть довольны за него этою полуизвѣстностью, этимъ одобреніемъ безъ горячаго чувства, этимъ почетомъ безъ лавроваго вѣнка. Мы не возражаемъ ни противъ нынѣшней публики, ни даже противъ нынѣшней критики: быть можетъ, та и другая правы съ своей точки зрѣнія. Но мы должны сказать, что черезъ тридцать, черезъ двадцать лѣтъ,—быть можетъ, и ближе, — это измѣнится. Холодно будутъ тогда вспоминать или вовсе не будутъ вспоминать о многихъ изъ поетовъ, кажущихся намъ теперь достойными панегириковъ, но съ любовью будетъ произноситься и часто будетъ произноситься имя г. Огарева, и позабыто оно будетъ развѣ тогда, когда забудется нашъ языкъ. Г. Огареву суждено занимать страницу въ исторіи русской литературы, чего нельзя сказать о бѣльшей части изъ писателей, нынѣ дѣлающихъ болѣе шума, нежели онъ. И когда, быть можетъ, забудутся всѣ тѣ стихотворенія, которымъ пишемъ и читаемъ мы похвалы, будетъ повторяться его «Старый Домъ»:

Старый домъ, старый другъ, посѣтилъ я
Наконецъ въ запустѣнны тебя,
И бывшее опять воскресилъ я,
И печально смотрѣлъ на тебя.

Дворъ лежалъ предо мной неметенный,
Да колодезь валился гнилой,
И въ саду не шумѣлъ листь зеленый—
Желтый глѣбъ онъ на почвѣ сырой.

Домъ стоялъ обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругомъ,
Туча сѣрая сверху ходила
И все плакала, глядя на домъ.

Я вошелъ. Тѣ же комнаты были—
Здѣсь ворчалъ недовольный старикъ;
Мы бесѣды его не любили—
Насъ страшилъ его черствый языкъ.

Вотъ и комнатка: съ другомъ, бывало,
Здѣсь мы жили умомъ и душой;
Много думъ золотыхъ возникало
Въ этой комнаткѣ прежней порой.

Въ нее звѣздочка тихо свѣтила,
Въ ней остались слова на стѣнахъ:
Ихъ въ то время рука начертила,
Когда юность кипѣла въ душахъ.

Въ этой комнатѣ счастье былое,
Дружба свѣтлая выросла тамъ..
А теперь запустѣнье глухое,
Паутины висятъ по угламъ.

И мнѣ страшно вдругъ стало. Дрожалъ я,—
На кладбищѣ я будто стоялъ,—
И родныхъ мертвецовъ вызывалъ я,
Но изъ мертвыхъ никто не возсталъ...

«Конечно, «Старый Домъ» прекрасенъ; но въ наше время было написано довольно много другихъ пьесъ, которыя надобно поставить выше его, или по мысли, или по отдѣлкѣ. За что же ему суждено прожить дольше, нежели всѣмъ имъ?» Не знаетъ, есть ли въ нынѣшней русской литературѣ произведенія болѣе прекрасныя; но дѣло въ томъ, что «Старый Домъ» принадлежитъ исторіи, какъ принадлежатъ ей вообще жизнь и произведенія г. Огарева: счастье, или, вѣрнѣе сказать, достоинство, которое достается на долю немногимъ избранникамъ. Да, г. Огаревъ имѣетъ право занимать одну изъ самыхъ блестящихъ и чистыхъ страницъ въ исторіи нашей литературы. Мы отчасти излагаемъ эти права, говоря въ «Очеркахъ гоголевскаго періода» о развитіи русской литературы въ сороковыхъ годахъ и о соединеніи въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1840—1846) замѣчательнѣйшихъ людей тогдашняго молодого поколѣнія. Но тамъ, конечно, мы говоримъ не въ частности о г. Огаревѣ, а вообще о школѣ, къ которой принадлежалъ онъ. Здѣсь мы пользуемся случаемъ, чтобы въ поэзіи его показать отпечатокъ школы, въ которой воспитался его талантъ.

Знали ли вы когда нибудь восторженную дружбу? Если не владѣло вами это чувство хотя въ порѣ молодости, вы, быть можетъ, улыбнетесь. Но итъ, не спѣшите смѣяться: смѣяться и мы любимъ, но не надъ тѣмъ, что было необходимо и оказалось благотворно въ историческомъ развитіи. Патроклъ не Дафнисъ, созданный праздною: онъ необходимое лицо въ «Иліадѣ» Сколько извѣстно, никто не доказывалъ противнаго. Да и Троя, если не имъ

взята, то безъ него не была бы взята. Быть можетъ, теперь наше развитіе имѣетъ довольно твердыя опоры и безъ восторженныхъ чувствъ (а быть можетъ, по недостатку ихъ и замедлилось оно). Но то несомнѣнно, что двадцать лѣтъ тому назадъ энтузіазмъ этотъ былъ очень сильнымъ дѣятелемъ въ нравственномъ развитіи нашего общества, или чтобы выразиться точнѣе, лучшихъ его представителей; и преимущественно его энергическому стремленію обязана своею силою дѣятельность людей, которымъ, въ свою очередь, мы обязаны тѣмъ, что въ настоящее время имѣемъ хотя какую нибудь литературу, хотя какія нибудь убѣжденія, хотя какую нибудь потребность мыслить. Но мы, кажется, отклонились отъ предмета: вѣдь мы хотѣли говорить объ одной изъ сторонъ поэзіи г. Огарева. Чтобы найти переходъ къ ней отъ этого эпизода, скажемъ, что этимъ энтузіазмомъ проникнутъ былъ и г. Огаревъ. Честь ему за то, что онъ остался вѣренъ своему чувству: доказательство вѣрности—стихотвореніе, которое поставлено первымъ въ его книгѣ, какъ бы замѣняя посвященіе:

ДРУЗЬЯМЪ.

Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упованьемъ,
 Мы въ жизнь вошли съ неробкою душой,
 Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ,
 Съ любовью, съ поэтической мечтой;
 И съ жизнью рано мы въ борьбу вступили,
 И юныхъ силъ мы въ битвѣ не щадили.
 Но мы вокругъ не встрѣтили участя,
 И лучшія надежды и мечты,
 Какъ листья средь осенняго ненастья,
 Попадали и сухи и желты,—
 И грустно мы остались, между нами
 Сплетая дружно голыми вѣтвями...

Въ лирической поэзіи личностью автора затмѣваются обыкновенно всѣ другія личности, о которыхъ говорить онъ. У г. Огарева напротивъ: когда онъ говоритъ о себѣ, вы видите, что изъ-за его личности выступаютъ личности тѣхъ, которыхъ любилъ или любить онъ; вы чувствуете, что и собою дорожитъ онъ только ради чувствъ, которыя питалъ онъ къ другимъ. Даже любовь, подъ которою чаще всего скрывается себялюбіе, у него чиста отъ эгои-

стического оттенка. Тѣмъ болѣе у него преданности въ дружбѣ, которая и вообще часто отличается отъ другихъ чувствъ чловѣка сильнѣйшимъ участіемъ этого качества. Когда г. Огаревъ говоритъ о своихъ друзьяхъ, онъ говоритъ, дѣйствительно, о нихъ, а не о себѣ; да когда говоритъ и о себѣ, то всегда чувствуется отсутствіе всякаго себялюбія, чувствуется, что наслажденіе жизни для такой личности заключается въ томъ, чтобы жить для другихъ, быть счастливымъ отъ счастья близкихъ и скорѣе ихъ горемъ, какъ своимъ личнымъ горемъ.

Дѣйствительно, таковы были люди, типъ которыхъ отразился въ поэзіи г. Огарева, одного изъ нихъ.

И вотъ, между прочимъ, одно изъ качествъ, по которымъ она останется достояніемъ исторіи: въ ней нашелъ себѣ выраженіе важный моментъ въ развитіи нашего общества. Лицо, чувства и мысли котораго вы узнаете изъ поэзіи г. Огарева, лицо типическое. Вотъ какъ оно обрисовано передъ вами сполна въ прекрасной пьесѣ «Монологи»:

I.

И ночь и мракъ! Какъ все томительно-пустынно!

Бессонный дождь стучитъ въ мое окно,

Блуждаетъ лучъ свѣчи, мѣняясь съ тѣнью длинной,

И на сердцѣ печально и темно.

Былые сны! душѣ разстаться съ вами больно,

Еще ловлю я призраки вдали,

Еще желаніе кипитъ въ груди неволью;

Но жизнь и мысль убила сны мои.

Мысль, мысль! какъ страшно мнѣ теперь твое движеніе,

Страшна твоя тяжелая борьба!

Грозный небесныхъ бурь несешь ты разрушеніе,

Неуловима, какъ сама судьба.

Ты миръ невинности давно во мнѣ сломила,

Меня на вѣкъ въ броженіе повлекла,

За вѣрой вѣру ты въ душѣ моей стубила,

Вчерашній свѣтъ мнѣ тьмою назвала.

Отъ прежнихъ истинъ я отрекся правды ради,

Для свѣтлыхъ сновъ на ключъ я заперъ дверь,

Листъ за листомъ я рвалъ заветныя тетради,

И все, и все изорвано теперь.

Я долженъ надъ своимъ безсиліемъ смѣяться

И видѣть вкругъ безсиліе людей,

И трудно въ правдѣ мнѣ внутри себя признаться,
 А правду высказать еще труднѣй.
 Предъ истиной покой исчезъ,
 И гордость личная, и сны любви,
 И впереди лежить пустынная дорога,
 Да тщетный жаръ еще горитъ въ крови.

II.

Скорѣй, скорѣй топи средь дикихъ волнъ разврата
 И мысль и сердце, нощу чувствъ и думъ!
 Насмѣйся надо всѣмъ, что такъ казалось свято,
 И смѣло жизнь растрать на пиръ и шумъ!
 Сюда, сюда, бокалъ съ играющею влагой!
 Сюда, вакханка! слухъ мнѣ очаруй
 Ты пѣсней полною разгульною отвагой!
 На золото продай мнѣ поцалуй..
 Вино выпить, и жечь меня лобзанье..
 Ты хороша, о, слишкомъ хороша!..
 • Зачѣмъ опять въ душѣ проснулося страданье
 И будто вздрогнула душа?
 Зачѣмъ ты хороша? забытое мной чувство,
 Красавица, зачѣмъ волнуешь вновь?
 Твоихъ томящихъ ласкъ постыдное искусство
 Ужель во мнѣ встревожило любовь?
 Любовь, любовь!.. о, нѣтъ, я только сожалѣнье,
 Погибшій ангелъ, чувствую къ тебѣ..
 Поди: ты мнѣ гадка! я чувствую презрѣнье
 Къ тебѣ, продажной, купленной рабѣ!
 Ты плачешь? Нѣтъ, не плачь. Какъ, я тебя обидѣлъ?
 Прости, прости мнѣ—это паръ вина;
 Когда бъ я не любилъ, вѣдь я бъ не ненавидѣлъ.
 Постой, душа къ тебѣ привлечена.
 Ты болѣ съ устъ моихъ не будешь знать укора.
 Забудь всю жизнь прожитую тобой,
 Забудь весь грязный путь порока и позора,
 Склонись ко мнѣ прекрасной головой,
 Страдалица любви, страдалица желанья!
 Я на душу тебѣ навѣю сны,
 Ее вновь оживить любви моей дыханье,
 Какъ бабочку дыханіе весны.
 Что жъ ты молчишь, дитя, и смотришь въ удивленьи,
 А я не пью мой налитый бокалъ?
 Проклятіе! опять ненужное мученье
 Внутри души я гдѣ-то отыскалъ!

Но на плечо ко мнѣ она, склоняся, дремлетъ,
 И что во мнѣ—ей непонятно то.
 Недвижно я гляжу, какъ сонъ ей грудь подѣмлетъ,
 И глупо трачу сердце за ничто!

III.

Чего хочу?... Чего?.. О, такъ желаній много,
 Такъ къ выходу ихъ силѣ нуженъ путь,
 Что, кажется порой, ихъ внутренней тревогой
 Сожжется мозгъ и разорвется грудь.
 Чего хочу?—всего, со всею полнотою!
 Я жажду знать, я подвиговъ хочу!
 Еще хочу любить съ безумною тоскою,
 Весь трепеть жизни чувствовать хочу!
 А втайнѣ чувствую, что всѣ желанья тщетны,
 И жизнь скупа и внутренно я хилъ;
 Мои стремленія замолкнуть безотвѣтны,
 Въ попыткахъ я запасъ растрочу силъ.
 Я самъ себя кажусь подавленный страданьемъ,
 Какимъ-то жалкимъ, маленькимъ глупцомъ,
 Среди безбрежности, затеряннымъ созданьемъ,
 Томящимся въ броженіи пустомъ...
 Духъ вѣчности обнять заразъ не въ нашей долѣ,
 А чашу жизни пьемъ мы по глоткамъ:
 О томъ, что выпито, мы все жалѣемъ боги,
 Пустое дно все больше видно намъ;
 И съ каждымъ днемъ душѣ тяжеле устарѣлость,
 Больнѣе помнить, и страшнѣе желать,
 И, кажется, что жизнь—отчаянная смѣлость.
 Но биться пульсъ не можетъ перестать,
 И дальше я живу въ стремленіи безотрадномъ,
 И жизни крестъ беру я на себя
 И весь душевный жаръ несу въ движеніи жадномъ,
 За мигомъ мигъ хватая и губя.
 И все хочу!.. Чего?.. О, такъ желаній много,
 Такъ къ выходу ихъ силѣ нуженъ путь,
 Что, кажется порой, ихъ внутренней тревогой
 Сожжется мозгъ и разорвется грудь.

IV.

Какъ школьникъ на скамьѣ, опять сижу я въ школѣ
 И съ жадностью внимаю и молчу;
 Пусть длиненъ знанья путь, но духъ мой крѣпокъ волей,
 Не страшенъ трудъ—я вѣрю и хочу.

Вокругъ все юноши: учительское слово,
 Какъ я, они всѣ слушаютъ въ тиши;
 Для нихъ все истина, имъ все еще такъ ново,
 Въ нихъ судить пылъ неопытной души.
 Но я уже сюда явился съ мыслью зрѣлой,
 Сомнѣніемъ испытанной боецъ,
 Но не убитый имъ... Я съ призраками смѣло
 И искренно расцелся наконецъ;
 Я отстоялъ себя отъ внутренней тревоги,
 Съ терпѣніемъ пустился въ новый путь
 И не собою теперь съ рассчитанной дороги—
 Свободна мысль, и силой дышитъ грудь.
 Что Мефистофель мой, завистникъ заколѣбанный?
 Отнынѣ власть твою разрушилъ я,
 Болѣзненную власть насмѣшки устарѣлой;
 Я скорбью многой выкупилъ себя.
 Теперь товарищъ мнѣ иной духъ отрицанья:
 Не тотъ насмѣшникъ черствый и больной,
 Но тотъ всеильный духъ движенія и созданья,
 Тотъ вѣчно юный, новый и живой.
 Въ борьбѣ безстрашенъ онъ, ему губить—отрада,
 Изъ праха онъ все строитъ вновь и вновь,
 И ненависть его къ тому, что рушить надо.
 Душа свята, такъ какъ свята любовь.

Быть можетъ, многіе изъ насъ приготовлены теперь къ тому
 чтобы слышать другія рѣчи, въ которыхъ слабѣе отзывалось бы
 мученіе внутренней борьбы, въ которыхъ раньше и всевластнѣе
 являлся бы новый духъ, изгоняющій Мефистофеля,—рѣчи человѣка,
 который становится во главѣ историческаго движенія съ свѣжими
 силами; но когда-то мы услышимъ такія рѣчи?—да и въ самомъ
 ли дѣлѣ многіе изъ насъ приготовлены къ тому, чтобы слышать и
 понять ихъ? И тѣ, которые дѣйствительно, готовы, знаютъ, что
 если они могутъ теперь сдѣлать шагъ впередъ, то благодаря тому
 только, что дорога проложена и очищена для нихъ борьбою ихъ
 предшественниковъ, и больше, нежели кто нибудь, почтутъ дѣятель-
 ность своихъ учителей. Онѣгинъ смѣнился Печоринымъ, Печоринъ—
 Бельтовымъ и Рудинымъ. Мы слышали отъ самого Рудина, что время
 его прошло; но онъ не указалъ намъ еще никого, кто бы замѣнилъ
 его, и мы еще не знаемъ, скоро ли мы дождемся ему преемника.
 Мы ждемъ еще этого преемника, который привыкнувъ къ истинѣ
 съ дѣтства, не съ трепетнымъ экстазомъ, а съ радостною любовью

смотреть на нее; мы ждемъ такого человѣка и его рѣчи, бодрѣйшей, вмѣстѣ спокойнѣйшей и рѣшительнѣйшей рѣчи, въ которой слышалась бы не робость теоріи передъ жизнью, а доказательство, что разумъ можетъ владычествовать надъ жизнью и человѣкъ можетъ свою жизнь согласить съ своими убѣжденіями.

И вотъ потому то, между прочимъ, что онъ одинъ изъ представителей своей эпохи, г. Огареву принадлежитъ почетное мѣсто въ исторіи русской литературы—слава, которая суждена очень не многимъ изъ нынѣшнихъ дѣятелей. Есть у него и другія права—о нихъ мы отчасти говоримъ въ нашихъ «Очеркахъ», и подробнѣе будемъ говорить когда нибудь, при первой возможности.

Но мы все говоримъ объ историческомъ значеніи дѣятельности г. Огарева, а еще не сказали своего мнѣнія о чисто поэтическомъ достоинствѣ его стихотвореній. Правда, кто знаетъ, что такое истинная слава, тотъ право на доброе слово исторіи поставить выше всякаго блеска. Но вѣдь историческое значеніе поэта должно же отчасти основываться на чисто поэтическомъ достоинствѣ его произведеній. Мы не касались этой стороны произведеній г. Огарева, потому что надѣемся черезъ нѣсколько времени помѣстить статью, въ которой будетъ разобранъ поэтический талантъ г. Огарева.

СОБРАНІЕ СТИХОТВОРЕНІЙ В. ВЕНЕДИКТОВА.

Три тома. Спб. 1856.

Литературная карьера была несчастна для г. Венедиктова. Главною бѣдою его, изъ которой произошли всѣ послѣдующія непріятности, надобно считать то, что первая книжка стихотвореній, изданная имъ въ 1835 году, доставила автору многочисленныхъ почитателей и почитательницъ. Какимъ образомъ могла она произвести такое впечатлѣніе, мы никогда не понимали и до сихъ поръ не понимаемъ, потому что даже тѣ качества, которыми восхищались поклонники г. Венедиктова, вовсе не имѣютъ чрезвычайнаго блеска, которымъ извинялось бы оболъщенье: великолѣпія въ стихѣ нѣтъ, сладострастіе въ картинахъ женской красоты и чувственной любви очень холодно и вяло. Одного только нельзя отрицать: языкъ, дѣйствительно, испещренъ и кудреватъ до неимовѣрности, а метафоры неправдоподобно смѣлы и безчисленны. Только на этомъ и могъ основываться успѣхъ. Но, какъ бы то ни было, успѣхъ этотъ былъ пагубенъ г. Венедиктову, обративъ на него вниманіе читателей съ развитымъ вкусомъ и критики. Счастливы г. Тимоѣевъ, г. Бернетъ, фонъ-Лизандеръ, Якубовичъ и другіе: они прошли незамѣченными, за то и мало терпѣли отъ насмѣшекъ, — а г. Венедиктову, по какому то губительному счастью, суждено было надѣлать шуму, — и шумъ этотъ вызвалъ голосъ критики и образованной части публики... Завидна участь скромныхъ лилій, поблекнувшихъ въ безвѣстности, т. е. Якубовича, Стромиллова, Гогніева и другихъ.

Подвергся г. Венедиктовъ и другому несчастію въ самомъ началѣ своего поэтическаго поприща. Одному ученому цѣнителю изящнаго, знаменитому своими многочисленными промахами, почему то

вздумалось краснорѣчиво объявить, что г. Бенедиктовъ есть по преимуществу поэтъ мысли. Это былъ самый странный изъ всѣхъ возможныхъ промаховъ. Статья была такъ поразительна своею несообразностью съ разсудкомъ, что до сихъ поръ никто изъ читавшихъ ее не можетъ забыть о ней, хотя прошло съ того времени уже двадцать одинъ годъ.

Эти два пагубныя обстоятельства, въ которыхъ г. Бенедиктовъ былъ нисколько не виноватъ, нанесли ему безчисленный и безконечный вредъ. Являлся ли нумеръ журнала, являлся ли какой нибудь сборникъ съ стихотвореніями разныхъ служителей Феба и, между прочимъ, стихотвореніями г. Бенедиктова,—о стихахъ Коптева, Кропоткина, Крешева и т. д. или великодушно умалчивалось, или слегка упоминалось, что они плохи,—Коптевъ, Кропоткинъ, Крешевъ писатели темные: съ нихъ взыскивать нечего; но о стихахъ г. Бенедиктова нельзя было не говорить: вѣдь онъ писатель, имѣющій толпу поклонниковъ и поклонницъ, раскупившихъ три изданія первой части его стихотвореній... И начинала критика разбирать новое стихотвореніе г. Бенедиктова... И каковы были эти разборы! Вотъ, напримѣръ, отрывокъ изъ статьи «Отечественныхъ Записокъ», написанной о третьемъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ»:

«Г. Бенедиктовъ снабдилъ свой портретъ пятью стихотвореніями. Посмотримъ на нихъ и начнемъ съ перваго.

«Лебедь плаваетъ на водѣ «въ державной красотѣ», и у него завязывается съ поэтомъ пренеприятный разговоръ; г. Бенедиктовъ спрашиваетъ его:

Что такъ гордо, лебедь бѣлый,
Ты гуляешь по струямъ?
Иль свершилъ ты подвигъ смѣлый?
Иль принесъ ты пользу намъ?

Лебедь отвѣчаетъ г. Бенедиктову, что онъ «спрадно нѣжится въ водномъ хрусталѣ», но что онъ не даромъ «упитанъ гордымъ духомъ на землѣ», и именно вотъ почему:

Жизнь мою переплывая, (?)
Я въ водахъ омытъ отъ зла, (?)
И не давить грязь земная
Мнѣ свободного крыла.
Отряхнусь—и сухъ я стану;
Встрепечусь—и серебристь; (?)
Запылюсь—я въ волны прыну;
Окунусь и снова чистъ.

«Читатель, можетъ быть, спросить, что значить «переплывать свою жизнь» и, пожалуй, не найдетъ смысла въ этой фразѣ; можетъ быть, также не пойметъ, какъ можно омываться водою отъ зла кому нибудь, а тѣмъ болѣе лебедю, который, какъ животное, злу не причастенъ, а развѣ грязи, которую вода, дѣйствительно, имѣетъ способность смывать; еще, можетъ быть, читателю покажутся смѣшными послѣдніе четыре стиха, какъ риторическая стукотня пошлаго тона, а второй стихъ не понятенъ. Но мы совѣтуемъ вамъ не быть слишкомъ строгими и придирчивыми и не забывать, что вѣдь все это говорить птица, животное, которому простительнѣе, нежели людямъ, говорить вздоръ.

«Далѣе, лебедь, видя, что г. Венедиктовъ благосклонно слушаетъ его болтовню и не останавливаетъ его, утверждаетъ рѣшительную нецѣпость, будто человѣкъ никогда не слыхивалъ лебединого крика (который поэты величаютъ пѣніемъ) на томъ основаніи, что

Лебединыхъ сладкихъ пѣсенъ
Недостойнъ человѣкъ.

Вслѣдствіе сего обстоятельства, онъ, реченный лебедь, и поетъ только для неба, да и то лишь въ предсмертный часъ свой. Но пѣніе не мѣшаетъ лебедю заблаговременно распорядиться своею духовною. Во первыхъ, онъ даетъ поэту «чудотворное» перо изъ своихъ «крылій»,

И надъ міромъ, какъ изъ тучи.
Брызнуть молніи созвучій
Съ вдохновеннаго пера.

Теперь ясно, отчего одни поэты поютъ сладко, а другіе такъ отвратительно: первые пишутъ лебединымъ перомъ, а вторые—гусинымъ. Конечно, если хотите, хорошій поэтъ и гусинымъ перомъ будетъ писать недурно, но все не такъ, какъ лебединымъ, потому что, владея этимъ «чудотворнымъ» орудіемъ, онъ дѣлается «пѣвучимъ наслѣдникомъ» лебеда. *Avis aux roëtes!* Потомъ лебедь завѣщаетъ для изголовья милой дѣвы мягкій пухъ съ мертвенно-остылой груди, въ которой виталъ летучій духъ!.. И этому пуху дѣва, въ иѣмную ночь, вѣрить, възъ-подъ внутренней грозы, роковую тайну пламенной слезы,

И, согрѣтъ ея дыханіемъ,
Этотъ пухъ начнетъ дышать
И упругимъ колыханьемъ
Бурнымъ перьямъ отвѣчать.

Подумаешь, сколько хорошаго можетъ надѣлать одинъ лебедь! А все отчего? оттого, что онъ отряхнется—и станетъ сухъ, встрепетется—станетъ серебристъ, запылится—и поскорѣе въ волны, окунется—и какъ ни въ чемъ не бывалъ! Оттого онъ и пѣсни поетъ небу и перо даритъ поэту, а пухъ—красавицѣ! А затѣмъ... но пусть онъ вамъ самъ скажетъ, что будетъ съ нимъ затѣмъ: онъ такъ хорошо говорить, что хочется и еще послушать его:

Я исчезну,—и средь влаги,
Гдѣ скользнулъ я, полнѣ отваги,
Не увидитъ міръ слѣда;
А на мѣстѣ, гдѣ плескаться
Такъ любилъ я иногда,
Будетъ тихо отражаться
Неба мирная звѣзда.

«Но что же изъ всего этого? какой результатъ, какой смыслъ, какая мысль, какое, наконецъ, впечатлѣніе въ умѣ читателя? Ничего, ровно ничего, больше, чѣмъ ничего—стихи, и только... Чего жъ вамъ больше? Не все же гоняться за смысломъ—не мѣшаетъ иногда удовольствоваться и одними стихами.

«Однажды, въ поэтическую минуту, вниманіе г. Венедиктова привлекла—

Отъ женской головы отъятая коса,
Достойная любви, восторговъ и стenanій,
Густая, черная, сплетенная въ три грани,
Изъ страшной тѣмы могилъ испедная на свѣтъ,
Не измѣненная подъ тысячами лѣтъ,
Межъ тѣмъ, какъ столько косъ, съ ихъ царственной красою,
Иссклось времени нещадною косю.

«Надо согласиться, что было надъ чѣмъ попризадуматься, особенно поэту
Не диво мнѣ—говорить г. Венедиктовъ—что діадемы не гниютъ въ землѣ:

Въ нихъ рдѣло золото—прельстительный металл!
Онъ время соблазнить и вѣчность онъ подкупить,—
И та ему удѣлъ нетлѣнныя уступитъ.

«Эта удивительная фраза о соблазнѣ времени и подкупѣ вѣчности золотомъ, какъ будто бы время—женщина, а вѣчность—подъячій,—эта несравненная фраза даетъ надежду, что г. Венедиктовъ скажетъ когда-нибудь, что гранить и желѣзо запугиваютъ или застрашиваютъ время и вѣчность, и эта будущая фраза, подобно нынѣшней, будетъ тѣмъ громче и блестящее, чѣмъ безсмысленнѣе. Итакъ, неудивительно, что золото не гниетъ въ землѣ: но какъ же коса-то уцѣлѣла?

Ужели ли она
Всевластной прелестью надъ временемъ сильна?
И вѣчность жадная на этотъ даръ прекрасный,
Глядѣла издали съ улыбкой сладострастной?

«Часъ отъ часу не легче! Вѣчность доступна обобщенію, подкупу! вѣчность сладострастна! Какая негодница!.. Но что жъ дальше? Дальше общія мѣста по риторикѣ г. Кошанскаго: гдѣ глаза этой косы, которые сводили съ

ума диктаторовъ, царей, консуловъ, мутили весь міръ, въ которыхъ были свѣтъ, жизнь, любовь, душа, въ которыхъ «пировало безсмертіе» (?!?!...) и т. п. Гдѣ жъ они?

И тихо выказалъ ослабленный скелетъ
На желтомъ черепѣ два страшные провала.

Откуда же взялся черепъ? Вѣдь дѣло о костѣ, «отъятой отъ женской головы»?
Подите съ поэтами! спрашивайте у нихъ толку!..

«Въ третьемъ стихотвореніи г. Бенедиктовъ бранить толпу, и, надо сказать, довольно недурно, еслибъ только онъ поостерегся отъ персидскихъ метафоръ, въ родѣ слѣдующихъ: «полотно широкой думы пламенѣетъ подъ краской чувства», «громъ искрометной ризмы» и т. п. вычурностей пошлаго тона. Въ четвертомъ стихотвореніи г. Бенедиктовъ рассказываетъ намъ, какъ невинно и духовно взиралъ онъ на грудь «дѣвы стройной»:

Любуясь красотой сей выси благодатной,
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной,
.
Онъ чувство новое въ груди своей питалъ;
Поклонникъ чистыхъ музъ—желаньемъ не сгоралъ
Удава кольцами вкругъ милой обвиваться,
Когтями ястреба въ пухъ лебеди впиваться.

«Какіе сильные, и главное, какіе изящные и благородные образы!..

«Нельзя не согласится, что г. Бенедиктовъ—поэтъ столько же смѣлый, сколько и оригинальный. У него есть свои поклонники, и мелкіе рифмачи даже пишутъ къ нему посланія стихами, въ которыхъ не знаютъ, какъ и изъяснить ему свое удивленіе. Нашелся даже критикъ, который поставилъ его выше всѣхъ поэтовъ русскихъ, не исключая и Пушкина. Само собою разумѣется, что предметъ поклоненія всегда бываетъ выше своихъ поклонниковъ; а такъ какъ почитателей таланта г. Бенедиктова даже и теперь тѣмъ-тѣмущая, то и нельзя не согласится, что г. Бенедиктовъ есть въ своемъ родѣ замѣчательное явленіе въ русской литературѣ, какъ были въ ней замѣчательны, напримѣръ, Марлинскій и г. Языковъ. Конечно, подобная «замѣчательность» ненадежна и недолговременна, но все же она имѣетъ свое значеніе, потому что основана не на одномъ только дурномъ вкусѣ эпохи или значительной, по большинству, части публики но также и на талантѣ своего рода. Но мы уже не разъ говорили, что есть таланты, которые служатъ искусству положительно, и есть другіе которые ему служатъ отрицательно: произведенія первыхъ приводятся эстетиками, какъ примѣры истиннаго и правильнаго хода искусства; произведенія вторыхъ служатъ для примѣровъ ложнаго и фальшиваго направленія искусства. Это бываетъ не съ одними лицами, но и съ народами: для образцовъ изящнаго вкуса смѣло пользуйтесь греками, для образцовъ дурнаго вкуса смѣло обращайтесь къ китайцамъ и у послѣднихъ берите только лучшихъ художниковъ и лучшія произведенія. Муза г. Бенедиктова—женщина средней руки если хотите не дурная собою, даже хорошенькая, но съ пошлымъ выраженіемъ лица, бойкая, вертлявая и болтливая, но безъ граціи и достоинства, страш-

ная щеголиха, но безъ вкуса; она любитъ бѣлила и румяна, хотя бы могла обходиться и безъ нихъ, любитъ пестроту и яркость въ нарядѣ и, за неимѣніемъ брильянтовъ, охотно бременить себя стразами; ей мало серегъ: подобно индѣйской баядерѣ, она готова носить золотыя кольца даже въ поздряхъ. Все это относится только къ выраженію въ поэзіи г. Бенедиктова. Разложить стихотвореніе г. Бенедиктова на составные элементы, пересказать его содержаніе изъ него же взятыми и нѣсколько не измѣненными фразами, всегда значитъ обратить его въ пустоту и ничтожество». («Отечественныя записки» 1845 г., № 9, Критика, стр. 13—15).

А вотъ другой отрывокъ изъ разбора Альманаха «Метеоръ»; онъ взятъ также изъ «Отечественныхъ Записокъ» за тотъ же годъ.

«Въ «Метеорѣ» доставило намъ истинное удовольствіе, до слезъ развеселило насъ стихотвореніе г. Бенедиктова: «Тостъ». Не можемъ отказать себѣ въ наслажденіи, подѣлиться съ читателями нашимъ весельемъ.

Часто рдѣють, словно розы,
И въ развалъ ихъ вновь и вновь
Винограда брызнуть слезы,
Нервный сокъ (?) его и кровь.
Эти чаши днесъ воздымемъ.
И, склонивъ къ устамъ края,
Влагу свѣтлую примемъ
Въ честь и славу бытія,
Общей жизни въ честь и славу,
За ея всесвѣтныи тронъ,
И всемірную державу
Поглотить струю кроваву
До осушки стѣяныхъ донъ!

«Стихотвореніе это столько же огромно, сколько и прекрасно: всего нельзя выписать; ограничимся лучшимъ:

Жизнь сіяй! Твой свѣточъ—разумъ.
Да не меркнетъ подъ тобой
Свѣтъ сей, вставленный алмазомъ
Въ перстень вѣчности самой:

«Удивительно! Разумъ сперва является свѣточемъ жизни, потомъ уходитъ подъ жизнь и наконецъ дѣлается алмазомъ и попадаетъ въ перстень вѣчности! Какая глубокая мысль—ничего не поймешь въ ней! Господа современные русскіе стихотворцы, объясните намъ смыслъ этой глубокой мысли: тысячи чудовъ російскихъ стихотвореній въ награду.

Вѣнчанъ лавромъ или миртомъ —
На подобіе сихъ чашъ,
Буди налить черепъ нашъ
Сокомъ думъ и мысли спиртомъ!

Браво! брависсимо! Наподобіе чашъ, налить черепа живыхъ (физически) людей сокомъ думъ и спиртомъ мысли: какая счастливая, оригинальная мысль! Жаль только, что она будетъ въ подрывъ откупамъ и погребамъ.

Пъемъ за милыхъ — вѣстницъ рая —
За красы ихъ, начиная
Съ полныхъ мрака и лучей
Зажигательныхъ очей,
Томныхъ, нѣжныхъ и упорныхъ,
Цвѣтомъ всяческихъ-цвѣтныхъ,
Сѣрыхъ, карихъ, адски-черныхъ
И небесно-голубыхъ!
За здоровье устъ румяныхъ
Блѣдныхъ, алыхъ и багряныхъ —
Этихъ движущихся струй,
Гдѣ дыханье пламенѣть,
Рѣчь дрожить, улыбка, мѣлеть
Пышетъ вѣчный поцѣлуй!
Въ честь кудрей благоуханныхъ;
Легкихъ, дымчатыхъ, туманныхъ,
Свѣтло-русыхъ, золотыхъ,
Темныхъ, черныхъ, рассыпныхъ,
Съ ихъ неистовымъ извивомъ,
Съ искрой, съ отблескомъ, съ отливомъ.
И закрученныхъ, какъ сталь.
Въ безконечную спираль!

«Далѣе поэтъ настаиваетъ въ своемъ намѣреніи восшествіе юныхъ дѣвъ и добрыхъ женъ.

Сихъ богинь огне-сердечныхъ,
Кѣмъ міръ цѣлый проведенъ
Черезъ святыню персей млечныхъ,
Колыбели и пеленъ.

.

Этихъ горлицъ, этихъ львицъ,
Расточительницъ блаженства
И страданія царницъ!

«Молніеносными чертами рисуетъ потомъ поэтъ географію и анатомію Россіи:

Чудный край! черезъ Алтай
Бросивъ локоть на Китай,
Темя вспрыснувъ Океаномъ,
Въ Балтъ ребромъ, плечемъ въ Атлантъ (!).
Въ полюсь лбомъ, пятой къ Балканамъ
Мощный тянется (!) гигантъ.

«Потомъ поэтъ, придя въ вѣщій восторгъ, предлагаетъ выпить сока думъ и спирта мысли—

Въ славу солнечной системы,
Въ честь и солнца и планетъ,
И дружинъ огне-крылатыхъ
Длинно-хвостыхъ, бородатыхъ
Быстрыхъ, бѣшеныхъ кометъ.

Наконецъ ему показалось, что земля

Мчится въ пляскѣ круговой
Въ парѣ съ вѣрною луной,—

что «всѣ міры таячуютъ»...

«Жалѣемъ, что не могли выписать этого дивнаго диенрамба вполне: въ немъ еще осталось столько соку думъ и спирта мысли!... Правъ, тысячу разъ правъ г. Шевыревъ, доказавшій, что до г. Бенедиктова въ русской поэзіи не было мысли, и что Державинъ, Крыловъ, Жуковский, Батюшковъ, Пушкинъ—поэты безъ мысли. Да, только съ появленіемъ книжки стихотвореній г. Бенедиктова русская поэзія пренеспоинилась не только мыслию, но и сокомъ думъ и спиртомъ мысли...» («Отечественныя Записки» 1845 г., № 5. Библиогр., стр. 18—15).

Не ужасны ли эти насмѣшки? Положимъ, что онѣ справедливы; но чѣмъ же виновать г. Бенедиктовъ въ томъ, что его стихотворенія заслуживаютъ такихъ насмѣшекъ?

Еще прискорбнѣе читать пародіи на стихотворенія г. Бенедиктова, потому что рѣшительно не видишь, чѣмъ стихотворенія его отличаются отъ пародій, на нихъ написанныхъ. Вотъ, напримѣръ, пусть человѣкъ, которому бы не было памятно, какія изъ шести приведенныхъ нами стихотвореній — подлинныя стихотворенія, а какія—пародіи на нихъ, — пусть такой человѣкъ различитъ пародіи отъ стихотвореній:

I.

Есть мгновенья думъ упорныхъ
Разрушительно-тлетворныхъ,
Мрачныхъ, буйныхъ, адски-черныхъ,
Сихъ—опасныхъ, какъ чума—
Расточительницъ несчастья,
Вѣстницъ зла, воровокъ счастья
И гасительницъ ума!

Вотъ въ неистовствѣ разбоя
Въ грудь вломились, яро воя—

Все вверхъ дномъ! И цѣлый адъ
 Тамъ, гдѣ часть тому назадъ
 Яркимъ, радужнымъ алмазомъ
 Пламенѣлъ твой свѣточъ, разумъ!
 Гдѣ любовь, добро и миръ
 Пировали честный пиръ!
 Адъ сей—въ комъ изъ земнородныхъ
 Отъ степей и нивъ безплодныхъ
 Сихъ отчаянныхъ краевъ,
 Полномъ хлада и сѣговъ—
 Отъ Камчатки лдяно-реброй
 До береговъ отчины доброй,—
 Въ комъ онъ бурно не кипѣлъ?
 Кто его—страстей изъятый,
 Безсердечіемъ богатый —
 Не воссѣствовать посмѣлъ?
 Адъ сей—ревностью онъ кинуть
 Въ душу смертнаго. Раздвинуть
 Для него широкій путь
 Въ человѣческую грудь....
 Онъ грядетъ съ огнемъ и трескомъ,
 Онъ ласкательно извить,
 Все инымъ кровавымъ блескомъ
 Обольетъ и превратитъ
 Міръ въ темницу, радость—въ муку,
 Счастье—въ скорбь, веселье—въ скуку,
 Жизнь—въ кладбище, слезы—въ кровь,
 Въ адъ и ненависть—любовь!
 Половъ чувствъ огнепалаяхъ,
 Вопіющихъ и томящихъ,
 Проживаетъ человѣкъ
 Въ страшный мигъ тотъ цѣлый вѣкъ!

II.

Нѣтъ, красавица, напрасно,
 Твой языкъ лепечетъ мнѣ,
 Что родилась ты въ ненастной,
 Нашей хладной сторонѣ.
 Нѣтъ, не вѣрю: издалика
 Вѣтеръ къ намъ тебя завлекъ;
 Ты жемчужина Востока,
 Поля жаркаго цвѣтокъ!
 Черный глазъ и черный волосъ —
 Все не нашихъ русскихъ дѣвъ,

И въ рѣчи кипитъ твой голодъ,
 А не тянется въ распѣвъ:
 Вольной зыбью океана
 Грудь волнуется твоя,
 И извивъ живаго стана —
 Азіатская змѣя.

Ты глядишь очей не жмура,
 И въ очахъ горитъ смола,
 И тропическая буря
 Дышетъ пламенемъ съ чеда,
 Фосфоръ — въ бѣшеное сверканье —
 Взгляды быстрые твои,
 И сладчайшее дыханье
 Вѣетъ мускусомъ любви, —
 И какой-то силой скрытной
 Ты, волшебница, полна,
 Притягательно-магнитной
 Сферой вся обведена.
 Сынъ желѣза — сѣверянинеъ
 Этой силой отуманенъ,
 На тебя наводитъ взоръ —
 И предъ этимъ обаяньемъ,
 Ограждаясь разстояньемъ,
 Еле держится въ упоръ.
 Лишь нарушится только мѣра,
 Полъ-шага ступи впередъ,
 Обаятельная сфера
 Такъ и тянется, такъ и жжетъ!
 Нѣтъ, не вѣрю: ты не близко
 Рождена: твои черты
 Говорятъ: султанша ты,
 Ты Зюлейка, одалиска,
 Верхъ восточной красоты!

III.

Съ эффектомъ громовымъ, побѣдно и мятежно
 Ты въ міръ пронеслась кометой неизбежной
 И бѣдныхъ юношей толпами напавалъ,
 Какъ молнія, твой взоръ и жегъ и убивалъ!
 Я помню этотъ взглядъ фосфорно-ядовитый
 И локонъ смоляной, твоимъ искусствомъ взбитый,
 Небрежно падавшій до раскаленныхъ плечъ,
 И пламенемъ страстей клочущую рѣчь,

Двухолмной груди блескъ и узкой ножки стройность.
 Во всѣхъ движеніяхъ разгаръ и безпокойность
 И припекавшія лобзаньями уста —
 Вънецъ красы твоей, о дѣва-красота!
 Я помню этотъ мигъ, когда парица бала,
 По льду паркетному сильфидой ты летала
 И какъ, дыханіе въ груди моей тая,
 Взирая на тебя, страдалъ и рвался я,
 Какъ нынѣ рвуся я, безумецъ одинокій,
 Надъ сей могилою, заглохшей и далекой.

IV.

Есть чувство адское: оно вскипитъ въ крови
 И, вызвавъ демоновъ, вселитъ ихъ въ рай любви,
 Лобзанья отравить, оледенить объятія,
 Вздохъ нѣги превратить въ хрипящій вопль проклятья,
 Отнять все—и свѣтъ, и слезы у очей,
 Въ прелестительныхъ кудряхъ укажетъ свитыхъ змѣй,
 Въ улыбки алыхъ устъ—геены ослабленье,
 И въ легкомъ шопотѣ—схиднино шипѣнье.

Вотъ, вотъ прелестница! Усмѣшка по устамъ
 Ползеть, какъ свѣтлый червь по розовымъ листьямъ.
 Она—съ другимъ—нѣжна! Увлажена рѣсница;
 И наглый взоръ его сверкаетъ, какъ зарница
 По прелестямъ ея, какъ молнія скользитъ
 По персямъ трепетнымъ, впивается, явить,
 По складкамъ бархата стремительно струится
 И въ брызги адскія у ногъ ея дробится;
 То брызжетъ ей въ лицо, то лижетъ милый слѣдъ.
 Вотъ руку подала! Измѣнницы браслетъ
 Не стиснулъ ей руки.... Ужъ вотъ ея мизинца
 Коснулся этотъ левъ изъ моднаго звѣринца,
 Съ косматой гривой! — Зачѣмъ на ней надѣтъ
 Сей свѣтло-розовый мнѣ ненавистный цвѣтъ?
 Условия нѣтъ ли здѣсь? Въ васъ тайныхъ знаковъ нѣтъ ли,
 Извинченныхъ кудрей предательскія петли?
 Въ васъ, пряди черныхъ косъ, подернутыя мглой?
 Въ васъ, верви адскія, залитыя смолой,
 Щипцами демоновъ закрученные свитки,
 Снаряды колдовства, орудья вѣчной пытки?

V.

О, какъ быстра твоихъ очей
 Огнемъ напитанная влага!

Отъ нихъ — и тысячи смертей
И море жизненнаго блага!
Онѣ, одѣтыя черно,
Горятъ во мракѣ сей одежды;
Сей трауръ имъ носить дано
По тѣхъ, которымъ суждено
Отъ нихъ погибнуть безъ надежды.
Быть можетъ, въ сумракѣ земномъ
Ихъ пламя для того явилось,
Чтобъ небо звѣздъ своихъ огнемъ
Передъ землею не гордилося, —
Или оттолъ, гдѣ звѣздъ ряды
Крестить эеръ лучей браздами,
Упали былыхъ двѣ звѣзды
И стали черными звѣздами.
Порой въ нихъ страсть: ограждены
Двойными иглами рѣсницы,
Они на мѣръ наведены
И смотрять ужасомъ темницы,
Гдѣ черезъ эти два окна
Чернѣетъ страшно глубина, —
И поглотить мѣръ цѣлый хочетъ
Та всеобъемлющая мгла,
И тамъ кипящая влокочетъ
Густая черная смола;
Тамъ адъ; но муки роковыя
Радъ каждый взять себѣ на часть,
Чтобъ только въ этотъ адъ попастьъ,
Проникнуть въ бездны огневныя,
Отдаться демонамъ во власть,
Истратить разомъ жизни силы,
Перекипѣть, перегорѣть,
Кончаясь, трепетать и млѣть
И, какъ въ бездонныхъ двѣ могилы,
Все въ тѣ глаза смотрѣть, смотрѣть.

VI.

Вотъ она, звѣзда Востока,
Неба жаркаго цвѣтокъ!
Въ сердце дѣвы страстно-окой
Льется пламени потокъ!

Груди бьются, будто волны,
Пухъ на дѣвственныхъ щекахъ
И, роскошной нѣги полны,
Рдѣютъ розы на устахъ;

Брови черныя дугою
И зубовъ жемчужный рядъ,
Очи — звѣзды подо мглою —
Провозвѣстники отрадь!

Все любовію огнистой,
Сумасбродствомъ дышетъ въ ней,
И курчаво-смолянистый
На плечъ побѣгъ кудрей....

Дѣва юга! Предъ тобою
Бездыханенъ я стою:
Взоромъ адскихъ, какъ стрѣлою,
Ты пронзила грудь мою!

Этимъ взоромъ, этимъ взглядомъ —
Чаровница! — ты мнѣ вновь
Азіятскимъ злѣйшимъ ядомъ
Отравила въ сердцахъ кровь!

Изъ этихъ шести стихотвореній, три принадлежатъ г. Бенедиктову, другія три написаны какъ пародіи на его манеру. Но читатель, не знавшій предварительно, которыя именно стихотворенія относятся къ первому, которыя къ послѣднему классу, навѣрное, не будетъ въ состояніи избѣгать ошибокъ при различеніи подлинныхъ стихотвореній отъ пародій. Это очень огорчительно.

Двадцать лѣтъ постоянно быть предметомъ безчисленныхъ разборовъ, подобныхъ тѣмъ, какіе приведены выше—судьба, которая можетъ поселить состраданіе въ душѣ самаго суроваго судьи.

Намъ очень тяжела была необходимость говорить о стихотвореніяхъ г. Бенедиктова, потому что мы не видѣли возможности измѣнить сужденіе, которое безчисленное количество разъ было произнесимо различными журналами о достоинствѣ его произведенія. Но мы надѣялись, что найдемъ, по крайней мѣрѣ, какую нибудь возможность смягчить это сужденіе. Изъ сожалѣнія о грустной судьбѣ этихъ стихотвореній, мы перечитывали изданные теперь три тома, расположивъ себя къ величайшей снисходительности, проникнувшись желаніемъ найти въ нихъ что нибудь, кромѣ недостатковъ, которые столько разъ уже были замѣчаемы другими рецензентами.

Наши поиски не были совершенно напрасны: мы нашли три или четыре стихотворенія, въ которыхъ г. Бенедиктовъ, оставляя обык-

новенныя свои темы, обращается мыслью къ событіямъ, совершавшимся вокругъ насъ,—изъ міра «извинченныхъ кудрей», «фосфорныхъ очей» и адскихъ страстей, выражаемыхъ натянутыми метафорическими гиперболами, переходитъ въ міръ чувствъ, знакомыхъ обыкновеннымъ людямъ. Намъ пріятно было убѣдиться, что г. Бенедиктовъ иногда выказываетъ въ этихъ случаяхъ чувства и желанія, достойныя уваженія. Особенно примирительно можетъ дѣйствовать на читателей та пьеса, которою заключаются въ третьей части оригинальныя произведенія г. Бенедиктова.

СТАНСЫ ПО СЛУЧАЮ МИРА.

Вражды народной конченъ паръ.
Пора на отдыхъ ратоборцамъ!
Насталъ давно желанный миръ,—
Насталъ,— и слава миротворцамъ!

Довольно кровь людей лилась....
О, люди, люди! вспомнить больно!
Отъ адскихъ жерлъ земля тряслась
И бѣсы тѣшились.... довольно!

Довольно черепы ломать.
Въ собратѣ видѣть душегубца,
И знамя брани подымать
Во имя Бога-Миролюбца!

За миръ помолимся Тому,
Изъ Чьей десницы все пріедемъ,
И вкупѣ взмолимся Ему
Да въ лонѣ мира не воздремлемъ!

Не время спать, о братья,— нѣтъ!
Не обольщайтесь настоящимъ!
Женихъ въ полунощи градесть:
Блаженъ, кого найдетъ не спящимъ.

Царь, призывая васъ къ молебъ
За этотъ миръ, любви словами
Зоветь васъ къ внутренней борьбѣ
Со зломъ, съ домашними врагами.

Въ словахъ тѣхъ шлетъ онъ Божью вѣсть —
Не пророните въ нихъ ни звука!
Слова тѣ: вѣра, доблесть, честь,
Законы, милость и наука.

Всѣмъ будетъ дѣло. Превозмочь
 Должны мы лѣнь, средѣ дѣлъ бумажныхъ
 Возросшую, Хищенье — прочь!
 Исчезни племя душъ продажныхъ!

Ты, малый труженникъ земли,
 Сознай, что въ дѣлѣ нѣтъ бездѣлки!
 Не мысли, что грѣхи твои
 За тѣмъ простительны, что малы!

И ты, сановникъ, не гордись!
 Не мни, что злу ты недоступенъ,
 И неподкупнымъ не зовись,
 Коль только златомъ неподкупенъ!

Не лихоимецъ ли и ты,
 Когда своей чиновной силой
 Кривишь судебныя черты
 За взглядъ просительницы милой?

Коль гнешь рычагъ своихъ вѣсовъ
 Изъ старой дружбы, изъ участя,
 Иль по ходатайству большихъ
 Или за взятку сладострастья?

Всякъ трудъ свой въ благо обращай!
 Имущій силу дѣлать — дѣлай!
 Имущій слова — вѣщай,
 Грѣми глаголомъ правды смѣлой!

Найдется дѣло и тебѣ,
 О, чувствъ и думъ зерно-метатель!
 Возстань и ты къ святой борьбѣ,
 Витія мощный и писатель!

Возстань,—не духа злобы полнѣ,
 Возстань не буйнымъ демагогомъ,
 Не лютымъ двигателемъ волнѣ,
 Влакующимъ къ гибельнымъ тревогамъ:

Нѣтъ! гласомъ добрымъ воззови,
 И зовъ твой, гдѣ бы ни прошелъ онъ,
 Пусть духомъ мира и любви
 И въ самомъ громѣ будетъ полонъ!

Огнемъ свой ополчи глаголь
 Лишь на несчастіе земное,
 И—съ Богомъ—ратуй противъ золь!
 Взгляни на общество людское:

Увидишь язвы въ немъ; имъ данъ
Лукавый ходъ по жиламъ царства,
И противъ этихъ тайныхъ ранъ
Нѣтъ у врачей земныхъ лекарства.

Пороковъ мало ль есть такихъ,
Которыхъ ядъ полъ-міра губить,
Но судъ властей не судить ихъ
И мечъ закона ихъ не рубить!

Ты видишь: бѣднаго лиша
Послѣднихъ благъ въ послѣднемъ дѣлѣ,
Ликуя, низкая душа
Широко дремлетъ въ тучномъ тѣлѣ.

Пышнѣй, вельможнѣй всѣхъ владыкъ,
Добывъ чертогъ аристократа,
Иной бездушный откупщикъ
По горло тонетъ въ грудахъ злата.

Мы видимъ роскошь безъ границъ
И океанъ долговъ бездонныхъ,
Мужей, дошедшихъ до темницъ,
Отъ раззорительницъ законныхъ.

Нерѣдко видимъ мы окрестъ
И брачный торгъ—укоръ семействамъ,
И юныхъ жертвенныхъ невѣстъ,
Закланныхъ дряхлымъ любодѣйствомъ.

Зримъ въ вертоградахъ золотыхъ,
Среди цвѣтовъ, въ тѣни смоковницъ,
Любимцевъ счастья пустыхъ
И ихъ блистательныхъ любовницъ.

Толпа спѣшить не въ храмъ Творца:
Она спѣшитъ, воздѣвъ десницу,
Златаго чествовать тельца
Иль позлащенную телицу.

Но есть для васъ, сыны грѣха,
Но есть для васъ, земли кумиры,
И громъ и молнія стиха
И бичъ карающей сатиры, —

И есть комедіи арканъ, —
И, какъ боецъ, отрывъ арену,
Новѣйшихъ дней Аристофанъ
Клеона вытаскать на сцену.

Гласъ Божій, мнится, къ намъ воззвалъ
 И указываетъ перстъ судьбины,
 Да встанетъ новый Ювеналъ
 И сдернетъ гнусныя личины!

Правда, художественнаго достоинства въ этой пьесѣ довольно мало: она растянута, нѣкоторые удары автора не попадаютъ въ цѣль, и вообще пьеса кажется прозою, переложенною въ стихотворный размѣръ; но первыя и нѣкоторыя изъ среднихъ строфъ заслуживаютъ похвалы по мысли, а въ послѣднихъ трехъ даже выраженіе замѣчательно сильно. Изъ другой пьесы подобнаго содержанія — «къ Россіи», написанной г. Бенедиктовымъ также въ послѣднее время, недавно были приведены въ «Современникѣ» лучшія строфы («Соврем.» 1855 г., № 12, Замѣтки о журналахъ). Въ третьемъ томѣ есть пять-шесть стихотвореній, которыя хотя не имѣютъ особенныхъ достоинствъ, но лучше другихъ тѣмъ, что написаны языкомъ не слишкомъ напыщеннымъ. Эти немногія стихотворенія и особенно пьеса «Къ Россіи» и «Стансы по случаю мира», вѣроятно, оправдаютъ насъ передъ читателями въ томъ, что мы хотимъ высказать свое мнѣніе о степени таланта г. Бенедиктова безъ насмѣшекъ надъ напыщенностью его языка, который уже слишкомъ достаточное число разъ бывалъ въ нашихъ журналахъ предметомъ шутки.

Несмотря на все наше желаніе смотрѣть на произведенія г. Бенедиктова самыми благорасположенными глазами, мы никакъ не можемъ видѣть въ нихъ хотя бы слабыхъ слѣдовъ поэзіи. Чувства въ нихъ нѣтъ; они носятъ на себѣ слишкомъ очевидные признаки, что все въ нихъ — придуманное, сочиненное; отъ самыхъ сладострастныхъ картинъ вѣетъ холодомъ; въ самыхъ гиперболическихъ выраженіяхъ лежитъ тяжелый отпечатокъ недостатка фантазіи. Поэтическая фантазія состоитъ не въ томъ, чтобы придумывать небывалыя метафоры и гиперболы, — иначе, въ извѣстной книгѣ «Не любо не слушай» было бы гораздо больше поэзіи, нежели въ Шекспирѣ и Гомерѣ. Она не состоитъ и въ томъ, чтобы описывать подробно всѣ принадлежности женскаго организма: иначе, въ «Руководствѣ къ повивальному искусству» опять-таки было бы гораздо больше поэзіи, нежели въ Шекспирѣ и Гомерѣ. Поэтическая фантазія состоитъ въ томъ, чтобы предметъ немногими чертами изображался живо и точно; а этого качества рѣшительно нѣтъ въ

стихотвореніяхъ г. Бенедиктова. Хотя бы даже оставить безъ вниманія всѣ натянутыя и неловкія выраженія, все-таки стихотворенія г. Бенедиктова остаются холодны, картины его сбивчивы и безжизненны. Потому надобно, къ сожалѣнію, рѣшительно сказать, что поэтическаго таланта у г. Бенедиктова мало.

Такое заключеніе, по видимому, не утѣшительно,—но только по видимому; на самомъ же дѣлѣ, оно очень успокоительно и совершенно примиряетъ насъ съ стихотвореніями г. Бенедиктова. По нашему убѣжденію, нельзя упрекать его ни въ чемъ, напрасно преслѣдовать его насмѣшками и т. д.—все это совершенно бесполезно. Напрасно говорить, что онъ злоупотреблялъ своимъ талантомъ или шелъ по ложному пути — для него не было никакой дороги въ царствѣ поэзіи. Прежде, когда у него были почитатели изъ числа людей съ неразвитымъ вкусомъ, конечно, нужно было разоблачать недостатки его произведеній, чтобы вывести этихъ заблуждавшихся людей изъ ошибки, вредной для ихъ развитія. Но теперь эта надобность, кажется, уже миновалась. Время успѣха давно прошло для г. Бенедиктова.

Но, однако же, нѣкогда успѣхъ его былъ громаденъ въ извѣстной части публики, — долженъ же былъ на чемъ нибудь основываться этотъ успѣхъ? Мы уже сказали, на чемъ онъ основывался: на незрѣлости вкуса. Прибавимъ и другую причину — стихотворенія г. Бенедиктова привлекали своими фیزیологическими подробностями. Онѣ возбуждали интересъ точно такого же рода, какъ та картинка, на которую засмотрѣлся Акакій Акакіевичъ, идя по Невскому проспекту: дама надѣваетъ на ногу чулокъ — предметъ интереснѣй, хотя бы рисунокъ и былъ довольно плохъ.

Статья наша окончена. Остается только сказать, что изъ шести стихотвореній, приведенныхъ нами, г. Бенедиктовымъ написаны второе, четвертое и пятое, а стихотворенія, поставленные на первомъ, третьемъ и шестомъ мѣстѣ — пародіи.

СТИХОТВОРЕНІЯ Н. ЩЕРБИНЫ. Два тома. Спб. 1857 г.

Первый, очень небольшой по объему сборник стихотворений, изданный г. Щербиною, показалъ въ немъ поэта съ замѣчательнымъ талантомъ. Съ того времени прошло семь лѣтъ. Г. Щербина въ продолженіе этихъ лѣтъ постоянно печаталъ свои произведенія въ разныхъ журналахъ. Многія изъ новыхъ пьесъ были прекрасны,—но извѣстность г. Щербины мало возвышалась до послѣдняго времени, когда начали появляться его «Ямбы». Благородная мысль, одушевлявшая эти пьесы, живо вызывала сочувствіе каждаго порядочнаго человѣка. Но если мы подумаемъ о томъ, какое громкое одобреніе заслужили пьесы съ современнымъ содержаніемъ г. Бенедиктова, то не можемъ скрыть отъ себя, что поэтъ съ такимъ талантомъ, какъ г. Щербина, касаясь живыхъ идей, долженъ былъ бы возбудить гораздо бѣльшій восторгъ,— не можемъ защититься отъ мысли, что «Ямбы» г. Щербины, хотя и не были безсильны, но не производили того дѣйствія, какого должно было бы ожидать отъ пьесъ подобнаго содержанія, писанныхъ человѣкомъ истинно даровитымъ, какимъ не возможно не признавать г. Щербину.

Г. Щербина видитъ, и, мы увѣрены, оцѣнитъ прямоу, съ которою мы говоримъ о его стихотвореніяхъ. Еслибъ мы не были убѣждены въ силахъ его таланта, не были увѣрены, что при болѣе вѣрномъ употребленіи своихъ силъ, талантъ его можетъ явиться публикѣ въ блескѣ, несравненно болѣе высокомъ,—еслибъ мы не были увѣрены въ этомъ, мы не коснулись бы щекотливаго вопроса, нами поставленнаго на видъ. Мы просто сказали бы, что г. Щербина—«одинъ изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ въ настоящее время», что «его прекрасный талантъ отличается такими-то и такими-то превосходными достоинствами», что «хотя, конечно, и у него, какъ

у всякаго другаго, есть произведенія слабыя» (о чемъ упомянули бы только слегка, для формы), но что «такія-то и такія-то пьесы у него истинно очаровательны своею прелестью, а такія-то и такія-то очень замѣчательны своею благородною энергіею»,—наговорили бы множество похвалъ этимъ прекраснымъ пьесамъ,—и тѣмъ кончили бы нашъ отзывъ. О недостаткахъ пьесъ ничего, или почти ничего; о достоинствахъ—много, очень много. Такъ мы поступили бы, еслибъ дѣло шло о талантѣ обыкновенномъ, который пусть себѣ развивается, какъ случилось, отъ котораго нельзя ожидать ничего лучшаго, нежели тѣ прекрасныя пьесы, которыя онъ уже далъ намъ. Но талантъ г. Щербины—это дѣло совершенно другое. Вопросъ о немъ довольно важенъ для того, чтобы отбросить въ сторону всякую щекотливость, и высказать не только то, что пріятно, но и все, что нужно высказать. Такіе таланты являются не каждый день. Если такой талантъ не сдѣлаетъ всего, что можетъ сдѣлать, это будетъ уже потерей для литературы. Тутъ дѣло важнѣе всякихъ личныхъ отношеній.

Мы прямо поставили вопросъ о несоотвѣтствіи извѣстности, которую доставили г. Щербинѣ напечатанныя имъ до сихъ поръ произведенія, съ силами его таланта. И также прямо отвѣчаемъ: это несоотвѣтствіе происходитъ оттого, что г. Щербина до сихъ поръ еще не нашелъ вѣрнаго употребленія для силъ своего таланта; онъ все еще стѣсняетъ себя или принужденностью формъ или принужденностью тона, боясь отдаться естественному влеченію своего таланта.

Онъ началъ стихотвореніями, которыя самъ называлъ «греческими», и которыя всего лучше можно охарактеризовать, сказавъ, что они очень близки по духу, а часто и по достоинству формы, къ стихотвореніямъ Шенье. Мы не знаемъ, на сколько участвовало въ ихъ происхожденіи вліяніе Шенье, на сколько личная симпатія автора къ античному міру, на сколько разныя другія вліянія или сочувствія. Если бы талантъ г. Щербины по натурѣ своей могъ удовлетвориться этимъ родомъ поэзіи, мы ничего не сказали бы противъ того, — но увидѣли бы только, что въ этомъ случаѣ капризъ природы произвелъ среди насъ человѣка, который говоритъ прекрасно, но говоритъ не нашимъ языкомъ, котораго мы можемъ понимать, но не иначе, какъ при помощи ученыхъ соображеній и искусственно возбужденнаго настроенія мыслей. Но не всѣ такъ

думаютъ. Для многихъ именно то и кажется поэзіею, что удалено отъ нашей обыкновенной жизни, что понимается только посредствомъ особеннаго напряженія мысли. Люди, увлеченные этимъ предразсудкомъ, сдѣлали два предложенія: во-первыхъ, что такъ называемая античная форма есть высочайшее совершенство искусства; во-вторыхъ, что г. Щербина по натурѣ своего таланта не можетъ быть ни чѣмъ инымъ, какъ поэтомъ античной формы.

Не знаемъ, самъ ли г. Щербина проникся такимъ понятіемъ о сущности своего таланта и о достоинствахъ античной формы, или это предубѣжденіе было навѣяно на него толками, которые поднялись въ этомъ смыслѣ послѣ появленія его «Греческихъ стихотвореній», но только послѣ изданія своихъ «Греческихъ стихотвореній» онъ долго поступалъ такъ, какъ будто убѣжденъ былъ, что вообще поэтъ будетъ дѣлать прекрасно, если станетъ держаться античной формы, а ему, г. Щербинѣ, рѣшительно необходимо держаться этой формы. Онъ все писалъ въ томъ же духѣ, въ той же манерѣ, какъ были написаны его «Греческія стихотворенія».

Мы не знаемъ, собственною ошибкою или чужою виною влеченъ былъ онъ въ эту односторонность, но дѣло въ томъ, что эта односторонняя манера скоро оказалась искусственною и натянутою. Мы видимъ, что, по собственному ли влеченію или подъ вліяніемъ Шенъе, но во всякомъ случаѣ первыя греческія стихотворенія г. Щербины были написаны безъ натяжки, безъ насилуванія таланта, — въ такой формѣ сами собою рождались поэтическія идеи фантазіею поэта, — а у поэта этого есть сильный талантъ, — потому эти пьесы и вышли хороши, какъ выходитъ хорошо все, что пишетъ человекъ съ талантомъ, не насилуя свой талантъ. Форма была тѣсна, но чтожь за бѣда, если поэтъ еще не чувствовалъ себя стѣсненнымъ въ ней?

Если бы г. Щербина могъ остаться на всегда, по свободному влеченію, вѣрнымъ античной формѣ, его стихотворенія никогда не приобрѣли бы большаго значенія въ литературѣ, — хотя сами по себѣ могли быть прекрасны.

Это однако продолжалось очень не много времени. Скоро г. Щербина исчерпалъ содержаніе, какое естественно представляется соединеннымъ съ античною манерою, — и все-таки продолжалъ, по теоріи, писать въ античной формѣ, — стихотворенія его стали казаться уже повтореніями прежнихъ; идеи и образы сами собою

являвшіеся его воображенію въ этой формѣ, были истощены,—онъ началъ придумывать ихъ — пьесы стали имѣть характеръ искусственности, талантъ являлся стѣсненнымъ, произведенія — натянутыми.

Еслибъ онъ остановился на этомъ, мы сказали бы, что его талантъ болѣзненно остановился на первой ступени развитія, и потерялъ способность идти впередъ. Но черезъ нѣсколько времени, г. Щербина перенесъ любовь свою отъ стихотвореній античнаго содержанія къ пьесамъ, въ которыхъ идея принадлежитъ или вообще новому міру, каковы «Пѣсни о природѣ», или даже именно нашему обществу, каковы «Ямбы». Но долгая привычка писать въ античной манерѣ не могла быть покинута сразу,—и форма очень многихъ изъ этихъ пьесъ не соответствовала идеѣ. Въ другихъ, покинувъ, новидимому, античную форму, онъ еще не оторвался отъ привычки, приобрѣтенной вслѣдствіе искусственныхъ приемовъ, посредствомъ которыхъ писались его позднѣйшія античныя пьесы,—и въ формѣ замѣтна придуманность, ухищренность; а часто его мысль остается отвлеченною мыслью, потому что фантазія автора, отъ долгой привычки имѣть дѣло только съ античными образами, не находитъ еще образовъ, которые были бы живымъ поглощеніемъ новыхъ идей, вошедшихъ въ его умъ, или потому что авторъ все еще не рѣшается сойти съ треножника Пигмеи и заговорить простымъ языкомъ, свойственнымъ поэзіи нашего времени. Онъ, по старой привычкѣ, все еще стѣсняется мыслью о живописности и величественности поэзіи; онъ еще не привыкъ чувствовать себя какъ дома въ нашемъ мірѣ, хотя античный міръ уже наскучилъ ему. Держитесь непринужденнѣе, говорите проще, забудьте о стѣснительныхъ претензіяхъ на величіе, не стыдитесь являться просто человѣкомъ, а не олимпійцемъ, скажемъ мы ему.

До сихъ поръ, г. Щербина не рѣшился еще предаться безвозвратно, безъ оглядокъ на древній міръ, влеченію жизни и таланта. Онъ давно почувствовалъ, что въ Петербургѣ или Москвѣ неудобно и холодно носить хитонъ афинянина, и нельзя довольствоваться созерцаніемъ звѣздъ, лежа на роскошной зелени,—во-первыхъ роскошной зелени у насъ нѣтъ, во-вторыхъ, если остаться на цѣлую ночь на открытомъ воздухѣ, да еще лежа на травѣ, то поутру непременно почувствуешь ревматизмъ въ боку. Г. Щербина замѣтилъ это и вошелъ въ наши сѣверныя комнаты съ двойными рамами,—

но онъ все еще не привыкъ непринужденно говорить о сапогахъ и двойныхъ рамахъ,—его все еще смущаетъ мысль, что это предметы не совсѣмъ благородные сравнительно съ сандаліями и перистилемъ,—объ исключительно изящныхъ предметахъ онъ наконецъ пересталъ говорить, но еще не заговорилъ о неизящныхъ, потому-то мысль въ его «Ямбахъ» остается отвлеченною мыслью.

Не для того, чтобы въ самомъ дѣлѣ нужны были доказательства (вѣроятно, каждый читатель, думавшій о стихотвореніяхъ г. Щербины, давно уже самъ замѣчалъ то же самое, что говорили мы)—но чтобы насъ нельзя было упрекнуть въ бездоказательности, мы представимъ хотя по одному примѣру тѣхъ ошибокъ, въ которыя вовлекала г. Щербину ошибочная теорія, заставлявшая его держаться античной формы послѣ того, какъ образы, ею непринужденно рождаемые, были истощены, и талантъ началъ увлекать поэта къ другимъ сферамъ поэтическихъ идей.

Мы говорили объ искусственности, изысканности, которая явилась въ его античныхъ стихотвореніяхъ, когда истощились античныя идеи и образы, непринужденно возникавшіе въ фантазіи автора,—примѣромъ этого пусть служить пьеса «Волосы Береники».—«Береника, жена Птолемея-Эвергета, отправлявшася въ Азію для завоеваній (объясняетъ авторъ въ примѣчаніи), дала обѣтъ богамъ отрѣзать свои волосы имъ въ жертву, если мужъ ея возвратится побѣдителемъ,—что и исполнилось. Волосы были положены въ храмъ Венеры-Зефириты; но жрецы сказали, что они исчезли ночью изъ храма, и Кононъ, знаменитый александрійскій астрономъ, вѣроятно по наущенію жрецовъ, объявилъ, что открытое имъ въ это время новое созвѣздіе—*волосы Береники*, превращенные богами въ звѣзды, подобно звѣздѣ Аріадны».—Въ этомъ разсказѣ есть поэтическіе моменты: грусть любящей жены, отпускающей мужа на войну,—тоска разлуки, мучительность опасеній за его жизнь,—готовность жертвовать всѣмъ, даже лучшимъ блескомъ своей красоты, для счастья и безопасности любимаго человѣка,—наконецъ апотеоза этой любви, дающей человѣческому существу высочайшую красоту. Но въ этихъ чувствахъ и ситуаціяхъ нѣтъ ничего, специально античнаго,—они общи всѣмъ народамъ и вѣкамъ, въ томъ числѣ и европейцамъ и нашему вѣку,—а г. Щербинѣ нужны специально античныя образы и мотивы,—и вотъ онъ придумываетъ слѣдующіе мотивы:

«Рѣчь веду я со звѣздами,
Говорю свои имъ сны
И люблюсь волосами
Эвергетовой жены.

И они съ небесъ запѣли
Пѣсню жалобы своей;
Ихъ мелодіи летѣли
Съ неба золотомъ лучей:

«Возліанья и обѣты
Отъ земли несутся къ намъ,
Мы величіемъ одѣты,
Жены, дѣвы и поэты
Причисляють насъ къ богамъ.

«Намъ въ эфирѣ неотрадно
Семизвѣдіемъ сіять,
Гдѣ сіяетъ Аріадна,
Упиваться славой жадно
Θиміамы обонять.

«Съ головы холодной сталью
Мы какъ жертва снесены.
Береникиной печалью
И такой безмѣрной далью
Отъ нея отдалены.» и т. д.

Какъ могла прійти поэту мысль заставить насъ слушать жалобы посредствомъ «золота лучей», воспѣваемые отрѣзанными волосами? Не гораздо ли проще было заставить женщину плакать о своихъ утраченныхъ волосахъ? Но это была бы такая ситуація, которая можетъ случиться вездѣ и всегда, не въ одномъ античномъ мірѣ, а г. Щербинѣ нужно было взглянуть на предметъ не такъ, какъ смотрятъ на него въ новомъ мірѣ, и, вмѣсто плача женщины о волосахъ, онъ придумалъ плачь волосъ о женщинѣ. И такъ, волоса Береники плачутъ о ней, жалуются на нее; положимъ, пусть они плачутъ, хотя это и неправдоподобно; послушаемъ однако, въ чемъ они винятъ ее? вѣроятно, просто въ томъ, что она не пожалѣла свои прекрасныя кудри,—винятъ въ безжалостности къ самой себѣ?—Нѣтъ, въ преступленіи передъ искусствомъ: «прежде, говорятъ кудри,—

Наполнялась вся палата
Благовоніемъ отъ насъ,
Оттѣняли мы когда то,
Лоснясь масломъ аромата,
Снѣгъ чела и краски (?) глазъ.

Но преступною женою
 Предъ Искусствомъ стала ты,
 Разлучая насъ съ собою,
 И разбивъ своей рукою
 Стройность женской красоты,—

ради античнаго воззрѣнія, вмѣсто живой женщины, которая дѣлаетъ огорченіе себѣ, является уже статуя, которую разбить значитъ сдѣлать преступленіе не предъ идеею человѣка, даже не предъ богинею красоты, а просто передъ отвлеченнымъ понятіемъ искусства. Преклони боговъ мольбами, говорятъ Береникѣ волоса, чтобы они возвратили насъ на твою голову,—зачѣмъ же это нужно? за тѣмъ ли, чтобы ей была возвращена прежняя красота, или чтобы волоса перестали грустить? Нѣтъ, опять выдумка: волоса Береники должны быть взяты съ неба, чтобы не разлучать на небѣ два созвѣздія, которыя питаютъ любовь другъ къ другу:

«Преклони жь боговъ слезами,
 Даромъ жертвы дорогой,
 Чтобъ съ падучими звѣздами
 Мы скатились волосами
 Надъ твоею головою;
 Чтобы мы не раздѣляли
 Въ небѣ любящихъ друзей;
 Чтобъ какъ прежде заблестали
 И свѣтитъ бы рядомъ стали
 Оріонъ и Водолей.

— Да почему жъ мы знаемъ, что Оріонъ и Водолей—любящіе друзья? О ихъ дружбѣ даже и мифологія ничего не говорить.

На такую тему, на такіе мотивы написано стихотвореніе въ 102 стиха.

Мы привели примѣръ натянутости, въ которую впадалъ господинъ Щербина, отыскивая античныя темы и придумывая античныя мотивы, когда уже истощился запасъ, естественно представлявшійся его фантазіи сферою идей античной манеры. Теперь приведемъ примѣръ того, какъ вложенная античною теоріею привычка уничтожала соотвѣтствіе между идеею и формою, когда онъ, утомившись античными темами, началъ изображать явленія болѣе близкой къ намъ дѣйствительности.

Вотъ его «Нимфа въюги»—какимъ же образомъ *Нимфа* въюги? были Нимфы цвѣтущихъ, благоухающихъ полей, сладко шепчу-

щихъ ручейковъ, свѣтлыхъ рѣчекъ, текущихъ среди бархатныхъ луговъ, испещренныхъ яркими цвѣтами, подъ задумчиво пріютною, сладострастно густою тѣнью розовыхъ и миртовыхъ кустарниковъ;—но какъ можно вообразить себѣ это нѣжное, живущее солнцемъ и цвѣтами существо среди громадныхъ сугробовъ снѣжной степи, во время вьюги?—бѣдная Нимфа, она такъ легко одѣта, что смертельно простудится, если вздумаетъ явиться среди такой обстановки, когда и у старой вѣдьмы въ овчинномъ тулупѣ стучать зубы во время сатанинской пляски!—Но,—говорить г. Щербина,—

«Но классическія грёзы,
Грёзы вѣчныя людей!
Васъ питають и морозы
Бѣдной родины моей;
Вамъ такая же подруга
Какъ аттическая ночь,
Наша сѣверная вьюга
Дочь Гекаты, мрака дочь.
Бду я... передо мною
Нимфа Вьюги возстаётъ,
И надъ снѣжной пеленою
Все кружится, да поетъ

(Нѣтъ, во время вьюги даже переносливая къ холоду вѣдьма можетъ только завывать,—голосъ дрожить отъ мороза).

«А когда сквозь прахъ сыпучій,
Сквозь лохмотья бѣлыхъ тучъ,
На покровъ полейzybучій
Бросить мѣсяцъ блѣдный лучъ,—
Вѣломраморной рукою

(Нѣтъ, у ней ручка ужъ давно посинѣла отъ холода,—мы боимся даже, не отмерзла ли).

Нимфа вдаль меня манить

(Ну, это ужъ напрасный трудъ; не только Нимфа какаянибудь,—сама Венера Анадіомена не выманить меня изъ плотно застѣгнутой фартукомъ кибитки во время вьюги).

«И хохочетъ надо мною
И рыдаетъ, и грозитъ....
То меня охватить страстно,
Токомъ бури обовѣтъ,—
И безчувственно—прекрасна,

Въ пляскѣ съ вихремъ отойдетъ....
 Но развѣтъ шаловливо
 Вѣтеръ туніку у ней, —
 Нимфа спрячется стыдливо
 Въ волны свѣжныя полей....
 Но глядишь, на волкѣ смѣло
 Нимфа скачетъ предо мной
 И его по шерсти бѣлой
 Гладитъ ласковой рукой.

(Левъ, благородный, великодушный властитель лѣсовъ смирялся передъ красотою; но злобный волкъ только и смотритъ, какъ бы схватить за горло; при томъ же, онъ безобразенъ, отвратителенъ; Нимфѣ должно быть и непріятно и опасно даже издалека видѣть волка, — сѣсть на него она не рѣшится, это вѣрно).

«И улыбкой открываетъ
 Рядъ роскошныхъ жемчуговъ,
 Волшебствомъ ея сзываетъ
 Хоръ полуночныхъ духовъ» и т. д.

Античный образъ Нимфы, олицетворяющій व्यогу существомъ граціознымъ, вѣжнымъ, прелестнымъ, — совершенно разрушаетъ всякое соотвѣтствіе между сущностью изображаемаго явленія и его изображеніемъ.

Вотъ другой примѣръ раздора, вносимаго античнымъ представленіемъ въ созданіе, по идеѣ принадлежащее нашему міру, — эта пьеса не велика и потому выписываемъ ее вполнѣ:

П О Э Т Ъ.

«На служеніе мысли высокой,
 На служеніе правдѣ я взрость;
 Но кинжалъ ея спряталъ глубоко
 Между вѣткою миртовъ и розъ....

И, въ рукѣ съ этой вѣткою душистой,
 Какъ Гармодій я въ міръ выхожу, —
 Красотой ея мирной и чистой
 Я неправду и зло поражу.

Эта битва безъ крови и гнѣва, —
 Наслажденіемъ дышитъ она:
 Ей причастны и старецъ, и дѣва,
 И младенецъ, и мужъ, и жена.

Тѣмъ велико твое назначенье
 Между братій, поэтъ гражданинъ,
 Что безъ терній свое поученье
 Насадишь ты способенъ одинъ.

И ты каждое дѣло и чувство
 Обреки на добро и осмысль...
 Твоя вѣтка — созданье искусства,
 А кинжалъ твой — правдивая мысль.

Обратите вниманіе на двѣ первыя строфы, — какой стройный и точный образъ! — Но античная манера требуетъ невозмутимости духа, олимпійскаго спокойствія въ самой борьбѣ (то есть, по нашему обычному понятію объ античности; по греческой мифологіи не такъ, — тамъ и самые олимпійцы страдаютъ, вопіютъ отъ ранъ и боятся Стикса; но вѣдь мы имѣемъ дѣло не съ истиннымъ греческимъ міромъ, а съ обыкновенными современными понятіями объ античности), — античность требуетъ невозмутимости, отвергается отъ наносимыхъ и претерпѣваемыхъ страданій, — и вотъ въ угоду этой теоріи, г. Щербина прибавляетъ, что битва поэта съ неправдою должна быть «безъ крови и гнѣва», и поученіе его «безъ терній», — забывая, что даже на вѣткѣ розъ, которую онъ держитъ въ рукѣ, есть шипы, иначе сказать тернія, которыя все-таки опарапаютъ до крови и разсердятъ, если онъ станетъ «поражать» этою вѣткою.

Поэтъ по античной теоріи долженъ быть невозмутимо спокоенъ въ своемъ служеніи искусству, — онъ смотритъ на землю съ высоты Олимпа, — по этому-то, въ пьесѣ о волосахъ Береники, г. Щербина и говоритъ, что поэтъ долженъ, лежа на травѣ у потока, созерцать небо, не касаясь земныхъ тревоженій;

«Я лежу ночной порою
 У потока на травѣ,
 Весь очами и душою
 Въ лучезарной синевѣ.
 Я на лонѣ мирной страсти,
 Мысли сердца полоня я:
 Красотѣ въ объятія власти
 Отдана душа моя:
 Вижу яркій образъ всюду
 И прекрасныя черты...
 И всегда поэтомъ буду
 Я любви и красоты!

Вамъ художники другіе,
 Горе дня и ложь людей,
 Вамъ, мечтанія больныя,
 Стонъ и жалобы страстей!
 То моя отвергла лира,
 Чтò проходить съ каждымъ днемъ,
 Чтò изгонится изъ міра
 Вѣчной правды торжествомъ....
 Вѣрите, молча я страдаю
 И больнѣй страдаю васъ,
 Сокрушаюсь, наблюдаю
 Каждый жизни вашей часъ;
 Но того, что недостойно,
 Я искусству не даю,
 И въ душѣ горячкѣ знойной
 Зло безъ образовъ таю.
 Рѣчь веду я съ небесами,
 Говорю свои имъ сны,
 И люблюсь волосами
 Эвергетовой жены....» и т. д.

Мы ужъ замѣтили, что выборъ предмета, которымъ любовался г. Щербина, неудаченъ. Но теперь не о томъ дѣло, — мы уже объяснили, какъ умѣли, неудачность результатовъ, до которыхъ доводила г. Щербину теорія античности. Надобно теперь замѣтить, что если онъ очень долго держался ея, то наперекоръ влеченію своего таланта, насилуя свои мысли, — античность давно ужъ не удовлетворяла его, и напрасно усиливался онъ въ 1853 году (годъ, которымъ отмѣчена пьеса «Волосы Береники») запрещать своей лирѣ «пѣсни о томъ, чтò проходить съ каждымъ днемъ, чтò изгонится изъ міра торжествомъ правды», — онъ давно ужъ не могъ удержаться себя отъ того, чтобы говорить о «страданіяхъ и горѣ», которыя по теоріи гордо признавалъ «предметами, недостойными искусства», — большая часть «ямбовъ», карающихъ зло, написана имъ до 1853 года, иные и въ 1853 году, — слѣдовательно, давно ужъ онъ отступилъ и въ то самое время отступалъ на дѣлѣ отъ своей антично-безстрастной теоріи, когда такъ гордо и упорно провозглашалъ ее.

Но теоретическія ошибки, когда теорія такъ упорна и горда, какъ была античная теорія у г. Щербины, не проходили даромъ. Пусть практика тайкомъ измѣняетъ теоріи, — теорія все-таки нало-

жить на нее свою печать. Печать эта видна на «Ямбахъ» г. Щербины.

Его фантазія по требованію теоріи отвергала всякіе образы, кромѣ невозмутимо прекрасныхъ, античныхъ картинъ,—онъ, какъ человѣкъ, «страдалъ и сокрушался, наблюдая жизнь»,—мы вѣримъ ему, что онъ страдалъ о скорбяхъ людей «больнѣе» многихъ другихъ поэтовъ, — но какъ поэтъ, онъ насильно изгонялъ образы, которые могли бы быть поэтическимъ воплощеніемъ этой человѣческой скорби, — онъ, не будучи въ состояніи изгнать изъ сердца скорбной мысли, въ угоду теоріи старался по крайней мѣрѣ отнимать у нея поэтическое воплощеніе; «я въ душѣ зло безъ образовъ таю», говорилъ онъ,—это и отразилось на его «Ямбахъ».

Мысль каждого ямба — благородна, жива, современна; но она остается отвлеченною мыслью, не воплощаясь въ поэтическомъ образѣ,—она остается холодною сентенціею (это не противно античной теоріи,—нѣтъ: античная теорія любитъ сентенціи,—свидѣтельствомъ тому безчисленное множество изреченій и отвлеченныхъ размышленій, написанныхъ новѣйшими поэтами въ древнемъ эллигическомъ размѣрѣ, и похвалы, которыми осыпались эти перемѣшанные съ пентаметрами гекзаметры), она остается внѣ области поэзіи, какъ то и усиливался сдѣлать поэтъ, по его собственному признанію.

Мы приведемъ примѣръ этой отвлеченности, этого чуждаго поэзіи отсутствія живыхъ образовъ, которыми бы воплощалась мысль:

ЖЕЛАНІЕ.

«Чуждо совершенства
Нашей жизни зданье;
Цѣль ея — блаженство,
А она — страданье.

Все въ ней пропадаетъ,
Все, что такъ прекрасно;
Только зло всплываетъ
Въ наготѣ ужасной.

Въ этомъ звучномъ морѣ
Сроднаго нѣтъ звука;
Въ сонѣ исходитъ горе,
Страсти вторить мука.

Счастьемъ не согрѣта
 Ни одна минута,
 Мысли нѣтъ привѣта,
 Чувству нѣтъ пріюта....
 Пусть же крупной чашей
 Эта ложь прольется:
 Хаосъ жизни нашей
 Въ вѣчность разовьется »

Поэзія требуетъ воплощенія идеи въ событіи, картинѣ, нравственной ситуаціи, какомъ бы то ни было фактѣ психической или общественной, матеріальной или нравственной жизни. Въ пьесахъ, нами выписанныхъ, этого нѣтъ: идея остается отвлеченною мыслью, потому остается холодною, неопредѣленною, чуждою поэтическаго пафоса....

Мы такъ много и такъ прямо говорили о недостаткахъ, которыми вообще страдала поэзія г. Щербины, отчасти уже и въ «Греческихъ стихотвореніяхъ», но гораздо больше въ послѣдующіе годы, что—чего добраго—иному можетъ показаться, будто мы находимъ особенное удовольствіе въ анализированіи этихъ слабыхъ сторонъ. Чтò сказать на такое предположеніе? — Да, пожалуй, мы нашли бы не только удовольствіе, но и положительную заслугу въ этой строгости, если бы г. Щербина согласился въ справедливости нашихъ замѣчаній,—тогда, рѣшительно отбросивъ теорію, его запутывавшую, и предавшись естественному влеченію своего таланта, онъ далъ бы русской литературѣ произведенія, которыя поставили бы его на ряду съ первыми нашими поэтами. Если жъ онъ не оправдаетъ нашей требовательности полнѣйшимъ и вѣрнѣйшимъ употребленіемъ силъ своего таланта (требовательность уместна только относительно чловѣка сильнаго), — мы, конечно, будемъ раскаяваться въ нашей строгости, какъ въ дѣлѣ, которое не достигло своей цѣли, осталось бесполезно. Во всякомъ случаѣ, мы обязаны представить доказательства тому, что имѣемъ право многого ожидать отъ замѣчательныхъ силъ его таланта, если онъ рѣшится совершенно отбросить ошибочную теорію, до сихъ поръ сковывавшую силы его. Намъ случалось слышать сомнѣніе въ томъ, сохранилась ли сила и свѣжесть этого таланта послѣ «Греческихъ стихотвореній». Чтобы уничтожить всякое колебаніе въ отвѣтъ на это, мы въ доказательство силы таланта г. Щербины приводимъ только такіа пьесы, которыя писаны послѣ 1850 года.

ДѢВУШКА У ХАРОНА.

НОВОГРЕЧЕСКАЯ ПѢСНЬ.

— «Хорошо вамъ, горы, счастье вамъ, долины:
 Вы себѣ живете безъ тоски-кручины!
 Вѣчно вы цвѣтете, нѣтъ для васъ Харона?
 Какъ и вы, цвѣла я, роза Клеерона,
 Любовалась также утренней зарею,
 И меня скосила смерть своей косою...
 Безъ меня на свѣтѣ все живетъ и дышитъ,
 И меня не знаетъ, и меня не слышитъ!
 Тамъ зазеленѣло Божіей весною,
 И дуга запахла молодой травой;
 Ярко запестрѣли всѣ поля цвѣтами,
 И холмы покрылись бѣлыми стадами;

«Въ густотѣ дубравы, солнцемъ не палимой,
 Паликаръ гуляетъ съ дѣвучкой любимой,
 И, цалуя жадно ей уста и плечи,
 Говоритъ онъ милой золотыя рѣчи;
 Мать красивой дочкѣ расточаетъ ласки,
 Бабушка-старушка рассказываетъ сказки...
 О, когда бы можно, вѣчно бы жила я,
 Какъ ребенокъ съ куклой, съ жизнію играя.
 Еслибъ наши клефты въ адъ сюда попали,
 Вѣрно бъ и съ Харономъ въ битвѣ совладали;
 Жалобною рѣчью я бъ ихъ ублажила,
 И, ласкаясь къ храбрымъ, такъ бы говорила:

« Я въ жилищѣ смерти выплакала очи,
 Въ холодѣ могильномъ, средь подземной ночи.
 Здѣсь темно и тѣсно... Зрѣнье проситъ свѣта.
 Сердце проситъ ласки, а душа — привѣта...
 Клефты-паликары! убѣгу я съ вами.
 Въ край, гдѣ лется воздухъ свѣтлыми струями,
 Гдѣ раздолье жизни, гдѣ толпятся люди,
 Гдѣ любить приволье лебединой груди;
 Я хочу утѣшить мать мою въ печали,
 Я хочу, чтобъ сестры слезъ не проливали,
 Чтобъ не горевали неутѣшно братья,
 И свою Зоицу приняли бъ въ объятья...»

— Не крушися, Зоица, по роднымъ напрасно:
 Имъ живется сладко, весело и ясно!..
 На землѣ, подруга, все тебя забыло!
 (Такъ, вошедши, Деспа къ ней заговорила).

Отъ людей къ Харону нынче отошла я,
 И тебя лишь годомъ дольше прожила я...
 Видѣлась недавно я съ твоей роднею:
 Всѣ они довольны, счастливы судьбою...
 Братья,—да и сестры, позабывъ печали,
 У сосѣда Лѣмбро на пиру плясали,
 Бабушка болтала подъ окномъ съ кумою,
 И своей хвалилась давней стариною;
 Мать все хлопотала о невѣстѣ сыну:
 О тебѣ жъ, бѣдняжка, не было помину!»

ПРОСЬБА ВЕСНЫ.

«На-прощаньи пѣвцу говорила,
 Отлетая надолго, весна:
 «О, поэтъ мой, тебя я любила,
 Я была и тепла и ясна.

Разстаюся я съ милой землею,
 Мнѣ такъ долго ея не лобзать,
 Не лелѣять своей теплотою,
 И цвѣтущихъ красоть полнотою
 Мнѣ ея головы не вѣнчать!

Покидаю я женщинъ прекрасныхъ
 И ласкаемыхъ мною дѣтей,
 Для ночей безразсвѣтно-ненастныхъ,
 Для холодныхъ, безсолнечныхъ дней...

И не будутъ, роскошными снами
 Упиваясь блаженно, они
 Пробуждаться и спать съ соловьями....
 Покидаю я ихъ сиротами....
 Замѣни имъ меня, замѣни!

Разлучаться мнѣ горько съ землею...
 Но, поэтъ мой, я въ сердцѣ твоёмъ
 Неразлучной живу красотою,
 И твоимъ пламенью стихомъ;

Я оставлю въ немъ звуки и краски,
 И мой свѣтъ, и мою теплоту,
 Вѣтерка перелѣтныя ласки
 И потоковъ журчащія сказки,
 И луной разлитую мечту.

Какъ померкнетъ сіянье лазури,
 Какъ поблекнутъ безъ жизни поля,
 Да завоютъ холодныя бури,
 Да одѣнется въ саванъ земля —

Мой избранникъ, людей утѣшая,
 Возроди меня въ пѣсняхъ своихъ,
 Чтобъ предъ ними опять разцвѣла я,
 Благовонна, свѣжа, молодая,
 Въ трепетаньи стиховъ золотыхъ...

Но, весеннее счастье зимою
 Разливая межъ братьевъ людей,
 Надѣли имъ возлюбленныхъ мною.
 Всѣхъ обильнѣе, женъ и дѣтей,

Чтобъ я въ пѣснѣ твоей зеленѣла,
 Согрѣвая озябнувшій лѣсъ,
 На снѣгахъ бы цвѣтами пестрѣла,
 Наливалась въ колосья и зрѣла
 И сіяла бы съ зимнихъ небесъ,

Чтобы все, забывая морозы,
 Погрузилось въ знакомые сны,
 Въ ароматныя майскія грѣзы,
 Въ обаянье волшебной весны....

И подъ власть твоего вдохновенья
 Все отдастся, поэтъ-чародѣй,
 И, внимая словамъ пѣснопѣнья,
 Отъ земли моего удаленья
 Не замѣтитъ никто изъ людей.

Имъ прольюся я полною чашей
 Изъ искусныхъ художника рукъ,
 Имъ я буду и лучше и краше,
 Облеченная въ образъ и звукъ».

З Е М Л Я.

«Ты помнишь ли случай, родная?
 Когда я ребенкомъ была,
 Въ саду, межъ цвѣтами летая,
 Меня укусила пчела.

Какъ палецъ мнѣ жало палило,
 И слезы ручьями текли, —
 На палецъ ты мнѣ положила
 Щепотку холодной земли....

И боль оттого унялася,
 И радостно видѣла ты,
 Какъ я побѣжала рѣзвяся,
 За бабочкой пестрой въ кусты....

Пора наступила иная,
И боль загорѣлася вновь....
Боюсь и признаться родная,
Что сердце мнѣ жалить любовь!

Но тѣмъ же и этой порою
Ты можешь меня исцѣлить: —
Холодной могильной землею
На вѣки мнѣ сердце покрыть....»

NOTTURNO.

«На меня изъ цвѣтущаго сада
Освѣжительно вѣетъ прохлада;
Ароматы несутся въ окно
Въ небесахъ и свѣтло и темно.
Многозвѣздная ночь окаймил
Отливнымъ серебромъ дерева,
На озерахъ горитъ синева,
И такъ страстно ночныя свѣтила
На красавицу землю глядятъ,
Будто пасть ей въ объятья хотятъ.
Опускаясь, вздымаются воды:
Онѣ кажутся грудью природы
И бѣненіе сердца ея
Будто слушаетъ ухо мое.
Ко всему во мнѣ дышитъ сострастье,
И похожее что-то на счастье
И на жизнь пронеслось надо мной..
Я расцвѣлъ первобытной весной.

О, давно позабытая мною,
Ты меня позабыла давно! —
Но неожиданно мнѣ этой порою
Твое имя призвать суждено,
И спросить тебя съ прежнею страстью: —
Что въ душѣ у тебя въ этотъ часъ?
Хоть мгновенному вѣришь ли счастью,
Что на вѣки умчалось отъ насъ?
И полна ль твоя жизнь благодатью,
Иль хоть тихимъ забвеньемъ полна,
Или все предала ты проклятью,
Чѣмъ тебя чаровала она?
Пламенѣетъ ли взоръ твой порою,
И цвѣтетъ ли румянецъ бывшій?...
О, скажи мнѣ, мой другъ, что съ тобою,
И душой угадай, что со мной!...

Но отъ милой не слышно отвѣта,—
 Все вокругъ равнодушно молчить;
 На привѣтъ не дають мнѣ привѣта:
 Голосъ милой моей не звучить.

Объ участіи молящія очи
 Я къ свѣтиламъ торжественной ночи
 Простодушнымъ младенцемъ вознесъ;
 Но, въ потокѣ моленій и слезъ,
 Я участія къ себѣ не замѣтилъ:
 Былъ прекрасно, но холодно свѣтелъ
 Обаятельный воздухъ ночной,
 Везъ созвучья съ моею душой....
 Я хотѣлъ, чтобъ суровыя бури
 Помрачили сіянье лазури,
 И въ гармонию, тьмой и борьбой,
 Чтобъ природа слалася со мною».

Такія вещи можетъ писать только человѣкъ съ истиннымъ и сильнымъ талантомъ, — и въ томъ, что г. Щербина обладаетъ талантомъ, никогда не сомнѣвался никто изъ людей, внимательно изучавшихъ его произведенія. Во многихъ изъ его пьесъ были замѣтны ошибки, внушаемая ошибочною теоріею; часто было видно, что его фантазія увлечена къ ложнымъ, натянутымъ цѣлямъ; но сильный талантъ былъ виденъ всегда.

Мы возвращаемся къ тому, съ чего начали. Г. Щербина, занимающій и нынѣ почетное мѣсто между поэтами, долженъ стать гораздо выше, когда рѣшится дать просторъ своимъ живымъ впечатленіямъ, совершенно отбросивъ насилуваніе таланта ради теоретическихъ предубѣжденій. Онъ началъ стихотвореніями въ античномъ родѣ, — этотъ родъ наименѣе способенъ возбуждать живую симпатію современнаго міра, но, къ несчастію, многіе такъ называемые цѣнители искусства, — понимающіе подъ искусствомъ искусственность, — очень дорожатъ античною манерою отчасти за то, что она трудна, отчасти зато, что она чаще всего бываетъ искусственна. Несмотря на несимпатичность манеры, господствовавшей въ первыхъ стихотвореніяхъ г. Щербины, они были приняты съ громкимъ одобреніемъ, потому что непринужденно возникли изъ фантазіи поэта; — вслѣдствіе субъективныхъ условій развитія, она была переполнена античными образами, — «отъ избытка сердца должны говорить уста» и г. Щербина былъ правъ передъ своимъ талантомъ.

Любители и цѣнители искусственности истолковали успѣхъ г. Щербины такимъ образомъ: не потому онъ имѣетъ успѣхъ, что онъ человѣкъ съ талантомъ, не насилующій своего таланта, а потому, что онъ пишетъ въ античной манерѣ, которая восхитительнѣе всѣхъ другихъ манеръ; и такъ, пусть онъ, во что бы то ни стало, вѣчно продолжаетъ писать въ античной манерѣ. Самъ г. Щербина увлекся этимъ ошибочнымъ соображеніемъ.

Мы видѣли слѣдствія этой теоріи, заставлявшей г. Щербину, наперекоръ новымъ влеченіямъ своего таланта, все облекать одеждою античности, — это значило «вливать новое вино въ старый мѣхъ», и новое вино разрывало старый мѣхъ, и то и другое, — вино и мѣхъ, — погибало. Онъ насилывалъ свой талантъ.

Но «вольному воля», а поэтъ по преимуществу долженъ быть воленъ. Уста его должны говорить о томъ, чѣмъ переполнено его сердце. Мы видѣли, куда влечется г. Щербина новою наклонностью своего таланта, — къ современной жизни. Пусть же безбоязненно онъ погрузится въ нее. Пусть онъ пишетъ античныя стихотворенія только тогда, когда именно къ античному міру обращается его талантъ, — въ другое время, въ минуты другихъ настроеній, пусть его перо забываетъ объ античности, какъ забываетъ сердце, пусть онъ даетъ своей мысли свободно облекаться въ образы, рождаемые ея сущностью, не втискивая ее насильно въ чуждыя ей рамки.

Автономія — верховный законъ искусства. Если онъ будетъ соблюдать этотъ верховный законъ поэзіи, — «храни свободу своего таланта, поэтъ», — что тогда будетъ онъ писать? Пока не измѣнится господствующее теперь стремленіе его таланта, онъ будетъ писать проникнутые жгучимъ сарказмомъ укоры людямъ. Но если бы расположеніе духа, которое, кажется намъ, должно вести къ подобнымъ произведеніямъ, миновалось въ г. Щербинѣ, — что тогда? — тогда, все-таки пусть пишетъ онъ въ такомъ родѣ, къ какому влечетъ его талантъ въ данное время, — хотя бы то была поэзія радости, примиренія, кто имѣетъ право требовать отъ поэта, чтобы онъ насилывалъ свой талантъ? Можно требовать только того, чтобы онъ старался развить себя, какъ человѣка. Это развитіе человѣка въ поэтѣ составляетъ великое преимущество г. Щербины передъ многими; онъ не можетъ не быть гуманенъ, не можетъ не сочувствовать живымъ вопросамъ современности, въ какой формѣ, въ какомъ направленіи найдетъ удовлетвореніе себѣ талантъ поэта,

который сталъ человѣкомъ,—должно быть рѣшаемо жизнью самого поэта. Пусть только онъ блюдетъ свободу своего таланта отъ всякихъ насилуваній; пусть всею фантазіею своею предается тому, чѣмъ переполняетъ жизнь душу его: отъ избытка сердца должны говорить уста поэта, особенно поэта, одареннаго столь прекраснымъ талантомъ и столь живою натурою, какъ г. Щербина.

СТИХОТВОРЕНІЯ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА. Новое изданіе, значительно дополненное. Москва. 1861.

Стихи г. Плещеева стали впервые появляться въ печати лѣтъ пятнадцать или шестнадцать тому назадъ. Какъ извѣстно, тогда вдругъ, ни съ того, ни съ сего, редакторы большихъ и толстыхъ журналовъ вообразили, что всякая строчка, съ кадансомъ и риемой въ концѣ, должна компрометировать ихъ серьезность,—и стихамъ, каковы бы они ни были, совершенно былъ загражденъ входъ въ важныя ежемѣсячныя изданія. Начинаящимъ поэтамъ приходилось печатать свои опыты въ жалкихъ газетахъ, въ родѣ «Литературной» или «Иллюстраціи». Конечно, послѣ того, какъ смолкли голоса Лермонтова и Кольцова, трудно было находить отраду въ виршахъ Грекова, Красова, Бернета и тому подобныхъ стихотворцевъ. Впрочемъ — виноваты — это были ужъ не начинающіе поэты; для нихъ былъ пріютъ въ находившейся при послѣднемъ издыханіи, (которое, продолжается—увы! и до днесь) «Библіотекѣ для чтенія». Для поэтовъ получше поименованныхъ открыты были, пожалуй, еще страницы «Москвитянина»; но здѣсь не особенно лестно было затесаться въ сосѣдство съ гг. Михаиломъ Дмитріевымъ, Ѳедоромъ Глинкой, а иногда и съ посмертными твореніями какого нибудь древняго Шатрова. Какъ бы то ни было, но въ послѣднемъ журналѣ былъ единственный пріютъ для даровитыхъ молодыхъ поэтовъ, за которыми признавались достоинства и тѣми журналами, которые отказывались печатать ихъ стихи. Фета, Полонскаго, только и можно было встрѣтить, что въ «Москвитянинѣ». Г. Майковъ, которому, при его первомъ появленіи, пророчили, что онъ чуть ли не будетъ замѣной Пушкина, совсѣмъ приунылъ на это время и смолкъ. Сколько помнимъ, ни объ одной книжкѣ стихотвореній, напечатан-

ныхъ отдѣльно, важныя петербургскіе журналы не отзывались иначе, какъ тономъ пренебреженія, временемъ смѣшаннаго даже съ полнымъ презрѣніемъ. Иногда въ темномъ закоулкѣ смѣси можно было встрѣтить два, три стихотворенія, съ очень извѣстными именами, какъ напримѣръ даже гг. Тургенева, Огарева... Но это была уступка, или, какъ любить выражаться столь ослѣпительно ученый, и столь помрачительно скучный г. Безобразовъ, компромисса, которая, пожалуй, и могла дѣлаться для людей съ нѣкоторой репутаціей, но которая была не мыслима для поэтовъ начинающихъ.

Начинающіе смотрятъ обыкновенно на свои первыя стихотворенія, какъ на нѣчто очень важное, возлагаютъ на нихъ всѣ свои надежды, видятъ въ нихъ чуть не міровое значеніе, и конечно почли бы жесточайшей обидой—явиться со своими завѣтными думами, грезами и пѣснями въ отдѣлъ разныхъ извѣстій, внутреннихъ и иностранныхъ обзорѣній и тому подобнаго, скоро гибнущаго журнальнаго баласта. Они обыкновенно, не смотря на великія надежды свои не обольщаютъ себя ожиданіемъ, что и съ такимъ баластомъ можно выплыть на поверхность.—И дѣйствительно! Какъ поразобратъ хорошенько — обидно. Ну, неужто мои поэтическія изліянія, слезы и пѣснопѣнія не стоятъ того, чтобы мнѣ удѣлить всего-то одну жалкую страничку въ книжкѣ журнала, когда въ немъ находятъ чуть не сотню страницъ краснорѣчивыя извѣстія о блистательныхъ дебютахъ какого-нибудь итальянскаго пѣвца Мордини въ Миланѣ, или о томъ, что гдѣ нибудь въ окрестностяхъ Болоньи найденъ глиняный горшокъ, повидимому очень древній и съ древней повидимому надписью, которая такъ стерлась, что и разобрать ничего нельзя, да и самый древній горшокъ похожъ больше на новый, или наконецъ о томъ, что въ германскомъ городѣ Швейнфуртѣ, колбасники или сапожники устроили великолѣпное празднество въ средневѣковомъ вкусѣ, ходили по улицамъ со знаменами, въ видѣ амуровъ съ крылышками, зажигали плошки и факелы, произносили рѣчи съ демосееновскимъ паеосомъ и растѣвали разные гимны и пѣсни. Иной разъ и такой гимнъ, или такая пѣсня представлялись въ извѣстїи съ подстрочнымъ переводомъ, для утѣшенія читателей, интересующихся успѣхами поэзіи. Ну, какъ же не обидно! Гимны швейнфуртскихъ сапожниковъ предпочитаютъ стихотвореніямъ Майкова, Фета, Полонскаго. Какъ не обидно! Чѣмъ же руководились въ этомъ случаѣ издатели—загадка, разрѣшеніе

которой ставить совершенно втупицѣ наши умственные способности. Разумѣется, мелодіи г. Фета, воспѣвающія тихія звѣздныя ночи съ трепетнымъ свѣтомъ луны, или утра, полная стыда и огня, «какъ сонъ новобрачной» или «бурю на небѣ вечернемъ, моря сердитаго шумъ; бурю на морѣ и думы, много мучительныхъ думъ; бурю на морѣ и думы, хоръ возрастающихъ думъ; черную тучу за тучей, моря сердитаго шумъ»,—конечно эти мелодіи не представляли никакихъ указаній, никакихъ практическихъ примѣненій въ сферѣ интересовъ русскаго общества. Ну а пѣвецъ Мордини представлялъ? Конечно александрійскіе стихи г. Майкова о томъ, какъ—

Во дни минувшіе, дни радости блаженной,
Лихись млеко и медъ съ божественныхъ холмовъ
Къ долинамъ бархатнымъ Аоніи священной,

или о томъ, какъ ложится тѣнь прозрачными клубами,—

На нивы желтыя, покрытыя свирдами,
На синія лѣса, на влажный златъ луговъ,

или гекзаметры о томъ, какъ онъ (г. Майковъ) срѣзалъ себѣ тростникъ у побережья шумнаго моря, или—о томъ, какъ онъ, разбилъ садъ подъ сѣнью развилистыхъ буковъ, и во мракѣ прохладномъ статую воздвигъ тамъ Пріаму,—конечно эти александринскіе стихи и гекзаметры не имѣли практическаго значенія для русской жизни; ну, а этотъ древній глиняной горшокъ, найденный въ окрестностяхъ Болоньи, вѣроятно имѣлъ! Конечно, баллады г. Полонскаго объ индѣйскомъ факирѣ, или о взятіи Мемфиса, не могли подвинуть насъ ни на шагъ по пути, такъ сказать, прогресса. Но вѣдь и самое слово «прогрессъ» не употреблялось тогда въ печати, даже въ прозаическихъ статьяхъ и разсужденіяхъ такихъ практическихъ ученыхъ, (нынѣ, увы! забытыхъ), какъ гг. Егуновъ, Небольсинъ и другіе,—это слово, столь прославившее, по случаю появленія своего въ стихахъ, драгоценныя истинно гражданскому русскому сердцу, имена: гг. Бенедиктова, Конрада Лиліеншвагера и Розентейма, тогда было не на особенно многихъ устахъ. Но, опять-таки, отчего хотъ бы напримѣръ пьеса Полонскаго «Зимній путь», или его же «Затворница», менѣе для насъ русскихъ интересны, если не полезны, чѣмъ швейнфуртскія поминанія переодѣтыхъ амурами колбасниковъ? Между тѣмъ русская журналистика этого времени, которое мы невольно вспомнили, вовсе не была проникнута, да и не могла по

извѣстнымъ болѣе или менѣе всѣмъ обстоятельствамъ, проникнутыя особенно положительнымъ, практическимъ, немедленно примѣнимымъ характеромъ. Напротивъ, она ударялась съ замѣтнымъ пристрастіемъ въ туманныя области эстетическихъ мудрованій, широко и пространно толковала и о такихъ далекихъ предметахъ, какъ греки и римляне, и насущные вопросы изъ русской жизни сводились болѣе или менѣе на какую-нибудь написанную цифирными знаками диссертацию о колебаніяхъ цѣнъ на хлѣбъ, или на такъ называемую современную хронику Россіи, представлявшую, для сотрудниковъ журнала, пріятный и полезный трудъ списыванія сенатскихъ и другихъ вѣдомостей. Само собою разумѣется, теперь стихи никакъ не могутъ, какъ тогда, быть изгнаны изъ журналовъ. Прогрессъ, о которомъ мы такъ гордо восклицаемъ, въ настоящее время очень пріятно звучитъ и въ нихъ то въ серединѣ, то въ концѣ строчки, то въ началѣ, то въ заключеніи пьесы. Но тогда! удивительно, странно, непостижимо! Повторяемъ, поэты, успѣвшіе пріобрѣсть себѣ нѣкоторую извѣстность, поэты, о которыхъ говорилъ съ сочувствіемъ и похвалою Бѣлинскій, могли выдержать это гоненіе, притаиться на время совсѣмъ, или играть въ прятки въ «Москвитянинѣ»; но каково же было бѣднымъ начинающимъ! Имъ оставалась, въ качествѣ пристанища, одна «Иллюстрація», печатавшая безъ разбору все, что только попадалось къ ней въ руки: стихи, или проза, дичь, или дѣйствительно что нибудь порядочное (последнее очень рѣдко). Время было унылое для всѣхъ этихъ юношей, у которыхъ, говоря поэтическимъ слогомъ, пламенѣютъ на устахъ страстные попадуи музы. Жертвою этого времени, пали многіе пріятные пѣвцы, въ родѣ гг. Вердеревскаго, фонъ-Лизандера и другихъ. Сердце обливается у насъ кровью, когда мы подумаемъ, какая судьба ждала бы гг. Платона Кускова, Случевского, Захарію Тура и всю эту плеяду, сіяющую такимъ яркимъ свѣтомъ на небѣ новѣйшаго періода русской поэзіи, если бы они имѣли несчастье явиться въ то время. Не одобровать бы имъ тогда. Едва ли загорѣлся бы тогда такимъ чуднымъ метеоромъ и г. Розенгеймъ. Вѣдь онъ не писалъ бы тогда звучными ямбами, дактилями и амфибрахиями—объ общественныхъ вопросахъ, о старообрядствѣ, объ управленіи главнаго общества желѣзныхъ дорогъ и проч., а воспѣвалъ бы, въ невинности души своей, луну и дѣвы, въ родѣ той,

о которой говорится въ его стихахъ (очень чувствительно), какъ у ней билась —

«Подъ капотикомъ груди волна».

Въ это-то время появилась небольшая книжка стихотвореній г. Плещеева.

Ее постигла та же участь; съ такимъ же пренебреженіемъ отзывались объ ней лучшіе журналы. Зачѣмъ г. Плещеевъ говорить въ ней о любви къ человѣчеству, о его страданіяхъ и будущихъ идеалахъ, о свѣтлыхъ надеждахъ? Зачѣмъ переводить стихи Гейне? Это почему-то не понравилось серьезнымъ рецензентамъ, и они говорили о г. Плещеевѣ чуть ли не съ такой же строгой важностью, какъ о человѣкѣ, принесшемъ рѣшительный вредъ литературѣ. Дико вспомнить теперь объ этомъ. Неужто благородныя чувства, благородныя мысли, которыми вѣяло отъ каждой страницы небольшой книжки г. Плещеева, были такимъ ежедневнымъ явленіемъ въ тогдашней русской поэзіи, чтобы можно было съ пренебреженіемъ отвернуться отъ нихъ? Да и когда же бываетъ это можно и позволительно? Если у г. Плещеева не было той поэтической силы, которая невольно покоряетъ себѣ чужую мысль и чувства, то нельзя же было видѣть въ стихахъ его фразы, справедливости которыхъ не вѣрить онъ самъ. Что все въ этихъ стихотвореніяхъ было вполнѣ искренно и сказалось отъ души,—едва ли кто нибудь могъ усумниться въ этомъ и тогда. Или не понравилось юношеское увлеченіе поэта, неопредѣленность его стремленій и надеждъ? Но была ли возможность выражать эти надежды, эти стремленія точнѣе и опредѣленнѣе, — объ этомъ никто не хотѣлъ вспомнить. Кажется, особенной точности и ясности въ выраженіи желаній не было въ то время и нигдѣ въ литературѣ. Разумѣется, говорить прямо, высказывать все ясно—не только проще, но и полезнѣе; но дѣйствительно ли всѣ мы такъ высоко и безукоризненно развиты, что намъ не нужно слышать искренняго голоса, заступающагося, хотя бы и въ общихъ чертахъ, за лучшую сторону нашей природы, до сихъ поръ мало торжествовавшую. «Земля изсушена и уныла», говорится въ эпиграфѣ къ первому стихотворенію первой книжки г. Плещеева: «но она вновь позеленѣетъ. Дыханіе зла не вѣчно будетъ проходить по ней, какъ духъ пополюющій». Конечно, и мысль и выраженіе этихъ словъ слишкомъ общи, и написать на

эту тему нѣсколько стихотвореній—не значитъ сказать что нибудь новое; но все ли успѣло не только тогда, но и теперь такъ устарѣть для нашего общества, и не нужно ли, и не будетъ ли долго нужно повторять и толковать простѣйшія и неоспоримѣйшія истины и доказывать, что бѣлое бѣло, а не черно, а черное черно, а не бѣло. Есть много самыхъ обыкновенныхъ понятій, врожденныхъ человѣку чувствъ, о которыхъ тѣмъ не менѣе надо безпрестанно напоминать, чтобы они не забывались. Это и вездѣ нужно, не говоря уже о нашемъ не сформировавшемся обществѣ. Поэты, съ такимъ благороднымъ и чистымъ направленіемъ, какъ направленіе г. Плещеева, всегда будутъ полезными для общественнаго воспитанія, и найдутъ путь къ молодымъ сердцамъ. Трудно употребить лучше его въ дѣло тѣ поэтическія способности, которыми онъ обладаетъ.

Мы очень рады, что въ послѣднемъ изданіи стихотвореній г. Плещеева встрѣтились съ лучшими пьесами изъ его первой книжки, которыхъ онъ не помѣстилъ въ предпослѣднемъ изданіи, вѣроятно вслѣдствіе тѣхъ неблагопріятныхъ отзыовъ, какими привѣтствовали ее при первомъ появленіи тогдашніе журналы. Мы жальемъ только, что онъ не дополнилъ ихъ нѣкоторыми стихами, которые, сколько намъ помнится, были уже разъ въ печати.

Съ особеннымъ удовольствіемъ перечитали мы прекрасный гимнъ, извѣстный намъ наизусть,—гимнъ, который всегда останется прекрасной памятью скромной, но благородной литературной дѣятельности г. Плещеева:

Впередъ! безъ страха и сомнѣнья,
На подвигъ доблестный, друзья!
Зарю святаго искупленья
Ужъ въ небесахъ завидѣлъ я!

Смѣлѣй! дадимъ другъ другу руки,
И вмѣстѣ двинемся впередъ.
И пусть, подъ знаменемъ науки,
Союзъ нашъ крѣпнеть и ростеть.

Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ
Глаголомъ истины карать;
И спящихъ мы отъ сна разбудимъ,
И поведемъ на битву рать!

Не сотворимъ себѣ куміра
Ни на землѣ, ни въ небесахъ;
За всѣ дары и блага міра
Мы не падѣмъ предъ нимъ во прахъ!...

Провозглашать любви ученье
Мы будемъ нищимъ, богачамъ,
И за него снесемъ гоненье—
Простивъ озлобленнымъ врагамъ!

Блаженъ, кто жизнь въ борьбѣ кровавой,
Въ заботахъ тяжкихъ истощилъ;
Какъ рабъ лѣнивый и лукавый,
Талантъ свой въ землю не зарылъ!

Пусть намъ звѣздой путеводной
Святая истина горитъ;
И вѣрьте, голосъ благородной
Не даромъ въ мѣрѣ прозвучать!

Внемлите-жь, братья, слову брата,
Пока мы полны юныхъ силъ:
Впередъ, впередъ и безъ возврата,—
Что бъ рокъ вдали намъ ни сулилъ!

Сколько помнимъ, прежніе рецензенты г. Плещеева были особенно недовольны стихотвореніемъ или отрывкомъ изъ поэмы «Сонъ», къ которому были взяты эпиграфомъ слова Ламене, приведенныя нами выше. Въ этомъ отрывкѣ, вѣроятно отъ лица героя, который напоминаетъ лермонтовскаго «Пророка», — рассказывается, какъ онъ, усталый и истерзанный тоской, прилежъ отдохнуть подъ дерево, и ему предстала въ видѣніи богиня, избравшая его пророкомъ. И вотъ что слышалъ онъ отъ нея:

«Страданьемъ и тоской твоя томится грудь,
А предъ тобой лежитъ еще далекій путь.

Скажу-ль я, что тебя въ твоей отчизнѣ ждешь?
Подыметь на тебя каменья твой народъ,

За то, что обвинишь могучимъ словомъ ты
Рабовъ грѣха, рабовъ постыдной суеты!

За то, что возвѣстишь ты мщенья грозный часъ
Тому, кто въ тинѣ зла и праздности погрязъ,

Чье сердце не смущалъ гонимыхъ братьевъ стонъ,
Кому закономъ былъ — отцовъ его законъ!

Но не страшися ихъ! и знай, что я съ тобой,
И камни пролетятъ надъ гордой головой.

Въ дѣпяхъ ли будешь ты — не унывай, и вѣрь,
Я отопру сама темницы смрадной дверь.

И снова ты пойдешь, избранный мной Левитъ,
И въ мірѣ голосъ твой не даромъ прозвучитъ.

Зерно любви въ сердца глубоко западетъ;
Придетъ пора и дастъ оно роскошный плодъ.

И человѣку той поры не долго ждать,
Не долго будетъ онъ томиться и страдать.

Воскреснетъ къ жизни міръ.... Смотри, ужь правды лучъ
Прозрѣвшимъ племенамъ сверкаетъ изъ-за тучъ!

Иди же, вѣры поля... И на груди моей
Ты скоро отдохнешь отъ муки и скорбей».

Стихотвореніе заключается слѣдующими стихами пророка:

«Мой падшій духъ возсталъ, и утѣшеннымъ вновь,
Я возвѣщать пошелъ свободу и любовь».

Мотивъ этой пьесы, точно такъ же, какъ и мотивъ стихотворенія «Впередъ», проходитъ болѣе или менѣе внятно по всѣмъ собственнымъ оригинальнымъ стихотвореніямъ г. Плещеева, которые впрочемъ составляютъ не болѣе одной трети изданнаго имъ теперь собранія. Паеосъ, которымъ одушевленъ выписанный нами юношескій гимнъ, болѣею частію переходитъ въ элегическое настроеніе. Г. Плещеевъ съ сочувственною грустью останавливается передъ темными явленіями жизни, и, чувствуя прочность зла и свое безсиліе бороться съ нимъ, часто молитъ Бога объ одномъ—чтобы жаръ его сердца «не засыпало пепломъ мертвящее сомнѣніе». Глубокая искренность этихъ теплыхъ словъ, любовь къ истинѣ и къ благу ближнихъ, вызывавшія эти элегическіе стихи, не можетъ быть подвергнута ни малѣйшему сомнѣнію теперь, когда г. Плещеевъ, послѣ длиннаго, чуть не десятилѣтняго перерыва своей дѣятельности, явился въ литературѣ съ тѣмъ же настроеніемъ, съ какимъ мы видѣли его на первыхъ порахъ его поэтической дѣятельности. Тѣ же стремленія, ту же грусть безсилія, столь понятную въ устахъ людей поколѣнія, къ которому принадлежитъ г. Плещеевъ, увидали мы опять въ его стихахъ:

Дни скорби и тревогъ, дни горькаго сомнѣнья,
Тоска болѣзненныхъ и безотрадныхъ думъ,
Когда жь минуете? Иль тщетно возрожденья
Такъ страстно сердце ждетъ, такъ сильно жаждетъ умъ?

Не вижу я вокругъ отраднаго разсвѣта!
Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взоръ.

Исчезли безъ слѣда мои молодыя лѣта. —
Какъ въ зимнихъ небесахъ сверкнувшій метеоръ.

Какъ мало радостей они мнѣ подарили,
Какъ скоро свѣтлыя разсѣялись мечты,
Морозы ранніе безжалостно побили —
Безпечной юности любимые цвѣты.

И чистыхъ помысловъ и жаркихъ упованій,
На жизненномъ пути разстратилъ много я;
Но средь не ровныхъ битвъ, средь тяжкихъ испытаній,
Что жь обрѣла въ замѣнъ всѣхъ грезъ душа моя?

Увы! лишь жалкое въ себя разувѣреніе,
Да убѣжденіе въ бесплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленіе
Ждать не должно себѣ пощады отъ судьбы.

И даже ты моимъ призывамъ измѣнила,
Друзей свободная и шумная семья!
Привѣта братскаго живительная сила,
Мнѣ не врачуешь духъ въ тревогахъ бытія.

Но пусть ничѣмъ душа больная не согрѣта,
А съ жизнью все-таки разстаться было-бъ жаль,
И хоть не вижу я отраднаго разсвѣта,
Еще невольно взоръ съ надеждой смотреть въ даль.

Эта надежда слышится подъ-часъ довольно внятно въ нѣкоторыхъ послѣднихъ произведеніяхъ г. Плещеева. Справедлива ли такая надежда—Богъ знаетъ. По временамъ онъ обличаетъ сознаніе, что тѣ слишкомъ обобщенныя мысли и чувства, которыя онъ проводитъ въ своихъ стихахъ, требуютъ при новыхъ условіяхъ времени болѣе опредѣленнаго и прямого смысла для жизни.

За г. Плещеевымъ осталась одна сила, сила призыва къ честному служенію обществу и ближнимъ. Смыслъ лучшей стороны дѣятельности г. Плещеева яснѣе всего выражается стихотвореніемъ его, напечатаннымъ на 148 стр. новаго изданія; отъ большей части его оригинальныхъ пьесъ вѣетъ на читателя тѣмъ добрымъ чувствомъ, тѣмъ здравымъ пониманіемъ обязанностей и цѣли жизни, которыя высказаны въ этихъ стихахъ:

Передъ тобой лежитъ широкій, новый путь.
Прими-же мой привѣтъ, не громкій, но сердечный;
Да будешь, какъ была, твоя согрѣта грудь
Любовью къ ближнему, любовью къ правдѣ вѣчной.

Да не утратишь ты въ борьбѣ со зломъ упорной,
 Всего, чѣмъ нынѣ такъ душа твоя полна,
 И вѣры и любви свѣтильникъ животворный
 Да не зальетъ въ тебѣ житейская волна.

Подъявъ чело, иди безтрепетной стопою;
 Иди, храня въ душѣ свой чистый идеалъ,
 На слезы страждущихъ отвѣтствуя слезою,
 И ободряя тѣхъ, въ борьбѣ кто духомъ палъ.

И если въ старости, въ раздумье часъ печальный,
 Ты скажешь: въ мірѣ я оставилъ добрый слѣдъ,
 И встрѣтить я могу спокойно мигъ прощальный...
 Ты будешь счастливъ, другъ; иного счастья нѣтъ!

Въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ г. Плещеева, въ которыхъ онъ обращается къ реализму, отъ стремленія и надеждъ, выражаемыхъ въ общихъ чертахъ, переходитъ къ изображеніямъ дѣйствительности, съ ея прозаическими и мелкими подробностями,—въ этихъ пьесахъ нѣтъ ни той силы, ни той глубины чувства, которыя мы замѣчаемъ въ его произведеніяхъ. Элегическіе стихи его не перестраиваются на сатирическій ладъ, у него нѣтъ ни негодованія, безъ котораго сатира невозможна, ни того наблюдательнаго взгляда, который умѣетъ подмѣчать смѣшныя и вредныя стороны дѣйствительности, ни того изобразительнаго таланта, который умѣетъ рѣзко и рельефно выставить такія черты.

Мы уже сказали, что переводы занимаютъ двѣ трети мѣста въ его книгѣ, и одна изъ этихъ третей посвящена переводамъ изъ Гейне. И эти переводы, какъ упомянуто выше, не были, при первомъ появленіи, пощажены критикой. Кажется, и этотъ трудъ былъ причисленъ къ занятіямъ, представляющимъ бесполезную трату времени. Положимъ, г. Плещеевъ передавалъ въ своихъ стихахъ лишь одну сторону нѣмецкаго поэта, именно тѣ его произведенія, которыя не касаются прямо общественныхъ интересовъ, но мы уже видѣли, что талантъ г. Плещеева не представляетъ нѣкоторыхъ сторонъ, существенно необходимыхъ, для передачи социальныхъ стихотвореній Гейне, которыя всѣ почти полны чрезвычайнаго юмора, и въ выраженіи, и въ самыхъ образахъ. Понятно, что г. Плещеевъ брался именно за то, что болѣе всего поддавалось его таланту. Намъ кажется, что и собственные его стихотворенія, въ юмористическомъ тонѣ, о которыхъ мы упомянули безъ особенной похвалы, вызваны не столько собственно внутреннимъ чувствомъ

поэта, сколько общимъ направлениемъ всей современной русской литературы къ реализму.

Самая большая пьеса, переведенная г. Плещеевымъ изъ Гейне, это—«Вилльямъ Ратклиффъ», одно изъ первыхъ, почти дѣтскихъ произведеній автора «Книга пѣсенъ». Сама по себѣ—эта трагедія, или драматическая баллада, какъ называетъ ее самъ авторъ, не замѣчательна; въ ней мы видимъ Гейне еще чистымъ романтикомъ со всѣми романтическими дикостями. Но въ дѣятельности нѣмецкаго поэта, на нее нельзя не обратить вниманіе. На ней замѣтно сильное вліяніе «Разбойниковъ» Шиллера, и уже переходъ къ новой реальной поэзіи чувствуется довольно ясно. Гейне говоритъ, что первый полу-романтический періодъ его поэзіи завершается этою драмой, что она служить, такъ сказать, послѣднимъ словомъ этого періода; «это слово», говоритъ онъ: «сдѣлалось въ послѣдствіи лозунгомъ, отъ котораго прояснялись черты бѣдняка и вытягивались жирныя фізіономіи сыновъ счастья. У очага почтеннаго Тома, идеальнаго разбойника изъ класса *partageux*, уже слышится запахъ этого великаго вопроса о супѣ, за который принялись теперь такое множество дрянныхъ поваровъ, и который со дня на день все больше и больше перекипаетъ. Счастливецъ поэтъ! онъ видитъ дубовыя рощи, таящіяся въ оболочкѣ жолудя; онъ ведетъ разговоръ съ поколѣніями, которыя еще не зарождались въ утробѣ матерей. Эти поколѣнія нашептываютъ ему свои тайны, и онъ передаетъ ихъ потомъ громко среди народной площади. Но голосъ его гложетъ въ нуждахъ дня и немногіе слушаютъ его, и никто не понимаетъ. Фридрихъ Шлегель называлъ историка пророкомъ прошедшаго. Едва ли не еще справедливѣе назвать поэта историкомъ будущаго».

Гейне совершенно правъ, говоря это о своей драмѣ, почти въ самомъ концѣ своей дѣятельности, которая дѣйствительно развилась въ свою очередь, какъ дубовая роща изъ жолудя, изъ этой драмы. Но «Вилльямъ Ратклиффъ», взятый отдѣльно, безъ связи съ остальными произведеніями поэта, лишается большей части своего интереса, и становится очень понятно, почему онъ обратилъ на себя при первомъ появленіи, вмѣстѣ съ другою юношеской драмой Гейне «Альманзоромъ», такъ мало вниманія.

Переводъ г. Плещеева вѣренъ и хорошъ, и для русскихъ любителей Гейне будетъ любопытенъ, какъ черта изъ біографіи ав-

тора «Путевыхъ Картинъ»; онъ можетъ пожалуй быть прочитанъ и какъ образецъ болѣзненного романтизма, охватывавшаго всю нѣмецкую поэзію въ то время, когда выступалъ на литературное поприще Гейне. Но достоинства положительнаго у этой драмы рѣшительно нѣтъ, и—признаемся—мы думаемъ, что у того же Гейне г. Плещеевъ могъ бы взять что либо болѣе интересное для перевода.

Изъ остальныхъ стихотвореній переведенныхъ изъ этого поэта г. Плещеевымъ, большая часть взята изъ «Buch der Lieder» и «Neue Gedichte». Переводъ этотъ принадлежитъ къ лучшимъ на русскомъ языкѣ переводамъ этихъ прелестныхъ пѣсень. Нѣкоторые изъ нихъ стали всѣмъ извѣстны съ перваго появленія въ печать. И дѣйствительно, едва ли можно передать лучше, чѣмъ передалъ г. Плещеевъ стихотвореніе: «Возьми барабанъ и не бойся», «Рѣчная лилія», «Вѣтеръ осенній колышетъ», и др.

Кромѣ Гейне, г. Плещеевъ переводилъ и переводить и другихъ нѣмецкихъ поэтовъ. Въ его книжкѣ есть стихотворенія и даровитѣйшаго изъ нѣмецкихъ романтическихъ лириковъ Эйхендорфа и изъ бездарнѣйшаго католическаго романтика Оскара Редвица, отличившагося въ послѣднее время стихотвореніемъ на геройство неаполитанской королевы въ Гаэтѣ, за что и получилъ, какъ писали въ газетахъ, какое-то подаваніе не то отъ баварскаго, не то отъ вѣнскаго двора. Г. Плещеевъ переводить и такихъ дѣйствительно замѣчательныхъ поэтовъ, какъ Фрейлигратъ и Морицъ Гартманъ, и такихъ слабыхъ, хотя извѣстныхъ въ Германіи стихотворцевъ, какъ Робертъ Пруцъ и Карлъ Бекъ. Надо правду сказать, теперь не трудно добиться въ нѣмецкой поэзіи нѣкоторой извѣстности и даже получить авторитетъ. Кажется, никогда еще нѣмецкая литература не была такъ бѣдна поэзіей, какъ въ послѣднее время. Тотъ самый Робертъ Пруцъ, изъ котораго г. Плещеевъ перевелъ нѣсколько пьесъ, издалъ недавно историческій очеркъ изящной нѣмецкой литературы съ 1848 года. Поэзія за это время представляетъ въ Германіи самое плачевное зрѣлище. Все, что сколько нибудь превышаетъ уровень посредственности, принадлежитъ поэтамъ уже не новаго поколѣнія, поэтамъ не молодымъ и оканчивающимъ свое литературное поприще. Хотя въ книгѣ Пруца и есть цѣлая глава, посвященная, какъ онъ называетъ ихъ, поэтическимъ подросткамъ, но на эти подростки плохая надежда. Единственнымъ

исключеніемъ изъ нынѣ пишущихъ нѣмецкихъ поэтовъ можно называть Морица Гартмана, и почти все, что перевелъ изъ этого поэта г. Плещеевъ, стоитъ вниманія. Не таковы его переводы изъ Бека, Пруца и Анастасія Грюна. Переводы изъ этихъ поэтовъ занимають, правда, самое незначительное мѣсто въ книжкѣ г. Плещеева, но было бы пріятнѣе, еслибъ и этого мѣста не было имъ удѣлено, и г. Плещеевъ обратилъ свое вниманіе на что нибудь иное, если не въ новой, то въ прежней нѣмецкой литературѣ.

Изъ прежнихъ поэтовъ мы находимъ въ его книжкѣ прекрасный переводъ одного очень хорошаго, хотя и мало извѣстнаго стихотворенія Гёте: «Молитва», и нѣсколько романтическую пѣсню Рюккерта: «Странникъ». Г. Плещеевъ самъ немножко романтикъ и вѣроятно потому взялъ у Рюккерта только одну эту пьесу. Вообще мы рѣдко можемъ упрекнуть г. Плещеева въ томъ, чтобы онъ брался за что либо несродное его таланту.

Фрейлигратъ представляетъ по таланту и по самому роду своихъ произведеній совершенную противоположность г. Плещееву. Это поэтъ образовъ яркихъ и блестящихъ; но у Фрейлиграта есть двѣ-три пьесы въ томъ элегическомъ рефлексивномъ тонѣ, который такъ удастся нашему поэту, и г. Плещеевъ взялъ лучшую изъ этихъ пьесъ и перевелъ, не увлекаясь роскошью другихъ.

Люби, пока любить ты можешь,
Иль часъ ударить роковой,
И станешь съ позднимъ сожалѣнемъ.
Ты надъ могилой дорогой!

И сторожи, чтобъ сердце свято
Любовь хранило, берегло, —
Пока его другое любить
И неизмѣнно и тепло.

Тѣмъ, чья душа тебѣ открыта,
О дай имъ больше, больше дай!
Чтобъ каждый мигъ дарилъ имъ счастье—
Ни одного ни отравляй!

И сторожи, чтобъ словъ обидныхъ—
Порой языкъ не произнесъ;
О Боже! онъ сказалъ безъ злобы—
А друга взоръ ужъ полонъ слезъ!

Люби, пока любить ты можешь,
Иль часъ ударить роковой,

И станешь съ позднимъ сожалѣньемъ
Ты надъ могилой дорогой!

Вотъ ты стоишь надъ ней уныло,
На грудь поникла голова.
Все что любилъ—навѣкъ сокрыла
Густая, влажная трава,

Ты говоришь: «хоть на мгновенье
Взгляни, изныла грудь моя!
Прости язвительное слово,
Его сказалъ безъ злобы я!»

Но другъ не видитъ и не слышитъ,
Въ твои объятья не спѣшитъ,
Съ улыбкой кроткою, какъ прежде,
«Прощаю все» не говорить!

Да! ты прощень... но много, много
Твоя язвительная рѣчь—
Мгновеній другу отравила,
Пока успѣлъ онъ въ землю лечь.

Люби, пока любить ты можешь,
Иль часъ ударить роковой,
И станешь съ позднимъ сожалѣньемъ
Ты надъ могилой дорогой!

Для чего перевелъ г. Плещеевъ пьесу Анастасія Грюнъ «Старый комедіантъ», понять довольно трудно. Это все равно, какъ если бы Фрейлигратъ вздумалъ переводить съ русскаго *Tendenz Gedichte* г. Розенгейма. Грюнъ ни на волосъ не лучше. Это холодный, изысканный риторъ безъ всякаго поэтическаго чутія; его стихотворенія похожи на риемованныя журнальныя статьи и фельетоны, и если онъ прославился, то только потому, что принадлежалъ къ австрійскимъ поэтамъ, въ родѣ извѣстнаго Якова Хама, съ такимъ же милымъ и богобоязненнымъ направленіемъ. Написать, что не только на всей землѣ, но даже и въ самой Австріи не наступали еще торжества правды и свободы, какъ это сдѣлалъ Грюнъ, въ своихъ знаменитыхъ «Прогулкахъ Вѣнскаго поэта», было уже страшнѣйшимъ героизмомъ, неслыханнымъ либерализмомъ, котораго тѣмъ-паче нельзя было ожидать отъ титулованнаго потомка древней имперской фамиліи: Грюнъ, какъ извѣстно, только псевдонимъ, а настоящая фамилія поэта—графъ фонъ-

Ауэрсбергъ. Смѣлость его нисколько не превосходитъ новѣйшихъ либеральныхъ тенденцій гг. Бенедиктова, Розенгейма и друг. Если же либеральный нѣмецкій поэтъ сталъ извѣстенъ и внѣ своего отечества, то этому онъ обязанъ только тому, что нѣмецкій языкъ болѣе распространенъ, чѣмъ тотъ, на которомъ призываетъ человѣчество къ прогрессу г. Розенгеймъ.

Совсѣмъ иное дѣло Морицъ Гартманъ, хотя и онъ родился австрійскимъ подданнымъ. Не говоря уже о талантѣ, которымъ едва ли равняется съ нимъ кто нибудь изъ нѣмецкихъ поэтовъ новаго поколѣнія, самое направленіе его не можетъ быть и сравниваемо съ графскими тенденціями вѣнскаго поэта. То, что перевелъ изъ него г. Плещеевъ, какъ мы уже сказали, очень удалось, но только за исключеніемъ нѣсколько темной и странной датской баллады про короля Альфреда. У Гартмана вы рѣдко встрѣтите что нибудь сочиненное, насильно придуманное, какъ это часто случается даже у лучшихъ поэтовъ этого направленія; напротивъ, все у него прочувствовано, всюду слышенъ голосъ человѣка, глубоко проникнутаго убѣжденіемъ. Его произведенія явились потому, что онъ не могъ не высказаться, тогда какъ у многихъ другихъ нѣмецкихъ поэтовъ политической школы вы постоянно замѣчаете, что имъ хочется сказать то, что не вошло еще въ нихъ органически. Чтобы привести примѣръ, вспомнимъ Пруца. Онъ считается однимъ изъ радикальнѣйшихъ нѣмецкихъ поэтовъ послѣдняго времени. Обскуранты гремѣли и отчасти гремятъ и теперь противъ него жестокими проклятіями. Но какъ вамъ нравится, напримѣръ, слѣдующая черта его радикализма! Въ своемъ историческомъ обзорѣни «Нѣмецкая литература съ 1848 г.», онъ обращается съ упрекомъ къ Морицу Гартману и къ Альфреду Мейснеру, за то, что они говорятъ съ сочувствіемъ о чехахъ, и выражаютъ свое уваженіе къ этой угнетенной національности. Такіе радикалы только и могутъ быть, что у нѣмцевъ.

Г. Плещеевъ переводитъ не однихъ нѣмецкихъ поэтовъ. Въ его книгѣ есть нѣсколько очень хорошихъ переводовъ съ польскаго и малороссійскаго. Особенно нравятся намъ три такъ-называемыя «Сельскія пѣсни» (съ польскаго).

ЛЕССИНГЪ.

ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Историческое значеніе нѣмецкой литературы въ послѣдней половинѣ прошедшаго вѣка. — Мѣсто, которое принадлежитъ Лессингу въ исторіи развитія нѣмецкаго народа.

Объясняя жизнь, служа посредницею между чистою отвлеченною наукою и массою публики, доставляя человѣку облагораживающее эстетическое наслажденіе, пробуждая умъ къ дѣятельности, литература всегда имѣетъ болѣе или меньшее вліяніе на развитіе народовъ, всегда играетъ болѣе или менѣе важную роль въ историческомъ движеніи.

Но какъ ни очевидно ея участіе въ исторіи, надобно согласиться, что очень рѣдки въ жизни человѣчества тѣ случаи, когда литература, въ строгомъ смыслѣ слова, какъ мы здѣсь его употребляемъ—то есть поэзія и ученыя сочиненія, писанныя такъ, что читаются всею массою публики, а не одними специалистами—рѣдки тѣ случаи, когда литература бывала въ историческомъ движеніи главною, преобладающею силою. Почти всегда литературныя вліянія отгнѣснялись, въ развитіи народной жизни, на второй планъ другими, болѣе пылкими чувствами или матеріальными, практическими побужденіями: соперничествомъ племенъ и державъ, религіею, политическими, юридическими и экономическими отношеніями и т. д. Точно такова же была почти всегда и судьба науки. Но чрезвычайная важность науки въ жизни и исторіи нисколько не теряется черезъ это скромное положеніе: творя тихо и медленно, она творитъ

все; создаваемое ею знаніе ложится въ основаніе всѣхъ понятій и потому всей дѣятельности человѣчества, даетъ направленіе всѣмъ его стремленіямъ, силу всѣмъ его способностямъ. Наука—чернорабочій, не играющій блистательной роли въ обществѣ; но трудами этого чернорабочаго живетъ все: и государство и семейство, и политика и промышленность; только оплодотворенныя знаніемъ стремленія человѣка получаютъ характеръ, совмѣстный съ общимъ и частнымъ благомъ, силы человѣка производятъ полезное дѣйствіе. Литература не имѣетъ этого права считаться первою виновницею всякаго прогресса. Она не общая мать всѣхъ другихъ дѣятельностей человѣка: она сама такая же спеціальная, частная дѣятельность, какъ и все остальное въ человѣческой жизни, кромѣ знанія. Когда преобладаніе литературы въ историческомъ движеніи не очевидно, то и на самомъ дѣлѣ она не играетъ въ немъ главной роли. Вѣдь она не создаетъ машинъ и инструментовъ, юридическихъ понятій и нравственныхъ отношеній, государственной власти и промышленной дѣятельности, какъ создаетъ ихъ знаніе. Пусть политика и промышленность шумно движутся на первомъ планѣ въ исторіи, исторія все-таки свидѣтельствуетъ, что знаніе—основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное въ человѣческой жизни. А до литературы нѣтъ исторіку дѣла, если она насильно не вынуждаетъ у него признанія своего историческаго могущества: чѣмъ не овладѣетъ она сама, въ томъ никто не уступитъ ей доли.

И, надобно признаться, доля литературы, въ историческомъ процессѣ, никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала и вовсе не такъ значительна, чтобы заслуживать особеннаго вниманія. Дѣйствительно, литература почти всегда имѣла для развитія человѣческой жизни только второстепенное значеніе. Такъ на примѣръ, въ древнемъ мірѣ мы не замѣчаемъ ни одной эпохи, въ которой историческое движеніе совершалось бы подъ преобладающимъ вліяніемъ литературы. Несмотря на все пристрастіе грековъ къ поэзіи, ходъ ихъ жизни обусловливался не литературными вліяніями, а религіозными, племенными и военными стремленіями, вполнѣдствіи, кромѣ того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшимъ украшеніемъ, но только украшеніемъ, а не основною пружиною, не главною двигательницею ихъ жизни. Римская жизнь развивалась военною и по-

литическою борьбою и опредѣленіемъ юридическихъ отношеній; литература была для римлянъ только благороднымъ отдыхомъ отъ политической дѣятельности. Въ блестящій вѣкъ Италіи, когда она имѣла Данте, Аріосто и Тассо, также не литература была основнымъ началомъ жизни, а борьба политическихъ партій и экономическихъ отношеній: эти интересы, а не вліяніе Данте, рѣшали судьбу его родины и при немъ и послѣ него. Въ Англіи, гордящейся величайшимъ поэтомъ христіанскаго міра и такимъ числомъ первостепенныхъ писателей, какого не найдется, быть можетъ, въ литературахъ всей остальной Европы, вмѣстѣ взятыхъ, — въ Англіи отъ литературы никогда не зависѣла судьба націи, опредѣлявшаяся религиозными, политическими и экономическими отношеніями, парламентскими преніями и газетною полемикою: собственно такъ называемая литература всегда имѣла только второстепенное вліяніе на историческое развитіе этой страны. Таково же было положеніе литературы почти всегда, почти у всѣхъ историческихъ народовъ.

Исключеній изъ этого обыкновеннаго порядка, случаевъ, когда литература являлась дѣйствительно главною двигательною историческаго развитія, очень немного. Нѣмецкая литература послѣдней половины прошедшаго и первыхъ годовъ нынѣшняго вѣка есть одно изъ самыхъ важныхъ между этими рѣдкими явленіями. Отъ начала дѣятельности Лессинга до смерти Шиллера (до завоеванія западной Германіи Наполеономъ, законодательства Штейна въ Пруссіи и до распространенія философіи—явленій, которыя овладѣваютъ послѣдующимъ развитіемъ нѣмецкаго народа), втеченіе пятидесяти лѣтъ, развитіе одной изъ величайшихъ между европейскими націями, будущность странъ отъ Балтійскаго до Средиземнаго моря, отъ Рейна до Одера опредѣлялась литературнымъ движеніемъ. Участвіе всѣхъ остальныхъ общественныхъ силъ и событій въ національномъ развитіи должно назвать незначительнымъ сравнительно съ вліяніемъ литературы. Ничто не помогало въ то время ея благотворному дѣйствію на судьбу нѣмецкой націи; напротивъ, почти всѣ другія отношенія и условія, отъ которыхъ зависитъ жизнь, не благопріятствовали развитію народа. Литература одна вела его впередъ, борясь съ безчисленными препятствіями.

Каковы же были результаты этого пятидесятилѣтія?

Въ пятьдесятъ лѣтъ литература совершила для прочнаго блага нѣмецкаго народа болѣе, нежели когда нибудь было совершено всѣми

другими общественными силами для какого нибудь народа во сто, въ двѣсти лѣтъ. Нѣмецкая литература застала свой народъ ничтожнымъ, презрѣннымъ отъ всѣхъ и презирающимъ себя, не имѣющимъ даже никакого сознанія о своемъ существованіи, грубымъ до средне-вѣковаго варварства въ однихъ слояхъ, развращеннымъ до нравовъ временъ Регентства въ другихъ слояхъ, ничего не желающимъ, ничего не надѣющимся, безжизненнымъ. Она дала ему сознаніе о національномъ единствѣ, пробудила въ немъ чувство законности и честности, вложила въ него энергическія стремленія, благородную увѣренность въ своихъ силахъ. Въ половинѣ XVIII вѣка нѣмцы, во всѣхъ отношеніяхъ, были двумя вѣками позади англичанъ и французовъ. Въ началѣ XIX вѣка они во многихъ отношеніяхъ стояли уже выше всѣхъ народовъ. Въ половинѣ XVIII вѣка нѣмецкій народъ казался дряхлымъ, отжившимъ свой вѣкъ, не имѣющимъ будущности. Въ началѣ XIX вѣка нѣмцы явились народомъ, полныхъ могучихъ силъ,—народомъ, которому предстоитъ великая и счастливая будущность,—народомъ, готовымъ дать начала обновленія для всѣхъ другихъ европейскихъ народовъ, если бы тотъ или другой изъ нихъ нуждался въ посторонней помощи для своего обновленія. Все это совершила литература, наперекоръ безчисленнымъ препятствіямъ, безъ всякой посторонней помощи, и Шиллеръ имѣлъ полное право прославить нѣмецкую поэзію за то, что ея возвеличенъ нѣмецкій народъ, и никто не дѣлитъ славы этой съ нѣмецкими писателями.

«Не было у нашей литературы ни Августовъ, ни Медичи, не ободрялъ и не поддерживалъ ея никто. Съ отрадною гордостью можетъ сказать нѣмецъ, что самому себѣ обязанъ онъ всѣмъ, въ чемъ нынѣ честь его».

Kein Angustisch' Alter blühte,
Keines Mediceers Güte
Lächelte der deutschen Kunst;
.....
Rühmend darf's der Deutsche sagen,
Höher darf das Herz ihm schlagen:
Selbst erschuf er sich den Werth!

Потому то нѣмецкая литература въ періодъ времени отъ половины прошлаго до начала нынѣшняго вѣка есть явленіе величай-

шей исторической важности, какой не имѣютъ многія другія эпохи литературной дѣятельности у другихъ народовъ, блиставшія писателями, которые по поэтическому генію были не ниже или даже и выше корифеевъ нѣмецкой литературы. Суворовъ, конечно, былъ геніальнѣе Кутузова и Барклая-де-Толли; но дѣло, совершенное Барклаемъ и Кутузовымъ, безконечно превышаетъ своимъ историческимъ значеніемъ всѣ дивные подвиги Суворова. Такъ, Мильтонъ и Данте, по поэтическому генію, быть можетъ, выше Гёте и Шиллера; но въ исторіи человѣчества Гёте и Шиллеръ занимаютъ гораздо болѣе значительное мѣсто. То—люди, высокіе въ своей специальности; это—двигатели историческаго развитія, имѣвшіе прямое вліяніе на судьбу человѣчества, стоящіе въ ряду великихъ правителей націй, въ одномъ ряду съ Ришельё, Штейномъ, Робертомъ Пилемъ *).

Если бы не вышелъ изъ моды старый и въ сущности вовсе не безполезный обычай объяснять въ предисловіяхъ къ сочиненіямъ, трактующимъ объ ученыхъ предметахъ, какую пользу приносить вообще знаніе, какую пользу въ частности приносить знаніе того предмета, о которомъ трактуется въ этомъ сочиненіи, и какую пользу въ особенности принесетъ знаніе этого предмета тѣмъ читателямъ, для которыхъ назначается это сочиненіе,—если бы не вышелъ изъ моды этотъ старый добрый обычай, мы должны были бы сказать что нибудь о той особенной пользѣ, какую можемъ извлечь мы, русскіе, изъ знакомства съ судьбами нѣмецкой литературы временъ Лессинга, Шиллера и Гёте.

Если бы не вышелъ также изъ моды другой старый добрый обычай—проводить параллели между сходными явленіями въ исторіи различныхъ народовъ, мы могли бы также отыскать нѣкоторыя занимательныя аналогіи между положеніемъ нѣмецкой литературы того времени и положеніемъ нѣкоторыхъ другихъ литературъ въ другія времена.

Наконецъ, если бы не вышли изъ моды «Разговоры въ царствѣ мертвыхъ», мы могли бы выставить Лессинга, разговаривающаго, напримѣръ, съ Пушкинымъ и Гоголемъ въ Елисейскихъ поляхъ:

*) Гервинусъ, см. особенно предисловіе къ 1-му и 4-му томамъ изданія 1853 года.

Лессингъ распрашивалъ бы Пушкина и Гоголя о русской литературѣ и, въ свою очередь, сообщалъ бы имъ различныя замѣчанія о литературѣ вообще.

Но «Разговоры въ царствѣ мертвыхъ», историческія параллели въ родѣ Плутарха, предисловія о пользѣ наукъ,—все это рѣшительно вышло изъ моды, и мы, не желая прослыть людьми, отставшими отъ вѣка, отказываемся и отъ разсужденій о пользѣ изученія судьбы нѣмецкой литературы для русской литературы, и отъ идеи вывести Лессинга, разговаривающаго съ Пушкинымъ и Гоголемъ, и повторимъ только, что важнѣйшею стороною нѣмецкой литературы отъ Лессинга до Шиллера надобно считать вліяніе ея на историческую жизнь нѣмецкаго народа. Потому особенно интересно разсматривать ее не въ отдѣльности отъ другихъ сторонъ жизни, какъ чисто художественную дѣятельность, а въ связи съ общею исторіею народа, какъ силу, властвовавшую надъ умами, нравами и жизненными стремленіями и приготовлявшую событія,—словомъ, смотрѣть на нее не какъ на исключительное достояніе искусства, а какъ на одинъ изъ великихъ фазисовъ общей исторіи народа.

Лессингъ былъ главнымъ въ первомъ поколѣніи тѣхъ дѣятелей, которыхъ историческая необходимость вызвала для оживленія его родины. Онъ былъ отцомъ новой нѣмецкой литературы. Онъ властвовалъ надъ нею съ диктаторскимъ могуществомъ. Всѣ значительнѣйшіе изъ послѣдующихъ нѣмецкихъ писателей, даже Шиллеръ, даже самъ Гёте въ лучшую эпоху своей дѣятельности, были учениками его; оставались учениками его даже тогда, когда ставали противъ него или по одностороннему увлеченію, какъ писатели «періода бурныхъ стремленій» (*Sturm-und Drang Periode*), или по тайной зависти, какъ Гердеръ и Гёте. Нынѣ, когда литература въ Германіи утратила свою преобладающую силу надъ развитіемъ общественной жизни, и безусловное восхищеніе литературными знаменитостями прежняго времени уступило мѣсто другимъ симпатіямъ, величіе Лессинга возрастаетъ по мѣрѣ того, какъ уменьшается авторитетъ писателей, смѣнившихъ его, и по мѣрѣ того, какъ очевиднѣе убѣждаются наши современники въ односторонности понятій, которыми еще недавно были удовлетворяемы, все болѣе и болѣе научаются они пѣнить Лессинга. Онъ ближе къ нашему вѣку, нежели самъ Гёте, взглядъ его проникательнѣе и глубже, понятія его шире и гуманнѣе. Только еще недавно стали постигать почти

безпримѣрную гениальность его ума, удивительную вѣрность его идей обо всемъ, чего ни касался онъ. Слава Лессинга все возрастаетъ и, вѣроятно, долго еще будетъ возрастать. Но и теперь стало уже ясно для всѣхъ, что только очень немногіе изъ людей XVIII вѣка, столь богатаго гениальными людьми и сильными историческими дѣятелями, могутъ быть поставлены на ряду съ нимъ по гениальности и огромному историческому значенію. Между своими соотечественниками онъ рѣшительно не находитъ соперниковъ въ своемъ вѣкѣ; самъ Фридрихъ II не имѣлъ такого сильнаго вліянія на развитіе нѣмецкаго народа, какъ Лессингъ *).

Мы уже сказали, что нѣмецкую литературу послѣдней половины прошедшаго и начала нынѣшняго вѣка надобно разсматривать преимущественно со стороны ея вліянія на жизнь нѣмецкаго народа. Дѣятельность Лессинга, которая будетъ предметомъ нашихъ статей, заключаетъ въ себѣ начала всего того, чѣмъ сильна и благотворна для своего народа была эта литература; всему основаніе было положено Лессингомъ: подвигъ его преемниковъ былъ только осуществленіемъ его мысли, и наибольшую часть того, что считалъ онъ нужнымъ совершить, успѣлъ совершить онъ самъ, оставивъ своимъ преемникамъ только меньшую и легчайшую половину труда; въ великой борьбѣ, цѣлью которой было возрожденіе нѣмецкаго народа, не только планъ битвы принадлежитъ ему, но и побѣда была одержана имъ, — Гете и Шиллеръ только довершали то, что уже было сдѣлано Лессингомъ, — ихъ слушали, потому что Лессингъ заставлялъ слушать; имъ сочувствовали, потому что Лессингъ заставлялъ сочувствовать идеямъ, которыя выражали они, — и все, что было здороваго въ ихъ идеяхъ, было имъ внушено Лессингомъ. Въ немъ или черезъ него и отъ него вся новая нѣмецкая литература до смерти Шиллера и до конца плодотворной эпохи въ дѣятельности Гете.

Мы хотимъ рассказать, что и какъ сдѣлалъ Лессингъ для историческаго развитія Германіи, — и намъ надобно начать съ того, чтобы взглянуть, въ какомъ положеніи засталъ онъ Германію.

Читатель не найдетъ страннымъ, что изложеніе дѣятельности писателя начинается обзорѣмъ состоянія его родины не въ од-

*) Шлоссеръ, Гервинусъ, Гиллебрандъ и проч.

номъ литературномъ или умственномъ отношеніи, но и въ государственномъ: писатель этотъ имѣлъ могущественнѣйшее вліяніе не на одну литературу, а на всю общественную жизнь Германіи; результатомъ его дѣятельности было не возрожденіе одной литературы, а возрожденіе націи. Посмотримъ же, въ какомъ положеніи засталъ онъ свой народъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Причины, замедлившія соединеніе нѣмецкихъ племенъ въ одну національную державу и содѣйствовавшія распаденію Германіи на множество самостоятельныхъ государствъ.—Слѣдствія этого распаденія.—Положеніе нѣмецкаго народа въ половинѣ XVIII вѣка по отношенію къ общимъ національнымъ интересамъ.—Характеристика государственной и частной жизни въ различныхъ нѣмецкихъ владѣніяхъ.

Русскіе, англичане, французы часто осуждаютъ нѣмцевъ за то, что они до сихъ поръ не составили изъ себя одной великой державы, каковы Россія, Англія, Франція. Многіе заходятъ въ этомъ осужденіи такъ далеко, что объявляютъ нѣмцевъ народомъ неспособнымъ къ высшей государственной жизни. Эти люди забываютъ, что судьба народа зависитъ не отъ однихъ его способностей, но также и отъ обстоятельствъ. Здѣсь не мѣсто разсматривать, до какой степени извиняются обстоятельства предки нынѣшнихъ нѣмцевъ, за то, что въ XV—XVII вѣкахъ не успѣли образовать одной державы, какъ успѣли достигъ государственнаго единства французы и англичане. Но при внимательномъ разборѣ оказывается, что препятствія, съ которыми нѣмцы должны были бороться въ этомъ дѣлѣ, были гораздо значительнѣе, нежели тѣ затрудненія, которыми задерживались другіе народы. Въ Англіи, напримѣръ, вся страна была занята однимъ и тѣмъ же племенемъ, во Франціи были только два племени, изъ которыхъ сѣверное съ самаго начала было гораздо могущественнѣе южнаго, такъ что безъ особеннаго труда получило рѣшительный перевѣсъ надъ нимъ,—въ Германіи было нѣсколько племенъ, одинаково сильныхъ или защищенныхъ географическими условіями отъ преобладанія другъ надъ другомъ,—фризы, саксы, тюрингцы, аллеманы, баварцы не такъ скоро могли слиться между собою въ одно цѣлое, какъ франки Шампани съ франками

Анжу и Берри. По своему географическому положенію, нѣмцы имѣли сосѣдями иноплеменниковъ и на западѣ, и на югѣ, и на востокѣ, между тѣмъ, какъ французы имѣли чужихъ сосѣдовъ только съ одной восточной стороны (на югѣ горы отдѣляли ихъ отъ другихъ народовъ твердою границею), англичане только на сѣверной границѣ встрѣчались съ малочисленными шотландцами, — и если Англія окончательно слилась съ Шотландіей только въ началѣ XVIII вѣка, то можно ли дивиться, что сліяніе пяти или шести равносильныхъ нѣмецкихъ племенъ замедлилось? Во Франціи стремленіе народа къ единству не было развлекаемо дѣломъ покоренія сосѣднихъ племенъ характеру французской національности, въ Англіи борьба за обладаніе Франціею началась уже по соединеніи всѣхъ англійскихъ областей въ одно государство. Въ той и другой странѣ, до утвержденія государственнаго единства, всѣ усилія и народа и верховной власти были устремлены къ созданію и упроченію этого единства. Въ Германіи, напротивъ того, на югѣ и востокѣ нѣмецкое племя было занято упорною борьбою съ иноплеменниками и расширеніемъ границъ своей національности. Представитель верховной власти, императоръ, въ качествѣ главы всего католическаго міра, занятъ былъ не столько утвержденіемъ строгаго государственнаго единства въ Германіи, сколько завоеваніемъ Италіи и борьбой съ папою, а народъ — расширеніемъ предѣловъ своихъ на востокъ. Такимъ образомъ, при значительнѣйшихъ внутреннихъ препятствіяхъ къ основанію государственнаго единства, существовали въ Германіи историческія отношенія, не позволявшія силамъ народа и усиліямъ правительства сосредоточиваться на одномъ стремленіи къ созданію одного національнаго государства, между тѣмъ, какъ въ Англіи и Франціи не существовало этихъ отношеній, неблагопріятныхъ стремленію къ государственному единству.

Этими особенными обстоятельствами и отношеніями уже достаточно объясняется, почему исторія Германіи, по вопросу о государственномъ единствѣ одноплеменнаго народа, представляетъ противоположность, напримѣръ, французской исторіи; и нѣтъ надобности предполагать въ нѣмцахъ менѣе способности къ составленію одного національнаго государства, нежели въ какомъ нибудь другомъ изъ европейскихъ народовъ, ранѣе нѣмецкаго народа достигшихъ этой цѣли потому только, что имъ на пути встрѣчалось менѣе препятствій нежели нѣмцамъ.

Нельзя осуждать нѣмцевъ за то, что они еще не слились въ одну державу: не народъ нѣмецкій виновать въ томъ, а географическія и историческія отношенія. Но, дѣйствительно, подъ вліяніемъ этихъ неблагоприятныхъ обстоятельствъ, исторія Германіи, по отношенію къ государственному единству, представляетъ, съ XIII или XIV вѣка, совершенную противоположность тому, что мы видимъ во Франціи. Начало развитія въ обѣихъ странахъ было одно: имперія Карла Великаго постепенно распалась на мелкія государства, которыя, и по объему, и даже по характеру управленія, скорѣе можно сравнить съ частными владѣніями, нежели съ національными державами. Королевская власть во Франціи, императорская въ Германіи была очень слабою связью между раздробленными частями одного народа. Но во Франціи эта центральная власть постепенно усиливается и наконецъ даетъ народу политическое единство; въ Германіи она все больше и больше ослабѣваетъ, такъ что въ XVIII вѣкѣ существуетъ только по имени, а отдѣльные князья, сначала бывшіе подданными императора, становятся независимыми государствами, которые только на бумагѣ называются членами одной конфедераціи, на самомъ же дѣлѣ не хотятъ ни думать о національных интересахъ, ни подчиняться имперскому сейму. Каждое великое событіе, театромъ котораго была Германія, подвигало судьбу націи къ этому результату. Чтобы не заходить въ слишкомъ отдаленныя времена, припомнимъ ходъ событій съ Реформаціи. Она раздѣлила Германію на двѣ враждебныя половины, и раздѣленіе это не было слѣдствіемъ какого нибудь разнорѣчія между стремленіями народа въ южной и сѣверной Германіи, а только слѣдствіемъ того, что католикъ-императоръ, папа и баварскіе іезуиты успѣли удержать въ религіозномъ повиновеніи области, ближайшія къ центру ихъ могущества, и насильственно подавить реформацію въ южной Германіи, чего не успѣли сдѣлать въ земляхъ, болѣе отдаленныхъ отъ Рима, Вѣны и Мюнхена. Изъ двухъ враждебныхъ партій, протестантская напрягала всѣ силы для ослабленія непріязненной центральной власти, католическая находила себѣ главную опору не въ императорѣ, а въ герцогахъ баварскихъ. Власть императора упала, власть отдѣльныхъ князей возвысилась. Имперскій сеймъ сталъ уже не органомъ союза, хотя и слабого, но все-таки общаго національнаго союза, какъ то было прежде, а конгрессомъ двухъ враждебныхъ коалицій, послѣднее слово которыхъ всегда — угроза

войною. Католики и самъ императоръ ищутъ покровительства Испаніи, протестанты — Англіи, Даніи, Швеціи; поочередно тѣ и другіе покровительства Франціи; тѣ и другіе одинаково находятся подъ вліяніемъ иноземцевъ, которые становятся покровителями нѣмецкимъ державамъ противъ нѣмецкихъ же державъ. Мало по малу, съ ослабленіемъ религіознаго энтузіазма, ослабѣла и та связь, которая соединяла протестантовъ съ протестантами, католиковъ съ католиками: прежнія крѣпкія коалиціи исчезаютъ; послѣ Тридцати-лѣтней войны нѣтъ прочнаго союза ни между протестантами, ни между католиками; вмѣсто духа партій водворяется духъ полнаго эгоизма. Благодаря чужеземному вмѣшательству, отдѣльные князья становятся, по вестфальскому миру, совершенно самостоятельными, изъ непокорныхъ вассаловъ дѣлаются независимыми отъ императора государями. На сеймѣ каждый руководится только своими частными выгодами: сеймъ безсиленъ, а если имѣетъ еще нѣкоторую тѣнь вліянія, то вліяніе это уже открытымъ и законнымъ образомъ находится въ рукахъ чужеземцевъ: Франція, Швеція, Данія имѣютъ голосъ въ совѣщаніяхъ. Самъ германскій императоръ заботился исключительно о выгодахъ своихъ наслѣдственныхъ владѣній, чуждыхъ общимъ интересамъ нѣмецкаго народа: онъ дѣйствовалъ, какъ государь Венгріи, разныхъ славянскихъ и итальянскихъ земель, лежавшихъ внѣ границъ Германіи. Таково же было положеніе сильнѣйшихъ князей, курфирстовъ саксонскихъ, бывшихъ королями польскими; духовные князья-архіепископы майнцкій, кѣльнскій и трирскій не имѣли даже и династическаго интереса: они руководились исключительно личными выгодами. Не будемъ уже говорить о раздѣленности интересовъ по вопросамъ внутренней политики: какъ бы ни была безпошадна борьба партій, раздѣляющихъ народъ во времена мира, но при внѣшней опасности со стороны чужеземцевъ всѣ области страны, всѣ партіи народа имѣютъ одинъ общій интересъ и соединяются для защиты. Послѣ вестфальскаго мира не было и этого въ Германіи: съ половины XVII вѣка, не было ни одной войны, въ которой Германская имперія являлась бы какъ одно цѣлое: каждый разъ, какъ только вспыхивала въ Западной Европѣ война, одни изъ германскихъ владѣтелей сражались за одну, другіе за другую изъ враждующихъ сторонъ, хотя обыкновенно Германіи не было собственно никакой нужды вмѣшиваться въ войну. Да и могло ли быть иначе? кромѣ вліянія инозем-

цевъ, нѣмецкія области вовлекались въ чуждыя имъ распри и потому, что сильнѣйшіе изъ нѣмецкихъ князей владѣли государствами или провинціями въ Германіи: саксонскіе курфирсты были также польскими королями, курфирсты бранденбургскіе владѣли Пруссією; такимъ образомъ, Бранденбургъ запутывался во всѣ распри, касавшіяся Прусской области, и въ XVII вѣкѣ былъ государствомъ наполовину чуждымъ Германіи, а Саксонія еще больше страдала отъ соединенія съ Польшею. Помераніемъ владѣла Швеція, Ганноверомъ—Англія, и обѣ эти державы пользовались силами Ганновера и Помераніи, конечно, не для выгоды этихъ областей, а только по своимъ собственнымъ расчетамъ. Баварія послѣ вестфальскаго мира постоянно искала у Франціи помощи противъ Австріи. Въ эти чуждыя національнымъ интересамъ, чуждыя всякому помышленію объ общемъ отечествѣ интриги и отношенія сильнѣйшихъ германскихъ державъ вовлекались, какъ ихъ кліенты, десятки второстепенныхъ и сотни третъестепенныхъ князей и князьковъ, пользовавшихся правами политической независимости графовъ, бароновъ и рыцарей, архіепископовъ, епископовъ и аббатовъ и имперскихъ родовъ.

Таково было положеніе Германіи въ началѣ XVIII вѣка, таково же оставалось оно и черезъ пятьдесятъ или шестьдесятъ лѣтъ,—даже сдѣлалось еще безнадежнѣе и позорнѣе.

Общія выраженія слишкомъ слабы и блѣдны,—надобно припомнить событія нѣмецкой исторіи въ первой половинѣ XVIII вѣка, чтобы имѣть точное представленіе о томъ, какъ далекъ былъ нѣмецкій народъ отъ всякой идеи о единствѣ, когда вліяніе литературы начало противодѣйствовать совершенному расторженію членовъ одной націи.

Ограничиваясь событіями XVIII вѣка, мы не будемъ говорить ни о томъ, какія постыдныя измѣны общему дѣлу со стороны многихъ нѣмецкихъ владѣтелей Германіи были причиною успѣховъ Людовика XIV въ первыхъ его войнахъ; не будемъ говорить о томъ, съ какимъ позорнымъ равнодушіемъ, съ какою жалкою трусостью сеймъ позволялъ ему захватывать во время мира нѣмецкіе области и города. Мы начинаемъ свой обзоръ прямо съ войны за наслѣдство испанскаго престола *).

*) Обзоръ состоянія Германіи и событій ея исторіи составленъ почти исключительно по Шлоссеру.

Въ войнѣ за наслѣдство испанскаго престола Англія и Голландія начали борьбу съ Франціею за свои жизненные интересы. Не говоря ужъ о соперничествѣ въ морской торговлѣ и другихъ важныхъ дѣлахъ, вспомнимъ только, что Людовикъ XIV хотѣлъ завоевать Голландію и вооруженною рукою возвратитъ въ Англію Стюартовъ, которые были его вассалами и правленіе которыхъ грозило погибелью всему, что было священо для англичанина, отъ протестантской религіи до гражданскихъ законовъ. Австрія имѣла въ войнѣ съ Франціею очень важный интересъ, если не народный, то, по крайней мѣрѣ, государственный: дѣло шло о томъ, австрійскому или французскому вліянію первенствовать въ Западной Европѣ, господствовать въ Испаніи, Италіи, испанскихъ Нидерландахъ. Эти вопросы были совершенно чужды интересамъ Германіи; она не могла ничего выиграть въ этой распрѣ, каковъ бы ни былъ конецъ, и не имѣла причинъ вмѣшиваться въ войну. Германскій сеймъ сначала объявилъ, что будетъ соблюдать нейтралитетъ. Но съ одной стороны подкупалъ германскихъ князей Людовикъ XIV субсидіями, съ другой—императоръ, обѣщаніями повышеній въ титулахъ. Потому въ Готѣ и Вольфенбюттелѣ начали вербовать войска для французскаго короля, что было запрещено рѣшеніемъ сейма относительно нейтралитета. Ганноверскія войска заняли непокорныя области. При посредничествѣ бранденбургскаго курфюрста, войска, навербованныя для французовъ, отданы были въ распоряженіе императора. Сеймъ мало по малу склонился на австрійскую сторону. Но курфюрсты баварскій и кельнскій остались союзниками французовъ и на деньги, данныя Людовикомъ, вербовали войска, чтобы вмѣстѣ съ французами двинуться на Вѣну. Сеймъ опредѣлилъ выставить армію для защиты границъ имперіи,—онъ рѣшился наконецъ вести войну, но только оборонительную, а не наступательную. Между тѣмъ, курфюрстъ баварскій собралъ на французскія деньги 20,000 войска, пошелъ противъ имперской арміи, которая отступила, и двинулся на Рейнъ; курфюрстъ кельнскій, съ французскими и собственными войсками, также вступилъ въ германскія области, жегъ, грабилъ и хвалился, что на двадцать миль отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ стояла его главная квартира, не осталось ни одного поселянина,—и, однако же, четыре года провелъ сеймъ въ совѣщаніяхъ, должно ли этихъ двухъ князей признать врагами германскаго союза. Имперское войско терпѣло во всемъ совершенный недостатокъ; князья выставили едва пятую

часть контингента, который обѣщались дать. При такихъ условіяхъ имперская армія, конечно, терпѣла повсюду неудачи и во все продолженіе войны играла самую жалкую роль, между тѣмъ, какъ австрійцы и англичане покрывались славой. Людвигъ Баденскій, назначенный предводителемъ имперской арміи, не могъ сдѣлать ничего, потому что генералами ему даны были люди неспособные, безпечные, которые изъ мелкой зависти старались нарочно мѣшать успѣху его плановъ. Имперскій сеймъ не обращалъ вниманія на его требованія, занимаясь только разборомъ нескончаемыхъ жалобъ различныхъ князей и городовъ на то, что контингенты, на нихъ возложенные, слишкомъ велики. Пренія о каждомъ пустѣйшемъ дѣлѣ тянулись мѣсяцы и годы. Каковы были жалобы, можно судить по слѣдующему примѣру. Одинъ изъ значительнѣйшихъ городовъ, Франкфуртъ, въ 1706 году утверждалъ, что наложенный на него денежный контингентъ не можетъ быть уплаченъ безъ раззоренія города. Какъ же великъ былъ контингентъ?—800 гульденовъ (500 руб. сер.). Франкфуртъ просилъ, чтобы «эта сумма была уменьшена до 300 гульденовъ, сложеніемъ 500 гульденовъ, хотя, по мнѣнію города, справедливо было бы уменьшить ее до 266 гульденовъ и 40 крейцеровъ, сложеніемъ двухъ-третей, именно 533 гульденовъ и 20 крейцеровъ». Король прусскій предложилъ свое заступничество столь жестоко угнетеннымъ франкфуртцамъ подъ условіемъ, что въ ихъ лютеранскомъ городѣ будетъ дано реформатамъ позволеніе отправлять богослуженіе по обряду своей церкви. Можно судить, съ какою поспѣшностью, въ какой полнотѣ и въ какомъ видѣ столь ревностные патріоты выставляли свои войска, и какъ аккуратно уплачивали они наложенныя сеймомъ военныя подати. Когда въ 1706 году коллегія курфирстовъ, послѣ четырехлѣтнихъ требованій со стороны императора, объявила наконецъ врагами союза курфирстовъ баварскаго и кельнскаго, съ 1702 года опустошавшихъ, въ союзѣ съ французами, юго-западную Германію, коллегія князей начала изъяслять претензіи за то, что это сдѣлано безъ ея согласія. А, между тѣмъ, на словахъ, члены союза кипѣли ненавистью къ французамъ. Графъ фонъ-Тюнгенъ, при крещеніи своихъ дѣтей, формулу «отреченія отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его» измѣнялъ даже слѣдующимъ прибавленіемъ: «отрекаешься ли сатаны и французовъ и всѣхъ дѣлъ ихъ».

Когда умеръ Людвигъ Баденскій, начались споры о томъ, ка-

толикъ или протестантъ долженъ начальствовать имперскимъ войскомъ; наконецъ, противъ воли императора, сеймъ назначилъ главнокомандующимъ маркграфа Эрнста Аншпахъ-Байрейтскаго, и тутъ оказалось, что Людвигъ Баденскій былъ великимъ полководцемъ, если могъ еще хотя какъ нибудь держаться съ своимъ войскомъ, никуда негоднымъ. Новый полководецъ былъ тотчасъ же разбитъ французами на голову, такъ что потерялъ всю артиллерію и весь обозъ. Французы хлынули на юго-западную Германію и опустошили всю страну на огромное пространство. Кое-какъ убѣдили маркграфа сложить съ себя команду, и новый предводитель имперской арміи, курфирсть ганноверскій, рѣшился обороняться отъ французовъ, по системѣ Людвигъ Баденскаго, въ укрѣпленныхъ позиціяхъ. Онъ постоянно долженъ былъ жаловаться сейму на дурное состояніе войска, недостатокъ провіанта и аммуниціи и на то, что въ солдатахъ нѣтъ никакого патріотизма; князья, по прежнему, не исполняли обязанностей, возложенныхъ на нихъ сеймомъ. Англійскія и голландскія газеты наполнены были насмѣшками надъ медленностью сейма, неисправностью нѣмецкихъ князей; голландскіе уполномоченные упрекали въ своихъ нотахъ сеймъ самымъ жесткимъ языкомъ за то, что «нѣмецкимъ князьямъ деньги дороже собственной чести». Во все продолженіе войны сеймъ и его армія были посмѣшищемъ Европы. Самъ Евгенийъ Савойскій, такъ блистательно поражавшій французовъ съ австрійскими войсками, не могъ ничего сдѣлать съ имперскою арміею, когда она поступала въ его распоряженіе, долженъ былъ отступать и смотрѣть, какъ французы въ въ его глазахъ брали одну крѣпость за другою. Сеймъ разсуждалъ, вель жаркія пренія, писалъ длинныя инструкціи и дедукціи, но никто не платилъ денегъ по его назначенію, армія не имѣла ни хлѣба, ни аммуниціи. Зато и при заключеніи мира съ Франціею въ Раштадтѣ никто не спрашивалъ согласія у сейма: Австрія подписала трактатъ безъ его уполномоченныхъ, и уже потомъ, въ Баденѣ, начались новые переговоры между французскими и имперскими посланниками. Разумѣется, это была чистая комедія; но имперскіе педанты важно и долго трактовали о томъ, что уже давно было рѣшено въ Раштадтѣ безъ ихъ согласія, и чему они принуждены были безусловно покориться. Само собою разумѣется также, что Баварія и Кёльнъ, союзники французовъ, получили полное изъ

виненіе въ томъ, что воевали противъ имперіи, членами которой считались.

Въ то время, какъ юго-западная Германія страдала отъ войны, участвовать въ которой не имѣла никакой нужды, сѣверо-восточная Германія еще больше страдала отъ другой войны, еще болѣе чуждой ея интересамъ. Честолюбивые замыслы короля польскаго навлекли на Польшу страшное мщеніе Карла XII; но король польскій былъ вмѣстѣ курфирстомъ саксонскимъ, и Саксонія подверглась той же участи, какъ Польша. Бѣдствія начались съ того, что саксонскія войска были истреблены шведами въ остзейскихъ провинціяхъ и Польшѣ, куда безъ всякаго вниманія къ пользамъ Саксоніи, завелъ ихъ Августъ II. Потомъ Карлъ, преслѣдуя Августа, пошелъ въ Саксонію черезъ Силезію, которая тогда принадлежала императору,—императоръ не дерзнулъ выразить неудовольствіе за то, что иноземцы самовольно проходятъ по его областямъ, напротивъ, даровалъ различныя льготы силезскимъ протестантамъ, чтобы только приобрѣсть благосклонность шведскаго короля. Саксонія не могла и не думала защищаться: Карлъ занялъ ее безъ битвы и, однако же, систематически раззорялъ эту страну, чтобы лишить своего врага средствъ къ продолженію войны. Потери, которыя понесла Саксонія только въ первыя пять лѣтъ Сѣверной войны отъ наборовъ и поборовъ Августа, еще до занятія шведами Саксоніи, оцѣниваются въ 88,000,000 талеровъ—сумма, равняющаяся, при тогдашней рѣдкости денегъ въ Германіи, по крайней мѣрѣ, двумстамъ милліонамъ по нынѣшней цѣнности денегъ; изъ саксонскихъ войскъ погибло до 36,648 человекъ—потери страшныя для страны, которая имѣла всего какихъ нибудь два милліона жителей. Всю эту погибель навлекъ Августъ на свою родину только для того, чтобы получать субсидіи отъ Петра Великаго и тотчасъ же растрачивать эти субсидіи на свои роскошныя увеселенія. Русскимъ хорошо извѣстна жалкая роль двоедушнаго измѣнника, которую принялъ на себя Августъ, выдавъ Карлу русскаго посланника Паткуля на колесованіе, въ то самое время, какъ увѣрялъ Петра Великаго въ своей дружбѣ; извѣстно и то, какъ горько отомстилъ ему за измѣну Меншиковъ, заставивъ его, уже заключившаго миръ съ Карломъ, сражаться подлѣ русскихъ въ битвѣ при Калишѣ, гдѣ были поражены шведы. Августъ, униженно прося за то прощенія у Карла, хвалился передъ нимъ, что тайкомъ отъ Меншикова извѣщалъ шведскихъ

генераловъ о движеніяхъ Меншикова, а сражался только изъ страха и какъ нельзя хуже. Съ тѣмъ вмѣстѣ Августъ отдалъ подѣ судъ, наказаль денежными штрафами и заключеніемъ въ крѣпости тѣхъ сановниковъ, которые по его приказанію заключали миръ съ Карломъ: «они должны были догадаться — говорилъ онъ — что я только хочу обмануть шведовъ». Между тѣмъ шведы хозяйничали въ Саксоніи такъ своевольно, что изнѣжились отъ роскошной жизни и отвыкли отъ прежней строгой дисциплины. Кромѣ квартиры и пищи, они получали отъ жителей добавочныя деньги къ жалованью. Саксонцамъ пришлось такъ тяжело, что, по выраженію, употребленному въ офиціалномъ представленіи саксонскаго Ландтага, «различные обыватели отъ слишкомъ большаго утѣшенія и недостатка пропитанія впали въ меланхолію, отчаяніе и даже самоубійство, потому что немилосердно отнимали у нихъ скотину и домашній скарбъ и продавали набравшимся въ Саксонію жидамъ, а солдату въ день должны они были давать два фунта мяса съ овощами и двѣ кружки пива». Пышность саксонскаго двора не уменьшалась въ это бѣдственное время, и сборщики контрибуціи, простиравшейся до 500,000 талеровъ въ мѣсяцъ, пользовались случаемъ, чтобы еще почти столько же отнимать у народа въ собственную пользу. Такое несносное состояніе продолжалось цѣлый годъ, пока Карлъ вышелъ изъ разоренной земли. Между тѣмъ онъ вербовалъ въ свои войска не только въ Саксоніи, но во всѣхъ имперскихъ городахъ, въ Бранденбургѣ, Пруссіи, даже въ Силезіи, несмотря на запрещеніе императора. Когда, послѣ пораженія Карла подѣ Полтавою, Данія и Польша возобновили непріязненные дѣйствія противъ шведовъ, вся тяжесть войны обрушилась на нѣмецкія провинціи; русскіе опустошили шведскую Померанію, въ отмщеніе за то Стенбокъ разорялъ Гольштинію, съ такою свирѣпостью, какой мало бывало примѣровъ: цѣлью его, по собственному его объявленію, было «выжечь въ Гольшиніи столько же городовъ и селъ, сколько выжгли русскіе въ Помераніи». Между прочимъ, онъ велѣлъ сжечь городъ Альтону; Гамбургъ, лежащій по сосѣдству, не пустилъ несчастныхъ изгнанниковъ переночевать, и они должны были, среди жестокой зимы, ночевать въ полѣ, передъ запертыми для нихъ воротами Гамбурга; многіе замерзли въ эту ужасную ночь. Перехода изъ рукъ въ руки, Мекленбургъ, Померанія и Гольштинія были совершенно опустошены шведами, саксонцами, датчанами и русскими;

Данцигъ, Гамбургъ, Любекъ и другіе города платили страшныя контрибуціи, села были разрушены.

Черезъ нѣсколько лѣтъ, когда Испанія, въ союзѣ съ Франціею, вздумала отнять у Австріи итальянскія провинціи, а въ Польшѣ произошли смуты по случаю избранія короля, Германія въ 1733—1734 годахъ опять съ двухъ сторонъ была наводнена врагами, опять подверглась раззоренію изъ-за споровъ, которые были совершенно чужды ея прямымъ интересамъ, и опять многіе германскіе князья явились союзниками иноземцевъ противъ своей родины, и опять имперское войско покрыто было позоромъ. Французы вступили въ юго-западную Германію, прогнали имперскія войска, ограбили прирейнскія области. Потомъ вступили во Франконію пруссаки, посланные на помощь императору, и также грабили эту страну, между прочимъ, за то, что франконцы не позволяли курфирсту, страшно любившему высокихъ солдатъ, насильно брать въ свою службу чужихъ подданныхъ, имѣвшихъ несчастье родиться высокорослыми. Баварскій курфирстъ продалъ себя французамъ и сталъ на французскія деньги собирать войско противъ имперіи, но, къ счастью, набралъ его немного, потому что большую часть полученныхъ субсидій истратилъ на своихъ фаворитокъ. Пфальцъ и Майнцъ также были въ союзѣ съ французами; кельнскій курфирстъ также продалъ себя французамъ. Курфирсты ганOVERскій и бранденбургскій перессорились такъ, что грозили другъ другу войною, и первый вызывалъ втораго на дуэль. Три французскія арміи уже давно раззоряли Швабію, Франконію и Лотарингію, а сеймъ все еще не объявлялъ войны; наконецъ объявилъ,—и начался споръ о томъ, кому предводительствовать имперскою арміею, существовавшей, впрочемъ, только еще на бумагѣ. Единственнымъ средствомъ покончить этотъ споръ было то, что команду принялъ Евгений Савойскій, хотя былъ уже дряхль. При всей своей геніальности, онъ могъ только отступать передъ французами; да и то было верховъ искусства, что онъ успѣлъ отступить съ такою жалкою арміею, не потерявъ ея. На защиту нѣмцевъ должны были явиться русскія войска. Война кончилась тѣмъ, что имперія потеряла Лотарингію.

На другомъ концѣ Германіи, въ войнѣ за польскій престолъ, всего болѣе пострадали опять-таки нѣмецкія провинціи, и, напри-
мѣръ, Данцигъ долженъ былъ заплатить 2,000,000 талеровъ кон-

трибунціи, изъ которыхъ, впрочемъ, половина была потомъ прощена ему, по невозможности уплаты.

Со времени вступленія Фридриха II на прусскій престолъ, сила и достоинство Пруссіи въ кругу европейскихъ державъ быстро увеличиваются. Но это возвышеніе нѣмецкой державы было едва ли не самымъ пагубнымъ ударомъ упадавшему, уже почти павшему единству Нѣмецкой имперіи. Пруссія стала такъ сильна, что рѣшительно не захотѣла ни въ чемъ подчиняться даже формальной зависимости отъ сейма; но, съ другой стороны, она вовсе не была ни такъ могущественна, ни такъ общительна въ отношеніяхъ своихъ къ другимъ нѣмецкимъ государствамъ, чтобы сдѣлаться центромъ новаго единства для Германіи. Она только оторвалась отъ союза, не представляя новыхъ залоговъ единства въ замѣнъ окончательно разорванныхъ прежнихъ узъ. И не только государственныя связи различныхъ частей Германіи потерпѣли отъ ея возвышенія: оно въ самомъ народѣ поселило непріязненные чувства, основанныя, съ одной стороны, на зависти, съ другой—на гордости. До Фридриха II ни одно изъ нѣмецкихъ племенъ не могло хвалиться особенно славными подвигами, не имѣло знамени, которое могло бы съ честью быть выставлено противъ общаго національнаго знамени. Послѣ блистательныхъ побѣдъ Фридриха жители прусской державы стали гордиться и хвалиться тѣмъ, что они пруссаки, и стали съ презрѣніемъ смотрѣть на жителей другихъ нѣмецкихъ областей, уже не хотѣли даже считать себя нѣмцами. До того времени они мало думали объ отечествѣ, но когда думали, то все-таки отечествомъ представлялась имъ Германія; теперь отечествомъ они стали считать Пруссію, равнодушно и нагло отзываясь о Германіи, до которой не хотѣли имѣть никакого дѣла. Вмѣсто прежняго, хотя слабаго, чувства національнаго единства, въ значительной и сильнѣйшей части нѣмецкаго народа явилось положительное отчужденіе отъ общаго отечества, въ другихъ племенахъ—вражда къ этому отчуждающемуся, соединенная съ унижительнымъ сознаніемъ собственнаго безсилія.

Фридрихъ II съ самаго начала сталъ дѣйствовать, какъ глава государства, совершенно независимаго отъ союза. Онъ, оставивъ юридическій путь, которому всегда слѣдовали нѣмецкіе князья, и въ томъ числѣ его предки, при столкновеніяхъ своихъ съ другими нѣмецкими князьями, рѣшилъ споръ свой съ епископомъ Люттих-

скимъ, занявъ войсками округа, о правахъ на которые шло дѣло. Точно также принудилъ онъ курфирста майнскаго уступить Румпенгеймъ ландграфу гессенскому, объявивъ безъ всякой церемоніи, что вышлетъ войско противъ Майнца, если курфирстъ не покорится волѣ прусскаго короля. Послѣ этого очевидно было, къ какимъ средствамъ прибѣгнетъ онъ для завладѣнія нѣсколькими округами Силезіи и Юлихъ-Клеве-Бергомъ, на обладаніе которыми Пруссія имѣла притязанія. Важность дѣла состоитъ не столько въ справедливости или несправедливости притязаній, сколько въ томъ, что Фридрихъ рѣшалъ несогласіе единственно военною силою, какъ бы споръ веденъ былъ съ державами, совершенно чуждыми, и какъ бы германскаго вовсе не существовало, даже и на бумагѣ.

Около того самаго времени, какъ явился на прусскомъ престолѣ Фридрихъ II, умеръ императоръ Карлъ VI, оставивъ императорскую корону своей дочери, Маріи-Терезіи. Завѣщаніе это оспаривали многіе государи, въ томъ числѣ одинъ изъ нѣмецкихъ князей, курфирстъ баварскій, Карлъ-Альбертъ, рѣшившійся войною отнять у Маріи-Терезіи императорскій титулъ и ея германскія владѣнія (Австрію, Богемію и Тироль); но у самого Карла-Альберта не было ни денегъ, ни арміи. Отецъ оставилъ ему 30,000,000 долгу и безчисленную толпу голодной придворной челяди, для содержанія которой число войска было уменьшено до 10,000; французскія субсидіи, выдававшіяся на усиленіе арміи, поглощались придворными праздниками, фаворитками и іезуитами. Вся надежда Карла-Альберта была на новую помощь отъ Франціи,—и онъ, государь, принявшій титулъ германскаго императора, высшій титулъ во всемъ европейскомъ мірѣ,—обращался съ самыми униженными просьбами не только къ французскому королю, но и къ кардиналу Флѣри, управлявшему дѣлами: онъ писалъ къ Флѣри въ такомъ тонѣ, какого постыдился бы даже вельможа французскаго двора, просящій какой нибудь должности. Вотъ отрывокъ одного изъ этихъ писемъ, съ негодованіемъ приводимый Шлоссеромъ:

«Увѣренный въ милостяхъ его величества (короля французскаго), исполненный надежды на дружбу вашего высокопреосвященства (кардинала Флѣри), я питаю убѣжденіе, что первымъ дѣломъ моимъ должно быть—броситься въ объятія его величества, въ которомъ я вѣчно буду видѣть единственную мою опору и единственную мою помощь, и высказать вашему высокопреосвященству мысль

мою, что настоящія обстоятельства могутъ быть источникомъ величайшей славы для вашего министерства, такъ какъ вы можете и увеличить могущество короля, уменьшивъ могущество династіи, издавна съ нимъ соперничающей, и съ тѣмъ вмѣстѣ вознаградить вѣрность союзника, котораго постоянная преданность французскому дому извѣстна вамъ. На замѣчаніе вашего высокопреосвященства я признаюсь, что вѣра моя въ короля не была ошибочна, потому что первыя мысли его величества обратились на меня, съ выраженіемъ желанія его величества возвести меня, если то возможно, на императорскій престолъ...»

И такъ далѣе, въ томъ же униженномъ тогѣ. Флѣри, какъ и слѣдовало, отвѣчалъ на эти презрѣнныя мольбы сухо и сомнительно, читалъ назиданія претенденту, безъ церемоніи говорилъ ему, что если французскій король помогаетъ ему, то онъ долженъ считать это за величайшую милость, не общалъ ему ничего вѣрнаго, заставляя его снова умолять и унижаться, наконецъ послалъ къ нему своего агента, который распоряжался въ Мюнхенѣ такъ, какъ римскіе проконсулы распоряжались во владѣніяхъ союзныхъ Риму царей пергамскихъ или египетскихъ. Карлъ-Альбертъ продолжалъ умолять Флѣри и дѣлать на депешахъ, къ нему отправляемыхъ, собственноручныя приписки такого рода:

«Приблизилась минута, которая должна рѣшить судьбу вѣрнѣйшаго изъ союзниковъ короля и увѣковѣчить славу его царствования, давъ ему случай доставить императорскую корону князю, который, по признательности и преданности, поставитъ всегдашнюю своюю обязанностью соединять интересы Имперіи съ интересами Франціи; и такъ какъ это будетъ вашимъ дѣломъ, то я возлагаю всю мою надежду на васъ, котораго я всегда любилъ и почиталъ, какъ истиннаго своего отца...»

Пока тянулись эти просьбы, Фридрихъ II безъ всякой церемоніи объявилъ войну австрійской императрицѣ, какъ независимый отъ нея государь, точно такъ, какъ Англія объявляла войну Франціи или Австріи Турціи.

Ободренный успѣхами Фридриха, кардиналъ Флѣри рѣшился также начать войну съ Австріею, склонился на мольбы Карла-Альберта и попытался сдѣлать его императоромъ. Заключенъ былъ трактатъ, по которому Карлъ-Альбертъ ставилъ себя въ полную зависимость отъ Франціи и общался, когда будетъ возведенъ на

императорскій престолъ, безпрекословно предоставитъ Франціи всѣ тѣ германскія области, которыя успѣетъ она занять своими войсками, помогая ему. Онъ обязывался никогда не требовать возвращенія Германскому союзу этихъ областей и городовъ.

При избраніи императора, на императорскомъ сеймѣ всѣмъ управлялъ французскій посланникъ, будто въ странѣ уже завоеванной. Ему было уступлено первое мѣсто во всѣхъ церемоніяхъ; нѣмецкіе князья уже составляли только его свиту. Всѣ курфирсты, повинувшись его приказаніямъ, объявили императоромъ Карла-Альберта.

Но Марія-Терезія выслала противъ кліента французовъ свои славянскія и венгерскія войска: они опустошили всю Баварію, которую, впрочемъ, не щадили и союзники Карла-Альберта; остальные части юго-западной Германіи были раззоряемы французами; самая Богемія, переходившая изъ рукъ въ руки, много потерпѣла. Когда Фридрихъ, овладѣвъ Силезією, помирился съ Австрією и англичане выслали противъ французовъ на Рейнъ сильное войско, состоявшее болѣею частью изъ наемныхъ солдатъ тѣхъ самыхъ германскихъ князей, которые признавали Карла-Альберта императоромъ, когда умеръ Карлъ-Альбертъ, сынъ его, взявъ 8,000,000 на свои придворные расходы, призналъ императоромъ мужа Маріи-Терезіи.

Результатомъ войны было усиленіе Пруссіи и пріобрѣтеніе Фридрихомъ славы великаго полководца; но слава эта была пріобрѣтена междоусобною войною, пораженіемъ нѣмецкихъ войскъ нѣмецкими же войсками. Пріобрѣли славу также славянскія и венгерскія войска, защищая германскую императрицу противъ германскихъ государей. Саксонія, Силезія, Богемія, Баварія и вся западная Германія были опустошены, потому что одному изъ нѣмецкихъ князей хотѣлось быть вассаломъ французскаго короля и предать Франціи Германію; а другому члену Германской имперіи угодно было не признавать за собою никакихъ обязанностей относительно Германіи. О беспощадности, съ какою нѣмецкія области раззорялись нѣмецкими же государями, можно судить уже изъ того, что Лейпцигъ, кромѣ всѣхъ контрибуцій, взятыхъ съ него пруссаками во время Второй Силезской войны, долженъ былъ, по мирному трактату, заплатить Фридриху еще миллионъ талеровъ.

Семилѣтняя война, начатая Фридрихомъ черезъ нѣсколько времени, была славна для Фридриха и для пруссаковъ; быть можетъ,

она принесла пользу всей Европѣ, доказавъ силу новыхъ началъ государственнаго управленія, представителемъ которыхъ являлся Фридрихъ. Строгая экономія, веденная королемъ прусскимъ въ расходахъ, дала ему возможность чрезвычайно хорошо приготовиться къ войнѣ и съ честью выдержать ее; нелицепріятное правосудіе, неуспѣшная заботливость о благосостояніи народа, отмѣненіе отяготительной формалистики въ судопроизводствѣ и администраціи,—все это приобрѣло ему неизмѣнную любовь подданныхъ и возбудило въ нихъ энергическое желаніе защищать государя и государство. Всѣ эти качества порядка дѣла, введеннаго въ Пруссіи Фридрихомъ, не только были чужды администраціи другихъ державъ въ то время, но и служили главнымъ основаніемъ ненависти, какую питали къ Фридриху фавориты, фаворитки и ханжи, владычествовавшіе почти повсюду. Фридрихъ, могущественный своею экономіею и патриотизмомъ подданныхъ, устоялъ противъ соединенныхъ усилій почти всей Европы, хотя владѣлъ только небольшимъ государствомъ, имѣвшимъ менѣе семи милліоновъ жителей. Расточительность и дурная администрація, которою страдали Франція и германскія державы, кромѣ Пруссіи, была наказана постыдными пораженіями. Общественное мнѣніе было возбуждено противъ казнокрадства и беззаботности въ администраціи. Для Европы вообще Семилѣтняя война была полезнымъ урокомъ. Но для единства нѣмецкаго народа она была гибельнѣйшимъ событіемъ. Страшное раззореніе, которому подверглись отъ пруссаковъ Саксонія и многія другія нѣмецкія владѣнія, а прусскія области — отъ австрійскихъ армій, поселило глубокую ненависть между подданными Пруссіи и другихъ нѣмецкихъ государствъ. Надменность пруссаковъ, гордыхъ своими побѣдами, дошла до крайняго презрѣнія ко всѣмъ остальнымъ нѣмецкимъ племенамъ.

До Семилѣтней войны многіе члены Германскаго союза вступали въ сообщество съ иноземцами противъ Германіи; но то были второстепенныя государства, ихъ поступки имѣли характеръ измѣны, беззаконнаго возстанія противъ имперскаго сейма. Сеймъ и глава его, императоръ, всегда объявляли себя противъ иноземцевъ. Теперь Австрія и германскій сеймъ просили помощи иноземцевъ противъ германскаго государя, призывали ихъ на Германію и хотѣли дѣлить съ иноземцами нѣмецкія области. Это было вдвойнѣ ужасно для патриота: законная власть, союзъ, чтобы смирить одного

изъ своихъ членовъ, отдавалъ Германію подъ чужое иго и тѣмъ публично выказывалъ не только недостатокъ патріотизма, но и безсиліе свое.

Сеймъ объявилъ войну Пруссіи. Но сѣверные князья, которымъ выгодно было продавать свои войска Англіи, нежели даромъ отдавать ихъ въ распоряженіе союзной власти, протестовали противъ рѣшенія сейма: Липпе, Вальдекъ, Гессенъ, Брауншвейгъ, Ганноверъ, Гота вступили въ союзъ съ англичанами, защитниками Пруссіи.

Было бы напрасно въ подробности говорить о страшномъ раззореніи, которому подверглись всѣ германскія области во время Семилѣтней войны. Французскія арміи, вторгавшіяся съ запада, болѣе походили, по признанію самихъ французскихъ генераловъ, на огромныя шайки мародѣровъ, нежели на регулярныя войска. Такъ, за нѣсколько времени до Росбахской битвы, начальникъ штаба въ арміи Ришльё, генералъ Мальбуа, доносилъ военному министру: «войска наши совершаютъ всевозможныя неистовства и больше любятъ грабить, нежели сражаться». Опустошеніе восточныхъ прусскихъ провинцій русскими долго было памятно Европѣ; Австрійскіе кроаты не уступали свирѣпостью башкирамъ и татарамъ; имперскія войска грабили не хуже французовъ, съ которыми раздѣлили и безпримѣрный позоръ росбахскаго пораженія. Шведское правительство, посылая войско въ Германію, не давало ему ни жалованья, ни провіанта, прямо объявляя командующему генералу, что онъ долженъ содержать свой отрядъ грабежомъ и контрибуціями. Фридрихъ дѣйствовалъ такимъ же образомъ. Не говоря уже о Саксоніи, контрибуціи съ которой составляли главный источникъ доходовъ Фридриха во всю войну *), и страшное раззореніе которой лежитъ самымъ чернымъ пятномъ на славѣ Фридриха, довольно сказать, что съ бѣднаго и пустыннаго Мекленбурга успѣлъ онъ вынудить болѣе 17,000,000 талеровъ контрибуціи. Но когда французы

*) Приведемъ одинъ примѣръ. Въ 1760 году, послѣ четырехлѣтняго раззоренія, были наложены на истощенную область слѣдующія огромныя контрибуціи: Эрфуртъ долженъ былъ дать пруссакамъ 100,000 талеровъ, 500 лошадей, 400 рекрутовъ, Наумбургъ 200,000 талеровъ, Тюрингенскій округъ 1,375,000 талеровъ, Мерзебургъ 120,000 талеровъ, 377 рекрутовъ, 254 служителей и 420 лошадей, Цвикау 8,000 талеровъ, Хемницъ 215,000 талеровъ, Маріенбургъ 9,000 талеровъ, Аннабергъ 15,000 талеровъ, Лейпцигскій округъ 2,000,000 талеровъ, городъ Лейпцигъ 1,100,000 талеровъ.

и австрійцы отнимали Саксонію у пруссаковъ, саксонцамъ приходилось еще тяжеле, такъ что они молились о возвращеніи пруссаковъ. Франкопія, Вестфалія, Гессенъ, Бранденбургъ, Силезія, Богемія, Ганноверъ, вообще вся сѣверная половина и, кромѣ того, всѣ западныя области Германіи были опустошены. Отъ пагубныхъ нашествій уцѣлѣли только южныя части австрійско-германскихъ владѣній и Баварія. Все народонаселеніе—земледѣльцы и землевладѣльцы, работники и промышленники—всѣ классы народа были разорены, кромѣ одного класса: чиновниковъ, которые разбогатѣли во время неурядицы, во время усиленныхъ наборовъ и поборовъ, поставокъ и контрибуцій. Разбогатѣли и придворные, потому что вездѣ, кромѣ Пруссіи, бѣольшая часть собранныхъ для войны денегъ переходила въ ихъ карманы или растрачивалась для ихъ увеселенія.

На Семилѣтней войнѣ остановимся, потому что слѣдующіе годы принадлежать другому періоду—періоду оживленія Германіи. Много принесли тяжелыхъ испытаній нѣмецкому народу и эти послѣдующіе годы, особенно эпоха наполеоновскаго владычества; но эти испытанія были уже плодотворны, потому что пробуждена была мысль народа.

Мы видѣли, какой рядъ событій, пагубныхъ для нѣмецкаго народа, былъ слѣдствіемъ политическаго раздробленія Германіи. Каждый разъ, какъ только вспыхивала война въ Европѣ, враждебныя арміи устремлялись на нѣмецкую землю, опустошали ея поля, сожигали ея села, разоряли контрибуціями ея города. Чаше, нежели какая нибудь другая страна Западной Европы, несчастная, беззащитная Германская имперія подвергалась ужасамъ военнаго грабежа, и подвергалась имъ единственно вслѣдствіе своей раздробленности и беззащитности, потому что причины всѣхъ войнъ были, собственно говоря, чужды ея интересамъ,—и, однако же, она въ каждой войнѣ принимала участіе, чтобы быть добычею обѣихъ враждующихъ партій. Франція, Англія, Австрія вели войны за свои государственныя интересы. Положимъ, что часто и правительствамъ и народамъ этихъ державъ казалось дѣломъ государственной потребности и чести то, что въ сущности было бесполезно или даже вредно для народнаго благосостоянія; положимъ, что они ослѣплялись ложными понятіями о славѣ расширять границы своихъ владѣній, суетными желаніями выказать свою силу, достичь ненужнаго пре-

обладанія надъ другими державами; пусть отъ войны за испанское наслѣдство до Семилѣтней войны всѣ кровавыя распри въ Западной Европѣ возникали только по ошибочнымъ понятіямъ о высшихъ цѣляхъ государственной жизни: но все-таки австрійское, англійское, французское правительство всегда знали, за что и зачѣмъ ведутъ они войну, стремились къ достиженію цѣлей, сообразныхъ съ понятіями и желаніями подвластныхъ имъ народовъ (исключеніе одно: участіе Франціи въ Семилѣтней войнѣ), все-таки для француза, англичанина, даже для подданнаго Австріи каждая изъ большихъ войнъ, начинаемыхъ его правительствомъ, была дѣломъ патріотическимъ. Одна Германія, постоянно страдавшая отъ всѣхъ этихъ войнъ, и страдавшая каждый разъ больше, нежели какая нибудь другая страна, никогда не имѣла, даже въ предразсудкахъ, никакихъ основаній сочувствовать той или другой изъ враждующихъ партій или надѣяться какой нибудь, хотя бы даже мнимой выгоды, на чью бы сторону ни склонилась побѣда.

Войска всѣхъ державъ выигрывали славныя побѣды,—австрійскія—при Евгениѣ Савойскомъ, Даунѣ и Лаудонѣ, англійскія—при Мальборо, французскія—при знаменитыхъ полководцахъ Людовика XIV и Маршалѣ Саксонскомъ; однѣ только имперскія арміи постоянно покрывались самымъ жалкимъ позоромъ: кто бы ни былъ непріятель, онѣ всегда бѣжали передъ нимъ, или были разбиваемы на голову, когда не успѣвали убѣжать.

Какъ ни велики бѣдствія, какія терпѣла Германія отъ войнъ, эти временныя бѣдствія незначительны въ сравненіи съ постояннымъ внутреннимъ зломъ, тяготѣвшимъ надъ нѣмецкимъ народомъ. Дурное управленіе, беззаконность, расточительность и насиліе—вотъ слова, которыми еще слишкомъ слабо характеризуется германскій государственный бытъ въ первой половинѣ XVIII вѣка.

Послѣ Тридцатилѣтней войны, которая нанесла страшные удары и благосостоянію и образованности Германіи, нравы огрубѣли, Германія стала полуварварскою землею. Когда въ концѣ XVIII вѣка, побѣды Людовика XIV, его могущество, его блескъ ослѣпили Европу и подражаніе французамъ стало общею модою, роскошь и утонченный развратъ, заимствованные изъ Франціи, самымъ дикимъ образомъ соединились при нѣмецкихъ дворахъ съ прирожденною грубостью. Изъ этого сочетанія произошелъ порядокъ вещей, бо-

лѣе нелѣпный и пагубный, нежели все то, что угнетало Германію до XVIII вѣка.

При грубости нравовъ до французскаго вліянія въ привычкахъ высшихъ классовъ существовала простота, и потребности вельможъ были ограничены. Теперь каждый баронъ маленькаго нѣмецкаго двора хотѣлъ блистать подобно французскимъ аристократамъ; каждый князь, имѣвшій подъ своею властью кусокъ земли, едва равнявшійся одной французской провинціи, хотѣлъ соперничать великолѣпіемъ съ французскимъ королемъ, хотѣлъ имѣть свой Версаль, свой *Parc aux cerfs*, и его фаворитки хотѣли не уступать роскошью фавориткамъ французскаго двора. Если прихоти Людовика XIV раззорили Францію, большое и богатое государство, легко вообразить, каковы были слѣдствія подобныхъ претензій для маленькаго Касселя или Вольфенбюттеля, для Саксоніи или Баваріи. Предавшись всѣми мыслями желанію блистать, находя единственное наслажденіе въ чувственныхъ удовольствіяхъ и пышныхъ праздникахъ, нѣмецкіе владѣтели перестали обращать всякое вниманіе на порядокъ управленія и рѣшительно не занимались дѣлами. При каждомъ былъ фаворитъ, обязанность котораго состояла въ томъ, чтобы развлекать князя и всѣми правдами и неправдами добывать деньги для придворныхъ расходовъ. Онъ безотчетно распоряжался всѣмъ, и не было границъ его самовластию, лишь бы только доставлялъ онъ двору средства для роскошныхъ развлеченій. Только немногіе князья, оставшіеся чужды новому французскому образованію, сами занимались государственными дѣлами. Они подвергались всеобщимъ насмѣшкамъ со стороны придворныхъ и князей, увлеченныхъ версальскою модою. Къ чести этихъ немногихъ государей, сохранившихъ старо-нѣмецкіе нравы, надобно сказать, что они были единственными германскими владѣльцами, заботившимися о собственной чести и благѣ подданныхъ. Но хотя они были лучшими изъ германскихъ государей своего времени, въ ихъ личныхъ привычкахъ и въ системѣ ихъ управленія было чрезвычайно много грубаго, тяжелаго, жестокаго. Мы приведемъ нѣсколько примѣровъ того, какъ шли дѣла въ государствахъ, гдѣ дворъ слѣдовалъ французской модѣ, и въ государствахъ, гдѣ князья остались вѣрны старымъ нѣмецкимъ обычаямъ. Лучшимъ образцомъ государей грубыхъ, но честныхъ и дѣятельныхъ, былъ въ первой половинѣ XVIII вѣка отецъ Фридриха Великаго, король прусскій Фридрихъ-Вильгельмъ. Самыми бли-

стательными представителями господствующаго направленія, состоявшаго въ подражаніи версальскому двору, были саксонскіе курфюрсты.

Начнемъ нашъ обзоръ положеніемъ дѣлъ въ Саксоніи, при Августѣ II и Августѣ III и любимцахъ ихъ Флемингъ и Брюхъ.

Мы говорили о страшныхъ бѣдствіяхъ, которымъ подверглась Саксонія, будучи запутана Августомъ II въ войну Россіи и Польши съ Карломъ XII. Эти бѣдствія нисколько не мѣшали придворнымъ забавамъ; напротивъ, по мѣрѣ того, какъ увеличивалась нищета въ Саксоніи, возвышался блескъ двора Августа II, увеличивались его расходы на праздники, на фаворитовъ, фаворитокъ и побочныхъ дѣтей. Когда шведы отняли у него польскій престолъ, всю тяжесть этихъ расходовъ на поддержаніе королевскаго великолѣпія и гвардіи, составленной изъ дворянъ, должны были нести одни саксонцы. Были придуманы и истощены всевозможныя позволительныя и непозволительныя средства; государственные долги быстро возрастали, хотя ландтагъ налагалъ на бѣдныхъ саксонцевъ все новыя подати, пошлины и акцизы, хотя въ мирное время продолжалось взиманіе военныхъ обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ податей. Король заложилъ Борнскій округъ Саксенъ-Готъ, Грефенгайнъ княгинѣ Дессауской, свой участокъ Мансфельда Ганноверу, Фортскій округъ Саксенъ-Веймару. Полученныхъ за то денегъ едва достало на одинъ карнавалъ; однако же, съ каждымъ годомъ праздники становились великолѣпнѣе. Такъ, напримѣръ, при бракосочетаніи наслѣднаго принца съ австрійскою принцессою нѣсколько недѣль сряду давались во дворцѣ балы, оперы, маскарады. На одномъ маскарадѣ король явился въ такомъ костюмѣ, который стоилъ нѣсколькихъ милліоновъ талеровъ. Вслѣдъ затѣмъ начались торжества по случаю встрѣчи турецкаго посла. Король, принимая его, былъ одѣтъ въ бархатный фіолетовый костюмъ съ брильянтовыми пуговицами, которыя одиѣ стоили милліонъ талеровъ, не считая столь же богатой шпаги и другихъ не менѣе драгоценныхъ принадлежностей. Въ біографіи Августа, написанной Фассманомъ, описаніе торжества по случаю бракосочетанія наслѣднаго принца наполняетъ не менѣе семидесяти-восьми страницъ. «Мы упоминаемъ о всѣхъ этихъ вещахъ—говоритъ Шлоссеръ—желая показать, какими разсказами во время нашихъ отцовъ занималась нѣмецкая публика, и каковы были историческія книги, которыми назидался народъ». Фассманъ приводитъ и причину, по которой описываетъ пиры Августа II такъ под-

робно: «Надобно въ точности знать всѣ эти церемоніи и пиршества, потому что ими обнаруживается высокій умъ и превосходный вкусъ короля Августа, который самъ занимался устройствомъ праздниковъ». Они продолжались нѣсколько недѣль: итальянскія и французскія оперы и комедіи смѣнялись охотами и фейерверками, конные и пѣшіе турниры каруселями и маскарадами, маскированные базары всѣхъ націй балами и танцами. Надобно замѣтить, что въ то самое время свирѣпствовалъ въ Саксоніи голодъ. Вслѣдъ затѣмъ, въ 1725 году, отъ 7 января до 13 февраля, праздновались карнавальные торжества, которыя, по словамъ Фассмана, помрачили своимъ блескомъ всѣ прежніе праздники. Въ іюнѣ того же года начался новый рядъ праздниковъ, опять тянувшійся нѣсколько недѣль: поводомъ было то, что одна изъ побочныхъ дочерей короля выходила за графа Фризена. Каждый годъ подобныя исторіи повторялись по нѣскольку разъ. О расходахъ можно судить изъ того, что въ 1719 году одна лоттерея для дамъ стоила 60,000 талеровъ, а лоттерея эта была только второстепенною принадлежностію одного изъ многихъ баловъ. Для покрытія расходовъ, города и округи отдавались въ залогъ, и не только сосѣднимъ владѣтельнымъ князьямъ, но и жидамъ-ростовщикамъ; и такъ какъ суммы, взятія дворомъ не уплачивались, то ростовщики дѣлались настоящими владѣльцами частей государства,—напримѣръ, жидъ Леманнъ владѣлъ городами Лиссою и Рейсеномъ.

Нравы Августа II были достойны временъ регентства. Фаворитки его оффиціально занимали на придворныхъ праздникахъ болѣе почетныя мѣста, нежели его супруга; такъ, напримѣръ, когда, по удаленіи шведовъ, посѣтилъ Августа датскій король и разоренная страна должна была давать подати на дивныя торжества въ честь высокаго гостя, высокій гость былъ на балахъ и каруселяхъ кавалеромъ не супруги хозяина, королевы, а графини Козель. Этого примѣра довольно, чтобы судить о нравахъ двора Августа II. Нѣмецкіе подражатели французской распущенности нравовъ пошли въ цинизмъ далѣе своихъ учителей: не только Людовикъ XIV, но и регентъ принцъ Орлеанскій не позволили бы себѣ такого нарушенія всѣхъ приличій, какое было обнаружено въ случаѣ, который мы указали. Не останавливаясь на множествѣ другихъ примѣровъ разврата, представляемыхъ саксонскимъ дворомъ въ XVIII вѣкѣ, скажемъ нѣсколько словъ о тѣхъ поступкахъ Августа II и его

придворныхъ, которые относятся къ государственной жизни. Пирь и любовницы до такой степени заставляли Августа пренебрегать всѣмъ остальнымъ, что въ то самое время, какъ шведы вторгались въ его владѣнія, онъ продавалъ свои войска Нидерландамъ, которые вели тогда войну съ Людовикомъ XIV: ему важнѣе было давать балы и награждать фаворитокъ, нежели защищаться отъ врага. Безцеремонность курфирста саксонскаго была такъ велика, что даже у простыхъ солдатъ онъ удерживалъ подъ разными предлогами половину жалованья, которое должны были они получать отъ голландцевъ. По удаленіи шведовъ, онъ опять, собравъ новое войско, продалъ его голландцамъ и англичанамъ. Исполнять свои обѣщанія онъ вообще не имѣлъ привычки и даже самъ открыто признавался въ томъ: такъ, напримѣръ, онъ формально говорилъ, что заключаетъ миръ съ Карломъ XII только для того, чтобы обмануть его, и наказалъ своихъ уполномоченныхъ за то, что они исполнили его инструкцію, которою онъ велѣлъ имъ руководиться при переговорахъ: они должны были знать, по его выраженію, что эта инструкция дается только для обмана. Русскіе читатели знаютъ безпримѣрное вѣроломство, съ какимъ выдалъ онъ на мучительную казнь Карлу XII Паткуля, бывшаго русскимъ посланникомъ при немъ, между тѣмъ, какъ увѣрялъ Петра Великаго въ неизмѣнной своей дружбѣ.

Флемингъ, управлявшій дѣлами при Августѣ II, будучи дурнымъ правителемъ, имѣлъ, по крайней мѣрѣ, репутацію хорошаго генерала. Брюль, который правилъ Саксоніею при Августѣ III, былъ лишенъ всякихъ достоинствъ, кромѣ тѣхъ качествъ, которыя нужны временщику расточительнаго князя. Онъ устраивалъ пирь и праздники, доставалъ деньги на придворные балы—этого было довольно для Августа III, и Брюль совершенно безотчетно самовластвовалъ въ Саксоніи. Король не зналъ и не хотѣлъ знать, что такое дѣлалось въ его государствѣ. Эта небрежность доходила до такой степени, что когда однажды какому то полковнику удалось, имѣя случай говорить съ королемъ наединѣ, открыть ему, что саксонская армія уже двадцать-шестой мѣсяцъ не получаетъ жалованья, Августъ необыкновенно изумился и душевно огорчился отъ такого неожиданнаго обстоятельства. Но Брюль успокоилъ его, объяснивъ, что полковникъ личный врагъ его, Брюля, и оклеветалъ его, и полковникъ былъ предоставленъ мщенію оскорбленнаго министра,

какъ низкій клеветникъ, хотя каждый житель Саксоніи зналъ, что слова этого несчастнаго были совершенно справедливы. Подобные случаи могли у каждаго отнять охоту мѣшаться не въ свое дѣло, то есть говорить громко противъ грабежей и расточительности Брюля. И не только подданные, сама наслѣдная принцесса, сама королева не смѣли сказать королю слова противъ Брюля, какъ ни возмущало ихъ безуміе этого временщика. Въ похвалу Брюля надобно сказать, что онъ былъ человѣкъ мягкаго характера, не любившій кровавыхъ наказаній: смертью не казнилъ онъ недовольныхъ; только Зонненштейнъ, Кенигштейнъ и Плейсенбургъ были втеченіе двадцати-четырехъ лѣтъ его самовластия постоянно наполнены людьми, имѣвшими непріятность возбуждать въ немъ опасенія. И если саксонская армія голодала, люди, преданные Брюлю, не имѣли причинъ на него жаловаться: адъютанты и чиновники, состоявшіе при временщикѣ, всегда исправно получали жалованье чистыми деньгами, между тѣмъ, какъ офицеры королевской арміи, если не хотѣли умереть съ голоду, должны были брать вмѣсто денежнаго жалованья пошлинныя квитанціи (Steuerscheine), которыя при размѣнѣ на звонкую монету отдавались только за четвертую или даже за восьмую часть своей номинальной цѣны, по какой получались изъ казначейства офицерами.

Когда, по прекращеніи одной изъ боковыхъ линій саксонскаго дома, княжество Кверфуртское перешло во владѣніе старшей, курфиршеской линіи, Брюль тотчасъ же, при помощи услужливыхъ юристовъ, объявилъ недействительными продажи и контракты, совершенные прежними князьями: всѣ помѣстья, всѣ регаліи, законнымъ образомъ перешедшія изъ удѣльнаго имущества въ частныя руки, были конфискованы, и множество семействъ, изстари пользовавшихся этими имуществами безспорнымъ и законнымъ образомъ, совершенно раззорились. Вотъ одинъ случай, показывающій, какъ все дѣлалось тогда въ Саксоніи. Между прочимъ, Брюль отнялъ у города Вейсензе изстари отмежеванныя ему казною земли, безъ которыхъ цѣлый городъ умеръ бы съ голоду. Несчастные горожане обратились къ королю,—это не помогло; тогда они заключили съ Брюлемъ сдѣлку, по которой въ замѣнъ отнимаемыхъ земель обязались уплатить 20,000 талеровъ и, дѣйствительно, уплатили, но сдѣлались совершенными нищими, потому что сумма платежа далеко превышала ихъ средства. Они снова обратились съ просьбами

къ королю: онъ сжалился и велѣлъ изъ 20,000 выдать имъ обратно восемь тысячъ. Брюль поставилъ въ отчетѣ, что онъ выдалъ раззореннымъ эту сумму звонкою монетою, а горожанамъ далъ пошлинныя квитанціи, которыя не стоили и тысячи талеровъ.

Подачи были возвышены до такого страшнаго размѣра, что въ многихъ имѣніяхъ моргенъ земли, котораго нельзя было отдать въ наемъ дороже полутора талера, платилъ два талера подати. При такомъ порядкѣ дѣлъ, недоимки, конечно, возрастали съ каждымъ годомъ и простирались наконецъ до громадной суммы тридцати милліоновъ талеровъ. Безпечность Брюля простиралась до того, что, когда Саксонія должна была готовиться къ войнѣ съ Пруссіею, составъ арміи былъ уменьшенъ, для увеличенія придворныхъ расходовъ.

Саксонскіе правители формально не заботились ни о чемъ, кромѣ увеличенія налоговъ, кромѣ придворныхъ интригъ и удовольствій. Въ Баваріи при вступленіи на престолъ Максимилиана-Иосифа явилась было у министровъ мысль позаботиться нѣсколько и о народномъ благосостояніи; но тутъ выказалось только безсиліе подражателей французамъ сдѣлать что нибудь дѣйствительно полезное, и результатомъ слабыхъ попытокъ было только новое угнетеніе. Кромѣ всѣхъ бѣдствій, тяготѣвшихъ надъ Саксоніею, Баварія страдала еще отъ зла, не касавшагося протестантскихъ земель: въ Баваріи, какъ во всѣхъ почти тогдашнихъ католическихъ государствахъ, господствовали іезуиты. Они, въ союзѣ съ вельможами, старавшимися о сохраненіи своихъ феодальныхъ правъ, упорно поддерживали—и успѣли поддержать—злоупотребленія, беззаконность, апатію и невѣжество. Да и самыя преобразованія дѣлались въ такомъ духѣ, что могли только еще больше испортить дѣло, а не помочь ему. Напримѣръ, чтобы уменьшить число преступленій и смягчить нравы, преобразователи усилили жестокость уголовныхъ законовъ, которые и прежде были безчеловѣчны. Смертная казнь, пытка, колесованіе явились на каждой страницѣ уголовного кодекса. Нравы стали еще грубѣе прежняго, и число преступленій возросло. Курфирстъ хотѣлъ улучшить земледѣліе; но онъ страстно любилъ охоту и потому усилилъ законы, воспрещавшіе простолюдинамъ бить дикихъ животныхъ—хищные звѣри размножились и опустошали поля. Множество денегъ и заботъ было употреблено, чтобы развестъ шелководныя плантаціи въ холодномъ горномъ климатѣ, гдѣ шелко-

водство невозможно; между тѣмъ, о дѣйствительно важныхъ отрасляхъ сельской промышленности не заботились. То же было съ ремеслами и фабриками. Напримѣръ, въ Баваріи не было порядочныхъ слесарей—преобразователи не думали о томъ, а старались распространить ювелирное искусство. Точно также заводили фабрики, не имѣвшія возможности существовать, и для того раззоряли поселянъ различными стѣсненіями въ покупкѣ товаровъ. Хотѣли уничтожить нищенство, а, между тѣмъ, размножали нищенствующіе монашескіе ордена и раздачею имъ щедрыхъ подаяній создали цѣлыя арміи бродягъ, Іезуиты продолжали господствовать и распоряжаться всѣми дѣлами. Само собою разумѣется, что всѣ попытки улучшеній, совершаемыя въ странѣ, управляемой іезуитами, должны были остаться безплодны; но и безъ содѣйствія іезуитовъ онѣ, конечно, не принесли бы ничего, кромѣ вреда, потому что преобразователи не имѣли понятія ни о потребностяхъ страны, ни о средствахъ привести въ исполненіе свои планы. Но даже и такія негѣпныя и неудачныя попытки улучшеній были рѣдки въ Германіи; почти постоянно и почти во всѣхъ владѣніяхъ дѣла шли такъ, какъ шли они въ Саксоніи при Флемингѣ и Брюлѣ. Изъ безчисленнаго множества примѣровъ, укажемъ только одинъ—виртембергское управленіе при герцогахъ Эбергардѣ-Людвигѣ и Карлѣ-Александрѣ, и, въ заключеніе этой части очерка, приведемъ изъ «Записокъ» Фридриха II о бранденбургскомъ домѣ тѣ страны, въ которыхъ этотъ великій монархъ дѣлаетъ общія замѣчанія о личныхъ качествахъ и характерѣ правленія своего предка, Фридриха I, перваго короля прусскаго.

Эбергардъ-Людвигъ, герцогъ виртембергскій, въ 1708 году сблизился съ дѣвицею Гревеницъ и женился на ней, хотя его законная супруга была еще жива. Черезъ нѣсколько времени, вслѣдствіе угрозъ императора, онъ развелся съ своею фавориткою и отдалъ ее за графа Вюрбена, чтобы тѣмъ безопаснѣе продолжать свою связь. Графиня Вюрбенъ самовластно управляла дѣлами: она сдѣлала министрами своего брата и племянника и официально предсѣдательствовала въ совѣтѣ министровъ. Всѣ должности продавались фавориткѣ; дворъ наполнился ея креатурами; она великолѣпно украшала свой любимый Людвигсбургъ, хотя государство не имѣло ни денегъ, ни кредита. Графиня страстно любила игру и проигрывала огромныя суммы; жадность къ деньгамъ и жажда удо-

вольствій равно владычествовали надъ нею. Имя ея было бы внесено въ молитвы общественнаго богослуженія, если бы тому не воспротивился прелать Озіандеръ, отвергнувшій это предложеніе отвѣтомъ, что и безъ того уже каждый разъ, когда читають «Отче нашъ», упоминають о графинѣ Вюрбенъ словами: «избави насъ отъ лукаваго». Наслѣдникъ Эбергарда, Карлъ, также думалъ только объ удовольствіяхъ и великолѣпіи: деньги на то, при истощеніи всѣхъ источниковъ, доставлялъ жидъ Іозефъ Зюссъ, которому была дана власть распоряжаться по усмотрѣнію всею администраціею, лишь бы только добывать побольше денегъ, и который раздавалъ мѣста посредствомъ аукціоннаго торга. Гревеницы, фавориты прежняго герцога, были арестованы. Графиня Вюрбенъ должна была удалиться въ Маннгеймъ, а ея помѣстья были конфискованы. Но у ней было много денегъ: она скоро приобрѣла могущественныхъ друзей въ Вѣнѣ и въ Берлинѣ, подкупила и жидъ; такимъ образомъ, дѣло наконецъ уладилось безъ большихъ потерь для графини и родственниковъ ея. Но множество другихъ виновныхъ и невинныхъ лицъ были замѣшаны въ процессъ и должны были откупаться, торгуясь съ жидомъ, который былъ предсѣдателемъ судной коммисіи. Этимъ и тому подобными средствами получилъ онъ въ два года болѣе 450,000 гульденовъ. Продажа должностей въ три года доставила ему болѣе милліона гульденовъ. Суммы эти употреблялись на содержаніе великолѣпной охоты, на дивныя празднества, на пѣвицъ и танцовщицъ. Для княжескихъ охотъ, дикимъ животнымъ предоставили полную свободу размножаться, и, дѣйствительно, они расплодились подъ защитою администраціи до такой степени, что въ 1737 году было затравлено герцогомъ Карломъ 3,500 оленей, до 5,000 кабановъ и проч.—убыль, впрочемъ, нечувствительная для покровительствуемаго населенія лѣсовъ, потому что въ слѣдующемъ году вредъ, нанесенный хищными звѣрьми и дикими животными скоту и посѣвамъ, былъ оцѣненъ не менѣе, какъ въ 500,000 гульденовъ. Воинственные увеселенія охоты нимадо не мѣшали карнаваламъ, маскарадамъ и т. д. Какъ щедро награждались артистки, достаточно покажетъ слѣдующій примѣръ: когда по смерти герцога Карла начались преслѣдованія его кліентовъ и кліентокъ, у одной изъ пѣвицъ нашлось до полутора ста карманныхъ часовъ. Чувствуя упадокъ силъ, герцогъ хотѣлъ ѣхать лечиться въ Данцигъ, но не могъ оторваться отъ блестящихъ удовольствій при-

ближающагося карнавала — и умеръ, посѣщая балы, спектакли и маскарады. По вскрытіи его тѣла, оказалось—какъ сказано въ официальномъ протоколѣ—слѣдующее: «сердце, голова и всѣ другіе органы найдены совершенно здоровыми, но легкія такъ наполнены пылью и душистыми испареніями карнавала и оперы, что необходимо воспослѣдовало *«suffocatio sanguinis»*».

Вотъ отрывокъ изъ «Записокъ» Фридриха Великаго:

«Мы обозрѣли событія жизни Фридриха I; остается бросить общій взглядъ на его личность и характеръ. Онъ былъ малъ ростомъ и дурно сложенъ; фizioномія его имѣла выраженіе надменное и вмѣстѣ пошлое. Душа его была похожа на зеркало, отражающее каждый предметъ, безъ всякаго разбора. Онъ подчинялся каждому впечатлѣнію, какое хотѣли на него произвести. Люди, успѣвшіе пріобрѣсть надъ нимъ нѣкоторое вліяніе, могли по произволу раздражать или успокаивать его умъ, по тупости мягкій, но безхарактерный, по капризу вспыльчивый. Онъ не зналъ различія между пустяками и истиннымъ величіемъ, былъ болѣе привязанъ къ блеску, нежели къ пользѣ. Въ войнахъ императора (германскаго) и его союзниковъ онъ пожертвовалъ тридцатью тысячами своихъ подданныхъ, чтобы добиться королевскаго титула, котораго желалъ только для удовлетворенія своей любви къ церемоніямъ и для оправданія благовидными предлогами своего пристрастія къ пышности.

«Онъ былъ роскошенъ и расточителенъ; но какой цѣною покупалъ онъ удовольствіе удовлетворять свою страсть! Онъ продавалъ англичанамъ и голландцамъ кровь своихъ подданныхъ, какъ продаютъ кочевые татары свои стада на убой подольскимъ мясникамъ. Пріѣхавъ въ Голландію для полученія наслѣдства послѣ короля Вильгельма, онъ хотѣлъ вывести свои войска изъ Фландріи; но ему дали большой брильянтъ, и пятнадцать тысячъ челоувѣкъ были убиты на службѣ союзникамъ *).

«Предразсудки толпы благопріятны роскоши государей; но расточительность государя не то, что расточительность частнаго че-

*) По смерти Вильгельма III, владѣвшаго, между прочимъ, княжествомъ Оранскимъ, Фридрихъ изъявилъ притязаніе на эту землю, какъ дальній родственникъ Вильгельма по женѣ; но Вильгельмъ, завѣщая княжество герцогу Нассаускому, назначилъ душеприкащиками голландскіе чины, которые хотѣли передать наслѣдство лицу, означенному въ завѣщаніи. Фридрихъ разсердился и грозилъ вывести свои войска изъ Фландріи, гдѣ они сражались за голланд-

ловѣка. Государь—первый слуга и первый чиновникъ государства. Онъ обязанъ государству отчетомъ въ употребленіи налоговъ; онъ собираетъ ихъ для содержанія войскъ на защиту государства, для поддержанія чести своего сана, для вознагражденія службы и заслугъ, для возстановленія нѣкотораго равновѣсія между богатыми и бѣдными, для помощи несчастнымъ всякаго рода, наконецъ для поддержанія величія во всемъ, что касается государства вообще. Государь, одаренный просвѣщеннымъ умомъ и честнымъ сердцемъ, будетъ направлять всѣ свои расходы къ пользѣ общей и благу своихъ народовъ.

«Великолѣпіе, которое любилъ Фридрихъ, было не такого рода: это скорѣе была расточительность суетнаго и расточительнаго государя. Дворъ его былъ однимъ изъ великолѣпнѣйшихъ въ Европѣ. Онъ отнималъ послѣдній грошъ у бѣдныхъ, чтобы пресыщать богатыхъ; фавориты его получали богатые пенсіи, между тѣмъ, какъ народъ его погрязалъ въ нищетѣ: его постройки были роскошны, его праздники пышны; его конюшни и кухня поражали болѣе азіатскою пышностью, нежели европейскимъ вкусомъ.

«Его щедрыя награды кажутся скорѣе дѣломъ случая, нежели разсудительнаго выбора. Прислужники и придворные его обогащались, вытерпывая первые взрывы его горячности. Онъ далъ помѣстье въ 40,000 талеровъ царю, съ которымъ затравилъ большерогаго оленя. Онъ хотѣлъ заложить голландцамъ свои владѣнія въ Гальберштадтскомъ княжествѣ, чтобы купить знаменитый брильянтъ Питтъ, приобретенный послѣ во время Регентства Людовикомъ XV; продавалъ 20,000 человѣкъ солдатъ союзникамъ, чтобы хвастаться тѣмъ, что содержать 30,000 солдатъ.

«Дворъ его былъ большая рѣка, поглощающая всѣ ручейки. Любимцы его обогатились, разжирѣли отъ его щедрыхъ наградъ, роскошь его стоила ежедневно огромныхъ суммъ, а Пруссія была отдана въ жертву голоду и заразительнымъ болѣзнямъ, безъ помощи отъ щедраго монарха».

Къ этой характеристикѣ можно прибавить слѣдующій анек-

цедъ, противъ французовъ. Тогда голландцы послали ему большой брильянтъ изъ наслѣдства Вильгельма. Фридрихъ смягчился, согласился удовольствоваться частью земель, на которыя изъявлялъ требованія, и остался вѣрнымъ союзникомъ голландцевъ.

доть, который также рассказанъ въ «Запискахъ» Фридриха Великаго. Софія-Шарлота, супруга Фридриха I, лежала при смерти. Одна изъ ея статсъ-дамъ плакала о своей доброй и умной государынѣ.

«Не плачьте—сказала ей умирающая,— я иду узнать то, что не могъ объяснить мнѣ Лейбницъ *); а для короля, моего супруга, я готовлю перемонію похоронъ, которая доставитъ ему новый случай выказать свое великолѣпіе». И, дѣйствительно—прибавляетъ Фридрихъ Великій—мужъ ея утѣшился великолѣпіемъ похоронъ.

О расточительности Фридриха I можно судить изъ того, что когда онъ, вскорѣ послѣ своего восшествія на престолъ, поѣхалъ въ герцогство Пруссію, то по всей дорогѣ отъ Берлина до Кенигсберга на каждыя десяти миль были выставлены для перевозки его свиты по 1,000 лошадей, и на каждой изъ такихъ станцій былъ построенъ, для его отдыха, особенный домъ, расположенный и украшенный совершенно такъ, какъ занимаемый Фридрихомъ апартаментъ берлинскаго дворца. Выдавая дочь за настѣднаго принца гессенъ-кассельскаго, Фридрихъ купилъ ей въ приданое брильянты и другихъ нарядовъ на 4,000,000 таллеровъ (весь годичный доходъ Прусскаго королевства простирался едва до трехъ милліоновъ). Себѣ онъ сдѣлалъ корону, которая стоила нѣсколькихъ милліоновъ талеровъ; брильянты его супруги стоили до 3,000,000 талеровъ. Страна была совершенно изнурена податями и поборами.

Совершенный контрастъ Фридриху I составляетъ его преемникъ, Фридрихъ-Вильгельмъ I, котораго надобно считать лучшимъ представителемъ немногихъ нѣмецкихъ государей, не подчинившихся французскому вліянію. Это былъ характеръ твердый и честный, но суровый; нравы Фридриха были чисты, но грубы. Дѣятельность его неутомима и проникнута стремленіемъ къ народному благу; но средства, какія онъ, при своемъ невѣжествѣ, выбиралъ для достиженія этой цѣли, часто бывали произвольны, жестоки и вели къ невыгоднымъ для государственнаго благосостоянія результатамъ. Дѣти, которыхъ онъ угнеталъ, и люди, жившіе по французской модѣ, которыхъ онъ не терпѣлъ, осмѣяли его память, выставили его тираномъ и чудовищемъ. Онъ не былъ таковъ, онъ былъ лучшимъ изъ нѣмецкихъ государей своего времени; но, дѣйстви-

*) Софія-Шарлотта была ученица Лейбница.

тельно, и въ личныхъ его привычкахъ и въ способѣ его управленія было много варварскаго.

Фридрихъ-Вильгельмъ I манерами и всѣми привычками походилъ на зажиточнаго простолюдина, у котораго главная забота—копить деньги. Экономія его доходила до скряжничества; но скряжничество было похвально въ сравненіи съ безумною расточительностью другихъ нѣмецкихъ дворовъ. Онъ презиралъ науку, потому что она являлась ему или въ видѣ нѣмецкаго гелертера, безжизненнаго педанта, или въ видѣ развратнаго и легкомысленнаго французскаго болтуна. Онъ былъ искренно преданъ религіи; но піетизмъ его доходилъ до нетерпимости, и фанатики заставляли его преслѣдовать всѣхъ, кто имѣлъ несчастье заслужить ихъ нерасположеніе. Болѣе всего извѣстенъ Фридрихъ-Вильгельмъ своею страстью имѣть высокорослыхъ солдатъ. Вербовщики его были разсылаемы по всей Германіи, и ни одинъ нѣмецъ высокаго роста, хотя бы жилъ въ Баваріи или Виртембергѣ, не могъ считать себя безопаснымъ отъ ихъ преслѣдованій: даже изъ иностранныхъ государствъ силою похищали они великановъ на службу прусскому королю. А когда можно было купить высокорослаго солдата, онъ не жалѣлъ никакихъ денегъ: у него были гренадеры, купленные за пять, за шесть, за восемь тысячъ талеровъ. Эта прихоть стоила ему страшныхъ суммъ: разсчитываютъ, что втеченіе двадцати-двухъ лѣтъ для своего войска на покупку иностранцевъ-великановъ истратилъ онъ до 12,000,000 талеровъ. Это въ нѣсколько разъ превышаетъ весь тогдашній годичный доходъ Прусскаго королевства. Управленіе Фридриха-Вильгельма имѣло характеръ величайшаго произвола.

Сначала онъ хотѣлъ, чтобы въ Пруссіи не существовало ни одной газеты. Когда началась война со шведами, было разрѣшено издавать газеты, чтобы знакомить публику съ подвигами его воиновъ. Онъ презиралъ многоученыхъ законовѣдовъ своего времени, которые безконечно растягивали процессы формальностями и тонкостями римскаго права. Онъ справедливо замѣчалъ, что смѣшно, при тяжбѣ между двумя померанскими поселянами изъ-за клочка земли, справляться, какъ думали о подобныхъ случаяхъ различные законовѣды временъ Юстиніана. Когда спрошенный педантъ начиналъ ему исчислять мнѣнія прежнихъ ученыхъ, онъ грубо прерывалъ его словами: «я хочу знать не то, что думали когда-то другіе, а что думаешь ты.» Часто онъ нарушалъ своимъ вмѣшатель-

ствомъ правильный ходъ судопроизводства. Въ случаѣ преступленій противъ нравственности, которую онъ старался всячески поддерживать, онъ опредѣлялъ самыя тяжелыя наказанія, произвольно преступая и гражданскіе и уголовные законы. Пытки и казни при немъ были неизмѣнно жестоки. Людей, которые чѣмъ нибудь ему не понравились, онъ безъ церемоніи колотилъ своею палкою или, просто, кулакомъ, такъ что каждый дрожалъ, когда долженъ былъ представляться королю. Праздность и роскошь были ненавистны ему. Прогуливаясь по улицѣ, пѣшкомъ или въ экипажѣ, онъ часто останавливалъ прохожихъ, разспрашивалъ, какого они званія, чѣмъ занимаются, и, если отвѣты казались ему подозрительны, тутъ же колотилъ палкою празднолюбцевъ и вертопраховъ. Если наказываемый пускался бѣжать отъ справедливой палки, Фридрихъ-Вильгельмъ посылалъ въ догонку своего адъютанта или слугу бить по спинѣ бѣглеца. Дамы особенно боялись встрѣчъ съ нимъ, потому что строгость Фридриха-Вильгельма не разбирала ни пола, ни возраста. Полиція при Фридрихѣ-Вильгельмѣ была невыносима: она вмѣшивалась во все. Заботясь о равномерномъ распредѣленіи налоговъ, онъ не щадилъ вредныхъ для государства, обременительныхъ для горожанъ и простонародья привилегій, которыми повсюду пользовались юнкеры—владѣльцы такъ называемыхъ «рыцарскихъ (дворянскихъ) помѣстій», многочисленное сословіе, присвоившее себѣ множество правъ и льготъ. Повсюду въ Германіи эта юнкеры жили на счетъ другихъ сословій, не принося государству никакой пользы и надменно обращаясь со всѣми не принадлежавшими къ ихъ классу. Фридрихъ-Вильгельмъ хотѣлъ обуздать ихъ заносчивость въ частной жизни, а въ государственномъ отношеніи заставить раздѣлять съ горожанами и поселянами тягость налоговъ. Юнкеры негодовали; но Фридриха-Вильгельма нельзя было бы остановить и основательнымъ ропотомъ. Когда, однажды, по случаю переложенія части поземельнаго налога съ имуществъ простолюдиновъ на помѣстья юнкеровъ, графъ Ддна, предсѣдатель чиновъ Восточно-Прусской провинціи, представилъ ему отъ имени чиновъ, т. е. юнкеровъ, протестацію противъ этой мѣры, написанную, по свѣтскому обычаю, на французскомъ языкѣ и оканчивавшуюся словами: «tout le pays sera ruiné», король далъ чинамъ слѣдующій лаконическій отвѣтъ, въ насмѣшку надъ французскимъ краснорѣчіемъ юнкеровъ, составленный изъ тарабарской смѣси нѣмецкихъ

словъ съ латинскими и французскими: «*Tout le pays sera ruiné?—Nihil credo; aber das credo, dass die Junkers ihre Auttorität wird ruinirt werden. Ich stabilire die souveraineté wie einen Rocher von Bronze*».—«Все государство погибнетъ? Не вѣрю; а то вѣрно, что вліяніе юнкеровъ погибнетъ. Какъ мѣдный утесъ стоитъ надъ ними моя верховная власть». Юнкеры должны были повиноваться, и многія феодальныя права, отяготительныя для народа, были у нихъ отняты. Строгое правосудіе короля не щадило преступника за знатность рода. Онъ доказалъ это, когда фонтъ-Шлюбхутъ, потомокъ одной изъ древнѣйшихъ и знатнѣйшихъ фамилій, былъ уличенъ въ утайкѣ 14,000 талеровъ изъ суммы, которая была дана ему, какъ члену одного изъ правительственныхъ мѣстъ, для раздачи переселенцамъ. Судъ приговорилъ фонтъ-Шлюбхута къ заключенію въ крѣпость. Осужденный обратился къ королю съ жалобою на чрезмѣрную строгость приговора и предлагалъ возвратить казнѣ украденныя деньги. «Не хочу я твоихъ мошенническихъ денегъ!» (*dein schelmisches Geld*) грозно сказалъ король и велѣлъ его повѣсить на висѣлицѣ, поставленной у крыльца того присутственнаго мѣста, гдѣ служилъ преступникъ, чтобы товарищи его тверже помнили законъ. Не только подданныхъ, какъ бы знатны они не были, но и сына своего не хотѣлъ онъ шадить въ случаѣ вины: извѣстно, что наслѣдникъ принцъ Фридрихъ, впоследствии названный Великимъ, не избѣжалъ строгаго наказанія и едва избѣжалъ смертной казни, прогнѣвавъ родителя и государя своимъ непослушаніемъ. Но правосудіе и произволъ имѣли равное вліяніе на его дѣйствія. До какой мелочной придирчивости и грубости доходило самовластіе Фридриха-Вильгельма, видно изъ одного уже того, что онъ колотилъ и бранилъ дамъ, которыхъ встрѣчалъ одѣтыми не по его вкусу. Онъ издавалъ декреты, которыми опредѣлялъ моды для своихъ подданныхъ: такъ, напримѣръ, никто въ Берлинѣ не смѣлъ носить матерій съ пестрыми узорами. Онъ не терпѣлъ хлопчатобумажныхъ тканей и вздумалъ запретить ихъ: повсюду начались домовые обыски, чтобы конфисковать ситецъ и каленкоръ. Вдругъ Фридриху-Вильгельму показалось, что полиція дѣйствуетъ въ этихъ обыскахъ безъ надлежащей строгости,—и онъ назначилъ генералъ-фискаломъ одного изъ своихъ гренадеровъ. Сдѣлавшись начальникомъ полиціи, гренадеръ этотъ сталъ дѣйствовать совершенно по солдатски, и Фридрихъ-Вильгельмъ былъ совершенно доволенъ ревностью, съ какою

производились по всему королевству домовые обыски, съ цѣлю открыть и уничтожить всякій клочекъ хлопчатобумажной ткани.

Впрочемъ, совершенно такой же грубый произволъ полицейско-фискальнаго управленія существовалъ и въ тѣхъ нѣмецкихъ государствахъ, въ которыхъ придворные подражали французскимъ модамъ.

Глубоко презирая титулы, Фридрихъ-Вильгельмъ открыто продавалъ ихъ: нужно было только внести опредѣленную сумму въ казну, и желающему выдавался патентъ. Это, конечно, не могло никому дѣлать вреда. Но точно такимъ же образомъ Фридрихъ-Вильгельмъ продавалъ и административныя должности. Впрочемъ, опять надобно прибавить, что обычай этотъ существовалъ тогда во многихъ нѣмецкихъ государствахъ. Въ нѣкоторыхъ система продажи развита была до такого совершенства, что продавалось не только должностъ, но и право быть кандидатомъ на эту должностъ, въ ожиданіи смерти или перемѣщенія чиновника, которымъ занято мѣсто.

Фридрихъ Великій, какъ человѣкъ геніальный, дѣйствовалъ блистательнѣе своего отца; но система управленія при немъ оставалась та же самая, и только немного смягчалась тамъ, гдѣ онъ являлся самъ, съ его французскими манерами. Эта система, знавшая только фискальныя и полицейскія средства, сама по себѣ была крайне недостаточна для упроченія народнаго благосостоянія. Ея полезныя дѣйствія при Фридрихѣ-Вильгельмѣ и Фридрихѣ II зависѣли единственно отъ тѣхъ рѣдкихъ достоинствъ, какими были одарены эти люди: честная и неутомимая дѣятельность отдѣльнаго человѣка можетъ, до нѣкоторой степени, давать хорошее направленіе самому дурному механизму; но какъ скоро отнимается отъ этого механизма твердая рука, его двигавшая, онъ перестаетъ дѣйствовать или дѣйствуетъ дурно. Прочно только то благо, которое не зависитъ отъ случайно являющихся личностей, а основывается на самостоятельныхъ учрежденіяхъ и на самостоятельной дѣятельности націи. Объ этомъ не думали ни Фридрихъ-Вильгельмъ, ни его сынъ. Они не заботились пробудить духъ своего народа или дать государству прочныя учрежденія, потому съ ними исчезли и тѣ блага, которыми давали они пользоваться прусскому народу: исчезли порядокъ и быстрота въ администраціи, справедливость въ судѣ. Учрежденій, которыми обезпечивались бы эти качества, Пруссія не имѣла, какъ не имѣли

ихъ и другія нѣмецкія государства. Все зависѣло отъ произвола. Какое былъ этотъ произволъ въ большей части случаевъ, мы видѣли. Фридрихъ-Вильгельмъ и Фридрихъ II являются рѣдкими, почти единственными исключеніями изъ общаго правила.

Но и при нихъ въ Пруссіи, какъ постоянно во всѣхъ нѣмецкихъ государствахъ единственнымъ участвовавшимъ въ государственной жизни классомъ были чиновники; за то этотъ классъ былъ совершенно полновластенъ.

Правда, въ нѣкоторыхъ владѣніяхъ существовали ландтаги; но они были совершенно безсильны, и совѣщанія ихъ нельзя назвать иначе, какъ жалкою комедіею. Послѣ Тридцатилѣтней войны они потеряли всякую важность, во многихъ государствахъ совершенно были уничтожены, въ другихъ—только записывали въ свои протоколы приказанія, отдаваемые княжескими комиссарами. Мозеръ, писавшій около половины XVIII вѣка, описываетъ ландтаги съ ироніею совершенно безнадежною:

«Въ различныхъ нѣмецкихъ провинціяхъ—говоритъ онъ—имѣлъ я случай вблизи насмотрѣться на дѣятельность нашихъ сеймовъ. По словамъ княжескихъ комиссаровъ, у князя разрывается сердце отъ горести, что онъ долженъ требовать новыхъ налоговъ,—онъ, который былъ бы счастливъ только тогда, когда бы могъ обогатить и осчастливить своихъ подданныхъ. Одно утѣшаетъ его, что къ отягощенію страны новыми налогами вынуждаютъ его неотвратимыя и неиспосылаемыя Провидѣніемъ обстоятельства. Послѣ этой шарлатанской рѣчи начинаются переговоры. Настѣдный маршалъ, комитеты прелатовъ, рыцарей и горожанъ и проч. начинаютъ кушать на пирахъ, слушать ласки и угрозы, потомъ выражаютъ свое согласіе, и рѣшается необходимость новаго кровопусканія для любезной родины. Тогда сеймъ закрывается рѣчью, столь же ученою, какъ надгробное слово, и министръ съ своими маклерами, поварами и погребщиками возвращается въ триумфъ ко двору; жизнь и блаженство вливаются снова въ сердца фаворитовъ и фаворитокъ; псаря, при радостной вѣсти о благополучномъ результатѣ сейма, весело трубятъ въ роги: примадонна, уже тринадцать мѣсяцевъ не получавшая жалованья, снова возлетаетъ въ руладахъ къ небу, подобно жаворонку; конюшня и псарня, которымъ уже грозили гибелью кредиторы, оглашаются бодрымъ лаемъ и ржаньемъ, и всѣ титулованные и нетитулованные тунеядцы уже пробираются къ

новооткрытой золотой россыпи. Изъ денегъ, вытребованныхъ у сейма, предполагалось заплатить просроченное жалованье войскамъ, уплатить просроченные государственные займы,—все это письменно, съ приложеніемъ печатей, клятвенно и присяжно было обѣщано при требованіи налоговъ. Боже сохрани, чтобъ на дѣлѣ хотя одна буква изъ этихъ обѣщаній была исполнена!»

Всѣмъ управлялъ въ Германіи совершенный произволъ. Приведа нѣсколько примѣровъ, мы можемъ теперь сдѣлать общую характеристику нѣмецкаго быта въ первой половинѣ XVII вѣка, не опасаясь того, что она покажется утрированной.

Французское вліяніе на Германію ограничивалось тѣмъ, что при дворахъ и въ аристократическомъ кругу развилась непомѣрная страсть къ блеску. При безвкусицѣ, блескъ этотъ измѣрялся только грубою пышностью, которая достигала нелѣпныхъ размѣровъ и требовала тѣмъ болѣе большихъ расходовъ. Такъ, напримѣръ, число служителей было неправдоподобно велико. При значительныхъ дворахъ они считались не тысячами, а десятками тысячъ. Чтобы не утомлять читателей, приведемъ только два или три случая. Когда, въ 1702 году, во время войны за испанское наслѣдство, Іосифъ I, бывшій еще наслѣдникомъ австрійскаго престола и королемъ римскимъ, поѣхалъ изъ Вѣны предводительствовать арміею, свита его состояла изъ 232 лицъ придворнаго вѣдомства. Тутъ были, между прочимъ, начальникъ рыболовства короля римскаго, три садовника, начальникъ птичьей охоты, три погребщика и вице-лейбповаръ съ двадцатью помощниками, не считая капеллановъ съ вице-капелланами, духовника съ вице-духовникомъ и двѣнадцати камергеровъ. Впрочемъ, на русскомъ языкѣ нѣтъ возможности точно передать титулы этихъ господъ, и потому не лишимъ читателя пріятности знать ихъ въ подлинномъ видѣ *). Въ обозѣ были фуры для птицы, для походныхъ печей, для различныхъ сортовъ поварскихъ при-

*) 1 Fischmeister, 3 Ziergärtner, 1 Geflügelmaier, 3 Kellerdiener, 2 Kellerbinder, 1 Mundbäcker, 1 Vicemundkoch, 20 Meisterköche und Unterköche, 1 Oberst-Kuchelmeister, 12 Kämmerer, 1 Unter-Silberkämmerer, 1 Mundschenk, 1 Vorschneider, 1 Truchsess, 1 Beichtvater und 1 socius, 1 Hofprediger, 2 Hofcapellane, 4 Zusätzer, 4 Träger, 3 Kesselreiber и т. д. У каждаго изъ этихъ чиновъ и служителей были свои помощники: Gehülffen, ordinarii und extraordinarii Jungen и пр.

надлежностей, для садовничества и т. д. *) Королева, сопровождавшая своего супруга, имѣла въ своей свитѣ 170 персонъ, съ 63 каретами (Chaise) и 14 колясками (Kalesche), для которыхъ требовалось 192 упряжныхъ лошадей (Wagenpferd), не считая 14 верховыхъ лошадей. Жалкій комизмъ этихъ громадныхъ свитъ, требовавшихъ страшнаго расхода, довершается тѣмъ, что венгерскіе государственные чины назначили на весь походъ только 100,000, а чины эрцгерцогства Австрійскаго—40,000 гульд. (60,000 и 25,000 руб. сер.).

Если походная свита наслѣдника престола состояла изъ такого страшнаго числа людей, легко повѣрить, что число всѣхъ придворныхъ служителей въ постоянныхъ резиденціяхъ австрійскаго дома равнялось цѣлой арміи: въ самомъ дѣлѣ, иногда оно достигало до 40,000 человекъ. Но и владѣтели, гораздо менѣе значительные, мало уступали австрійскому дому обширностью придворнаго штата. Такъ, напримѣръ, кельнскій епископъ въ началѣ XVIII вѣка имѣлъ 150 камергеровъ. Часто свиты владѣтельныхъ особъ бывали даже многочисленнѣе той, какая сопровождала римскаго короля. Напримѣръ, когда Фридрихъ-Вальгельмъ Пруссійскій женился на дочери Георга Ганноверскаго, свита, сопровождавшая невѣсту, была такъ велика, что поѣздъ состоялъ изъ 520 лошадей. Навстрѣчу невѣстѣ изъ Бранденбурга выѣхала свита жениха на 350 лошадахъ. Отецъ жениха, Фридрихъ, первый король прусскій, въ своихъ путешествіяхъ имѣлъ свиту, требовавшую до 1,000 лошадей. Въ конюшнѣ курфирста баварскаго находилось до 1,400 лошадей.

Каждый вельможа слѣдуя примѣру князя, также окружалъ себя придворнымъ штатомъ и, наполняя свой домъ безчисленною прислугою, недостатокъ вкуса замѣнялъ страшною расточительностью и нелѣпою пышностью. Такъ, напримѣръ, за столомъ у саксонскаго министра Брюля никогда не подавалось менѣе 30 блюдъ; на малыхъ парадныхъ обѣдахъ число блюдъ доходило до 50, а на большихъ до 120. Прислуга Брюля состояла изъ нѣсколькихъ сотъ человекъ, въ томъ числѣ 12 камердинеровъ, 12 пажей, 4 метрдоте-

*) 2 Geflügelwagen, 1 Kammerheizerzeltwagen, 1 Tafeldeckerzeltwagen, 3 Mundkuchelwagen, 2 grosse Bagage-Kuchelwagen, 1 Speisefeldtafelwagen, 2 Ziergartenbagagewagen, 1 Tafeldeckerbagagewagen, 1 Kammerfourierbagagewagen, 6 Kellerwagen, 21 Rüstwagen (каждая на 6 волахъ) и пр.

лей, 12 поваровъ и 12 ихъ помощниковъ и проч., такъ что вообще въ кухонномъ его штатѣ находилось болѣе 30 человѣкъ. Ливрейныхъ лакеевъ было у него сто человѣкъ. Не только башмаки сотнями и парики дюжинами выписывалъ онъ для себя изъ Парижа, но даже пастеты присылались ему также изъ Парижа съ нарочными курьерами. Вообще въ домѣ его рѣшительно все было выписное изъ-за границы. Даже во время войны, когда Саксонія была истощена и раззорена, онъ продолжалъ жить съ королевскимъ великолѣпіемъ, — и, несмотря на свою чрезвычайную расточительность, онъ оставилъ послѣ себя огромное состояніе.

Безумная пышность была для тогдашнихъ вельможъ единственнымъ средствомъ отличиться отъ простонародья, потому что нравы ихъ были чрезвычайно грубы. Чтобы судить объ этомъ достаточно одного примѣра.

Несмотря на то, что у Георга II Ганноверскаго было множество фаворитовъ, супруга его, королева Каролина, пользовалась большимъ вліяніемъ на дѣла. Одинъ изъ придворныхъ, фонъ-демъ-Бушъ, подаривъ ей десять акцій горнозаводскаго общества, приносившихъ 20,000 талеровъ ежегоднаго дохода, приобрѣлъ право самовластвовать въ Ганноверѣ, какъ ему хотѣлось. Чтобы имѣть понятіе о томъ, какъ онъ держалъ себя даже съ людьми, которыхъ удостоивалъ приглашенія къ своему столу, довольно знать, что онъ самъ сидѣлъ на своихъ парадныхъ обѣдахъ со шляпою на головѣ, заставлялъ гостей переодѣваться, когда былъ недоволенъ ихъ костюмомъ (между прочимъ, онъ не терпѣлъ голубаго цвѣта и манжетокъ), нѣсколько разъ въ продолженіе обѣда приказывалъ тому или другому пересѣсть съ одного стула на другой, и т. д. Расскажемъ два, три анекдота о подобныхъ случаяхъ. Однажды пришелъ обѣдать къ нему совѣтникъ горнаго управленія Бютемейстеръ. Лишь только вошелъ гость въ столовую, какъ министръ бросился вонъ изъ комнаты, съ крикомъ: «камердинеръ! камердинеръ!» Явился въ столовую камердинеръ и объяснилъ гостю, что г. министру не понравился костюмъ г. горнаго совѣтника, и потому не угодно ли будетъ г. Бютемейстеру выбрать себѣ въ гардеробной другое платье. Гость послушался, хотя предвидѣлъ, что одежда высокаго и художаваго фонъ-демъ-Буша будетъ не совсѣмъ хорошо сидѣть на немъ, толстомъ человѣкѣ, маленькаго роста, и черезъ нѣсколько минутъ возвратился въ столовую совершеннымъ шуткомъ. За то хозяинъ былъ съ нимъ очень любезенъ во все продолженіе обѣда. Съ не-

покорными гостями бывало не такъ: фонъ-демъ-Бушъ безъ церемоніи ругалъ ихъ. Однажды, напримѣръ, телятина въ окрошкѣ показалась ему ягнятиною,—одинъ изъ гостей, нѣкто Гейлигеръ, замѣтилъ, что г. министръ, вѣроятно, ошибся, потому что окрошка сдѣлана изъ телятины; фонъ-демъ-Бушъ закричалъ, чтобы привели повара. Предупрежденный о положеніи вопроса, поваръ подтвердилъ мнѣніе своего господина.

— Ну, что, г. Гейлигеръ! такъ вы ѣдите телятину? а, братецъ Гейлигеръ, что скажешь?

— Ваше превосходительство, это телятина; поваръ называетъ ее ягнятиною только изъ угожденія вамъ, отвѣчалъ непреклонный гость.

Министръ разгнѣвался и сказалъ: «ты, любезный, видно, никогда у себя дома не ѣдалъ такой окрошки, ты толкуешь о вещахъ, которыхъ не смыслишь. Замолчи, пожалуйста, не говори глупостей».

Гейлигеръ, однако, защищалъ свое мнѣніе; но другіе гости прекратили споръ, всѣ согласившись, что окрошка, дѣйствительно, сдѣлана изъ ягнятины и упросивъ Гейлигера замолчать. Однако, фонъ-демъ-Бушъ все продолжалъ кричать: ну, такъ что же, г. Гейлигеръ, по вашему, это телятина?—Наконецъ Гейлигеръ надѣлъ шляпу и ушелъ изъ-за стола.

Еще случай въ томъ же родѣ. Фонъ-демъ-Бушу въ серединѣ обѣда вздумалось, чтобъ одинъ изъ гостей, графъ фонъ-Ойнгаузенъ, пересѣлъ съ одного мѣста на другое. Ойнгаузенъ послушался. Но черезъ нѣсколько минутъ хозяинъ опять велѣлъ ему перемѣнить мѣсто.

Тогда графъ отвѣчалъ:

— Разъ я послушался каприза вашего превосходительства, а въ другой разъ—слуга покорный. Еслибъ не скверная ваша привычка обѣдать такъ поздно, я ушелъ бы въ гостиницу Лондонъ; но тамъ ужъ я не найду обѣда, потому нечего дѣлать, поѣмъ здѣсь. Но впередъ говорю, что съ этихъ поръ вы не приглашайте меня къ себѣ обѣдать—не поѣду.

Министръ замолчалъ; графъ, по окончаніи стола, ушелъ не протѣсясь съ хозяиномъ.

При многихъ дворахъ въ первой четверти XVIII вѣка держали еще шутовъ. Послѣдній шутъ при саксонскомъ дворѣ, Кляу (Kläu),

умеръ въ 1733 году. У Фридриха-Вильгельма Прусскаго также быть шутъ; при Мангеймскомъ дворѣ существовали шуты еще въ 1744 году, хотя этотъ дворъ, подобно саксонскому, хотѣлъ соперничать съ версальскимъ.

Неимовѣрная грубость нравовъ Саксонскаго двора соединялась съ утонченнѣйшимъ развратомъ. Регентъ французскій, принцъ Орлеанскій, прославился буйнымъ и безграничнымъ цинизмомъ въ развратѣ; но нравы версальскаго двора при немъ должны быть названы скромными сравнительно съ тѣмъ, что позволяли себѣ дѣлать въ Саксоніи его подражатели. Тутъ было уже полное безчинство развращенныхъ дикарей, не имѣющихъ понятія даже о внѣшнемъ приличіи.

Можно легко повѣрить, что подобные люди не знали никакой разборчивости въ средствахъ для добыванія денегъ: они прибѣгали къ мѣрамъ, которыхъ устыдился бы не только регентъ, но даже итальянскіе тираны XV вѣка, устыдились бы Александръ VI и Цезарь Борджія. Не будемъ говорить ни о податяхъ, ни о взяткахъ, ни о нарушеніи частныхъ контрактовъ и государственныхъ договоровъ: всему этому можно найти примѣры и въ исторіи другихъ народовъ Западной Европы, хотя нигдѣ и никогда грабительство не достигало, кажется, такого полного и безсовѣстнаго развитія. Укажемъ только двѣ привычки, встрѣчаемыя постоянно въ Германіи XVIII вѣка и не казавшіяся никому дѣломъ безчестнымъ: продажность правительствъ иностранцамъ и обычай продавать войска.

Во время смутъ, иногда бывали и въ другихъ странахъ, кромѣ Германіи, примѣры того, что партіи искали помощи у иностранцевъ: такъ, французскіе гугеноты обращались за помощію къ нѣмецкимъ и англійскимъ протестантамъ, французскіе католики—къ Филиппу II Испанскому; но все-таки эти партіи призывали иностранцевъ и брали отъ нихъ деньги за тѣмъ, что *сами* хотѣли господствовать въ своемъ отечествѣ: онѣ хотѣли, чтобы иностранцы имъ помогали, а не владѣли надъ ними; онѣ были увлекаемы фанатизмомъ, властолюбіемъ, ненавистью, но не безсовѣстною подлостью,—онѣ искали союзниковъ, а не покупателей. Германскіе князья XVIII вѣка хладнокровно, безъ всякихъ увлеченій продавали себя всякому, кто только платилъ имъ деньги. Мы уже видѣли тому нѣсколько примѣровъ,—приведемъ еще общее обозрѣніе продажности Германіи французамъ въ половинѣ XVIII вѣка, во время отъ Второй Силезской до конца

Семилѣтней войны. Маркграфу анспахскому французы давали пособіе только до 1757 года, всего около 100,000 ливровъ; маркграфу байретскому давались субсидіи постоянно; сумма пособій составляетъ 1,100,000 ливровъ. Герцогъ вюртембергскій получилъ до войны полтора милліона, во время войны семь съ половиною милліоновъ; курфирстъ пфальцскій—до войны пять съ половиною, во время войны—около одиннадцати съ половиною милліоновъ; курфирстъ кельнскій въ 1751—1761—около семи съ половиною милліоновъ; Баварія до 1768 г.—болѣе восьми съ половиною; герцогъ цвейбрюкенскій до 1772 г.—около четырехъ съ половиною милліоновъ; маркграфъ гессенъ-дармштатскій въ 1750 г.—100,000; курфирсту майнцскому дано въ разные годы до 500,000, нѣсколькимъ другимъ князьямъ—всего до 3,000,000; Саксонія въ 1750—1761 получила восемь съ половиною милліоновъ. Австрія также получала пособія во время войны; но то были, дѣйствительно, военныя субсидіи, полученныя отъ союзника. Деньги, получаемыя другими нѣмецкими государствами отъ французовъ, были, просто, цѣною продажи этихъ государствъ французамъ. Плата имъ была, какъ видимъ, не высока: отъ слишкомъ сильнаго желанія продавать себя, продавцы уронили цѣну, и французы безъ церемоніи то давали, то отнимали свои субсидіи—всякая подачка всегда принималась съ низжайшею благодарностью.

Мы видѣли и примѣры того, какъ продавались иноземцамъ войска на время войны,—прибавимъ еще нѣсколько такихъ случаевъ къ тѣмъ, которые встрѣчались въ прежнемъ разсказѣ. Въ войну за австрійское наслѣдство, 6,000 гессенцевъ были проданы одной изъ воюющихъ сторонъ, англичанамъ и голландцамъ, другіе 6,000 другой сторонѣ, баварскому претенденту и французамъ. Во Вторую Силезскую войну саксонскія войска были проданы австрійцамъ, а когда по заключеніи мира стали не нужны Маріи-Терезіи, были перепроданы голландцамъ. Фридрихъ Гессенскій торговалъ своими солдатами съ такимъ успѣхомъ, что только до 1750 года отъ однихъ англичанъ получилъ болѣе 15,000,000 гульденовъ; а онъ продавалъ солдатъ не однимъ англичанамъ, а всякому желающему. Проданные солдаты обыкновенно ставились на самыя убійственныя мѣста. Нанимающимъ было оттого мало потери: выбывшіе изъ строя замѣнялись, по контракту, свѣжими людьми; а про-

давцы имѣли даже въ томъ прямую выгоду, получая особенную условленную плату за каждого убитаго и раненаго.

Таковъ былъ порядокъ дѣлъ въ Германіи въ половинѣ XVIII вѣка. Зная его, не нужно много говорить о томъ, каково было состояніе среднихъ классовъ и простаго народа: оно угадывается само собою. Довольно будетъ сдѣлать два-три краткія замѣчанія.

Различные классы населенія были до того раздѣлены предразсудками, гордостью сверху и раболѣпствомъ снизу, что представлялись какими то египетскими кастами. Въ каждомъ классѣ существовало множество подраздѣленій, изъ которыхъ каждое презирало всѣ низшія, будучи, въ свою очередь, презираемо высшими. Такъ, напримѣръ, въ дворянствѣ, за членами владѣтельныхъ фамилій слѣдовалъ Grafenstand, потомъ Reichsritterschaft, потомъ различные сорта жалованныхъ дворянъ, между которыми опять было различіе, смотря по тому, отъ самого ли императора, или отъ другаго владѣтеля даны имъ были титулы.

Чиновники раздѣлялись другъ отъ друга такими же китайскими стѣнами. Любовь къ чинамъ и титуламъ была безмѣрна и послѣ привычки къ грабительству составляла сильнѣйшую пружину всей жизни.

Даже торговый классъ не былъ свободенъ отъ этой заразы: гильдіи и цехи считались старшинствомъ между собою и были раздѣлены взаимнымъ презрѣніемъ и надменностью.

Дворянинъ презиралъ чиновника, и былъ презираемъ придворными; чиновникъ, раболѣпно преклоняясь передъ родовымъ дворянствомъ, презиралъ купца; купецъ презиралъ ремесленника; наконецъ народъ, презираемый всѣми, презиралъ самого себя.

Для курьеза можно замѣтить еще, что профессоръ рангомъ своимъ равнялся лейбъ-кучеру, и что ученое сословіе вообще стояло такъ низко, что никогда не считалось достойнымъ награды ни однимъ изъ безчисленныхъ орденовъ. Когда знаменитый Михаэлисъ получилъ орденъ, всѣ тому дивились, какъ неслыханной рѣдкости; да и ему орденъ былъ данъ не нѣмецкимъ, а иноземнымъ государемъ.

Офицерское званіе даже при Фридрихѣ II, этомъ другѣ французскихъ философовъ, было доступно исключительно только однимъ родовымъ дворянамъ.

Торговля и промышленность вообще упали, города постоянно бѣдѣли. Только одинъ Гамбургъ составлялъ исключеніе изъ общаго правила: онъ богатѣлъ отъ заграничной торговли. Другіе го-

рода, даже служившіе центрами торговой дѣятельности, напримѣръ, Бременъ, Франкфуртъ-на-Майнѣ, Аугсбургъ, счастливы были уже тѣмъ, что сохраняли остатки прежняго благосостоянія, постепенно, впрочемъ, уменьшавшагося. Всѣ другіе города падали.

Участью поселянъ была нищета. Домикъ со свѣтлыми окнами составлялъ рѣдкость, которую далеко не во всякомъ селѣ можно было найти; верхнее платье изъ грубаго сукна имѣли только немногіе поселяне; огромное большинство жило въ низенькихъ, мрачныхъ избушкахъ, довольствуясь холщевою одеждою и скудною пищею.

Остается сказать еще одно только, чтобы завершить картину состоянія Германіи въ половинѣ XVIII вѣка. Невѣжественный фанатизмъ былъ такъ силенъ, что не только католики чуждались протестантовъ и протестанты католиковъ, но и между протестантами лютеране и реформаты преслѣдовали другъ друга. Въ лютеранскихъ городахъ не было терпимо реформатское богослуженіе, и наоборотъ. Религіозныя преслѣдованія вообще были господствующею чертою того вѣка. Рѣдкая область была свободна отъ гоненій за вѣру. Такъ, даже Марія-Терезія преслѣдовала въ своихъ владѣніяхъ протестантовъ. Когда въ началѣ XVIII вѣка усилились гоненія на протестантовъ въ Палатинатѣ, то въ Бранденбургѣ и Ганноверѣ, въ отмщеніе за то, начались гоненія противъ католиковъ. Архіепископъ зальцбургскій, около 1730 года, рѣшился очистить свою область отъ еретиковъ. Протестанты, доведенные до крайности жестокими притѣсненіями, стали жаловаться—ихъ объявили возмутителями, и Карлъ VI Австрійскій выслалъ армію для примѣрнаго ихъ наказанія. Болѣе 30,000 чело-вѣкъ были изгнаны изъ зальцбургскихъ владѣній. Въ лютеранскихъ земляхъ попеременно то подвергались преслѣдованіямъ піетисты, то сами преслѣдовали своихъ прежнихъ гонителей. Реформаты и лютеране смертельно ненавидѣли другъ друга. Въ Гамбургѣ, гдѣ господствовало лютеранское исповѣданіе, лютеранскіе пасторы писали сочиненія, въ которыхъ приписывали реформатамъ гнуснѣйшіе пороки. Франкфуртъ-на-Майнѣ, также лютеранскій городъ, несмотря на всѣ просьбы прусскаго короля, не позволялъ въ своей области отправлять реформатское богослуженіе. Лютеранскій Виттенбергскій Университетъ не давалъ ученыхъ степеней реформатамъ.

Невѣжество было такъ велико, что въ концѣ XVII вѣка Томазіусъ едва не былъ объявленъ еретикомъ за то, что возсталъ противъ обычая сжигать колдуновъ и волшебницъ; еще въ 1749 году

сожжена была въ Вюрцбургѣ за колдовство монахиня, а въ 1750 году, въ Ландсгутѣ, тринадцатилѣтняя дѣвочка.

Таково было состояніе Германіи въ половинѣ XVIII вѣка. Посмотримъ теперь, въ какомъ положеніи находились тогда тѣ силы, отъ которыхъ нація могла ожидать себѣ избавленія: взглянемъ на состояніе нѣмецкой науки и литературы и на расположеніе умовъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Нѣмецкая литература до Лессинга.—Готтшедь и саксонская школа.—Бодмеръ и швейцарская школа.—Клопштокъ.—Галлеръ.—Гагедорнъ.—Рабенеръ.—Геллертъ.—Университеты и школы.—Публика.—Начала новой жизни.—Томазіусъ.—Мозеръ.

Трудно представить себѣ что нибудь печальнѣе и безнадежнѣе того порядка вещей, жертвою котораго была Германія въ первой половинѣ XVIII вѣка. Французскіе историки не находятъ довольно сильныхъ выраженій, чтобы характеризовать состояніе Франціи въ послѣдніе годы правленія Людовика XIV, во времена Регента и и Людовика XV. Но всѣ тѣ бѣдствія, которыя терпѣлъ французскій народъ въ эту эпоху, правда, очень тяжелыя, незначительны, можно сказать, въ сравненіи съ тѣми ужасными страданіями, какія терпѣлъ нѣмецкій народъ,—именно, терпѣлъ, потому что не было въ немъ даже ропота, недовольства своимъ положеніемъ, не было мысли о чемъ нибудь лучшемъ. Тяжесть, угнетавшая людей, была такъ велика, что даже надежды и стремленія были въ нихъ подавлены. Они отупѣли ко всему, стали равнодушны даже къ своей судьбѣ. Германія была чѣмъ-то подобнымъ чудовищному шильйонскому подземелью; нѣмецкій народъ, томившійся въ этомъ удушливомъ мракѣ втеченіе цѣлаго столѣтія, походилъ, наконецъ, на Боннивара, который свыкся съ своимъ подземельемъ такъ, что потерялъ даже скорбь о себѣ и впалъ въ холодную, бессмысленную апатію. Подобно ему, нѣмецкій народъ могъ бы сказать, вспоминая свое состояніе послѣ Тридцатилѣтней войны:

....Что потомъ сбылось со мной,
Не помню: свѣтъ казался тьмой,
Тьма свѣтомъ: воздухъ исчезалъ;
Въ оцпенѣніи стоялъ

Безъ памяти, безъ бытія,
 Межъ камней хладнымъ камнемъ я,
 И видѣлось, какъ въ тяжкомъ свѣѣ,
 Все блѣднымъ, темнымъ, тусклымъ мнѣ;
 Все въ смутную слилося тѣнь.
 То не было ни ночь, ни день....
 То страшный міръ какой-то былъ,
 Безъ неба, солнца и свѣтилъ,
 Безъ Промысла, безъ благъ и бѣдъ,
 Ни жизнь, ни смерть,—какъ сонъ гробовъ,
 Какъ океанъ безъ береговъ,
 Подавленный тяжелой мглой,
 Недвижный, хладный и нѣмой...

Послѣдніе отголоски умирающей народной жизни слышатся въ литературѣ, первыя надежды, первыя требованія народа обыкновенно высказываются устами его поэтовъ и литераторовъ. Народъ, потерявшій или еще не получившій силы дѣйствовать, по крайней мѣрѣ, говорить, ищетъ свѣта въ словѣ, если не находитъ его въ жизни, жадно слушаетъ воодушевленныхъ негодованіемъ и надеждами своихъ поэтовъ. Даже и этого не было въ Германіи. Писали чрезвычайно много, читали не такъ много, но все-таки очень много. Стихотворцевъ, литераторовъ и ученыхъ Германія въ первой половинѣ прошлаго вѣка имѣла тысячи, читателей—десятки тысячъ; но изъ этихъ тысячъ писателей едва пять-шесть человѣкъ говорили о чемъ нибудь заслуживающемъ вниманія, да и тѣхъ никому не было охоты слушать. Всѣ остальные сочиняли торжественныя оды, идилліи, безсмысленныя басни и безсмысленныя панегирики, безжизненныя эпопеи, писали мертвыя диссертациі о мертвыхъ предметахъ,—и ихъ читали, ими восхищались, и они сами собою восхищались. Перья скрипѣли, литературныя самолюбія надувались, часто бранились, но чаще взаимно воспѣвали свое величіе. Во всемъ этомъ не было ни смысла, ни жизни; но публика была совершенно довольна и счастлива: она воображала, что имѣетъ литературу, не предчувствуя даже, что языкъ данъ человѣку не для стихотворнаго или педантическаго пустословія.

.

Все это мы говоримъ къ тому, чтобы показать причину краткости обзора нѣмецкой литературы до Лессинга, который должны

представить въ этой главѣ. Нѣкоторые изъ читателей, знающихъ огромное вліяніе ея на русскую литературу, могли бы полагать, что интересно знать подробно дѣятельность писателей, которыхъ у насъ переводили и которымъ подражали съ такою любовью, достойною лучшаго предмета. Нѣтъ, это навело бы только бесполезную скуку. Людямъ, которые разрабатываютъ исторію нашей словесности прошедшаго вѣка, необходимо основательно изучать всѣхъ этихъ Крамеровъ, Бодмеровъ, Геснеровъ съ братіею, потому что многія русскія сочиненія прошлаго вѣка, притворяющіяся оригинальными произведеніями русскаго ума, въ сущности не болѣе, какъ передѣлки сочиненій того или другаго изъ забытыхъ нынѣ нѣмецкихъ писателей. Какъ все касающееся родной исторіи интересно для насъ, то и изслѣдованіе нѣмецкой до-лессинговской литературы съ цѣлью объяснить развитіе русской литературы имѣетъ свою важность. Но сами по себѣ писатели, славившіеся тогда въ Германіи, не заслуживаютъ особеннаго вниманія. Если тотъ или другой изъ нихъ и памятенъ еще самимъ нѣмцамъ, то почти всегда потому только, что Лессингъ обезсмертилъ его имя, такъ или иначе упомянувъ о немъ. Сами по себѣ сохранились въ благодарной памяти своихъ соотечественниковъ очень немногіе, да и то почти исключительно изъ тѣхъ, которые не пользовались громкою извѣстностью въ свое время. У нѣмцевъ, Лискова, какъ у насъ Кантемира, оцѣнили только уже много лѣтъ спустя послѣ его смерти: они въ свое время не имѣли вліянія. Подробно говорить о другихъ значило бы понапрасну терять время, и мы ограничимся только немногими указаніями на значительнѣйшія имена до Лессинга. Нѣсколькихъ страницъ слишкомъ достаточно будетъ для характеристики того состоянія, въ какомъ нашелъ нѣмецкую литературу ея великій преобразователь.

Какое было состояніе нѣмецкой литературы въ началѣ XVIII вѣка, можно судить по одному тому, что Шлоссеръ, въ предисловіи къ своей «Исторіи XVIII вѣка», обозрѣвая, вмѣстѣ съ политической, и литературную жизнь европейскихъ народовъ въ это время, и говоря о французской, англійской, итальянской литературѣ, ни однимъ словомъ не упоминаетъ о нѣмецкой, какъ будто бы она вовсе и не существовала.

Въ самомъ дѣлѣ, она существовала на столько же, на сколько существовала русская литература въ ту эпоху, когда вся состояла

изъ напыщенныхъ одъ и эпопей да изъ дубоватыхъ анакреонтическихъ стихотвореній. Немногимъ лучше она была и черезъ сорокъ лѣтъ. Правда, на мѣсто прежнихъ знаменитостей явились новыя громкія имена; правда, оптимистъ можетъ замѣтить, что новыя знаменитости были нѣсколько лучше прежнихъ, что Готтшедъ, при всей своей бездарности и недобросовѣстности, лучше какого нибудь напыщеннаго Лоэнштейна или Гюнтера, потому что писалъ, по крайней мѣрѣ, вразумительнымъ языкомъ; оптимистъ, видящій повсюду прогрессъ, можетъ видѣть его и въ періодѣ нѣмецкой литературы отъ 1700 до 1750 года. Но прогрессъ этотъ совершался до излишества сообразно правилу Октавіана: «спѣши медлительно», и въ половинѣ XVIII вѣка положеніе нѣмецкой литературы было до крайности жалко или презрительно. Она еще оставалась рабскимъ подражаніемъ всему, что было мертвого и пустаго въ литературахъ французской и англійской, она оставалась совершенно чужда народной жизни, въ ней владычествовали такіе люди, какъ Готтшедъ и Бодмеръ, въ ней прославлялись, какъ величайшіе поэты вселенной, какъ нѣмецкіе Гомеры, Мильтоны и Гораціи, такіе поэты, какъ Рабенеръ, Геллертъ и имъ подобные.

Французская псевдо-классическая литература достаточно ославлена у насъ; довольно сказать: «нѣмцы благоговѣли передъ Буало», и всякія объясненія о степени плодотворности французскаго вліянія на нѣмецкую литературу становятся излишними. Но надобно сказать нѣсколько словъ о томъ, каковы были англійскіе писатели, раздѣлявшіе съ Буало владычество надъ умами германскихъ писателей. Эти писатели были Аддисонъ, Стиль, Поупъ и Томсонъ. Всѣ они стояли другъ друга по безжизненности и фальшивости направленія, хотя и отличались одинъ отъ другаго большею или меньшею степенью таланта, и, говоря безпристрастно, надобно признаться, что Буало былъ ничѣмъ не хуже ихъ. Чтобы это сужденіе не показалось излишне суровымъ, приведемъ слова Шлоссера о Поупѣ и Аддисонѣ: читатели повѣрятъ намъ на слово, что мнѣніе наше о достоинствахъ Стиля и Томсона могло бы быть подтверждено такими же цитатами.

«Поэзія Попа болѣе всего щеголяетъ пріятностью и гладкою формою. Его стихъ превосходенъ, слогъ прекрасенъ, языкъ правиленъ; но у него нѣтъ ни поэтическаго творчества, ни оригинальности, ни силы. Человѣкъ съ такою холодною, слабою и тщеслав-

ною натурою, какъ Попъ, который съ необыкновеннымъ усердіемъ старался льнуть къ каждому лорду и суетливо хлопоталъ о томъ, чтобы образовать вокругъ себя нѣчто въ родѣ двора и нѣчто въ родѣ аристократической комфортабельности, этотъ человѣкъ, жадный къ славѣ и деньгамъ, былъ какъ бы созданъ природою за тѣмъ, чтобы быть проповѣдникомъ фальшиваго и софистическаго направленія въ образованіи. Онъ былъ католикъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ ученикъ и другъ кошуна Болингброка, утверждалъ, что всегда оставался вѣренъ догматамъ своей церкви, и съ тѣмъ вмѣстѣ провозглашалъ эгоизмъ. Онъ умѣлъ изворачиваться такъ ловко, что обѣ враждовавшія тогда партіи, приверженцы старины и друзья прогресса, считали его своимъ союзникомъ. Тотъ самый трудъ, который доставилъ Попу славу и независимое состояніе, знаменитый переводъ «Иліады», служить свидѣтельствомъ искусственности его направленія. Поэтъ, который понималъ бы духъ Гомера, почелъ бы недостойнымъ дѣломъ переводить «Иліаду», не зная по гречески, и прикрашивать ее мишурными блестками. Сравнивая переводъ съ подлинникомъ, мы можемъ только изумляться изнѣженности и испорченности вкуса, реторичности и ненатуральности переводчика, прославленнаго Джонсономъ, оракуломъ свѣтскихъ салоновъ. Три другія произведенія Попа, на которыхъ вмѣстѣ съ переводомъ «Иліады» основалась его слава, еще яснѣе показываютъ и содержаніемъ и формою, до мельчайшихъ подробностей жизненныхъ и литературныхъ, что поэзія Попа была только порожденіемъ духа господствовавшаго при Версальскомъ дворѣ, и служила только проповѣдницею искусственной, сладострастной, пустой салонной жизни. Это обнаруживаетъ относительно литературы «Опытъ о критикѣ», относительно жизни—поэма «Похищенный Локонъ», относительно религіозныхъ и нравственныхъ правилъ—«Опытъ о человѣкѣ». «Опытъ о критикѣ» излагаетъ теорію той поэтической школы, къ которой принадлежали Драйденъ и Попъ. Подобно Буало, Попъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о творческомъ вдохновеніи, которое создаетъ художественную форму вмѣстѣ съ идеею: за то у него излагаются очень хитрыя правила для сочиненія стихотворныхъ произведеній въ любомъ родѣ. Чтобы показать характеръ этихъ наставленій, припомнимъ только знаменитое правило о необходимости украшать природу, чтобы придать ей модный покррой, какъ придается онъ фракъ или жилету. Потому то Вида, авторъ извѣст-

ной реторики, безъ церемоніи ставится Попомъ на ряду съ Гомеромъ и Виргиліемъ. «Похищеніе Локона»—шутливая поэма въ духѣ совершенной распущенности нравовъ, бывшей тогда модною, написана въ подражаніе одной изъ поэмъ Буало. Содержаніе поэмы составляютъ модные обычаи свѣтскаго круга, уваженіемъ къ которому проникнуть авторъ. «Опытъ о человѣкѣ», по сознанію самого Попа, есть переложеніе въ стихи философіи Болингброка, ставившей цѣлью человѣческой—удовольствіе. Собственнаго образа мыслей Попъ не имѣлъ, какъ доказываютъ его письма.

«Аддисонъ и его друзья хотѣли подчинить англійскую литературу холодной правильности, господствовавшей у французовъ, которымъ форма казалась важнѣе содержанія. По ихъ мнѣнію, не вдохновеніе дѣлаетъ великимъ писателя, а расчитанность, остроумничанье и искусственность. Превозносимыя достоинства этихъ стилистовъ основываются на томъ, что они хотѣли только занимать, а не вести впередъ публику, хотѣли слегка щекотать, а не глубоко потрясать умы,—основаны на пошлости и риторикѣ. Реторика и софизмы были главными качествами нравственныхъ лицемѣровъ, въ главѣ которыхъ стоялъ Аддисонъ. Онъ, по злому капризу судьбы, былъ государственнымъ секретаремъ, хотя не былъ въ состояніи ни говорить въ Парламентѣ, ни писать дѣловыхъ бумагъ, потому что отъ чрезвычайной заботливости о красотѣ слога и риторическихъ фигурахъ не могъ справиться съ дѣшею, если принимался сочинять ее—фактъ, какъ нельзя лучше характеризующій подобныхъ ему писателей: реторы отъ созданія міра всегда были тщеславны и никуда не годны для практической жизни. Зато сочинялъ онъ множество назидательныхъ трактатовъ. На вопросъ: какимъ образомъ эти сухіе прозаики, въ которыхъ не было не искры поэзіи, могли предписывать своему и послѣдующему времени законы вкуса и достигъ славы, которою еще продолжаютъ пользоваться, хотя едва ли кто нынѣ читаетъ или въ состояніи прочесть ихъ выглаженные и прикрашенные, вялые и сухія работы?—на этотъ вопросъ отвѣчать легко. Дворъ и знать ввели моду считать ретику за поэзію, а морализованье—за литературу. Вильгельмъ III, Анна и ихъ министры прославили и возвысили Аддисона. У этихъ людей не было ни вкуса, ни понятія о чемъ либо кромѣ дѣловыхъ занятій или интригъ; потому плоская и многоглаголивая прикрашенность необходимо должна была нравиться

имъ лучше истинной поэзіи или сильной прозы. Поппъ содѣйствовалъ прославленію Аддисона, потому что съ проникательностью, свойственною людямъ его разбора, предчувствовалъ, что Аддисонъ никогда не помрачитъ его самого. Каковъ былъ модный вкусъ, которому Аддисонъ обязанъ былъ своимъ возвышеніемъ и распространенію котораго потомъ содѣйствовалъ онъ, ясно видно изъ исторіи этого писателя. Онъ началъ съ латинскихъ стихотвореній, которыя поднесъ Буало. Буало вообще находилъ, что нелѣпо писать стихи на мертвомъ языкѣ, но отвѣчалъ комплиментами на почтительное приношеніе англичанина. Похвала эта составила славу Аддисона. Послѣ того воспѣвалъ онъ Рисвикскій миръ и Гохштедтскую битву и описывалъ Италію въ поэмѣ, которую можно было написать не выѣзжая изъ Англіи. Потомъ трагедія его «Катонъ» произвела такой шумъ, заслужила такое всеобщее одобреніе, что можно было спросить себя: не измѣняла ли себѣ въ этомъ случаѣ нація, имѣвшая Шекспира и столько другихъ вдохновенныхъ драматурговъ, а теперь восхищавшаяся сухою правильностью и пустою реторикою? но тутъ все зависѣло не отъ характера націи, а отъ моды аристократическихъ салоновъ. «Катонъ» сочиненъ по правиламъ Буало, съ соблюденіемъ трехъ единствъ, съ примѣсю любовныхъ сценъ, и герой пьесы въ шлафрокѣ читаетъ Федона. Въ знаменитомъ журналѣ Аддисона «Зритель» господствуютъ реторическая проза, выглаженное, искусственное стихотворство; все было написано по правиламъ реторики и піитики, но ни въ чемъ не было ни искры генія, ни слѣда одушевленія, ни нравственнаго здоровья, ни силы. Въ «Зрителѣ» проповѣдуется прикрашенность соблюдающей внѣшнія приличія испорченности нравовъ, которая властвовала тогда въ высшемъ англійскомъ обществѣ, проповѣдуется система жизни, подобная развратному лицемѣрію французскаго двора при Людовикѣ XIV и кардиналѣ Флѣри. Аддисонъ съ педантическою точностью рисовалъ нравы и характеры; но о немъ можно сказать то же самое, что говорили объ учителѣ его, Буало: отъ его сочиненій пахнетъ масломъ ночной лампы, при свѣтѣ которой неутомимо обдѣлывалъ онъ свой слогъ. Онъ восхищалъ высшее общество тѣмъ, что давалъ ему въ украшенномъ видѣ изображеніе его собственныхъ нравовъ, представляемыхъ, какъ образецъ для подражанія другимъ классамъ. Мораль Аддисона основана на ханжествѣ, а истина передѣлывается такъ, что никого не можетъ оскор-

бить или испугать. Мораль у Аддисона главное дѣло во всѣхъ разсказахъ и аллегоріяхъ; но, чтобы никого не оттолкнула она, нравственные требованія смягчаются до того, что все льстящее моднымъ обычаямъ представляется добродѣтелью».

Трудно не соглашаться съ этими сужденіями, какъ и вообще рѣдки тѣ случаи, въ которыхъ здравомыслящій человѣкъ не найдетъ справедливымъ понятія Шлоссера, котораго по внутреннему достоинству его твореній надобно признать первымъ историкомъ нашего вѣка.

Если таковы были писатели, служившіе оракулами для нѣмецкихъ литераторовъ первой половины XVIII вѣка, легко себѣ вообразить, много ли жизни, много ли поэтического достоинства, много ли справедливыхъ литературныхъ понятій можно найти у знаменитостей нѣмецкой литературы того времени. Для нашей цѣли—объясненія, въ какомъ состояніи напелъ ее Лессингъ—довольно будетъ сказать по нѣскольку словъ о людяхъ, пользовавшихся особенною славою или вліяніемъ во второй четверти XVIII вѣка.

Около 1730-хъ годовъ сильнѣйшимъ лицомъ въ нѣмецкой литературѣ былъ Готтшедъ; черезъ нѣсколько лѣтъ выступили противъ него и его послѣдователей (саксонской школы) Бодмеръ и его друзья (швейцарская школа). Борьба этихъ двухъ школъ вѣдна была обѣими враждующими партіями съ величайшимъ ожесточеніемъ и страшнымъ шумомъ, безъ малѣйшаго соблюденія какихъ бы то ни было приличій. Споръ этотъ составляетъ важнѣйшій фактъ въ нѣмецкой литературѣ 1740-хъ годовъ. Посмотримъ же, каковы были противники и о какихъ предметахъ шелъ споръ. *)

Готтшедъ былъ послѣдователь Буало и поклонникъ французскаго псевдо-классическаго направленія.

Значительнаго положенія въ нѣмецкой литературѣ достигъ онъ ловкою разсчитанностью своего образа дѣйствій. Поселясь въ Лейпцигѣ, онъ сначала льстилъ людямъ, которые имѣли въ рукахъ средства помочь ему, потомъ, когда, благодаря имъ, приобрѣлъ громкій

*) Мнѣнія, которыя кажутся автору справедливыми, почти всѣ высказаны у Шлоссера. Факты, здѣсь приводимые, такъ общеизвѣстны, что не нуждаются въ подтвержденіи цитатами, которыя, впрочемъ, желающій найдетъ у Гервинуса, Гиллебранда, Шефера, и другихъ историковъ нѣмецкой литературы XVIII вѣка. Во многихъ мѣстахъ мы, конечно, просто переводимъ того или другаго изъ этихъ писателей.

голосъ въ литературныхъ дѣлахъ, сталъ превозносить каждого, кто, въ свою очередь, соглашался быть его льстецомъ. Этимъ путемъ ему удалось получить владычество въ учено-литературномъ обществѣ, которое существовало въ Лейпцигѣ. Единственною цѣлью его дѣятельности былъ личный интересъ, и только для увеличенія своей славы и власти онъ старался пробудить участіе къ нѣмецкой литературѣ въ публикѣ. Вкусъ публики былъ такъ грубъ, невѣжество ея такъ велико, что сочиненія Готтшеда, человѣка хитраго, но лишеннаго литературныхъ талантовъ, и кліентовъ его, людей болѣею частію совершенно бездарныхъ, удовлетворяли общему требованію: Готтшедъ безсовѣстно прославлялъ своихъ послѣдователей, они, въ свою очередь, прославляли его, и публика, оглушенная этимъ крикомъ, еще не способная имѣть самостоятельнаго мнѣнія, вѣрила всѣмъ этимъ своекорыстнымъ похваламъ и считала наглаго шарлатана съ его креатурами за великихъ писателей. Готтшедъ написалъ грамматику, піитику, реторику, издавалъ критическій журналъ и считался законодателемъ языка и вкуса. Правда, сужденія его о писателяхъ были пристрастны и недобросовѣстны, понятія его о литературѣ мелочны и пошлы, но они приходились по вкусу тогдашней публики. Посредствомъ лейпцигскаго «Нѣмецкаго Общества» Готтшедъ вошелъ въ сношенія съ безчисленными другими литературными обществами, которыя существовали въ каждомъ городѣ и городкѣ. Онъ льстилъ тщеславію, которое обыкновенно бываетъ главнымъ качествомъ литературныхъ корпорацій; онъ льстилъ всѣмъ лицамъ, занимавшимъ важныя официальные положенія въ университетахъ, еще болѣе льстилъ тѣмъ придворнымъ и аристократамъ, которые имѣли претензію быть меценатами. Титулованнымъ поетамъ, какъ бы ни были они бездарны, Готтшедъ подобострастнѣйшимъ образомъ курилъ еиміамъ: такъ, напримѣръ, онъ превозносилъ до небесъ жалкій переводъ Горация, изданный безъ имени переводчика, узнавъ, что переводчикъ—графъ фонъ-Зольмсъ; а барона Шёнайха, сочинителя нелѣпнѣйшей поэмы «Терезіада», ставилъ онъ выше Клопштока, называлъ величайшимъ изъ эпическихъ поэтовъ вселенной и торжественно вѣнчалъ лавровымъ вѣнкомъ. Личность Готтшеда вполнѣ обрисовывается передъ нами однимъ анекдотомъ, который разсказанъ въ автобіографіи Гёте (*Wahrheit und Dichtung*). Приѣхавъ въ Лейпцигъ, молодой человѣкъ съ нѣкоторыми другими юношами отправился на поклоненіе свѣтилу нѣмецкой словесности:

«Слуга ввелъ насъ въ большую комнату и сказалъ, что г. Готтшедъ сейчасъ выйдетъ. При этомъ показалось намъ, что онъ жестомъ показалъ на сосѣдную комнату, въ знакъ того, что мы должны идти туда. Не знаю, ошиблись ли мы, понявъ его движеніе въ этомъ смыслѣ, но, отворивъ дверь, мы очутились зрителями странной сцены: въ тотъ самый мигъ, изъ противоположной двери явился Готтшедъ, плечистый мужчина гигантскаго роста, въ зеленомъ дамасовомъ плафрокѣ, подбитомъ красною тафтою, и съ безпредѣльною лысиною на громадной головѣ. Послѣдней бѣдѣ готовилась быстрая помощь: изъ третьей двери выскочилъ слуга, держа въ рукѣ парикъ, и, съ испугомъ на лицѣ, кинулся къ барину. Готтшедъ, совершенно хладнокровно, не обнаруживая ни малѣйшей да-сады, лѣвою рукою взялъ у лакея парикъ и, очень искусно сажая его на голову, правою рукою далъ лакею такую пощечину, что бѣдняга, будто играя роль въ водевилѣ, кубаремъ вылетѣлъ за дверь, послѣ чего достопочтенный хозяинъ очень важно попросилъ насъ садиться и, не перевода духа, проговорилъ довольно длинное и очень милое привѣтствіе».

Восхитительно это невозмутимое спокойствіе, съ которымъ знаменитый хозяинъ, одною рукою поправляя парикъ, другой даетъ крѣпкую пощечину слугѣ и вслѣдъ затѣмъ съ совершеннымъ апломбомъ начинаетъ говорить заранѣе обдуманныя любезности гостямъ. Очевидно, что почтенный Готтшедъ былъ недоступенъ волненіямъ сердца—онъ неизмѣнно дѣйствовалъ по правилу, которое разъ навсегда поставилъ себѣ: «проступки должны быть наказываемы, а всѣмъ, кого нѣтъ надобности наказывать, должно говорить любезности». Точно также разсчитанно и холодно дѣйствовалъ онъ и въ литературѣ: беспощадно бранилъ всякаго, кто сдѣлалъ ему какую нибудь непріятность, безстыдно превозносилъ cadaго, отъ кого слышалъ лестъ себѣ или могъ ожидать какихъ нибудъ услугъ. Литературныя достоинства или недостатки произведенія тутъ нисколько не принимались въ соображеніе, — притомъ же, Готтшедъ и не имѣлъ способности замѣчать ихъ; весь вопросъ состоялъ исключительно въ личныхъ отношеніяхъ автора къ Готтшеду. Безсовѣстность такого самовластителя въ литературѣ вызвала наконецъ нѣкоторыхъ изъ обиженныхъ имъ писателей на борьбу противъ него. Предводителемъ этой партіи, враждебной лейпцигскому диктатору,

явился швейцарецъ Бодмеръ, уже имѣвшій въ Цюрихѣ и окрестныхъ городахъ толпу кліентовъ.

Въ противоположность Готтшеду, Бодмеръ былъ человѣкъ честный, но, подобно Готтшеду, онъ былъ лишенъ и вкуса и таланта, а, между тѣмъ, хотѣлъ быть судьей въ поэзіи и считалъ себя великимъ поэтомъ. Поклонниковъ у него находилось очень много, даже между людьми, имѣвшими образованіе или поэтическую славу. Они говорили, что эпическая поэма Бодмера «Ной» выше мильтонова «Потеряннаго Рая» и самой «Иліады». До старости Бодмеръ сохранилъ ребяческую впечатлительность и опрометчивость, вмѣстѣ, съ безмѣрнымъ и чрезвычайно раздражительнымъ самолюбіемъ. Оракуломъ въ литературныхъ мнѣніяхъ служилъ ему Аддисонъ, «Зрителю» котораго самодовольно подражалъ журналъ Бодмера «Бесѣды Живописцевъ», далеко уступавшія «Зрителю», хотя и англійскій журналъ, какъ мы видѣли, имѣлъ не слишкомъ много положительнаго достоинства.

Готтшедъ и Бодмеръ сначала были въ хорошихъ отношеніяхъ между собою: одинъ помѣщалъ свои стихотворенія въ журналъ другого, тотъ хвалилъ его произведенія и т. д. Въ самомъ дѣлѣ, въ образѣ понятій не было между этими людьми значительной разницы: одинъ вѣровалъ въ Буало, другой въ Аддисона, ученика Буало. Но оба были люди тщеславные, оба проникнуты суетнымъ желаніемъ не встрѣчать противорѣчій. Скоро Готтшедъ сталъ считать партію Бодмера вредною для себя: она мѣшала его единовластію въ литературѣ. Швейцарцы осмѣлились даже издавать руководство къ поэтикѣ, какъ будто бы не издано было такое руководство Готтшедомъ! Значить, они посягали на его права: кто смѣлъ предписывать законы поэзіи, когда они даны уже имъ, великимъ Готтшедомъ? Онъ началъ бранить Бодмера и его друга Брейтингера, эти, разумѣется, отвѣчали ему въ такомъ же тонѣ, пасквили посыпались градомъ съ обѣихъ сторонъ, и загорѣлась непримиримая война.

Споръ шелъ о предметахъ мелочныхъ и ничтожныхъ, лишенъ былъ всякаго живаго содержанія, какъ и должно было ожидать: какіе важные недостатки могъ открыть въ понятіяхъ или произведеніяхъ послѣдователей Аддисона ученикъ Буало, или въ понятіяхъ и произведеніяхъ приверженцевъ Буало ученикъ Аддисона? Спорили о словахъ, о достоинствахъ того или другаго выраженія и т. д.; но

этотъ пустой споръ былъ крикливъ и задоренъ, потому что дѣло велось собственно изъ-за оскорбленій личнаго самолюбія; считаться ли Бодмеру нѣмецкимъ Гомеромъ и Виргиліемъ, или бездарнымъ писакою? считаться ли Готтшеду нѣмецкимъ Корнелемъ и Расиномъ, или его драмы достойны осмѣянія? Кому изъ двухъ противниковъ быть нѣмецкимъ Гораціемъ, законодателемъ въ области поэзіи? Кто изъ нихъ Аристархъ и кто Зонъ? Точно таковы же были отношенія и всѣхъ другихъ саксонцевъ, стоявшихъ подъ знаменами Готтшета, и швейцарцевъ, стоявшихъ подъ знаменами Бодмера: каждый изъ нихъ кричалъ, защищая славу, которою пользовался въ своей партіи, и браня противниковъ за то, что они не признавали его великимъ писателемъ.

Полемика была пуста, но не была безплодна; громкій шумъ привлекъ вниманіе общества: оно стало поневолѣ думать о литературѣ, когда изъ литературныхъ лагерей стали неумолкаемо раздаваться неистовые крики. Научить эти крики не могли пока еще ровно ничему; но хорошо было уже и то, что прежняя усыпительная монотонность нелѣпыхъ панегириковъ замѣнилась бойкимъ, задирающимъ споромъ, пробуждающимъ любопытство. Не бесполезна была эта неистовая полемика и потому, что заставила публику нѣсколько недовѣрчивѣе прежняго смотрѣть на авторитеты, нѣсколько самостоятельнѣе прежняго судить о достоинствѣ писателей и сочиненій: до того времени публика тупо вѣрила всему, что ей говорили; теперь по необходимости надобно было каждому рѣшать, кто изъ спорившихъ справедливѣе. Борьба была упорна; но черезъ нѣсколько лѣтъ побѣда стала склоняться на сторону швейцарцевъ. Въ самомъ дѣлѣ, хотя они вообще не отличались ни вкусомъ, ни дарованіями, но въ партіи Готтшета было еще больше безвкусія и бездарности; хотя швейцарцы держались понятій педантическихъ и безжизненныхъ, но въ школѣ Готтшета педантизмъ былъ еще безжизненнѣе; хотя они были чистые формалисты, но у готтшедіанцевъ формализмъ былъ еще болѣе сухъ и мелоченъ. Такъ, напримѣръ, въ спорахъ о языкѣ швейцарцы защищали употребленіе оригинальныхъ выраженій, Готтшедъ былъ пуристомъ и осуждалъ каждый новый терминъ, каждое выраженіе, не освященное долговременнымъ употребленіемъ, и доходилъ въ этомъ случаѣ до очевиднѣйшей тупости; онъ нападалъ на такія слова, какъ меланхолія, симпатія, сцена, фантазія; нелѣпыми нововведеніями казались ему и такія слова,

какъ, наприимѣръ, das Entlocken, das Grosse, unbewusst, unentwickelt, die Mitternacht, das Lächeln,—слова, столь же невинныя и понятныя на нѣмецкомъ языкѣ, какъ на русскомъ понятны и невинны соотвѣтствующія имъ слова: похищеніе, величіе, безсознательно, неразвитый, полночь, улыбка. Въ спорѣ о теоріи словесности швейцарцы защищали права если не творческой фантазіи (о которой ни та, ни другая партія не имѣла понятія, подобно своимъ иноземнымъ оракуламъ), то, по крайней мѣрѣ, права лирическаго чувства, а Готтшедъ училъ писать стихотворенія при помощи однихъ только разсчитанныхъ по пальцамъ правилъ и осуждалъ піитику Брейтингера за то, что по ней не научишься писать эпоей, драмъ, одъ,—между тѣмъ (говорилъ онъ), моя піитика учить «безошибочнымъ образомъ изготавлять стихотворныя произведенія во всевозможныхъ родахъ». Изъ этихъ словъ можно уже съ достовѣрностью заключать, что піитика Брейтингера была нѣсколько лучше готтшедовой, хотя она написана также въ духѣ сухаго формализма.

Когда люди, подобные Готтшеду и Бодмеру, спорили о владычествѣ надъ литературою, конечно, не могло быть истинно замѣчательныхъ дарованій между знаменитостями этой литературы, и сама литература не могла имѣть живаго содержанія; иначе, хитрая или тупоумная посредственность и не имѣла бы средствъ овладѣвать до такой степени законодательствомъ въ области изящнаго. Мы уже сказали, что нѣтъ надобности перечислять всѣхъ писателей, которые считались тогда славными, и которые были забыты, какъ только оживилась литература. Довольно будетъ назвать три четыре имени, пользовавшіяся или особеннымъ уваженіемъ, или особенною любовью публики. Къ такимъ писателямъ принадлежатъ Галлеръ, Рабенеръ и Геллертъ.

Дидактическія поэмы Буало и особенно Попа имѣли рѣшительное вліяніе на Галлера, который былъ великимъ ученымъ, но самъ сознавался, что лишенъ поэтическаго таланта, — и не только таланта не было у него, но и вкуса, потому что Вейсе, очень посредственнаго драматурга, который подражалъ то французамъ, то англичанамъ, ставилъ онъ выше Шекспира, а приторный Геснеръ нравился ему больше Теоокрита. Собственныя произведенія Галлера, особенно знаменитыя его поэмы «Альпы» и «О происхожденіи зла», могутъ имѣть ученое достоинство, но чужды поэтическаго одушев-

ленія. Стремясь къ возвышенности, онъ достигаетъ только суровой сухости; стремясь къ теплотѣ и трогательности картинъ даетъ онъ только холодныя и скучныя описанія. Въ «Альпахъ» описываются красоты горной природы и изображаются въ идиллическомъ видѣ нравы горныхъ жителей, которые, не зная о жадности и любостыжаніи, сохранили у себя блаженство золотого вѣка. Поэма «О происхожденіи зла» объясняетъ, что человѣку дана свободная воля, что Богу угодно было предоставить людямъ выборъ между добромъ и зломъ; потомъ изображается состояніе первыхъ людей до грѣхопаденія, паденіе диаволовъ и прегрѣшеніе первыхъ людей—это подробный разсказъ библейскаго преданія, съ примѣсю различныхъ философскихъ замѣчаній. Поэма «О происхожденіи зла» имѣла большой успѣхъ и породила сотни поражаній. Многочисленные послѣдователи Галлера безъ всякой заботы о требованіяхъ поэзіи цѣликомъ перелагали на стихотворный языкъ философскіе трактаты, сохраняя даже ученую систематическую форму въ своихъ виршахъ,—они просто перефразировали Лейбница и Вольфа, прикрашивая ихъ заимствованиями изъ Попа и Томсона,—сочиняли стихотворныя разсужденія о намѣреніяхъ Божіихъ при созданіи вселенной, о законахъ разума, о прививаніи коровьей оспы, объ искусственномъ орошеніи полей, о пользѣ математическихъ наукъ для поэта, о томъ, что произрастеніемъ травы доказывается существованіе Божіе, и т. д.

Кромѣ дидактическихъ и описательныхъ поэмъ, Галлеръ писалъ сатиры; но эти сатиры лучше всего остальнаго показываютъ, какъ чужда была всякаго живаго содержанія нѣмецкая литература того времени. Онѣ направлены не противъ пороковъ или смѣшныхъ слабостей нѣмецкаго общества, а противъ парижскихъ философовъ. Самъ Галлеръ объявляетъ, что не имѣетъ охоты заниматься современными нравами своей родины, потому что это бесполезно да и не нужно.

Несмотря на чрезвычайное уваженіе къ эпической поэзіи, которая считалась верховнымъ родомъ искусства, Галлера читали довольно мало, а его послѣдователей еще меньше,—но каждый чувствовалъ на себѣ обязанность превозносить эти поэмы. Галлера называли нѣмецкимъ Virgiliemъ. Титулы, которыми украшались Рабенеръ и Геллертъ, были скромны: Рабенеръ считался не болѣе, какъ нѣмецкимъ Ювеналомъ, а Геллертъ—нѣмецкимъ Лафонте-

номъ, но за скромность этихъ титуловъ Геллертъ и Рабенеръ вознаграждались тѣмъ, что ихъ сочиненія были любимѣйшимъ чтеніемъ нѣмецкой публики. Для насъ, которые часто слышимъ преувеличенныя сужденія о глубинѣ и серьезности содержанія тѣхъ писателей, которые считаются представителями сатирическаго направленія въ русской литературѣ, не бесполезно будетъ знать, какъ нѣмцы нынѣ судятъ о Рабенерѣ, котораго можно сравнить съ нашими писателями по обширности круга, которымъ занята его иронія, и по смѣлости, съ какою обличаетъ онъ недостатки своей народной жизни. Это сравненіе можетъ привести насъ къ сомнѣнію въ томъ, дѣйствительно ли есть серьезное содержаніе даже въ тѣхъ произведеніяхъ нашей литературы, которыя особенно извѣстны безпощаднымъ (будто бы) сарказмомъ, съ которымъ разоблачаютъ передъ нами важнѣйшіе (будто бы) наши недостатки. Безъ сомнѣнія, у насъ есть писатели гораздо болѣе даровитые, нежели Рабенеръ, и произведенія имѣющія гораздо болѣе художественнаго достоинства, нежели его сатиры. Но мы здѣсь говоримъ о границахъ содержанія, доступнаго ироніи. Мы находимъ, что у насъ есть произведенія, безпощадно карающія важнѣйшіе общественные пороки,—такъ говорили и нѣмцы добраго стараго времени о сатирахъ Рабенера. Интересно знать, какъ думаютъ нынѣ о Рабенерѣ въ Германіи, уже имѣя понятіе о томъ, какова бываетъ истинная сатира. Потому приведемъ сужденіе Гертвинуса объ этомъ писателѣ.

«Рамлеръ, въ предисловіи къ переводу Батѣ (говоритъ Гертвинусъ), хвалитъ Рабенера, называя его улыбающимся сатирикомъ, писателемъ мужественно прекраснымъ, упреки котораго поучительны, воображеніе котораго неистощимо, въ сочиненіяхъ котораго представленъ цѣлый рядъ картинъ и характеровъ. У кого достало бы охоты перечитать сатиры Рабенера, тотъ увидѣлъ бы, что надобно сказать о немъ совершенно противное. Что касается неистощимости воображенія, надобно признаться, что эти сатиры совершенно чужды всякой поэзіи: творческой фантазіи нѣтъ въ нихъ ни капли. Его произведенія—чистая проза. Смѣлости и рѣзкости онъ совершенно лишенъ; онъ робокъ и скученъ. Для нынѣшнихъ читателей довольно взглянуть на заглавія его сатиръ, чтобы убѣдиться въ томъ: «О поздравленіяхъ съ праздникомъ», «Похвала постельнымъ собакамъ», «О несчастныхъ мужьяхъ»—вотъ каковы поучительныя задачи рабенеровой сатиры. Сатирическія посланія его превозносились

какъ нѣчто удивительное—въ какомъ же кругу вращается тутъ остроуміе сатирика?—Невѣжда-помѣщикъ ищетъ себѣ дешеваго учителя,—горничная рекомендуетъ на это мѣсто человѣка, который ей нравится; вдова пастора прискиваетъ себѣ жениха; проситель подкупаетъ судью, и т. д. Правда, эти недостатки существовали въ обществѣ; правда, сатира, карая пороки, можетъ для разнообразія касаться и мелочныхъ слабостей. Но сатирикъ обнаруживаетъ незнакомство свое съ жизнью, когда, думая объ исправленіи великаго общественнаго зданія, занимается подчисткою подобныхъ незначительныхъ шероховатостей въ мелкихъ уголкахъ. Рабенеръ, Цахаріе и Геллертъ не истребили мелочныхъ недостатковъ, надъ которыми изощряли свое остроуміе: но всѣ эти мелочи упали сами собою, когда молодое поколѣніе въ 1770-тыхъ годахъ потрясло своими ударами все зданіе, къ которому принадлежали эти ничтожныя подробности. Рабенеръ могъ бы оставить безъ вниманія пустяки, которыми занимался, еслибъ обратилъ свою сатиру противъ великихъ недостатковъ, порожденныхъ жизнью его народа въ его время и препятствовавшихъ прогрессу; а онъ бился противъ маловажныхъ и существующихъ вездѣ и повсюду привычекъ. Предметы, которыми занимается его насмѣшка, слишкомъ мелки. Онъ самъ признается, что въ Германіи объ учителѣ деревенской школы нельзя говорить той правды, которую въ Англіи говорятъ о первыхъ сановникахъ королевства. Самъ Геллертъ—человѣкъ не слишкомъ смѣлый—понимаетъ, что сатира слишкомъ стѣснена, если говорить только о порокахъ частной жизни: описывая вельможъ, она, по его словамъ, бываетъ краснорѣчивѣе, нежели издѣваясь надъ мелкими людьми. Рабенеръ не дерзаетъ приближаться съ своею насмѣшкою къ великолѣпнымъ палатамъ: онъ прямо отказывается говорить о предметахъ, въ которыхъ замѣшаны «превосходительные люди». Разумѣется, можно находить и оправданія для Рабенера: вѣдь и его сатиры возбуждали неудовольствіе».

Сужденіе Гервинуса не должно считать слишкомъ суровымъ,—подобно ему, думаютъ о робкой сатирѣ Рабенера всѣ. Въ подтвержденіе этихъ словъ приведемъ сужденія Шлоссера:

«Можно ли отъ Рабенера, человѣка, занимавшаго должность сборщика податей при саксонскомъ министрѣ Брюлѣ, стало быть, составившаго себѣ карьеру самымъ печальнымъ образомъ въ самыя печальныя времена,—можно ли ожидать отъ такого человѣка смѣ-

лыхъ мыслей? А безъ смѣлости возможна ли сатира? Сатирѣ не должно быть дѣла до тѣхъ пороковъ, которые гнѣздятся въ ничтожныхъ людяхъ—правы толпы исправляются не поэзіею, а другими путями—она должна разоблачать пышныя личины, ослѣпляющія простаковъ, она должна рѣзко изобличать пустоту и лицемеріе, соединенное съ ложнымъ блескомъ. Сатира Рабенера падаетъ (очень благоразумно) истинныхъ враговъ человѣчества и родины, падаетъ людей, которые безстыдно презираютъ общественное мнѣніе, она занимается только бабьими сплетнями. Она не понимаетъ, что мелкихъ купцовъ и мелкихъ чиновниковъ не исправишь насмѣшками; они бьются изъ-за куска насущнаго хлѣба, ихъ недостатки происходятъ не отъ злой воли, а отъ нужды».

Еще слабѣе и ничтожнѣе Рабенера былъ по своему направленію Геллертъ, пользовавшійся, однакожъ, огромною популярностію. Онъ отъ природы былъ трусливъ и суетенъ,—обстоятельства развили въ немъ эти качества. Какъ жалка и безцвѣтна была его натура, можно судить по слѣдующему разсказу, который помѣщенъ въ англійскомъ «Годичномъ указателѣ» событій и новостей (The Annual Register) за 1762 годъ. Разсказъ этотъ слишкомъ хорошо характеризуетъ вообще всѣхъ знаменитыхъ нѣмецкихъ писателей той эпохи, которой принадлежитъ Геллертъ, потому помѣщаемъ его вполнѣ. Онъ лицомъ къ лицу ставитъ передъ нами этихъ жалкихъ педантовъ, вѣчно занятыхъ только одною мыслью о томъ, хороши ли ихъ собственныя сочиненія,—заботою о томъ, чтобы стихи были гладки, языкъ чистъ и правиленъ и всѣ правила піитики и реторики были строго соблюдены,—этихъ жалкихъ людей, ждавшихъ себѣ чести, а литературѣ пользы отъ милости меценатовъ, людей, не знавшихъ жизни, не имѣвшихъ понятія о томъ, что писатель долженъ быть органомъ желаній своего народа, его руководителемъ и защитникомъ.

«Подлинный разговоръ между королемъ прусскимъ и талантливымъ Геллертомъ, профессоромъ изящной словесности при Лейпцигскомъ университетѣ, заимствованный изъ письма изъ города Лейпцига, отъ 27 января 1761 года.

18 минувшаго октября, въ третьемъ часу вечера, когда профессоръ Геллертъ, чувствуя себя нѣсколько нездоровымъ, сидѣлъ въ шлафрокѣ, за своимъ письменнымъ столомъ, кто-то постучался въ дверь его квартиры.

— Милости просимъ, войдите, сударь! сказалъ Геллертъ.

— Честъ имѣю рекомендоваться, сказалъ вошедшій:— имя мое Квинтусъ Ициліусъ; мнѣ очень пріятно познакомиться съ человекомъ, столь славнымъ въ литературномъ мірѣ. Впрочемъ, я пришелъ къ вамъ не отъ себя, а по приказанію его величества, короля прусскаго, который желаетъ васъ видѣть и приказалъ мнѣ проводить васъ къ нему.

Геллертъ извинялся своимъ нездоровьемъ, но согласился слѣдовать за майоромъ Квинтусомъ, который ввелъ его въ кабинетъ его величества, гдѣ и произошелъ между королемъ и этими двумя писателями слѣдующій разговоръ:

Король. Вы профессоръ Геллертъ?

Геллертъ. Точно такъ, ваше величество!

Король. Англійскій посланникъ говорилъ мнѣ о васъ, какъ о человѣкѣ высокихъ достоинствъ. Откуда вы родомъ?

Геллертъ. Изъ Ганихена, что близъ Фрейберга.

Король. Какая причина, что у насъ нѣтъ хорошихъ нѣмецкихъ писателей?

Майоръ Квинтусъ. Предъ лицомъ вашего величества стоитъ превосходный нѣмецкій писатель, сочиненія котораго французы почли достойными перевода и котораго называютъ они германскимъ Лафонтеномъ.

Король. Это, г. Геллертъ, конечно, служить сильнымъ доказательствомъ вашихъ достоинствъ. Скажите, читали вы Лафонтена?

Геллертъ. Читалъ, государь, но не подражалъ ему. Я стараюсь быть оригинальнымъ въ своемъ родѣ.

Король. И прекрасно дѣлаете. Но скажите, какая причина тому, что у насъ въ Германіи не много писателей такихъ хорошихъ, какъ вы?

Геллертъ. Ваше величество, кажется, предубѣждены противъ нѣмцевъ.

Король. Нимало.

Геллертъ. Или, по крайней мѣрѣ, противъ нѣмецкихъ писателей.

Король. Это быть можетъ; въ самомъ дѣлѣ, я не высокаго мнѣнія о нихъ. Отчего происходитъ, что у насъ нѣтъ хорошихъ историковъ?

Геллертъ. У насъ есть, государь, нѣсколько хорошихъ исто-

риковъ,—между прочимъ, Крамеръ, продолжатель Боссюэта, и ученый Масковъ.

Король. Нѣмецъ продолжалъ «Всемирную Исторію» Боссюэта! возможно ли?

Геллертъ. Не только продолжалъ, но и совершилъ это трудное дѣло съ величайшимъ успѣхомъ. Одинъ изъ знаменитѣйшихъ профессоровъ въ областяхъ вашего величества провозгласилъ это продолженіе равняющимся боссюетовой исторіи по краснорѣчію и превосходящимъ ее по точности.

Король. Отчего же происходитъ, что у насъ нѣтъ хорошаго перевода Тацита на нѣмецкій языкъ?

Геллертъ. Этотъ авторъ чрезвычайно труденъ для перевода, и французскіе переводы, какіе нынѣ существуютъ, совершенно лишены всякаго достоинства.

Король. Съ этимъ я согласенъ.

Геллертъ. Много есть различныхъ причинъ, препятствовавшихъ доселѣ нѣмцамъ сдѣлаться знаменитыми въ различныхъ отрасляхъ литературы. Когда науки и искусства процвѣтали между греками, римляне занимались только губительнымъ искусствомъ войны. Не можемъ ли мы считать настоящаго времени воинскимъ вѣкомъ Германіи? Не могу ли также я прибавить, что наши соотечественники не были одушевляемы такими покровителями наукъ, какъ Августъ и Людовикъ XIV?

Король. Да вѣдь у васъ въ Саксоніи было цѣлыхъ два Августа *).

Геллертъ. Правда, государь, и потому въ нашей странѣ явились хорошіе начатки.

Король. Какимъ образомъ можете вы ожидать Августа въ Германіи, столь раздробленной?

Геллертъ. Я сказалъ не въ томъ смыслѣ, государь: я желаю только, чтобы каждый государь ободрялъ въ своихъ областяхъ людей съ истиннымъ талантомъ.

Король. Вы никогда не выѣзжали изъ Саксоніи?

Геллертъ. Однажды я былъ въ Берлинѣ.

Король. Вамъ нужно бы путешествовать.

*) То есть Августъ III, тогда царствовавшій, и Августъ II, бывшій его предшественникомъ.

Геллертъ. Государь, я не имѣю никакой склонности къ путешествіямъ; а если бы и имѣлъ, мои обстоятельства не позволили бы мнѣ путешествовать.

Король. Скажите, какой болѣзнью вы страдаете? я предполагаю, болѣзнью ученыхъ?

Геллертъ. Назову ее такъ, когда вашему величеству угодно почтить меня этимъ именемъ, котораго, безъ величайшаго тщеславія, не могъ бы я дать самъ себѣ.

Король. Я, подобно вамъ, страдалъ этою болѣзнью и, кажется, могу излечить васъ: дѣлайте только моціонъ, ѣздите гулять верхомъ каждый день и разъ въ недѣлю принимайте ревеню.

Геллертъ. Это лекарство, государь, могло бы для меня быть хуже самой болѣзни: если моя лошадь была бы здоровѣе и бодрѣе меня, я не смѣлъ бы сѣсть на нее; а если она хуже меня, немного пользы было бы мнѣ отъ прогулки верхомъ на ней.

Король. Ну, такъ ѣздите гулять въ экипажѣ.

Геллертъ. Я не такъ богатъ; чтобъ имѣть на то средства.

Король. А, вотъ этимъ-то обстоятельствомъ обыкновенно и болѣны нѣмецкіе литераторы. Правда, худыя нынѣ времена.

Геллертъ. Худыя, ваше величество! Но если бы благость вашего величества дала миръ Германіи...

Король. Да развѣ отъ меня это зависитъ? Развѣ вы не слышали, что противъ меня соединились три державы?

Геллертъ. Знанія мои, государь, преимущественно заключаются въ древней исторіи; новую изучалъ я гораздо менѣе.

Король. Изъ эпическихъ поэтовъ кого вы предпочитаете — Гомера или Виргилія?

Геллертъ. Безъ сомнѣнія, Гомеръ, какъ оригинальный гений, заслуживаетъ предпочтенія.

Король. Но Виргилій, однако же, писатель болѣе изящный.

Геллертъ. Мы живемъ во времена, слишкомъ отдаленныя отъ гомеровыхъ, и не можемъ составить себѣ опредѣлительнаго сужденія о языкѣ и нравахъ того древняго періода: потому я полагаюсь на сужденіе Квинтиліана, который отдаетъ преимущество Гомеру.

Король. Но мы, однако же, не должны съ рабскимъ подобострастіемъ подчиняться сужденіямъ древнихъ.

Геллертъ. Я и не подчиняюсь имъ слѣпо. Я только принимаю ихъ мнѣнія, когда древность облакаетъ предметъ такимъ ту-

маномъ, который не даетъ мнѣ различить его черты и, слѣдовательно, отнимаетъ возможность собственнаго сужденія.

Король. Вы, какъ я слышалъ, написали басни, замѣчательныя по изяществу и остроумію. Можете вы прочесть мнѣ одну изъ нихъ?

Геллертъ. Не умѣю вамъ сказать, государь, могу ли: память моя далеко не хороша.

Король. Постарайтесь; я пока пройдуся по комнатамъ и дамъ вамъ время собраться съ мыслями.... (*Черезъ нѣсколько минутъ*). Можете теперь исполнить мое желаніе?

Геллертъ. Могу, государь!

«Афинскій живописецъ, занимавшійся своимъ искусствомъ болѣе изъ желанія славы, нежели изъ любви къ прибытку, спросилъ у знатока живописи мнѣнія о своей картинѣ, представлявшей бога Марса. Знатокъ не скрылъ отъ него, что находитъ картину неудовлетворительною. Живописецъ защищалъ свое произведеніе. Критикъ отвѣчалъ на его возраженія, но не могъ убѣдить его. Въ это время подходитъ невѣжда, бросаетъ взглядъ на картину и, не подумавъ ни минуты, съ восторгомъ восклицаетъ: «Боже! какое мастерское произведеніе! Марсъ живой дышетъ на этомъ полотнѣ! Какія прекрасныя ноги! Какой вкусъ, какое величіе въ этомъ племѣ, въ этомъ щитѣ, во всемъ вооруженіи ужаснаго бога!» Живописецъ покраснѣлъ, взглянулъ на знатока съ видомъ смущенія, признанія въ своихъ ошибкахъ и сказалъ: «Теперь я убѣдился, что ваше сужденіе основательно». Невѣжда удалился, и живописецъ истребилъ свою картину».

Король. Какой же смыслъ въ этой баснѣ?

Геллертъ. Нравоученіе таково: «когда сочиненія писателя не удовлетворяютъ вкусу хорошаго судьи, это даетъ сильное основаніе думать о нихъ неблагопріятно; но когда они бываютъ превозносимы глупцомъ, не колеблясь должно бросить ихъ въ огонь».

Король. Прекрасно, г. Геллертъ! Стихотвореніе ваше превосходно, и въ изобрѣтеніи басни есть какое-то изящество. Я понимаю красоту и достоинство этого произведенія. Но когда Готтшедъ читалъ мнѣ переводъ «Ифигеніи», у меня передъ глазами былъ французскій оригиналъ, и я не понималъ ни слова изъ того, что онъ читалъ. Если я останусь здѣсь дольше, вы почаще приходите ко мнѣ и читайте мнѣ ваши басни.

Геллертъ. Не знаю, государь, долженъ ли я отваживаться на чтеніе: я привыкъ говорить нараспѣвъ, какъ говорятъ у насъ въ горахъ.

Король. Ну да, по силезскому акценту. Нѣтъ, все-таки вы должны читать ваши басни: иначе, онѣ много потеряютъ. Навѣстите же меня еще, и поскорѣе.

Когда г. Геллертъ ушелъ, король сказалъ:

— Это совершенно не такой человѣкъ, какъ Готтшедъ. А на слѣдующій день, за столомъ, онъ сказалъ, что «изъ всѣхъ ученыхъ нѣмцевъ Геллертъ самый умный и разсудительный».

Весь тонъ разсказа свидѣтельствуешь, что онъ написанъ безъ всякой иронической цѣли. Хроника, въ которой онъ помѣщенъ, хочеть показать, что король Фридрихъ II умѣлъ цѣнить таланты; а, между тѣмъ, какою горькою насмѣшкою надъ Геллертомъ кажется этотъ анекдотъ! Какъ пошло и глупо каждое его слово, какъ тупы его понятія о литературѣ!—Отчего она въ незавидномъ положеніи? спрашиваетъ Фридрихъ, — «оттого, что у насъ нѣтъ Августовъ и меценатовъ», очень добродушно отвѣчаетъ Геллертъ, не зная, что именно меценатство съ одной стороны, подобострастіе съ другой губятъ литературу. Отчего вы блѣдны? спрашиваетъ король.— Оттого, что все сижу въ своемъ кабинетѣ за книгою, отвѣчаетъ Геллертъ, какъ истинный Вагнеръ, не имѣя даже предчувствія о томъ, что поэту быть въ кругу людей полезнѣе, нежели читать Буало, Готтшеда и Бодмера. И какъ робѣетъ этотъ бѣднякъ! Онъ запинается, онъ теряется; ему нужно дать время образумиться, чтобы онъ могъ припомнить какую нибудь изъ своихъ басенъ. И какую же басню выбираетъ онъ для чтенія передъ Фридрихомъ — полководцемъ, законодателемъ, человѣкомъ жизни и дѣятельности? басню, заключающую наставленіе для жалкихъ Вагнеровъ, подобныхъ самому баснописцу! Видно, что никакъ не можетъ онъ выйти изъ узкаго круга пустыхъ вопросовъ о гладкости слога и литературныхъ красотахъ, о критикѣ и антикритикѣ, видно, что жизнь и міръ для него ограничиваются сочиненіемъ стиховъ и полученіемъ заслуженныхъ похвалъ отъ Готтшеда или Бодмера, да милостиваго покровительства отъ Брюля за благонамѣренность стремленій и красоту слога!

Въ такомъ жалкомъ состояніи находилась нѣмецкая литература около половины XVIII вѣка. Она совершенно оправдывала собою

извѣстную аксіому, что литература есть выраженіе общества. Германія находилась въ нравственной зависимости отъ чужеземцевъ, литература ея была рабскимъ подражаніемъ англійской и французской литературамъ; нравственное единство народа, вслѣдствіе продолжительнаго политическаго раздробленія, было утрачено—нѣмецкая литература также утратила свое единство: Лейпцигъ былъ центромъ саксонской школы, Цюрихъ—швейцарской, въ Берлинѣ была своя школа, въ Гамбургѣ своя, въ Кенигсбергѣ своя; направление, которому будетъ слѣдовать писатель, опредѣлялось не столько влеченіемъ его таланта, сколько принадлежностью его къ той или другой области: саксонецъ дѣлался послѣдователемъ Готтшеда, южный германецъ ученикомъ Бодмера, сѣверный германецъ подражателемъ Галлера. Въ жизни нѣмецкаго народа господствовали апатія, пустота,—та же самая пустота господствовала и въ литературѣ; подобострастный формализмъ сковывалъ жизнь общества,—онъ же сковывалъ и литературные таланты; общество было робко, безпрекословно отдавалось въ добычу каждому, кто хотѣлъ грабить его,—такъ и литература подчинялась каждому шарлатану съ громкимъ голосомъ, который хотѣлъ господствовать въ ней.

Неудивительно послѣ этого, что высшіе классы общества пренебрегали родною литературою и читали исключительно французскія книги: въ нѣмецкихъ нашли бы они только повтореніе того, что гораздо лучше было высказано французскими писателями времени Людовика ХІV.

Виновницею жалкаго состоянія литературы всегда бываетъ публика: если публика многочисленна и проникнута живыми стремленіями, нѣтъ въ мірѣ силы, которая могла бы остановить развитіе литературы, нѣтъ затрудненій, которыя не были бы побѣждены требованіями общества. Степень умственнаго развитія въ массѣ нѣмецкой публики совершенно соотвѣтствовала общему состоянію литературы. Педантизмъ, робость, подобострастіе и предразсудки всякаго рода властвовали въ обществѣ. Мы говорили, что оно раздѣлялось на касты, чуждавшіяся одна другой; главною двигательною жизнію въ каждой кастѣ было мелочное тщеславіе, преклоненіе передъ высшими, презрѣніе къ низшимъ. Религіозное одушевленіе исчезло послѣ Тридцатилѣтней войны, но осталась вражда различныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій: католики, лютеране, кальвинисты ненавидѣли другъ друга; религіозныя и нравственныя

понятія были суровы и грубы; вообще, умственная жизнь была стѣснена предразсудками и предубѣжденіями.

Наука, которая должна была бы противодѣйствовать этимъ неблагопріятнымъ для народнаго развитія отношеніямъ и вести націю впередъ, при распространившейся привычкѣ къ педанству и формализму, получила такой видъ, что сама служила однимъ изъ главнѣйшихъ препятствій прогрессу умственной и общественной жизни. Университеты и школы, вообще говоря, не просвѣщали, а только еще болѣе затуманивали умы. Всѣ науки преподавались съ каедръ и разрабатывались въ кабинетахъ, въ самой сухой и мертвой формѣ. Ученый обыкновенно былъ педантомъ и формалистомъ, слѣпо вѣрившимъ тому, чему научился отъ своего бывшаго наставника; онъ безъ всякой критики компилировалъ факты, не отыскивая въ нихъ смысла, заботясь только о систематичности и внѣшней ученой формѣ. Мертвый догматизмъ владычествовалъ во всѣхъ отрасляхъ науки, отъ философіи до изученія древнихъ языковъ, отъ законовѣднія до теоріи словесности. Параграфы, аксіомы, теоремы, леммы, королларіи, подраздѣленія заставляли забывать о живомъ содержаніи въ нравственныхъ и юридическихъ наукахъ, которыя излагались съ такою же сухостью, какъ алгебра или геометрія. Въ исторіи больше всего занимались хронологическими и генеалогическими таблицами и мелочными подробностями, не обращая вниманія на смыслъ фактовъ и связь событій; въ законовѣдніи господствовалъ взглядъ совершенно отвлеченный и односторонній, такъ что примѣненіе его къ жизни было страшнымъ бѣдствіемъ для всего народонаселенія: юристы были истинными мучителями для Германіи; въ богословіи сохранялись понятія, свойственныя среднимъ вѣкамъ, и самый протестантизмъ сталъ неподвиженъ и безжизненъ если не больше, то не меньше католицизма. Книги вообще писались такъ сухо и тяжело, что только записные ученые рѣшались читать ихъ. Еще въ 1765 году Зульцеръ говорилъ:

«Книги остаются исключительно въ рукахъ однихъ профессоровъ, студентовъ и журналистовъ, и мнѣ кажется, что писать для настоящаго поколѣнія—дѣло, едва ли стоющее труда. Если въ Германіи существуетъ читающая публика внѣ круга людей, по ремеслу своему обязанныхъ обращаться съ книгами, то я долженъ признаться въ своемъ невѣжествѣ—я не знаю о существованіи такой публики. Я вижу за книгами только студентовъ, кандидатовъ, тамъ и самъ

одинокого профессора, изрѣдка проповѣдника. Общество, въ которомъ эти читатели составляютъ незамѣтную—дѣйствительно, совершенно незамѣтную—частицу, не имѣетъ и понятія, что такое литература, философія, что такое разумно нравственныя убѣжденія и вкусъ».

Картина, составляющаяся изъ фактовъ, нами исчисленныхъ, очень мрачна; но никто изъ знакомыхъ съ политическимъ и умственнымъ состояніемъ Германіи въ половинѣ прошлаго вѣка не скажетъ, чтобы можно было представлять себѣ это состояніе въ иномъ свѣтѣ. «Гнуснѣйшее варварство» (*die hässlichste Barbarei*) — вотъ выраженіе, которымъ характеризуетъ положеніе своего отечества около 1750 года Гервинусъ; а Гервинусъ принадлежитъ къ числу людей очень умѣренныхъ, даже слишкомъ умѣренныхъ въ своемъ образѣ мыслей: онъ патріотъ, иногда даже слишкомъ пристрастный къ родной старинѣ.

Но пришло время, когда ни одинъ изъ европейскихъ народовъ не могъ оставаться въ закоснѣлости своихъ недостатковъ и предубѣжденій, когда каждая нація почувствовала потребность новой, лучшей жизни,—и Германія пробудилась изъ своей нелѣпой и тяжелой летаргіи.

Свѣжимъ воздухомъ вѣяло на нее изъ Франціи, изъ Англіи,—лучи новаго свѣта стремились на нее изъ этихъ странъ, опередившихъ ее въ XVII вѣкѣ. Крѣпокъ былъ сонъ, долго медлила Германія пробудиться отъ него; густъ былъ мракъ, тяготѣвшій надъ нею, но свѣтъ таки восторжествовалъ надъ мракомъ, и открылись наконецъ глаза, отягощенные мертвою дремотою.

Мы видѣли, что подражаніе французамъ жизни, подражаніе французамъ и англичанамъ въ литературѣ не имѣло для Германіи никакихъ слѣдствій, кромѣ дурныхъ,—это потому, что подражаніе всегда бываетъ внѣшнимъ формализмомъ, убивающимъ духъ, а подражателями бываютъ только люди ограниченные, лишенные мысли, лишенные собственного содержанія. Но кромѣ внѣшняго формалистическаго вліянія одного народа на другой есть другое вліяніе, живое и плодотворное, состоящее въ томъ, что успѣхи народа, стоящаго на высшей степени развитія, служатъ предметомъ размышленія для живыхъ людей другаго народа, отставшаго на пути развитія. Эти люди, занятые мыслью о средствахъ помочь своему народу, находятъ въ жизни другихъ націй примѣры, которыми

облегчаются ихъ собственныя соображенія, находятъ факты, которыми пользуются они, какъ доказательствами для убѣжденія массы въ необходимости и возможности улучшеній, требуемыхъ положеніемъ націи. Всѣ народы, двигаясь впередъ при помощи успѣховъ, совершенныхъ болѣе счастливыми ихъ собратами, всегда сначала подчинялись формалистическому вліянію, потому что форма понятнѣе содержанія для неразвитаго человѣка; но потомъ, когда умственныя сношенія становились тѣснѣе, благодаря формалистическому сближенію, начиналась возможность вдумываться и въ содержаніе цивилизованной жизни, формы которой были уже извѣстны. Тогда иноземное вліяніе переставало быть противоположно народной жизни, — напротивъ, при помощи уроковъ и истинъ, выработанныхъ жизнью собратій, народная жизнь быстро развивалась, — развивалась сообразно собственнымъ потребностямъ и условіямъ, то есть вполне самостоятельно, такъ что исчезалъ всякій слѣдъ умственной зависимости отъ другихъ народовъ именно въ то время, когда сближеніе съ ними начинало приносить обильнѣйшіе плоды

Такъ было и съ нѣмецкимъ народомъ. Англія и Франція во всѣхъ отношеніяхъ стояли выше Германіи въ концѣ XVII вѣка. Вліяніе ихъ на Германію было неизбѣжно. Оно отразилось во всѣхъ сферахъ жизни, сначала чисто формалистическимъ образомъ, — и на первый разъ слѣдствія сближенія казались неблагоприятными для Германіи: мы видѣли, какъ сначала были развращены французскимъ вліяніемъ высшіе классы, какъ безмысленна была литература подражаніемъ французской и англійской. Но это было только неизбѣжное временное зло, предшествующее прочному благу и несущее въ себѣ сѣмена его. Да и само по себѣ это зло было зломъ только по сравненію съ идеаломъ народной жизни въ будущемъ, а вовсе не по сравненію съ предшествующимъ ея состояніемъ. Какова бы ни была подражательная нѣмецкая литература, все жъ эта была литература, принадлежащая періоду цивилизаціи, какой прежде не имѣла Германія. Каковы бы ни были пороки и злоупотребленія, введенныя въ государственную жизнь подражаніемъ французскому двору, бѣдствія, отъ нихъ происходившія, были ничтожны въ сравненіи съ тѣмъ зломъ, которое происходило отъ учрежденій и обычаевъ, развитыхъ самою германскою жизнью: корнемъ зла былъ произволъ съ одной стороны, подобострастіе и апатія съ другой; а эти отношенія не были занесены изъ Франціи: они выросли на нѣмецкой почвѣ.

Рано появились въ Германіи мыслящіе люди, которые, не останавливаясь на временномъ злѣ, какое можетъ приносить сближеніе малообразованнаго народа съ болѣе образованнымъ, всѣми силами старались о сближеніи нѣмцевъ съ французами,—не для одного заимствованія вѣшнихъ формъ, но для развитія нѣмецкой образованности. Замѣчательнѣйшимъ изъ такихъ людей былъ истинно великій дѣятель нѣмецкаго просвѣщенія, Христіанъ Томазіусъ (въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка),—Томазіусъ, о которомъ Шлеперъ говорилъ, что онъ принесъ человѣчеству болѣе пользы, нежели всѣ греческіе философы и поэты. Здѣсь не мѣсто подробно говорить о всей неутомимой дѣятельности этого благодѣтеля своей родины, не мѣсто излагать исторію его борьбы противъ юридическихъ предразсудковъ и беззаконовій (Христіанъ Томазіусъ былъ профессоромъ законовѣдѣнія сначала въ Лейпцигскомъ университетѣ, потомъ, когда защитники грубаго невѣжества и педантства заставили его удалиться изъ Лейпцига, онъ получилъ каѳедру въ Галле, гдѣ уже пользовался сильнымъ вліяніемъ), не мѣсто здѣсь говорить о борьбѣ его противъ варварскаго законодательства, противъ пытокъ и жестокихъ наказаній, не мѣсто рассказывать, какъ онъ успѣлъ доказать, что нелѣпо вѣрить въ вѣдьмъ и жечь бѣдныхъ старухъ: мы здѣсь должны обратить вниманіе только на одну сторону его дѣятельности, касавшуюся общаго образованія нѣмецкаго народа.

Въ то время, какъ Томазіусъ получилъ каѳедру въ Лейпцигѣ, всѣ науки преподавались на латинскомъ языкѣ; нѣмецкій языкъ былъ презираемъ учеными. Томазіусъ жестоко нападалъ на жалкую школьную латынь и совѣтовалъ нѣмцамъ то время, которое пропадаетъ у нихъ въ сочиненіи латинскихъ гекзаметровъ, употребить на изученіе французскаго языка и литературы и по примѣру французовъ полюбить свой родной языкъ. Онъ доказывалъ, что отъ привычки писать всѣ учебныя и ученныя книги, не только по специальнымъ наукамъ или богословію, но даже по физикѣ естественной исторіи, географіи, и отъ обыкновенія, по которому во всѣхъ школахъ всѣ предметы преподавались на латинскомъ языкѣ, масса публики лишается всякихъ средствъ къ образованію. Да и самыя науки, уединяясь отъ жизни, сдѣлавшись исключительнымъ достояніемъ записныхъ ученыхъ, приняли совершенно педантическую форму, забыли о всякомъ соотношеніи съ жизнью и требованіями здраваго разсудка. Въ 1688 году смѣлый противникъ школьной ла-

тыни изумилъ всѣхъ, объявивъ, что будетъ на нѣмецкомъ языкѣ читать лекціи о томъ, какъ по примѣру франгузовъ можно сблизить науку съ жизнью. Это привело въ ужасъ всю тѣмочисленную толпу почтенныхъ педантовъ: тысячи голосовъ поднялись противъ дерзкаго латынеотступника; но Томазіусъ одержалъ побѣду, хотя не скоро: лѣтъ черезъ двадцать или двадцать-пять въ Лейпцигскомъ университетѣ уже многіе профессора читали лекціи по нѣмецки. Крики противниковъ не утратили Томазіуса; онъ только увидѣлъ необходимость сдѣлать судьбою въ вопросѣ о доступности науки для публики всю публику, а не однихъ педантовъ, которые единодушно возстали на него: въ томъ же году (1688) Томазіусъ началъ издавать учено-критическій журналъ на нѣмецкомъ языкѣ—дѣло неслыханное до того времени. Изъ самаго заглавія, хитросплетеннаго на латинскій ладъ, мы можемъ судить о достоинствѣ нѣмецкаго слога въ этомъ журналѣ: онъ назывался сначала «Забавныя и серьезныя, разумныя и простодушныя мысли о всякаго рода полезныхъ книгахъ и вопросахъ», а потомъ: «Вольныя, веселыя и серьезныя, но разсудительныя и законосообразныя мысли, или ежемѣсячныя разговоры обо всемъ, преимущественно же о новыхъ книгахъ» *). Но дѣло не въ томъ, каковы показались бы наивныя статьи этого журнала нынѣшнему читателю: дѣло въ томъ, что это былъ первый журналъ, издававшійся на родномъ языкѣ, доступный каждому нѣмцу, а не однимъ школьнымъ латинистамъ. Надобно прибавить, что по характеру своему онъ разнился отъ безчисленныхъ тогдашнихъ латинскихъ журналовъ, какъ небо отъ земли: въ латинскихъ журналахъ господствовалъ мракъ педантизма, проповѣдывались всѣ дубовыя предрасудки, укоренившіеся въ одичавшихъ за пустыми преніями головахъ,—въ журналѣ Томазіуса слышался голосъ здравогомыслящаго человѣка, думающаго не о томъ, чтобы затуманить читателямъ глаза мелочнымъ гелертерствомъ, а о томъ, чтобы прояснить ихъ понятія, сдѣлать ихъ также людьми здравомыслящими.

Философія и тогда, какъ въ средніе вѣка, продолжала въ Германіи быть основною наукою всѣхъ наукъ. Томазіусъ хотѣлъ излагать ее на нѣмецкомъ языкѣ; но это намѣреніе показалось ученому

*) Scherz-und ernsthafte, vernünftige und einfältige Gedanken über allerhand nützliche Bücher und Fragen. Подѣли: Freimüthige, lustige und ernsthafte, jedoch Vernunft-und Gesetzmässige Gedanken oder Monatsgespräche über allerhand, vornehmlich aber neue Bücher.

люду столь дерзкимъ и опаснымъ, что нѣмецкое руководство Томазіуса къ философіи не было разрѣшено къ печатанію, какъ оскорбительное для достоинства науки. Только черезъ много лѣтъ, въ Галле, гдѣ Томазіусъ успѣлъ пріобрѣсти себѣ нѣсколькихъ приверженцевъ, удалось ему издать эту книгу.

Какъ были въ то время люди, которыхъ Томазіусъ хотѣлъ изъ латинскихъ схоластиковъ сдѣлать нѣмецкими писателями, показываетъ ужь то одно обстоятельство, что этотъ знаменитый юристъ долженъ былъ читать лекціи о нѣмецкомъ слогѣ, заставлялъ своихъ слушателей подавать ему маленькія упражненія въ нѣмецкомъ языкѣ, поправлялъ слогъ этихъ упражненій, даже заставлялъ молодыхъ людей читать передъ собою въ слухъ по нѣмецки, — словомъ, дѣлать то самое, что дѣлаютъ нынѣ учителя грамматики въ приходскихъ училищахъ.

Онъ постоянно указывалъ своимъ слушателямъ и читателямъ на французовъ, объясняя, до какой степени этотъ народъ выше французовъ по своему умственному развитію и гуманности своихъ обычаевъ. Самая мысль о необходимости писать для нѣмцевъ по нѣмецки, а не по латынѣ, была утверждена въ Томазіусѣ примѣромъ французовъ. Онъ настоятельно требовалъ, чтобы его слушатели учились французскому языку, читали французскія книги: вы тогда научитесь презирать мертвое педантство — говорилъ онъ — нравы ваши смягчатся, сближеніе съ французской образованностью разовьетъ вашъ умъ.

Нѣмцы не были еще въ то время приготовлены вполне воспользоваться этою частью его наставленій: французское вліяніе на массу долго еще ограничивалось чистоформальнымъ подражаніемъ. Но и тогда уже являлись отдѣльныя личности, развитію которыхъ французская литература приносила существенную пользу; число такихъ личностей съ теченіемъ времени увеличивалось, они оказывали полезное вліяніе на окружающую ихъ среду. Наконецъ на прусскомъ престолѣ явился ученикъ новой французской литературы и справедливо былъ названъ великимъ, не за одну свою геніальность, но и за тѣ блага, которыми наслаждались подъ его правленіемъ его подданные, за свою заботливость о народномъ благѣ, за свои возвышенныя понятія объ обязанностяхъ правителя.

Но другая цѣль, къ которой стремится Томазіусъ, была имъ достигнута вполне: онъ успѣлъ убѣдить своихъ современниковъ въ

необходимости замѣнить педантскую латынь понятнымъ для народа роднымъ языкомъ. По примѣру его «Ежемѣсячныхъ Разговоровъ» возникло множество нѣмецкихъ журналовъ; скоро историки, юристы, потомъ и философы, стали предпочитать нѣмецкій языкъ латинскому въ своихъ сочиненіяхъ; число профессоровъ, читавшихъ лекціи по нѣмецки, быстро увеличивалось; въ гимназіяхъ преподаваніе на нѣмецкомъ языкѣ распространилось еще быстрѣе.

Сближеніе съ образованнѣйшими странами, Франціею, Англіею, Германіею не было еще такъ тѣсно, чтобы оказывать прямое благотѣльное вліяніе на всю массу общества. Но являлись уже между спеціальными учеными люди, стоявшіе въ уровень съ требованіями вѣка. Правда, число ихъ было очень незначительно, они оставались еще рѣдкими исключеніями изъ общаго правила,—но все-таки явленіе ихъ доказывало возможность нѣмцу быть человекомъ, стоящимъ наравнѣ съ образованными людьми народовъ, опередившихъ въ развитіи его націю. Являлись даже великіе ученые, двигавшіе науку впередъ, между тѣмъ, какъ прежде педанты тратили свое время на безплодныя схоластическія пренія. Первымъ изъ этихъ людей былъ Лейбницъ. Современникомъ Лессинга былъ Винкельманъ, нѣсколько старше его былъ Гейне, обновившій изученіе древнихъ языковъ, сдѣлавшій классическую филологію наукою о древнемъ мірѣ, изъ науки, руководившей единственно къ педантической болтовнѣ на искаженномъ латинскомъ языкѣ. Шпальдингъ, Землеръ, Михаэлисъ, трудами которыхъ началась новая эпоха въ протестантской теологіи, были современники Лессинга. Реймарусъ былъ нѣсколько старше его. Шлѣцеръ, знаменитый въ исторіи нѣмецкаго просвѣщенія не менѣе, нежели въ русской исторіографіи, былъ нѣсколько моложе Лессинга. Его имя у насъ достаточно знакомо, и мы скажемъ только, что журналъ, который этотъ благородный и безстрашный человекъ сталъ, по возвращеніи изъ Россіи, издавать въ Германіи, былъ грозою всѣхъ беззаконниковъ, терзавшихъ Германію. Но мы должны остановиться на другомъ писателѣ, современномъ Лессингу, Мозерѣ, имя котораго у насъ мало извѣстно, хотя въ старину было у насъ переведено его знаменитое сочиненіе «Владыка и Служитель». Подобно Шлѣцеру, онъ имѣлъ сильное вліяніе на пробужденіе нѣмецкой публики изъ ея вѣковой апатіи, и его имя не должно быть опускаемо, когда говорится о возрожденіи Германіи.

По своему слогу и вообще по всему характеру изложенія, Мозеръ принадлежитъ къ писателямъ прежней эпохи: онъ оставался чуждъ близкихъ литературныхъ сношеній съ Лессингомъ и его сподвижниками, и, говоря о дѣятельности Лессинга, мы не будемъ имѣть случая упоминать о немъ. Потому скажемъ о немъ нѣсколько словъ здѣсь. Мозеръ писалъ устарѣлымъ и дурнымъ слогомъ, потому указываемъ на старинный русскій переводъ знаменитѣйшей изъ его книгъ «Владыка и служитель», чтобы познакомить съ характеромъ его сочиненій читателей, не имѣвшихъ случая познакомиться съ ними въ подлинникѣ. Переводъ этотъ, изданный въ 1766 году, посвященъ Императрицѣ Екатеринѣ II. Русскій слогъ почтеннаго переводчика до нѣкоторой степени соответствуетъ нѣмецкому слогу автора. Содержаніе сочиненія писатели новой школы уже и въ то время находили не совершенно удовлетворительнымъ: средства, которыми Мозеръ хочетъ помочь описываемымъ злоупотребленіямъ—совѣты и нравственные сентенціи—считали они недостаточными, или, лучше сказать, совершенно безсильными; нѣмецкіе историки литературы находятъ, что и критическая часть книги написана очень робко, намеки на порядокъ дѣлъ въ томъ или другомъ нѣмецкомъ владѣніи слишкомъ общи и темны. Но въ свое время она, подобно другимъ сочиненіямъ Мозера, принесла пользу развитію той части публики, для которой слишкомъ высоки были сочиненія, написанныя лучшимъ языкомъ. Мозеръ не удовлетворялъ людей образованныхъ, но для людей не болѣе какъ только знавшихъ грамотѣ онъ былъ хорошимъ писателемъ.

Въ собственно такъ называемой литературѣ около половины XVIII вѣка также начали являться писатели—поэты и критики—новаго направленія, съ дѣльными понятіями о литературѣ, съ живымъ содержаніемъ, — сюда относятся особенно Вейсе, Рамлеръ, Николаи, Клейстъ. Всѣ они были или сподвижниками, или учениками Лессинга, и мы часто будемъ встрѣчать ихъ имена въ его біографіи, и тогда ближе познакомимся съ ихъ направленіемъ и силами.

Всѣ эти явленія показываютъ, что преобразование и оживленіе нѣмецкой литературы было необходимо. Сближеніе нѣмцевъ съ образованнѣйшими націями было уже такъ тѣсно, что слѣдствія знакомства не могли ограничиваться однимъ пустымъ формальнымъ подражаніемъ: умственная жизнь должна была подвергнуться рѣ-

шительнымъ перемѣнамъ; но — какъ и когда произойдетъ эта реформа, въ какихъ границахъ и съ какою силою совершится она? Это было рѣшено появленіемъ Лессинга.

.

Не отъ появленія Лессинга, какъ мы видѣли, зависѣло то, оживится ли, или будетъ погрязать въ прежней мертвой апатіи нѣмецкій народъ. Великое событіе приближалось неотвратимо и неизбежно. Но безъ него медленно, беспорядочно совершилось бы то, что при его помощи совершилось быстро, рѣшительно и гармонически. Не было силы въ мірѣ, которая могла бы ослѣпить и оглушить нѣмцевъ такъ, чтобы они не видѣли того, что дѣлается, не слышали того, что говорится въ Англіи, Франціи, Голландіи. Не было силы въ мірѣ, которая могла бы удержать ихъ отъ сближенія съ болѣе образованными и болѣе счастливыми націями; не было силы въ мірѣ, которая могла бы уничтожить необходимость рѣшительнаго измѣненія въ жизни нѣмецкаго народа, когда онъ довольно познакомился съ новымъ и лучшимъ порядкомъ жизни у другихъ націй. Роковое событіе не зависѣло отъ присутствія или отсутствія личности Лессинга.

Но какимъ путемъ, какою силою совершится оно? Силою ли военныхъ событій, законодательныхъ и административныхъ мѣръ, силою ли чистой науки или вліяніемъ литературы? Фридрихъ Великій, мудрый правитель геніальный полководецъ, сидѣлъ на престолѣ одного изъ сильнѣйшихъ нѣмецкихъ государствъ; черезъ нѣсколько времени, главою имперіи явился одинъ изъ благороднѣйшихъ и благонамѣреннѣйшихъ людей въ исторіи, человекъ, единственною мыслію котораго было благо подвластныхъ ему народовъ, государь, какого не видѣла земля, быть можетъ, со временъ Марка Аврелія. Казалось, возрожденіе націи должно совершиться чрезъ этихъ государей, путемъ завоеванія и административныхъ реформъ при Фридрихѣ, путемъ законодательныхъ реформъ при Иосифѣ II — и, однако же, оно не совершилось этими путями, — почему не совершилось ими, не мѣсто здѣсь говорить о томъ, — быть можетъ, потому, что въ новой исторіи вообще оказываются безсильными тѣ личности, которыя, слишкомъ полагаясь на свою силу, не ищутъ помощи своему начинанію въ самостоятельной дѣятельности всей

массы народа. Оставалось для возрожденія два пути: путь науки и путь литературы. Наука начала совершать свое дѣло, но она дѣйствуетъ медленно; нѣсколько поколѣній должны были бы смѣниться, пока чистое знаніе проникло бы въ жизнь.

Ускорится ли совершеніе этого дѣла вмѣшательствомъ литературы, этой быстрой посредницы между знаніемъ и жизнью? Тутъ уже все зависѣло оттого, явятся ли въ литературѣ геніальные дѣятели, которые вѣрно и сильною рукою поведутъ и направятъ литературу къ исполненію великаго дѣла, совершеніе котораго представлялось ей безсиліемъ военныхъ, законодательныхъ и административныхъ попытокъ возрожденія.

Явился въ Германіи поэтъ съ великимъ талантомъ—Клопштокъ. Всему благородному, повидимому, сочувствовалъ онъ, всего великаго и прекраснаго хотѣлъ онъ; но—вина ли то воспитанія, вина ли суетныхъ заботъ о собственномъ безсмертіи, вина ли его болѣзненной организаціи, вина ли его разсудка, не довольно проникательнаго и свѣтлаго—онъ, снискавъ чистую и громкую славу своему имени, не могъ ничего сдѣлать для своего народа. Передъ нимъ всѣ преклонились; но только немногіе читатели его, и изъ читавшихъ никто ничему не научился отъ него, или, вѣрнѣе сказать, кто читалъ его, тотъ или осуждалъ его направленіе, или увлекался на ложный путь, впадалъ въ бесплодную сентиментальность, въ туманныя грезы и дѣлался челоуѣкомъ, чуждымъ жизни, вреднымъ въ жизни. Мы встрѣтимся въ біографіи Лессинга съ Клопштокомъ и его послѣдователями или союзниками и тамъ найдемъ доказательства этому печальному сужденію. Итакъ, отъ Клопштока нѣмецкій народъ не могъ ожидать ничего, кромѣ суетнаго удовольствія считать у себя одною знаменитостью больше.

Оставались люди, бывшіе въ послѣдствіи очень полезными, какъ сотрудники Лессинга; но мы увидимъ, что это были люди второстепенныхъ дарованій, съ хорошими стремленіями, но безъ яснаго сознанія, какъ и что нужно дѣлать,—люди съ хорошими убѣжденіями, но безъ вѣрнаго такта, безъ твердаго и послѣдовательнаго образа мыслей,—люди, которыхъ дѣятельность, во всякомъ случаѣ, была бы не бесполезна, но которые не имѣли силы совершить ничего великаго и содѣйствовать совершенію чего нибудь важнаго могли только подъ руководствомъ геніальнаго челоуѣка, который указывалъ бы имъ дорогу, соединялъ бы и направлялъ ихъ усилія.

Кромѣ Лессинга не было въ нѣмецкой литературѣ человѣка, который могъ бы дать ей рѣшительное и плодотворное вліяніе на судьбу нѣмецкаго народа. Будетъ или не будетъ нѣмецкая литература сильнѣйшею двигателницею народной жизни, ускорится ли ея вмѣшательствомъ развитіе народа, или предоставлено будетъ только медленному дѣйствію чистой науки—разрѣшеніе этого вопроса совершенно зависѣло оттого, будетъ ли между нѣмецкими литераторами Лессингъ, т. е. будетъ ли геніальный человѣкъ, который вѣрно пойметъ положеніе и потребности своего народа, постигнетъ всю важность, которая должна имѣть литература для его жизни, твердо и рѣшительно укажетъ литературѣ, что и какъ должна она дѣлать, который, руководя дѣятельностью другихъ, самъ геніальными произведеніями доставитъ литературѣ преобладающую важность между предметами, возбуждающими интересъ въ своемъ народѣ, сдѣлаетъ литературу средоточіемъ національной жизни.

Въ совершеніи этого дѣла величіе Лессинга.

Онъ доставилъ нѣмецкой литературѣ силу быть средоточіемъ народной жизни и указалъ ей прямой путь, онъ ускорилъ тѣмъ развитіе своего народа.

Это опредѣленіе границъ историческаго значенія Лессинга необходимо для того, чтобы предохранить себя отъ безграничнаго превознесенія его: въ самомъ дѣлѣ, личность этого человѣка такъ благородна, величественна и вмѣстѣ такъ симпатична и прекрасна, дѣятельность его такъ чиста и сильна, вліяніе его такъ громадно, что чѣмъ болѣе всматриваешься въ черты этого человѣка, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе проникаешься безусловнымъ уваженіемъ и любовью къ нему. Геніальный умъ, благороднѣйшій характеръ, твердость воли, пылкость и нѣжность души, сердце, открытое сочувствію ко всему, что прекрасно въ мірѣ, сильныя, но чистыя страсти, жизнь безъ тѣни порока или упрека, полная борьбы и дѣятельности, — все, чѣмъ можетъ быть прекрасенъ и великъ человѣкъ, соединялось въ немъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Семейство Лессинга.—Происхождение его рода.—Дѣтство Лессинга.—Мейсенская школа.—Поздравительная рѣчь отцу.—Лейпцигскій Университетъ.—Неаккуратность Лессинга въ посѣщеніи лекцій.—Дружба съ Миллусомъ.—Первыя литературныя произведенія.—Страсть къ театру.—Лессингъ пишетъ для сцены.—Неудовольствіе родныхъ.—Возвращеніе въ Каменецъ.—Переселеніе въ Берлинъ *).

1729—1752.

Въ Верхне-Лужицкомъ округѣ Саксонскаго курфиршества, въ небольшомъ городкѣ Каменцѣ, должность первенствующаго пастора (pastor primarius) занималъ во второй четверти прошедшаго столѣтія Іоганнъ-Готтфридъ Лессингъ, человѣкъ, пользовавшійся пріязнью многихъ знаменитыхъ богослововъ того времени за свои теологическіе труды, общимъ уваженіемъ за непоколебимую честность своихъ правилъ, любовью каменецкихъ бѣдняковъ за свою благотворительность. Мѣсто первенствующаго пастора получилъ онъ, какъ бы по наслѣдству, послѣ тестя своего Феллера, съ дочерью котораго, Юстиною-Саломією, жилъ онъ долго, тихо и счастливо. Богъ благословилъ этотъ бракъ: у Готтфрида и Юстины Лессингъ было двѣ дочери и десятеро сыновей. Изъ сыновей, старшій, Готтгольдъ-Эфраимъ, родившійся 22 января 1729 года, про-

*) Біографія Готтгольда-Эфраима Лессинга написана его братомъ Карломъ Лессингомъ. Вездѣ, гдѣ то возможно, мы слѣдуемъ этому безыскусственному разсказу и очень часто переводимъ его буквально.—Новѣйшая и очень полная біографія Лессинга начата Данцелемъ и, по смерти его, докончена Гурауэромъ (G. E. Lessing, von Th. W. Dausel. I Band. 1850.—II ter Bd. von G. E. Guhrauer. 1854). Относительно взгляда на характеръ и произведенія Лессинга мы почти постоянно слѣдуемъ сужденіямъ Шлѣцера.

славилъ имя Лессинговъ, много и честно послуживъ своими великими талантами на благо своего народа.

Фамилія «Лессингъ» имѣетъ нѣмецкое окончаніе, но не объясняется нѣмецкимъ языкомъ; напротивъ, каждому славянину легко увидѣть корень ея въ общеславянскомъ словѣ «лѣсъ». Городъ Каменецъ, родина Лессинга, хотя имѣлъ уже тогда нѣмецкую фізіономію, носить чисто славянское имя и лежитъ нынѣ на границѣ земли, населяемой остатками многочисленнаго въ древности племени лужицкихъ славянъ. Число ихъ и объемъ земли лужицкаго нарѣчія постепенно уменьшались до послѣдняго времени, и сто лѣтъ тому назадъ Каменецъ, вѣроятно, со всѣхъ сторонъ былъ еще окруженъ населеніемъ, говорившимъ по славянски: всѣ эти данныя возбудили въ западныхъ славянскихъ ученыхъ рѣшимость назвать Лессинга нашимъ соплеменникомъ. Не мѣшаетъ вѣроятности этого притязанія ни нѣмецкое окончаніе фамиліи—«Лессингъ» легко можетъ быть сочтено только измѣненіемъ слова «лѣсникъ» по обычаю нѣмецкаго выговора—ни тотъ фактъ, что въ лужицкомъ Каменцѣ поселился только дѣдъ Эфраима, Теофилъ, а предки его жили въ другихъ сторонахъ Саксоніи,—именно первый изъ Лессинговъ, имя котораго сохранилось въ актахъ, Клеменсъ (Климентъ) Лессингъ, былъ пасторомъ въ одномъ изъ приходовъ Хемницкаго округа въ Саксонскомъ курфиршестѣ,—это не мѣшаетъ вѣроятности славянскаго происхожденія фамиліи Лессинговъ: всѣ саксонскія земли были первоначально населены славянами. Но съ того времени, какъ извѣстна эта фамилія по актамъ, съ 1580 года, когда Клеменсъ Лессингъ подписалъ, въ числѣ другихъ пасторовъ, лютеранскій символъ, Лессинги являются уже чистыми нѣмцами, и нѣмцу Готтгольду-Эфраиму славянская національность была столько же чужда, какъ французенкѣ Аврорѣ Дюдеванъ чужда нѣмецкая національность, хотя предкомъ этой писательницы и былъ Августъ курфирстъ Саксонскій.

Изъ потомковъ Клеменса Лессинга одни были пасторами, другіе купцами въ разныхъ маленькихъ городахъ или арендаторами. Родъ великаго писателя, какъ видимъ, не отличался ни знатностью, ни богатствомъ. Отецъ Готтгольда-Эфраима былъ даже человѣкомъ положительно бѣднымъ. Мѣсто первенствующаго пастора считалось довольно почетнымъ уѣздному масштабу, Іоганнъ-Готтфридъ былъ первымъ лицомъ въ каменецкомъ обществѣ (если можно говорить

о каменецкомъ обществѣ), но доходы съ этого почетнаго мѣста оказывались, при всей бережливости родителей, недостаточными для поддержанія ихъ многочисленнаго семейства въ благосостояніи. Однакожь, несмотря на скудость средствъ, каменецкій пасторъ, бывшій самъ человѣкомъ ученымъ, въ молодости даже рассчитывавшій сдѣлаться профессоромъ въ Виттенбергскомъ Университетѣ, непремѣнно хотѣлъ, чтобъ и дѣти его были учеными людьми: «онъ совершенно пожертвовалъ собою для того, «чтобы дать хорошее ученое образованіе сыновьямъ (говорить Карлъ Лессингъ) и, чтобы содержать ихъ въ училищахъ и университетахъ, отказывалъ себѣ въ удобствахъ жизни, которыми пользуется бѣднѣйшій ремесленникъ. Денегъ не доставало, и онъ ограничивалъ себя во всемъ, и хотя былъ темперамента довольно вспыльчиваго, но никогда не скупчалъ этими лишеніями, развѣ-развѣ когда скажетъ: нашему брату, пастору, нынѣ трудно жить, особенно тому, у котораго много дѣтей. Онъ отдавалъ дѣтямъ, можно сказать, послѣдній свой грошъ, и отдавалъ съ готовностію, какой мало найдется примѣровъ на на свѣтѣ». Эту готовность жертвовать всѣмъ для дѣтей раздѣляла и жена его, женщина, не отличавшаяся блестящими качествами, но добрая. Когда Готтгольдъ-Эфраимъ передъ свадьбою описывалъ сестрѣ свою невѣсту, онъ не нашелъ ничего лучшаго сказать въ похвалу ея характеру, какъ то, что она будетъ, конечно, жить съ нимъ такъ, какъ мать его жила съ его отцомъ. Нравы въ семействѣ были чисто патріархальныя; одинъ день шелъ за другимъ тихо и монотонно.

Воспитаніе Готтгольда-Эфраима въ родительскомъ домѣ также было патріархальное, въ духѣ строгаго лютеранства. Какъ только ребенокъ началъ лепетать, его уже учили повторять молитвы вслѣдъ за старшими. На четвертомъ году онъ уже хорошо зналъ основныя догматы лютеранскаго исповѣданія, читалъ библію и лютеровъ катехизисъ. Семья каждое утро и каждый вечеръ собиралась на общую молитву, и мальчикъ рано выучилъ на память множество духовныхъ гимновъ, входящихъ въ составъ лютеранскаго молитвенника.

По семейнымъ преданіямъ, въ немъ рано раскрылась страсть къ книгамъ и ученю. Говорятъ, что когда одному знакомому живописцу вздумалось снять портретъ съ пятилѣтняго ребенка и нарисовать его съ кѣткою въ рукѣ, малютка съ досадою сказалъ: «на-

присуйте меня съ большою, большою кучею книгъ, или вовсе не присуйте». Живописецъ согласился, и анекдотъ о необыкновенной просьбѣ маленькаго Эфраима долго былъ рассказываемъ его отцомъ и матерью каждому новому гостю и остался навсегда однимъ изъ семейныхъ воспоминаній. Родители также часто рассказывали младшимъ своимъ дѣтямъ, что Готтгольдъ-Эфраимъ учился съ большою охотою и очень легко все понималъ, и что самую любимую его забавою было возиться съ книгами.

Отецъ самъ училъ его; но нѣкоторое время давалъ ему, кромѣ того, уроки нѣкто Милиусъ, съ братомъ котораго Лессингъ въ послѣдствіи очень подружился. Чѣмъ больше росъ мальчикъ, тѣмъ сильнѣе обнаруживались въ немъ дарованія и любознательность. Это много-много утѣшало родителей, говорить его брать: на двѣнадцатомъ годѣ они рѣшились отдать его въ Мейссенскую княжескую школу, нѣчто соответствующее тѣмъ изъ нашихъ гимназій, въ которыхъ всѣ ученики должны жить въ пансіонѣ. Въ выборѣ Мейссенской школы отецъ и мать руководились какъ хорошею славой этого заведенія въ ученomъ отношеніи, такъ и необходимостью воспитывать сына на казенномъ содержаніи, при недостаточности собственныхъ средствъ. Но въ школу не принимали дѣтей ранѣе тринадцатилѣтняго возраста, и потому Лессингъ былъ показанъ годомъ старше, нежели сколько было ему на самомъ дѣлѣ.

Интересно познакомиться съ устройствомъ этой школы, считавшейся образцовою, чтобы видѣть, въ какомъ состояніи находилось школьное образованіе въ Германіи лѣтъ сто-двадцать тому назадъ. Это описаніе какъ бы переноситъ насъ изъ XVIII столѣтія въ XVI. Братъ Лессинга съ обычнымъ своимъ добродушіемъ смотритъ на школу съ наивыгоднѣйшей точки зрѣнія и старается убѣдить насъ, что дѣло образованія велось въ ней очень недурно.

«Княжеская школа (говорить онъ) не была свободна отъ недостатковъ, общихъ училищамъ того времени. Но гдѣ вы найдете училище, въ которомъ не было бы замѣтно недостатковъ? Важнѣе и лучше всего было въ ней то, что воспитанники не развлекались заботами о своемъ содержаніи; дѣти знатныхъ и простолюдиновъ, богатыхъ и бѣдныхъ пользовались въ Мейссенской школѣ одинаковою пищею, одинаковыми удобствами помѣщенія, уроками однихъ и тѣхъ же воспитателей; сто двадцать юношей беззаботно жили вмѣстѣ, и скоро между учениками водворялась короткость. Въ школѣ

ни слуху, ни помину не было о тѣхъ разсѣяніяхъ, которыя такъ много вреда наносятъ пылкой и неопытной молодежи въ большихъ городахъ; въ нее не проникали мелочныя дразги высшего или низшаго общества. Въ школѣ занимались Элладою и Лаціумомъ болѣе, нежели Саксонією; по латини говорили лучше, нежели по французски; молились очень много, но ханжили очень мало. Прилежный, даровитый, добрый ученикъ былъ почти всегда цѣнимъ своими товарищами,—не всегда учителями, которыхъ, впрочемъ, никто не обвинялъ за то въ пристрастіи. Воспитанники только гордились про себя, что превзошли учителей проникательностью. На первый взглядъ казалось, что въ Мейссенской школѣ нельзя было выучиться ничему, кромѣ латинскаго и греческаго языковъ; но кто ближе знакомъ съ устройствомъ ея, найдетъ упрекъ этотъ несправедливымъ. Если латинскимъ и греческимъ языками занимались слишкомъ много и при объясненіи греческихъ и римскихъ писателей обращали болѣе вниманія на слова, чѣмъ на мысли, то это была случайность зависѣвшая не отъ правилъ школы, но отъ незнанія или предубѣжденія того или другаго учителя, который не хотѣлъ соединять съ словами смысла. Даже философскими и математическими науками занимались въ школѣ серьезно; учили французскому и итальянскому языкамъ, рисованью, музыкѣ и танцованью. Если и было закономъ, или, скорѣе, обычаемъ, уроки изъ послѣднихъ предметовъ давать только въ рекреационныя часы, то развѣ только очень немногіе изъ учителей считали эти предметы пустыми; другіе хотѣли только, чтобы древніе языки сохраняли, такъ сказать, преимущество надъ французскимъ и надъ изящными искусствами. Въ этой монастырской школѣ Лессингъ провелъ цѣлыя пять лѣтъ и, какъ часто говорилъ, ей одной былъ обязанъ тѣмъ, если приобрѣлъ какую нибудь ученость и основательность».

Посмотримъ же ближе на эту школу, которая въ то время считалась одною изъ лучшихъ.

Ученики были подчинены другъ другу строгимъ чиноположеніемъ *). Въ каждомъ номерѣ жило четыре воспитанника: одинъ изъ старшаго класса (*primanus*) былъ комнатнымъ надзирателемъ за своими товарищами; помощникомъ его въ этомъ дѣлѣ былъ другой, изъ втораго класса (*secundanus*); два остальные изъ младшихъ

*) Данцель.

классовъ, третьяго и четвертаго, ни за чѣмъ уже не надзирали, а были только предметами надзора. Когда ученики переходили изъ своихъ комнатъ въ классныя залы, они подчинялись новому чиновначалію: на каждой скамьѣ былъ декуріонъ, наблюдавшій за остальными товарищами, сидѣвшими на этой скамьѣ. Двѣнадцать первыхъ учениковъ старшаго класса наблюдали за товарищами во время стола и на прогулкахъ, нося титулы столовыхъ и дворовыхъ наблюдателей. Этого не довольно: каждый изъ учителей поочередно жилъ недѣлю въ школѣ, исправляя должность гебдомадарія,—недѣльнаго надзирателя за всею ученическою іерархіею,—и въ свой чередъ доносилъ обо всемъ конференціи преподавателей, собиравшейся разъ въ недѣлю.

Строгое благочестіе блюлось порядкомъ школы. На молитву было назначено болѣе трехъ часовъ въ день,—всего втеченіе недѣли 25 часовъ. Во время обѣда одинъ изъ учениковъ читалъ отрывки изъ Ветхаго Завѣта.

Школа имѣла два отдѣленія: старшее и младшее; каждое отдѣленіе дѣлилось на два класса, которые слушали уроки вмѣстѣ, кромѣ только «эмендаціи»—классовъ посвященныхъ на исправленіе латинскихъ и греческихъ сочиненій учениковъ: тутъ у каждого класса были свои особенныя задачи и лекціи. Въ младшемъ отдѣленіи уроки распредѣлялись такимъ образомъ: законъ Божій 5 часовъ; латинскій 15 часовъ; греческій—4; французскій языкъ, математика, исторія и географія по часу или по два, всего 7 часовъ. Въ старшемъ отдѣленіи также 5 часовъ были заняты закономъ Божиимъ, 15 латинскимъ и 4 часа греческимъ языкомъ; съ латинскими уроками соединялись уроки (латинской) реторики и просодіи. Три часа занималъ еврейскій языкъ, по два часа математика и исторія, одинъ часъ географія. Такимъ образомъ, большая половина времени употреблялась на латинскій языкъ; всѣ остальные предметы, кромѣ закона Божія и греческаго языка, считались ничтожными сравнительно съ этимъ главнымъ. Въ преподаваніи же латинскаго языка важнѣйшимъ дѣломъ считалось не чтеніе древнихъ писателей, а упражненіе въ сочиненіяхъ на заданныя темы, исправленію которыхъ учитель и посвящалъ большую часть уроковъ. Только за успѣхи въ латинскихъ сочиненіяхъ ученикъ цѣнился школьнымъ начальствомъ,—и оно гордилось тѣмъ, что изъ школы выходило много людей, умѣвшихъ писать латинскіе стихи. Родной языкъ

былъ въ совершенномъ пренебреженіи: ему, какъ видимъ, не было дано ни одного часа ни въ одномъ классѣ школы; чтеніе нѣмецкихъ книгъ считалось предосудительнымъ для воспитанниковъ, потому что могло повредить исключительному занятію ихъ латынью.

Полный курсъ школы обнималъ шесть лѣтъ, такъ что въ каждомъ отдѣленіи ученики обыкновенно проводили по три года, и если кто изъ нихъ успѣвалъ, переходя каждый семестръ изъ одной декуріи въ другую, старшую, изъ одного класса въ другой, достигъ высшаго класса и прослушать весь курсъ ранѣе опредѣленныхъ шести лѣтъ, то все-таки оставался въ школѣ и продолжалъ слушать уроки до истеченія шестилѣтняго срока. О томъ, что эта задержка нimalo не нужна ему, никто не заботился: пусть утвердится въ хорошемъ латинскомъ слогѣ, говорили начальники школы, и родители совершенно соглашались съ такимъ полезнымъ правиломъ.

Словомъ сказать, Мейссенская княжеская школа, подобно всѣмъ другимъ нѣмецкимъ школамъ того времени, была исключительно школою средневѣковаго латинскаго педантства. Образъ жизни, порядокъ и духъ преподаванія, распредѣленіе классныхъ занятій,— все въ ней сохранилось по образу и подобию среднихъ вѣковъ.

Не въ натурѣ Лессинга было удовлетвориться и проникнуться этимъ направленіемъ: двѣнадцатилѣтній мальчикъ сначала поддался было ему и приобрѣлъ любовь учителей, быстро переходилъ изъ класса въ классъ, считался превосходнѣйшимъ ученикомъ, — но свѣтлый умъ рано развился въ немъ, онъ увидѣлъ пустоту латинской стилистики, тѣмъ болѣе, что скоро постигъ всѣ ея мудрости, сталъ заниматься самостоятельно, пренебрегая латинскими темами, писать которыя было ему уже легко, — и тогда начальство стало жалѣть о томъ, что юноша съ такими быстрыми способностями губить свое время и погубить себя. «Этому коню нужно задавать двойную порцію корма», говорили начальники: «онъ ужъ научился у насъ всему, чему можетъ научить наша школа», прибавляли они—и все-таки жалѣли о томъ, что онъ занимается другими предметами, кромѣ латинскаго языка, и все-таки настаивали на томъ, чтобъ онъ досидѣлъ на школьной скамьѣ опредѣленный шестилѣтній терминъ, хотя всѣ курсы были уже давно пройдены имъ.

Лессингъ поступилъ въ Мейссенскую школу 21 іюня 1741 года, и черезъ сто лѣтъ, въ 1841 году, школа торжествовала юбилей дня, когда вступилъ въ нее ученикъ, прославившій мѣсто своего воспи-

танія, но не успѣвшій, по мнѣнію тогдашнихъ своихъ наставниковъ кончить курсъ какъ слѣдуетъ хорошему ученику.

Сначала, однако же, какъ мы говорили, дѣло шло хорошо. Во второмъ классѣ Лессингъ былъ первымъ ученикомъ и черезъ полгода, на семнадцатомъ году, переведенъ былъ въ слѣдующій, послѣдній классъ; но тутъ—увы! онъ рѣшительно началъ губить себя во мнѣніи мудрыхъ преподавателей. «Пока Лессингъ все свободное время употреблялъ исключительно на чтеніе классиковъ и на сочиненіе латинскихъ разсужденій и стиховъ (говорить его братъ), онъ оставался любимцемъ конректора Гере, который уважалъ только филологію и теологію. Но какъ скоро этотъ ученый мужъ узналъ, что Лессингъ началъ заниматься также новыми языками и математикою, онъ сталъ считать его разсѣяннымъ юношей, изъ котораго не выйдетъ проку».

Ученикъ, переросшій головою своихъ учителей, чувствовалъ, что ему нечего дѣлать въ школѣ, и настоятельно упрасивалъ отца позволить ему выйти изъ школы, говоря, что давно уже онъ достаточно приготовленъ къ слушанію университетскихъ лекцій; но, по правилу шестигодичнаго термина, ему оставалось пробыть въ школѣ еще года полтора, и отецъ медлилъ согласіемъ. Но тутъ произошло столкновеніе, въ сущности вздорное, однако же, помогшее Лессингу побѣдить нерѣшительность отца, хотя и вовсе непріятнымъ для родительскаго сердца образомъ.

Въ школѣ, какъ мы уже знаемъ, было правиломъ, чтобы каждый изъ наставниковъ поочередно дежурилъ недѣлю въ комнатахъ воспитанниковъ, или, какъ тогда называли это, былъ *hebdomadarius*’омъ. По воскресеньямъ *) всѣ наставники собирались для совѣщанія объ училищныхъ дѣлахъ. Въ эту конференцію призывались лучшіе двѣнадцать учениковъ, надзиравшіе за товарищами, *inspectores*; они отдавали отчетъ за прошедшую недѣлю и выслушивали распоряженія на будущую недѣлю,—это называлось *sensura*. Въ числѣ *inspectores* былъ и Лессингъ. Въ одну изъ такихъ ценсуръ, ректоръ спросилъ, почему ученики на прошедшей недѣлѣ, когда *hebdomadarius* былъ конректоръ Гере, поздно приходили на молитву. Всѣ *inspectores* молчали, а Лессингъ шепнулъ на ухо стоявшему подлѣ него товарищу: «Я знаю, почему». Ректоръ разслы-

*) Биографія, написанная братомъ Лессинга.

шавшій эти слова, приказалъ Лессингу сказать громко, что жь онъ знаетъ, Лессингъ не хотѣлъ говорить, но его заставили, и онъ сказалъ: «Г. Конректоръ опаздываетъ, потому и ученики думаютъ, что незачѣмъ приходитъ рано». Конректоръ не нашелся ничего возразить и проговорилъ только: *Admirabler Lessing*: «дивный Лессингъ!» прозваніе, съ той поры оставшееся за ученикомъ между его товарищами. Но простить ученику этой улики Гёре не могъ: онъ былъ глубоко оскорбленъ, такъ что, когда черезъ нѣсколько лѣтъ привезли въ школу одного изъ младшихъ братьевъ Лессинга. Гёре, принимая его, сказалъ: «Ну, съ Богомъ, учись прилежно, только не умничай, какъ братъ».

Послѣ неожиданной ссоры съ начальникомъ, Лессингъ сталъ еще настоятельнѣе просить отца о томъ, чтобы перейти изъ школы въ университетъ. Отецъ, вѣроятно, видѣлъ, что сыну, въ самомъ дѣлѣ, тяжело оставаться въ Мейссенѣ; какъ бы то ни было, но вскорѣ, 8 іюня 1746 года Лессингу было, по просьбѣ отца, разрѣшено высшимъ училищнымъ начальствомъ курфиршества выйти изъ школы слишкомъ годомъ ранѣе обыкновеннаго срока, но съ аттестатомъ объ окончаніи курса.

Какъ любопытный примѣръ того, до какой нелѣпой крайности доходилъ тогда въ Германіи бюрократическій порядокъ, по которому всё дѣла, даже самыя пустѣйшія и ничтожнѣйшія, производились не иначе, какъ съ разрѣшенія и усмотрѣнія высшей власти, замѣтимъ, что дѣло объ увольненіи гимназиста изъ гимназіи требовало курфиршескаго рескрипта.

«Мы, Фридрихъ Августъ, курфирстъ и проч.

«Разсмотрѣвъ просьбу *Pastoris primarii* въ Каменцѣ, Іог.-Готтфр. Лессинга (и т. д.), повелѣваемъ (и т. д.), почему и выдать ему (и т. д.)...

«Быть по сему.

«Дано въ Дрезденѣ, 8 іюня 1746 года».

Наивный Гёре былъ недоволенъ пренебреженіемъ Лессинга къ латинскому языку; а, между тѣмъ, Лессингъ, который вполнѣ, конечно, вовсе не занимался упражненіями въ латинскомъ слогѣ, всегда писалъ по латыни съ необычайною легкостью и изяществомъ, рѣдкимъ даже въ тѣ времена великихъ мужей латинской схоластики. Не говоримъ уже о томъ, что темныя мѣста латинскихъ классиковъ, до него необъясненные еще никѣмъ, разъяснялъ

онъ съ проницательностью знатока, котораго мнѣнія были авторитетомъ для самого Гейне, величайшаго изъ латинистовъ XVIII вѣка. Но въ послѣднее время своей мейссенской жизни Лессингъ, какъ мы говорили, занимался не столько латинскимъ языкомъ, сколько другими предметами, и, какъ по всему замѣтно, уже въ то время пріобрѣлъ страшную начитанность. О времени, проведенномъ въ школѣ, онъ вспоминалъ всегда съ удовольствіемъ, какъ о счастливѣйшемъ времени своей жизни. Въ самомъ дѣлѣ, съ выходомъ изъ школы начались уже для него суровыя испытанія нужды и непріятностей всякаго рода,—испытанія, не покидавшія его до самой смерти.

Но онъ вспоминалъ съ удовольствіемъ объ этомъ времени только потому, что оно прошло тихо и беззаботно, а не потому, чтобы, въ самомъ дѣлѣ, обязанъ былъ какою нибудь пользою собственно школьному преподаванію. Онъ чувствовалъ, какъ почти всѣ слишкомъ даровитые люди, что въ школѣ учили его пустякамъ и понапрасну губили его время; какъ у многихъ проницательныхъ людей, у него даже осталось навсегда недовѣріе къ тѣмъ людямъ, успѣхами и прилежаніемъ которыхъ гордятся учителя: ему казалось, что эти юноши обыкновенно идутъ по прямому пути къ тому, чтобы сдѣлаться тупыми педантами или надутыми верхоглядами. И когда, черезъ нѣсколько лѣтъ, отецъ съ восторгомъ писалъ ему о томъ, какъ хорошо отзывается начальство Мейссенской школы объ успѣхахъ его младшаго брата, Теофила (того самого, которому Гёре давалъ наставленіе не умничать, какъ умничалъ старшій братъ), Лессингъ почувствовалъ опасеніе за дѣльность головы перевозносимаго ученика—предчувствіе, которое оправдалось впоследствии: прославляемый ученикъ на всю жизнь остался способенъ только перелагать клопштокову «Мессіаду» въ латинскіе гекзаметры.

«Мнѣ очень пріятно, что вы такъ довольны успѣхами Теофила (отвѣчалъ Лессингъ отцу на радостное извѣщеніе). Если бы у меня была такая натура, какъ у него, вы были бы довольны и мною. Онъ учится прилежно, говорите вы: интересно было бы знать, чему и какъ онъ учится. Я, когда еще былъ въ этой школѣ, уже полагалъ, что тамъ учатъ многому такому, что ровно нигуда не годится, а теперь вижу это еще яснѣе прежняго».

Два или три раза возвращается онъ къ этому предмету, намекая отцу, чтобы онъ совѣтовалъ Теофилу не такъ неразборчиво

увлекаться всѣмъ, что выдается за глубокую мудрость педантами Мейссенской школы.

Самостоятельность суждений очень быстро развилась въ Лессингѣ, какъ видно по единственному сочиненію, которое сохранилось изъ его школьныхъ упражненій. Это «Рѣчь», посланная имъ «на новый 1743 годъ» въ поздравленіе отцу. Она замѣчательна, какъ раннее свидѣтельство силы ума и стремленія говорить именно о тѣхъ вопросахъ, которыми живо заинтересованы люди, для которыхъ онъ пишетъ. Отецъ съ матерью безпрестанно толковали, что нынѣ худыя времена, что чѣмъ дальше, тѣмъ хуже становится жить на свѣтѣ,—мысли, очень натуральныя у пожилыхъ людей, находящихъся въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Несправедливы эти мысли, говоритъ Лессингъ въ своей рѣчи: на свѣтѣ не становится хуже, чѣмъ было прежде, и доказываетъ эту мысль учеными и житейскими соображеніями. Видно, что пѣлю автора было разсѣять предрассудокъ, наводившій уныніе на его родныхъ. Такимъ образомъ, четырнадцатилѣтній мальчикъ уже обнаруживаетъ въ себѣ направленіе, которое дало потомъ такую великую пѣну его дѣятельности: его мысль имѣетъ самую близкую связь съ интересами людей, для которыхъ онъ пишетъ. Онъ хочетъ благотворно дѣйствовать на ихъ жизнь; онъ возмущается предрассудками, которые мѣшаютъ ихъ счастью. Логика и сила выраженія въ его ученическомъ сочиненіи уже такова, что и изъ зрѣлыхъ людей многіе могли бы позавидовать ей, а сжатость слога уже предсказываетъ въ мальчикѣ будущаго мастера *).

По окончаніи курса, Лессингъ возвратился мѣсяца на два въ

*) Вотъ, для примѣра, начало этой рѣчи: «Почти всѣ древніе поэты и философы, высокопочитаемый багюшка, думали, что міръ съ году на годъ становится хуже и распадается въ состояніе, все болѣе и болѣе далекое отъ совершенства. Вспомнимъ только, какъ Гезіодъ, Платонъ, Вергілій, Овидій, Сенека, Саллюстій и Страбонъ писали о четырехъ вѣкахъ вселенной, какъ они самыми живыми красками изображали золотое время Сатурна, серебряное время Юпитера, мѣдный вѣкъ полубоговъ и желѣзный вѣкъ нынѣшняго человѣческаго поколѣнія. Трудно указать настоящій источникъ этого поэтическаго вымысла; но вѣрно то, что весь этотъ разсказъ, при всей своей благовидности, неоснователенъ, почти нелѣпъ,—мало сказать: совершенно неправдоподобенъ», и т. д. Лессингъ отвергаетъ его доводами, заимствованными изъ богословія, философіи, естественныхъ наукъ и т. д., и очень остроумно доказываетъ противную мысль столь же учеными соображеніями.

отцовскій домъ. Теперь надобно было рѣшить, къ какому званію долженъ предназначить себя молодой человѣкъ, какой факультетъ ему выбрать, сообразно этому, и въ какой университетъ ѣхать.

Отецъ, а особенно мать желали сначала, чтобы сынъ шелъ по богословскому факультету и готовился быть пасторомъ. Но онъ самъ никакъ не соглашался на то и говорилъ, что у него и голосъ вовсе не такой, какой нуженъ пастору, да и мысли совсѣмъ не расположены къ этому званію. Отецъ утѣшился, рассчитывая, что сынъ можетъ занять мѣсто полуще пасторскаго, если будетъ въ Лейпцигѣ: именно отецъ надѣялся, что ему удастся быть профессоромъ въ Гёттингенскомъ Университетѣ, который только что устроивался и, по предположенію старика, могъ и черезъ нѣсколько лѣтъ еще нуждаться въ профессорахъ. Сыну этотъ планъ, повидимому, нравился. Изъ двухъ саксонскихъ университетовъ, Виттенбергскаго и Лейпцигскаго, послѣдній представлялъ ту выгоду, что имѣлъ много стипендій для студентовъ, съ успѣхомъ кончившихъ курсъ въ княжескихъ школахъ. Рѣшено было, что Лессингъ поѣдетъ въ Лейпцигъ и будетъ слушать тамъ лекціи по богословскому факультету. 20 сентября 1746 года Лессингъ вступилъ въ число студентовъ Лейпцигскаго Университета и получилъ стипендію; но тѣмъ и кончились, по мнѣнію родныхъ Лессинга, успѣхи его въ университетѣ. Скоро начали доходить до нихъ недобрыя извѣстія о сынѣ. Родительское сердце встревожилось, и втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ всѣ письма Лессинга къ роднымъ состоятъ единственно въ томъ, что онъ оправдывается, старается доказать, что опасенія родителей неосновательны, что онъ еще не погибшій человѣкъ, что ему не въ чемъ раскаяваться,—словомъ, что родители его должны успокоиться за его нравственность и судьбу и не должны осыпать его несправедливыми укоризнами. А, между тѣмъ, надобно по правдѣ сказать, слухи, доходившіе до родителей, были такого рода, что могли внушать имъ серьезныя опасенія: сынъ ихъ вовсе не хотѣлъ быть тѣмъ, что называется «хорошій студентъ». Лейпцигскій Университетъ считался въ то время однимъ изъ лучшихъ въ Германіи; онъ имѣлъ множество знаменитыхъ профессоровъ: напримѣръ, философскій факультетъ блисталъ именами Готтшеда, Криста, Иохера, Винклера, Эрнести. Не менѣе блистательны были; по тогдашнимъ понятіямъ, и другіе факультеты. Но Лессингъ былъ не такой человѣкъ, чтобы ему могъ понравиться какойнибудь нѣмец-

кій университетъ того времени. Взглянемъ поближе на состояніе Лейпцигскаго Университета, и мы оправдаемъ Лессинга за то, что онъ не былъ прилежнымъ студентомъ.

Университетъ былъ устроенъ наподобіе какого нибудь ремесленного цеха *). Все въ немъ дѣлалось по заказу, по расчету, не по призванію. Довольно указать на одинъ обычай. Каѳедры каждаго факультета распредѣлялись по извѣстному порядку почетности. Профессоръ такого-то предмета считался старшимъ, другаго—вторымъ, третьяго — третьимъ по достоинству мѣста, и т. д.; когда почетнѣйшая каѳедра становилась вакантною, профессора факультета перемѣняли каѳедры, подымаясь ступенью выше по іерархическому порядку, нужды нѣтъ, хотя бы черезъ это попадали на каѳедру предмета, совершенно чуждаго имъ. Можно вообразить, какой ералашъ происходилъ оттого въ ихъ занятіяхъ и каково были многіе знакомы съ тѣми науками, лекціи о которыхъ читали. Впрочемъ, потеря для достоинства лекцій была оттого незначительна: почти всѣ профессора читали по учебникамъ, только немногіе составляли сами записки, которыхъ буквально держались. Въ духѣ преподаванія господствовали вообще непроходимый педантизмъ, формализмъ и страшная сухость. Словомъ, направленіе преподаванія было вовсе непривлекательно для юноши съ свѣтлою головою, студенты выносили изъ аудиторій понятія, которыя могли быть хороши развѣ для XVI вѣка.

Неудивительно, что лекціи очень скоро наскучили такому даровитому юношѣ, какъ Лессингъ,—юношѣ съ пылкимъ характеромъ, съ нетерпѣливымъ желаніемъ углубляться въ основные вопросы каждой науки, а не жить чужою головою, какъ то было принято въ тогдашнихъ нѣмецкихъ университетахъ. Отецъ, ожидавшій, что онъ будетъ прилежнымъ слушателемъ теологическихъ курсовъ, скоро узналъ, что сынъ вовсе не сообразуется съ его желаніемъ. Съ перваго же разу Лессингъ оставилъ богословскій факультетъ и объявилъ, что хочетъ посѣщать курсы медицинскихъ наукъ. Дѣйствительно, богословіе въ Лейпцигѣ преподавалось въ совершенно устарѣвшемъ духѣ Лютера и Меланхтона. Эта отсталая система рѣшительно отталкивала живаго юношу, который уже имѣлъ на столько начитанности, чтобы чувствовать ея несостоятельность. Но и съ

*) Данцель.

медицинскими занятіями дѣло пошло не лучше, нежели съ богословскими: по правдѣ говоря, Лессингъ только для формы поступилъ въ медицинскій факультетъ—нужно же было хотя сколько нибудь успокоить отца относительно своей карьеры и насущнаго хлѣба въ будущемъ. На самомъ же дѣлѣ онъ занимался всѣмъ что только привлекало его вниманіе, между прочимъ, занимался и медициною, и богословіемъ, но самъ по себѣ, какъ ему хотѣлось, а не официальнымъ порядкомъ, и медицинскихъ курсовъ не посѣщалъ точно такъ же, какъ и богословскихъ. Шутя, онъ говорилъ послѣ, что всю свою жизнь былъ только на одной медицинской лекціи, именно на лекціи акушерства, которое почелъ было интереснѣйшею отраслью медицинскихъ наукъ».

Очень мало посѣщалъ онъ и лекціи другихъ факультетовъ, хотя у очень многихъ профессоровъ побывалъ на лекціяхъ, для пробы, по два, по три раза. Почти ни одинъ изъ профессоровъ не удовлетворялъ его. Чаше другихъ посѣщалъ онъ въ одно полугодіе знаменитаго филолога Эрнести, но и у того не выслушалъ полугодичнаго курса.

Что жъ онъ думаетъ дѣлать съ собою, до такой степени негижуя университетскими занятіями? Было надъ чѣмъ призадуматься отцу, погоревать матери. Правда, не посѣщая лекцій, сынъ ихъ самостоятельными занятіями прибрѣлъ во сто разъ больше знаній, нежели имѣли ихъ аккуратнѣйшіе студенты и, быть можетъ, знаменитѣйшіе лейпцигскіе ученые; но кто же повѣрилъ бы, что молодой человѣкъ, не посѣщая лекцій, не теряетъ, а выигрываетъ время для приобрѣтенія глубокихъ и обширныхъ знаній? Отецъ и мать не могли быть увѣрены въ его домашнихъ занятіяхъ; они знали навѣрное только то, что онъ не посѣщаетъ лекцій.

Мало того, что сынъ не посѣщаетъ лекцій: до родителей доходили слухи, еще болѣе огорчительные: съ какими людьми онъ знаетъ!—не съ профессорами, не съ прилежными и добропорядочными юношами, а съ бездомными гуляками; задушевнѣйшій пріятель и руководитель его — неумытый, небритый Миліусъ, который ходитъ въ сапогахъ безъ подошвъ, въ дырявомъ платьѣ съ голыми локтями—тотъ самый Миліусъ, котораго прозвали «вольвдумцемъ», о которомъ съ негодованіемъ говоритъ весь Каменецъ, осмѣянный имъ въ наглой сатирѣ, который лично оскорбилъ въ этой сатирѣ двумя ѣдкими стихами самого первенствующаго пастора! — и съ

этимъ побродяго-пасквилянтомъ сдружился теперь погибающій юноша, слушается его во всемъ, вѣроятно, уже выучился у него и смѣяться надъ отцомъ и кощунствовать надъ Лютеромъ — это ужасно!

Милиусъ, вся жизнь котораго прошла въ борьбѣ съ нищетою и въ увлеченіи излишествами, и который умеръ слишкомъ рано для того, чтобы упрочить себѣ въ наукѣ славу, на которую имѣлъ право по своимъ дарованіямъ и учености,—этотъ Милиусъ былъ, дѣйствительно, ближайшимъ изъ друзей Лессинга въ первой порѣ его дѣятельности и, какъ человекъ, нѣкоторое время имѣвшій на него вліяніе, заслуживаетъ того, чтобы сказать о немъ нѣсколько словъ.

Сынъ бѣднаго пастора изъ деревни, сосѣдней съ Каменцомъ, въ малолѣтствѣ оставшійся сиротой, Милиусъ былъ дальній родственникъ семейству Лессинговъ. Вѣроятно, знакомство его съ Эфраимомъ началось еще съ дѣтства: братъ Милиуса былъ нѣсколько времени учителемъ Лессинга до поступленія его въ Мейссенскую школу. Будучи нѣсколькими годами старше Лессинга, Милиусъ уѣхалъ въ университетъ около того времени, какъ Лессингъ отданъ былъ въ Мейссенъ. Въ университетѣ они скоро сошлись. Милиусъ въ то время уже выдержалъ экзамены и жилъ въ страшной нуждѣ, занимаясь естественными науками и астрономіею и добывая скудный кусокъ хлѣба переводами, рецензіями, театральными пьесами, всякаго рода литературными работами, какія заказывали ему Готтшедъ или актеры, игравшіе въ Лейпцигѣ, или какой нибудь книгопродавецъ. Да и тѣ небольшія деньги, какія попадались ему въ руки, не держались у него: Милиусъ любилъ кутнуть, чтобы забыться отъ своихъ бѣдъ. Въ Лейпцигѣ, чинномъ и чопорномъ, ходила про него очень невыгодная слава. Онъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, циникъ и неряха; говорятъ также, что онъ не отличался и деликатностію относительно людей, дѣлавшихъ ему услуги: если кто изъ студентовъ, видя его нужду, предлагалъ ему поселиться на время въ своей комнатѣ, Милиусъ начиналъ распоряжаться въ ней какъ полный хозяинъ и настоящаго хозяина третировалъ совершенно безцеремонно. Неостороженъ былъ онъ и на языкъ, нимало не соблюдая умѣренности въ своихъ жолчныхъ выходкахъ противъ людей, ему не нравившихся. Въ Лейпцигѣ почтенные люди страшились его, какъ «вольнодумца» (Freigeist), за то, что онъ изда-

валъ журналъ подъ этимъ заглавіемъ, и это прозвище, по тогдашнимъ понятіямъ позорное и страшное, преслѣдовало Миліуса всю жизнь, хотя во всемъ его «Вольнодумцѣ» при самомъ внимательномъ разборѣ нельзя отыскать ни одной вольнодумной строки, а напротивъ о христіанствѣ говорится вездѣ съ уваженіемъ и есть даже нѣсколько назидательныхъ статей. Очевидно, заглавіе было дано журналу въ шутку, по капризу; но эта шутка болѣе повредила Миліусу, нежели повредили бы дѣйствительныя преступленія. Такова была его слава въ Лейпцигѣ, а въ Каменцѣ была еще хуже: тамъ уже прежде онъ былъ присужденъ къ наказанію официальнымъ порядкомъ за свою сатиру. Случай этотъ, характеризующій обычаи того вѣка, стоить разсказать подробно.

Въ 1743 году, ректоръ городской каменецкой школы, Гейницъ, человѣкъ, достойный уваженія за свой просвѣщенный умъ и педагогическія дарованія, долженъ былъ оставить свое мѣсто и перейти ректоромъ школы въ другой городокъ, Лебау, по разнымъ непріятностямъ съ каменецкими городскими властями. Кажется, почтенные граждане были недовольны тѣмъ, что воспитатель ихъ дѣтей не педантъ и не схоластикъ. Миліусъ, бывшій тогда студентомъ въ Лейпцигѣ, напечаталъ по этому случаю стихотвореніе, въ которомъ говорилъ Гейницу: «Нечего и жалѣть тебя, что ты расстаешься съ городомъ, котораго жители невѣжды и не влюбили тебя за твое просвѣщеніе». Кромѣ упрека вообще горожанамъ Каменца за ихъ невѣжество, въ стихотвореніи были очерчены два лица, въ которыхъ узнали себя бургомистръ и первенствующій пасторъ. Къ отцу Лессинга относились стихи, смыслъ которыхъ таковъ: «Въ собраніи, гдѣ на лицѣ каждаго написано фарисейство, стоитъ на возвышенномъ мѣстѣ человѣкъ и громко, съ напряженіемъ кричить: грѣховно сердце нашей молодежи! не внимаетъ она слову Божію! «Да и можно ли ожидать чего инаго, когда тотъ, кто долженъ былъ бы научать ее, подаетъ ей дурной примѣръ!»! Никто не былъ названъ по имени въ этой сатирѣ, не упоминалось даже имя города, разсказу была придана форма сновидѣнія. Но всѣ тотчасъ догадались, что дѣло идетъ о Гейницѣ и его каменецкихъ недоброжелателяхъ; лица, на которыя намекала сатира, были узнаны, и весь уѣздный муравейникъ взволновался. Миліусъ былъ арестованъ, подвергнутъ суду и приговоренъ публично просить извиненія у оскорбленныхъ имъ людей, уплатить судебныя издержки и, кромѣ

того, просидѣть недѣлю въ тюрьмѣ или заплатить двадцать талеровъ штрафа. Тупоумное жеманство дикихъ невѣждъ выказалось въ этомъ дѣлѣ; но съ тѣмъ вмѣстѣ выказалась и черта добродушія, свойственнаго нѣмецкому характеру, въ благородномъ поступкѣ бургомистра, который принялъ на себя уплату штрафа, хотя самъ былъ однимъ изъ двухъ лицъ, наиболѣе оскорбленныхъ са-тирою.

Но этотъ нищій циникъ, Милиусъ, былъ назначенъ природою сдѣлаться замѣчательнымъ естествоиспытателемъ: еще ребенкомъ онъ находилъ свое удовольствіе въ томъ, чтобы наблюдать звѣзды, и однажды цѣлый годъ велъ метеорологическія наблюденія, записывая состояніе термометра черезъ каждые три часа. Въ Лейпцигѣ, при всей своей нищетѣ, онъ составилъ себѣ минералогическій, ботанический и зоологическій кабинеты; статьи по естественнымъ наукамъ приобрѣли уже ему нѣкоторую извѣстность; его сочиненіе на тему, предложенную Берлинской Академіей, «объяснить, какова была бы система вѣтровъ, если бы вся поверхность земли была покрыта глубокимъ моремъ», удостоилось чести быть напечатано рядомъ съ сочиненіями Даламбера и Барнулли на ту же тему. Послѣ того Милиуса начали уважать нѣкоторые люди, пользовавшіеся почетнымъ положеніемъ въ нѣмецкомъ обществѣ, и натуралисты обратили на него вниманіе. Наконецъ, Галлеръ и Зульцеръ, составивъ проэктъ ученой экспедиціи въ Америку, выбрали Милиуса для этого путешествія. Деньги, нужныя для снаряженія экспедиціи, собирались общественною подпискою. Капиталъ составилъ довольно значительный, и Милиусъ отправился въ путь; но въ Англіи онъ занемогъ и умеръ. Умершій въ очень молодыхъ лѣтахъ, Милиусъ не успѣлъ почти ничего сдѣлать для своей специальной науки, будучи принужденъ тратить свое время на стихи и беллетристику для куска хлѣба; но можно ли обвинять его за эту прискорбную растрату силъ, въ которой виновата была его несчастная судьба? «Не надобно дивиться тому, что въ Германіи очень многіе гениальные люди умираютъ преждевременно», говоритъ Лессингъ въ письмахъ, служащихъ предисловіемъ къ собранію сочиненій Милиуса, изданному имъ послѣ смерти автора: «легко найти причину этому; она такъ ясна, что развѣ не желающій видѣть не видитъ ея. Предположите, милостивый государь, что гениальный человѣкъ родится въ сословіи, если не самомъ нищемъ, то слишкомъ скудномъ жи-

котораго надѣялись они видѣть благочестивымъ пасторомъ или ученымъ профессоромъ, не занимается своимъ дѣломъ, кутить съ такими людьми, какъ Милусъ, дружится съ актрисами, пишетъ для театра! Упреки градомъ сыпались на заблудшаго сына отъ отца, мать плакала о немъ. Сыну казалось все это совершенно неумѣстнымъ и напраснымъ. Онъ въ отвѣтахъ своихъ жаловался на несправедливость обвиненій, доказывалъ неосновательность опасеній, защищая свое поведеніе. Письма его изъ Лейпцига къ роднымъ не сохранились; но по всему разсказу брата его видно, что они были таковы же, какія потомъ писались имъ изъ Берлина: упреки и оправданія оставались тѣ же, да и относились на половину къ его прежней, лейпцигской жизни. Говоря о берлинской жизни Лессинга, намъ придется разсказывать многое другое, потому приведемъ отрывки изъ этихъ писемъ здѣсь.

«Я не сталъ бы такъ долго медлить письмомъ къ вамъ—пишетъ Лессингъ матери, вскорѣ по переѣздѣ въ Берлинъ—еслибъ имѣлъ сообщить что нибудь пріятное. А читать просьбы и жалобы, вѣроятно, и вамъ такъ же наскучило, какъ мнѣ писать въ этомъ духѣ. Но въ этихъ строкахъ не найдете вы ничего подобнаго (т. е. ни жалобъ на недостатокъ денегъ, ни просьбъ о присылкѣ ихъ). Я страшусь только того, чтобы вы не заподозрили меня въ недостаткѣ любви и уваженія къ вамъ; я страшусь только того, чтобы вы не подумали, будто я веду свой нынѣшній образъ жизни по непослушанію и испорченности сердца. Это опасеніе беспокоитъ меня. Если оно не напрасно, то я чувствую огорченіе тѣмъ живѣе, чѣмъ менѣе вины знаю за собою. Позвольте же мнѣ поэтому, въ немногихъ чертахъ, описать вамъ всю мою университетскую жизнь, и я увѣренъ, что вы снисходительнѣе будете судить обо мнѣ. Я пріѣзжаю въ университетъ мальчикомъ съ школьной скамьи, твердо увѣренный въ томъ, что все счастье въ книгахъ. Я пріѣзжаю въ Лейпцигъ, въ такой городъ, въ которомъ совмѣщается въ миньютюрѣ цѣлый міръ. Первые мѣсяцы я прожилъ такъ уединенно, какъ не жилъ и въ Мейссенѣ. Вѣчно за книгами, я рѣдко даже и думалъ о людяхъ. Но это продолжалось немного времени: скоро открылись мои глаза—надобно ли сказать, «къ счастью» или «къ несчастью»?—это рѣшить будущность. Я понималъ, что книги сдѣлаютъ меня ученымъ, но никакъ не сдѣлаютъ меня человѣкомъ. И я рѣшился выйти изъ комнаты, показаться въ

общество подобных мнѣ. Но—Боже мой!—ни малѣйшаго подобія не было во мнѣ съ другими людьми. Мужичья застычивость, неряшество и неуклюжесть, совершенное невѣжество въ томъ, какъ держать себя между людьми, нелѣпыя замашки и взгляды, которыми оскорблялся всякій, какъ выражающими презрѣніе къ нему—таковы-то были достоинства, замѣченныя мною въ себѣ. Слѣдствіемъ этого была твердая рѣшимость, во что бы то ни стало, исправиться отъ своихъ недостатковъ. Вы знаете, какъ я принялся за это дѣло. Я сталъ учиться танцамъ, фехтованію, верховой ѣздѣ. Я откровенно сознаю въ этомъ письмѣ свои ошибки, стало быть могу говорить и о томъ, что хорошо во мнѣ. Танцевать, фехтовать, ѣздить верхомъ я выучился такъ, что даже люди, напередъ рѣшавшіе, что я неспособенъ ни къ чему такому, можно сказать, удивлялись мнѣ. Успѣхъ этотъ сильно ободрилъ меня. Я сталъ развязенъ, ловокъ и вошелъ въ общество, чтобы научиться жизни. Навремя отложилъ я въ сторону серьезныя книги, чтобы познакомиться съ другими книгами, болѣе заманчивыми, но не менѣе полезными. Прежде всего попались мнѣ подъ руку комедіи. Пусть не вѣрять, кто не хочетъ, но мнѣ оказали онѣ очень важныя услуги. Я понялъ изъ нихъ разницу между пріятностью и принужденностью манеръ, между грубостью и естественностью. Онѣ показали мнѣ, что такое дживая и что такое истинная добродѣтель, научили меня избѣгать порока столько же потому, что онъ смѣшонъ, сколько и потому, что онъ гнусенъ. Но я чуть не забылъ главнѣйшей пользы, какую принесли мнѣ комедіи. Онѣ научили меня знать самого себя, и съ той поры, вѣрно, ни надъ кѣмъ не смѣялся и не издѣвался я столько, какъ надъ самимъ собою. Вдругъ, какой-то пустой случай навелъ меня на мысль самому приняться за сочиненіе комедій. Я попытался, и когда мои комедіи были даны на сценѣ, меня стали увѣрять, что комедіи эти недурны. Надобно только похвалить меня въ чемъ нибудь, и ужъ я такъ созданъ, что пріймусь за дѣло еще горячѣе. И вотъ я сталъ день и ночь думать, какъ бы выказать свой талантъ въ дѣлѣ, въ которомъ ни одинъ нѣмецъ не могъ похвалиться особеннымъ успѣхомъ. Вслѣдствіе болѣзни и другихъ обстоятельствъ, о которыхъ пока умолчу, я задолжалъ болѣе, нежели на три мѣсяца моихъ стипендій,—и я долженъ былъ переѣхать въ Берлинъ, гдѣ и живу теперь,—въ какомъ положеніи, знаете вы сами. *Я давно сталъ бы на ноги если бы могъ имѣть приличное платье* (эти слова

подчеркнуты Лессингомъ); оно необходимо въ городѣ, гдѣ о людяхъ больше всего судятъ по наружности. Вы были такъ добры, что еще въ прошломъ году обѣщали сдѣлать мнѣ новую пару платья. Изъ этого вы можете заключить, безразсудна ли была моя просьба въ предъидущемъ письмѣ (виднo также, прибавимъ мы, что и годъ тому назадъ платье было уже порядкомъ поношено; виднo также, что въ прошломъ письмѣ Лессингъ просилъ выслать ему денегъ на платье). Вы отказываете мнѣ, между прочимъ, подъ тѣмъ предлогомъ, что не знаете, ради кого или чего живу я въ Берлинѣ. (Видно, что мать намекала на Милиуса). Я угадываю, что ваше предубѣжденіе противъ человѣка, который оказываетъ мнѣ услуги теперь, когда я чрезвычайно нуждаюсь въ нихъ,—угадываю, что это предубѣжденіе—главная причина вашего несогласія съ моими поступками. Кажется, вы считаете его (т. е. Милиуса) извергомъ рода человѣческаго. Не слишкомъ ли увлекаетесь вы враждою? Я утѣшаюсь тѣмъ, что вижу въ Берлинѣ очень многихъ прекрасныхъ и знатныхъ людей («знатные» очевидно явились тутъ затѣмъ, чтобы произвести эффектъ на провинціалку), которые уважаютъ его столько же, сколько и я».

Вотъ другое письмо, посланное Лессингомъ мѣсяца черезъ три, къ отцу:

«Вы требуете, чтобы я возвратился домой. Вы опасаетесь, что я уѣду въ Вѣну, чтобы тамъ сдѣлаться писателемъ комедій. Вы увѣрены, что здѣсь я работаю, какъ негръ, для г. Рюдигера (берлинскаго книгопродавца) и терплю голодъ и непріятности (виднo, что отецъ писалъ ему: ты пошелъ по дорогѣ, которая приведетъ къ голодной смерти). Вы прямо говорите мнѣ, что все написанное мною вамъ о видахъ моихъ на улучшение моихъ обстоятельствъ чистая ложь. (Видно, что онъ успокаивалъ отца разными надеждами на то, что скоро будетъ пріобрѣтать литературою большія деньги). Умоляю васъ: поставьте себя на мое мѣсто и подумайте, какъ огорчительны должны быть такіа несправедливыя укоризны, неосновательность которыхъ очевидна для васъ, если вы хотя сколько-нибудь знаете меня. Но удивительнѣе всего для меня то, что вы возобновляете прежнія укоризны по поводу комедій. Переписка моя съ комедіантами вовсе не такова, какъ вы думаете. Въ Вѣну писалъ я къ барону Зейлеру, директору всѣхъ австрійскихъ театровъ, человѣку, знакомство котораго никакъ не можетъ мнѣ

быть стыдомъ, а, напротивъ, можетъ принести большую пользу. Съ подобными людьми велась у меня переписка и въ Данцигѣ и въ Ганноверѣ; и не можетъ мнѣ быть упрекомъ то, что меня знаютъ не въ одномъ Каменцѣ... Подождите нѣсколько мѣсяцевъ, и вы убѣдитесь, что я въ Берлинѣ живу не безъ дѣла и работаю не для другихъ. Я знаю, отъ кого доходятъ до васъ обо мнѣ такіе слухи. Я знаю, кому и сколько разъ вы писали обо мнѣ въ Берлинѣ. Эти распросы, конечно, подали дурное понятіе обо мнѣ людямъ, къ которымъ вы обращались съ ними. Но я вѣрю, что вы хотѣли мнѣ пользы, а не вреда и неприятностей, которые были для меня слѣдствіемъ этихъ развѣдываній... Позвольте мнѣ напомнить вамъ стихи Плавта:

Qui nihil aliud, nisi quod sibi soli placet
Consulit adversum filium, nugas agit

(неблагоразумно поступаетъ отецъ, который хочетъ распоряжаться всѣми поступками сына). — Эта мысль такъ разсудительна, что, вѣроятно, вы съ нею согласны. Къ чему матушкѣ такъ горевать обо мнѣ? Не все ли равно для нея, такъ или иначе составлю я себѣ счастье, лишь бы составилъ, въ чемъ я увѣренъ. И какъ могли вы вообразить, что если бы я даже поѣхалъ въ Вѣну, то принялъ бы тамъ католичество? Изъ этого я вижу, какъ она предубѣждена противъ меня».

Черезъ мѣсяцъ Лессингъ, получивъ отъ отца книги, которыя оставлены были имъ дома, благодарить за присылку ихъ и продолжаетъ:

«Я написалъ бы вамъ о своей благодарности еще больше, если бы не видѣлъ, къ сожалѣнію, изъ всѣхъ вашихъ писемъ очень ясно, что васъ давно склоняютъ и вы давно склонились подозрѣвать во мнѣ самыя низкія, самыя постыдныя черты. Благодарность человѣка, о которомъ вы имѣете такое выгодное мнѣніе, конечно, должна показаться вамъ неискреннею. Но что же мнѣ дѣлать? Время будетъ моимъ защитникомъ. Оно покажетъ, дѣйствительно ли я непочтительный сынъ и безнравственный человѣкъ».

«Когда вы перестанете упрекать меня за Милиуса? Sed facile ex Tuis querelis querelas matris agnosco (слѣдуетъ довольно длинная латинская тирада, которую мы отмѣчаемъ курсивомъ). Но я очень хорошо вижу, что эти упреки внушены вамъ матушкою: она

добра и прямодушна, но въ этомъ случаѣ слишкомъ увлекается враждою. Наша дружба съ Миліусомъ никогда не была и не будетъ ничѣмъ инымъ, какъ сотрудничествомъ въ занятіяхъ—можно ли винить за то? Я съ нимъ очень рѣдко, или, лучше сказать, вовсе никогда не говорю ни о родныхъ и моихъ обязанностяхъ къ роднымъ, ни о моемъ образѣ жизни, такъ что вы никакъ не можете считать его моимъ соблазнителемъ и совѣтникомъ на дурное. Не увлекайтесь, батюшка, женскими наговорами. Простите, что я написалъ это по латыни, чтобы не оскорбить матушку, глубоко мною любимую».

Этихъ отрывковъ будетъ достаточно, чтобы видѣть, каковы были предположенія родныхъ о сынѣ, когда онъ жилъ въ Лейпцигѣ и потомъ въ Берлинѣ. Они считали сына идущимъ къ временной и вѣчной гибели. Письма ихъ къ нему за это время не сохранились; но легко угадать изъ отвѣтовъ Лессинга, какими горькими опасеніями, какими оскорбительными подозрѣніями были наполнены эти письма. Такъ прошло полтора года университетской жизни; наконецъ, однажды, получилъ лейпцигскій студентъ отъ отца письмо, въ которомъ всѣ упреки и подозрѣнія особенно относительно актеровъ и театра выражены были совершенно прямо и рѣзко. Молодой человѣкъ вспыхнулъ и потерялъ терпѣніе. Раздосадованный, побѣждалъ онъ къ одному изъ своихъ пріятелей и товарищей по занятіямъ литературою, Вейссе, и, съ сердцемъ бросая письмо на столъ, сказалъ: «Вотъ, прочитайте-ка, какое письмецо получилъ я отъ батюшки!» Въ пылу досады онъ хотѣлъ отвѣчать на упреки, разославъ всѣмъ почетнымъ людямъ каменецкаго общества по экземпляру афиши, которая объявляла о первомъ представленіи его комедіи «Молодой Ученый», приписавъ подъ заглавіемъ этой пьесы, дававшейся безъ означенія имени автора: «сочиненіе Готтгольда-Эфраима Лессинга». Вейссе удалось удержать своего друга отъ этой выходки, и чрезвычайный успѣхъ пьесы на сценѣ заставилъ бы молодого драматурга забыть о семейной неприятности, навлеченной на него расположеніемъ къ театру, если бы за первую бѣдою не послѣдовала вторая.

Въ Саксоніи былъ (а можетъ быть, и донныя сохранился) обычай, что мать на Рождество печетъ для каждаго изъ своихъ дѣтей сдобный сладкій пирогъ. Надобно было случиться, что въ этомъ (1747) году на самое Рождество одинъ изъ знакомыхъ семейства

Лессинговъ отправился изъ Каменца въ Лейпцигъ. Мать Готтгольда-Эфраима просила этого знакома отвезти отъ нея сыну патриархальный пирогъ и при этой okazji, конечно, просила его также посмотрѣть и передать ей, какъ живетъ этотъ сынъ, возбуждающій въ родителяхъ столько безпокойства неосновательностью своего поведенія. Знакомецъ возвратился въ Каменецъ съ ужаснымъ извѣстіемъ, что сладкій пирогъ матери скушанъ сыномъ въ обществѣ комедіантовъ (и—чего добраго!—даже комедіантокъ, быть можетъ) и запить доброю бутылкою вина.

Бѣдные родители не могли теперь сомнѣваться въ глубокомъ нравственномъ паденіи блуднаго сына. Мать горько плакала; отецъ увидѣлъ необходимость прибѣгнуть къ рѣшительному средству для исхищенія сына изъ бездны адской: надобно было возвратить его для душевнаго исцѣленія подъ родительскій кровъ. Но послушается ли родительскаго приказанія непокорный юноша? Нѣтъ, нужно придумать другія средства, подняться на хитрости,—и лейпцигскій студентъ получилъ письмо, увѣдомлявшее его, что мать лежитъ при смерти, и что онъ долженъ спѣшить въ Каменецъ, не теряя ни минуты, если хочетъ проститься съ нею.

Между тѣмъ, наступили сильные холода. Мать стала уже раскаиваться въ своей хитрости: какъ поѣдетъ бѣдный мальчикъ (не забудемъ, что Лессингу было только восемнадцать лѣтъ) въ такую погоду? Вѣдь у него нѣтъ теплаго дорожнаго платья, а въ дорогѣ надобно пробыть нѣсколько сутокъ. Нѣтъ, лучше ужъ кутилъ бы онъ съ ненавистнымъ Миліусомъ и актрисами, чѣмъ замерзнуть на дорогѣ. Напрасно его вызывали! Или, быть можетъ, онъ догадается, что извѣстіе о ея болѣзни—выдумка, и не поѣдетъ? Да, лучше онъ сдѣлаетъ, если не поѣдетъ. Въ такихъ мысляхъ сидѣла семья, какъ отворилась дверь, и вошелъ въ комнату, дрожа отъ холода, полузамерзшій сынъ.—«Какъ, ты поѣхалъ въ такой холодъ?» спрашиваетъ мать.—«Я зналъ, что вы здоровы, весело отвѣчаетъ студентъ; но вамъ было угодно, чтобъ я пріѣхалъ,—и я пріѣхалъ».—Словомъ сказать, вмѣсто строгаго выговора, который готовился для него, его встрѣтили съ радостью, что онъ, послушный сынъ, доѣхалъ благополучно.

Отецъ сталъ испытывать его знанія разговорами: оказалось, что сынъ сталъ человѣкомъ ученымъ, несмотря на Миліуса и актеровъ; оказалось, что и по латыни знаетъ онъ очень хорошо, не смотря

на то, что занимался, по доходившимъ слухамъ, вовсе не латынью. Мало того: въ удовольствіе первенствующему пастору, сынъ сочинилъ проповѣдь—и проповѣдь оказалась хороша. Гнѣвъ отца утихнулъ. Онъ оставилъ студента пожить дома, чтобы своими глазами убѣдиться, дѣйствительно ли онъ не такой дурной человѣкъ, не такой пьяница и бунтъ, какъ шла молва о немъ. Сынъ держалъ себя, въ самомъ дѣлѣ, какъ порядочный юноша—не пьянствовалъ и не буйствовалъ.

Три мѣсяца продолжалось это испытаніе. Наконецъ родные убѣдились, что можно согласиться на его просьбу и снова отпустить его въ Лейпцигъ, съ наставленіями держать себя хорошо.

Но лишь только воротился онъ въ Лейпцигъ, какъ пошли о немъ прежніе слухи. По прежнему онъ не ходилъ на лекціи, водилъ компанію съ Миліусомъ и актерами, писалъ комедіи;—и черезъ нѣсколько времени сдѣлалъ рѣшительный шагъ, который болѣе всего прежняго огорчилъ заботливыхъ родныхъ.

Около этого времени разстроилась труппа г-жи Нейберъ, и многіе актеры уѣхали изъ Лейпцига, иные не расплатясь съ долгами. Лессингъ былъ поручителемъ въ нѣсколькихъ изъ этихъ векселей; кредиторы не давали ему покоя. Средства его для уплаты долговъ были ничтожны въ Лейпцигѣ. Онъ рѣшился искать этихъ средствъ въ Берлинѣ, при помощи Миліуса, который уже поселился тамъ, имѣлъ уже нѣкоторыя связи и черезъ два-три мѣсяца сдѣлался сотрудникомъ одной изъ берлинскихъ газетъ, издававшейся книгопродавцемъ Рюдигеромъ, и вскорѣ перешедшей къ зятю Рюдигера, Фоссу, съ фамиліею котораго она существовала до послѣдняго времени (*Vossische Zeitung*). Мысль эта была исполнена Лессингомъ съ независимостью, свойственною его характеру: ни съ кѣмъ онъ не совѣтовался, никому не говорилъ о своемъ намѣреніи переселиться въ Берлинъ. Одинъ изъ ближайшихъ его друзей, Вейссе, зашедшій черезъ нѣсколько дней къ своему другу по его отъѣздѣ, услышалъ только, что онъ уѣхалъ изъ Лейпцига на недѣлю. Но это не было бѣгство отъ кредиторовъ: они были предувѣдомлены и успокоены Лессингомъ, потому что не тревожили ни университетъ, ни каменецкаго пастора своими опасеніями. И, дѣйствительно, Лессингъ скоро расплатился съ ними.

На дорогѣ, въ Виттенбергѣ, онъ тяжело занемогъ—одинъ, безъ денегъ, безъ знакомыхъ. Положеніе было отчаянное, и Лессингъ

не могъ потомъ вспоминать о немъ безъ ужаса. Но молодая натура скоро побѣдила болѣзнь. Между тѣмъ, Милиусъ уѣхалъ изъ Берлина. Лессингъ рѣшился было остаться на зиму въ Виттенбергѣ слушать лекціи и написалъ о томъ роднымъ. Но Милиусъ опять явился въ Берлинъ, получилъ постоянную работу при рюдигеровой газетѣ, и Лессингъ около Рождества могъ переселиться въ Берлинъ съ увѣренностью, что найдетъ тамъ средства для жизни.

Говорятъ, впрочемъ, будто изъ Виттенберга уѣхалъ онъ не съ цѣлю попасть въ Берлинъ,—напротивъ, если вѣрить слухамъ, онъ прежде всего поскакалъ въ Вѣну, увлеченный страстью къ хорошенькой актрисѣ Лоренцъ, и уже изъ Вѣны, по невозможности найти тамъ средства для жизни или разочаровавшись въ своей возлюбленной, переѣхалъ въ Берлинъ. Этотъ эпизодъ очень правдоподобенъ; но не осталось доказательствъ, которыми можно было бы подтвердить его.

Во всякомъ случаѣ, два ли только, или три раза юноша втеченіи полугода такъ независимо отъ родныхъ измѣнялъ намѣренія относительно своей будущности,—ограничились ли его странствованія только переселеніемъ изъ Лейпцига въ Виттенбергъ и изъ Виттенберга въ Берлинъ, или надобно прибавить сюда еще поѣздку изъ Виттенберга въ Вѣну,—во всякомъ случаѣ, Лессингъ, въ это полугодіе, надѣлалъ довольно, чтобы снова погубить въ родныхъ всякое довѣріе къ себѣ, чтобы явиться въ ихъ глазахъ человѣкомъ, болѣе близкимъ къ гибели, нежели когда нибудь. «Онъ замотался, онъ потерялъ голову, сталъ игрушкой негоднаго Милиуса, сталъ авантюристомъ, которому предстоитъ сидѣть въ тюрьмѣ за долги, быть стыдомъ своему семейству, влечить презрѣнную жизнь развратнаго и оборваннаго пьяницы, быть убитымъ въ пьяной дракѣ, замерзнуть на улицѣ или умереть голодною смертію въ подвалѣ». Такъ должны были думать родные, и переписка ихъ съ сыномъ продолжалась въ прежнемъ тонѣ: горькіе упреки съ одной стороны, гордые оправданія съ другой.

И дѣйствительно, довольно долго прошло, пока устроилось сколько нибудь порядочнымъ образомъ денежное положеніе сына, пока его извѣстность, потомъ слава заставили родныхъ его покинуть свои оскорбительныя подозрѣнія.

Если и въ наше время семнадцати-девятнадцатилѣтній юноша поступаетъ подобно Лессингу: вмѣсто того, чтобы посвѣщать лекціи,

сводить дружбу съ людьми, извѣстными неумѣренностью своего образа жизни; бросая такъ называемое порядочное общество, водить компанію съ весельчаками, проводить вечера за кулисами, а ночи въ шумныхъ пирушкахъ съ актрисами,—если и въ наше время молодой человѣкъ становится на эту дорогу, его родные имѣютъ очень основательную боязнь за будущность сына. Сто лѣтъ тому назадъ, въ Германіи, подобный образъ жизни казался еще ужаснѣе для патріархальныхъ провинціаловъ и, въ самомъ дѣлѣ, отнималъ почти всякую надежду на юношу, увлекающагося въ такія излишества. Лессингъ пренебрегалъ единственнымъ путемъ къ обезпеченію своей будущности, пренебрегая университетомъ: нынѣ понятно, что можно жить на свѣтѣ не занимая мѣста на службѣ; тогда, если человѣкъ не былъ ремесленникомъ, купцомъ или помѣщикомъ, онъ могъ жить только жалованьемъ и доходами отъ общественной должности. Литература не доставляла никакого обезпеченія. Всѣ литераторы были или богатые дилеттанты, или профессеры, учителя и пасторы: безъ этихъ источниковъ дохода они ходили бы съ голыми локтями подобно Миліусу. Лессингъ, пренебрегая дипломомъ, который доставилъ бы ему мѣсто пастора, медика или профессора, обрекалъ себя на вѣчную нищету. — Нынѣ актеры не считаются людьми отверженными; тогда на нихъ смотрѣли, какъ на цыганъ. Нынѣ понимаютъ, что юноша долженъ быть юношею; тогда съ двѣнадцати лѣтъ мальчикъ долженъ былъ дѣлаться педантомъ: иначе, онъ ужъ не имѣлъ никакихъ шансовъ проложить себѣ дорогу въ свѣтѣ.

Чтобы однимъ примѣромъ указать всю разницу между нынѣшнимъ и тогдашнимъ взглядомъ на человѣка, поступающаго подобно Лессингу, скажемъ, что студенты, его товарищи, считали его человѣкомъ идущимъ къ собственной гибели. Нынѣ, конечно, молодежь не осудитъ сверстника за любовь къ театру, особенно, когда видитъ, что дома, самостоятельными занятіями, онъ съ избыткомъ вознаграждаетъ неаккуратность въ посѣщеніи лекцій, когда видитъ, что любитель театра съ тѣмъ вмѣстѣ превосходитъ обширностью знаній товарищей студентовъ,—нынѣ любовь къ литературѣ и театру не помѣшала бы глубоко уважать такого товарища; тогда,—что думали тогда студенты о своемъ геніальномъ товарищѣ, мы узнаемъ изъ любопытнаго анекдота, сохранившагося въ запискахъ извѣстнаго литератора и музыканта Рохлица. Въ Лейпцигѣ Лессингъ жилъ

нѣсколько времени въ одной комнатѣ съ другимъ студентомъ, Иоганномъ-Фридрихомъ Фишеромъ. Много лѣтъ спустя, когда Лессингъ былъ уже авторомъ «Эмиліи Галотти» и «Гамбургской Драматургіи», Фишеръ занималъ должность ректора въ одной изъ школъ, соотвѣствующихъ нашимъ гимназіямъ. Рохлицъ учился въ этой школѣ. Ректоръ замѣтилъ въ ученикѣ литературныя наклонности, призвалъ его къ себѣ и преподавалъ слѣдующее назиданіе изъ собственныхъ воспоминаній: «Говорилъ ужъ я тебѣ, чтобы бросилъ свои нѣмецкія книги; не спрашиваю, исполнили ли ты мой совѣтъ, а только скажу тебѣ: исполни его, брось нѣмецкія книги, не вводи себя въ погибель, потому что къ погибели онѣ ведутъ. Тѣмъ больше огорчаешь ты меня, что этими вредными наклонностями припоминается мнѣ такой примѣръ, — примѣръ изъ молодости, — отъ котораго и теперь болитъ мое сердце. Расскажу тебѣ, какъ это было. Приѣхавъ изъ Кобурга въ здѣшній университетъ, поселился я вмѣстѣ съ однимъ товарищемъ, который уже годъ числился студентомъ. Онъ былъ сынъ хорошихъ людей: отецъ его былъ пасторомъ въ Лаузицѣ. Жили мы съ нимъ на Верхней улицѣ, у Старыхъ Бань. Какія способности далъ Богъ этому человѣку! Какъ онъ зналъ по гречески и по латыни! Мы съ нимъ слушали Эрнести, знаменитаго тогдашняго филолога, — то есть, нечего намъ было и слушать у него! Читать Оукидида было для насъ просто развлеченіемъ. Ахъ, какой человѣкъ могъ бы изъ него выйти! Но пошелъ онъ по такой дорогѣ! Ужъ прежде онъ много читалъ по нѣмецки, — ну, сталъ и писать самъ по нѣмецки, сочинять нѣмецкіе стихи. И пошелъ, и пошелъ, и никакъ нельзя было его остановить. Онъ былъ мой лучший другъ, мой единственный другъ въ цѣломъ университетѣ; но я отсторонился отъ него — не могъ выносить этого. Началъ онъ даже писать комедіи. Ну, вотъ... вотъ... дальше да дальше и сдѣлался онъ... нѣтъ, и сказать грустно, что изъ него вышло. Ну, да самъ спроси у людей, скажутъ тебѣ: этого человѣка звали Лессингъ».

Этотъ урокъ молодому человѣку, это предостереженіе: «смотри если станешь продолжать, какъ началъ; то будешь ты ничѣмъ инымъ, какъ развѣ Лессингомъ», — эта искренняя, глубокая грусть добродушнаго друга о томъ, что Лессингъ погубилъ свои прекрасныя дарованія и самого себя, вся эта рѣчь почтеннаго ректора представляется намъ теперь чѣмъ-то нелѣпо наивнымъ до забавной оригинальности. Это нѣчто нелѣпѣйшее, нежели ученныя разсужде-

нія Фамусова и Скалозуба, что-то напоминающее сужденія обитателей Брынскихъ скитовъ, понятія какого-то дикаго Никиты Пустосвята. Если студентъ, горячо любившій Лессинга, очень близко знавшій его—вѣдь они жили въ одной комнатѣ—такъ огорчился уже одною любовью его къ нѣмецкой литературѣ, этою, повидимому, самою невинною чертою изъ всѣхъ противорѣчій его жизни общепринятому порядку, то можно вообразить, каковы были у людей пожилыхъ, наклонныхъ къ строгости въ нравственныхъ понятіяхъ и въ требованіяхъ отъ молодаго человѣка соблюденія приличій,—каковы были понятія всѣхъ добропорядочныхъ людей о будущности, которую готовитъ себѣ Лессингъ, когда они соображали всѣ ужасныя черты его образа жизни—не только сочинительство его на нѣмецкомъ языкѣ, но, что гораздо ужаснѣе, его дружбу съ Миліусомъ и ночныя цидушки въ обществѣ этого оборваннаго кошуна, его панибратство съ актерами и актрисами, обществомъ которыхъ гнушался даже Вейссе, студентъ, сочинявшій для нихъ комедіи.

Дикимъ кажется намъ теперь все это. Но если присмотрѣться къ дѣлу ближе, съ житейской точки зрѣнія, то, право, подумаешь: не расчетливѣе ли, не лучше ли для отдѣльнаго человѣка устроить свою жизнь сообразно съ понятіями большинства? не былъ ли, въ самомъ дѣлѣ, правъ добрый ректоръ Іоганнъ Фишеръ, съ грустью вспоминая о томъ, какъ Лессингъ губилъ себя? да, если онъ думалъ о житейскомъ благоденствіи своего друга, то, безъ сомнѣнія, былъ правъ.

А надобно сознаться, что изъ сотни людей, одержимыхъ въ молодости различными возвышенными стремленіями, развѣ одинъ не станетъ впослѣдствіи раскаяваться, если эти порывы стоили ему какихъ нибудь пожертвованій житейскимъ благосостояніемъ; и надобно еще то сказать, что, въ самомъ дѣлѣ, у очень многихъ людей всѣ эти порывы имѣютъ слѣдствіемъ единственно только порожденіе чепухи, различнаго рода, смотря по характеру порывовъ. Друзья и родные должны были, въ самомъ дѣлѣ, опасаться за Лессинга, потому что только при концѣ молодаго разгула обнаруживается, имѣлъ ли человѣкъ силу безвредно пройти его, только послѣдующая энергическая дѣятельность доказываетъ, что человѣкъ не напрасно пренебрегалъ торною дорогою, стремясь къ славѣ.

Но теперь, когда славная дѣятельность Лессинга показала намъ

его натуру, мы можем видѣть, что и въ увлеченіяхъ молодости онъ не измѣнилъ ни своему призванію, ни своему характеру. Мы не будемъ здѣсь распространяться объ этомъ характерѣ, — пусть онъ самъ собою раскрывается передъ читателями въ продолженіе біографіи,—но скажемъ только, что основною чертою его натуры были рѣдкая полнота и всесторонность. У него были сильныя страсти, и онъ повременимъ беззавѣтно отдавался той или другой изъ нихъ; но никогда ни одна изъ нихъ не могла поработить его себѣ, именно потому, что натура его была слишкомъ чужда всякой односторонности. На пирушкахъ съ Милиусомъ онъ, быть можетъ, пилъ больше самого Милиуса; у него было много интригъ, и, конечно, онъ любилъ страстно; но никогда не было минуты, въ которую не могла его натура свергнуть съ себя эти страсти. Онъ былъ подобенъ древнему бойцу, который съ увлеченіемъ шелъ на битву, но и въ самомъ разгарѣ битвы не терялъ ни разумнаго самообладанія, ни свѣтлаго взгляда, ни спокойствія на ясномъ челѣ. Онъ, среди другихъ людей, былъ не по одному уму, но и по характеру, по всей своей натурѣ Милонъ Кротонскій, который могъ идти съ ними, когда хотѣлъ, могъ принимать участіе въ ихъ трудахъ, если то ему казалось нужно, но котораго ничья сила не могла поколебать, если онъ хотѣлъ остановиться, который, какъ безсильныхъ дѣтей, схватывалъ и увлекалъ за собою или легкимъ движеніемъ руки отстранялъ тѣхъ, кто хотѣлъ удержать его или увлечь са собою. Въ жизни онъ былъ нѣчто подобное тому, что Шекспиръ въ своей поэзіи: на всѣ чувства привѣтно откликается поэзія Шекспира, но не подчиняется она ни одному изъ нихъ—она страстиѣ, нежели анакреонтическія пѣсни юга, она грустиѣ, нежели самыя грустныя легенды сѣвера, она веселѣе, нежели веселыя пѣсни Франціи; но ни грусть, ни веселье, ни страсть не сдѣлаютъ ее своею рабою, съ величественнымъ гомерическимъ самообладаніемъ владычествуетъ она равно надъ своимъ восторгомъ и надъ своимъ страданіемъ.

Быть можетъ, мы слишкомъ рано указали эту основную черту характера Лессинга въ такомъ величественномъ свѣтѣ: вѣдь мы говоримъ еще только о двадцатилѣтнемъ юношѣ; быть можетъ, уместнѣе было бы это сравненіе съ героями древности тогда, когда онъ явился бы намъ авторомъ «Натана Мудраго» и противникомъ Гёте. Но и въ юношѣ эта основная черта уже обнаруживается поразительнымъ образомъ.

Уже въ тѣхъ отношеніяхъ къ роднымъ, о которыхъ мы говорили выше, въ тѣхъ письмахъ къ отцу и матери, отрывки изъ которыхъ мы привели, ярко видна она. Его осыпають оскорбительнѣйшими укоризнами и обвиненіями; но онъ чувствуетъ, что онъ совершенно правъ. Иной, на его мѣстѣ, гнѣвно прекратилъ бы всякія сношенія съ родными, сказавъ, что не хочетъ оправдываться передъ людьми, слишкомъ мало понимающими его; другой, сознавая, что вся внѣшность обвиняетъ его, что его образъ жизни, положеніе, усвоиваемое имъ себѣ въ обществѣ, свидѣлствуютъ противъ него, сталъ бы просить извиненія своимъ проступкамъ, сталъ бы говорить скромно и покорно. Лессингъ дѣлаетъ не такъ. Онъ говоритъ отцу спокойнымъ, самоувѣреннымъ и виѣстѣ почтительнымъ тономъ. Онъ объясняетъ роднымъ, какъ надобно смотрѣть на людей, на обстоятельства; онъ ни въ чемъ не дѣлаетъ уступки ихъ мнѣніямъ, выставляетъ себя совершенно правымъ и, однако же, не говоритъ имъ ни одного слова, которое неумѣстно было бы въ устахъ сына; онъ какъ будто читаетъ имъ проповѣди, облеченный тономъ сыновняго уваженія. И не только письма, но и дѣйствительныя отношенія его къ роднымъ имѣють совершенно особенный характеръ, какого не могъ бы выдержать въ подобныхъ обстоятельствахъ никто другой. Ни въ чемъ онъ не подчиняется роднымъ—и, однако же, не перестаетъ быть почтительнымъ сыномъ; родные негодуютъ на него, скорбятъ о немъ—его чувства къ нимъ остаются рѣшительно неизмѣнны, какъ бы никакихъ непріятностей не бывало между ними, и, до конца жизни, онъ остается вѣрнымъ, любящимъ членомъ семейнаго кружка, совершенно отстраняя его вліяніе отъ своей жизни, но постоянно дѣлая для родныхъ все, что только возможно.

Точно съ такимъ же спокойнымъ чувствомъ своей совершенной справедливости выслушивалъ онъ тогда и въ послѣдствіи всевозможныя обвиненія своихъ враговъ, всевозможныя замѣчанія друзей. Онъ дѣлалъ то, что находилъ нужнымъ, и никакія ободренія или просьбы не могли заставить его сказать больше, никакія осужденія не могли заставить его сказать меньше. Нельзя не вспомнить здѣсь и страннаго отношенія къ нему его биографовъ и историковъ нѣмецкой литературы. Только немногіе изъ этихъ людей могутъ возвыситься до того, чтобы въ самомъ дѣлѣ раздѣлять образъ мыслей Лессинга. Когда вы присмотритесь къ ихъ собственнымъ мнѣ-

ніямъ, вы ожидаете, что они должны осуждать Лессинга, какъ чловѣка слишкомъ рѣзкаго, слишкомъ безцеремоннаго въ выраженіи своихъ мыслей, слишкомъ далеко двинувшагося впередъ въ образъ своихъ понятій; а, между тѣмъ, ни одинъ изъ нихъ даже не воображаетъ, что о Лессингѣ можно говорить такъ, какъ говорится о Гете или Шиллерѣ, можно хвалить въ немъ одно, осуждать другое: нѣтъ! передъ всѣми его приговорами всѣ они совершенно смиряются, будто все еще ждутъ, что онъ можетъ встать изъ гроба и поразить людей, отважившихся сдѣлать ему самое легкое замѣчаніе, какъ поразилъ Клоца. Мы опять должны прибѣгнуть къ сравненію, употребленному выше: мнѣнія Лессинга внушаютъ всѣмъ какое-то благоговѣніе, какъ поэзія Шекспира: «Это такъ: это иначе невозможно; онъ правъ», говоритъ каждый о «Гамбургской Драматургіи» или «Лаокоонтѣ», какъ говоритъ о «Гамлетѣ» или «Отелло». Въ области мысли до сихъ поръ Лессингъ представляется для нѣмецкихъ историковъ литературы такимъ же непогрѣшительнымъ авторитетомъ, какъ Шекспиръ въ области поэзіи. Можно продолжить эту аналогію и въ отрицательномъ смыслѣ: почти никто изъ поэтовъ не слѣдуетъ урокамъ, какіе даетъ поэзія Шекспира, почти никто изъ критиковъ и философовъ не исполняетъ принциповъ Лессинга; но не подчиняться вліянію того и другаго возможно только забывая о нихъ, а какъ скоро являются они передъ нашимъ воспоминаніемъ, никто не чувствуетъ въ себѣ рѣшимости противорѣчить имъ. Превосходство ихъ слишкомъ велико; поэзія одного, мысль другаго по своей натурѣ таковы, что не оставляютъ мѣста никакому разнорѣчію въ сужденіяхъ. Да, сильная это была натура, и очень щедро одаренная природою. Мы довели свой разсказъ до начала литературной дѣятельности Лессинга,—началась она поэтическими произведеніями, и тутъ можно уже видѣть, на сколько былъ онъ выше обыкновенной мѣрки.

Лессингъ самъ о себѣ сказалъ, что не имѣетъ врожденнаго поэтического таланта, что его произведенія не созданія независимаго отъ мысли творчества, а только осуществленія сознательной мысли. «Я не поэтъ—говоритъ онъ въ послѣднемъ номерѣ своей «Драматургіи».—Мнѣ часто оказывали честь, признавая меня поэтомъ; но это значило не знать меня, не признавать особенностей моей натуры. Не надобно было выводить такого высокаго заключенія изъ нѣсколькихъ драматическихъ опытовъ, на которые я отваживался.

Не всякаго, кто беретъ въ руки кисть и пестрить полотно красками, можно назвать живописцемъ. Первые изъ этихъ опытовъ написаны мною еще въ такихъ лѣтахъ; когда охоту и способность легко писать принимаютъ за геній. А относительно всего, что только есть сноснаго въ моихъ послѣдующихъ драмахъ, я очень твердо знаю, что всѣмъ этимъ я обязанъ исключительно собственному критическому размышленію. Я не чувствую въ себѣ живаго источника, который бьетъ черезъ край собственной силою, собственною силою рвется на свѣтъ богатыми, свѣжими, чистыми струями. Я долженъ все выжимать, вытягивать изъ себя усиленіемъ. Я былъ бы совершенно бѣденъ, холоденъ, если бы не научился, такъ сказать, пользоваться чужими сокровищами, согрѣваться у чужаго огня и изопытать мое зрѣніе очками критики. Потому-то я всегда стыдился или досадовалъ, когда читалъ или слышалъ что нибудь въ осужденіе критики, когда слышалъ, что она убиваетъ геній,—вѣдь я, напротивъ, льстилъ себя мыслью, что она даетъ мнѣ нѣчто очень близкое къ генію. Я хромой, которому нельзя угодить пасквилемъ на клюку. Но хотя и правда, что клюка помогаетъ хрому ходить, скороходомъ она никогда не сдѣлаетъ его. Такъ и критика. Если я при помощи ея произвожу нѣчто лучшее, нежели произвелъ бы человекъ съ моими талантами безъ критики, то, надобно прибавить, это стоитъ мнѣ труда, я долженъ быть совершенно свободенъ отъ другихъ дѣлъ, не долженъ разсѣиваться произвольными развлеченіями, долженъ на каждомъ шагѣ соображать всѣ свои наблюденія надъ характерами и страстями».

Мы въ послѣдствіи увидимъ, что эти слова, сказанныя съ цѣлью объяснить, почему онъ не писалъ каждый годъ по нѣскольку драмъ, какъ было ему хотѣлось при основаніи «Драматургіи»,—увидимъ, что эти слова имѣютъ вовсе не такой смыслъ, чтобы отнимать у Лессинга поэтическій талантъ: поэтическаго таланта, безъ сомнѣнія, былъ у него не меньше, нежели у кого нибудь изъ нѣмецкихъ поэтовъ, кромѣ Гёте и Шиллера, далеко превосходившихъ его въ этомъ отношеніи,—онъ только хотѣлъ сказать, что натура его вовсе не такова, какъ натура людей, созданныхъ исключительно быть поэтами, подобно Шекспиру или Байрону; что у него творчество слишкомъ слабо въ сравненіи съ силою вкуса и мысли и дѣйствуетъ не самопроизвольно, какъ у Шекспира или въ народной поэзіи, а только по внушенію и подъ вліяніемъ обсуждающаго ума. Но то остается

безспорно, что поэтический талант не был у Лессинга преобладающим даромъ натуры и вообще самъ по себѣ не могъ бы поставить его на ряду съ истинно великими поэтами. Словомъ, поэзія не была сильнѣйшимъ изъ его талантовъ.

А, между тѣмъ, и эта способность, имѣвшая только второстепенное значеніе въ его натурѣ, была достаточно велика, чтобы самыя первыя, можно сказать, ребяческія произведенія Лессинга тотчасъ же были замѣчены всѣми и приобрѣли ему одно изъ первыхъ мѣстъ въ тогдашней нѣмецкой литературѣ, въ противность обыкновенному порядку, по которому почетное имя и уваженіе критики приобреталось только многолѣтнимъ трудомъ, вмѣстѣ съ сѣдинами и важными мѣстами въ гражданскомъ обществѣ. То была пора, отчасти подобная нравамъ русскаго литературнаго міра до Пушкина. Молодой человѣкъ старался попасть подъ покровительство заслуженнаго литератора, — тотъ вводилъ его въ общество писателей, уже двадцать-тридцать лѣтъ пользовавшихся славою нѣмецкихъ Гомеровъ, Корнелей и Анакреоновъ. Эти съ важнымъ видомъ слушали произведенія новичка, поправляли ихъ, одобряли ихъ, такъ продолжалось десять, пятнадцать лѣтъ, и только состарѣвшись, въ свою очередь, бывшій новичокъ дѣлался знаменитымъ писателемъ.

Лессингъ, двадцатилѣтній юноша, не примыкавшій ни къ какому литературному обществу, не считавшій нужнымъ познакомиться ни съ однимъ изъ знаменитыхъ тогдашнихъ поэтовъ или критиковъ, съ перваго же раза приобрѣлъ громкую извѣстность своими анакреонтическими одами и комедіями. Пѣсни его печатались въ журналахъ, издававшихся Милиусомъ: «Развлеченіе» (Ermunterungen) и «Натуралистъ» (Naturforscher); пьесы были написаны для труппы г-жи Нейберъ, потомъ перешли и на другія нѣмецкія сцены. Мы не будемъ перечислять ни этихъ пѣсень, ни даже этихъ комедій: онѣ теперь, по всей справедливости, не читаются почти никѣмъ, кромѣ людей, занимающихся исторіею литературы, хотя въ свое время надѣлали шуму и были единогласно превозносимы всѣми критиками, какъ лучшія въ своемъ родѣ произведенія нѣмецкой литературы.

Такъ, напримѣръ, знаменитый профессоръ Михаэлисъ, тогда писавшій въ «Гёттингенскихъ Ученыхъ Извѣстіяхъ», одномъ изъ самыхъ уважаемыхъ критическихъ журналовъ, говорилъ объ анакреонтическихъ пѣсняхъ Лессинга: «Если чьи нибудь лирическія

пѣсы были читаны нами съ восхищеніемъ, то, конечно, лессинговъ. Рецензентъ не бываетъ склоненъ къ увлеченію, но онъ заставилъ насъ забыть обо всемъ, бросить всякую другую работу»... и т. д. «Іенскія Ученныя Извѣстія» объявляли, что эти пѣсни должны быть поставлены на ряду съ первоклассными созданіями всѣхъ литературъ. То же самое говорили и объ его пѣсахъ. Даже за границу проникла его слава: итальянскіе и французскіе журналы, когда случалось имъ перечислять лучшихъ нѣмецкихъ писателей, непременно упоминали и о Лессингѣ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Столкновеніе съ Вольтеромъ.—Дѣло съ Ланге.—Дѣло съ Гохеромъ.—Vademe-
cum для г. Ланге.—Лессингъ становится выше всякихъ подозрѣній.—Онъ ста-
новится страшень, какъ критикъ.—Николай.—Мендельсонъ.—Отношенія Лес-
синга, какъ саксонца, къ пруссакамъ во время Семилѣтней войны.—Возвра-
щеніе въ Берлинъ.

Житейское положеніе Лессинга въ Берлинѣ сначала было очень незавидно,—мы видѣли, какъ онъ жалуется на недостатокъ порядочнаго платья; въ другомъ письмѣ, онъ говоритъ, что имѣть обѣдъ въ полтора гроша (6 коп. сер.)—при всей возможной дешевизнѣ тогдашняго Берлина, обѣдъ не могъ быть роскошнѣ. Предложеніе заняться исправленіемъ латинскаго перевода огромной д'Эрблотовой «Восточной Библіотеки» за 200 талеровъ въ вознагражденіе этой работы, требовавшей годичнаго труда, онъ выстав-
ляетъ въ письмахъ къ отцу предложеніемъ выгоднымъ для себя; оно и дѣйствительно было выгодно по его тогдашнимъ обстоятель-
ствамъ: въ другихъ случаяхъ, какъ видно изъ писемъ, дѣло шло о талерахъ и десяткахъ талеровъ, никакъ не болѣе. Тѣмъ не менѣе, берлинская жизнь была пріятна ему, при всѣхъ недостаткахъ. Онъ приобрѣлъ довольно много знакомствъ, сблизился съ людьми, кото-
рые могли быть полезны ему въ будущемъ, надѣялся на литератур-
ные успѣхи, ожидалъ, что дѣла его скоро поправятся. Но отецъ и
мать настаивали, чтобъ онъ продолжалъ ученую карьеру: ученому
пастору было обидно за сына, который все еще имѣетъ званіе
только кандидата медицины, было грустно думать о томъ, что у
него нѣтъ никакихъ вѣрныхъ средствъ къ обезпеченію своего су-
ществованія,—литературу старикъ справедливо считалъ очень небо-
гатымъ и вовсе недостаточнымъ источникомъ доходовъ. Не знаемъ,
послушался ли бѣ Лессингъ убѣжденій отца держать экзаменъ на

высшія ученыя степени, съ цѣлю получить университетскую кае-
дру,—но встрѣтилось обстоятельство, которое неожиданнымъ и ни-
мало не пріятнымъ образомъ помогло исполненію отцовскаго же-
ланія.

Однимъ изъ первыхъ знакомыхъ Лессинга въ Берлинѣ былъ французъ Ришье де-Лувенъ, человѣкъ съ добрымъ сердцемъ, если не съ гениальнымъ умомъ *). Положеніе обоихъ было почти одинаково, по лѣтамъ они были сверстники, и скоро стали близкими друзьями. Правда, часто сердился Ришье на Лессинга, когда тотъ не курилъ еиміама французской литературѣ, не хотѣлъ называть Лафонтена величайшимъ баснописцемъ, а Корнеля и Расина величайшими трагиками въ мірѣ; но все-таки оставались они добрыми пріятелями, и изъ дружескихъ разговоровъ Ришье на столько познакомился съ нѣмецкою литературою, что въ обществѣ могъ являться защитникомъ нѣмецкой литературы,—что всего забавнѣе, противъ нѣмцевъ.

Въ 1750 году, Ришье, прежде жившій уроками французскаго языка, сдѣлался секретаремъ у Вольтера, и черезъ три-четыре недѣли имѣлъ случай рекомендовать своего пріятеля знаменитому писателю. Случай этотъ былъ такого рода: Вольтеръ искалъ человѣка, который бы могъ переводить на нѣмецкій языкъ меморіалы, которые писалъ Вольтеръ противъ еврея Гирша, по поводу своего извѣстнаго процесса съ этимъ жидомъ изъ-за квитанцій саксонскихъ налоговъ, которыми торговали тогда, какъ нынѣ акціями торговыхъ компаній. Кто былъ правъ, кто виноватъ въ этомъ дѣлѣ, разбирать мы не будемъ, довольно сказать, что процессъ надѣлалъ въ то время много шума, раздражительный Вольтеръ велъ его съ ожесточеніемъ, и чрезвычайно хлопоталъ объ успѣхѣ. Какъ писатель, Лессингъ, конечно, былъ ему вовсе неизвѣстенъ,—но какъ переводчикъ его меморіаловъ противъ Гирша, онъ сталъ для него человѣкомъ очень интереснымъ, и Вольтеръ пригласилъ молодаго человѣка обѣдать у него каждый день; они говорили о литературѣ и наукахъ, но Вольтеръ сохранялъ при этомъ всегда такой сдержанный и серьезный тонъ, что собесѣдникамъ было мало возможности обнаруживать свой умъ: только при знатныхъ Вольтеръ давалъ просторъ своему острому языку, какъ тѣ музыканты, которые даютъ концерты при

*) Разсказъ Карла Лессинга.

дворахъ и въ аристократическихъ залахъ, и не находятъ нужды играть передъ своими собратами. Такъ продолжалось нѣсколько недѣль. Въ февралѣ 1751 года, процессъ кончился и Вольтеръ уѣхалъ въ Потсдамъ, гдѣ и кончилъ «*Siècle de Louis XIV*». Когда въ декабрѣ возвратился онъ въ Берлинъ, Лессингъ снова посѣтилъ своего друга Ришье, и засталъ его въ хлопотахъ, съ этимъ только-что отпечатаннымъ сочиненіемъ. Вольтеръ хотѣлъ поднести королевской фамиліи двадцать-четыре экземпляра своей книги, прежде, нежели поступить она въ продажу. Конечно, для подарка нужно было отобрать лучшіе экземпляры, и услышавъ, что это дѣло не терпитъ задержки, Лессингъ сталъ помогать своему пріятелю въ подборѣ лучшихъ оттисковъ. Ришье, въ благодарность за услугу, обѣщался дать ему на нѣсколько дней для прочтенія первую часть сочиненія, если онъ успѣетъ собрать ее изъ дефектныхъ листовъ. Составивъ нужные для Вольтера экземпляры, успѣли друзья собрать изъ дефектныхъ листовъ для Лессинга всю первую часть, за исключеніемъ одного листа, который Лессингъ прочиталъ тутъ же по другому экземпляру, а найденные листы взялъ съ собою, давъ слово, что не покажетъ ихъ никому и возвратитъ черезъ три дня. На другой день, когда вся первая часть была уже прочитана Лессингомъ, навѣстилъ его нѣкто Дрексель, молодой человѣкъ, родомъ также изъ Саксоніи, служившій гувернеромъ у Шуленбурга, и выпросилъ книгу на нѣсколько часовъ себѣ. На бѣду, въ это самое время пріѣхала съ визитомъ къ г-жѣ Шуленбургъ графиня Бентинкъ, пользовавшаяся особенною дружбою Вольтера. Хотѣлъ ли Дрексель щегольнуть передъ дамами литературною новостью, или дамы сами, зашедши въ его комнату, увидѣли книгу, какъ бы то ни было, онъ увидѣли книгу. А графиня Бентинкъ уже просила у Вольтера экземпляръ его новаго сочиненія, но Вольтеръ отказалъ ей, говоря, что прежде долженъ поднести его королевской фамиліи. Тотчасъ же поѣхала она къ Вольтеру, и рассказала ему, что книга уже есть у Дрекселя, который получилъ ее отъ Лессинга. Вольтеръ вышелъ изъ себя отъ гнѣва, позвалъ своего секретаря, началъ бранить его, и тотчасъ же отправилъ его къ Лессингу взять назадъ книгу, — книга была уже возвращена Дрекселемъ Лессингу, но, къ несчастью, Лессинга не было дома, когда пріѣхалъ къ нему Ришье. Бѣдный секретарь воротился въ уныніи, извиняясь этимъ непредвидѣннымъ обстоятельствомъ. Вольтеръ не хотѣлъ ничего слушать,

бѣсился и бранился, крича на Ришье, что онъ и Лессингъ украли у него полный экземпляръ (хотя по счету видно было, что Ришье отдалъ только дефектные листы одной первой части), что они хотятъ сдѣлать перепечатку его сочиненія, или издать его нѣмецкій переводъ, право на который было уже продано книгопродавцу Геннингу. Жестоко браня своего секретаря, онъ заставилъ его подъ свою диктовку написать къ Лессингу письмо, наполненное грубыми или ядовитыми выходками и несправедливыми подозрѣніями, какъ видно, по отвѣту Лессинга,—это письмо затеряно, но отвѣтъ Лессинга, написанный по-французски, сохранился. Лессингъ понялъ, что письмо Ришье продиктовано раздраженнымъ Вольтеромъ, и потому, возвращая книгу, безъ всякихъ колкостей въ отвѣтъ на грубости письма, доказывалъ только, что никогда не имѣлъ намѣренія употребить во зло довѣрчивости своего друга, котораго оправдывалъ совершенно, принимая всю неловкость поступка исключительно на себя: онъ зналъ, что это письмо будетъ прочтено Вольтеромъ, и хотѣлъ помочь своему пріятелю, котораго своею неосторожностью поставилъ въ невыгодное положеніе. Но уже поздно было помогать злополучному секретарю знаменитаго автора: Вольтеръ тотчасъ же, какъ Ришье написалъ письмо, прогналъ его отъ себя, и въ нетерпѣніи написалъ самъ Лессингу другое письмо, въ которомъ, льстя Лессингу различными обѣщаніями, лишь бы только выманить изъ его рукъ драгоценную книгу, называлъ своего секретаря плутомъ, воромъ и т. п., негодяемъ, который обманулъ Лессинга, выставивъ ему позволительнымъ дѣломъ переводъ или перепечатку, выгодами которой, конечно, хотѣлъ воспользоваться самъ, употребляя Лессинга только орудіемъ своей продѣлки. Книга, съ прежнимъ отвѣтомъ на имя Ришье, была уже отправлена Лессингомъ въ домъ Вольтера, когда получено имъ было это второе письмо. Теперь, видя, что дѣло Ришье уже потеряно, Лессингъ не имѣлъ надобности шадить Вольтера, и написалъ прямо на его имя другой отвѣтъ, на латинскомъ языкѣ, которымъ выражался онъ свободнѣе, нежели французскимъ,—отвѣтъ былъ такого рода, что, по выраженію самого Лессинга, Вольтеръ не сталъ бы «выставлять его у окна на показъ», — къ сожалѣнію, отвѣтъ этотъ не сохранился, и неизвѣстно даже, дошелъ ли онъ до Вольтера, который сберегъ только первый, французскій отвѣтъ, а о второмъ не упоминаетъ.

Рише мало проигралъ, потерявъ мѣсто у Вольтера: онъ нашелъ себѣ другую, болѣе выгодную должность,—изъ этого надобно заключить, что его репутація не пострадала отъ нелѣпаго подозрѣнія Вольтера: въ самомъ дѣлѣ, даже тѣ люди, которые считали предположеніе Вольтера о переводѣ или перепечаткѣ его книги справедливымъ, могли приписывать такое намѣреніе только Лессингу, а никакъ не Рише. И, дѣйствительно, многіе обвиняли Лессинга. Вольтеръ поднялъ страшный шумъ,—Вольтеръ пользовавшійся милостью Фридриха II, глава французской литературы, обожаемый тогда всѣми свѣтскими людьми въ Германіи, конечно, скорѣе заслуживалъ довѣрія, нежели нищій кандидатъ медицины. Въ Берлинѣ распространились толки, нимало не выгодные для Лессинга,—и, подъ вліяніемъ этой непріятности, онъ рѣшился послушаться отцовскаго желанія,—уѣхать въ Виттенбергъ, чтобы держать тамъ экзаменъ на магистра *).

*) Представимъ здѣсь примѣръ того, какъ велико было безпристрастіе Лессинга въ его критической дѣятельности. Оскорбленіе, нанесенное Лессингу подозрѣніемъ Вольтера, было очень велико: Вольтеръ на нѣкоторое время запятналъ его честность во мнѣніи многихъ,—заставилъ его,—что всего мучительнѣе для благороднаго человѣка,—считать себя причиною непріятности, отъ которой пострадалъ его другъ. Удаленіе изъ Берлина, конечно, разстроило многіе планы и надежды Лессинга. Черезъ годъ, вскорѣ по возвращеніи Лессинга въ Берлинъ изъ Виттенберга, гдѣ онъ, по милости Вольтера, терпѣлъ страшную нужду, пришлось Лессингу писать рецензію о драмѣ Вольтера, — и вотъ какова эта рецензія:

«Amalie, ou le Duc de Foix, tragedie de m-r de Voltaire etc. Хвалить Вольтера такъ же излишне, какъ бранить Ганке (а). Генію дана власть, все что пишетъ онъ, писать превосходно:

Was ihn bewegt, bewegt, was ihm gefällt, gefällt.

Sein glücklicher Geschmack ist der Geschmack der Welt.

(Что трогаетъ его, трогаетъ всѣхъ; что нравится ему, нравится всѣмъ. Его счастливый вкусъ—вкусъ всей публики). О, какой это поэтъ! И въ старости сохранилъ онъ весь жаръ юности, какъ въ юности онъ, кажется, впередъ пріобрѣлъ себѣ всю мудрость старости.

«Сюжетъ пьесы взятъ изъ исторіи среднихъ вѣковъ,—не будемъ пересказывать его, потому что не хотимъ отнимать у читателей наслажденія, которое доставляется въ чтеніи неизвѣстностью развязки, и замѣтимъ только, что «Амалия»—драма безъ кровопролитія; она можетъ служить поучительнымъ примѣромъ того, что трагическое состоитъ не въ одной только рѣзнѣ. Какія си-

(а) Плохой поэтъ Готтшедовой школы.

Тамъ ожидали его новыя непріятности. Къ бѣдности онъ уже привыкъ; но все-таки въ Виттенбергѣ было ему очень тяжело: въ Берлинѣ онъ успѣлъ уже нѣсколько опредѣлить свое положеніе и составить нѣкоторыя, хотя еще незначительныя связи съ книгопродавцами, отъ которыхъ тогда совершенно зависѣла судьба нѣмецкихъ писателей,—тамъ онъ если и нуждался, порою очень нуждался, то, по крайней мѣрѣ, имѣлъ каждый день обѣдъ,—правда, и то, что обѣдъ былъ не роскошенъ. Но въ Виттенбергѣ часто и того не бывало, — иной день обходился, судя по словамъ брата. и безъ всякаго обѣда, роскошнаго или нероскошнаго. А между тѣмъ, Лессингъ работалъ страшно много,—не для приготовления къ магистерскому экзамену, что, конечно, не требовало со стороны его особеннаго труда, а для того, чтобъ имѣть насущный кусокъ хлѣба: онъ по прежнему переводилъ, писалъ статьи во всевозможныхъ родахъ, издавалъ (т. е. продавалъ книгопродавцамъ за нѣсколько талеровъ) различные сборники своихъ статей и т. д. Той цѣли, о которой наименѣе заботился, Лессингъ достигъ безъ затрудненій,—онъ сдѣлался магистромъ, и тѣмъ отчасти утѣшилъ отца,—но другую задачу, самую настоятельную,—задачу объ обѣдѣ, онъ никакъ не могъ рѣшить въ Виттенбергѣ удовлетворительнымъ образомъ,—хотя бы не для вкуса, по крайней мѣрѣ, для желудка,—потому, пробывъ около года въ Виттенбергѣ, онъ возвратился (въ концѣ 1752 года) въ Берлинъ, гдѣ сталъ снова писать рецензіи для Фоссовой газеты,—дѣло, которымъ онъ обезпечивалъ свой скудный столъ и до отъѣзда въ Виттенбергъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, принялся онъ и за изданіе собранія своихъ сочиненій, которыхъ въ теченіе двухъ слѣдующихъ годовъ (1753 и 1754) вышли четыре части. Изданіе это было принято, какъ мы видѣли, независимыми отъ Готтшеда журналами съ большимъ одобреніемъ, публикою съ живымъ сочувствіемъ,—лирическія стихотворенія и драматическія

туаціи, какой драматизмъ въ чувствахъ! Скажемъ смѣло, въ этой трагедіи авторъ превзошелъ самого себя».

Такъ говорилъ Лессингъ о произведеніи писателя, который, какъ чело-вѣкъ, грубо и пошло оскорбилъ его, какъ чело-вѣка. Тутъ нѣтъ никакого слѣда личной непріятности, которою былъ оскорбленъ авторомъ критикъ. Одного этого примѣра было бы достаточно, чтобы судить о томъ, какая безконечная разница была между критикою Лессинга и рецензіями, пасквилями и панегириками готтшедіанцевъ и бодмеріанцевъ, гдѣ сущность дѣла исключительно состояла въ томъ, чтобы тѣшить собственное самолюбіе.

пьесы Лессинга были немедленно причислены къ «лучшимъ украшеніямъ германскаго Парнасса», и авторъ ихъ признанъ «однимъ изъ писателей, приносящихъ славу своему отечеству». Для другаго, это значило бы очень много: мы уже говорили, какою необыкновенною честью должно считаться, что публика и журнальные аристархи, привыкшіе преклоняться, только передъ литературною престарѣлостью, съ перваго раза почувствовали необходимость сравнять юношу (Лессингу было тогда 24 года) съ ветеранами литературной славы. Но для Лессинга этотъ успѣхъ былъ бы очень ничтоженъ, — да и для нѣмецкой литературы было бы немного сдѣлано Лессингомъ, если бы онъ сталъ пользоваться только честью «быть однимъ изъ лучшихъ писателей своего времени» — мы видѣли во второй статьѣ, каковы были эти тогдашніе «лучшіе писатели». Но въ то же время, какъ они признавали Лессинга равнымъ себѣ, думая тѣмъ оказывать ему необыкновенную честь, онъ дѣлалъ для нѣмецкой литературы нѣчто болѣе важное, нежели его пѣсни и первыя пьесы, и пріобрѣталъ извѣстность болѣе громкую, нежели тѣ писатели, имена которыхъ были наиболѣе славны: онъ далъ новую жизнь нѣмецкой критикѣ, и, обнаруживъ недостаточность того, чѣмъ довольствовались публика и литераторы до него, возбуждалъ въ публикѣ потребность лучшей литературы, указывалъ литераторамъ необходимость быть иными людьми, нежели каковы были они до сихъ поръ, писать не то, и не такъ, что и какъ писали они до сихъ поръ.

Съ самаго начала, сужденія Лессинга были независимы отъ духа партій, которыя безплодно ссорились изъ-за удовлетворенія личнымъ тщеславіемъ. Бодмеръ и Готтшедъ были равны въ его глазахъ, и если онъ возставалъ противъ Готтшпеда чаще, нежели противъ Бодмера, причиною тому было не предпочтеніе швейцарцевъ саксонцамъ, а то обстоятельство, что Готтшедъ, по своему личному характеру, болѣе заслуживалъ негодованія, безстыднѣе интриговалъ въ литературѣ, нежели Бодмеръ, и пошлымъ образомъ возставалъ противъ всего даровитаго въ литературѣ, особенно противъ Клопштока, котораго достоинства признавались швейцарцами. Но и швейцарцы не были нимало щадимы Лессингомъ. Скоро поднялись противъ новаго критика вопли отъ всѣхъ тщеславныхъ писателей, пустоту славы которыхъ онъ разоблачалъ. Но вся полемика, ими поднятая противъ Лессинга, послужила только къ уве-

личенію его извѣстности. Мы расскажемъ изъ этихъ случаевъ только два, надѣлавшіе особеннаго шума.

Въ Галле находился кружокъ литераторовъ, состоявшихъ въ союзѣ съ Бодмеромъ противъ Готтшеда; главою этого кружка,—такъ называемой галлеской школы, былъ Ланге, пользовавшійся громкою славою за свои «Гораціанскія Оды»—анакреонтическія стихотворенія, написанныя въ подражаніе Горацію. За исключеніемъ готтшедианцевъ, находившихся во враждѣ съ этою литературною партією, всѣ читали Ланге, какъ одно изъ самыхъ яркихъ свѣтилъ на горизонтѣ нѣмецкой поэзіи. На самомъ же дѣлѣ, онъ, подобно другимъ тогдашнимъ свѣтиламъ, былъ человѣкъ съ довольно-ограниченнымъ умомъ, посредственнымъ талантомъ, безмѣрнымъ самопоклоненіемъ, и въ добавокъ, точно также, какъ остальные члены его школы—Мейеръ, Глеймъ, Вазеръ, Зульцеръ, Гирцель и его другъ Пира, развилъ въ себѣ сладостнѣйшую приторность въ дружбѣ, то есть, въ дѣлахъ взаимнаго восхваленія. Всѣ они плакали отъ дружескаго восторга при свиданьяхъ, цаловались лично и письменно безчисленное множество разъ, и вообще имѣли чувства, совершенно маниловскія. Стихотворенія Пиря и Ланге были даже соединены Бодмеромъ (безъ вѣдома авторовъ—сладкій дружескій сюрпризъ) въ одну книжку (символъ единства ихъ сердецъ), подъ трогательнымъ заглавіемъ «Дружественныя пѣсни Тирсиса и Дамона» *). Эти пѣсни также пользовались большою славою. Пира ставилъ своего друга на ряду съ Мильтономъ. По смерти Пиря, онъ, ставъ единственнымъ корифеемъ школы, сдѣлался предметомъ еще безпредѣльнѣйшаго восхваленія. Жена его, которой дали въ поэтическомъ кругу имя Дорины, прославилась уже тѣмъ, что писала подражанія стихотвореніямъ мужа. Превознесенный за подражанія Горацію, Ланге вздумалъ наконецъ перевести его оды; объявленія о томъ, что великій поэтъ предпринялъ этотъ прекрасный

*) Мы не прикрашиваемъ заглавія: *Thirsis und Damons freundschaftliche Lieder* (1745)—это восхитительно, но мы можемъ противопоставить иноземному прекрасному свое, не менѣе прелестное: «Печальные, веселые и унылые тоны моего сердца», Рындовскаго (1809); «Вздохи сердца» (1728), къ сожалѣнію, безъ имени автора, «Цвѣты Грацій» князя Шаликова—(1802) и извѣстные «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона» и «Бытіе моего сердца».—«Прелести дѣтства и удовольствія матерня любви» Андрея Стахіева, къ несчастію, не могутъ быть предметомъ нашей гордости, потому что переведены съ французскаго.

трудъ, были сдѣланы заранѣе, а въ 1752 году напечатанъ былъ и переводъ. Тутъ постигла его неожиданная бѣда.

Во второй части своихъ сочиненій Лессингъ напечаталъ рядъ писемъ, содержаніемъ которыхъ были изслѣдованія о старинной литературѣ, разборы нѣкоторыхъ новыхъ книгъ и т. д. Въ двадцать четвертомъ письмѣ дѣло шло о переводѣ гораціевыхъ одъ Ланге, и сужденіе критика было очень неблагопріятно для знаменитаго автора:

«Вы, безъ сомнѣнія, помните,—говорилъ Лессингъ въ своемъ письмѣ какому-то г-ну Ф., на имя котораго было оно адресовано,—какъ высоко уважалъ я всегда «Гораціанскія оды» и ихъ автора, г. Ланге. Я всегда считалъ его однимъ изъ главнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, и съ нетерпѣніемъ ожидалъ общаго имъ перевода Горація. Наконецъ, переводъ явился, и я, можно сказать, не прочиталъ, а проглотилъ его. До сихъ поръ не могу еще оправиться отъ изумленія, въ которое онъ меня привелъ. Но—увы! изумленіе мое было вовсе не такого рода, какъ я надѣялся,—не изумленіе отъ чрезвычайныхъ красотъ, а изумленіе отъ чрезвычайныхъ ошибокъ. Первый же взглядъ, упавшій на четырнадцатую оду пятой книги,—на этомъ мѣстѣ раскрылся переводъ,—привелъ меня въ ужасъ».

Дѣло въ томъ, что Ланге часто не понималъ подлинника, и, напримѣръ, въ этой одѣ *rosula somnum ducuntia*—«чаши, наводящія сонъ»—переводитъ «двѣсти чашъ сна»—воображая, что *ducuntia* (наводящія) все равно, что *ducuntia* (двѣсти).

Въ самомъ дѣлѣ, ошибка эта чрезвычайно груба. «Просмотрѣвъ книгу, продолжаетъ Лессингъ, я на каждой страницѣ замѣтилъ подобныя промахи, и результатъ этихъ замѣтокъ былъ таковъ: г. Ланге, утверждающій, что девять лѣтъ занимался этимъ трудомъ, потерялъ девять лѣтъ; и совершенно непостижимо, какимъ образомъ могъ онъ счастливо подражать Горацію, не понимая его. «Въ подтвержденіе такого сужденія, критикъ приводитъ десятка полтора другихъ грубыхъ промаховъ переводчика, и оканчиваетъ: «Благодарите меня, что я не наскучаю вамъ гораздо большимъ числомъ такихъ вещей. Но и этихъ довольно, чтобы покачать головою надъ словами челоуѣка, хвалящагося въ предисловіи тѣмъ, что хотѣлъ дать буквальный и вѣрный переводъ. Силенъ ли, поэтиченъ ли, гладокъ ли, обладаетъ ли какимъ нибудь другимъ достоинствомъ

этотъ переводъ, пусть рѣшаютъ другіе, а я не знаю, какъ искать въ немъ какогонибудь достоинства».

Можно вообразить себѣ гнѣвъ знаменитаго поэта!—онъ отвѣчалъ критику,—но, къ своему величайшему несчастію, хотѣлъ изъ оборонительнаго положенія перейти въ наступательное, и, не ограничиваясь опроверженіемъ замѣчаній Лессинга, набросить тѣнь на его характеръ, выставивъ, что строгость Лессинга—слѣдствіе неудачи его своекорыстныхъ ожиданій. Письмо Лессинга было перепечатано въ «Гамбургскомъ Корреспондентѣ», и Ланге напечаталъ «Письмо къ автору статьи о переводѣ Горація, помѣщенной въ Гамбургскомъ Корреспондентѣ». Тутъ говорилось, что черезъ одного общаго знакомаго, Лессингъ предлагалъ Ланге не печатать замѣчаній, если Ланге дастъ ему за то извѣстную сумму, но что Ланге не согласился платить дань журнальному крикуну, и за то Лессингъ озлобился противъ него.

На самомъ дѣлѣ, случай, который Ланге выставлялъ въ такомъ дурномъ видѣ, произошелъ слѣдующимъ образомъ. Въ мартѣ 1752 года, когда жилъ въ Виттенбергѣ, Лессингъ познакомился съ галлескимъ профессоромъ Николаи *), который проѣздомъ посѣтилъ Виттенбергъ. По возвращеніи Николаи въ Галле, они стали переписываться между собою. Въ первомъ же письмѣ, Лессингъ говорилъ, между прочимъ, что прочелъ переводъ Горація, сдѣланный Ланге, нашелъ въ немъ большія ошибки, и хочетъ указать ихъ въ какойнибудь газетѣ. Николаи, бывшій близкимъ другомъ Ланге, заботясь о литературной славѣ своего друга, отвѣчалъ Лессингу: «Я не совѣтовалъ бы никому, намѣревающемуся жить въ прусскихъ владѣніяхъ, нападать на г. Ланге, потому что онъ пользуется силою при дворѣ. Но я знаю его за человѣка, который слушается добрыхъ совѣтовъ, когда ему хорошенько объяснятъ дѣло. Потому надобно бы объяснить ему эти ошибки. Я думаю, не предложить ли ему самому быть издателемъ написанныхъ вами противъ него замѣчаній, съ тѣмъ, чтобы онъ могъ воспользоваться вашими поправками при новомъ изданіи своей книги, или отдѣльно напечатать ихъ. Конечно, онъ долженъ при этомъ заплатить автору ихъ гонорарій, какъ вообще издатель платитъ автору за рукопись». Въ сво-

*) Этого галлескаго Николаи не должно смѣшивать съ извѣстнымъ берлинскимъ писателемъ—книгопродавцемъ Николаи, съ которымъ Лессингъ познакомился черезъ два года.

емъ отвѣтъ, Лессингъ деликатнымъ образомъ отклонялъ предложеніе Николаи быть посредникомъ между нимъ и Ланге; ему непріятно было, что Николаи считаетъ его такимъ корыстолюбивымъ человѣкомъ, который за деньги откажется отъ намѣренія печатать статью—онъ хотѣлъ, чтобы Николаи не навязывался болѣе съ своимъ посредничествомъ, котораго Лессингъ вовсе не желалъ, и, дѣйствительно, онъ не послалъ своихъ замѣчаній въ рукописи, ни къ Ланге, ни къ Николаи—ясное доказательство того, что онъ вовсе не намѣренъ былъ имѣть сношеній съ Ланге и не хотѣлъ пользоваться предложеніемъ Николаи. Но Николаи сообщилъ Ланге о томъ, что писалъ ему Лессингъ и о своемъ предложеніи Лессингу, замѣчая впрочемъ, что ни въ какомъ случаѣ Лессингъ не откажется напечатать своихъ замѣчаній.

Этимъ случаемъ воспользовался Ланге, чтобы, отвѣчая на замѣчанія Лессинга, прибавить, что онъ продажный Зоиль, заставляющій авторовъ откупаться деньгами отъ его нападеній.

Лессингъ вознегодовалъ, прочитавъ гнусное обвиненіе возведенное на него Ланге, и рѣшился отвѣчать ему такъ, чтобы надолго остался памятенъ въ литературѣ этотъ отвѣтъ; — рѣшеніе это не было только слѣдствіемъ оскорбленнаго чувства,—позднѣе, во время полемики съ Клоцемъ, Лессингъ говорилъ о своихъ страшныхъ возраженіяхъ: «много горячихъ словъ я употребилъ, но ни одного изъ нихъ не сказалъ только по увлеченію — нѣтъ, именно каждое изъ нихъ надобно было сказать, и каждое оставлено на своемъ мѣстѣ по холодному, безпристрастному убѣжденію, что польза литературы и справедливость того требуютъ». Такъ было и теперь. Лессингу необходимо было безпощаднымъ образомъ доказать совершенную основательность своего прежняго приговора о переводѣ Ланге, чтобы не оставалось ни въ комъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ не увлекался какими нибудь личными отношеніями, объявляя этотъ переводъ плохимъ; онъ долженъ былъ неумолимо наказать человѣка, взводившаго подозрѣнія на чистоту его характера, чтобъ отнять у другихъ охоту слѣдовать примѣру Ланге, — это было тѣмъ необходимѣе, что ужъ не въ первый разъ литературныя замѣчанія его подавали поводъ къ подобной клеветѣ, совершенно такой же случай былъ съ нимъ по поводу замѣчаній на словарь Йохера.

«Словарь Ученыхъ» (Gelehrtenlexicon) Йохера—произведеніе громадной учености и ужасающаго трудолюбія, — работа, по до-

стоинству и громадности подобная греческому словарю Генриха Стефана, словарямъ средневѣковаго латинскаго и средневѣковаго греческаго языка Дюканжа, латинской и греческой бібліотекамъ Фабриція, бібліографическимъ словарямъ Эберта и Керара. Страшно и подумать о томъ, сколько жизни и знанія, сколько терпѣнія и труда нужно было употреблять каждому изъ этихъ знаменитыхъ ученыхъ, чтобы дать наконецъ наукѣ «сокровище», какъ и называлъ свой словарь Генрихъ Стефанъ. За то дѣйствительно можно назвать подобныя работы «сокровищами науки» — онѣ навѣки остаются необходимыми справочными книгами для всѣхъ позднѣйшихъ изслѣдователей. И когда, съ теченіемъ времени, съ накопленіемъ новыхъ фактовъ, необходимы бывають новыя дополненныя изданія подобныхъ трудовъ, цѣлыя общества ученыхъ соединяются для совершенія столь исполнскаго дѣла, — такъ недавно дѣлалось сотрудничествомъ почти всѣхъ филологовъ западной Европы новое изданіе греческаго словаря Генриха Стефана.

Странно, неправдоподобно дѣло, предпринятое Лессингомъ, когда явился «Словарь Ученыхъ» Йохера. Разсматривая его, онъ вздумалъ издать пополненія и поправки къ этому гигантскому труду, — работа, требующая столько же учености и труда, какъ и самое составленіе «Словаря». Лессингъ былъ въ то время двадцатитрехлѣтнимъ юношею; послѣдніе четыре или пять лѣтъ, юноша провелъ въ томъ, что писалъ комедіи, стихотворенія, журнальныя статьи для своего пропитанія, — онъ былъ литературнымъ поденщикомъ, — не для науки, а для куска хлѣба онъ работалъ, — не о расширеніи знаній, а о томъ, какъ бы заработать себѣ полтора гроша на обѣдъ, надобно было ему думать, — ему ли быть приготовленнымъ къ совершенію труда, за который онъ брался? Когда онъ успѣлъ приобрѣсти громадныя знанія, нужныя для того? Когда ему, нищему и полуголодному газетному чернорабочему, пишущему на срокъ статьи, переводящему французскія, испанскія, англійскія книги для того, чтобы получить отъ книгопродавца по двадцати или тридцати талеровъ за переводъ тома, — когда ему писать эти дополненія и поправки, въ которыхъ каждая строка — результатъ разысканій, въ которыхъ для одной цифры, для одного слова нужно часто перерыть цѣлую бібліотеку?

Когда и какъ онъ успѣлъ это сдѣлать, когда успѣлъ приобрѣсть громадную ученость, когда находилъ время для справокъ и изслѣ-

дованій, — это было ужь его дѣло; но какъ бы то ни было, двадцати-трехлѣтній юноша объявилъ о своемъ намѣреніи издать поправки и дополненія къ «Словарю Ученыхъ» Йохера и при объявленіи, какъ образецъ своего труда, напечатать первые три листа его, обнимавшіе имена отъ Abaris до Assiajoli.

Йохеръ, прочитавъ эти поправки и дополненія, увидѣлъ, что въ своемъ молодомъ критикѣ имѣеть достойнаго продолжателя, получилъ высокое уваженіе къ его учености и дружески просилъ Лессинга, вмѣсто того, чтобы печатать этотъ трудъ отдѣльно, сообщить свои матеріалы ему, Йохеру, который воспользуется ими при новомъ изданіи «Словаря Ученыхъ», объяснивъ въ предисловіи участіе Лессинга въ улучшеніи этого труда. Лессингъ согласился на это предложеніе, передалъ Йохеру собранные имъ матеріалы, и получилъ за нихъ отъ книгопродавца, издававшего «Словарь», вознагражденіе, на которое имѣлъ право, какъ сотрудникъ Йохера въ приготовленіи новаго изданія *).

Отношенія Йохера къ Лессингу были дружелюбны и почетны для Лессинга. Своими замѣчаніями, онъ приобрѣлъ глубокое уваженіе ученаго автора, трудъ котораго исправлялъ. Но въ кругу виттенбергскихъ недоброжелателей Лессинга (сношенія съ Йохеромъ о матеріалахъ для исправленія его «Словаря» происходили въ то время, какъ Лессингъ жилъ въ Виттенбергѣ) распространилась нелѣпая молва, что Лессингъ хотѣлъ запугать Йохера своею критикою, чтобы взять съ него деньги. Надобно припомнить еще исторію съ Вольтеромъ, принявшую также очень двусмысленный колоритъ по раздражительному крику знаменитаго философа, и мы поймемъ, какъ необходимо было Лессингу положить конецъ подобнымъ толкамъ, касавшимся его чести, когда Ланге вздумалъ кричать о низкомъ его своекорыстіи.

Въ дѣлѣ съ Вольтеромъ, Лессингъ не платилъ оскорбителю печатными возраженіями, чувствуя, что своею неосторожностью, дѣйствительно, подалъ ему поводъ къ подозрѣніямъ, — онъ, какъ бы въ наказаніе себѣ за эту неосторожность, рѣшился молчать, — его строгость къ самому себѣ вполнѣ проявилась этимъ молчаніемъ. Въ дѣлѣ Йохера, клевета ограничивалась изустными толками, не выражаясь печатно, и Лессингу не было еще возможности печатно опровергать ее. Но Ланге обвинялъ его печатно, относительно Лан-

*) По смерти Йохера, эти матеріалы погибли.

ге онъ не могъ винить себя ровно ни въ чемъ, ни даже въ какомъ нибудь мелочномъ формальномъ проступкѣ, и онъ отвѣчалъ Ланге. Отвѣтъ былъ страшенъ, онъ сдѣлалъ дерзкаго клеветника посмѣшищемъ въ нѣмецкой литературѣ, и до сихъ поръ считается образцомъ ѣдкой полемики.

Рецензіи «Фоссовой газеты» не подписывались именами авторовъ; но когда былъ напечатанъ пасквиль Ланге, Лессингъ, увѣдомляя о появленіи этой клеветы, подписалъ свое извѣщеніе о брошюрѣ своимъ именемъ:

«Сейчасъ получилъ я (сказано было въ «Фоссовой газетѣ» 27 декабря 1753 г.) брошюру въ два печатныхъ листа, въ 8 д., подъ заглавіемъ: *«Письмо Самуэля Готтгольда Ланге къ редактору ученаго отдѣла Гамбургскаго Корреспондента, по поводу рецензіи перевода Горация, напечатанной въ №№ 178 и 179 этой газеты»*. Тутъ г. Ланге дѣлаетъ мнѣ честь, отвѣчая на мою критику, а себѣ безчестье, отвѣчая на нее невообразимо пошлымъ образомъ. Желая оправдать свои прежнія ошибки, онъ, что ни слово дѣлаетъ новыя. Онѣ, кажется, состязаются о томъ, которая изъ нихъ сдѣлаетъ его болѣе смѣшнымъ, и достигаютъ своей цѣли такъ удачно, что нужно мнѣ подумать нѣсколько дней, чтобъ рѣшить, которой отдать пальму первенства. Но относительно одного пункта я поспѣшаю отвѣчать ему: чего я никогда не ожидалъ услышать отъ разумнаго человѣка, слышу отъ него, уже не въ первый разъ превосходящаго мои ожиданія своими подвигами. Онъ касается моего нравственнаго характера, до котораго, кажется, не нужно бы касаться въ дѣлѣ о грамматическихъ ошибкахъ. На 25-й страницѣ, онъ выставляетъ меня въ отвратительномъ свѣтѣ, выставляетъ меня критическимъ бандитомъ, который вынуждаетъ писателей откупаться отъ его ударовъ. Я могу отвѣчать на это только тѣмъ, что объявляю г. Ланге злостнымъ клеветникомъ, если онъ не представитъ доказательствъ обвиненію, взведенному на меня этою страницей. Пусть онъ докажетъ истину своихъ словъ—впрочемъ, я требую отъ него невозможнаго, а мнѣ слишкомъ не трудно доказать его лживость, и именно письмомъ того самаго «посредника», на котораго онъ ссылается. Въ своемъ соотвѣтѣ, я представлю это письмо публикѣ, и тогда увидать, что предполагаемая г-мъ Ланге низость никогда не приходила мнѣ въ голову. А до того времени, остаюсь его покорнѣйшимъ слугою.

«Готтгольдъ Эфраимъ Лессингъ».

Черезъ три недѣли, появилось знаменитое «Vademecum для г. Ланге», имѣющее форму письма къ Ланге. «Милостивый государь (такъ начинается Лессингъ), не знаю, нужно ли мнѣ извиняться, что я безъ всякихъ околичностей обращаюсь съ своимъ отвѣтомъ прямо къ Вамъ. Но ужъ у меня такая привычка. Когда я долженъ сказать что нибудь человѣку, то прямо и говорю это ему самому, хотя бы онъ и сердился за то. Эта привычка, какъ меня увѣряли, не дурна. Потому я и держусь ея.

«Отъ глубины сердца я стыжусь, что встрѣтилъ себя въ васъ жалкаго противника. Что Вы дѣйствительно жалкій противникъ, докажу я Вамъ въ первой части моего письма. А вторая часть докажетъ Вамъ, что, кромѣ незнанія обнаружили Вы своей антрикритикою очень пошлыя правила, ясные сказать, что Вы клеветникъ. Первая часть будетъ имѣть два подраздѣленія. Сначала я докажу, что защищаемыхъ Вами отъ моего осужденія мѣстъ Вашего перевода Вы не успѣли защитить, да и нельзя ихъ защитить. А потомъ я буду имѣть удовольствіе услужить Вамъ указаніемъ нѣкотораго количества новыхъ ошибокъ въ вашемъ переводѣ.

«Чтобы нѣсколько успокоить волненіе кипящей крови, милостивый государь, очень полезно Вамъ будетъ выпить стаканъ свѣжей ключевой воды, прежде нежели мы займемся дѣломъ. Такъ. Выпейте еще стаканъ. Теперь, начнемъ».

Каламбуры, остроты всякаго рода сыплутся на бѣднаго Ланге при разборѣ тѣхъ мѣстъ перевода, которыя онъ захотѣлъ защитить отъ упрека въ невѣрности. Ёдкость насмѣшки постоянно соединена съ самою искреннею веселостію,—видно, что въ самомъ дѣлѣ борьба съ Ланге слишкомъ легка, не болѣе какъ забавна для его критика. О рѣзкости тона можно судить по началу. Но уже и тутъ замѣтна манера, которой впослѣдствіи постоянно слѣдовалъ Лессингъ: онъ умѣетъ, начиная съ какого нибудь неважнаго спора о значеніи латинскаго слова, придавать этому спору важность для науки, переходя эпизодически къ объясненію того или другаго серьезнаго вопроса науки, и его споръ съ Ланге усѣянъ замѣчаніями, которыя важны для классической филологіи, для латинскихъ и греческихъ древностей, для исторіи или философіи *).

*) Укажемъ хотя одинъ примѣръ: «Priscus Cato» (кн. 3, ода 21) Ланге переводитъ «Прискъ Катонъ», принимая прилагательное priscus—старинный—за собственное имя:

Уничтоживъ всѣ возраженія Ланге, доказавъ, что ошибки, указанныя имъ въ прежней рецензії, дѣйствительно грубыя ошибки, Лессингъ переходитъ къ второму подраздѣленію первой части своего отвѣта — подбору новыхъ, еще грубѣйшихъ ошибокъ, такимъ образомъ:

«Довольно, слишкомъ довольно,—а впрочемъ, для такого чловека, какъ Вы, милостивый государь, все еще будетъ мало, потому что трудяе всего на свѣтѣ учить стараго высокомернаго игноранта. Впрочемъ, я самъ до нѣкоторой степени виноватъ, что надѣлалъ себѣ скуки — зачѣмъ я не приводилъ въ рецензії все только такихъ примѣровъ, какъ *discentia*? *)».

«Но, чего я не сдѣлалъ тогда, сдѣлаю теперь,—пора заняться подборомъ новыхъ ошибокъ въ Вашемъ переводѣ, при чемъ я прошу вашего позволенія пересмотрѣть съ Вами одну первую книгу одѣ. Нарочно говорю: одну первую, потому что мнѣ некогда пересматривать остальныхъ, — у меня есть дѣла болѣе важныя, нежели исправленіе Вашихъ упражненій въ латинскомъ языкѣ. И впередъ обѣщаю Вамъ въ каждой одѣ этой книги показать по крайней мѣрѣ одну непростительную ошибку. Я тороплюсь, и всѣхъ,—даже

(Недаромъ говорятъ, что и Катонъ старинный
Нерѣдко доблести подогрѣвалъ виномъ.

Переводъ г. Фета).

Это ошибка самая грубая, очевидная для всякаго, совершенно безспорная въ родѣ того, какъ у насъ французское заглавіе книги Гельвеція:

De l'Esprit, par Helvetius, fermier-général

(О духѣ, соч. генеральнаго откупщика Гельвеція),

было, говорятъ, когда-то переведено: «Сочиненіе швейцарскаго генерала Ферміера». Лессингъ не ограничивается насмѣшками надъ грубостью ошибки—нѣтъ, пользуясь случаемъ, онъ вставляетъ генеалогическое изслѣдованіе о родѣ Катоновъ и объясняетъ мѣсто въ плутарховомъ жизнеописаніи старшаго Катова, оставшееся до того времени темнымъ. Въ литературномъ отношеніи, ученія сочиненія Лессинга приобрѣтають, отъ этой почти фельетонной манеры эпизодичности, чрезвычайную живость и разнообразіе, такъ, что напримѣръ, его «Письма антикварскаго содержанія», главный предметъ которыхъ—изслѣдованіе о камняхъ и рѣзныхъ драгоценныхъ каменьяхъ у древнихъ, читаются очень легко.

*) См. выше, — «двѣсти чашъ сна» вмѣсто «снотворныя чаши» — этой ошибки Ланге не защищалъ.

первостепенныхъ,—конечно не успѣю подмѣтить,—потому, мое молчаніе о многихъ ошибкахъ, да не будетъ почтено предосудительнымъ для нихъ: онѣ таки пусть останутся ошибками полного достоинства, все равно какъ бы и упомянуты были мною. Но примемся за дѣло».

И дѣйствительно, проходя по порядку изъ 38 одъ первой книги всѣ 37 одъ, кромѣ послѣдней, въ каждой изъ нихъ Лессингъ указываетъ грубую ошибку,—и наконецъ, для разнообразія, о послѣдней одѣ говоритъ: «въ ней нѣтъ грубыхъ ошибокъ — за то она и состоитъ всего изъ восьми стиховъ — нужды нѣтъ, она искупаетъ собою всѣ прежнія: Ende gut, Alles gut,—«конецъ дѣло красить».

«Вотъ мы кончили. Я Вамъ отвѣчалъ, и больше отвѣчать не стану, хотя бы десять разъ принимались Вы за оправданія, — я стану только ждать что будетъ говорить публика. Она ужъ начинаетъ принимать мою сторону, и я еще надѣюсь дожить до того времени, когда едва будутъ вспоминать, что нѣмецкій поэтъ Ланге перевелъ Горация. И мою критику тогда забудутъ,—чего я и желаю, потому что гордиться ею мнѣ нельзя. Вы не такой противникъ, въ борьбѣ съ которымъ была бы возможность обнаружить силу. Мнѣ бы съ самаго начала слѣдовало пренебречь Вами,—и я, навѣрное, пренебрегъ бы, если бы не вынуждала у меня истины Ваша гордость и предубѣжденіе публики, что Вы замѣчательный поэтъ. Я показалъ Вамъ, что Вы не знаете ни языка, ни филологической критики, ни древностей, ни исторіи, не знаете ровно ничего,—чего жъ еще требовать отъ меня?

«Все это, милостивый государь, было бы еще не большимъ позоромъ для Васъ, если бы я не долженъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружить передъ публикою, что Ваши правила очень низки, и что, просто говоря, Вы клеветникъ. Въ этомъ должна состоять вторая часть моего письма, которая будетъ гораздо короче, зато и гораздо сильнѣе первой.

«Споръ между нами, милостивый государь, шелъ о грамматическихъ дѣлахъ, то есть о мелочахъ, мелочи же которыхъ не можетъ быть ничего на свѣтѣ. Никогда бы я не вообразилъ себѣ, что разумный человѣкъ можетъ принять оскорбленіемъ себѣ упрекъ въ этомъ незнаніи,—принять оскорбленіемъ, за которое надобно мстить не одною грамматической, но и злостной ложью. Я упрекалъ Васъ въ ученическихъ промахахъ — Вы старались обратить эти упреки

на меня, — и, тѣмъ, кажется, могли бы удовольствоваться. Нѣтъ, Вамъ было мало ограничиться возраженіями, — Вы захотѣли сдѣлать меня человѣкомъ отвратительнымъ, гнуснымъ въ глазахъ честныхъ людей. Каковы правила! Но каково и ослѣпленіе — взводить на меня обвиненіе, котораго во вѣки вѣковъ не только не можете Вы доказать, — не можете даже сдѣлать правдоподобнымъ!

«Вы говорите, будто бы я Вамъ предлагалъ деньгами откупаться отъ моей критики. Я? вамъ? откупаться деньгами? Несчастье было бы для меня, еслибъ я могъ возразить Вамъ только требованіемъ доказать справедливость этого обвиненія, — требованіемъ, невозможность исполнить которое обличила бы Васъ, — нѣтъ, къ счастью, я имѣю въ рукахъ средства положительнымъ образомъ обличить Васъ.

«Тотъ посредникъ, черезъ котораго, какъ Вы говорите, я дѣлалъ Вамъ низкое предложеніе, долженъ быть не кто иной, какъ г. Н., о которомъ вы упоминаете на 21 страницѣ, потому что онъ единственный человѣкъ, лично знакомый и съ Вами и вмѣстѣ со мною, и единственный человѣкъ, которому я говорилъ о моемъ разборѣ Вашего «Горація», прежде, нежели этотъ разборъ былъ напечатанъ. Слушайте же.

«Въ мартѣ 1752 года, этотъ г. Н. проѣзжалъ черезъ Виттенбергъ, когда я жилъ тамъ, и почтилъ меня тамъ своимъ посѣщеніемъ. Я его до того времени никогда не видывалъ и зналъ только по его сочиненіямъ. Съ Вами же онъ связанъ былъ многолѣтней, тѣсной дружбой. По возвращеніи его въ Галле, мы стали перепискою продолжать начавшіяся между нами дружественныя отношенія».

Слѣдуетъ разсказъ, приведенный нами выше. Представивъ читателямъ подлинное письмо Николаи, заключающее предложеніе сдѣлки съ Ланге и сообщенное нами выше, Лессингъ продолжаетъ:

«Повторяю, это писалъ человѣкъ, съ которымъ я въ цѣлую свою жизнь видѣлся только однажды, а Вы были давно друзьями. У меня нѣтъ желанія уподобляться Вамъ, взводя на людей низкія обвиненія, — иначе, мнѣ легко было бы обратить Ваше обвиненіе противъ Васъ и придать правдоподобность мысли, что Вы сами руководили предложеніями Вашего друга. Но, какъ это ни правдоподобно, я не вѣрю тому, зная добродушный характеръ этого посредника, безъ сомнѣнія, дѣйствовавшего по собственной мысли. Я

радъ, если онъ сохранилъ мои отвѣты ему, и хотя не припомню въ точности, какъ именно отвѣчалъ я на его предложеніе, но достоверно знаю, что я ни слова не говорилъ ни о деньгахъ, ни о вознагражденіи. Признаюсь, мнѣ было нѣсколько досадно, что г. Н. считалъ меня такимъ жаднымъ на деньги человѣкомъ. Согласившись даже, что по моей житейской обстановкѣ онъ заключилъ, что денегъ у меня не слишкомъ много, я не могу понять, какимъ образомъ онъ могъ предположить, что для меня равны всякія средства къ ихъ приобрѣтенію. Во всякомъ случаѣ, уже то самое обстоятельство, что я не послалъ ему рукописи своей рецензій, онъ долженъ былъ бы считать молчаливымъ неодобреніемъ своего предложенія, хотя бы я могъ принять это предложеніе безъ нарушенія моихъ правилъ, потому что оно дѣлалось безъ малѣйшаго содѣйствія съ моей стороны.

«Что Вы теперь будете отвѣчать?—Вѣроятно, Вы постыдитесь за себя. Но нѣтъ, клеветники выше чувства стыда.

«Впрочемъ, на свое несчастіе Вы были злостны: увѣряя Васъ, что безъ той лжи, о которой я говорю, Вашъ отвѣтъ не заставилъ бы меня взяться за перо. Я легко перенесъ бы, что Вы, senex ABC dagius (старый школьникъ), называете меня молодымъ, наглымъ критикомъ и т. п., что Вы говорите, будто бы вся моя ученость взята изъ Бэля, и т. д.,—легко перенесъ бы я подобные пустяки, на которые и не отвѣчаю. Объ учености или неучености моей позволительно каждому судить, какъ угодно. Но чернить мою честность я никому не позволю безнаказанно, и буду всегда называть вашу фамилію, когда случится мнѣ надобность указывать примѣръ мстительнаго лжеца.

«Этимъ увѣреніемъ заключаю мое письмо. Имѣю честь быть вашимъ... Нѣтъ, этого не нужно. Я вижу, что мое письмо обратилось въ цѣлую статью. Зачеркните же слова «милостивый государь» въ его началѣ. Остается мнѣ теперь только напечатать его въ 12 долю листа, чтобы оно соответствовало вашему замѣчанію по поводу формата моихъ сочиненій *), чтобы оно было для васъ дѣйствительно «Vademecum», который совѣтую вамъ чаще пе-

*) Лессингъ любилъ маленькій форматъ, въ 12 долю, и его сочиненія были напечатаны въ этомъ форматѣ, тогда еще мало употребительномъ въ Германіи. Ланге придумалъ грязную шутку объ этомъ форматѣ сочиненій своего критика.

речитывать, для улучшения вашего ума и характера; я переплету эту брошюру въ обертку, какая употребляется для азбукъ, и съ приличнымъ посвященіемъ пришлю вамъ. Желаю, чтобы подарокъ принесъ вамъ пользу».

Ланге пытался возражать, но его уже никто не слушалъ; нѣкоторые изъ литературныхъ враговъ Лессинга или кліентовъ Ланге, — впрочемъ, немногіе, — хотѣли было защищать Ланге, — напрасно, всѣ смѣялись надъ ихъ слабыми усиліями. Поэтическая слава несчастнаго Ланге была совершенно уничтожена: публика и всѣ независимые писатели приняли сторону Лессинга, имя его получило чрезвычайно громкую извѣстность.

Нѣтъ надобности говорить, что главная цѣль, которую имѣлъ онъ въ виду — очищеніе своей литературной репутаціи отъ всякихъ нареканій, была совершенно достигнута. Съ этого времени, что бы ни говорили его литературные враги, онъ былъ уже безопасенъ въ своей чести. Публика съ негодованіемъ отвергала, какъ низкую ложь, всякое нападеніе на чистоту его образа мыслей и намѣреній, непоколебимо вѣря, что каждый его поступокъ внушенъ благороднѣйшими цѣлями.

Исторія Ланге можетъ служить однимъ изъ доказательствъ пользы, какую полная гласность приноситъ безупречности добраго имени тѣхъ людей, которые могутъ назваться благородными; можетъ служить доказательствомъ того, что честному человѣку нѣтъ нужды бояться кривыхъ толковъ, какъ только достигаютъ они гласности. Страшна клевета только тогда, когда она укрывается во мракѣ. Не вздумай Ланге печатно называть Лессинга продажнымъ человѣкомъ, быть можетъ, или, лучше сказать, безъ всякаго сомнѣнія, на добромъ имени Лессинга до сихъ поръ лежало бы пятно: втихомолку, отъ одного изъ знакомыхъ Ланге къ другому, отъ другаго къ третьему, распространялся бы слухъ о томъ, какъ Лессингъ хотѣлъ взять съ Ланге деньги и ожесточился противъ него только за то, что не успѣлъ взять денегъ. Эта молва достигла бы до слѣдующаго поколѣнія, которое ужъ не имѣло бы средствъ провѣрить фактовъ и должно было бы вѣрить разсказу въ томъ видѣ, какой дала ему раздражительная подозрительность Ланге.

Въ самомъ дѣлѣ, разсказъ этотъ долженъ былъ бы показаться правдоподобнымъ. Лессингъ страшно нуждался въ деньгахъ, когда писалъ и потомъ печаталъ разборъ Ланге; Николай писалъ Ланге,

что Лессингъ согласенъ продать ему рукопись своей рецензіи, очень ѣдко написанной. Чего же больше? Дѣло ясное, Лессингъ хотѣлъ, чтобы Ланге откупился отъ его нападеній.

Эти факты придавали правдоподобность обвиненію; было и другое обстоятельство, еще болѣе затруднявшее защиту: Лессингъ, не сохранивъ у себя копій съ писемъ своихъ по этому дѣлу, не помнилъ въ точности, какъ именно отвѣчалъ онъ на предложеніе Нилаи; письма были въ рукахъ противной партіи,—при малѣйшей и самой ничтожной неточности въ изложеніи дѣла, Ланге могъ обвинить Лессинга въ искаженіи фактовъ, въ лжи и тѣмъ придать новую правдоподобность прежнему обвиненію.

Лессингъ не считалъ нужнымъ прикрывать эти затрудненія: онъ прямо говорилъ: «я нуждался въ деньгахъ; предложеніе было выгодно; я не помню въ точности, какъ именно я отвѣчалъ на него»—онъ, какъ видимъ, совершенно пренебрегалъ всякими уловками,—и рѣшительно выигралъ дѣло во мнѣніи всѣхъ; прямота замѣнила для него всѣ другія средства увѣренія. Сознаніе нравственного и умственного превосходства надъ всѣми противниками, никогда не измѣнявшее Лессингу, и здѣсь выразилось съ такою силою, что не осталось возможности сомнѣваться въ справедливости его словъ.

Вообще, съ самаго начала критической дѣятельности, Лессингъ постоянно чувствовалъ себя сильнѣйшимъ; вступая въ полемику, онъ всегда былъ увѣренъ, что противникъ покажется публикѣ слабъ, тупъ и вялъ въ сравненіи съ нимъ; всегда былъ впередъ увѣренъ, что споръ не можетъ кончиться иначе, какъ совершеннымъ пораженіемъ его противника. Онъ былъ чуждъ сомнѣнія въ своемъ торжествѣ, чуждъ всякихъ опасеній за себя. Потому, его полемика, чрезвычайно энергическая, въ то же время отличается рѣдкимъ самообладаніемъ, ясность его взгляда, веселость его шутки, если онъ хочетъ шутить, не возмущается ничѣмъ, и укоризны его противнику никогда не переходятъ границъ самой строгой справедливости,—онъ выражается рѣзко, но мысль, выраженная безпошадно, всегда выдерживаетъ провѣрку самаго строгого безпристрастія.

До какой степени онъ сохранялъ чувство превосходства надъ своими противниками, можно видѣть изъ слѣдующаго случая. Готтшедіанцы, надъ которыми онъ жестоко смѣялся, вадумали отвѣчать ему особеннымъ памфлетомъ, который называли «Possen»—«Шутки

въ карманномъ форматѣ»—послѣднія слова заключали намекъ на маленькій форматъ, въ которомъ печатались сочиненія Лессинга. Съ тѣмъ вмѣстѣ, готтшедіанцы прислали въ редакцію Фоссовой газеты (въ которой писалъ Лессингъ) рецензію эту брошюру. Что жъ сдѣлалъ Лессингъ?—Вотъ его статья:

«На дняхъ явилась брошюра изъ двухъ печатныхъ листовъ, въ 12-ю долю листа, подъ заглавіемъ: «Шутки, въ карманномъ форматѣ». Авторъ, или одинъ изъ пріятелей автора, имѣлъ предусмотрительность прислать въ редакцію нашей газеты слѣдующую рецензію (слѣдуетъ присланная рецензія, написанная въ похвалу брошюры). Понимаемъ, г. панегиристъ. И чтобы поняли вы всѣ, скажемъ прямо, что эти шутки, которыя

ipse

Non sani esse hominis, non sanus juret Orestes

(самъ безумный Орестъ назоветъ написанными безумцемъ),—что эти «Шутки», по всему вѣроятію, должны быть насмѣшкою надъ форматомъ и внѣшнею формою сочиненій Лессинга. Онѣ стоить три гроша. Но и трехъ грошей никто не дастъ ради шутки. Какимъ же образомъ помочь брошюрѣ распространиться въ публикѣ? Наша газета рѣшилась сдѣлать все возможное для достиженія этой цѣли. Именно, мы перепечатали эту брошюру и назначили ей для продажи цѣну, какой она стоитъ, т. е. нуль. Кто хочетъ имѣть ее даромъ, можетъ получить въ книжномъ магазинѣ Фосса».

Само собою разумѣется, какое впечатлѣніе должна была производить подобная увѣренность и на публику и на самыхъ противниковъ—съ насмѣшливою улыбкою заботиться самому о распространеніи въ публикѣ брошюры, которая выдавала себя за злую сатиру лессинговыхъ сочиненій, — это могъ сдѣлать только Лессингъ. Конечно, читая объявленіе, что брошюра, написанная противъ Лессинга, перепечатана самимъ Лессингомъ и даромъ у его книгопродавца раздается всѣмъ, желающимъ имѣть ее, каждый думалъ: вѣроятно, сатира очень пуста и неудачна, вѣроятно, онъ гораздо выше своихъ противниковъ, если такъ играетъ ихъ нападеными.

Въ самомъ дѣлѣ, очень скоро Лессингъ приобрѣлъ въ нѣмецкой критикѣ рѣшительный голосъ; готтшедіанцы, бодмеріанцы и другія старыя партіи были совершенно уничтожены имъ во мнѣніи

публики, лишились всякаго вліяння на литературу, сдѣлались предметомъ общихъ насмѣшекъ. Критическія статьи въ первыхъ четырехъ частяхъ его «Сочиненій», и рецензіи, которыя онъ помѣщалъ въ «Фоссовой газетѣ», положили начало преобразованію литературныхъ понятій; «Литературныя письма» довершили это дѣло. Съ «Литературныхъ писемъ» (1759—1760), которыя началъ онъ издавать при содѣйствіи Николаи и Мендельсона, начинается для нѣмецкой литературы новая эпоха.

Мендельсонъ и Николаи, съ которыми Лессингъ сошелся вскорѣ послѣ своего вторичнаго возвращенія въ Берлинъ, въ 1754 году, остались навсегда ближайшими его друзьями въ жизни и долго были истолкователями его мыслей въ литературѣ. То и другое обстоятельство заставляютъ насъ ближе познакомиться съ этими обоими литераторами.

Николаи пережилъ Лессинга тридцатью годами, и въ послѣднее время своей литературной дѣятельности, находился, какъ человѣкъ старыхъ понятій, въ жестокой враждѣ съ представителями новой эпохи, — Кантъ и Фихте, Гёте и Шиллеръ съ одинаковою суровостью были осуждаемы имъ, и, въ свою очередь, отвѣчали устарѣлому критику не менѣе жестокимъ образомъ. Въ этой неравной борьбѣ, сильно пострадала литературная слава Николаи. Особенно жестокий ударъ нанесли ему во мнѣніи публики и большинства писателей знаменитыя «Ксеніи» Гёте и Шиллера—эти безпощадныя эпиграммы, которыми гениальные друзья на смерть поразили своихъ литературныхъ противниковъ и въ которыхъ главнымъ предметомъ насмѣшки былъ поставленъ Николаи. Долго послѣ того, забывая прежнія его услуги литературѣ и просвѣщенію, смотрѣли на Николаи, какъ на поверхностнаго и злобнаго Зоила, который хотѣлъ задержать развитіе нѣмецкой литературы, чтобы сохранить свою власть въ критикѣ, и нелѣпнымъ образомъ ратовалъ противъ всего истинно-глубокаго и прекраснаго, что было выше его узкихъ, одностороннихъ и поверхностныхъ понятій. Теперь, когда увлеченіе прошло, историки литературы признали, что и въ послѣднюю эпоху своей дѣятельности, Николаи оставался человѣкомъ честнымъ и добросовѣстнымъ, писателемъ умнымъ и здравомыслящимъ; признали, что, ратуя противъ новыхъ стремленій, онъ часто бывалъ правъ,—если не въ нападеніяхъ на такихъ людей, какъ Шиллеръ, Кантъ, Фихте и Гёте, которые дѣйствительно понимали истину

глубже и шире, нежели онъ, то въ спорахъ съ Лафатеромъ, Юнгомъ, — Штиллингомъ, Якоби, романтиками и т. д., — такъ что даже и въ эти годы, когда онъ навлекалъ на себя вражду лучшихъ людей нѣмецкой литературы, онъ былъ не бесполезенъ въ въ борьбѣ съ обскурантами и мистиками. Еще гораздо больше пользы принесъ онъ литературѣ въ прежнее время, когда дѣйствовалъ по внушенію и подъ руководствомъ Лессинга, моложе котораго былъ онъ четырьмя годами (род. 1733).

Сынъ берлинскаго книгопродавца, Николай былъ почти совершенно самоучка, потому что посѣщалъ только гимназическіе классы, и мальчикомъ еще отданъ былъ отцомъ въ книжную лавку одного изъ отцовскихъ товарищей по ремеслу, во Франкфуртъ-на-Одерѣ. Тутъ онъ много имѣлъ свободнаго времени и съ жадностью читалъ всѣ книги, какія только попадались ему въ руки. Въ 1752 году, когда отецъ взялъ его въ свою лавку, въ Берлинѣ, Николай былъ уже образованнымъ человѣкомъ, завелъ знакомство съ лучшими берлинскими литераторами, — Клейстомъ, Зульцеромъ, Рамлеромъ, и въ слѣдующемъ году издалъ брошюру, направленную противъ Готтшеда и надѣлавшую довольно радости бодмеристамъ, довольно огорченія готтшедианцамъ. Но радость швейцарцевъ была непродолжительна: въ слѣдующемъ году Николай напечаталъ «Письма о нынѣшнемъ состояніи изящной литературы въ Германіи», въ которыхъ нападалъ на обѣ партіи съ равною вѣдкостью. Это сочиненіе внушено было молодому книгопродавцу изученіемъ лессинговыхъ статей, и написано совершенно въ духѣ Лессинга, только съ тѣмъ различіемъ, что Николай не чувствуетъ въ себѣ смѣлости судить о стародавнихъ знаменитостяхъ, напримѣръ, Бодмерѣ, такъ рѣзко, какъ Лессингъ, и осуждая послѣдователей, щадить учителей. «Изъ двухъ партій, раздѣляющихъ господство надъ литературою, имѣтъ ли та или другая право ожидать, чтобы къ ней присталъ человѣкъ, одаренный вкусомъ? говоритъ Николай: — нѣтъ, недостатки той и другой слишкомъ очевидны. Намъ необходима строжайшая критика, если мы хотимъ имѣть произведенія, которыя дошли бы до потомства; тѣмъ необходимѣе она, если справедливо то, что мы еще не умѣемъ отличать мишурныхъ прикрасъ отъ истинной красоты, если справедливо, что наши таланты считаютъ излишнимъ дѣломъ серьезность и обдуманность, а трудолюбивымъ нашимъ писателямъ недостаетъ таланта».

«Письма» эти доставили Николаи случай лично познакомиться съ Лессингомъ, которому попался въ руки одинъ изъ оттисковъ первыхъ листовъ книги, разосланныхъ по книжнымъ лавкамъ вмѣсто объявленій. Онъ увидѣлъ въ Николаи даровитаго послѣдователя своихъ мнѣній, и сдѣлался его руководителемъ, такъ что въ концѣ книги замѣтны уже слѣды личныхъ разговоровъ Николаи съ Лессингомъ.

Николай былъ человѣкъ съ практическимъ направленіемъ, человѣкъ съ сильнымъ здравымъ смысломъ, съ дѣятельнымъ, твердымъ характеромъ, обладавшій знаніемъ людей, умѣнъ обращаться съ ними и искусствомъ разсчетливо вести свои денежные дѣла. Онъ былъ рожденъ для того, чтобы сдѣлаться журналистомъ, и, дѣйствительно, нѣсколько десятковъ лѣтъ сохранялъ онъ первенствующее положеніе въ нѣмецкой журналистикѣ. Его «Библіотека изящныхъ искусствъ», начатая подъ вліяніемъ Лессинга и предшествовавшая «Литературнымъ письмамъ», была, въ свое время, очень полезнымъ критическимъ журналомъ. «Всеобщая нѣмецкая Библіотека», основанная послѣ «Литературныхъ писемъ» и продолжавшаяся болѣе сорока лѣтъ, была самымъ важнымъ изъ нѣмецкихъ журналовъ по своему огромному вліянію на публику, въ которой »Всеобщая нѣмецкая библіотека» распространила массу новыхъ свѣтлыхъ понятій. То, что составляло достоинство этого журнала, было, можно сказать, только повтореніемъ и развитіемъ идей, которыми одушевилъ Лессингъ первые томы «Литературныхъ писемъ», навсегда оставшіеся образцомъ нѣмецкихъ критическихъ журналовъ.

Лучшими своими качествами, журналы, которые издавалъ Николай, были обязаны Лессингу; образъ мыслей самого Николаи развился совершенно подъ его вліяніемъ. Еще прямѣе было участіе Лессинга въ развитіи Мендельсона,—человѣка, игравшаго также важную и чрезвычайно благородную роль, какъ въ развитіи нѣмецкой литературы; такъ и въ развитіи того племени, къ которому онъ принадлежалъ *).

*) Изъ сочиненій Мендельсона, въ старину у насъ были переведены два, принадлежащія къ числу важнѣйшихъ: «Разсужденіе о духовномъ свойствѣ души человѣческой», перев. Я. Толмачева, М. 1806 и «Федонъ или о безсмертіи души». М. 1808 г. «Федонъ» недавно вышелъ вторымъ изданіемъ, въ другомъ новомъ переводѣ.

Сынъ бѣднаго еврея, учителя въ сельской еврейской школѣ, Мозесъ Мендельсонъ былъ воспитанъ отцомъ на Талмудѣ, хитрыя и суевѣрныя ученія котораго надобно считать одною изъ главныхъ причинъ недостатковъ, которыми страдаетъ характеръ евреевъ во многихъ странахъ. Во времена Мендельсона, нѣмецкіе евреи находились въ такомъ же положеніи, какъ нынѣ польскіе и русскіе. Они были слѣпыми поклонниками талмудическихъ бредней, занимались почти исключительно не совсѣмъ чистыми промыслами, были въ общемъ презрѣнны не только у простолюдиновъ, но и у людей образованныхъ, которые считали это племя безвозвратно испорченнымъ въ нравственномъ отношеніи. Мендельсону, больше, нежели кому нибудь другому, его соплеменники обязаны тѣмъ, что и сами во многомъ избавились отъ своихъ прежнихъ недостатковъ, и тѣмъ, что предубѣжденіе, отдалявшее отъ нихъ людей другихъ исповѣданій, ослабѣло. Любознательность рано пробудилась въ Мендельсонѣ, который на семнадцатомъ году пріѣхалъ въ Берлинъ, чтобъ искать тамъ средствъ для жизни, и долгое время терпѣлъ страшную нужду, не мѣшавшую ему, однако же, сильно, заниматься древними языками и философіею. Черезъ нѣсколько времени, юноша нашелъ себѣ покровителя въ своемъ соплеменникѣ, докторѣ Гумперцѣ, потомъ поступилъ учителемъ дѣтей къ другому еврею, богатому фабриканту Бернгарду, у котораго былъ потомъ бухгалтеромъ, и который передалъ ему, наконецъ, свою фирму. Благородный, кроткій характеръ и возвышенный образъ мыслей приобрѣтали Мендельсону уваженіе всѣхъ, съ кѣмъ онъ сближался. Лессингу онъ былъ рекомендованъ Гумперцемъ, какъ хорошій шахматный игрокъ, и они сблизились за шахматною доскою, около того самаго времени, какъ сближился съ Лессингомъ Николай. Лессингъ давно отбросилъ всякое предубѣжденіе противъ характера евреевъ. Уже лѣтъ пять тому назадъ написалъ онъ пьесу «Евреи», съ цѣлью выставить благородный типъ въ этомъ презираемомъ племени. Въ художественномъ отношеніи, пьеса слаба, и потому ничего не скажемъ о ней; но статейки, написанныя по ея поводу, хорошо показываютъ положеніе вопроса о евреяхъ въ Германіи сто лѣтъ тому назадъ, и мы въ выноскѣ, представимъ извлеченія изъ нихъ *).

*) «Геттингенскія Ученыя Вѣдомости», съ большою похвалою отзываясь о четвертой части сочиненій Лессинга, въ которой помѣщена комедія «Евреи», сдѣлали, по поводу этой пьесы, слѣдующее замѣчаніе:

Замѣчанія Михаэлиса, приводимыя нами въ выноскѣ, показываютъ, съ какимъ пренебреженіемъ смотрѣли на евреевъ самые просвѣщенные и гуманные люди въ Германіи сто лѣтъ тому назадъ. Въ самомъ дѣлѣ, евреи оставались совершенно чужды умственной жизни того племени, по землямъ котораго были разсѣяны. Цоггуженные въ талмудическія дикія суевѣрія, безусловно руководимые въ своихъ понятіяхъ дикими фанатиками раввинами, подавляемые общимъ презрѣніемъ, отвращеніемъ и преслѣдованіями, они сами презирали себя. Мендельсонъ былъ первымъ и могущественнѣйшимъ изъ людей, которые своимъ примѣромъ и совѣтами указывали имъ иной путь жизни. Оставаясь евреемъ, онъ пріобрѣлъ уваженіе знаменитѣйшихъ ученыхъ и важнѣйшихъ вельможъ Германіи,—онъ сталъ на ряду съ классическими писателями нѣмецкаго народа, христіане превозносили его и изъ-за него стали

«Цѣль пьесы—серьезный нравственный урокъ,—именно, обнаруженіе неосновательности того презрѣнія и отвращенія, съ которыми обыкновенно мы смотримъ на евреевъ. Но. при чтеніи, наслажденію нашему мѣшаетъ какое-то недовольство, которое мы укажемъ для разрѣшенія сомнѣній или для того, чтобы впослѣдствіи подобныя произведенія избѣгали этого недостатка. Путешественникъ еврей слишкомъ добръ и благороденъ, слишкомъ заботится, чтобы не нанести вреда ближнему или не оскорбить его несправедливымъ подозрѣніемъ,—однимъ словомъ, если не совершенно невозможно, то, по крайней мѣрѣ, слишкомъ неправдоподобно, чтобы такой благородный характеръ, какъ бы наперекоръ всему, могъ развиться при тѣхъ правилахъ, образѣ жизни и воспитаніи, какія мы видимъ у еврейскаго племени, и при дурномъ обращеніи съ ними. Это неправдоподобіе тѣмъ больше мѣшаетъ нашему удовольствію при чтеніи пьесы, чѣмъ пріятнѣе было бы намъ найти истину и натуру въ прекрасномъ и благородномъ образѣ. Даже посредственная доброта и честность очень рѣдко встрѣчаются между евреями, такъ, что немногіе примѣры не могутъ въ значительной степени смягчать ненависти къ этому народу. При тѣхъ моральныхъ правилахъ, которыхъ держится, если не каждый еврей, то огромное большинство евреевъ, невозможна честность между ими, особенно, когда мы вспомнимъ, что весь этотъ народъ живетъ торговлею,—промысломъ, который больше всякаго другаго промысла представляетъ случаевъ и покушеній къ обману».

Это писалъ въ 1754 году знаменитый Михаэлисъ, который въ Англіи научился смотрѣть на все лучше, свѣтлѣе и гуманнѣе, нежели смотрѣли остальные его соотечественники. И, однако же, этотъ человѣкъ, съ котораго начинается новая эпоха въ разработкѣ еврейскихъ древностей, хваля Лессинга за все остальное, что заключалось въ собраніи его сочиненій, осуждалъ его за снисходительное понятіе, что и между евреями могутъ быть очень хорошіе люди.

съ большимъ уваженіемъ смотрѣть и на его племя. Евреи поднялись въ собственныхъ глазахъ: у нихъ теперь былъ свой идеаль, былъ примѣръ подражанія, былъ живой свидѣтель, что еврей возможно занять почетное мѣсто между образованными христіанами, возможно даже достигнуть славы. Съ тѣмъ вмѣстѣ, соразмѣрно уменьшенію предубѣжденія христіанъ противъ евреевъ, уменьшилось и предубѣжденіе евреевъ противъ христіанъ: единовѣрцы Мендельсона убѣдились его примѣромъ, что христіане не отказываютъ ни въ уваженіи, ни въ пріязни тѣмъ изъ нихъ, которые пріобрѣтутъ на то права. Достигнувъ обеспеченнаго состоянія, Мендельсонъ, своимъ покровительствомъ и щедрыми пособіями, помогалъ молодымъ евреямъ приготовляться къ ученому, литературному или художественному поприщу. Часть свой литературной дѣятельности онъ также посвятилъ исключительно дѣлу просвѣщенія своихъ единовѣрцевъ, и заслуги его въ этомъ отношеніи также огромны. Нѣмецкіе евреи говорили безобразнымъ діалектомъ, составленнымъ изъ смѣшенія еврейскаго съ нѣмецкимъ, — не понимая чистаго еврейскаго языка, они не могли также ни писать по нѣмецки, ни слу-

Лессингъ не имѣлъ привычки вступаться за литературныя достоинства своихъ сочиненій; онъ всего въ своей жизни не болѣе четырехъ разъ отвѣчалъ на замѣчанія своихъ критиковъ,—но на это сужденіе о «Евреяхъ» ему необходимо показалось отвѣчать. Три остальные спора—съ Ланге, Клоцомъ и Гёце—были ведены безпощадно, потому что противники заслуживали негодованія и литературной казни. Михаэлису, который высказывалъ свои замѣчанія въ благородномъ тонѣ, Лессингъ отвѣчалъ также мягко, и съ деликатнымъ письмомъ послалъ ему ту часть «Театральной Библіотеки», въ которой былъ помѣщенъ отвѣтъ.

Замѣчанія «Гёттингенскихъ Вѣдомостей» касаются двухъ пунктовъ, говорилъ Лессингъ въ своемъ отвѣтѣ: «Во первыхъ, критикъ утверждаетъ, что честный и благородный еврей самъ по себѣ нѣчто неправдоподобное; во вторыхъ, что въ моей пьесѣ онъ выставленъ неправдоподобнымъ образомъ. Собственно меня касается только второе замѣчаніе, и только на него я долженъ былъ бы отвѣчать, если бы гуманность не была для меня выше литературой моей славы, и еслибъ мнѣ потому уступить въ последнемъ случаѣ не было легче, нежели во второмъ. Однако же, надобно мнѣ начать со втораго замѣчанія». Объяснивъ, что при той обстановкѣ, въ которой является у него еврей, честность его очень натуральна и правдоподобна съ художественной точки зрѣнія, Лессингъ продолжаетъ: «Надобно отвѣчать теперь на первое замѣчаніе: не говоря о художественныхъ требованіяхъ, правдоподобно ли, чтобъ еврей могъ быть честенъ? Встрѣчаются ли въ жизни евреи честнаго характера? Но пусть за меня говорятъ другой, которому это было ближе къ сердцу, потому

шать лекцій. Мендельсонъ положилъ начало распространенію чистаго нѣмецкаго языка между ними, напечатавъ для нихъ переводъ Моисеевыхъ книгъ на прекрасномъ нѣмецкомъ языкѣ; — съ того времени, этотъ переводъ сдѣлался книгою, по которой учатся читать дѣти германскихъ евреевъ, и чрезъ то съ дѣтства становятся равными нѣмцамъ по своему языку. • Кромѣ того, онъ издалъ переводъ на нѣмецкій языкъ «Псалмовъ» и «Пѣсни пѣсней» для своихъ единовѣрцевъ и написалъ для нихъ нѣсколько религіозныхъ книгъ, строго держась догматовъ чистаго ветхозавѣтнаго іудейства, но удаливъ всѣ талмудическія бредни. Книги эти проникнуты чистою нравственностію, благородною терпимостію, чувствомъ любви къ другимъ племенамъ и имѣли огромное вліяніе на развитіе германскихъ евреевъ. Мендельсонъ былъ просвѣтителемъ своихъ единовѣрцевъ.

Благородная натура Мендельсона развилась болѣе всего подъ вліяніемъ Лессинга, съ которымъ они были сверстники по годамъ (Мендельсонъ родился, какъ и Лессингъ, въ 1729 г.), но который былъ уже великимъ ученымъ, человѣкомъ съ установившимся образомъ мыслей, однимъ изъ знаменитыхъ писателей, въ то время, какъ самоучка еврей, съ неимовѣрными трудами, только еще начиналъ побѣждать ужасныя затрудненія, какія противопоставлялись его развитію и національнію и бѣдностію. Когда Мендельсонъ познакомился съ Лессингомъ, онъ только еще привыкалъ владѣть правильнымъ нѣмецкимъ языкомъ и не могъ писать безъ ошибокъ на этомъ языкѣ, литературу котораго впоследствии обогатилъ произведеніями, классическими по изяществу и благородству выраженія. Но Лессингъ постигъ, какія рѣдкія качества ума скрываются въ этомъ человѣкѣ, рыцарски безпорочный, женственно кроткій харак-

что самъ онъ еврей. Я знаю его такъ хорошо, что могу рѣшительно сказать: онъ человѣкъ столь же умный и ученый, какъ и честный. Письмо, которое я привожу далѣе, онъ написалъ къ одному изъ своихъ соплеменниковъ, прочитавъ замѣчаніе «Гёттингенскихъ Вѣдомостей». Знаю впередъ, что письмо это готовы будутъ считать выдумкою, скажутъ, что я самъ написалъ его, — но тѣмъ, кому будетъ интересно удостовѣриться въ его подлинности, я могу представить неопровержимыя доказательства, что оно дѣйствительно написано евреемъ».

За тѣмъ слѣдуетъ письмо, написанное Мендельсономъ, по поводу замѣчаній, сдѣланныхъ «Гёттингенскими Вѣдомостями» о характерѣ евреевъ. Мендельсонъ горячо и умно защищаетъ своихъ единоплеменниковъ.

теръ Мендельсона обворожилъ его, и скоро Мендельсонъ сдѣлался ближайшимъ, лучшимъ другомъ его на всю жизнь. Онъ помогалъ, развитію талантливаго еврея своими бесѣдами и совѣтами, указывая ему, чѣмъ и какъ долженъ онъ заниматься; по внушенію и указанію Лессинга, отчасти даже при непосредственномъ сотрудничествѣ Лессинга, написаны были первые труды Мендельсона *). Чтò всего важнѣе, твердый, безбоязненный, рѣзкій Лессингъ мужественностью своего направленія ободрялъ и поддерживалъ Мендельсона, дивная кротость котораго въ жизни была бы, безъ вліянія со стороны Лессинга, излишнею мягкостью, безхарактерностью, слабостью въ литературѣ. Мендельсонъ, всею силою своей любящей натуры, привязался къ другу, благодѣтельному вліянію котораго обязанъ былъ такъ многимъ, передъ геніальнымъ превосходствомъ котораго благоговѣлъ.

Это былъ одинъ изъ лучшихъ и замѣчательнѣйшихъ примѣровъ безграничной дружбы; самая кончина Мендельсона была послѣднее и величайшее свидѣтельство его чувствъ къ Лессингу. Когда, послѣ смерти Лессинга, Якоби вздумалъ, въ одномъ изъ своихъ философскихъ сочиненій, приписывать Лессингу метафизическія воззрѣнія, отъ которыхъ самъ Лессингъ, вѣроятно, не отказался бы, но которыя Мендельсонъ, уже лишенный опоры, какую прежде доставляла ему непоколебимая рѣшительность друга, считалъ слишкомъ рѣзкими, благодушный авторъ «Федона» возмущился мыслью, что Якоби возбуждаетъ гоненіе противъ памяти Лессинга: онъ былъ въ это время слабъ здоровьемъ, но, не обращая вниманія на свою болѣзнь, съ чрезвычайнымъ жаромъ сталъ тотчасъ же писать возраженіе Якоби;—онъ успѣлъ кончить это защищеніе памяти своего друга,—но работа такъ истощила его силы, огорченіе такъ изнурительно волновало его, что онъ чрезъ нѣсколько дней умеръ жертвою своей любви къ покойному другу.

Таковы-то были люди, съ которыми сблизился Лессингъ въ 1754 году и которые должны быть названы его непосредственными уче-

*) По совѣту Лессинга, Мендельсонъ перевелъ одно изъ разсужденій Руссо—этотъ переводъ былъ для него упражненіемъ въ нѣмецкомъ слоgѣ. Выбѣстъ съ Лессингомъ, они написали знаменитый отвѣтъ на тему Берлинской Академіи «О философіи Попе»: духъ отвѣта очень устроумно выраженъ восклицательнымъ знакомъ, поставленнымъ въ заглавіи: «Поппе — метафизикъ!»

никами. Характеры ихъ были различны, различенъ и тонъ ихъ сочиненій. Практическій, довольно сухой, проникательный и отчасти насмѣшливый, Николай дѣйствовалъ насмѣшкою, преслѣдовалъ все, что ему казалось вреднымъ въ жизни, затемняющимъ понятія, замедляющимъ дѣятельность, отвлекающимъ человѣка отъ заботы объ улучшеніи своего положенія. Мендельсонъ, который больше, нежели кто нибудь изъ новыхъ философовъ, напоминаетъ Платона, если не гениальностью, то чистымъ стремленіемъ къ идеалу,—излагалъ въ философской формѣ тѣ возвышенныя понятія и чувства, которымъ впослѣдствіи давалъ поэтическую одежду Шиллеръ. Но оба, Николай и Мендельсонъ, сходились въ томъ, что съ благоговѣніемъ внимали Лессингу, и, въ сущности, все, что было прочнаго и истинно плодотворнаго въ ихъ дѣятельности, развилось подъ вліяніемъ Лессинга.

Мы назвали ихъ его учениками. Это слово, въ настоящемъ случаѣ, не можетъ, однако, имѣть того смысла, въ какомъ обыкновенно употребляютъ его, понимая, что ученикъ только повторяетъ, такъ или иначе, мысли учителя, и, въ сравненіи съ нимъ, является человѣкомъ не самостоятельнымъ. Въ такомъ смыслѣ, у Лессинга не было и не могло быть учениковъ. Натура этого человѣка образовалась такъ, что и положительныя и отрицательныя его качества были именно таковы, какія требовались для возможно благотворнѣйшаго вліянія на нѣмецкую литературу. Бываютъ времена, когда необходимѣйшее условіе успѣшнаго развитія есть научная дисциплина; въ ту пору, у нѣмецкой литературы была другая, противоположная потребность. Въ націи и въ литературѣ, въ людяхъ и писателяхъ германскихъ господствовала педантическая привычка подчиненія авторитетамъ,—литературные тузы повторяли слова иноземныхъ авторитетовъ: Готтшедъ повторялъ Буало, Рамлеръ—Баттѣ, Геллертъ—Лафонтена, Бодмеръ—Аддисона, Клопштокъ—Оссіана и Мильтона, Берлинская Академія—временемъ Вольтера, временемъ Попе,—мелкіе писатели повторяли слова доморощеныхъ литературныхъ магнатовъ. Не было инициативы въ литераторахъ, не было самобытности мышленія, смѣлой привычки думать своей головой. Лессингъ и въ этомъ отношеніи, какъ во всѣхъ другихъ, былъ именно такой человѣкъ, въ какомъ нуждалась эпоха.

Гениальный человѣкъ, развивая нашу мысль, въ то же время обыкновенно поработщаетъ ее себѣ,—все равно, читались ли вы

Байрона или Платона, Гете или Руссо, Жоржа Санда или Аристотеля—вы становитесь въ какое-то зависимое положеніе отъ вашего путеводнаго генія, — вы на все смотрите его глазами, чувствуете, что вамъ нельзя иначе думать—не потому только, что истина его мыслей для васъ очевидна,—нѣтъ, и потому также, что онъ положилъ границы вашему воззрѣнію, какъ бы независимо отъ вашей воли, отъ вашего самостоятельнаго разсудка, подчинилъ васъ себѣ,—словомъ, вы дѣлаетесь то, что называется ученикъ, послѣдователь, отчасти рабъ этого человѣка. Потому-то обыкновенно самыя благотворныя авторитеты имѣютъ и свою вредную сторону — развивая мысль, они въ то же время отчасти сковываютъ ее. Когда въ націи пробужденъ духъ самостоятельной пытливости, эта вредная сторона не имѣетъ важныхъ слѣдствій, — вы подчинились одному авторитету, другой—другому, сотни другихъ не хотятъ признавать ни чьей безусловной власти надъ своей мыслью, — такъ, напримѣръ, въ Германіи, въ одно время, въ одной философской области теперь существуетъ безчисленное множество различныхъ самостоятельныхъ мнѣній, всѣ допытываются истины, никто не успокоивается готовыми результатами, всѣ самодѣтельно стремятся впередъ и впередъ, и Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель, несмотря на всю обаятельную силу своихъ системъ, не могли ни на одну минуту задержать дальнѣйшаго развитія мысли,—каждый изъ нихъ повелъ ее шагомъ дальше, и каждый разъ, сдѣлавъ этотъ шагъ, она устремлялась впередъ, покидая прежняго учителя, даже низвергая его, если онъ хотѣлъ остановить ее.

Такъ и должно быть. Не добытый результатъ важенъ: всѣ добытые человѣчествомъ результаты, во всѣхъ областяхъ жизни и мысли, какъ бы ни казались они блестящи по сравненію съ прошедшимъ, все еще ничтожны сравнительно съ тѣмъ, что должно быть приобрѣтено мыслью и трудомъ, для обезпеченія матеріальной жизни, для проясненія знаній и понятій. Важнѣе всѣхъ добытыхъ результатовъ—стремленіе къ приобрѣтенію новыхъ, лучшихъ; важнѣе всего пытливость мысли, дѣятельность силъ. Немногіе изъ геніальныхъ людей такъ полно воплощали въ себѣ эту пытливость, не успокоивающуюся ни на чемъ, эту дѣятельность, вѣчно стремящуюся къ достиженію новыхъ результатовъ, полнѣйшихъ всего прежняго, — немногіе изъ геніальныхъ людей, говоримъ мы, были такъ проникнуты не какимъ нибудь опредѣленнымъ, и потому огра-

ниченными стремленіемъ къ какому нибудь опредѣленному, ограниченному результату, а жаждою итти все дальше и дальше, впередъ и впередъ,—чтобы добытые ими результаты каждому уму служили только опорой, только возбужденіемъ къ дальнѣйшему самостоятельному изслѣдованію. Въ области поэзіи, нѣчто подобное представляетъ Шекспиръ. Мы опять обращаемся къ этому примѣру, чтобы прояснить наше понятіе. Кто пойметъ Шекспира, передъ тѣмъ исчезаютъ всякіе другіе авторитеты въ поэзіи—онъ выше всѣхъ, — а, между тѣмъ, преклоненіе передъ Шекспиромъ становится ли поэта въ такое зависимое отъ него положеніе, какъ поклоненіе Байрону или Мильтону? — нѣтъ, кто поклоняется этимъ поэтамъ, чувствуетъ непреодолимую наклонность подражать имъ, и истинно талантливые люди дѣлались мильтонистами или байронистами,—но, понимать Шекспира—значитъ чувствовать въ себѣ непреодолимый позывъ къ самостоятельному творчеству,—быть чуждымъ всякой мысли о подражаніи кому бы то ни было, хотя бы и самому Шекспиру *). Изъ области поэзіи переходя въ область мысли, можно указать нѣсколько людей, оказывающихъ подобное же вліяніе, — таковъ на примѣръ Монтанъ, таковы многіе скептики, — но всѣ они занимаютъ въ исторіи развитія мысли только второстепенное мѣсто, и никто изъ нихъ не имѣлъ преобладающаго вліянія на развитіе цѣлой эпохи. Лессингъ не имѣлъ ничего общаго съ Монтанемъ или другими скептиками,—напротивъ, его убѣжденія очень опредѣлительны и тверды, онъ, можно сказать, ни въ чемъ не сомнѣвается, — ни въ человѣкѣ, ни въ законахъ вселенной, — онъ положительно говоритъ: «это мы знаемъ; въ этомъ нечего сомнѣваться» — но — какое бы убѣжденіе ни высказывалъ, какъ бы твердо ни высказывалъ его, какими бы неопровержимыми доказательствами ни подтверждалъ его, — все-таки онъ въ концѣ ставитъ новый вопросъ, все таки заключаетъ тѣмъ, что говорить: «то, что

*) Въ гораздо меньшихъ размѣрахъ можно почти то же сказать о Гоголѣ, если приводить примѣры изъ нашей литературы. Пушкину подражали талантливые люди, но подражаніе Гоголю замѣтно только у писателей мало талантливыхъ. Нынѣшніе даровитые писатели произошли отъ Гоголя,—а, между тѣмъ, ни въ чемъ не подражаютъ ему, — не напоминаютъ его ни чѣмъ, кромѣ какъ только тѣмъ, что, благодаря ему, стали самостоятельны, изучая его, приучились понимать жизнь и поэзію, думать своею, а не чужою головою, писать своимъ, а не чужимъ перомъ.

мы теперь знаемъ, только начало знанія; нужно заняться теперь дальнѣйшими изслѣдованіями, при которыхъ и прежняя истина явится, быть можетъ, въ новомъ видѣ»; каждое его изслѣдованіе представляется какъ будто только одною частью, отрывкомъ, который долженъ читатель дополнить уже самъ. Въ главнѣйшихъ его ученыхъ сочиненіяхъ — «Лаокоонъ» и «Драматургія», эта необходимость дальнѣйшаго самостоятельнаго изслѣдованія выражается даже внѣшнимъ образомъ: заключая «Лаокоона», онъ общается современемъ прибавить вторую часть къ этому изслѣдованію, которое положительно называетъ только первую частью; въ «Драматургіи» также нѣсколько разъ говорится, что вся она только первый отдѣлъ труда, который долженъ имѣть продолженіе; «Листки противъ Гёте» прекращены, можно сказать, въ самомъ началѣ. Въ каждой частности слышится тотъ же вызовъ читателю на дальнѣйшее обсужденіе дѣла. Можно сказать, что и общее направленіе дѣятельности Лессинга не имѣетъ такой общей темы, которую не смѣнила бы другая тема, если то потребуется развитіемъ мысли, — онъ началъ, какъ литературный критикъ, а кончилъ теологическими изслѣдованіями, которыя, навѣрное, оставилъ бы для другихъ изысканій, если бы прожилъ долѣе.

Но мы слишкомъ давно забыли о біографической нити разсказа. Возвратимся же къ отношеніямъ Лессинга съ Мендельсономъ и Николаи, на которыхъ остановились. Весь характеръ дѣятельности Лессинга былъ таковъ, что вліяніе его рождало не учениковъ, а самостоятельныхъ дѣятелей. Позднѣе, это обнаружилось всѣмъ ходомъ нѣмецкой литературы и науки, которыя, въ эпоху, порожденную Лессингомъ, отличаются чрезвычайно энергическимъ стремленіемъ къ самостоятельности. Но, прежде всего, это обнаружилось на ближайшихъ друзьяхъ и непосредственныхъ воспитанникахъ Лессинга, — на Мендельсонѣ и Николаи. Они хотѣли быть его учениками, хотѣли составить школу, главою которой былъ бы Лессингъ. — Онъ не захотѣлъ того, и когда увидѣлъ ихъ имѣющими уже довольно силъ, тотчасъ же предоставилъ имъ дѣйствовать какъ они хотятъ. Внѣшнимъ образомъ это выразилось въ томъ, что онъ не хотѣлъ быть постояннымъ сотрудникомъ журналовъ, ими издаваемыхъ; — существеннымъ слѣдствіемъ заботы Лессинга не о приобрѣтеніи себѣ учениковъ, а, напротивъ, о пробужденіи самостоятельности въ каждомъ, было то, что Николаи и Мендельсонъ со-

хранили, какъ мыслители, полную оригинальность своихъ различныхъ натуръ, и напоминаютъ Лессинга не содержаниемъ своихъ учений, а только тѣмъ, что въ немъ имѣли нравственную поддержку, и безъ этой поддержки дѣйствовали бы не такъ смѣло и самостоятельно.

Въ самомъ дѣлѣ, Лессингъ такъ мало хотѣлъ сдѣлаться главою партіи, что вскорѣ послѣ того, какъ сошелся съ Николаи и Мендельсономъ, уѣхалъ изъ Берлина, съ намѣреніемъ нѣсколько лѣтъ ничего не печатать. Уже семь лѣтъ онъ жилъ литературною работою, — успѣлъ, наконецъ, составить себѣ очень громкое имя, — не только какъ критикъ, но и какъ поэтъ сталъ выше всѣхъ своихъ современниковъ во мнѣніи лучшей части публики: за первыми одами и комедіями его, которыя заслужили ему имя одного изъ знаменитѣйшихъ поэтовъ въ тогдашней литературѣ, послѣдовала трагедія «Миссъ Сара Сампсонъ», которая съ перваго же раза была признана явленіемъ, какихъ еще не бывало въ нѣмецкой литературѣ, и поставила Лессинга, какъ драматурга, выше всѣхъ соперниковъ *). Но трудъ упорный и счастливый въ литературномъ отношеніи, едва доставлялъ Лессингу средства для жизни, — въ его перепискѣ рѣчь идетъ всегда о талерахъ, много о десяткахъ талеровъ. Безконечная работа, соединенная съ матеріальными лишениями, утомила Лессинга. Онъ сталъ искать себѣ какого нибудь занятія, легче, нежели литература, обезпечивающаго жизнь. Судьба едва не увлекла его на нашу родину, которой столько пользы принесли его соотечественники своими занятіями. Вотъ что писалъ онъ къ отцу весною 1755 года, въ отвѣтъ на настойчивыя просьбы старика, чтобъ сынъ позаботился опредѣлиться на службу.

«О моемъ опредѣленіи на службу, мои знакомые хлопочутъ больше меня, а я мало думаю объ этомъ. Въ послѣднее время сильно уговаривали меня ѣхать въ Москву, гдѣ, какъ вы знаете, конечно, по газетамъ, основывается университетъ. Изъ всѣхъ подобныхъ предположеній, это скорѣ всего можетъ осуществиться».

*) Замѣчательнѣйшія произведенія Лессинга — именно драматическія пьесы «Миссъ Сара Сампсонъ», «Минна фонъ Баргельмъ», «Эмилиа Галотти» и «Натанъ Мудрый»; также «Литературныя письма» въ связи съ другими критическими статьями, «Лаокоонъ» и «Гамбургская Драматургія» и, отчасти, полемическія статьи противъ Гёте будутъ нами рассмотрѣны послѣ, чтобы не прерывать біографію слишкомъ длинными эпизодами и анализами.

Но предположеніе не исполнилось: вмѣсто Лессинга, поѣхалъ въ Москву готтшедіанецъ Рейхель *).

Когда разстроился планъ получить мѣсто въ Москвѣ, Лессингъ, не сказавшись, по своему обыкновенію, никому изъ своихъ пріятелей, исчезъ изъ Берлина и очутился въ Лейпцигѣ. Какъ и зачѣмъ онъ переѣхалъ изъ Берлина въ Лейпцигъ—совершенно неизвѣстно; надобно полагать только, что онъ имѣлъ въ виду какъ нибудь избавиться отъ необходимости зарабатывать себѣ хлѣбъ литературнымъ трудомъ, утомительнымъ и неблагодарнымъ, надѣясь найти себѣ какія нибудь иныя средства для жизни. Дѣйствительно, скоро сошелся онъ въ Лейпцигѣ съ молодымъ богатымъ купцомъ Винклеромъ, который хотѣлъ нѣсколько лѣтъ употребить на путешествіе по различнымъ европейскимъ странамъ, для довершенія своего образованія, и предложилъ Лессингу быть ему спутникомъ, въ качествѣ, отчасти, товарища, отчасти наставника, съ жалованьемъ по 300 талеровъ (около 275 р. сер.) въ годъ. Путешествіе должно было продолжаться года три. Триста талеровъ въ годъ, на всемъ готовомъ содержаніи, и, притомъ, съ возможностью объѣхать всю Европу!—это было великимъ счастьемъ для Лессинга. Въ письмѣ къ Мендельсону (декабрь 1755), рассказавъ, какія сочиненія и изданія онъ готовитъ къ Пасхальному сроку слѣдующаго года **), Лессингъ продолжаетъ:

*) Кстати, говоря о Россіи, скажемъ, что въ Императорской Публичной Библіотекѣ должно быть довольно много книгъ, принадлежавшихъ Лессингу. Когда, при переселеніи изъ Берлина въ Гамбургъ, Лессингъ распродалъ свою обширную бібліотеку, собранную имъ въ Бреславлѣ, много книгъ было куплено для Варшавской бібліотеки графа Залускаго, которая потомъ, какъ извѣстно, перевезена была въ Петербургъ и послужила основаніемъ нынѣшней Публичной Библіотеки. Изъ книгъ, которыя находились въ бібліотекѣ Лессинга и были проданы съ аукціона, находились «*Journal des Savants*», полный экземпляръ до 1764 года, составляющій 254 тома; «*Acta Eruditorum*»; «*Années littéraires*» Фрерона;—кромѣ того говорится вообще, что у него было много первоначальныхъ изданій (*editio princeps*) греческихъ и латинскихъ классиковъ. По этимъ указаніямъ, быть можетъ, не напрасно было бы сдѣлать поиски въ Публичной Библіотекѣ. См. Данцель и Гурауэръ, первая половина 2-го тома, стр. 136.

**) Извѣстно, что и до сихъ поръ въ Германіи книжная торговля имѣетъ два важнѣйшіе полугодичные термина, къ которымъ все готовится, отъ которыхъ зависитъ весь ходъ литературныхъ занятій, продажъ, заказовъ и т. д.—

«Ну, что вы скажете? Не слишкомъ ли много? Если публика осудитъ меня за излишнее усердіе въ угощеніи ея моими произведеніями, то въ извиненіе себѣ скажу одно: съ слѣдующей Пасхи, цѣлые три года не услышитъ она обо мнѣ. *Caestus artemque gerono*. Даю покой рукамъ и ремеслу.

«Какимъ это образомъ? навѣрное спросите вы. Слушайте же важнѣйшую изъ всѣхъ новостей, какія только могу сообщить о себѣ. Не въ дурной часъ выѣхалъ я изъ Берлина. Нашлось мнѣ очень выгодное дѣло»...

И онъ съ восторгомъ рассказываетъ о предложеніи Винклера. Заключенъ былъ формальный контрактъ на три года. Срокомъ отъѣзда назначена весна 1756 года, около Пасхи. Въ маѣ, путешественники дѣйствительно пустились въ свое странствованіе, и, черезъ Магдебургъ, Брауншвейгъ, Гамбургъ, Гренингенъ, къ началу августа пріѣхали въ Амстердамъ. Осмотрѣвъ замѣчательные города Голландіи, хотѣли они въ октябрѣ отправиться въ Англію,—но страшная новость принудила Винклера скорѣе возвратиться домой.

Въ августѣ 1756 года, внезапнымъ нападеніемъ на Саксонію, Фридрихъ II началъ войну, которая теперь извѣстна подъ именемъ Семилѣтней. Лейпцигъ былъ занятъ пруссаками. Смятеніе въ городѣ, ужасъ жителей были безмѣрны: нѣкоторые умирали отъ страха, наводимаго ожиданіемъ наступающихъ бѣдствій. Винклеру надобно было возвратиться, чтобы спасти свое имущество: въ Лейпцигѣ былъ у него домъ. Такимъ образомъ, начатое путешествіе пришлось отложить,—но только отложить: обезопасивъ свой домъ отъ контрибуцій и конфискацій, Винклеръ хотѣлъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, снова пуститься въ странствованія, и потому Лессингъ, по контракту, оставался жить у него. Но скоро они поссорились, и Лессингъ опять увидѣлъ себя въ томъ самомъ положеніи, отъ котораго хотѣлъ избавиться, уѣзжая изъ Берлина.

Причина ссоры очень характеристична для личности Лессинга. Онъ былъ родомъ изъ Саксоніи. Саксонцы теперь проклинали пруссаковъ, угнетавшихъ несчастную Саксонію поборами и наборами, контрибуціями и реквизиціями. Но,—справедливо или несправедливо,—остальные германскія племена смотрѣли на Фридриха II,

это двѣ Лейпцигскія книжныя ярмарки — Михайловская и Пасхальная. Столѣтъ тому назадъ, значеніе этихъ сроковъ было еще важнѣе.

какъ на героя-защитника нѣмецкой національности противъ вліянія иноземцевъ. Справедливо или нѣтъ, но образованные люди во всей Германіи считали его защитникомъ просвѣщенія и поборникомъ благотворныхъ реформъ.

Есть въ раздробленной Германіи чувство, которое, къ счастью, неизвѣстно у народовъ, успѣвшихъ соединиться въ одно государство,—это партикуляризмъ, предпочтеніе мѣстнаго патріотизма—гессенскаго, баденскаго, виртембергскаго, саксонскаго, прусскаго—общему нѣмецкому патріотизму. Благодаря вліянію литературы, начавшемуся съ Лессинга, это мелочное чувство ослабѣло, теперь оно не имѣетъ и десятой части того могущества, которымъ обладало за сто лѣтъ. Но и до сихъ поръ оно еще сильно, доказательствомъ тому служатъ событія послѣднихъ годовъ.

Какъ ни силенъ теперь въ Германіи партикуляризмъ, все-таки теперь это чувство, отжившее свой вѣкъ, остатокъ старины, не больше какъ рутинна, привычка. Сто лѣтъ тому назадъ было не такъ. Саксонецъ считалъ себя только саксонцемъ, пруссакъ только пруссакомъ, а не нѣмцемъ; вся его національная гордость, всѣ его патріотическія чувства были прикованы исключительно къ провинціальному племени, въ которомъ онъ родился,—для чувствъ тогдашняго нѣмца существовала только Саксонія, Пруссія, Баварія, но не Германія: Германія исчезала, какъ скоро являлся поводъ къ проужденію партикуляризма.

Лессингъ и въ этомъ, какъ въ остальномъ, былъ выше своего вѣка,—употребляемъ выраженіе, которое рѣдко можетъ примѣняться къ дѣлу, почти всегда будучи пустою фразою, но совершенно примѣняется къ Лессингу,—потому что, если кто нибудь бывалъ на столѣтіе впереди своего вѣка, то именно онъ.

Какъ стоялъ онъ выше литературныхъ партій, такъ точно стоялъ онъ и выше провинціальныхъ, племенныхъ подраздѣленій. Онъ думалъ только о Германіи,—Саксонія, Пруссія, Австрія были для него ничто предъ Германіею. Подданные и солдаты Фридриха II были нѣмцы, — арміи, съ которыми онъ сражался, состояли изъ венгровъ, кроатовъ, французовъ, русскихъ. Фридрихъ былъ хорошимъ администраторомъ, а въ Саксоніи самовластвовалъ Брюль,—выборъ былъ ясенъ для Лессинга, и онъ принялъ сторону Фридриха II.

Вмѣстѣ съ Винклеромъ, онъ обѣдалъ за *table d'hôte*, гдѣ всегда

было большое общество, преимущественно состоявшее изъ купцовъ. Всѣ проклинали пруссаковъ и Фридриха, Лессингъ защищалъ ихъ.

Изъ прусскихъ офицеровъ, стоявшихъ гарнизономъ въ Лейпцигѣ, со многими Лессингъ подружился, особенно съ поэтомъ Клейстомъ, майоромъ прусской службы, черезъ нѣсколько времени раненнымъ на смерть при Кунерсдорфѣ. Талантъ Клейста не былъ великъ; но его прекрасный характеръ, соединявшій въ себѣ задумчивость съ воинственною энергіею, и его преданность Лессингу привязали къ нему Лессинга. Онъ приводилъ Клейста и другихъ пруссаковъ за *table d'hôte*, гдѣ самъ обѣдалъ, и такимъ образомъ, явилась тамъ, кромѣ саксонской партіи, прусская.

Саксонцы негодовали на непрощенныхъ собесѣдниковъ, и многіа изъ прежнихъ постоянныхъ посѣтителей перестали обѣдать въ этомъ ресторанѣ. Хозяйка ресторана, оставшаяся въ убыткѣ, стала говорить Винклеру, что просить его и Лессинга, съ его пріятелями, не бывать въ ея ресторанѣ, потому что прусскіе мундиры лишаютъ ее другихъ, болѣе многочисленныхъ гостей. Винклеръ, уже прежде нѣсколько разъ имѣвшій мелочные ссоры съ Лессингомъ, — вѣроятно, также главнымъ образомъ по поводу его любви къ пруссакамъ, написалъ ему теперь невѣжливую записку, и Лессингъ долженъ былъ прекратить съ нимъ всякія сношенія.

Такимъ образомъ, остался онъ въ Лейпцигѣ опять безъ всякихъ средствъ къ жизни, кромѣ литературной работы; а доставать деньги литературной работою, все-таки было для него удобнѣе въ Берлинѣ, нежели гдѣ-нибудь, и въ 1759 году возвратился онъ въ Берлинъ. Тамъ съ нетерпѣніемъ ждалъ его Николай.

Вскорѣ послѣ того, какъ сблизился съ Лессингомъ, и потомъ, черезъ Лессинга, съ Мендельсономъ, Николай сталъ думать о томъ, какъ бы основать критическій журналъ. Когда Лессингъ возвратился въ Лейпцигъ изъ поѣздки съ Винклеромъ, Николай просилъ его принять на себя хлопоты найти въ Лейпцигѣ книгопродавца, который бы согласился издавать этотъ предполагаемый журналъ, которому Николай хотѣлъ дать названіе «Библіотека изящныхъ искусствъ и словесности». Издатель, послѣ многихъ напрасныхъ поисковъ, былъ наконецъ найденъ Лессингомъ; статьи, присылаемые изъ Берлина Николай, Мендельсономъ и ихъ друзьями, передавались въ типографію черезъ Лессинга, который иногда, въ случаѣ какихъ-нибудь непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, дѣлалъ необ-

ходимыя измѣненія по редакціонной части, но, вообще, не желалъ имѣть вліянія на духъ и направленіе журнала, редакторомъ котораго былъ Николай, при содѣйствіи Мендельсона *).

Когда Лессингъ возвратился въ Берлинъ, коммерческое положеніе Николай измѣнилось. До сихъ поръ, книжный магазинъ принадлежалъ его отцу, потомъ, по смерти отца, брату, — писатель Николай, младшій братъ, былъ просто прикащикомъ въ магазинѣ и получалъ отъ брата небольшую часть годичной прибыли. Теперь, по смерти брата, онъ самъ сдѣлался хозяиномъ книжнаго магазина; продолжать писать для журнала, издаваемого другимъ книгопродавцемъ, ему было уже не выгодно. Онъ передалъ «Библіотеку изящныхъ искусствъ» другой редакціи, и основалъ новый журналъ «Литературныя письма». Душою этого журнала былъ Лессингъ, изъ статей котораго почти исключительно составлены были первыя книжки «Литературныхъ писемъ».

*) Николай сообщает любопытный фактъ о томъ, какъ вознаграждался тогда литературный трудъ книгопродавцами-издателями. Николай и его сотрудники получали отъ своего книгопродавца по двадцати-пяти талеровъ за цѣлый нумеръ «Библіотеки», состоявшій изъ пятнадцати печатныхъ листовъ, то есть по 1 руб. 50 коп. сер. за печатный листъ, — почти то, что надобно заплатить писцу за переписку статьи. Положимъ, что форматъ листа былъ невеликъ положимъ, что плата, по замѣчанію Николай, была и для того времени очень умеренною, и въ другихъ случаяхъ писатели получали нѣсколько болѣе, но все-таки—эта цифра одна уже поясняетъ намъ, каково было тогда въ Германіи матеріальное положеніе писателя, который жилъ литературной работою, не имѣя другихъ источниковъ дохода.—Впрочемъ, какъ мы говорили, такихъ писателей было очень мало. — Напримѣръ, изъ тѣхъ, которыхъ мы называли въ этой статьѣ,—Ланге и Геймъ были пасторы, Клейстъ—офицеръ, Зумперъ — профессоръ, Николай—книгопродавецъ, Мендельсонъ — бухгалтеръ въ торговомъ домѣ,—одинъ Лессингъ былъ писатель и больше ничего.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

«Литературныя письма».—Основаніе ихъ сильнаго дѣйствія на нѣмецкую литературу.—Черты, ими внесенныя въ характеръ нѣмецкой мысли.—Лессингъ принимаетъ мѣсто секретаря при Тауэнциніѣ.—Жизнь его въ Бреславлѣ.—Возвращеніе къ литературному міру.—«Миссъ Сара Сампсонъ».—«Минна фонъ-Барнгельмъ». — «Лаокоонъ».

(1759 — 1767).

«Библіотека изящныхъ искусствъ», которую издавалъ Николай при содѣйствіи Мендельсона, была лучшимъ критическимъ журналомъ своего времени. Она стояла выше мелочныхъ интригъ, самолюбивою суетою замедлявшихъ успѣхи нѣмецкой мысли; основанія критики ея надобно назвать справедливыми, ея сужденія—вообще здравыми и благородными, умными и безпристрастными. И однако же, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, «Библіотека изящныхъ искусствъ» осталась безъ замѣтнаго вліянія на литературу; она приносить большую честь дарованіямъ и добросовѣстности своихъ соучастниковъ, но мало принесла пользы нѣмецкой публикѣ.

«Литературныя письма», по многимъ существеннымъ чертамъ характера, были сходны съ «Библіотекою изящныхъ искусствъ». Уже однѣ вѣщныя примѣты достаточно показываютъ степень близости этихъ двухъ журналовъ. Николай, редакторъ «Библіотеки», былъ редакторомъ и издателемъ «Литературныхъ писемъ»; Мендельсонъ, главный его сотрудникъ въ «Библіотекѣ», принималъ не менѣе дѣятельное участіе и въ «Литературныхъ письмахъ». Столь же рѣшительны и факты внутренняго родства обоихъ журналовъ. Николай и Мендельсонъ развились, какъ мы видѣли, подъ вліяніемъ Лессинга; «Библіотека» была по преимуществу выраженіемъ мыслей, въ первый разъ высказанныхъ имъ; Николай и Мендельсонъ съ восторгомъ приняли его сотрудничество при изданіи «Ли-

тературныхъ писемъ» главнымъ образомъ потому, что видѣли въ немъ человѣка, думающаго одинаково съ ними о всѣхъ существенно важныхъ вопросахъ, и не обманулись, ожидая совершенной гармоніи между его и своими статьями: впоследствии, Лессингъ ушелъ далеко впередъ отъ своихъ друзей, и они уже не могли понимать его, но до конца изданія «Литературныхъ писемъ» не замѣчалось разницы между его и ихъ воззрѣніями, — не замѣчалось до такой степени, что и публика и писатели, не только противныхъ партій, но даже изъ друзей Лессинга, всѣ, непосвященные въ тайны редакціи, не умѣли отличить, кому изъ трехъ главныхъ лицъ такъ называвшейся тогда Берлинской или Николаитской школы принадлежитъ та или другая статья. Лессингу приписывались многія рецензіи въ «Библіотекѣ», въ которой онъ не участвовалъ; и, на оборотъ, многія статьи въ «Литературныхъ письмахъ», принадлежавшія Лессингу, приписывались Мендельсону или Николаи. Иныя рецензіи были написаны Лессингомъ вмѣстѣ съ Мендельсономъ, какъ прежде, разсужденіе о метафизикѣ Пюна; другія служатъ развитіемъ статей «Библіотеки» — словомъ, сходство этихъ двухъ журналовъ такъ очевидно, что многими «Литературныя письма» считались за продолженіе «Библіотеки». И однако же, при всей видимой одинаковости направленія «Литературныя письма» произвели совершенный переворотъ въ нѣмецкой литературѣ, между тѣмъ, какъ «Библіотека» не имѣла особенной важности въ исторіи нѣмецкаго развитія.

Эту разницу въ значеніи двухъ журналовъ, бывшихъ выраженіемъ одной мысли, надобно, конечно, приписывать исключительно участію Лессинга въ «Литературныхъ письмахъ». Въ самомъ дѣлѣ, громадное дѣйствіе производилось именно его статьями; когда онъ оставилъ «Литературныя письма», номера этого журнала утратили большую часть той электрической силы, которая приводила въ движеніе умы читателей и волновала литературный міръ, и если онъ продолжалъ еще пользоваться значительнымъ вліяніемъ, то почти исключительно благодаря репутаціи, приобретенной первыми, лессинговскими номерами. Тайну этого превосходства нельзя вполнѣ объяснить ни славою Лессинга, ни даже огромнымъ перевѣсомъ его таланта надъ силами другихъ его сподвижниковъ.

Что касается таланта, Николаи и Мендельсонъ, какъ ни далеко уступали Лессингу, все же были писатели великихъ дарованій, ста-

зо быть и они могли бы имѣть сильное вліяніе, еслибъ для того нужно было только хорошо изложить справедливыя мысли. При томъ же, мы видѣли, что публика и литература не умѣли отличать въ журналѣ статей Лессинга отъ статей, написанныхъ другими, стало быть, мало еще были способны оцѣнить превосходство его мастерскаго изложенія. Что же касается славы, Лессингъ, конечно, уже пользовался громкою, даже очень громкою извѣстностью въ публикѣ, но все-таки далеко еще не достигъ той общепризнанной репутаціи великаго, гениальнаго писателя, которая увлекаетъ толпу однимъ авторитетомъ имени. Такое положеніе дается только временемъ, привычкою; авторитетъ пріобрѣтается не такъ быстро, какъ слава, а Лессингъ еще и славою не равнялся съ Клопштокомъ, Галлеромъ и нѣкоторыми другими тогдашними знаменитостями. Люди, особенно проницательные, конечно, уже видѣли въ немъ перваго нѣмецкаго писателя, — но число такихъ людей было очень невелико; у каждой литтратурной партіи были еще свои авторитеты, внушавшіе болѣе уваженія, нежели чуждый всѣмъ котеріямъ Лессингъ; а публика еще не успѣла отвыкнуть отъ поклоненія старымъ свѣтиламъ. Лессингъ не только не имѣлъ первенствующаго положенія во всей нѣмецкой литературѣ, — онъ не считался даже главою и той школы, къ которой его причисляли. Николай былъ редакторомъ журналовъ этой школы, онъ считался и ея главою; всѣ говорили о Николаитахъ, никому и въ голову не приходило называть ихъ Лессингианцами.

Правда, въ одномъ отношеніи никто уже не находилъ соперниковъ Лессингу — именно, въ жестокости нападеній. Со времени своей полемики съ Ланге, онъ считался самымъ злымъ спорщикомъ, человѣкомъ безпокойнѣйшаго литературнаго характера, писателемъ, находящимъ лучшее свое удовольствіе въ безпощадномъ терзаніи всѣхъ и cadaго, кто только подвернется ему подъ руку. «Лессингъ душитъ всѣхъ, чтобы самому было просторнѣе жить», писалъ въ 1759 году близкій пріятель Лессинга, Рамлеръ, другому близкому его и своему пріятелю, Глейму: «Отъ этого ужъ нельзя его исправить: такова его натура». Если такъ говорили между собою о Лессингѣ его друзья, то можно вообразить, каково было мнѣніе о его критической свирѣпости у всѣхъ другихъ писателей и читателей. Онъ представлялся литераторамъ и публикѣ какимъ-то людоедомъ. Онъ самъ зналъ, что самая яркая черта его репутаціи — его без-

попашная строгость въ критикѣ, его страшная рѣзкость въ полемикѣ, и онъ указываетъ на это общее мнѣніе о себѣ шуткою, отвѣчая на вопросъ Николаи о томъ, какой девизъ написать подъ его портретомъ (Николаи, когда былъ редакторомъ «Библіотеки изящныхъ искусствъ», вздумалъ приложить къ своему журналу портреты нѣкоторыхъ писателей, въ томъ числѣ и Лессинга). «Чтобы не думать долго—говорить Лессингъ—выставьте «подъ моимъ портретомъ:

«Nec niger est, hunc tu, Romane, caveto». *)

«Или, пожалуй:

«Quid itmerentes hospites vexas, canis»? **)

Кажется, трудно было прославиться безпощадностью полемики въ тотъ вѣкъ ожесточеннѣйшей, нескончаемой, не знавшей никакихъ границъ, забывавшей всѣ законы приличій полемики,—когда литературныя партіи преслѣдовали одна другую самою плоскою и циническою бранью, съ безконечными антикритиками, рекритиками, отвѣтами на рекритики и отвѣтами на отвѣты на рекритики. Но Лессингу эта непривлекательная слава считаться жесточайшимъ изъ всѣхъ жестокихъ зоиловъ досталась очень легко. Въ самомъ дѣлѣ, его критики должны были раздражать самолюбіе тогдашнихъ писателей сильнѣе, нежели чьи бы то ни было. Если Бодмеръ бранилъ Готтшеда,—Готтшеду казалось это очень естественно, — вѣдь онъ самъ бранилъ Бодмера, — для того и другаго одинаково ясно было, что противникъ бранить его только изъ-за оскорбленнаго самолюбія, — они оба уже были приготовлены къ тому, чтобы не ждать другъ отъ друга ничего, кромѣ грубѣйшей брани. Каждая изъ враждующихъ партій считала всѣхъ людей противнаго лагеря глупцами и негодяями—утѣшеніемъ каждому служило то, что его бранятъ глупцы и невѣжды, — которыхъ онъ и его друзья много разъ выводили на свѣжую воду, уничтожали и бранили. Но, кромѣ этихъ заклятыхъ враговъ всего талантливаго и умнаго (то есть, принадлежашаго къ его партіи), отъ всѣхъ другихъ критиковъ каждый писатель слышалъ только похвалы и комплименты, а всѣ люди

*) «Это злой человѣкъ, берегись его».—Изъ извѣстнаго пророчанія о рѣкѣ Нигерѣ, Лессингъ дѣлаетъ тутъ каламбуръ, ставя вмѣсто Niger (имя рѣки)—niger (черный, злобный).

**) «Что ты, собака, выдаешься на людей; которые тебя не трогаютъ?»

съ умомъ и вкусомъ (то есть люди его собственной партіи) превозносили его до небесъ. Брань отъ записныхъ противниковъ, если и бываетъ груба, все таки въ сущности довольно легко переносится самолюбіемъ. И вдругъ—явился человекъ, который осуждалъ, на примѣръ, Готтшеда не потому, что былъ поклонникомъ Бодмера,—напротивъ, онъ не менѣе строго осуждалъ и Бодмера,—это было уже нарушеніемъ обычая,—это было уже непонятнымъ, непредвидѣннымъ нападеніемъ. «За что жъ онъ осуждаетъ меня,—думалъ Готтшеде:—если онъ не хочетъ мстить мнѣ за Бодмера? По какому праву? На какомъ основаніи? Дѣло другое, еслибъ онъ хвалилъ Бодмера,—тогда это было бы натурально. А теперь видно, что онъ человекъ безъ всякихъ правилъ, злобный человекъ, который бранится не потому, что мы съ нимъ принадлежимъ къ враждующимъ лагерямъ, а просто потому, что онъ любитъ мучить людей. Это не афинянинъ, поражающій спартанца потому, что Афины и Спарта ведутъ войну, а просто душегубецъ, которому одинаково пріятно рѣзать и афинянъ и спартанцевъ, это не воинъ, а разбойникъ».

Мы видѣли, что подъ вліяніемъ Лессинга образовались въ нѣмечкой литературѣ писатели, подобно ему, не сочувствовавшіе ни одной изъ враждовавшихъ партій,—критики, которые, подобно ему, должны были возбуждать къ себѣ одинаковую нелюбовь во всѣхъ партіяхъ. Ихъ органомъ была «Библіотека изящныхъ искусствъ». Но мнѣнія этихъ людей были заимствованныя, навѣяныя, не превратившіяся еще въ ихъ собственную плоть и кровь,—потому довольно блѣдныя, довольно снисходительныя. Эти ученики еще не такъ сильно прониклись новыми понятіями, чтобы совершенно оторваться отъ прежнихъ,—не на столько были сильны, чтобы логически провести свой новый принципъ по всей системѣ своихъ убѣжденій,—это были люди того характера убѣжденій, который нынѣ принято въ критикѣ называть «умѣреннымъ образомъ мыслей». Они могутъ быть очень благородны, очень благоразумны,—но не имъ увлекать вслѣдъ за собою большинство; они могутъ быть очень почтенны, но они вовсе не эффектны, если можно такъ выразиться.

Ихъ учитель былъ не таковъ. Онъ говорилъ то, что глубоко обдумалъ и сильно прочувствовалъ,—его убѣжденія имѣли уже логическую стройность и полноту,—онъ уже не могъ дѣлать уступокъ явленіямъ, которыя не оправдывались его принципомъ,—онъ обсудилъ и безвозвратно осудилъ всѣ устарѣлыя понятія,—словомъ ска-

затѣ, онъ былъ то, что теперь называется человѣкъ неумолимой логики, человѣкъ убѣжденій.

Бываютъ эпохи въ литературѣ, когда нужны обществу люди умѣренныхъ мнѣній, люди примиренія; люди уступокъ,—они бываютъ очень полезны въ концѣ борьбы, когда нужно дать пощаду признавшимся въ своемъ безсиліи побѣжденнымъ. Но—начало борьбы, какова была во время Лессинга, имѣетъ другія условія,—тутъ нужна была энергія. Когда вводился въ жизнь новый принципъ, правъ котораго еще не хотѣли признавать, онъ долженъ былъ со всею силою предъявлять всѣ свои права, долженъ былъ не колеблясь обнаруживать всѣ слабыя стороны явленій, неудовлетворительность которыхъ дѣлала появленіе этого новаго принципа историческою необходимостью.

Мы не будемъ здѣсь излагать содержанія лессингова журнала, —это мы сдѣлаемъ въ особенной главѣ, а теперь скажемъ только нѣсколько словъ объ его общемъ дѣйствіи, о тѣхъ чертахъ, которыми, со времени «Литературныхъ писемъ», рѣзко запечатлѣлась вся жизнь нѣмецкой націи.

Мы видѣли, какую репутацію имѣлъ Лессингъ и за что онъ имѣлъ ее. Человѣкъ энергическаго ума и смѣлаго характера, онъ ненавидѣлъ то, что называется «половинчатостью» (Halbheit); чего онъ хотѣлъ, того хотѣлъ не шутя, что говорилъ, то говорилъ исполнѣ, до конца,—если онъ не видѣлъ возможности или не находилъ надобности выражать свою мысль во всей ея силѣ, онъ лучше вовсе не выражалъ ее. Поэтому, первое впечатлѣніе, произведенное «Литературными письмами», было впечатлѣніе страшной рѣзкости сужденій. Видя необходимость для нѣмецкой литературы въ совершенномъ разрывѣ съ прежними вздорными формалистическими стремленьями, онъ безъ всякихъ церемоній и безъ малѣйшихъ уступокъ доказывалъ, что всѣ произведенія, нравившіяся до той поры публикѣ и превозносимыя рецензентами, никуда не годятся, а самыя великія литературныя знаменитости—или люди безталаннныя, или погубившіе свой талантъ (послѣднее говоритъ онъ о Клопштокѣ, первое—о всѣхъ остальныхъ знаменитостяхъ), что всѣ прежнія литературныя понятія—чистый вздоръ. Никакихъ уступокъ не дѣлалъ онъ заблужденію, и безусловно отрицалъ всякое достоинство въ явленіяхъ, важнаго значенія которыхъ не смѣли отвергать даже люди, принадлежавшіе къ его школѣ. Въ этомъ со-

стоитъ очевиднѣйшее отличіе «Литературныхъ писемъ» отъ «Библиотеки изящныхъ искусствъ». Примѣромъ его пусть служитъ знаменитая фраза о Готтшедѣ, какъ драматургѣ: «Никто не будетъ отрицать,—говорила «Библиотека,—что нѣмецкій театръ въ значительной степени обязанъ своимъ первымъ усовершенствованіемъ г. профессору Готтшеду».—«Я этотъ никто,—говорилъ Лессингъ, цитируя слова эти въ XVII-мъ письмѣ—я совершенно отрицаю это».

Рѣзкость сужденій была первымъ условіемъ сильнаго вліянія «Литературныхъ писемъ» на публику и писателей. Нѣмецкая мысль была тогда одержима такою вялою дремотою, что только самые сильные толчки могли пробудить ее. Въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ другихъ, Лессингъ былъ именно человекъ, въ какомъ нуждалось то время. Только безпощадная диалектика, не оставлявшая ни одного уступчиваго слова для успокоенія, могла заставить публику и писателей признаться въ томъ, что литературныя дѣла ихъ дѣйствительно въ плохомъ состояніи и пробудить въ нихъ потребность исправленія безжалостно раскрытыхъ недостатковъ.

Теперь, мысли, возбуждавшія изумленіе, когда явились въ «Литературныхъ письмахъ», стали общими мѣстами, сужденія о писателяхъ и ихъ произведеніяхъ, возбуждавшія негодованіе, смѣшанное съ удивленіемъ, когда являлись въ «Литературныхъ письмахъ», повторяются въ каждомъ учебникѣ,—стало быть, энергія выводовъ и выраженія не заводила Лессинга въ несправедливую односторонность; но не въ томъ только дѣло, что онъ былъ правъ, осуждая Клопштока и Крамера, Готтшеда и Бодмера: не много бы выиграли нѣмцы, если бы научились изъ «Литературныхъ писемъ» только вѣрному взгляду на факты, обсуждавшіеся въ этомъ журналѣ—факты были вообще не слишкомъ важны, и, по правдѣ сказать, не стоило бы труда вовсе и говорить о нихъ, еслибъ нѣмцы были приготовлены къ тому, чтобъ слушать и понимать сужденія о чемъ нибудь важнѣйшемъ, нежели произведенія Готтшеда съ его союзниками и противниками. Важно было не столько приобрѣтеніе нѣмецкимъ обществомъ сужденій о литературныхъ явленіяхъ, сколько то, что вмѣстѣ съ содержаніемъ сужденій перешелъ въ нѣмецкую мысль ихъ духъ,—духъ строгой, неостанавливающейся ни передъ какими выводами логики, не признающей за заблужденіемъ права на уступки, ищущей только чистой истины, какова бы ни была отъ того судьба нашихъ личныхъ предубѣжденій и поползновеній.

Нелѣпо было бы намъ, людямъ постороннимъ, быть безусловными поклонниками нѣмцевъ и ставить ихъ поэтовъ и мыслителей идеалами, передъ которыми ничтожны, напримѣръ, поэты и мыслители англійскіе и французскіе,—сами нѣмцы не впадаютъ въ такую ошибку, тѣмъ нелѣпѣе была бы она у насъ. Но безпристрастные люди всѣхъ націй согласны въ томъ, что если, вообще говоря, французскіе или англійскіе писатели имѣютъ во многихъ отношеніяхъ превосходство надъ нѣмцами *), то, по смѣлости взгляда и логичности выводовъ, нѣмцы стоятъ далеко выше ихъ. Французы съ парадоксальнымъ экстазомъ провозглашаютъ, сами изумляясь своей смѣлости, такія мысли, наивность которыхъ кажется прѣсною для нѣмца; англичане пресерьезно доказываютъ справедливость понятій, нелѣпость которыхъ очевидна для нѣмца съ перваго взгляда,—кромѣ того, они слишкомъ плохіе діалектики сравнительно съ нѣмцами. Широта и безпристрастіе взгляда чаще встрѣчаются у нѣмца, нежели у кого нибудь. Несправедливо было бы считать это достоинство особеннымъ качествомъ нѣмецкой національности — логическая сила есть общее достояніе человѣческаго ума; но то несомнѣнно, что вслѣдствіе привычки къ глубокому и безпристрастному мышленію, это драгоценное качество сильнѣе развито въ настоящее время въ нѣмецкой, нежели въ какой бы то ни было другой націи. Нельзя приписывать, конечно, развитіе этой привычки исключительно или преимущественно вліянію одного какого нибудь чловѣка,—оно было слѣдствіемъ общаго состоянія Германіи въ половинѣ прошлаго вѣка и свойства тѣхъ вопросовъ, на которыя первоначально устремились умственные силы нѣмецкаго народа. Съ одной стороны, факты его жизни были такъ незавидны, что не могли породить особеннаго пристрастія къ себѣ: у нѣмцевъ не было ни блестящей національной исторіи, ни блестящихъ періодовъ литературы, какъ у французовъ и англичанъ, ни причинъ гордиться устройствомъ своего внутренняго быта, какъ у англичанъ, или умственнымъ владычествомъ надъ Европою, какъ у французовъ. Они не имѣли поводовъ быть пристрастными — не къ чему было пристраститься; не имѣли поводовъ быть робкими въ выводахъ

*) Мы, конечно, говоримъ вообще о характерѣ литературъ, а не о немногихъ писателяхъ, составляющихъ рѣдкія исключенія, Гизо, напримѣръ, въ своей «Исторіи цивилизаціи» французъ только по изложенію, а по духу—нѣмецъ; Гейне—чистый французъ; Мальтусъ—нѣмецъ по неуклонной логичности выводовъ.

изъ опасенія коснуться отрицаніемъ чего нибудь драгоцѣннаго,—имъ было нѣчего беречь и щадить. Съ другой стороны, первоначальною школою, въ которой воспитывалась ихъ мысль, было обсужденіе вопросовъ, болѣе или менѣе отвлеченныхъ,—литературы, науки,—въ этихъ сферахъ, привыкнуть къ смѣлости и безпристрастію выводовъ легче нежели въ сферахъ бытовыхъ и общественныхъ вопросовъ, гдѣ отъ положительнаго или отрицательнаго рѣшенія непосредственно зависитъ все матеріальное и общественное положеніе человѣка. И самая натура вопросовъ, къ которымъ первоначально обратилась пробуждавшаяся нѣмецкая мысль, и обстоятельства, въ которыхъ пробудилась она, развивали въ ней склонность и потомъ привычку къ логичности выводовъ и широтѣ взгляда. Но того нельзя отрицать, что на сколько отдѣльный фактъ можетъ имѣть вліяніе на развитіе въ обществѣ извѣстныхъ стремленій, на столько «Литературныя письма» содѣйствовали образованію въ нѣмецкой мысли того драгоцѣннаго качества, о которомъ говорили мы. Эти письма были первымъ и чрезвычайно блестящимъ указаніемъ пути, по которому пошла нѣмецкая мысль. Дѣйствіе, произведенное ими было очень сильно: всѣ могли учиться изъ этого примѣра, всѣ почувствовали желаніе идти по дорогѣ, въ первый разъ проложенной Лессингомъ.

По своей натурѣ, чрезвычайно живой и пылкой, Лессингъ вообще былъ расположенъ работать именно только надъ тѣмъ, что не могло быть совершено другими; въ немъ жило инстинктивное влеченіе гениальныхъ людей устремлять свои силы только на существеннѣйшую часть дѣла, предоставляя другимъ второстепеннымъ людямъ то, что уже по силамъ для нихъ—именно, разработку поставленной руководителемъ задачи и пользованіе доставленными имъ къ тому средствами; кромѣ того, онъ, какъ мы видѣли, имѣлъ ту особенность, что не любилъ держать въ зависимости отъ себя волю и умъ другихъ,—ему было противно завидное для столь многихъ положеніе главы школы, окруженнаго послѣдователями,—главною его задачею было возбужденіе самостоятельной дѣятельности въ другихъ, какъ скоро истинный путь былъ указанъ, дѣятельность возбуждена, онъ чувствовалъ свое дѣло совершеннымъ, ему скучно и противно было участвовать въ немъ долѣе, стѣсняя своимъ превосходствомъ развитіе другихъ,—онъ чувствовалъ уже влеченіе обратиться къ рѣшенію другихъ задачъ, еще не тронутыхъ.

Именно такой характеръ и былъ тогда нуженъ для возрожденія нѣмецкой мысли въ мыслителей, который былъ бы предводителемъ новаго движенія. Характеръ Лессинга, какъ человѣка, соотвѣтствовалъ потребности Германіи въ такомъ писателѣ, который возбуждалъ бы къ дѣятельности, не отнимая работы у пробужденныхъ умовъ своимъ неотступнымъ участіемъ, который научалъ бы, не подчиняя. Ему скучно было долго оставаться на одномъ мѣстѣ или въ одинаковыхъ отношеніяхъ, — ему нужна была перемѣна обстановки, разнообразіе занятій.

Участіе его въ «Литературныхъ письмахъ» было очень непродолжительно, — оно длилось не болѣе того, сколько нужно было чтобы возбудить напряженное вниманіе общества къ новому критическому направленію и образовать его дѣятелей, поставить, такъ сказать, на ноги людей, которые могли бы идти по указанному направленію. «Литературныя письма» начались съ началомъ 1759 года, они выходили маленькими еженедѣльными тетрадками, — первыя восемь тетрадокъ были написаны почти исключительно Лессингомъ (изъ девятнадцати «Писемъ», которыя составляютъ ихъ, только одно шестое написано не Лессингомъ, — всѣ остальные восемнадцать и общее введеніе принадлежатъ ему), — потомъ онъ писалъ много, — около третьей доли всѣхъ статей, — до конца октября 1759 года, — потомъ его статьи стали являться уже очень рѣдко, почти случайно, — потомъ и вовсе прекратилось его участіе, и онъ только пишетъ наконецъ заключительное (332-е) письмо, которымъ въ 1764 году оканчивается изданіе журнала, для котораго онъ въ первые два мѣсяца работалъ одинъ, потомъ нѣсколько болѣе полугода былъ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ участниковъ, но послѣ, втеченіе четырехъ съ половиною лѣтъ, уже не считалъ нужнымъ принимать участіе, когда новое, начатое имъ направленіе, получило уже возможность продолжаться безъ его помощи.

Внѣшнюю причину прекращенія постоянной работы Лессинга для «Литературныхъ писемъ» было то, что онъ, проживъ около двухъ лѣтъ въ Берлинѣ, уѣхалъ изъ этого города, — отчасти соскучившись жить въ немъ, отчасти наскучивъ добывать себѣ пропитаніе литературною работою и подумавъ о томъ, чтобы обезпечить нѣсколько свое существованіе, отчасти наконецъ и то, что ему стало скучно общество берлинскихъ друзей.

Вообще, Лессингъ не встрѣчалъ въ жизни такихъ людей, дружба

которыхъ долго сохраняла бы силу надъ его душевными стремленіями. Онъ былъ слишкомъ многимъ выше самыхъ лучшихъ изъ тѣхъ, съ которыми сводило его взаимное расположеніе и уваженіе. Слишкомъ короткія сношенія съ кѣмъ бы то ни было скоро становились для него отчасти скучными, отчасти стѣснительными, и онъ чувствовалъ потребность измѣнить свою обстановку, чтобы дружескія отношенія не разорвались его утомленіемъ. Эту черту мы замѣчаемъ во многихъ гениальныхъ людяхъ, — можно сказать, во всѣхъ тѣхъ изъ числа ихъ, которые не были подвержены пороку мелкой суетности, находящей удовольствіе въ порабоженіи себѣ кружка поклонниковъ, который воскурялъ бы имъ ємїамъ. Это надобно отличить отъ холодности или эгоизма. Почти каждый испытывалъ нѣчто подобное, когда случалось ему жить въ постоянномъ общеніи съ людьми, стоявшими по уму и развитію ниже его, — какъ бы сильно ни любилъ онъ этихъ людей, общество ихъ мало по малу становилось для него скучно, и онъ, сохраняя готовность дѣлать для нихъ все возможное, начиналъ думать, что свиданія съ ними были бы пріятнѣе, если бы сдѣлались рѣже. Чувство, испытываемое случайно, временно многими изъ насъ, почти постоянно испытывается гениальными людьми. Надолго могутъ быть пріятны постоянныя, ежедневныя бесѣды только между людьми равными, между собою. А такихъ людей почти не приходится встрѣчать чловѣку, который самъ составляетъ рѣдкое исключеніе. Отсюда наклонность къ уединенію, овладѣвающая тѣми изъ людей гениальныхъ, которые могутъ довольствоваться уединеніемъ.

Лессингъ былъ не таковъ. Онъ не могъ жить безъ людей, однако же, всякій кружокъ скоро утомлялъ его, — отсюда у него происходило стремленіе къ перемѣнѣ кружковъ, — и самымъ легкимъ средствомъ къ достиженію этого были переѣзды съ одного мѣста на другое. Ни къ одному изъ своихъ друзей не охладѣвалъ онъ, но нигдѣ не могъ ужиться долго, и тѣмъ задушевнѣе были возвращенія его на нѣкоторое время въ тотъ или другой кружокъ, послѣ двухъ-трехъ лѣтъ отсутствія, въ продолженіе котораго также поддерживались самыя дружескія отношенія перепискою. Одинъ только другъ не наскучилъ ему во всю жизнь, — правда и то, что этотъ единственный незамѣнимый другъ была женщина, мадамъ Кенигъ, сдѣлавшаяся его женою, когда, послѣ пяти-лѣтнихъ мучительныхъ хлопотъ объ обезпеченіи своего положенія для семейной жизни,

онъ увидѣлъ наконецъ возможность ввести въ свой домъ ту, которая уже пять лѣтъ была его невѣстою. Тогда Лессингъ поселился въ Вольфенбюттелѣ,—а теперь, ему не для кого еще было слишкомъ долго оставаться въ Берлинѣ. Тѣмъ съ большою радостью покинулъ онъ Берлинъ, что жилъ тамъ единственно литературною работою, а этотъ способъ добывать хлѣбъ тяжело казался Лессингу; да и дѣйствительно былъ тогда самымъ скуднымъ обезпеченіемъ. Случайно представилась ему возможность занять мѣсто секретаря при генералѣ Тауэнцинѣ, бреславскомъ губернаторѣ, съ тѣмъ вмѣстѣ завѣдывавшемъ чеканкою монеты. Генералъ былъ любимецъ Фридриха, преданный всею душою своему государю и полководцу. Лессингъ давно уже хлопоталъ, чтобы найти себѣ какое нибудь мѣсто. Онъ хотѣлъ принять даже должность квартирмейстера при одномъ изъ прежнихъ полковъ,—мало того, носились слухи, что онъ готовъ даже поступить офицеромъ въ одинъ изъ милиціонныхъ батальоновъ. Тѣмъ съ большою радостью принялъ онъ мѣсто секретаря при Тауэнцинѣ,—мѣсто съ хорошимъ жалованьемъ, простиравшимся чуть ли не до тысячи талеровъ,—мѣсто обѣщавшее самую разнообразную и живую обстановку, потому что Бреславль былъ однимъ изъ главныхъ центровъ военного управленія и въ то время,—время Семилѣтней войны,—кипѣлъ жизнью;—быть можетъ, Лессингъ рассчитывалъ и на лагерную жизнь, которую дѣйствительно пришлось ему испытать черезъ нѣсколько времени, когда Тауэнцинъ велъ осаду крѣпости Швейдница.

По обыкновенію, Лессингъ ни съ кѣмъ не совѣтовался въ этомъ случаѣ; по обыкновенію, даже не предупредилъ друзей о своемъ отъѣздѣ, и внезапно исчезъ изъ Берлина, какъ прежде исчезалъ изъ Лейпцига, изъ Виттенберга и т. д.,—Николай съ Мендельсономъ только могли покачать головою при этомъ сюрпризѣ, какъ прежде качалъ головою Вейссе, неожиданно нашедши опустѣвшей квартиру своего друга.

Ускакавъ изъ Берлина въ концѣ 1760 года, Лессингъ былъ сначала въ восторгѣ отъ перемѣны своего положенія. Но скоро восторгъ прошелъ. Сухія должностныя обязанности отнимали слишкомъ много времени у новаго секретаря,—онъ думалъ, что эта механическая работа будетъ служить ему отдыхомъ отъ его ученыхъ и поэтическихъ трудовъ,—но онъ тосковалъ о томъ времени, когда могъ располагать всѣми часами дня по своему произволу. Служб-

ныя свои обязанности онъ исполнялъ, какъ надобно думать, очень внимательно, потому что оставался на этомъ мѣстѣ болѣе четырехъ лѣтъ, и Тауэнцинъ просилъ его остаться, когда онъ рѣшился возвратиться въ Берлинъ,—но онѣ были скучны для него. Въ материальномъ отношеніи, служба при Тауэнцинѣ была самымъ лучшимъ періодомъ въ жизни Лессинга. Получая значительное (сравнительно съ своими привычками) жалованье, онъ былъ далекъ отъ нужды, напротивъ, имѣлъ даже избытокъ, который употребилъ на составленіе прекрасной библіотеки. Не менѣе пріятны были и его отношенія къ бреславскому обществу. Не стѣсненный денежными недостатками, онъ могъ имѣть всѣ развлеченія, и, какъ слѣдовало ожидать отъ его характера, пользовался ими вполне. Почти каждый вечеръ, окруженный толпою пріятелей, онъ бывалъ въ театрѣ,—потомъ вечеръ заканчивался дружескими ужинами у самого Лессинга или у кого нибудь изъ его пріятелей. Но интереснѣе ужина и даже веселыхъ или ученыхъ бесѣдъ, было для Лессинга другое препровожденіе времени, къ которому онъ пристрастился въ Бреславлѣ,—это карты. Лессингъ велъ большую игру,—въ результатѣ, онъ не проигрался и не разбогатѣлъ, но выигрыши и проигрыши его часто бывали очень значительны. Любовь къ картамъ онъ сохранилъ до конца жизни, хотя впоследствии игралъ уже не такъ часто, и будучи менѣе обезпеченъ, долженъ былъ вести игру осторожнѣе и умѣреннѣе. Въ Бреславлѣ же, онъ скоро прослылъ однимъ изъ самыхъ отважныхъ и страстныхъ игроковъ. Старые берлинскіе друзья, да и изъ бреславскихъ тѣ, которые были близки къ нему, сильно упрекали его за эту страсть, — но Лессингъ шутливо отвѣчалъ имъ цѣлыми длинными рѣчами, въ которыхъ доказывалъ тысячами самыхъ основательныхъ доводовъ, что азартная игра—занятіе не только привлекательное, но истинно полезное для души и тѣла. Для примѣра, вотъ одно изъ этихъ доказательствъ. По словамъ Лессинга карты—превосходное гигиеническое средство. Этимъ онъ опровергалъ извѣстное замѣчаніе, что неговоря о раззорительности для кармана, надобно удерживаться отъ большой игры уже и потому, что ея волненія разрушительны для организма. «Напротивъ, говорилъ онъ:—я играю именно для здоровья. Волненіе оживляетъ мой организмъ; оно возвышаетъ энергію всѣхъ фізіологическихъ отправленій, разгоняетъ всѣ накопляющіеся дурныя соки, и т. д. Вы говорите съ ужасомъ о потѣ, который вы-

ступаетъ у меня на лбу при большихъ ставкахъ—именно этотъ потъ и есть прекрасное лекарство. Вспотѣвъ хорошенько, человѣкъ исцѣляется отъ всякихъ болѣзней». На подобныя выдумки въ защиту своего любимаго развлечения онъ былъ неистощимъ.

Не однимъ тѣмъ, что онъ пристрастился къ игрѣ, были недовольны его старыя друзья—они упрекали его въ томъ, что онъ для картъ и должностныхъ бумагъ бросилъ литературу. Въ самомъ дѣлѣ, во весь періодъ своей бреславской жизни, Лессингъ ничего не напечаталъ; цѣлая пять лѣтъ нѣмецкая публика не читала ни одной новой строки, имъ написанной. Это въ самомъ дѣлѣ казалось непростительнымъ погребеніемъ таланта въ землю. Словеснымъ и письменнымъ укоризнамъ не было конца. Выведенный изъ терпѣнія, Мендельсонъ (съ которымъ онъ былъ ближе, нежели съ кѣмънибудь) не удовольствовался даже и этими способами обличенія. Издавна въ 1763 году собраніе своихъ «Философскихъ сочиненій», онъ при нѣсколькихъ экземплярахъ этой книги, — изъ которыхъ одинъ былъ посланъ къ Лессингу, а другіе розданы общимъ ихъ друзьямъ,—припечаталъ слѣдующее полусутильное, полусерьезное

ПОСВЯЩЕНІЕ СТРАННОМУ ЧЕЛОВѢКУ.

«Писатели, поклоняющіеся публикѣ, жалуются на глухоту этой богини: она требуетъ, чтобы ее читали и умоляли, говорятъ они, отъ утра до полудня они зываютъ къ ней—и нѣтъ ни гласа ни отвѣта на всѣ мольбы. Я приношу мою книгу къ стопамъ идола, имѣющаго упрямство быть столь же глухимъ къ мольбѣ. Я зывалъ къ нему, и онъ не отвѣчаетъ. Теперь обвиняю его передъ глухимъ судьей, публикою,—судьей, очень часто изрекающимъ справедливые приговоры, ничего не слыша.

«Насмѣшники говорятъ: Взывай громогласно! онъ пишетъ драмы, онъ занятъ дѣлами, онъ уѣхалъ въ путь или быть можетъ онъ спитъ, да пробудится онъ!—О, нѣтъ! писать драмы онъ можетъ, но—увъ! не хочетъ; пуститься въ путешествіе онъ захотѣлъ бы, но не можетъ; спать?—для этого слишкомъ бодръ его духъ; заниматься дѣломъ?—для этого онъ слишкомъ лѣнивъ. Нѣкогда серьезная рѣчь его была оракуломъ для мудрецовъ, насмѣшка его—бичомъ для глупцовъ; но теперь замолкъ оракулъ и безнаказанно буйствуютъ глупцы. Онъ передалъ свой бичъ другимъ, но они бьютъ слишкомъ слабо, потому что боятся видѣть кровь;—а онъ—

если онъ не слышитъ и не говоритъ, не чувствуетъ и не видитъ—
чтожь онъ дѣлаетъ?—играетъ!

„Wenn er nicht hört, noch spricht, nicht fühlt,
Noch sieht, was thut er denn?—Er spielt.“

Но не трогался Лессингъ никакими упреками,—онъ дѣйстви-
тельно былъ глухъ и нѣмъ,—ничего не печаталъ и игралъ въ кар-
ты. Сколько ужъ лѣтъ, работая какъ почтовая лошадь, онъ мечталъ
о такомъ положеніи, въ которомъ не былъ бы принужденъ писать
и писать, чтобы не умереть съ голоду! Принужденная литератур-
ная работа тяжелѣе и прискорбнѣе всякой другой принужденной
работы, — отдыхъ послѣ нея кажется отраднѣе всякаго другаго.
Лессингъ наслаждался имъ. Но не пропали для него, какъ писа-
теля, эти годы, въ которые, какъ казалось постороннему зрителю,
онъ покидалъ свой секретарскій столъ только для того, чтобы пе-
рейти къ карточному столу, изъ-за официального обѣда у своего
начальника вставалъ только за тѣмъ, чтобы ѣхать въ театръ или
на вечеръ (кстати, надобно замѣтить, что Лессингъ былъ отлич-
ный танцоръ) и потомъ сѣсть за шумный ужинъ,—не бесполезно
прошли эти годы. Онъ находилъ время для ученыхъ занятій, очень
разнообразныхъ и серьезныхъ,—въ этомъ отношеніи онъ сдѣлалъ
для себя теперь больше, нежели когда нибудь. Онъ читалъ, по обык-
новенію, страшно много, и постоянно переходилъ отъ одной отра-
сли науки къ другой, отъ одного ученаго изысканія къ другому.
Богословіе, философія, эстетика, исторія, законовѣдѣніе, естествен-
ныя науки по очередно были изучаемы имъ вновь. Не пропали и ча-
сы, проведенныя въ обществѣ—напротивъ, они были для него какъ
литератора, полезнѣе, нежели вся его прежняя жизнь. Обыкновенно,
литературная или ученая карьера какъ то мало-по-малу отдаляетъ
человѣка отъ непосредственной жизни въ такъ называемыхъ про-
заическихъ, общественныхъ отношеніяхъ, а между тѣмъ эти отно-
шенія составляютъ основной элементъ жизни, ту почву, на кото-
рой развивается вся умственная, нравственная, эстетическая и т. п.
и т. п. жизнь,—почву, безъ непосредственнаго изученія которой
всѣ такъ называемыя высшія направленія и стремленія будутъ
представляться въ фальшивомъ свѣтѣ. Писатель или ученый, если
онъ принадлежитъ только цеху своего спеціальнаго занятія, мало-
по-малу пріучается смотрѣть на жизнь съ своей цеховой точки

зрѣнія; а смотрѣть на міръ съ цеховой точки вредно для мысли, какому бы цеху ни принадлежала эта точка,—высокому или низкому, пошлomu или идеальному. Поэтъ, разсматривающій людей въ артистическомъ отношеніи, не менѣе одностороненъ, и, по правдѣ говоря, не менѣе пошлъ, нежели сапожникъ, разсматривающій ихъ въ отношеніи къ сапожному производству. Потому великое счастье для литератора, если онъ испыталъ жизнь не только какъ литераторъ, а также какъ человѣкъ многоразличныхъ положеній, въ которыхъ ставить человѣка прозаическая карьера, — тогда легче ему оторваться отъ односторонности, понять жизнь во всей ея правдѣ. На послѣдующихъ драмахъ Лессинга отразилось то, что онъ долго имѣлъ сношенія съ людьми не какъ литераторъ, а какъ секретарь, черезъ руки котораго проходили и военныя, и гражданскія, и финансовыя дѣла.

Всѣми критиками это замѣчено на драмѣ, докончивъ которую, онъ оставилъ мѣсто при Тауэнцинѣ, — знаменитой «Миннѣ фонъ-Баригельмъ».

Изъ того, что Лессингъ ничего не печаталъ, пока жилъ въ Бреславлѣ, напрасно заключали его недовѣрчивые друзья, что онъ бросилъ литературный трудъ. Напротивъ, лишь только отдохнувъ онъ отъ истощающей нравственной и физической силы срочной работы, какъ съ новымъ жаромъ и гораздо большею сосредоточенностью, нежели когда нибудь, принялся за литературу. Отдыхъ отъ срочной и мелкой работы послужилъ ему для созданія капитальныхъ произведеній, изъ которыхъ однимъ положилъ онъ начало истинно національной поэтической литературѣ въ Германіи, другимъ основалъ новую теорію искусства, принципы которой остались навсегда непреложными. Въ Бреславлѣ написалъ онъ драму «Минна фонъ-Баригельмъ» и изслѣдованіе о характеристическихъ отличіяхъ поэзіи отъ другихъ искусствъ, «Лаокоонъ».

Въ пять лѣтъ ему страшно наскучили оффиціальныя обязанности, тоска по литературной жизни развивалась все сильнѣе и сильнѣе. Онъ долго оставался на мѣстѣ, которымъ скучалъ, — это потому, что ему хотѣлось возстановить отдыхомъ свое здоровье и сбереженіями изъ жалованья нѣсколько обезпечить себѣ на первое время средства къ жизни. Наконецъ, эти цѣли были достигнуты, — здоровье поправилось; денегъ онъ сберегъ, правда, немного, — всего нѣсколько сотъ талеровъ, — но онъ видѣлъ, что при своей безза-

ботности о деньгахъ, больше онъ не соберетъ. Оставаться долге въ Бреславлѣ было не зачѣмъ, и онъ рѣшился покинуть мѣсто секретаря. Въ матеріальномъ отношеніи, промѣнъ службы на литературу былъ не выгоденъ,—это зналъ онъ самъ, это говорили ему и родные, уже надѣявшіеся было, что онъ навсегда останется на служебной дорогѣ, обѣщавшей много выгодъ, и сожалѣвшіе теперь, что онъ разрушалъ ихъ мечты о его будущемъ высокомъ рангѣ, богатствѣ и т. д.,—но ему стало несносно долге тратить часть времени на сухія официальные обязанности, ему до крайности опротивѣло быть въ официальной зависимости. «Большую половину своей жизни я прожилъ,—писалъ онъ отцу, какъ бы предчувствуя, что не доживетъ до старости (тогда ему было 34 года)—и не знаю, зачѣмъ было бы мнѣ отравлять зависимостью меньшую остающуюся мнѣ половину ея. Пишу (и долженъ писать) вамъ это, батюшка, чтобы вамъ не показалось странно, когда я вдругъ (и это будетъ скоро) откажусь отъ всякихъ надеждъ и притязаній на такъ называемое прочное счастье. Теперь я тверже, чѣмъ когда нибудь, рѣшился не принимать никакого должностнаго мѣста, если оно не будетъ совершенно по моему вкусу». Въ самомъ дѣлѣ, видно, что очень надобно ему официальные обязанности: ему предлагали каеэдру словесности въ Кёнигсбергскомъ университетѣ, но онъ отказался и явился въ Берлинъ (въ маѣ 1765) снова литературнымъ бобылемъ.

Именно, бобылемъ, потому что, когда онъ обзавелся хозяйствомъ, онъ увидѣлъ, что изъ небольшой суммы, сбереженной въ Бреславлѣ, не остается у него ровно ничего. Часть денегъ, — болѣе, нежели могъ,—онъ, по обыкновенію, отдалъ роднымъ, которыхъ постоянно поддерживалъ, не смотря на собственную нужду,—обзаведеніе хозяйствомъ обошлось дороже, нежели онъ рассчитывалъ,—провозъ библиотеки стоилъ дорого,—помогъ истощенію его кошелька и непредвидѣнный случай: слуга, съ которымъ обращался онъ чрезвычайно ласково и гуманно, «скорѣе, какъ съ братомъ, нежели какъ съ слугою»,—и котораго онъ отправилъ раньше себя въ Берлинъ съ платьемъ и вещами, по пріѣздѣ въ Берлинъ вздумалъ дѣйствительно разыграть роль безцеремоннаго брата: одѣлся въ платье Лессинга, нанялъ квартиру «для себя и своего брата», въ качествѣ брата воспользовался кредитомъ, который имѣлъ Лессингъ, набралъ себѣ денегъ на его имя, потомъ удалился изъ Берлина съ платьемъ,

вещами и деньгами. Такимъ образомъ, пришлось Лессингу не только дѣлать себѣ платѣе (въ чемъ онъ думалъ долго не имѣть нужды) но и платить долги. Огорчился и разсердился онъ, нашедши въ Берлинѣ такой сюрпризъ, — особенно потому, что теперь долженъ былъ приостановиться на нѣкоторое время исполненіемъ разныхъ обѣщаній сестрѣ, которой хотѣлъ послать подарки, и брату, которому хотѣлъ дать денегъ—но лишь только прошла первая вспышка досады, врожденное добродушіе взяло верхъ и онъ не хотѣлъ даже подать жалобы на вора. И когда ему сказали, что бреславльскій его слуга купилъ въ какомъ-то городкѣ домикъ и открылъ кофейную, онъ замѣтилъ только: «А, ну такъ значитъ, мои деньги пошли ему въ прокъ».

Много было ему хлопотъ и нужды,—пришлось отказаться и отъ обольстительнаго проекта посѣтить Италію, и особенно Грецію, чего ему очень хотѣлось, — пришлось отказаться и отъ мечты не торопиться срочною литературною работою для денегъ, а работать только надъ капитальными произведеніями.

Онъ хотѣлъ было ограничиться одною, двумя любимыми отраслями знанія (говорить его братъ, котораго онъ взялъ къ себѣ, переехавъ въ Берлинъ). Этого неудалось, тяжело ему было безвыходно сидѣть за письменнымъ столомъ въ душномъ кабинетномъ воздухѣ,—что ему представлялось такою пріятною перспективою въ Бреславлѣ. Тяжело было и работать, не такъ какъ хотѣлось, а по требованію оригинала въ типографію. Вотъ онъ погрузился въ работу—кругъ его мысли расширяется, надобно сдѣлать новыя изслѣдованія, внести въ сочиненіе новыя взгляды—какое открытіе! какъ проясняется предметъ! Вопросъ представляется въ новомъ свѣтѣ!—Но стучится въ дверь разсылный изъ типографіи, и требуетъ продолженія рукописи, которая печатается. — Листы для отсылки въ типографію были готовы, надобно было только просмотрѣть ихъ,—по этому онъ всталъ рано, и сѣлъ просматривать поскорѣе, — но ему пришли новыя мысли, — онъ сталъ писать, рукопись осталась не просмотрѣнна,—«зайди черезъ два, три часа, будетъ готово» — «ахъ, какъ развлеклись мысли, трудно съ вниманіемъ просматривать прежнюю рукопись»,—но онъ не встанетъ съ мѣста, пока не приготовитъ для типографіи,—приходитъ разсылный въ назначенное время,—та же исторія, тоже мученье.

«Онъ ходилъ по комнатѣ, садился за столъ, вставалъ, бросался

на кровать,—опять садился.—«Нѣтъ лучше все, что угодно, чѣмъ прочитывать къ типографскому сроку свою работу! Братъ!—говорилъ онъ:—быть писателемъ отвратительнѣйшее, пошлѣйшее дѣло! Мой примѣръ тебѣ урокъ!»

Но такъ или иначе, печатать было нужно, чтобы не быть безъ гроша денегъ,—и эта необходимость заставила его неутомимѣе трудиться надъ окончательною обработкою «Минны фонъ-Барнгельмъ» и «Лаокоона».

Имя Лессинга, какъ драматурга, было уже прославлено драмою «Миссъ Сара Сампсонъ», которая явилась въ 1755. Мы не будемъ рассказывать здѣсь содержаніе пьесы,—это мы сдѣлаемъ послѣ; теперь довольно сказать нѣсколько словъ о ея значеніи въ искусствѣ. Извѣстенъ переворотъ, произведенный во французской драмѣ теорією Дидро о томъ, что драмѣ пора начать, вмѣсто героевъ и полководцевъ, изображать человѣка такого, какъ мы всѣ, въ такой обстановкѣ и такихъ коллизіяхъ, которыя знакомы всѣмъ намъ изъ собственнаго опыта, по собственной радости и скорби, а не изъ Тита-Ливія и Плутарха; извѣстно громадное дѣйствіе драмъ, на писанныхъ Дидро по этому принципу. Дидро опирался въ этомъ на англійскихъ драматурговъ,—Лессингъ, изучившій Дидро (котораго онъ переводилъ) и англійскую драму, проникся тою же теорією и «Миссъ Сара Сампсонъ» была слѣдствіемъ этого настроенія.

Въ теоріи, первенство остается безспорно за Дидро. Лессингъ самъ говоритъ, что учился у него; но оправдать на дѣлѣ теорію,—значить, вполне прояснить ее для себя, Лессингъ успѣлъ раньше, нежели самъ изобрѣтатель теоріи. Первая драма Дидро изъ быта среднихъ классовъ (*tragédie bourgeoise*, *drame bourgeoise*) явилась двумя годами послѣ «Сары Сампсонъ». Дидро написалъ разборъ ея въ «*Journal étranger*», и, конечно, восхищается блистательнымъ приложеніемъ своей теоріи къ дѣлу. Въ общей исторіи литературы, Дидро, предупредившій Лессинга въ одномъ отношеніи, былъ предупрежденъ имъ въ другомъ. Въ исторіи нѣмецкой литературы, «Сара Сампсонъ» занимаетъ такое же мѣсто и произвела такое же дѣйствіе, какъ драмы Дидро во французской. Тутъ въ первый разъ холодный блескъ и пустозвонное величіе внѣшности уступило мѣсто истинному патетизму, театральнѣйшій герой съ картоннымъ мечомъ — дѣйствительному человѣку. Дидро справедливо заключаетъ свою рецензію драмы Лессинга словами:

«Быть можетъ, искусству нужно еще усовершенствоваться въ Германіи; но германскій геній уже обратился къ природѣ,—это истинный путь, да идетъ онъ по этому пути».

Искусству дѣйствительно оставалось еще сдѣлать въ Германіи нѣсколько шаговъ, чтобы создавать истинно великое, — чрезъ всѣ эти ступени провелъ его Лессингъ послѣдующими своими драмами. Первое требованіе, которому надобно было удовлетворить послѣ того, какъ «Сарю Сампсонъ» введена была въ искусство натура, введенъ былъ человѣкъ и истинный пафосъ, — первое требованіе далѣе, было введеніе въ искусство національнаго и современнаго содержанія. Это было исполнено Лессингомъ въ драмѣ «Минна фонъ-Баригельмъ».

Мы уже говорили, что Лессингъ былъ первымъ сильнымъ представителемъ въ нѣмецкой литературѣ того плодотворнаго вліянія иноземной высшей цивилизаціи, когда народъ отъ слѣпнаго подражанія внѣшней формѣ переходитъ къ пониманію и воспріятію духа цивилизаціи. «Миссъ Сара Сампсонъ» была произведеніемъ этого періода. Теорія Дидро и практическій примѣръ, указанный англійскими драматургами, произвели эту пьесу. Мы видѣли уже, что Дидро узналъ въ ней плодъ своей мысли; еще болѣе очевидно въ ней вліяніе англійскихъ образцовъ, которое отразилось на самомъ сюжетѣ, выбранномъ для пьесы. Дѣйствующія лица въ ней—англичане; вся обстановка дѣйствія—англійская. Нѣмецъ видѣлъ въ ней человѣка, но еще не видѣлъ въ ней себя. У насъ нѣтъ оригинальнаго произведенія, съ которымъ можно было бы сравнить «Сару Сампсонъ» по отношеніямъ ея къ прежней подражательной формалистической и послѣдующей самобытной литературѣ съ національнымъ содержаніемъ,—наши русскія оригинальныя произведенія соответствующей степени историческаго развитія слишкомъ ничтожны.—Но, хотя посредствомъ другаго способа, въ другой отрасли поэзіи, въ гораздо тѣснѣйшей односторонности содержанія, сдѣлалъ для русской литературы нѣчто подобное Жуковский своими переводами и подражаніями. Онъ познакомилъ насъ въ поэзіи съ человѣческими (вообще человѣческими, не нашими, именно) чувствами, черезъ него мы узнали, что истинная поэзія не въ пышныхъ сюжетахъ и пустозвонной риторикѣ одъ, не въ изображеніи героевъ, которые

Ступать на горы—горы трещать,
Лягутъ на бездны—воды кипятъ,

которые берутъ приступомъ города и, не удовлетворяясь этимъ,

Вашни за облакъ рукою кидаютъ,—

а въ доступныхъ каждому изъ насъ, болѣе или менѣе знакомыхъ каждому изъ насъ чувствахъ дѣвушки, у которой убить милый («Ленора»), юноши, бросающагося на неизбежную почти смерть, чтобы получить руку любимой и любящей дѣвушки («Кубокъ»), въ ревности мужа, тоскливыхъ страданіяхъ жены, полюбившей другаго («Замокъ Смальгольмъ») — это еще не мы, какъ русскіе, но мы, какъ люди.

Видимость явленій, нами сближаемыхъ, совершенно различна: у Лессинга — драма, у Жуковского — лирическія стихотворенія; у Лессинга — оригинальное созданіе, у Жуковского переводы; у Жуковского во всемъ примѣсъ болѣзненнаго романтизма, у Лессинга — здоровое пониманіе свѣжей жизни, — сами по себѣ, сближенные нами явленія не имѣютъ ни малѣйшаго сходства; нелѣпо было бы находить и какое нибудь подобіе между ними по внутреннему достоинству. Но въ цѣпи развитія литературной мысли, но по дѣйствию на публику, дѣятельность Жуковского соотвѣтствуетъ до нѣкоторой степени тому, что сдѣлалъ для нѣмецкой литературы Лессингъ своею «Сарою Сампсонъ». Это соотвѣтствіе состоитъ въ томъ, что въ поэзію введенъ былъ человѣкъ, истинно человѣческій пафосъ, вѣсто подражательной формалистики и холоднаго блеска обстановки, — но еще не введено было національное содержаніе. Введеніе его должно было составить новый фазисъ литературнаго развитія.

Это сдѣлано для нѣмецкой литературы Лессингомъ въ слѣдующей драмѣ, «Минна фонъ-Барнгельмъ». Тутъ въ первый разъ увидели нѣмцы себя и свою жизнь предметомъ художественнаго воспроизведенія.

По принятому плану, мы расскажемъ содержаніе «Минны фонъ-Барнгельмъ» въ отдѣльномъ эскизѣ, а здѣсь довольно будетъ замѣтить, что сюжетъ пьесы таковъ: майоръ фонъ-Телльгеймъ, храбрый прусскій офицеръ, при уменьшеніи состава арміи послѣ Семилѣтней войны, уволенъ въ отставку. У него была невѣста, дѣвушка изъ богатой саксонской фамиліи (Минна фонъ-Барнгельмъ). Они любятъ другъ друга. Но оставшись безъ куска хлѣба и безъ значенія въ обществѣ, Телльгеймъ думаетъ, что безчестно было бы ему теперь

не освободить отъ всякихъ обстоятельствъ относительно его дѣвушку, которая дала ему слово при другихъ обязательствахъ. Между тѣмъ невѣста съ дядею своимъ прѣзжаетъ въ городъ, гдѣ живетъ онъ,—такъ было условлено прежде. Но женихъ рѣшился скрыться отъ невѣсты,—случайно встрѣчаетъ она его въ гостинницѣ, въ которой остановилась, — онъ говоритъ: «я теперь долженъ отказаться отъ васъ, я вамъ не партія»; дѣло кончается, конечно, свадьбою, вслѣдствіе различныхъ коллизій, которыхъ не нужно здѣсь рассказывать въ подробности,—читатели уже видятъ, что содержаніе пьесы взято цѣликомъ изъ нѣмецкой жизни и должно касаться живыхъ тогда современныхъ вопросовъ,—дѣйствительно, оно касается ихъ до такой степени, что въ Берлинѣ сначала запретили было представленіе пьесы, но тотчасъ одумались. Судьба многихъ храбрыхъ офицеровъ, оставшихся по окончаніи войны безъ куска хлѣба, подобно Телльгейму, возбуждала въ Пруссіи живое участіе (это было вскорѣ по заключеніи мира). Сюжеты пьесы заимствовать, по признанію самого Лессинга, изъ дѣйствительнаго случая, бывшаго въ Бреславлѣ. Лица и нравы въ пьесѣ—чисто нѣмецкіе. Наконецъ, читатели замѣтятъ истинно національную тенденцію пьесы,—любовь саксонки Барнгельмъ и пруссака Телльгейма служить какъ бы символомъ примиренія разорванныхъ нѣмецкихъ племенъ, соединенія ихъ въ одномъ національномъ чувствѣ, и вся пьеса является протестомъ противъ племенной вражды, воззваніемъ къ примиренію, забвенію прошлыхъ обидъ,—воззваніемъ къ національному единству.

Въ первый разъ являлось все это въ нѣмецкой поэзіи,—эта народность лицъ и сюжета, идеи и обстановки. Чтобы живѣе понять значеніе «Минны фонъ-Барнгельмъ» въ развитіи нѣмецкой мысли, мы можемъ припомнить значеніе «Евгенія Онѣгина» въ нашей литературѣ. Сравненіе этихъ произведеній въ художественномъ отношеніи или даже по направленію ихъ было бы нелѣпо. Но они сходны въ томъ, что составляетъ ихъ главное значеніе: оба они были, каждое въ своей литературѣ, первыми произведеніями съ содержаніемъ, взятымъ изъ національной жизни, и какъ «Онѣгинъ» въ русской, такъ «Минною фонъ-Барнгельмъ» въ нѣмецкой литературѣ вводится новый элементъ, начинается новый фазисъ развитія.

Вспомнивъ громадныя успѣхъ «Онѣгина», мы легко можемъ вообразить себѣ, каково было впечатлѣніе, произведенное «Минною

фонъ-Барнгельмъ». Оно было огромно. По нѣскольку мѣсяцевъ каждый день давалась эта пьеса на театрахъ,—впродолженіе десятковъ слѣдующихъ лѣтъ число ея представленій на каждомъ изъ нѣмецкихъ театровъ надобно считать едва ли не тысячами. Вся литература быстро измѣнила характеръ,—количество пьесъ, написанныхъ подъ вліяніемъ «Минны фонъ-Барнгельмъ», было неимоверно. Эти подражанія и передѣлки, по общей судьбѣ подражаній, мало обогатили нѣмецкую литературу; но открылся литературъ новый міръ,—міръ родной жизни,—быстро развилась въ ней самобытность, окрылились этимъ направленіемъ самобытные геніи, и черезъ шесть-семь лѣтъ послѣ «Минны фонъ-Барнгельмъ» является уже «Гецъ фонъ-Берлихингенъ» и «Вертеръ».

Послѣ краткихъ указаній на содержаніе «Минны фонъ-Барнгельмъ», нѣтъ надобности говорить, даромъ ли прошли для Лессинга, какъ поэта, годы, которые прожилъ онъ секретаремъ у Тауэцина,—вся пьеса возникла изъ той жизни, свидѣтелемъ и участникомъ которой Лессингъ былъ въ Бреславлѣ. Черезъ восемь лѣтъ послѣ «Миссъ Сары Сампсонъ»—«Минна фонъ-Барнгельмъ» *),—какой огромный шагъ впередъ! Эти пьесы раздѣлены одна отъ другой тою бездною, какая раздѣляетъ, напримѣръ, «Свѣтлану» или «Людмилу» отъ пьесы Пушкина «Женихъ»,—беремъ для сравненія мелкіе примѣры, за отсутствіемъ болѣе значительныхъ, но вообще, отношеніе Лессинга, какъ автора «Сары», къ Лессингу, какъ автору «Минны», таково же, какъ отношеніе Жуковского къ Пушкину **).

До того періода, который начался появленіемъ «Минны фонъ-Барнгельмъ», нѣмецкая поэзія страдала безжизненностью. Этотъ недостатокъ былъ общимъ характеромъ и всѣхъ тѣхъ періодовъ различныхъ литературъ, которыя въ первой половинѣ XVIII вѣка считались періодами высочайшаго развитія поэзіи,—безжизненностью страдала поэзія римлянъ и особенно Виргилія, который былъ идеаломъ для итальянскихъ поэтовъ XVI вѣка и французскихъ поэтовъ

*) Эта драма напечатана въ 1767 году, но написана въ 1763.

**) Конечно, мы сравниваемъ не таланты поэтовъ, а мѣста, занимаемые ими въ развитіи той и другой литературы; не достоинство произведеній, а элементы жизни, ими обнимаемые. Само собою разумѣется, что и въ послѣднемъ смыслѣ, подобіе не есть равенство. Преемственность фазисовъ развитія одинакова; но по степени силы и полноты, съ которыми охватывается данный элементъ содержанія, между параллельными фазисами различныхъ литературъ можетъ существовать безконечное различіе.

XVII вѣка; безжизненностью страдали и эти поэты, въ свою очередь; холодная формалистика, изъ Италіи покорившая Францію, въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка изъ Франціи распространилась не только на едва возникавшую литературу Германіи, но овладѣла даже и модною англійскою литературою, подавила преданія, завѣщанныя Шекспиромъ и Мильтономъ. При такомъ всеобщемъ владычествѣ, недостатокъ былъ возведенъ въ теорію, безжизненность, губившая искусство, была поставлена верховнымъ закономъ его. Неподвижность, отсутствіе дѣйствія въ поэзіи проповѣдывались теорією, лозунгомъ которой были знаменитыя слова Горация: «*Ut pictura poësis*»—слова, понимавшіяся въ самомъ утрированномъ смыслѣ: «пусть поэзія превратится въ живопись, пусть она подражаетъ живописи». Всѣмъ поэтамъ было заповѣдано стараться превзойти другъ друга длиннотою и мелочностью всякихъ описаній, разсматривающихъ предметъ какъ неподвижный, бездѣйственный. Описательная поэзія была повсюду любимымъ родомъ; во всѣхъ другихъ родахъ поэзіи рисовались безчисленные длиннѣйшіе ландшафты, портреты красавицъ и героевъ съ описаніемъ каждаго волоска; изъ-за ландшафтовъ поэтъ забывалъ о дѣйствующихъ лицахъ, изъ-за портретовъ дѣйствующихъ лицъ забывалъ о ихъ жизни.

Все это дѣлалось по теоріи. Теорія имѣетъ очень сильное вліяніе на практику. Недовольно было для оживленія нѣмецкой поэзіи практически ввести въ поэзію жизнь: чтобы поданный примѣръ оказалъ полное вліяніе на дѣятелей литературы, надобно было также теоретически разрушить теоретическіе предрасудки, сбивавшіе съ толку поэтовъ. Не довольно было проложить прямой путь,—надобно было также объяснить, что этотъ путь единственный прямой путь, что кривые пути, казавшіеся прямыми сбившимся съ толку людямъ, дѣйствительно кривы. Нужно было создать новую теорію поэзіи, разрушивъ ошибочныя теоріи, на которыя опиралась формалистика и безжизненность.

Это сдѣлалъ Лессингъ своимъ «Лаокоономъ». Мы не будемъ излагать здѣсь содержаніе этого изслѣдованія о верховномъ принципѣ поэзіи, отлагая подробный обзоръ его до другаго мѣста, — теперь, надобно только сказать о томъ общемъ принципѣ, который оставилъ Лессингъ въ «Лаокоонѣ» существеннымъ характеромъ поэзіи, въ отличіе отъ другихъ искусствъ, особенно отъ живописи, которой прежняя безжизненная теорія подчиняла и тѣмъ обезсили-

вала поэзію, требуя отъ нея того, чего не можетъ она дать, и заставляя ее забывать о томъ, чѣмъ она сильна. Предметъ поэзіи—дѣйствіе, сказалъ Лессингъ. Не тѣло, не природу должна она описывать,—въ этомъ она безсильна, это область живописи, недоступная для поэзіи, — она можетъ давать намъ понятіе только о дѣйствіи. Живопись изображаетъ самые предметы, поэзія изображаетъ дѣйствіе предметовъ на человѣка,—ей никогда не удастся изобразить пейзажъ такъ отчетливо, какъ то дѣлаетъ живопись,—но дѣйствіе этого пейзажа на душу человѣку изобразить она со всею точностью и живостью,—дѣло, невозможное для живописи,—а зная дѣйствіе предмета, мы узнаемъ и самый предметъ. Передайте мнѣ впечатлѣніе, производимое пейзажемъ, и пейзажъ живъ и отчетливъ возсоздается моимъ воображеніемъ, хоть онъ и не описанъ у васъ. Не описывайте мнѣ въ стихахъ красоту,—описаніе будетъ блѣдно и смутно,—но покажите дѣйствіе красоты, на людей, и она живое живѣе, быть можетъ, чѣмъ на картинѣ, обрисуетъ моимъ воображеніемъ. И такъ, дѣйствіе, дѣйствіе — вотъ что составляетъ силу поэзіи, составляетъ ея спеціальнѣйшій предметъ.

Такимъ образомъ, человѣческая жизнь поставлялась единственнымъ кореннымъ предметомъ, единственнымъ существеннымъ содержаніемъ поэзіи, драматическій элементъ признавался основною силою ея. Ничего неподвижнаго, ничего мертваго и отвлеченнаго не должно быть въ поэзіи. Она рассказываетъ только, какимъ образомъ дѣйствуетъ обстановка на человѣка, и человѣкъ дѣйствуетъ на окружающій его міръ. Поэзія есть драма жизни *).

Со временъ Аристотеля, никто не понималъ сущность поэзіи такъ вѣрно и глубоко, какъ Лессингъ. Его «Лаокоономъ», въ первый разъ втеченіе двухъ тысячъ лѣтъ, были объяснены и оправданы намеки Аристотеля, остававшіеся непонятными до той поры.

Дѣйствіе, произведенное «Лаокоономъ» на развитіе нѣмецкой литературы, было также огромно, какъ дѣйствіе «Литературныхъ писемъ» и «Минны фонъ-Барнхельмъ». Гёте и потомъ Шиллеръ

*) Драматическій элементъ, конечно, не должно смѣшивать съ драматическою формою. По теоріи Лессинга, форма разсказа, воспроизводящая всѣ элементы дѣйствія полнѣе и свободнѣе, нежели односторонняя діалогическая форма драматическихъ сочиненій, есть самая совершенная изъ поэтическихъ формъ. Въ ней болѣе истиннаго драматизма, нежели въ узкой діалогической формѣ.

воспитались этою теорією. Самъ Гёте, который не любитъ Лессинга, говорить въ своей автобіографіи: «Надобно быть юношею, чтобы вообразить себѣ, какое дѣйствіе оказалъ на насъ лессинговъ Лаокоонъ (Гёте было тогда лѣтъ восемнадцать),—онъ поднялъ насъ изъ бѣдной сферы внѣшнихъ очертаній въ свободную область мысли. Разомъ было низвергнуто искаженное понятіе о томъ, что поэзія должна подражать живописи. Мы были озарены, какъ молнією, отбросили всѣ прежнія понятія, какъ ветхую рухлядь, намъ казалось, что мы спасены теперь отъ всякаго зла».

«Вліяніе «Лаокоона» на главныхъ поэтическихъ дѣятелей слѣдующаго періода нѣмецкой литературы было такъ рѣшительно, что даже второстепенныя, мелочныя замѣчанія Лессинга были строго соблюдаемы ими. Укажемъ два примѣра. Лессингъ, разбирая мѣста, которыя считались примѣрами поэтической живописи у Гомера (онъ первый сказалъ, что если есть руководители въ искусствѣ, то этими руководителями должны считаться Гомеръ и Шекспиръ, и въ написанной части «Лаокоона» всѣ свои выводы основываетъ преимущественно на анализѣ Гомера), объясняетъ, что это не описанія предметовъ, а рассказы о происхожденіи и судьбѣ этихъ предметовъ,—Гомеръ не описываетъ корабля, а рассказываетъ, какимъ образомъ былъ построенъ корабль. Этимъ примѣромъ подтверждаетъ онъ свою мысль, что если поэту нужно обрисовать части и принадлежности предмета, приличнѣе всего ему не прямо изображать ихъ въ неподвижномъ ихъ состояніи, готовыми, какъ то дѣлаетъ живописецъ, а все-таки рассказывать для этой цѣли о движеніи, перемѣнахъ дѣйствіи. У Гёте постоянно соблюдается этотъ приѣмъ. Далѣе, Лессингъ замѣчаетъ, что у Гомера нѣтъ портретовъ дѣйствующихъ лицъ—онъ не говоритъ намъ даже, какого роста и какого характера, красоты была Елена — а между тѣмъ всѣ черты лица Елены очень ясны и живы для его читателя, — это потому, что онъ рассказываетъ о впечатлѣніяхъ, которыя производило это лицо на видѣвшихъ его,—и это опять соблюдается у Гёте: у него нѣтъ портретовъ, есть только рассказы о впечатлѣніяхъ, производимыхъ лицами. Послѣ такихъ примѣровъ ясно, до какой степени «Лаокоонъ» воспиталъ поэзію Гёте: Гёте, конечно, никто не станетъ вообразать человѣкомъ, который могъ останавливаться на внѣшней зависимости отъ мелочныхъ правилъ, — если эти детали лессинговой системы отразились на немъ, то, конечно, только по-

тому, что онъ слишкомъ глубоко проникся духомъ, изъ котораго возникала необходимость такихъ деталей.

Послѣ «Литературныхъ писемъ», Лессингъ началъ считаться первымъ критикомъ Германіи; послѣ «Лаокоона» утвердилась его репутація, какъ великаго мыслителя и великаго ученаго; послѣ «Минны фонъ-Барнгельмъ» онъ былъ признанъ знаменитѣйшимъ изъ поэтовъ. Теперь, всѣ видѣли, что онъ стоитъ во главѣ нѣмецкой литературы.

Онъ былъ оракуломъ молодаго поколѣнія. Гёте, Гердеръ, Меркъ, изучая его, готовились выступать на дорогу, имъ открытую. Какое живительное вліяніе произвело прикосновеніе его мысли и на людей, которые были старше его лѣтами и ученою славою, но не отжили еще свой вѣкъ въ умственномъ отношеніи, показываетъ случайно сохранившійся анекдотъ о свиданіи его съ Михаэлисомъ. Около того времени, о которомъ мы говорили въ концѣ статьи, Лессингъ ѣздилъ изъ Берлина въ Пирмонтъ, отчасти для развлечения, отчасти для поправленія здоровья. На возвратномъ пути, онъ заѣхалъ въ Гёттингенъ, гдѣ жилъ Михаэлисъ, основатель новой экзегетики. Михаэлисъ былъ, какъ мы упоминали, знаменитый человѣкъ еще въ то время, когда Лессингъ только еще начиналъ писать, и своею похвалою ободрялъ юношу. Лессингъ чувствовалъ къ нему признательность и навѣстилъ его. Разговоръ склонился на теологическія науки, въ которыхъ Михаэлисъ по справедливости считался тогда первымъ специалистомъ. Лессингъ замѣтилъ вообще, что наука въ Германіи остается до сихъ поръ доступна только записнымъ ученымъ, которые не заботятся о томъ, чтобы распространять въ массѣ читателей ея результаты. Напримѣръ, говорилъ онъ, переводъ Библии Лютера конечно уже могъ бы быть замѣненъ лучшимъ и точнѣйшимъ—этого никто не сдѣлалъ, а надобно было бы сдѣлать это, и издать новый переводъ съ пояснительными историческими и археологическими примѣчаніями, которыя, имѣя ученое достоинство, были бы написаны не для однихъ специалистовъ, а для всей массы читателей. Михаэлисъ до того времени и не думалъ объ этомъ—теперь, мысль заронила въ его умъ,—и слѣдствіемъ визита, сдѣланнаго ему Лессингомъ, было появленіе знаменитаго Михаэлисова нѣмецкаго перевода Библии, по плану, изложенному Лессингомъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Жизнь Лессинга въ Берлинѣ по возвращеніи изъ Бреславля.—Гамбургскій національный театр.—„Гамбургская Драмабургія“.—Типографія.—Клоцъ.—„Антикварскія письма“.—Жизнь Лессинга въ Гамбургѣ.—Переселеніе въ Вольфенбюттель.—Лессингъ, какъ библіотекаръ.—„Эмилія Галотти“.—Поэты новаго поколѣнія.—Отношенія Гёте къ Лессингу.—Лессингъ покидаетъ беллетристическую дѣятельность.

(1767—1774).

Оставивъ мѣсто секретаря при Тауенцинѣ, около двухъ лѣтъ прожилъ Лессингъ въ Берлинѣ, постоянно чувствуя необходимость измѣнить свое тяжелое положеніе, но не имѣя въ виду ничего лучшаго. Никакая нужда не могла заставить его заняться тѣмъ, что называется «пріискивать себѣ мѣсто»: ни разу въ жизни не поклонился онъ никому, не сдѣлалъ ни одного шагу къ сближенію съ такъ называемыми «нужными и полезными людьми».—«Кто думаетъ, что я могъ быть полезенъ на какомъ нибудь мѣстѣ, пусть самъ придетъ ко мнѣ и предложитъ его»—отъ этого правила не отступалъ онъ никогда. Конечно, ему долго приходилось ждать такихъ предложеній. Когда, наконецъ, приходили и предлагали ему мѣсто, опять-таки трудно было угодить ему. Не то, чтобъ онъ хотѣлъ непремѣнно важнаго мѣста или мѣста съ большимъ жалованьемъ,—напротивъ, онъ съ радостью готовъ былъ принять самую скромную должность, но только тогда, если она удовлетворяла двумъ условіямъ: не вовлекать его ни въ какія партіи, ни въ какія интриги и не возлагать на него обязанностей, несообразныхъ съ его убѣжденіями. Эти два требованія не позволяли ему принимать именно тѣхъ должностей, которыя чаще всего предлагались ему,—именно, профессорскихъ мѣстъ. Тогдашніе нѣмецкіе университеты казались

Лессингу ремесленными заведеніями, въ которыхъ господствуетъ педантизмъ, въ которыхъ все дѣлается по интригамъ мелкихъ партій и могутъ имѣть вѣсь только лъстецы и шарлатаны или обскуранты. Сдѣлавшись профессоромъ, онъ долженъ былъ бы принимать участіе въ интригахъ, долженъ былъ бы отказаться отъ независимости мнѣній, потому онъ всегда на-отрѣзъ отказывался отъ предложеній занять кафедру въ томъ или другомъ университетѣ. Скорѣе онъ готовъ былъ опять взять должность по гражданской службѣ, но такихъ случаевъ ему не представлялось. Такъ прошло два года. Наконецъ дождался Лессингъ предложенія, которое могъ принять: его пригласили быть «драматургомъ» при театрѣ, который устраивался въ Гамбургѣ подъ громкимъ именемъ «національнаго» и во многихъ пробуждалъ великолѣпнѣйшія надежды.

Образованные любители театра не могли не видѣть, что сценическое искусство въ Германіи находится въ жалкомъ положеніи сравнительно съ тѣмъ, что представляли парижскіе и лондонскіе театры. Германія имѣла нѣсколько превосходныхъ артистовъ и артистокъ, — напримѣръ, въ это время (1765—1770) Экгофа, г-жу Экгофъ, Шульцъ-мать, Бѣка, г-жу Гензель, г-жу Мекуръ; но ни одинъ городъ не имѣлъ постоянного театра, обстановка пьесъ была плоха. Главною причиною этого недостатка считалось то, что всѣ труппы содержимы были частными антрепренерами, не имѣвшими большихъ средствъ, заботившимися исключительно о своихъ выгодахъ, и потому переѣзжавшими изъ одного города въ другой, смотря по тому, гдѣ надѣялись получить больше прибыли. Мысль о необходимости основать въ большихъ городахъ постоянные театры, содержимые на общественный счетъ, естественно представлялась каждому, кто думалъ объ этомъ положеніи дѣлъ. Около 1765 года нельзя еще было надѣяться, чтобы какое нибудь изъ германскихъ правительствъ приняло на себя эту заботу. Дворы хотѣли имѣть только французскій театръ или итальянскую оперу, о нѣмецкомъ театрѣ и не думали вельможи, всѣ мысли которыхъ были заняты версальскими модами.

Изъ городовъ, богатѣйшимъ, — можно сказать единственнымъ, дѣйствительно очень богатымъ, былъ тогда Гамбургъ. На немъ прежде всѣхъ другихъ лежала обязанность помочь усовершенствованію нѣмецкаго театра, отъ котораго отказывались Дворы. Нѣкто Лёвенъ, жена котораго, урожденная Шёнеманъ, была прекрасною

актрисою, и который самъ, занимая довольно хорошее положеніе въ обществѣ, очень любилъ писать для театра, началъ около 1766 года сильно хлопотать о томъ, чтобы составить изъ гамбургскаго купечества общество меценатовъ, которое основало бы въ Гамбургѣ постоянный театръ, съ богатыми средствами. Случайныя обстоятельства помогли его хлопотамъ; составилось общество, душою котораго былъ Лёвенъ, и которое располагало значительнымъ капиталомъ. Общество это взяло у прежняго содержателя гамбургской труппы на аренду зданіе театра, и пригласило, къ бывшей уже труппѣ, многихъ хорошихъ актеровъ изъ другихъ труппъ. Лёвенъ былъ назначенъ директоромъ театра. По его мысли, дирекція должна была всѣми силами заботиться о развитіи вкуса и образованности въ актерахъ. Самъ Лёвенъ хотѣлъ читать имъ лекціи о сценическомъ искусствѣ. Кромѣ того, при театрѣ долженъ былъ находиться «драматургъ». По мнѣнію Лёвена, Лессингъ былъ первымъ драматическимъ писателемъ Германіи, потому Лессингу и было предложено мѣсто «драматурга». Жалованья ему назначалось 800 талеровъ.

Лессингъ принялъ это приглашеніе. «Когда, съ годъ тому назадъ (говоритъ онъ въ концѣ своей «Драматургіи»), нѣкоторымъ почтеннымъ людямъ вздумалось попробовать, нельзя ли поднять нѣмецкій театръ, взявъ его изъ власти антрепренеровъ,—не знаю, какимъ образомъ вздумалось этимъ добрымъ людямъ вспомнить и обо мнѣ и вообразить, что я могу быть полезенъ этому дѣлу. А я въ то время стоялъ на рынкѣ безъ работы; никто не хотѣлъ меня нанять, безъ сомнѣнія потому, что я никому ни на что не годился,—только эти друзья предложили мнѣ работу. Всякое занятіе было для меня равно въ жизни. Никогда я не напрашивался ни на что, но никогда и не отказывался отъ самаго ничтожнаго дѣла, если только мнѣ казалось, что его мнѣ предлагаютъ потому, что считаютъ меня годнымъ къ этому дѣлу. Потому нечего было мнѣ и задумываться надъ вопросомъ: принять ли мнѣ участіе въ этомъ дѣлѣ? Надобно было подумать только о томъ, могу ли, и чѣмъ именно могу я быть полезенъ для основывавшагося въ Гамбургѣ театра?» Послѣ этихъ словъ, Лессингъ говоритъ, что сочиненіемъ драматическихъ пьесъ онъ не могъ оказать новому театру большой пользы, потому что неспособенъ писать по тринадцати драмъ или комедій въ годъ, какъ Гольдони; «я долго обдумываю пьесу, и если написалъ что нибудь порядочное, то единственно потому, что самъ

очень подробно и внимательно критиковалъ свой планъ и всѣ его подробности, говоритъ онъ: только посредствомъ критики производилъ я поэтическія созданія, оттого и не могу писать ихъ скоро, какъ дѣлаютъ другіе». — «Наконецъ придумали, что именно то самое качество, которое дѣлаетъ меня такимъ медленнымъ, или, по мнѣнію моихъ друзей, одаренныхъ болѣе живымъ талантомъ, такимъ лѣнивымъ работникомъ, — что это самое качество, критику, можно обратить въ пользу для театра. Такимъ-то образомъ явилась мысль объ этихъ листкахъ» («Гамбургской Драматургіи»). — «Чѣмъ должны были быть эти листки, я говорилъ въ объявленіи о нихъ (продолжаетъ Лессингъ): они должны были слѣдить за каждымъ шагомъ искусства на зрѣищемъ театрѣ, какъ относительно достоинства самыхъ пьесъ, такъ и игры актеровъ».

Зачѣмъ приглашаемъ былъ Лессингъ въ Гамбургъ, этого, кажется, не понималъ хорошенько самъ Левенъ, пригласившій его; ему казалось вообще полезнымъ, чтобы при театрѣ, отъ котораго ожидали такихъ великихъ послѣдствій, находился и первый драматическій писатель Германіи; — онъ думалъ, что Лессингъ будетъ писать пьесы для театра; думалъ и то, что онъ будетъ давать совѣты относительно выбора пьесъ; думалъ, вѣроятно, и то, что онъ будетъ участвовать въ ихъ постановкѣ; наконецъ, быть можетъ, думалъ и то, что Лессингъ будетъ театральнымъ критикомъ.

Лессингъ, пріѣхавъ въ Гамбургъ, тотчасъ же рѣшилъ, что будетъ издавать театральный листокъ, въ которомъ станетъ съ равнымъ вниманіемъ разбирать и пьесы, игранныя на театрѣ, и игру актеровъ. Въ этомъ дѣлѣ онъ могъ быть совершенно независимъ, между тѣмъ, какъ въ выборѣ пьесъ, кажется, онъ вовсе не участвовалъ, — такое рѣшеніе было сообразно съ его характеромъ: онъ не принимался за дѣло, котораго не могъ вести, какъ ему казалось нужнымъ. Отъ сочиненія пьесъ для театра онъ вовсе отказался. Такимъ образомъ онъ, подъ именемъ «драматурга», принялъ на себя обязанность театральнаго критика.

Скоро однако, онъ увидѣлъ, что и этого дѣла нельзя исполнять такъ, какъ ему сначала хотѣлось: актеры и особенно актрисы обижались его замѣчаніями объ ихъ игрѣ; одна изъ первыхъ актрисъ, г-жа Мекуръ, съ самаго начала требовала, чтобы о ея игрѣ въ лессинговыхъ листкахъ не говорилось совершенно ничего. Эти стѣсне-

нія и претензіи тотчасъ же надоѣли Лессингу, и онъ бросилъ разборъ игры актеровъ, ограничившись разборомъ самыхъ пьесъ.

«Разбирать игру актеровъ скоро мнѣ наскучило (продолжаетъ Лессингъ въ послѣднемъ номерѣ «Драматургіи», послѣ выписаннаго у насъ отрывка). Актеры обидчивы. Сколько не хвали ихъ, имъ все кажется мало; каждое замѣчаніе кажется имъ уже чрезмерною строгостью».

По своему характеру, Лессингъ не любилъ ничего дѣлать на половину: онъ бросилъ, какъ мы сказали, заботу объ актерахъ и занялся исключительно пьесами.

Сначала, номера «Драматургіи» выходили дѣйствительно отдѣльными листками, по два раза въ недѣлю. Но черезъ нѣсколько времени, Лессингъ узналъ, что они перепечатаются какимъ-то недобросовѣстнымъ книгопродавцемъ, и, чтобы прекратить эту кражу, онъ издалъ продолженіе своей «Драматургіи» уже цѣлою книгою, сохранивъ въ ней только счетъ номеровъ и обозначеніе числа и мѣсяца, когда долженъ былъ выйти каждый номеръ. По этому счету (104 номера, отъ 22 апрѣля 1767 до 19 апрѣля 1768 г.) изданіе журнала продолжалось ровно годъ.

Не многимъ дольше продолжалось и существованіе «національнаго театра». Актеры и потомъ основатели театра начали ссориться между собою; публика плохо поддерживала великолѣпное предпріятіе, расходы котораго были такъ велики, что не могли покрываться обыкновенными сборами. Театръ былъ открытъ въ концѣ апрѣля 1767 года; въ декабрѣ дирекція увидѣла уже необходимость на зиму перевести труппу въ Ганноверъ, съ тѣмъ, чтобы весною снова начать представленія въ Гамбургѣ, то есть сдѣлать то же самое, что дѣлали антрепренеры, переносившіе свои представленія изъ города въ городъ, потому что одинъ городъ не могъ долго давать полныхъ сборовъ. Весною, труппа дѣйствительно возобновила свои представленія въ Гамбургѣ, но денежныя дѣла дирекціи запутывались все больше и больше, и въ ноябрѣ громаднѣйшій замыселъ кончился банкротствомъ. Акерманъ, который прежде содержалъ въ Гамбургѣ театръ и изъ труппы котораго были лучшіе актеры въ труппѣ «національнаго театра», снова сдѣлался антрепренеромъ, и гамбургцы были очень рады, что театръ ихъ возвратился къ тому самому положенію, въ какомъ былъ за два года.

Единственнымъ результатомъ пышной, но преждевременной и

дурно обдуманной въ своихъ подробностяхъ и средствахъ попытки Лёвена остался театральный журналъ Лессинга, знаменитая «Гамбургская Драматургія». Въ томъ, что Лессингу, вмѣсто безплодныхъ и мелочныхъ заботъ режиссера, вздумалось принять на себя обязанность театральнаго критика, Лёвенъ былъ вовсе не виновать,—онъ и не думалъ объ этомъ, какъ по всему видно. Мысль издавать театральный журналъ принадлежала одному Лессингу; ни во что другое Лессингъ не вмѣшивался, — и единственное дѣло, возникшее въ этомъ предпріятіи по его мысли и исполненное имъ, осталось единственною важною стороною предпріятія. Правда и то, что это дѣло своею важностію далеко превысило всѣ надежды, какія возлагались на «гамбургскій національный театр».

«Литературными письмами» Лессингъ доказалъ ничтожность прежней нѣмецкой литературы и очистилъ мѣсто для новаго зданія, сломавъ хилыя и гнилыя лачуги, отбросивъ далеко всю гниль, которою покрывали онѣ землю. «Лаокоономъ» онъ указалъ вообще, въ чемъ долженъ состоять духъ истинной поэзіи. «Гамбургская Драматургія» объяснила, въ чемъ должны состоять существенныя качества того рода поэзіи, который долженъ былъ господствовать въ начинающемся съ Лессинга періодѣ нѣмецкой литературы,—далъ теорію драмы.

Въ наше время, когда господствующій родъ поэзіи есть рассказъ, повѣсть, романъ, трудно понять, почему когда нибудь драматическая форма могла быть важнѣйшею формою поэзіи *)).

*) Само собою разумѣется, что мы здѣсь говоримъ съ читателемъ, который судить о вещахъ такъ, какъ понимаетъ ихъ самъ, а не съ устарѣлыми теоріями, предпочитающими драматическую форму формѣ рассказа. Конечно, сценическое представленіе есть нѣчто болѣе живое и сильнѣе дѣйствуетъ на человѣка, нежели чтеніе книги. Но не должно забывать, что театръ существуетъ для немногихъ городовъ, и въ этихъ городахъ для немногихъ определенныхъ часовъ.—Книга—проникаетъ повсюду, готова для каждаго вездѣ и во всякій часъ. Театръ—рѣдкій праздникъ для горожанъ; книга—постоянное достояніе всего народа. Сценическое представленіе, конечно, есть нѣчто высшее, нежели читаемая поэзія; но оно не принадлежитъ исключительно поэзіи, какъ отдѣльному искусству, а само должно считаться особенною формою искусства, соединяющею въ себѣ силы, которыми каждую въ отдѣльности владѣютъ другія искусства,—скульптура (и даже архитектура, въ декораціяхъ), живопись, музыка, поэзія—все соединяется въ сценической формѣ искусства. Печатный текстъ трагедіи или комедіи въ драматическомъ спектаклѣ играетъ роль не-

Признаемся, что мы не умѣемъ сказать, почему въ цвѣтущій періодъ нѣмецкой поэзіи драма могла имѣть живое и законное право на господство въ поэзіи, почему Шиллеръ и прежде его Гёте были драматургами, а не романистами, если не объяснять этого пристрастія къ драматической формѣ просто тѣмъ, что поэзія новой исторіи еще не успѣла въ то время выработать себѣ соотвѣтствующей формы, какую выработала теперь въ повѣсти и романѣ, еще не успѣла понять, что придворная (какъ у Шекспира, Корнеля и Расина) или праздничная (какъ у греческихъ драматурговъ) одежда сценическаго искусства недостаточна для нея, будничной подруги каждаго изъ насъ. Господство драматической формы въ цвѣтущій періодъ нѣмецкой поэзіи кажется намъ престо дѣломъ преданія, отпечаткомъ исторической связи новой поэзіи съ старинною. Но это наше личное мнѣніе, котораго мы не хотимъ навязывать читателямъ. А другія объясненія этого факта — превосходствомъ драматической формы надъ эпическою или необычайно важнымъ значеніемъ театра для нѣмецкой жизни въ послѣдней половинѣ прошлаго вѣка — рѣшительно не выдерживаютъ критики. Книга тогда для нѣмцевъ была на столько же важнѣе сцены, на сколько важнѣе она теперь для нѣмцевъ, французовъ, англичанъ, русскихъ. А въ превосходствѣ драматической формѣ надъ рассказомъ не увѣришь читателя нашего времени. Не желая навязывать читателю

многимъ важнѣе той, какъ либретто въ оперѣ, — онъ только одинъ изъ элементовъ дѣлага. А если мы возьмемъ этотъ элементъ (печатную драматическую пьесу) какъ нѣчто предназначенное для чтенія, и сравнимъ съ произведеніемъ поэзіи, имѣющимъ форму рассказа (повѣсть, романъ), то будемъ поражены оборванностью, угловатостью, блѣдностью, натянутостью этой несчастной печатной драмы. Сценическое искусство, принимая въ себя словесный текстъ, страшно обрѣзываетъ и уродуетъ его, чтобы втиснуть въ рамку діалога всѣ моменты жизни. Театръ безжалостенъ къ поэту.

При настоящемъ состояніи общества, когда нація не есть одинъ городъ, какъ было въ Аѳинскомъ государствѣ: когда поэзія нужна намъ не два раза въ годъ, какъ аѳинянамъ, слишкомъ занятымъ другими дѣлами, а каждый день, — когда для націи книга въ тысячу разъ нужнѣе и важнѣе театральнаго спектакля, — истинный поэтъ не долженъ бы писать для театра: пусть люди второстепенные, пусть таланты, которые способны только къ арранжировкѣ, передѣлываютъ его рассказы для сценическихъ представленій. Изъ «Ламмермурской Невѣсты» трагедію сдѣлать также легко, какъ и либретто. Превращеніе романовъ въ драматическія пьесы могло бы быть предоставлено тѣмъ же людямъ, которые превращаютъ романы въ либретто.

своего объясненія, быть можетъ ошибочнаго, не желая обманывать его и себя другими объясненіями, безъ всякаго сомнѣнія ошибочными, мы лучше хотимъ просто указать голый фактъ: въ цвѣтущій періодъ нѣмецкой поэзіи, драмѣ суждено было господствовать надъ поэзіею,

Въ произведеніяхъ Лессинга, какъ поэта, кромѣ лирическихъ стихотвореній, мы находимъ только драмы; всѣ поэты слѣдующаго періода «бурныхъ стремленій» (Sturm-und Drang-Periode) также, кромѣ лирическихъ стихотвореній, писали почти только драмы; Гёте написалъ только одинъ удачный романъ («Вертеръ») — всѣ остальные его произведенія въ эпической формѣ неудачны; у Шиллера нѣтъ ни одного такого произведенія; слава обоихъ поэтовъ основана (кромѣ лирическихъ стихотвореній) на драмахъ.

Отъ чего бы это ни происходило, но во всякомъ случаѣ, вопросъ о драмѣ былъ самымъ важнымъ для нѣмецкой поэзіи въ ея цвѣтущій періодъ. Съ Лессинга начинается господство драматической формы, которое продолжалось до самого упадка нѣмецкой поэзіи, и которое отчасти должно быть приписано, кромѣ вліянія Шекспира, примѣру, поданному Лессингомъ, но основаніе которому лежало конечно въ духѣ времени. Надобно было дать и образцы и теорію этой формы искусства, — то и другое сдѣлалъ Лессингъ. «Минна фонъ Баригельмъ» уже была написана, и производила огромное дѣйствіе; вскорѣ за нею должна была послѣдовать «Эмилія Галотти», вліяніе которой было не менѣе сильно. Теперь, по поводу гамбургскаго театра, Лессингъ далъ теорію драмы въ своей «Драматургіи». Нѣтъ надобности повторять то, что мы уже сказали по случаю «Лаокоона» о важности теоріи для практики; нѣтъ надобности говорить въ частности о томъ, какое великое значеніе имѣла для послѣдующаго развитія нѣмецкой поэзіи «Драматургія», объяснившая теорію важнѣйшей формы этой поэзіи. «Гамбургская Драматургія» была кодексомъ, на основаніи котораго возникли «Гецъ фонъ Берлихингенъ» и «Фаустъ», «Разбойники» и «Вильгельмъ Телль». «Лаокоономъ» былъ воспитанъ общій духъ поэзіи Гёте и Шиллера; «Гамбургскою Драматургіею» даны законы ихъ трагедій.

Есть въ «Драматургіи» другая сторона, имѣвшая не менѣе значенія для нѣмецкой поэзіи, но съ тѣмъ вмѣстѣ простершая свое вліяніе далеко за предѣлы искусства, на всю умственную жизнь

германскаго народа. Чтобы очистить мѣсто для истинной теоріи драмы, Лессингъ долженъ былъ разрушить прежнюю ложную теорію, показать, что и правила псевдо-классической теоріи, и произведенія, написанныя по этимъ правиламъ, не выдерживаютъ критики. Такимъ образомъ, пришлось ему имѣть непосредственное дѣло съ французскими драматургами, которые считались величайшими гѣніями по своей части,—съ Корнелемъ, Расиномъ и Вольтеромъ. Нѣчего и говорить о томъ, съ какою беспощадною рѣзкостью разбиралъ онъ ихъ произведенія,—они были истерзаны и одерганы до того, что человѣкъ, прочитавшій «Гамбургскую Драматургію», не могъ безъ нѣкотораго презрѣнія подумать о писателяхъ, нелѣпость произведеній которыхъ доказана такъ ясно и язвительно. Эта безжалостность была необходима для разрушенія закоснѣлаго предубѣжденія, чрезвычайно упорнаго и наглаго. Она достигла своей цѣли, — не только нѣмцы, но всѣ люди другихъ націй, знакомые съ германскою литературою, до послѣдняго времени не могли вспоминать о классической французской драмѣ безъ презрительной усмѣшки. Напрасно Шиллеръ и Гёте, лѣтъ черезъ тридцать послѣ «Драматургіи», по общему уговору, переводили французскія драмы, думая, что уже настала пора отдать справедливость тому, что было въ нихъ хорошаго. Лессингова насмѣшка отзывалась въ памяти всѣхъ и великіе поэты только подвергались осужденію за то, что занялись произведеніями, недостойными ихъ таланта. «Гамбургская Драматургія» разомъ похоронила псевдоклассицизмъ.

Эта полемическая сторона не составляетъ главнаго въ ней,—Лессингъ занимается отверженіемъ псевдоклассической драмы только для того, чтобы очистить мѣсто для новыхъ идей, изложеніе которыхъ и было его существенною цѣлью. Но владычество псевдоклассической драмы было такъ сильно, что борьба съ нею всего сильнѣе заинтересовала на первый разъ умы читателей. Они не могли сомнѣваться въ томъ, что Корнель и Вольтеръ (какъ драматургъ) совершенно уничтожены Лессингомъ. Какъ, нѣмецъ поразилъ на смерть величайшіе французскіе авторитеты, передъ которыми преклонилась вся Европа! Эта побѣда чрезвычайно ободрительно подѣйствовала на нѣмецкій умъ. Это не то, что пустая похвала своей національности,—нѣтъ это положительное доказательство того, что нѣмцы могутъ выйти изъ подъ умственной зависи-

мости отъ иноземцевъ—мало того, что нѣмцы могутъ теперь въ свой чередъ имѣть рѣшительный голосъ въ умственной жизни Европы, что Германія должна стать центромъ умственного движенія новой эпохи. Дѣйствительно, съ той поры совершенно измѣняется характеръ понятія, какое нѣмцы имѣютъ о значеніи своемъ между другими народами. «Намъ нечего ждать чужихъ рѣшеній,—у насъ есть головы, какихъ нѣтъ нигдѣ; ужь если прислушиваться къ чьему нибудь мнѣнію, то прислушаемся къ тому, что говорятъ въ Гамбургѣ, въ Вольфенбюттелѣ, въ Кенигсбергѣ, въ Берлинѣ, въ Веймарѣ, въ Іенѣ»,—за Лессингомъ выступаютъ Кантъ, Гёте, Шиллеръ, Фихте,—у всѣхъ этихъ людей одно общее чувство: сознаніе великаго своего превосходства надъ иноземцами, дѣйствующими на одномъ съ ними поприщѣ; одинъ общій тонъ въ голосѣ: тонъ человѣка, сознающаго, что онъ идетъ во главѣ умственного движенія своего времени, что онъ трудится не для одного своего народа, а для всего цивилизованнаго свѣта, потому что народъ, которому онъ говоритъ, долженъ вести за собою всѣ народы. Это сознаніе проникаетъ всю націю. И скоро всѣ остальные націи дѣйствительно начинаютъ говорить: «намъ нужно учиться у нѣмцевъ: кто не хочетъ быть отсталымъ человѣкомъ, долженъ пройти школу нѣмецкихъ поэтовъ и мыслителей».

У насъ, которые этому сознанію превосходства нѣмецкихъ поэтовъ и мыслителей не могли противопоставить воспоминаній о какомъ нибудь прежнемъ умственномъ владычествѣ нашемъ надъ Европою, нѣмецкое вліяніе утвердилось очень быстро. У англичанъ и французовъ, которые имѣютъ въ этомъ случаѣ очень блистательныя воспоминанія, борьба узкаго національнаго пристрастія съ требованіями справедливости должна была быть гораздо упорнѣе. Она ведется до сихъ поръ, и съ каждымъ годомъ усиливается въ Англіи и Франціи вліяніе мыслей, выработанныхъ на нѣмецкой почвѣ. Между тѣмъ какъ сами нѣмцы, уже достигнувъ результатовъ, которыхъ искали въ области эстетическихъ чувствъ и философскихъ понятій, уже охлаждаютъ къ своимъ прежнимъ поэтамъ и философамъ, и переносятъ свои стремленія къ другимъ сферамъ жизни, въ которыхъ чувствуютъ себя отсталыми,—въ это время французы и англичане все болѣе и болѣе проникаются сознаніемъ необходимости усвоить себѣ то, что уже приобрѣтено нѣмцами, и замѣнить своего Декарта или Локка Кантомъ и Гегелемъ.

Странно подумать о томъ, къ какимъ сферамъ часто принадлежатъ факты, оказывающіе рѣшительное вліяніе на развитіе народнаго сознанія, и на какія дороги часто становятся историческими отношеніями люди, дѣятельностью которыхъ измѣняется понятіе дѣлаго народа о самомъ себѣ. Вопросъ о теоріи драмы былъ важнѣйшимъ случаемъ, изъ котораго нѣмцы получили гордое сознаніе своихъ силъ, — а между тѣмъ, казалось бы здравому смыслу, что можетъ быть для исторической жизни народа маловажнѣе такого спора? Но, когда внимательно посмотришь на ходъ историческаго развитія, почти всегда видишь, что оно шло по какимъ то узкимъ и извилистымъ путямъ, тамъ, гдѣ прямая и естественная дорога была загромождена непреоборимыми препятствіями.

Надобно замѣтить одну черту Лессинга, о которой умѣстнѣе всего сказать по случаю «Гамбургской драматургіи», произведенія, начинающаго собою эпоху справедливаго уваженія нѣмецкаго народа къ самому себѣ. Писатель, дѣятельность котораго пробудила въ Германіи патріотическую гордость и самое чувство національности, былъ рѣшительный космополитъ и стоялъ въ отрицательномъ отношеніи къ понятію національности.

Послѣ того, какъ разрушилось предпріятіе, подавшее поводъ къ изданію «Гамбургской Драматургіи», Лессингъ вновь увидѣлъ себя въ очень затруднительныхъ обстоятельствахъ. Когда онъ переезжалъ въ Гамбургъ, онъ имѣлъ въ виду, кромѣ мѣста при «національномъ театрѣ», еще другое занятіе, которымъ надѣялся обезпечить свою будущность. Нѣкто Боде, довольно извѣстный писатель того времени, вздумалъ основать въ Гамбургѣ типографію, и предложилъ Лессингу, съ которымъ былъ хорошъ, сдѣлаться его компаньономъ. Лессингъ собралъ нѣсколько сотъ талеровъ, продавъ съ аукціона въ Берлинѣ свою обширную бібліотеку, которую составилъ, когда служилъ въ Бреславлѣ, и принялся вмѣстѣ съ Боде за типографское дѣло, — но дѣло пошло неудачно, главнымъ образомъ потому, что у основателей типографіи было гораздо меньше денегъ, нежели было нужно. Отчасти повредило предпріятію и то, что Боде и особенно Лессингъ жертвовали коммерческимъ разсчетомъ желанію ввести въ типографское дѣло разныя усовершенствованія, которыя были не подъ силу имъ и отвергались книгопродавцами. Типографія принесла только убытокъ и Лессингу и его товарищу.

Давно уже Лессингъ не принималъ участія въ нѣмецкой журналистикѣ: духъ партій и которій былъ невыносимъ для него; считаться главою какой нибудь школы казалось ему несообразнымъ съ духомъ той независимости, которой требовалъ онъ для себя и которую всегда хотѣлъ онъ внушить другимъ. Съ первыхъ томовъ «Литературныхъ писемъ» пересталъ онъ писать рецензій, какъ только показалось ему, что онъ уже достаточно указалъ дорогу для новаго критическаго направленія. Когда, послѣ «Литературныхъ писемъ», Николай основалъ (1765) «Всеобщую нѣмецкую бібліотеку» (Allgemeine Deutsche Bibliothek), Лессингъ не принялъ никакого участія въ новомъ журналѣ, какъ давно уже пересталъ участвовать и въ «Литературныхъ письмахъ». Журналы эти, благодаря тому, что первый изъ нихъ получилъ направленіе отъ Лессинга, сохраняли господство въ литературѣ, тѣмъ болѣе, что масса публики все еще предполагала его участіе не только въ «Литературныхъ письмахъ» до конца ихъ изданія, но и во «Всеобщей бібліотекѣ». Однако же, не напрасно жаловался Мендельсонъ *), что «безнаказанно стали снова буйствовать глупцы», съ тѣхъ поръ, какъ Лессингъ покинулъ «Литературныя письма». Въ самомъ дѣлѣ, противники, смирившіеся передъ Лессингомъ, почувствовали, что «другіе, которымъ онъ передалъ свой бичъ», «бьютъ слишкомъ слабо» и ободрившись, снова попробовали поднять голову. Тѣ люди, которые подверглись ударамъ Лессинга, уже не могли возстановить своего авторитета, но явились новые люди, вздумавшіе дѣйствовать въ духѣ прежнихъ партій. Самымъ сильнымъ изъ этихъ людей былъ Клоцъ, въ короткое время достигшій значительности тѣми же самыми средствами, какія нѣкогда доставили литературное могущество Готтшеду. Клоцъ былъ безспорно человѣкъ очень даровитый, но недобросовѣстный. Ученая и литературная дѣятельность была для него только средствомъ возвысить свое положеніе въ обществѣ. Лъстивый и наглый, онъ, сдѣлавшись профессоромъ въ Галле, скоро, посредствомъ интригъ и шарлатанства, получилъ значеніе не только въ своемъ университетѣ, но и во многихъ другихъ. Людей, которые покровительствовали или служили ему, онъ превозносилъ безъ всякой совѣсти и умѣлъ оказывать имъ услуги. Стоило

*) Въ посвященіи своихъ сочиненій, которое привели мы въ предыдущей главѣ.

только молодому человѣку применить къ нему, и Клоцъ навѣрное доставлялъ ему кафедру въ томъ или другомъ университетѣ. Онъ основалъ два критическіе журнала,—одинъ на латинскомъ языкѣ, чтобы задавать тонъ педантамъ, другой на нѣмецкомъ, чтобы распространять вліяніе издателя на массу. Кумовство и личные отношенія были единственными правилами критики Клоца и его клеветовъ. Писателей, искавшихъ его покровительства, Клоцъ хвалилъ безъ всякой мѣры; писателей, заслужившихъ его немилость, онъ не только бранилъ безстыдно, но и чернилъ передъ публикою, выставляя ихъ частную жизнь въ грязномъ видѣ. Никто не былъ безопасенъ отъ его вражды. Особенно преслѣдовалъ онъ «Всеобщую нѣмецкую бібліотеку» Николаи, изъ корыстнаго соперничества.

Клоцъ былъ человѣкъ очень даровитый; онъ писалъ прекрасно, умѣлъ выказать себя великимъ ученымъ, былъ въ самомъ дѣлѣ богатъ знаніями, и еще богаче былъ шарлатанскими уловками, владѣлъ сарказмомъ съ большою ловкостью, въ борьбѣ за своихъ кліентовъ или противъ своихъ враговъ не пренебрегалъ никакими средствами, имѣя очень сильныя связи въ литературѣ и въ обществѣ,—зато, онъ былъ оракуломъ всѣхъ простаковъ, покровителемъ всѣхъ самолюбивыхъ людей, которые превозносили его отъ души, получая отъ него плату тою же монетою, и внушалъ страхъ всѣмъ безъ исключенія. Самые ученѣйшіе люди писали панегирики его учености, самые знаменитые поэты возвышали до небесъ его критическій талантъ. Такого блестящаго положенія онъ успѣлъ достигнуть очень быстро,—ему было всего еще только двадцать девять лѣтъ. Наглецовъ и шарлатановъ много, но рѣдко кто изъ нихъ такъ рано достигаетъ своей цѣли. Клоцъ былъ человѣкъ, далеко возвышавшійся своими способностями надъ обыкновеннымъ уровнемъ.

Клоца боялись всѣ; самъ онъ достигъ уже такого положенія, что смотрѣлъ на всѣхъ свысока, и чувствовалъ инстинктивный страхъ только къ одному Лессингу. Когда явился «Лаокоонъ», галлесскій диктаторъ написалъ къ Лессингу льстивое письмо, въ которомъ, осыпая его похвалами, просилъ позволенія разобрать эту книгу въ своемъ журналѣ. Лессингъ отвѣчалъ ему очень учтиво, но подъ деликатными фразами проникательный Клоцъ замѣтилъ что-то похожее на презрѣніе, и былъ жестоко оскорбленъ. Всякому другому онъ далъ бы почувствовать свой гнѣвъ безцеремонною печатною бранью, но съ Лессингомъ онъ не хотѣлъ ссориться, и

скрыть свое чувство, — почелъ даже нужнымъ вновь заискивать его расположеніе новымъ, чрезвычайнымъ доказательствомъ своего уваженія. Клоцу вдумалось сдѣлать извлеченіе изъ огромной «Всеобщей исторіи», составленной обществомъ англійскихъ ученыхъ. Одинъ изъ друзей совѣтовалъ ему не браться за это дѣло. Клоцъ поручилъ этому пріятелю, отправлявшемуся въ Берлинъ (тогда Лессингъ жилъ еще въ Берлинѣ), спросить, что думаетъ Лессингъ. Лессингъ сказалъ, что не совѣтуетъ Клоцу браться за дѣло, которое ему не по силамъ, — и Клоцъ послушался. Написавъ разборъ «Лаокоона», Клоцъ послалъ эту статью Лессингу при лести-вомъ письмѣ. Рецензія проникнута чувствомъ восторга; въ нѣкоторыхъ вопросахъ рецензентъ высказываетъ мнѣніе, несогласное съ мнѣніемъ автора, но эти вопросы неважны, замѣчанія изложены самымъ почтительнымъ образомъ, и въ первомъ своемъ письмѣ Клоцъ уже просилъ позволенія сдѣлать ихъ; они служатъ только къ тому, чтобы еще болѣе возвысить книгу и автора, которому Клоцъ рѣшительно отдаетъ первое мѣсто между всѣми знаменитостями Германіи—*cui dudum principem inter Germaniae ornamenta locum Musae tribuerunt*, говоритъ онъ о Лессингѣ (рецензія помѣщена была въ латинскомъ журналѣ Клоца)—«его давно уже музы сдѣлали первымъ изъ людей, которыми гордится Германія». — Бѣдный Клоцъ! всегда онъ дѣйствовалъ по расчету, хвалилъ не по убѣжденію, а изъ выгоды, тутъ только въ самомъ дѣлѣ говорилъ отъ чистой души, — въ письмѣ къ одному изъ пріятелей, гдѣ не было ему нужды притворяться, онъ также говорилъ, что Лессингъ, какъ знатокъ древностей, выше самого Винкельмана по учености, и обладаетъ божественнымъ геніемъ, — быть можетъ, въ первый разъ онъ отдавалъ добросовѣстно, по искреннему убѣжденію справедливость чужимъ заслугамъ, — и могъ ли онъ ожидать въ награду за то безжалостнѣйшаго преслѣдованія отъ единственнаго человѣка, котораго искренно уважалъ! Глеймъ, пріятель Лессинга и вмѣстѣ пріятель Клоца, пришелъ въ восторгъ отъ рецензіи, и воображалъ, что она восхититъ Лессинга. А еслибъ онъ прочелъ письмо, при которомъ она была послана къ Лессингу, онъ восхитился бы еще вдвое больше.

Лессингъ не отвѣчалъ ни слова на его письмо.

Теперь очевидно стало для Клоца, что никакими заискиваніями не войдетъ онъ въ милость къ Лессингу, что Лессингъ не хочетъ

имѣть съ нимъ сношеній, презираетъ его. Это было въ 1766 году.

Лессингъ еще не презиралъ Клоца, потому что не зналъ литературныхъ продѣлокъ галлескаго оракула, который велъ свои интриги очень хитро, — ему просто не нравился льстивый тонъ его писемъ. Но въ 1768 году Клоцъ основалъ свой нѣмецкій критическій журналъ, и развернулся въ немъ совершенно безцеремонно, — Лессингъ убѣдился изъ многихъ рецензій, что знаменитый ученый и критикъ — человекъ недобросовѣстный; весною этого года, Лессингу случилась надобность быть на лейпцигской пасхальной ярмаркѣ, куда собирались не одни книгопродавцы, но и литераторы; тутъ онъ узналъ вполнѣ всѣ безсовѣстныя продѣлки Клоца, и воротился въ Гамбургъ съ рѣшительнымъ намѣреніемъ сбить спѣсь съ этого наглеца. «Наслушался я объ этомъ человекѣ, — пишетъ Лессингъ къ Николаи, возвратившись въ Гамбургъ:—онъ слишкомъ подымаетъ носъ. Загляните же въ слѣдующіе листки здѣшней «Новой Газеты». Но это еще пустяки. Я ему готовлю салютъ гораздо погромче»... Въ «Новой Гамбургской Газетѣ» начали печататься «Письма антикварскаго содержанія».

Ближайшимъ поводомъ къ изданію этихъ писемъ было то, что въ одномъ изъ своихъ новыхъ сочиненій, книгѣ «О рѣзныхъ камняхъ у древнихъ», Клоцъ сдѣлалъ три замѣчанія на «Лаокоона», въ которомъ большую часть примѣровъ и доказательствъ беретъ Лессингъ изъ исторіи древняго искусства. Замѣчанія эти выражены въ формѣ деликатной, такъ что сами по себѣ никакъ не могли бы разсердить Лессинга, который вообще не охотникъ былъ ни оскорбляться критическими замѣчаніями, ни возражать на нихъ. Но Лессингъ только искалъ случая, чтобы уничтожить Клоца, и громъ разразился надъ несчастнымъ интригантомъ, который при всей ненависти, какую питалъ къ Лессингу за предугадываемое его презрѣніе къ себѣ, все-таки, въ противность своей привычкѣ, не смѣлъ говорить о немъ непочтительно.

Лессингъ какъ будто находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы терзать Клоца,—на три-четыре вѣжливыя строки, онъ отвѣчалъ тремя книгами,—правда, небольшими, но все-таки тремя книгами *). Рѣзкость тона въ этихъ книгахъ чрезвычайна. Клоцъ, и прежде бояв-

*) Двумя частями «Антикварскихъ писемъ» и изслѣдованіемъ «О томъ, какъ древніе изображали смерть».

шійся Лессинга, теперь совершенно убѣдился, что ему не под силу бороться съ такимъ противникомъ, и, какъ человѣкъ благо-разумный разсчиталъ, что ему слѣдуетъ отмолчаться, — о первой части «Антикварскихъ писемъ» онъ написалъ въ своемъ журналѣ очень смиренную рецензію, говоря, что рѣшительно не понимаетъ, чѣмъ могъ огорчить Лессинга. Но Лессингъ не укротился этимъ смиреніемъ, и продолжалъ писать «Антикварскія письма»; Лессингъ разбиралъ въ нихъ его антикварскія сочиненія, доказывая, что онъ поверхностно знаетъ древности, — Клоцъ говорилъ друзьямъ, что перестанетъ писать о древностяхъ и займется другими предмета-ми,—и это не должно было спасти его: «Пусть онъ берется за что угодно, говорилъ Лессингъ своимъ пріятелямъ; — разъ принявшись за него, не покину я его: хотя бы онъ ушелъ въ римское право, я и туда пойду за нимъ».

Независимые ученые и литераторы, боявшіеся, но неуважавшіе Клоца, сначала радовались тому, что Лессингъ началъ школить этого наглеца, но черезъ нѣсколько времени имъ стало уже казаться, что Лессингъ довольно терзалъ его, что пора прекратить это истязаніе, имъ стало жаль бѣднаго Клоца, они стали прямо говорить Лессингу, что чрезмѣрная ожесточенность и продолжительность полемики вредить его собственной репутаціи, заставляя считать его человѣкомъ злобнаго характера. Мендельсонъ и Николаи, которые особенно страдали прежде отъ нападеній Клоца, особенно радовались первымъ «Антикварскимъ письмамъ»,—но потомъ не только Мендельсонъ, человѣкъ мягкаго характера, но и Николаи, суровый и мстительный, жалѣли Клоца, осуждали Лессинга и совѣтовали ему прекратить эту полемику. Публика, принявшая первую часть «Антикварскихъ писемъ» съ интересомъ, мало покупала вторую часть *),—ей ужъ наскучило это дѣло. Ничто не останавливало Лессинга, и онъ съ какимъ-то страннымъ пристрастіемъ работалъ надъ продолженіемъ «Антикварскихъ писемъ», оставивъ для этого другія занятія, которыя должны были бы казаться ему гораздо важнѣе и привлекательнѣе. Третья часть «Антикварскихъ писемъ» приготовлялась къ изданію, когда внезапно умеръ Клоцъ—только этимъ могло прекратиться ожесточенное преслѣдованіе со стороны Лес-

*) Только первыя письма были помѣщены Лессингомъ въ «Новой Гамбургской Газетѣ», продолженіе ихъ сталъ издавать Лессингъ отдѣльными книгами.

синга. «Умиѣ онъ поступилъ, нежели я ожидалъ отъ него,—онъ умеръ», написалъ Лессингъ, получивъ неожиданное извѣстіе:—«незабавно ли? Нѣтъ, впрочемъ, вовсе не забавно, не могу теперь смѣяться».

Это неумолимое преслѣдованіе, которое было прекращено только смертью Клоца, которое казалось слишкомъ продолжительно и жестоко даже друзьямъ Лессинга и врагамъ Клоца, которое наконецъ заставило почти всѣхъ осуждать непримиримую сварливость Лессинга,—было ведено Лессингомъ не въ увлеченіи досадою, не въ горячемъ расположеніи духа, которое, казалось, одно только могло бы служить извиненіемъ ожесточенію,—нѣтъ, совершенно обдуманно, по хладнокровному соображенію.

«Г. Клоцъ предполагаетъ (въ рецензіи о первой части «Антикварскихъ писемъ»), что я вооруженъ противъ него»,—говоритъ Лессингъ въ концѣ второй части этихъ «Писемъ»:—«вооруженъ ли я противъ него, могу ли казаться вооруженнымъ, этого я не знаю. Знаю только, что подъ вліяніемъ какихъ бы побужденій я ни писалъ, пишу очень хладнокровно. Не горячность, не увлеченіе заставило меня принять тонъ, которымъ я говорю съ г. Клоцомъ. Каждое слово противъ него пишу я съ самою спокойною преднамѣренностью, съ самою внимательною обдуманностью. Встрѣчая у меня какое нибудь насмѣшливое, горькое, жесткое слово, пусть не думаютъ, что оно только сорвалось у меня съ языка. Я по всевозможномъ обсужденіи рѣшилъ, что съ г. Клоцомъ нужна насмѣшливая, горькая, жесткая рѣчь, что ни отъ одного такого слова изъ написанныхъ мною я не могу пощадить его, не становясь предателемъ дѣлу, которое защищаю противъ него».

«Чѣмъ былъ г. Клоцъ? Чѣмъ захотѣлъ онъ стать? Чѣмъ онъ сталъ?»

Отвѣчая на этотъ тройной вопросъ, знаменитый въ исторіи нѣмецкой полемики, Лессингъ чрезвычайно язвительно доказываетъ фактами, что Клоцъ былъ льстецомъ, интригантомъ и пасквилянтомъ; что онъ хотѣлъ быть верховнымъ судьей въ литературѣ, не имѣя на то права; что онъ сдѣлался страшилищемъ всѣхъ честныхъ и независимыхъ людей, сталъ предводителемъ шайки безсовѣстныхъ литературныхъ бандитовъ. «Какъ же нужно поступать съ такимъ человѣкомъ?»—спрашиваетъ онъ дальше.—Такъ, какъ поступаютъ съ нимъ «Антикварскія письма».

Послѣдствія дѣйствительно оправдали способъ дѣйствія и тонъ, избранный Лессингомъ. Надобно было разъ навсегда положить конецъ вліянію интригантовъ и наглецовъ на литературу, надобно было вырвать съ корнемъ всякую возможность возрожденія того порядка дѣлъ, какой существовалъ во времена Готтшеда и Бодмера. «Антикварскія письма» сдѣлали это. Уничтожая Клоца, они уничтожили и ту систему, тотъ духъ, въ которомъ дѣйствовалъ этотъ послѣдній и самый блестящій представитель гнилаго и безстыднаго тщеславія, которое прежде управляло нѣмецкою литературою.

Новые люди, проникнутые инымъ направленіемъ, были навсегда освобождены «Антикварскими письмами» отъ опеки людей, подобныхъ прежнимъ авторитетамъ. Гердеръ, Меркъ, и Гёте (какъ рецензентъ) почувствовали себя самостоятельными, и непосредственно послѣ «Антикварскихъ писемъ» получили рѣшительный голосъ въ критикѣ. Старая привычка поддаваться авторитету интригантовъ и наглецовъ была очень сильна. Не говоря уже о писателяхъ прежняго поколѣнія, бывшихъ по времени своего литературнаго воспитанія сверстниками Лессинга,—напримѣръ о Гагедорнѣ, Глеймѣ, даже писатели новаго поколѣнія, воспитанные уже «Литературными письмами» Лессинга, все еще не освободились отъ вліянія старой привычки, поддерживаемой всѣми прежними поэтами и учеными. До «Антикварскихъ писемъ», самъ Гердеръ, первый изъ людей поколѣнія, слѣдовавшаго за Лессингомъ, восхищался знаменитымъ Клоцемъ,—а потомъ, тотъ же Гердеръ жалѣлъ, что Лессингъ тратилъ время на борьбу противъ «такого ничтожнаго человѣка», какъ Клоцъ, и на занятіе «такими незначительными предметами», какъ изслѣдованіе о рѣзныхъ камняхъ у древнихъ. Онъ забылъ, что самъ отбросилъ вредное чувство уваженія къ такимъ «ничтожнымъ» (armselig) людямъ только благодаря лессинговой полемикѣ противъ Клоца.

Не только противникъ, но и предметъ спора казался черезъ нѣсколько лѣтъ Гердеру недостойнымъ Лессинга. Въ самомъ дѣлѣ, главное содержаніе «Антикварскихъ писемъ»—изысканія о рѣзныхъ камняхъ у древнихъ, предметъ незначительный, способный скорѣе занимать сухаго спеціалиста, нежели великаго двигателя національной исторіи. Но, чтожь дѣлать? Только дилеттанты занимаются тѣмъ, что кажется важно именно для нихъ самихъ; предметы занятій историческаго человѣка опредѣляются духомъ времени

и потребностями окружающей его среды. Мы видѣли, что уничтожить Клоца было дѣломъ нужнымъ. Не любя ничего дѣлать на половину, Лессингъ взялся за свою задачу оригинальнымъ, но совершенно вѣрнымъ образомъ. Слава Клоца основывалась на его учености; ученость Клоца состояла главнѣйшимъ образомъ въ знаніи антиковъ. «Клоцъ и Винкельманъ»—было въ то время обыкновенною фразою. Взявшись за уничтоженіе авторитета Клоца, Лессингъ видѣлъ, что не довольно оборвать вѣтви,—надобно вырубить самый корень этого вреднаго дерева; не довольно было доказать, что Клоцъ плохой критикъ; силлогизмъ, на которомъ основывалась его репутація, былъ таковъ: «онъ великій знатокъ древностей,—онъ великій ученый; а великаго ученаго надобно слушать съ почтеніемъ»,—надобно было доказать, что онъ плохой знатокъ древности, и, съ уничтоженіемъ этого корня, падали невозвратно всѣ вѣтви его славы. Репутацію, укоренившуюся прочно, нельзя убить во мнѣніи большинства нѣсколькими замѣчаніями, какъ бы мѣтки и рѣшительны ни были они; указать шесть-семь промаховъ Клоца, какъ бы грубы они ни были, было недостаточно: масса литераторовъ и публики, разъ проникнувшаяся вѣрою въ его ученость, все-таки продолжала бы говорить: «ну, да; въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ ошибался; но все-таки онъ великій ученый; и на солнцѣ есть пятна»... Надобно было просмотрѣть весь дискъ этого мнимаго солнца, и доказать, что нѣтъ на немъ ни одного мѣста, которое не было бы пятномъ. Такъ и сдѣлалъ Лессингъ: взялъ книгу Клоца, просмотрѣлъ ее съ начала до конца, показалъ, что вся она—непрерывный рядъ шарлатанскихъ заимствованій и промаховъ. Уничтоживъ основаніе славы Клоца, Лессингъ не имѣлъ уже нужды подробно доказывать ничтожество другихъ его притязаній,—«если онъ, какъ это теперь уже доказано, плохо знаетъ даже то, въ чемъ вы предполагали его особенно сильнымъ, то легко вы поймете, какъ слабъ онъ во всемъ остальномъ»—нужно было доказать тезисъ, а выводъ слѣдствій былъ уже несомнителенъ для cadaго.

Впрочемъ, разъ мы уже замѣтили, по поводу «Вадемекума для г. Ланге», привычку Лессинга постоянно вплетать въ основной ходъ изслѣдованія эпизодическія изысканія, предметъ которыхъ часто бываетъ важнѣе общей тѣмы сочиненія,—та же метода соблюдена и здѣсь. Многія изъ «Антикварскихъ писемъ» имѣютъ до сихъ поръ живой интересъ, а изслѣдованіе «о томъ, какъ изображалась

у древнихъ смерть», возникшее также изъ «Антикварскихъ писемъ», есть одинъ изъ тѣхъ трактатовъ, которые всего болѣе способствовали утверженію истиннаго взгляда на систему греческихъ вѣрованій.

«Лаокоонтъ» и «Минна фонъ-Барнгельмъ» поставили Лессинга выше всѣхъ знаменитостей Германіи; «Гамбургская драматургія» еще болѣе упрочила его славу. Но по прежнему, слава не давала ему хотя бы скромныхъ средствъ къ жизни. Съ тѣхъ поръ, какъ упалъ «національный театръ», постоянною мечтою Лессинга снова сдѣлалось путешествіе въ Италію, о которомъ думалъ онъ еще въ Бреславлѣ; раза три-четыре въ годъ назначалъ онъ сроки, когда сѣдетъ на корабль или въ почтовую карету, чтобы скакать или плыть къ желанному югу,—но каждый срокъ проходилъ, и мечта все еще оказывалась неисполнимою. Напрасно продавалъ онъ книги, которыя удержалъ было какъ необходимѣйшія для себя, когда разставался съ своею библіотекою,—денегъ все-таки у него не доставало не только для путешествія, но и для жизни въ Гамбургѣ. «Положеніе мое таково, что я долженъ продать всѣ книги и вещи, которыя еще остаются у меня»,—писалъ онъ, въ іюлѣ 1769 года, къ брату, жившему въ Берлинѣ. «Сердце у меня обливается кровью, когда я подумаю о томъ, что не могу теперь послать денегъ роднымъ въ Каменецъ: но въ настоящую минуту я бѣднѣе всѣхъ своихъ родныхъ; они по крайней мѣрѣ не обременены долгами, а я, при частыхъ недостаткахъ въ необходимѣйшемъ, по уши въ долгу. Какъ и помочь этому, не знаю». Долги, изъ которыхъ онъ не надѣется выпутаться, состояли всего въ нѣсколькихъ стахъ талерахъ,—но для Лессинга и эта сумма была огромна.

Но отъ своего правила: не искать мѣстъ, и не принимать предлагаемыхъ мѣстъ, если они ему не по сердцу, Лессингъ не отступался. Весною 1769 года ему предлагали мѣсто драматурга при вѣнскомъ театрѣ съ 3,000 гульденовъ (около 2,000 руб. сер.) жалованья, — но Лессингъ отказался, потому что присмотрѣвшись въ Гамбургѣ къ театральнымъ интригамъ, не хотѣлъ уже имѣть никакого дѣла съ театрами. Когда же ему черезъ нѣсколько мѣсяцевъ было предложено мѣсто библіотекаря при знаменитой библіотекѣ въ Вольфенбюттелѣ, съ 600 талеровъ (550 руб. сер.) жалованья, онъ съ восторгомъ принялъ это приглашеніе, которое дѣйствительно спасало его отъ самыхъ стѣснительныхъ обстоятельствъ.

Мѣсто это было предложено ему отъ имени наслѣднаго принца Фердинанда Брауншвейгскаго, который ждалъ его прїѣзда съ нетерпѣніемъ. Но болѣе четырехъ мѣсяцевъ прошло прежде, нежели Лессингъ выѣхалъ изъ Гамбурга. Профессоръ Эбертъ, черезъ котораго наслѣдный принцъ сдѣлалъ приглашеніе, рѣшительно недоумѣвалъ, какія остановки могли такъ долго задержать его; Лессингъ извинялъ свое промедленіе то болѣзною, то неудобствомъ погоды, то различными другими предлогами; но истинная причина была совершенно другая—Лессингъ продавалъ свои остальные вещи, чтобы собрать небольшую сумму денегъ, какая нужна для переѣзда изъ Гамбурга въ Брауншвейгъ. Наконецъ, кое какъ дѣла были устроены, и въ апрѣлѣ 1770 года Лессингъ прїѣхалъ въ Брауншвейгъ, былъ представленъ ко Двору, и въ маѣ отправился къ своему бібліотекарскому мѣсту въ Вольфенбюттель.

Первое время новой жизни прошло для Лессинга очень прїятно: бібліотека очаровала его своимъ богатствомъ, сотнями тысячъ книгъ и огромною коллекціею рукописей, въ числѣ которыхъ многія были очень важны для науки и совершенно еще неизвѣстны. Лессингъ вступилъ въ должность съ твердымъ намѣреніемъ сдѣлать все возможное для открытія и обнародованія скрывавшихся въ ней сокровищъ, и поиски его были очень счастливы. Въ первые же дни по прїѣздѣ, онъ нашелъ очень важное для церковной исторіи XI вѣка сочиненіе извѣстнаго богослова Беренгарія Турскаго, до той поры считавшееся утраченнымъ, и немедленно издалъ обширное историко-теологическое изслѣдованіе о немъ съ обзоромъ его содержанія. За тѣмъ быстро слѣдовали другія важныя открытія и изслѣдованія. Къ каждому издаваемому отрывку или сочиненію, Лессингъ писалъ предисловіе, которое бывало обыкновенно еще важнѣе самого сочиненія, объясненіемъ которому служило.

Но Лессингъ былъ не такой человѣкъ, котораго могли бы долго удовлетворить старыя книги и рукописи. Не прекращая занятій ими, онъ скоро принялся за обработку давно задуманной трагедіи, которая изображала бы среди новаго міра коллизію, подобную той, которая извѣстна всѣмъ изъ римской легенды о судьбѣ Виргиніи. Въ 1772 году явилась «Эмилиа Галотти». Мы не будемъ говорить объ успѣхѣ, который имѣла эта пьеса,—замѣтимъ только, что въ даровитой молодежи произвела она фуроръ. Черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, вспоминая о дѣйстви «Эмилии Галотти» на

тогдашнюю литературу, Гёте сравниваетъ нѣмецкую поэзію съ Латоною, которая, гонимая гнѣвомъ Геры, долго и напрасно искала себя пріюта, и говоритъ: «наконецъ послѣ долгой, многолѣтней борьбы, возникла эта пьеса, какъ островъ Делось, изъ пучины готтшедо-геллерто-вейссеваго наводненія, чтобы пріютно успокоить странствующую богиню. «Эмилиа Галотти» ободрила насъ, молодыхъ людей; мы были очень много обязаны Лессингу». Сравненіе нѣмецкой музы съ Латоною, а «Эмилиа Галотти» съ островомъ Делосомъ, слишкомъ кудреватое, но оно довольно ясно показываетъ, что Гёте (которому было тогда 23 года, и который въ слѣдующемъ году издалъ своего «Гёца») и его литературнымъ друзьямъ «Эмилиа Галотти» представилась, какъ явленіе, до той поры небывалое, безпримѣрное въ нѣмецкой поэзіи, какъ достиженіе цѣли, къ которой стремилось все многолѣтнее развитіе нѣмецкой поэзіи, что на поэтовъ молодаго поколѣнія (и въ томъ числѣ Гёте) эта трагедія имѣла сильнѣйшее вліяніе. Замѣтимъ здѣсь кстати слова: «она ободрила насъ молодыхъ людей» — они напомнятъ читателю то, что мы говорили о существенномъ характерѣ вліянія Лессинга: оно развязывало руки талантливымъ людямъ, оно вызывало на самостоятельную дѣятельность, — рѣдкое, какъ мы уже говорили, исключеніе изъ обыкновеннаго порядка дѣлъ, по которому гений, возвышая васъ до себя, съ тѣмъ вмѣстѣ поработачиваетъ васъ себя. У Лессинга была не такая натура: независимость была его задушевнымъ желаніемъ для себя и для другихъ; подчинять себя другихъ было ему также противно, какъ и подчиняться другимъ. Черта, отличавшая характеръ человѣка, отразилась на духѣ и дѣйствіи его произведеній.

Гёте и его друзья 1770-тыхъ годовъ не ошибались, видя въ «Эмилиа Галотти» явленіе небывалое до той поры. Этою трагедіею начинается новый періодъ нѣмецкой поэзіи. Мы видѣли, что уже черезъ два фазиса развитія провелъ нѣмецкую поэзію Лессингъ своими двумя прежними драмами: «Сара Сампсонъ» ввела въ поэзію патетизмъ и человѣка, вмѣсто прежней пустозвонной шумихи и деревянныхъ героевъ; «Минна фонъ-Барнгельмъ» ввела въ нѣмецкую поэзію національный элементъ. Оставалось поэзіи совершить еще одинъ шагъ, чтобы занять положеніе, приличное ей въ національной жизни, — оставалось ей принять въ себя такое содержаніе, которое ставило ея произведенія въ гармонію съ великими истори-

ческими интересами національнаго развитія. Примѣръ тому, «ободрившій насъ, молодыхъ людей», какъ признается за себя и своихъ друзей Гёте, былъ показанъ «Эмилиєю Галотти».

Мы не будемъ пересказывать здѣсь сюжетъ «Эмили Галлотти», отлагая это до другаго мѣста. Довольно замѣтить, что эта трагедія—исторія Виргиніи, совершающаяся при итальянскомъ Дворѣ въ XVI, или, пожалуй, XVII, или, еще вѣрнѣе, въ XVIII вѣкѣ. Просимъ читателей вспомнить, что мы говорили о Германіи XVIII вѣка въ нашей первой главѣ, и для нихъ будетъ ясно, какое отношеніе имѣлъ такой сюжетъ къ фактамъ, совершавшимся въ глазахъ тогдашней нѣмецкой публики. «Гецъ фонъ-Берлихингенъ», «Эгмонтъ», «Разбойники», «Донъ Карлосъ», «Коварство и Любовь», «Вильгельмъ Телль» — все это драмы того разряда, который начинается «Эмилией Галотти» *).

«Эмили Галотти» въ поэзіи стоитъ на границѣ между эпохами дѣятельности двухъ различныхъ поколѣній; точно также стоитъ на границѣ между эпохами дѣятельности двухъ различныхъ поколѣній «Гамбургская Драматургія» въ литературной критикѣ. До сихъ поръ, всѣ ряды, всѣ партіи литературы состояли изъ людей, бывшихъ сверстниками Лессинга или старше его. Онъ, человѣкъ далеко опередившій свое поколѣніе, былъ нравственно одинокъ между ними. Правда, многіе изъ нихъ были воспитаны имъ; почти всѣ остальные сильно были передѣланы его вліяніемъ. Но истинно въ плоть и кровь обращаются идеи воспитателя только у того, кто воспитанъ имъ съ самаго дѣтства. Изъ всѣхъ друзей Лессинга, ближайшимъ былъ Мендельсонъ; его развитіе подвергалось постоянному дѣйствію Лессинга съ болѣе ранней поры, нежели развитіе

*) Мы проводили параллель между фазисами нѣмецкой литературы, ознаменованными появленіемъ «Сары Сампсонъ» и «Минны фонъ-Барнгельмъ» и соотвѣствующими фазисами русской литературы. Появленіемъ «Эмили Галлотти» прекращается возможность такого сравненія, потому что въ русской литературѣ подобнаго періода мы не находимъ. Намъ могутъ указать на Гоголя и его продолжателей. Не уступая никому въ уваженіи къ этимъ писателямъ, мы должны, однако же, признаться, что, по широтѣ изображаемыхъ сюжетовъ, сравнивать ихъ произведенія съ произведеніями, названными нами въ текстѣ, невозможно. Когда смотришь на поэзію съ исторической точки зрѣнія, то нельзя не замѣтить, что обстановка, среди которой совершается въ поэтическомъ произведеніи дѣйствіе, есть элементъ чрезвычайно важный для значенія произведенія.

кого нибудь другого; до появленія на сцену новыхъ людей, Лессингъ называлъ его «лучшею головою», какую только знаетъ; по своему исключительному положенію въ обществѣ, Мендельсонъ былъ скорѣе всякаго готовъ къ принятію новыхъ идей. И, однако же, Мендельсонъ, втеченіе многихъ лѣтъ ежедневно бесѣдуя съ нимъ, не понималъ Лессинга такъ хорошо, какъ человѣкъ новаго поколѣнія, Якоби, который провелъ съ Лессингомъ всего только нѣсколько вечеровъ. А между тѣмъ, Якоби, по своей натурѣ, былъ гораздо ниже Мендельсона и, между людьми новаго поколѣнія былъ однимъ наименѣе способнымъ понимать Лессинга. Между своими сверстниками, Лессингъ былъ совершенно одинокъ.

Но вотъ, воспиталось новое поколѣніе, — въ критикѣ, появляются Гердеръ, Меркъ, Лихтенбергъ, Гёте; въ поэзіи — Гёте, Ленцъ, Клингеръ, Лейзевицъ, и, въ одно время съ ними, около начала 1770-тыхъ годовъ, всѣ безчисленные критики и поэты періода «бурныхъ стремленій». Всѣ они воспитаны преимущественно Лессингомъ, многіе — исключительно Лессингомъ. Каково-то будетъ отношеніе учителя къ нимъ, каково-то будетъ отношеніе ихъ къ учителю?

Именно тутъ и обнаружилась самымъ яркимъ и рѣдкимъ образомъ его натура, удивительная по своей необыкновенности, совершенно нормальная по своей разумности. Когда они выступили на сцену, онъ совершенно сошелъ съ этой сцены, вполне уступая имъ мѣсто. Онъ пересталъ работать для поэзіи, для литературной критики. «Теперь и безъ меня довольно исправныхъ работниковъ на этихъ поляхъ, — мое дѣло кончено, я сталъ бы только мѣшать имъ; они и безъ меня сдѣлаютъ все, что нужно, — они умѣютъ и хотятъ работать, пусть же трудятся, какъ умѣютъ и какъ хотятъ». Роль воспитателя должна кончаться, когда воспитанники совершенно приготовлены.

Значило ли это, что онъ вполне ими былъ доволенъ? Значило ли это, что онъ увидѣлъ себя безсильнымъ побороть ихъ, если не былъ доволенъ ими? Или это значило, что онъ усталъ работать и радъ былъ случаю бросить работу? Въ извѣстныхъ отношеніяхъ, на всѣ эти вопросы надобно отвѣчать: «да», въ другихъ отношеніяхъ — «нѣтъ».

Новые дѣятели поэзіи и критики сильно возбуждали мысль своего народа, всѣ были проникнуты любовію къ добру и истинѣ,

многіе изъ нихъ были чрезвычайно даровиты, нѣкоторые—геніальны: во всѣхъ этихъ отношеніяхъ Лессингъ могъ быть совершенно доволенъ ими. Еще важнѣе было то, что они были люди независимыхъ мнѣній и самостоятельныхъ стремленій; ихъ нельзя было ни запугать, ни ослѣпить авторитетомъ, они провѣряли самымъ строгимъ образомъ каждый авторитетъ, и скорѣе расположены были, лишь бы только допустила истина, воспротивиться, чѣмъ послѣдовать ему—въ такомъ настроеніи умственной жизни была сущевнѣйшая историческая потребность, оно требовалось и натурою самого Лессинга,—въ этомъ отношеніи, онъ могъ гордиться своими наслѣдниками. Каждый изъ нихъ шелъ по тому пути, какой самъ считалъ лучшимъ,—но по какому бы пути ни шелъ кто изъ нихъ, Лессингъ могъ видѣть, что этотъ путь, въ числѣ многихъ другихъ путей, указанъ и проложенъ имъ, Лессингомъ. Каждый изъ нихъ разрабатывалъ общее поле по своему, но поле это было то самое, которое указалъ Лессингъ, и цѣль у всѣхъ была общая, та самая, для которой трудился и онъ—пробужденіе сознанія въ нѣмецкомъ народѣ, пробужденіе энергіи и прямоты въ умственной жизни народа.

Люди новаго поколѣнія были воспитанники Лессинга и работали, вообще говоря, сообразно примѣру, поданному общимъ учителемъ. Конечно, мы не можемъ здѣсь перечислять всѣ признаки, которыми отразилось изученіе его произведеній на каждомъ изъ этихъ новыхъ дѣятелей,—но пусть представителями родовой связи будутъ два значительнѣйшіе изъ нихъ, Гердеръ и Гёте, которые, оставаясь каждый очень многостороннимъ, все-таки какъ бы раздѣлили между собою дѣятельность, обнимавшую у Лессинга равно всѣ стороны литературы, и сдѣлались знамениты, одинъ—по преимуществу теоретическими трудами, другой—осуществленіемъ теоріи въ художественныхъ произведеніяхъ.

Гердеръ до такой степени былъ пропитанъ сочиненіями Лессинга, что изъ теоретическихъ произведеній учителя не осталось почти ни одного, которое не подадо бы ученику случая къ сочиненію въ томъ же родѣ, на ту же тему. Лессингъ писалъ «Защищенія» (Rettungen—изысканія съ цѣлью возстановить добрую славу о характерѣ и нравственныхъ правилахъ того или другаго знаменитаго стараго писателя, по неосновательнымъ обвиненіямъ прослышавшаго дурнымъ челоѡкомъ), между прочимъ «Защищеніе Горація»—и Гердеръ написалъ «Защищеніе Горація»; Лессингъ напи-

сать изслѣдованіе объ эпиграммѣ—и Гердеръ написалъ изслѣдованіе объ эпиграммѣ; Лессингъ написалъ изслѣдованіе о баснѣ—и Гердеръ написалъ изслѣдованіе о баснѣ; различныя разсужденія или отдѣльныя мысли Лессинга породили изслѣдованія Гердера «О знаніи и незнаніи», «Взгляды на будущность человѣчества», «Палингенезія» и т. д. «Литературными письмами» Лессинга были порождены «Отрывки для нѣмецкой литературы» Гердера; «Лаокоономъ» и «Антикварскими письмами» Лессинга—«Критическія лѣса» Гердера и т. д. *). Не даромъ говорилъ Гердеръ, что «какъ онъ ни бьется, а все таки единственный человѣкъ, интересующій его—Лессингъ». Мы по необходимости указываемъ только нѣкоторые изъ тѣхъ случаевъ, когда цѣлое сочиненіе Гердера все цѣликомъ возникло изъ сочиненія, написаннаго Лессингомъ; разсматривать связь идей Гердера съ идеями Лессинга было бы слишкомъ долго и неумѣстно здѣсь,—но легко угадать, до какой степени воззрѣнія Гердера обуславливались мыслями, указанными ему Лессингомъ, если большая часть его сочиненій прямо написаны на темы, данныя ему Лессингомъ. И не надобно воображать, чтобы такое отношеніе существовало только въ первый періодъ дѣятельности Гердера,—нѣтъ, оно не измѣнялось до конца его жизни.

Случайно, мы уже приводили нѣсколько сужденій Гёте о дѣйствіи нѣкоторыхъ сочиненій Лессинга на развитіе самого Гёте,—мы уже видѣли, какъ онъ самъ признавался, что «Лаокоонъ» «озарилъ его какъ молнія», и овладѣлъ его мыслью на многіе годы, что «Эмилія Галотти» «ободрила» его,—прибавимъ къ этому слова Гёте о «Миниѣ фонъ-Баригельмъ».—«Очень сильно подѣйствовала на насъ эта пьеса. Дѣйствительно, она была блестящимъ метеоромъ въ тѣ темныя времена. Она дала намъ понять, что существуетъ нѣчто высшее всего того, о чемъ знала тогдашняя эпоха». Мы видѣли также, какой сильный отпечатокъ на манеру Гёте положили даже второстепенныя замѣчанія Лессинга, напримѣръ хотя бы о томъ, что описаніе предмета должно въ поэзіи замѣняться разсказомъ его происхожденія и судьбы. Число этихъ примѣровъ легко было бы умножить **). Но мы лучше хотимъ замѣнить ихъ нѣсколь-

*) Гервингусъ.

**) Напримѣръ: Гёте, когда былъ въ Италіи, почелъ необходимою написать изслѣдованіе о статуѣ Лаокоона; перевелъ сочиненія Дидро, на которыя указалъ Лессингъ, и проч.

кими чертами сходства между Лессингомъ и не однимъ Гёте, а всѣми поэтами той эпохи, которой по духу и манерѣ принадлежать «Вертеръ» и «Гецъ фонъ-Верлихингенъ».

Лессингъ осмѣялъ знаменитое правило о соблюденіи въ драмѣ трехъ единствъ, указавъ на Шекспира, какъ поэта, произведенія котораго должны вѣчно быть въ памяти каждого драматурга, — тотчасъ послѣ этого является поклоненіе Шекспиру, подражаніе Шекспиру, забота о томъ, чтобы не показаться соблюдающимъ какое нибудь изъ трехъ единствъ; преимущественно вліянію Лессинга надобно приписать и преобладаніе драмы въ тотъ періодъ нѣмецкой литературы: Лессингъ писалъ исключительно драмы, и всѣ начали писать драмы и драмы.

Тоже самое было и съ литераторами, которые дѣйствовали на ученомъ поприщѣ: Лессингъ былъ полигисторъ, и всѣ захотѣли быть полигисторами, трудиться не для одной какой нибудь науки, а для всѣхъ гуманитарскихъ наукъ за разъ, отъ эстетики и философіи до древностей и теологій. Лессингъ писалъ все только отрывки, никогда не доканчивая всего сочиненія, какъ сначала хотѣлъ написать его, — и всѣ начали писать отрывки, и явилось въ нѣмецкой литературѣ цѣлое племя «фрагментаристовъ»; Лессингъ возставалъ противъ цеховой учености и педантства, — и всѣ начали возставать противъ цеховой учености и педантства. Наконецъ — общая черта, въ которой соединялись и поэты и мыслители періода, слѣдовавшаго за «Гамбургскою Драматургіею» и «Эмилиєю Галотти»: Лессингъ говорилъ о самостоятельности, о строжайшемъ переизслѣдованіи всего, что внушается авторитетами, завѣщано преданіемъ, о повѣркѣ собственнымъ анализомъ всѣхъ правилъ, всего, что принято нами съ дѣтства, какъ аксіома, — независимость мнѣній стояла для него выше всѣхъ: — и самымъ горячимъ стремленіемъ періода, начавшагося съ 1770 годами, было стремленіе къ повѣркѣ, къ переизслѣдованію всѣхъ правилъ, всѣхъ авторитетовъ, неприниманіе ничего на-слово, общимъ лозунгомъ всѣхъ была самостоятельность и оригинальность.

Сильно было его вліяніе на эту эпоху и всѣхъ лучшихъ ея дѣятелей: если имѣть въ виду только общія черты этихъ людей, то они всѣ сходятся въ томъ, что вышли изъ Лессинга. Но ихъ крикъ о самобытности не былъ пустою претензією: дѣйствительно, развившись благодаря Лессингу, ни одинъ изъ нихъ не утратилъ

черезъ это воспитаніе ни одной черты, принадлежавшей его личности. Укажемъ опять на одного изъ двухъ главныхъ представителей того времени, на Гердера. О Гёте нечего и говорить: каждому изъ читателей, конечно, очевидно, что онъ нисколько не напоминаетъ собою Лессинга; о подчиненности его, какъ поэта, Лессингу не можетъ быть и рѣчи: онъ несравненно выше своего воспитателя по поэтическому таланту. Но Гердеръ, всѣмъ обязанный Лессингу, напоминаетъ собою, однако же, вовсе не Лессинга, а другого своего учителя, извѣстнаго полигистора Гаманна, который не долюбивалъ Лессинга и составлялъ рѣшительную противоположность съ нимъ: тотъ же фосфорическій блескъ отдѣльныхъ мыслей, но и тотъ же восточный тонъ восторженной рѣчи, та же безпорядица въ воззрѣніяхъ, тоже фантазерство, та же раздражительность ипохондрическаго самолюбія, тотъ же отгѣнокъ чего-то въ родѣ юнгъ-штиллингизма или лафатерщины,—вообще, въ манерѣ и въ воззрѣніяхъ что-то похожее на Шатобріана. Отчасти превосходствомъ натуры, отчасти вліяніемъ Лессинга значительно сгладились въ Гердерѣ эти недостатки и угловатости, но все-таки они остались еще очень рѣзки. Вотъ одинъ изъ примѣровъ, по которымъ можно судить о томъ, до какой степени отличались слѣдствія лессингова вліянія отъ обыкновенныхъ слѣдствій, какими отпечатывается на человѣкѣ подчиненіе чьему нибудь вліянію: Гаманнъ, гораздо менѣе Лессинга содѣйствовавшій развитію Гердера, отразился въ немъ со всѣми своими недостатками; Лессингъ, давшій ему все, не навязалъ ему ничего чуждаго его натурѣ. Не говоримъ уже о томъ, что Гаманну Гердеръ до конца только поддакивалъ, какъ авторитету, а съ Лессингомъ съ самого начала спорилъ, какъ съ простымъ человѣкомъ, нисколько не стѣсняясь,—а пробужденіе такой независимости и было существенной потребностью исторіи, главною задачей Лессинга.

Итакъ—возвращаемся къ нашимъ вопросамъ—Лессингъ могъ быть вполне доволенъ людьми, которымъ совершенно уступалъ критическое и поэтическое поприще? Быть можетъ, именно потому онъ и сошелъ съ этого поприща, что много и лучшаго, нежели дѣлали они, и не могъ желать сдѣлать?—Не совсѣмъ.

Всѣ вмѣстѣ, какъ одно цѣлое, люди молодого поколѣнія были вѣрны Лессингу. Но въ частности, каждый изъ нихъ по кругу сво-

ихъ воззрѣній и сочувствій былъ гораздо одностороннѣе его *). Таковъ естественный ходъ историческаго развитія во всѣхъ сферахъ, что первоначальное равновѣсіе различныхъ элементовъ, обнимаемыхъ вновь возникшимъ стремленіемъ, разрушается при дѣйствіи этого стремленія, такъ что одна сторона его беретъ перевѣсъ надъ другими, и основное единство распадается на множество направленій, изъ которыхъ одно, наиболѣе благопріятствуемое историческими обстоятельствами, становится господствующимъ, оттѣсняя всѣ другія на задній планъ.

Было бы слишкомъ долго и неумѣстно говорить здѣсь, почему сильнѣйшіе люди новаго поколѣнія, Гердеръ и Гёте, склонились на ту, а не на другую сторону. Довольно сказать, что сторона, къ которой склонялись они, была антипатична Лессингу. У Гердера слабою стороною было излишнее преобладаніе воображенія надъ разсудкомъ, у Гёте (въ ту эпоху, эпоху «Вертера» и увлеченія поддѣльными оссіановскими пѣснями) сантиментальность. Отсюда происходило пристрастіе Гердера къ Гаманну, пристрастіе Гёте къ людямъ, подобнымъ Лафатеру, уживчивость его съ людьми, подобными Юнгу-Штиллингу. Такія предпочтенія казались Лессингу неразумными и вредными, и произведенія, написанныя въ этомъ направленіи, фальшивыми. Чтобы не растягивать нашего разсказа, приведемъ только одинъ примѣръ—сужденіе Лессинга о «Вертерѣ». Читатели знаютъ, что сюжетъ этого романа данъ Гёте дѣйствительнымъ событіемъ—судьбою Іерузалема (сына извѣстнаго теолога), который лишилъ себя жизни. Вотъ знаменитое письмо Лессинга къ Эшенбургу объ этомъ романѣ:

«Чрезвычайно благодаренъ вамъ любезный Эшенбургъ, за удовольствіе, которое доставили вы мнѣ, одолживъ романъ Гёте. Возвращаю вамъ его днемъ раньше условленнаго срока, чтобы другіе поскорѣ могли насладиться этимъ удовольствіемъ.

*) Мы говоримъ о духѣ, проникавшемъ систему воззрѣній того или другаго изъ новыхъ дѣятелей, а не о широтѣ круга ихъ занятій,—занятія могли бы быть раздѣлены между различными людьми безъ вреда для всесторонности духа, ихъ оживлявшаго,—но эта всесторонность и была утрачена; а кругъ занятій у многихъ изъ людей новаго поколѣнія былъ чрезвычайно многосторонень. Гёте былъ въ этомъ отношеніи даже универсальнѣе Лессинга, обнимая, кромѣ тѣхъ отраслей знанія или мысли, для которыхъ трудился Лессингъ, и естественныя науки, которыя лежали внѣ круга дѣятельности Лессинга, хотя и бывшаго подобно Шиллеру, въ молодости медикомъ.

«Но какъ вамъ кажется: чтобы не надѣлать больше вреда, нежели пользы, не должно бы это столь теплое произведеніе имѣть коротенькій холодный эпилогъ? Нужно бы нѣсколько словъ о томъ, какъ развился въ Вертерѣ такой странный характеръ; какъ другой юноша съ подобными наклонностями можетъ уберечь себя отъ этого. Вѣдь онъ, пожалуй, можетъ принять поэтическую красоту за нравственную и вообразить, что если этотъ человѣкъ столь сильно возбуждаетъ наше участіе, то значить, что онъ былъ *хорошъ*. А онъ вовсе не былъ хорошъ. И если бы нашъ Іерусалемъ *) былъ совершенно въ такомъ душевномъ состояніи, то я... почти что, презиралъ бы его. Скажите, греческій или римскій юноша лишился ли бы себя жизни *такъ и изъ-за такой причины*? Навѣрное, нѣтъ. О, они умѣли не поддаваться фантазерству въ любви, и во времена *Сократа*, такую *ex erôtos katoché* (коллизію отъ любви), доводящую до *ti tolmaîn para physin* (до лишенія себя жизни) простили бы развѣ какой нибудь дѣвченкѣ. Производить такихъ мелко-великихъ, презрѣнно-милыхъ оригиналовъ было предоставлено только нашему ново-европейскому воспитанію, которое такъ отлично умѣетъ превращать физическую потребность въ душевное совершенство. И такъ, любезный Гёте, прибавьте въ концѣ еще маленькую главу, и чѣмъ циничнѣе, тѣмъ лучше».

Лессингъ хотѣлъ очистить память своего молодого друга отъ «презрѣнной слабости», которую ввозилъ на него романъ, — для этого, онъ издалъ сочиненія Іерусалема сына, съ предисловіемъ, въ которомъ изображалъ покойнаго, какъ человѣка съ мужественнымъ характеромъ и свѣтлой головой. Лессингъ такъ сильно возмущался «Вертеромъ» Гёте, что у него однажды мелькнула даже мысль развить эту тему съ здоровой мужественной точки зрѣнія: сохранился листокъ, на которомъ онъ набросалъ въ нѣсколькихъ строкахъ планъ первой сцены для драмы «*Werther, der bessere*» — «Вертеръ, болѣе достойный уваженія».

Нѣтъ надобности доказывать, что Лессингъ былъ правъ въ своемъ недовольствѣ тенденціею, отразившеюся на «Вертерѣ»; онъ вѣрно предугадалъ, что романъ этотъ будетъ имѣть вредное вліяніе на молодежь, выставя въ идеальномъ свѣтѣ болѣзненное малодушіе своего героя.

*) Лессингъ любилъ этого несчастнаго юношу.

Не былъ доволенъ Лессингъ и тѣмъ направленіемъ, какое получила драма въ періодъ «бурныхъ стремленій». Онъ внушалъ уваженіе къ Шекспиру, — но молодежь, съ обыкновенною своею склонностью доводить всякое чувство до крайностей, дошла въ энтузіазмѣ къ Шекспиру до нелѣпостей, и старалась какъ можно ближе подражать даже тому, что вовсе не важно въ Шекспирѣ и, скорѣе, составляетъ его недостатокъ, нежели достоинство: эксцентричность выраженій и другія особенности, объясняемыя только вкусомъ вѣка, въ которомъ жилъ Шекспиръ, казались этимъ драматургамъ столько же драгоценными и необходимыми принадлежностями «геніальности», какъ дѣйствительныя достоинства шекспировыхъ драмъ. Тогда-то возникло понятіе о качествахъ поэта и его произведеній, извѣстное намъ по преданіямъ романтизма: только тотъ истинный поэтъ, кто растрепанъ, кто съ пренебреженіемъ смотритъ на людей, ведущихъ себя благоприлично, кто старается каждою строкою своихъ произведеній шокировать разсудительныхъ людей. Это все называлось «геніальностью». Такія эксцентричныя замашки сильно не нравились Лессингу, который смотрѣлъ на искусство, какъ древній грекъ.

Молодежь инстинктивно предчувствовала, что Лессингъ не можетъ сочувствовать ея одностороннимъ излишествахъ, и если многіе изъ новыхъ дѣятелей литературы, — напримѣръ, Гердеръ и Лейзевицъ, — лично были въ дружескихъ отношеніяхъ съ Лессингомъ, то иные какъ-то чуждались его. Любопытное свидѣтельство послѣдняго оставилъ Гёте о себѣ и своихъ лейпцигскихъ друзьяхъ въ своей автобіографіи. Весною 1768 года Лессингъ пріѣзжалъ въ Лейпцигъ, — Гёте былъ тогда студентомъ Лейпцигскаго Университета (ему было 19 лѣтъ): «Богъ знаетъ, что такое было у насъ тогда въ головѣ, рассказываетъ онъ: — намъ вздумалось не только не искать случая видѣть Лессинга, напротивъ, избѣгать тѣхъ мѣстъ, гдѣ могли бы мы встрѣтить его. Это временное дурачество, которое нерѣдко находить на самолюбивыхъ и капризныхъ юношей, было впоследствии наказано тѣмъ, что я уже никогда не имѣлъ случая узнать въ лицо этого великаго и чрезвычайно уважаемаго мною человѣка».

Радуюсь вообще пробужденію свѣжихъ и могучихъ силъ, стремившихся вообще къ цѣлямъ, которые были также и его цѣлями, Лессингъ замѣчалъ въ дѣятельности главныхъ людей молодого поколѣнія и важныя ошибки, отъ которыхъ предвидѣлъ дурныя слѣдствія, — какъ то и исполнилось на дѣлѣ возникновеніемъ романти-

ческой школы: Шлегели, Тикъ и проч. произошли изъ односторонностей, которымъ поддались Гёте, Гердеръ и ихъ друзья. Почему же онъ не боролся противъ этихъ уклоненій?

Борьба человѣка стараго поколѣнія противъ молодого поколѣнія всегда бываетъ безуспѣшна, хотя бы этотъ человѣкъ и говорилъ правду. Историческія увлеченія не могутъ быть побѣждаемы въ самомъ началѣ своимъ отвлеченными разсужденіями,—только тогда они отвергаются обществомъ, когда они принесутъ плоды, по которымъ испытаетъ общество ихъ ошибочность и вредность. Съ успѣхомъ начать борьбу противъ увлеченій сентиментализма и фантазерства можно было только тогда, когда романтизмъ уже выказалъ, каковы послѣдствія этихъ наклонностей, являвшихся въ началѣ идеально-прекрасными, возвышенными и очаровательными, — уже только въ наши времена, а не въ 1770-тыхъ годахъ.

Чего невозможно сдѣлать, за то и не принимался Лессингъ. Духъ вѣка, всѣ живыя симпатіи націи, всѣ даровитые люди молодого поколѣнія были бы противъ него, еслибъ онъ началъ борьбу противъ направленія, которое наложило свою печать на «Вертера» и «Гёца фонъ Берлихингена». Напрасны были бы его усилія—а натура его была такова, что онъ не дѣлалъ ничего напраснаго. Не въ его характерѣ было бороться противъ новаго, онъ по природѣ своей былъ расположенъ только готовить его. А когда оно было приготовлено его трудомъ, когда онъ видѣлъ своихъ воспитанниковъ, которые были уже въ силахъ осуществить его мысль,—онъ уже терялъ охоту наблюдать за тѣмъ, чтобы эта мысль была во всѣхъ подробностяхъ исполнена именно такъ, какъ ему казалось лучше—довольно того, что она исполняется — надобно же дать волю людямъ; нравственная опека, предохраняя отъ ошибокъ, убиваетъ и энергію и разумъ, если будетъ простирается далѣе, нежели надлежитъ ей по закону природы. Въ историческомъ развитіи неизбежны увлеченія и ошибки—кто хотѣлъ бы непремѣнно воспрепятствовать имъ, воспрепятствовалъ бы вмѣстѣ съ ними всякое развитіе, хотѣлъ бы убивать жизнь.

Натура Лессинга была такова, что работа становилась для него утомительна, какъ скоро онъ видѣлъ, что она можетъ быть удовлетворительно исполнена другими, какъ скоро онъ чувствовалъ, что поставилъ вопросъ въ надлежащемъ свѣтѣ и вызвалъ людей для его разрѣшенія. Ему скучно стало писать для «Литературныхъ писемъ», когда его трудами были уже достаточно приготовлены люди, мог-

шіе продолжать это дѣло; и теперь, когда были приготовлены люди, могшіе продолжать дѣло, начатое его драмами, «Лаокоономъ» и «Гамбургскою драматургіею», ему скучно стало писать драмы и заниматься литературною критикою. Эти занятія утомили его, опротивѣли ему — много разъ онъ отказывался отъ всякихъ предложеній вновь заняться при томъ или другомъ театрѣ дѣломъ, которое столь блистательно исполнилъ при гамбургскомъ національномъ театрѣ; послѣ изданія «Эмили Галотти», онъ во всѣхъ письмахъ говоритъ, что потерялъ всякое расположеніе и всякую способность писать драмы, и никогда уже ничего не думаетъ писать въ этомъ родѣ. Правда, черезъ нѣсколько лѣтъ написалъ еще драму, которая стоитъ выше всѣхъ прежнихъ, которую нѣмцы ставятъ выше всѣхъ произведеній самого Гете, кромѣ «Фауста»,—но она была внушена ему мыслями, уже совершенно чуждыми любви къ театру или желанію трудиться для искусства. У ней была другая цѣль.

Лессингъ усталъ работать — но только для тѣхъ цѣлей, достиженіе которыхъ было теперь обезпечено. Не работать онъ не могъ. Мы знаемъ, что такое называется въ Сѣверо-американскихъ Штатахъ колонистомъ «Дальняго Запада» — это человѣкъ, которому скучно жить и работать на тѣхъ заселенныхъ поляхъ, обработка которыхъ стала уже доступна силамъ каждаго; онъ уходитъ далеко за границы поселеній, въ невѣдомыя пустыни, прокладываетъ дорогу среди болотъ и лѣсовъ, поселяется одиноко среди дикихъ звѣрей и враждебныхъ дикарей, прогоняетъ ихъ, очищаетъ землю отъ нихъ и открываетъ для цивилизаціи обширныя, обильныя области. Сколько битвъ выдержалъ онъ, сколько лишеній перенесъ онъ, сколько опасностей и затрудненій преодолѣлъ онъ! — Но вотъ, безопасенъ сталъ занятый имъ округъ, даетъ уже богатую жатву — тогда, привлеченные молвою, приходятъ по проложенной имъ дорогѣ толпы людей, селятся вокругъ него, привольно работаютъ, безъ всякихъ лишеній, въ безопасности начинаютъ веселую и сладкую жизнь. И онъ могъ бы наслаждаться всѣмъ, чѣмъ наслаждаются они, — именно ему больше всѣхъ и должно было бы наслаждаться, потому что все окружающее его благоденствіе возникло благодаря его предпріимчивости, мужеству и силѣ. Но нѣтъ, ему уже скучно и противно жить на этомъ привольномъ, безопасномъ, роскошномъ мѣстѣ, — натура влечетъ туда, куда еще нѣтъ путей, гдѣ каждый шагъ соединенъ съ лишеніями, опасностями и борьбою, — и онъ,

покидая спокойное село, опять идетъ въ пустыню, дальше и дальше, прокладывая путь цивилизаціи....

Таковъ былъ Лессингъ. Его трудами была открыта и очищена почва, на которой могла возникнуть богатая литература. Его дѣло было совершено въ этой области. Онъ устремился къ завоеванію новыхъ областей для народной жизни.

Одинъ періодъ въ исторіи нѣмецкаго развитія былъ подготовленъ и вызванъ къ жизни его трудами. Онъ началъ работать для подготовленія слѣдующаго періода.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Жизнь Лессинга въ Вольфенбюттелѣ.—Г-жа Кёнигъ.—Препятствія къ браку.—Отношенія Лессинга къ Брауншвейгскому Двору.—Поездка въ Вѣну и путешествіе по Италіи.—Отношенія Лессинга къ тогдашнимъ нѣмецкимъ правамъ.—Бракъ.—Кончина супруги.—Лессингъ изнемогаетъ.—Новый періодъ его литературной дѣятельности.—«Отрывки изъ Вольфенбюттельскаго Анонима».—Борьба противъ обѣихъ враждующихъ между собою и съ католиками протестантскихъ партій.—Отрывки изъ полемическихъ статей.—Слѣдствія этой борьбы.—Отношенія Лессинга къ послѣдующей нѣмецкой философіи.—Отношенія къ нравственно-политическимъ наукамъ.—«Разговоры между Эрнстомъ и Фалькомъ».—Общій характеръ дѣятельности Лессинга.—Его личный характеръ.

(1771—1781).

Новому періоду къ литературной дѣятельности Лессинга соотвѣтствовало измѣненіе характера и частной его жизни. До сихъ поръ, онъ былъ скитальцемъ, и едва основавшись въ одномъ городѣ, уже переѣзжалъ въ другой, чтобы также скоро покинуть его. Изъ Лейпцига переселялся онъ въ Берлинъ, изъ Берлина въ Виттенбергъ, изъ Виттенберга снова въ Берлинъ, изъ Берлина въ Бреславль, потомъ опять въ Берлинъ, потомъ въ Гамбургъ. Но, переселившись изъ Гамбурга въ Вольфенбюттель, онъ становится осѣлымъ человѣкомъ и живетъ въ этомъ городкѣ около одиннадцати лѣтъ, до самой своей смерти. Осѣдность не была у него слѣдствіемъ довольства Вольфенбюттелемъ: напротивъ, онъ постоянно, и, какъ увидимъ, справедливо жаловался на положеніе своихъ дѣлъ и отношеній къ людямъ въ этомъ мѣстѣ. Не была она и слѣдствіемъ неподвижности, которая обыкновенно овладѣваетъ человѣкомъ, достигшимъ зрѣлыхъ лѣтъ: несмотря на то, что, поселяясь въ Вольфенбюттель, Лессингъ былъ уже не молодъ (въ 1770 году ему испол-

нилось сорокъ-одинъ годъ), онъ сохранялъ всю прежнюю пылкость характера и постоянно порывался переселиться изъ Вольфенбюттеля, то въ Вѣну, то въ Мангеймъ. Но теперь онъ ужъ не могъ такъ беззаботно, какъ прежде, мѣнять немногое вѣрное, что имѣлъ, на совершенно невѣрное, чтобы совершенно съизнова, «съ-ничего», начинать жизнь въ новыхъ отношеніяхъ. Прежде, не будучи связанъ ничѣмъ, онъ могъ поступать подобно своему дервишу Аль-Хафи (въ «Натанѣ Мудромъ»), который безъ котомки за плечами, только съ посохомъ въ рукѣ, идетъ съ Иордана на Гангесъ. Теперь, онъ долженъ былъ дѣйствовать осторожнѣе.

Въ Гамбургѣ, изъ числа его знакомыхъ, самымъ близкимъ былъ негоціантъ Кенигъ, въ домѣ котораго собирались замѣчательнѣйшіе литераторы и ученые Гамбурга. Увѣжая по торговымъ дѣламъ въ Австрію и Италію, Кенигъ поручилъ свое семейство заботливости Лессинга. Лессингъ свято исполнялъ порученіе друга. Черезъ нѣсколько времени, получено было извѣстіе, что въ Венеціи Кенигъ внезапно умеръ. Коммерческія дѣла его фирмы были, какъ обыкновенно, разстроены этимъ несчастіемъ. Теперь настало время доказать вполнѣ искренность своей дружбы осиротѣвшему семейству, — Лессингъ, разумѣется, былъ не такой человѣкъ, чтобы измѣнить этой обязанности. Такимъ образомъ, онъ все болѣе и болѣе сближался съ г-жею Кенигъ, одною изъ образованнѣйшихъ и лучшихъ женщинъ своего времени. Она чувствовала признательность къ нему особенно за его нѣжную заботливость о ея дѣтяхъ. Дружба эта продолжалась болѣе года. Переселившись въ Вольфенбюттель, Лессингъ почувствовалъ, что дороже всего въ Гамбургѣ была для него г-жа Кенигъ. Осенью 1771 года, онъ поѣхалъ въ Гамбургъ, чтобы сказать ей о своихъ чувствахъ, и узналъ, что она также сильно расположена къ нему. Они дали слово другъ другу, — но каждый изъ нихъ съ своей стороны прибавлялъ, что настоящее затруднительное положеніе его дѣлъ не позволяетъ ему вовлекать любимаго человѣка въ свои непріятности, и что имѣя теперь согласіе на бракъ, онъ потребуетъ исполненія этого слова только тогда, когда устроить свои дѣла. Каждый изъ нихъ говорилъ, что затрудненія, которыми останавливается другой, вовсе не кажутся тяжелыми для него. Г-жа Кенигъ увѣряла, что бѣдность, которую она должна была бы теперь раздѣлять съ Лессингомъ, готова она переносить съ радостью, но не хочетъ обременять его своими дѣтьми,

состояніе которыхъ теперь еще невѣрно. Лессингъ говорилъ, что всякія заботы и жертвы для ея дѣтей будутъ ему не обремененіемъ, а радостью, но что онъ не хочетъ заставлятъ терпѣть нужду любимую женщину. Оба они говорили правду, и доказали это впоследствии,—она дѣйствительно была совершенно довольна его скудными средствами къ жизни, онъ—заботился о ея дѣтяхъ съ такою же любовью, какъ мать. И тогда, они были увѣрены въ искренности другъ друга. Но, будучи равно готовы на пожертвованія другъ для друга, равно не могли преодолѣть въ себѣ благородной деликатности, запрещавшей пользоваться этою готовностью, и рѣшились ждать того времени, когда препятствія, полагаемыя взаимною деликатностью, будутъ устранены ихъ энергическими усиліями для устройства своихъ дѣлъ. Оба они думали, что каждый изъ нихъ скоро управится съ своими дѣлами,—но мѣсяць проходилъ за мѣсяцемъ, и въ мучительныхъ хлопотахъ прошло около шести лѣтъ.

Это одно изъ тѣхъ положеній, которыя въ вымышленномъ разсказѣ казались бы натянутыми и неправдоподобными, какъ слишкомъ высокая идеализація чувствъ, но которыя нерѣдко встрѣчаются въ дѣйствительной жизни, и въ хорошемъ, какъ въ дурномъ, далеко превосходящей границы поэтического правдоподобія, какъ то испыталъ на себѣ почти каждый. Лессингъ и г-жа Кенигъ, хорошо понимая другъ друга, знали одинъ въ другомъ невозможность поступить иначе, какъ упорно отказываться отъ предлагаемыхъ пожертвованій, хотя бы то стоило отсрочки самаго драгоценнаго желанія. Ихъ привязанность другъ къ другу была чрезвычайно сильна, хотя, разумѣется, вовсе не имѣла сентиментальнаго оттѣнка, который не только не былъ бы сообразенъ съ ихъ лѣтами, но и въ молодости былъ чуждъ ихъ характеру. Переписка ихъ сохранилась (они, послѣ отъѣзда Лессинга въ Вольфенбюттель, до самой свадьбы видѣлись всего три-четыре раза,—дѣла удерживали ихъ вдали другъ отъ друга); въ ней нѣтъ ни малѣйшаго слѣда какого нибудь нѣжничанья,—они даже не говорятъ другъ другу «ты», но зато господствуетъ полное уваженіе и довѣріе другъ къ другу. Содержаніе и тонъ писемъ вообще таковы, какъ между старинными друзьями, которымъ нѣтъ ни нужды, ни охоты увѣрять другъ друга въ своихъ чувствахъ. Рѣчь идетъ о дѣлахъ, предположеніяхъ, важныхъ и мелочныхъ событіяхъ жизни, но въ каждомъ словѣ видна самая нѣжная взаимная заботливость.

Со стороны Лессинга сила привязанности доказывается уже тѣмъ, что свои поступки онъ обыкновенно сообразуетъ съ мнѣніемъ г-жи Кенигъ. До сихъ поръ, никто никогда не имѣлъ вліянія на его образъ дѣйствій. Не только не слушалъ, но и не спрашивалъ онъ ни у кого совѣта, какъ поступить ему въ томъ или другомъ случаѣ. Мы видѣли, что важнѣйшіе шаги въ своей жизни онъ дѣлалъ, не считая нужнымъ заранѣе говорить о своихъ намѣреніяхъ даже самымъ близкимъ друзьямъ. Вейссе узналъ о его отъѣздѣ изъ Лейпцига въ Берлинъ,—иначе сказать, о рѣшимости бросить ученую карьеру для литературной,—потомъ Мендельсонъ узналъ о его отъѣздѣ изъ Берлина въ Бреславль,—иначе сказать, о его рѣшимости испытать, не лучше ли добывать себѣ средства къ жизни служебными, а не литературными занятіями,—только тогда, когда опустѣла квартира уѣхавшаго друга. Отношенія Лессинга къ г-жѣ Кенигъ были не таковы: онъ слушалъ ея совѣты, какъ ему поступить въ томъ или другомъ дѣлѣ, потому что она совершенно понимала его характеръ, и одна изъ всѣхъ его друзей смотрѣла на вещи тѣми же самыми глазами, какъ онъ, но обладала бѣльшимъ житейскимъ благоразуміемъ, нежели онъ. Онъ слушался ея, потому что она не совѣтовала ему ничего, несогласнаго съ его правилами, какъ то дѣлали другіе, не имѣвшіе чрезвычайно щекотливаго чувства благородной гордости, какимъ отличался онъ. Подчиняясь вліянію г-жи Кенигъ, Лессингъ со времени своего переселенія въ Вольфенбюттель поступалъ въ своихъ отношеніяхъ съ людьми благоразумнѣе прежняго, и главнымъ образомъ ея совѣты удерживали его въ Вольфенбюттелѣ. Она доказывала ему, что трудно гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ найти человѣка, который такъ искренно расположенъ былъ бы къ нему, какъ наслѣдный принцъ Фердинандъ Брауншвейгскій, пригласившій его въ Вольфенбюттель и сохранившій съ нимъ постоянныя сношенія; что если кто нибудь, то скорѣе всѣхъ принцъ Фердинандъ можетъ дать ему положеніе, которымъ устранялось бы важнѣйшее препятствіе ихъ браку—недостаточность средствъ Лессинга для семейной жизни.

Дѣйствительно, принцъ Фердинандъ былъ расположенъ къ Лессингу, и Лессингъ дѣлалъ все, что позволялъ его характеръ, для того, чтобы упрочить и улучшить свое положеніе въ Вольфенбюттелѣ. Г-жа Кенигъ также неумоимо хлопотала о приведеніи своихъ дѣлъ въ порядокъ. И, однако же, около шести лѣтъ прошло

прежде, нежели препятствія были устранены. Такая медленность въ достиженіи цѣли, о которой заботилась г-жа Кенигъ, не имѣтъ ничего удивительнаго: привести въ порядокъ запутанныя и разстроенныя коммерческія дѣла — задача, требующая очень много времени. Но страннымъ должно казаться, что Лессингъ, при благосклонности принца Фердинанда, такъ долго не могъ выйти изъ затрудненій, въ сущности ничтожныхъ: все дѣло состояло въ нѣсколькихъ лишнихъ сотняхъ талеровъ жалованія, — этому желанію принцъ Фердинандъ, повидимому, могъ бы удовлетворить безъ всякихъ затрудненій, потому что жалованье, получаемое Лессингомъ по должности библіотекаря, дѣйствительно было скудно, и очевидно нуждалось въ увеличеніи; особенно странно покажется неисполненіе такого справедливаго желанія, когда мы скажемъ, что при Брауншвейгскомъ Дворѣ часто открывались должности, которыя желалъ получить Лессингъ и изъ которыхъ нѣкая даже безъ всякой просьбы Лессинга предназначалось поручить ему. Но загадка эта очень легко объясняется тѣмъ, что мы уже знаемъ о Лессингѣ: у него былъ характеръ, съ которымъ никогда нельзя было возвыситься при тогдашнемъ нѣмецкомъ порядкѣ дѣлъ, когда все зависѣло отъ умѣнья пользоваться людьми. Гордому бѣдняку не поможетъ никакое благоразуміе, не поможетъ даже никакое благорасположеніе сильныхъ людей. Все, на что Лессингъ имѣлъ полное право, проходило мимо него, обиднымъ и тяжелымъ для него, незамѣтнымъ для принца Фердинанда образомъ, и годъ за годомъ шелъ, ни мало не улучшая его положенія. Утомительно было бы пересказывать всѣ эти мелкія неудачи и разочарованія. Скажемъ только о двухъ-трехъ случаяхъ соединенныхъ съ единственнымъ біографическимъ фактомъ, о которомъ надобно упомянуть, говоря объ этомъ времени, — именно, съ поѣздкою Лессинга въ Италію.

Положеніе Лессинга въ Вольфенбюттелѣ было тяжело. Въ маленькомъ городѣ скучно было бы ему, еслибъ даже не стѣснялся онъ недостаточностью своего жалованья. Онъ привыкъ жить въ Берлинѣ и Гамбургѣ, самыхъ большихъ и оживленныхъ городахъ тогдашней Германіи, центрахъ умственной дѣятельности всей страны; привыкъ проводить вечера въ большомъ и разнообразномъ обществѣ. Кромѣ того, и жалованье, получаемое Лессингомъ по должности библіотекаря, — всего 600 талеровъ, было незначительно. Поэтому, большою радостью для Лессинга было извѣстіе, что Іосифъ II,

думая учредить въ Вѣнѣ Академію Наукъ, желаетъ знать, приметъ ли онъ мѣсто академика въ Вѣнѣ. Особенно пріятно это предложеніе было для Лессинга потому, что г-жа Кенигъ, по своимъ дѣламъ, тогда жила также въ Вѣнѣ. Но скоро обнаружилось, что намѣреніе Іосифа не одобряется Марією Терезією, которая не соглашалась терпѣть въ Вѣнѣ протестантскихъ ученыхъ, опасаясь за католическую религію, которой она была чрезвычайно предана. Однако же, Лессингъ бросилъ бы Вольфенбюттель, еслибъ не удержали его совѣты г-жи Кенигъ, предвидѣвшей, что въ Вѣнѣ Лессингъ не получитъ ничего. Дѣйствительно переговоры объ Академіи тянулись безъ всякаго результата, и наконецъ Іосифъ долженъ былъ отказаться отъ своего намѣренія. Въ то время, когда была еще нѣкоторая надежда, что проектъ основать Академію въ Вѣнѣ исполнится, Лессингъ былъ вызванъ изъ Вольфенбюттеля въ Брауншвейгъ принцемъ Фердинандомъ. Открылась вакансія брауншвейгскаго исторіографа и наслѣдный принцъ, управлявшій государственными дѣлами по дряхлости царствующаго герцога, предложилъ Лессингу занять эту должность, съ сохраненіемъ должности бібліотекаря въ Вольфенбюттлѣ. «Такимъ образомъ, ваше положеніе при нашемъ Дворѣ упрочится, прибавлялъ принцъ:—и притомъ, отъ васъ самихъ будетъ зависѣть, удовольствуетесь ли вы вашею ученою карьерою или изберете себѣ другую».—Этими словами принцъ очевидно выражалъ, что готовъ открыть Лессингу дорогу къ высокимъ государственнымъ почестямъ, какъ черезъ нѣсколько времени была она открыта для Гёте герцогомъ Веймарскимъ. Не видно, чтобы Лессингъ желалъ или надѣялся быть министромъ; но по крайней мѣрѣ, несомнѣнно было, что онъ получаетъ мѣсто исторіографа, которое давало бы ему возможность начать семейную жизнь, о чемъ онъ такъ долго мечталъ. Но черезъ нѣсколько дней принцъ Фердинандъ уѣхалъ въ Потсдамъ, для свиданія съ Фридрихомъ II, въ службѣ котораго находился. Недѣли черезъ двѣ онъ хотѣлъ возвратиться,—но прожилъ въ Потсдамѣ около двухъ мѣсяцевъ. Дѣло Лессинга не двигалось впередъ. Принцъ возвратился—оно не двигалось впередъ; и наконецъ Лессингъ увидѣлъ, что не получитъ мѣста, которое безъ всякой просьбы съ его стороны вздумалъ было такъ положительно обѣщать ему принцъ. Его неудовольствіе было очень сильно. Онъ хотѣлъ уѣхать изъ Вольфенбюттеля и только совѣты г-жи Кенигъ удержали его.—«Я взбѣшенъ, писалъ онъ

ей.—Безъ всякаго моего искательства призываютъ меня, даютъ мнѣ нѣжнѣйшія общанія,—и потомъ—поступаютъ такъ, какъ будто ни о чемъ не было и помину. Два раза ѣздилъ я въ Брауншвейгъ; меня видѣли во дворцѣ, я спрашивалъ, въ какомъ положеніи мое дѣло. Отвѣта нѣтъ, или такой отвѣтъ, изъ котораго ничего не поймешь. Я воротился въ Вольфенбюттель и поклялся, что нога моя не будетъ въ Брауншвейгѣ, пока сами они не порѣшатъ этого дѣла. Лишь только я кончу свои начатія работы, которыхъ не могу кончить безъ Вольфенбюттельской библіотеки, ни что въ мірѣ не удержитъ меня здѣсь. Я думаю, что вездѣ могу найти то, что брошу здѣсь,—а если бы не нашелъ, то лучше буду просить милостыню подѣ окнами, чѣмъ позволю поступать съ собою такимъ образомъ!»—Три мѣсяца Лессингъ не выходилъ изъ своей комнаты никуда, кромѣ библіотеки,—такъ велико было его негодованіе и его желаніе скорѣе кончить начатія работы, чтобы уѣхать изъ Вольфенбюттеля. Но г-жа Кенигъ доказала ему, что все-таки благоразуміе требуетъ остаться въ Вольфенбюттелѣ, пока нѣтъ въ виду ничего лучшаго, чѣмъ надежды на принца Фердинанда. «Со мною поступаютъ нестерпимо, отвѣчалъ Лессингъ г-жѣ Кенигъ:—и только ваше положительное запрещеніе могло удержать меня отъ необдуманнаго шага, рѣшиться на который я однако же каждую минуту чувствую искушеніе. И не долженъ ли я буду наконецъ сдѣлать его? Потому что клянусь Богомъ, я не могу долѣе выносить этого».—Черезъ полгода онъ пишетъ ей: «Четыре мѣсяца я, можно сказать, безвыходно сидѣлъ въ своемъ проклятомъ замкѣ. Только два раза ѣздилъ въ Брауншвейгъ, и то на нѣсколько часовъ, потому что далъ себѣ зарокъ не ночевать въ Брауншвейгѣ *), гдѣ поступаютъ со мною (вы знаете, о комъ я говорю) невыносимо для меня; да и не сталъ бы я въ другое время, въ другихъ обстоятельствахъ, ни за что въ мірѣ выносить этого. Потому я и не хочу подвергаться опасности встрѣтить его **) Въ январѣ будетъ годъ, какъ онъ самъ сдѣлалъ мнѣ это предложеніе,—до той поры я подожду, и потомъ напишу ему свое мнѣніе такъ горько, какъ навѣрное никто еще не писалъ ни одному изъ его собратій. Мнѣ ничего не

*) Конечно для того, чтобы не быть обязаннымъ являться на придворные вечера.

**) Т. е. Фердинанда, потому что не удержался бы отъ упрековъ при встрѣчѣ съ нимъ.

остается, какъ только похорониться подъ своими книгами, чтобы, сколько можно, забыть всѣ мысли о будущемъ. Давно ужъ не писалъ я ни къ кому въ мірѣ, кромѣ васъ, мой другъ,—не отвѣчалъ ни братьямъ, ни матери, никому. Лучше всего было бы мнѣ разослать ко всѣмъ знакомымъ циркуляръ, чтобы они считали меня умершимъ, потому что, мой другъ, я совершенно не въ силахъ писать». Потомъ четыре мѣсяца не писалъ онъ и къ г-жѣ Кенигъ. Она успѣла однако же убѣдить его не ссориться съ Фердинандомъ, и не отказываться отъ Вольфенбюттельской должности, не имѣя въ виду ничего другаго. Такъ прошелъ еще годъ. Наконецъ, Лессингъ чувствовалъ, что долженъ хотя на время уѣхать изъ Вольфенбюттеля, чтобы сколько нибудь развлечься. Онъ взялъ отпускъ, и черезъ Берлинъ и Дрезденъ проѣхалъ въ Вѣну, гдѣ жила г-жа Кенигъ,—онъ хотѣлъ дожидаться совершеннаго окончанія ея дѣлъ, которыя были уже приведены въ порядокъ; потомъ они вступили бы въ бракъ и вмѣстѣ отправились бы въ Вольфенбюттель. Но едва прожилъ Лессингъ нѣсколько дней въ Вѣнѣ, какъ туда пріѣхалъ принцъ Брауншвейгскій Леопольдъ, думавшій сдѣлать путешествіе въ Италію, и сталъ просить Лессинга быть его спутникомъ. Отказаться отъ такого приглашенія значило бы разорвать всѣ связи съ Брауншвейгомъ, и Лессингъ долженъ былъ ѣхать, — такъ, противъ его воли, исполнилась давняя мечта его посѣтить Италію. Путешествіе длилось болѣе полугода, и въ началѣ 1776 года Лессингъ возвратился въ Вѣну, посѣтивъ вмѣстѣ съ принцемъ Леопольдомъ Венецію, Римъ и Неаполь. Между тѣмъ г-жа Кенигъ должна была, по своимъ дѣламъ, переѣхать изъ Вѣны въ Гамбургъ, и Лессингъ черезъ Дрезденъ и Каменецъ, гдѣ провелъ нѣсколько дней съ матерью (отецъ его умеръ въ 1770 году), возвратился въ Вольфенбюттель. Дѣла, которыя г-жа Кенигъ хотѣла привести въ порядокъ прежде, нежели вступить во второй бракъ, приближались къ концу, и Лессингъ торопился устроить свое положеніе въ Вольфенбюттелѣ такъ, что бы не замедлять свадьбы. Послѣ долгихъ переговоровъ, принцъ Фердинандъ прибавилъ ему 200 талеровъ жалованья, выдалъ 300 талеровъ, которые слѣдовало Лессингу получить въ счетъ жалованья еще за прежніе годы, далъ впередъ въ счетъ жалованья еще отъ 800 до 1,000 талеровъ и назначилъ болѣе просторную квартиру—изъ за этихъ жалкихъ вознагражденій тянулось дѣло около полугода. Наконецъ, Лессингъ имѣлъ въ

рукахъ нѣсколько сотъ талеровъ, чтобы обзавестись домашнимъ хозяйствомъ на семейную ногу, назначена была ему и квартира, въ которой могъ онъ помѣститься съ женою и ея дѣтьми отъ перваго брака, все было готово къ свадьбѣ; и 6-го октября 1776 года, Лессингъ пріѣхалъ въ Гамбургъ, гдѣ жила г-жа Кенигъ, а черезъ два дня совершенъ былъ обрядъ бракосочетанія, безъ всякой церемоніальности: Лессингъ не сдѣлалъ себѣ къ свадьбѣ даже новаго платья. Черезъ нѣсколько дней, также тихо, онъ ввелъ жену въ свой Вольфенбюттельскій домъ.

Эти немногіе примѣры довольно показываютъ, каково было положеніе Лессинга въ Вольфенбюттелѣ; а между тѣмъ брауншвейгскій Дворъ очень хорошо понималъ, какую честь приносить маленькой брауншвейгской землѣ то, что въ ней поселился писатель, которому удивляется вся Германія. Принцъ Фердинандъ, всегда имѣвшій большое вліяніе на дѣла, а въ послѣднее время управлявшій государствомъ лично былъ расположенъ къ Лессингу: принцъ самъ пригласилъ его въ Вольфенбюттель, самъ потомъ предлагалъ открыть ему дорогу къ государственнымъ почестямъ; часто бесѣдовалъ съ нимъ дружески, бралъ у него читать различныя рукописи, защищалъ его, когда въ послѣдствіи изданіе одной изъ этихъ рукописей навлекло непріятности на Лессинга. Желаніе Фердинанда сдѣлать что нибудь полезное для Лессинга, доводило иногда до странныхъ споровъ, изъ которыхъ особенно любопытенъ одинъ: когда передъ свадьбою Лессингъ требовалъ прибавки жалованья, брауншвейгское правительство непременно хотѣло, сверхъ денежныхъ наградъ, наградить его чиномъ гофъ-рата; Лессингъ, вообще не желая носить никакихъ титуловъ, не хотѣлъ принимать этго ранга, почетнаго въ нѣмецкомъ чиновначалѣ, и возникли жаркія пренія; наконецъ, доброжелательное правительство восторжествовало, и Лессингъ противъ воли принужденъ былъ сдѣлаться важнымъ чиновникомъ. Послѣ всѣхъ этихъ знаковъ благорасположенія, странно могло казаться, что нѣсколькихъ сотъ талеровъ, которые нужны были Лессингу, онъ долженъ былъ дожидаться нѣсколько лѣтъ, и до конца жизни оставался, съ житейской точки зрѣнія, въ незавидномъ положеніи. Но по отрывкамъ изъ писемъ, которые приведены выше, читатель видитъ уже, что это и не могло быть иначе. У принца Фердинанда было конечно много другихъ дѣлъ, кромѣ заботъ о Лессингѣ.

Принцъ предложилъ ему мѣсто, потомъ, развлеченный болѣе важными дѣлами, вѣроятно, и забылъ о своемъ обѣщаніи. Лессингъ, какъ видимъ, не сказалъ самъ, или хотя бы черезъ кого нибудь другого, ни одного слова, чтобы напомнить Фердинанду о его обѣщаніи. Мало того: очень можетъ быть, что кто нибудь другой сказалъ Фердинанду что нибудь, помѣшавшее исполненію обѣщанія,—или похлопоталъ за какого нибудь другаго кандидата на мѣсто исторіографа, или намекнулъ принцу, что Лессингъ не доволенъ этимъ предложеніемъ; послѣднее было тѣмъ легче, что Лессингъ, конечно, принялъ предложеніе Фердинанда, не разсыпаясь въ выраженіяхъ своей радости и благодарности, — таково уже было его правило. Кромѣ того, вообще надобно сказать, что правила и образъ дѣйствій Лессинга совершенно не подходили къ тогдашнему порядку нѣмецкой жизни, тѣмъ менѣе годились для жизни въ придворномъ или аристократическомъ кругу. Уже одно дѣло о титулѣ гофъ-рата можетъ быть доказательствомъ тому, а такихъ анекдотовъ сохранилось довольно много, несмотря на скудость біографическихъ извѣстій о Лессингѣ. Все, что мы знаемъ о немъ, заставляетъ полагать, что подобные случаи, при тогдашнихъ нѣмецкихъ нравахъ, представлялись ему ежедневно. Положительно намъ говорятъ его современники, что онъ чувствовалъ себя хорошо только въ кругу равныхъ ему людей,—скуда принадлежали также всѣ низшіе, потому что онъ обращался съ ними, какъ съ равными, и, дѣйствительно, не считалъ ихъ низшими себя. Мы уже упоминали, что съ своимъ слугою онъ обходится «какъ съ братомъ», по выраженію его біографа. Ему пріятно было держать себя съ людьми низшаго званія такъ, чтобы они забывали разницу его и ихъ состоянія. Это относится не только къ общественному положенію, къ которому еще могутъ быть равнодушны люди, чувствующие, что главное право ихъ на общее уваженіе—умъ, талантъ или званіе (хотя и они рѣдко возвышаются до такого чувства), но и къ умственному превосходству, отказываться отъ котораго гораздо труднѣе: Лессингу несносно было затмѣвать своего собесѣдника, тяжело было даже, когда начинался ученый или литературный споръ, одерживать верхъ надъ своимъ собесѣдникомъ. Онъ старался, противъ обыкновеннаго правила всѣхъ споровъ, не доказывать, что его противникъ ошибается, а напротивъ, придавать его словамъ самый разумный смыслъ, объяснять ихъ такъ, чтобы они какъ можно ближе подошли къ истинѣ; собесѣдникъ его,

мало-по-малу принуждаемый исправлять свое ошибочное мнѣніе, самъ не замѣчалъ того, что исправляетъ свои прежнія слова, при помощи Лессинга: ему казалось, напротивъ, что Лессингъ во всемъ или почти во всемъ долженъ былъ соглашаться съ нимъ. Это не было только слѣдствіемъ рѣдкой мягкости обращенія, которою отличался Лессингъ, по словамъ всѣхъ знавшихъ его: тутъ было и нѣчто другое, именно, желаніе не унижить, а возвысить своего собесѣдника въ глазахъ присутствующихъ, потребность явиться не вышшимъ, а только равнымъ ему. Такой характеръ никогда не поведетъ къ особенно выгодной житейской обстановкѣ, но по крайней мѣрѣ, онъ не будетъ неумѣстнымъ, напримѣръ, въ нынѣшней Франціи или въ Сѣверо-американскихъ Штатахъ; а въ Германіи XVIII вѣка, онъ совершенно противорѣчилъ всему заведенному порядку общегитія. Въ Лессингѣ жилъ иной духъ, ни мало не подходившій подъ норму нѣмецкихъ отношеній того времени, и это чувствовалось всѣми, съ кѣмъ онъ имѣлъ дѣло. Не то, чтобъ онъ нарушалъ какія нибудь формы общегитія, — напротивъ, онъ соблюдалъ ихъ, какъ только можетъ соблюдать человѣкъ мягкаго, непритязательнаго характера, желающій въ частной жизни одного только — добрыхъ отношеній со всѣми окружающими. Не то, чтобы онъ высказывалъ какія нибудь мнѣнія, несогласныя съ тогдашнимъ порядкомъ гражданскаго устройства въ Германіи: напротивъ, въ его письмахъ къ друзьямъ, нѣтъ ничего относящагося къ современнымъ государственнымъ событіямъ или къ какимъ бы то ни было политическимъ теоріямъ; сколько можно судить по дошедшимъ до насъ извѣстіямъ, и разговоры его не касались этихъ предметовъ.

Да еслибъ и не дошло до насъ извѣстій о томъ, какіе вопросы были любимыми предметами разговоровъ Лессинга, всякій, знакомый съ его сочиненіями и перепискою, могъ бы быть увѣренъ, что гражданскія отношенія и государственное устройство не были въ числѣ этихъ предметовъ: къ какимъ бы отраслямъ умственной дѣятельности ни влекли его собственныя наклонности, но говорилъ и писалъ онъ только о томъ, къ чему была устремлена или готова была устремиться умственная жизнь его народа. Все что не могло имѣть современнаго значенія для націи, какъ бы ни было интересно для него самого, не было предметомъ ни сочиненій, ни разговоровъ его. Приведемъ одинъ примѣръ. Безъ всякаго сомнѣнія, если былъ въ Германіи до Канта человѣкъ, не менѣе одаренный

природою для философіи, то это былъ Лессингъ. Самъ Лейбницъ, при всей своей геніальности, при всей своей привычкѣ къ математическому методу, далеко не имѣлъ той необычайно строгой діалектики, той способности опредѣлительно созерцать понятія и точно отличать ихъ другъ отъ друга, какою постоянно удивляетъ своего читателя Лессингъ. Не даромъ Лессингъ особенно любилъ Аристотеля,—онъ былъ родствененъ стагириту по названнымъ нами качествамъ. Прибавимъ, что и та особенность въ ходѣ мысли, которая у немногихъ мыслителей была такъ сильна, какъ у Лессинга,—эта неудержимая наклонность отъ частнаго вопроса переходить въ область общихъ соображеній, каждый фактъ возводить къ основнымъ принципамъ науки, въ паденіи яблока видѣть законъ тяготѣнія, постоянно съ необычайною силою влекла Лессинга отъ специальныхъ вопросовъ частныхъ наукъ въ сферу философскаго созерпанія. Если былъ когда нибудь человекъ, по устройству головы предназначенный для философіи, то это былъ Лессингъ. А между тѣмъ, онъ почти ни одного слова не написалъ собственно о философіи, ни одной страницы не посвятилъ ей въ своихъ сочиненіяхъ, и въ письмахъ своихъ говорить о ней почти только съ Мендельсономъ, да и то только въ отвѣтъ на вопросы, затрогиваемые Мендельсономъ, ограничиваясь тѣмъ, что нужно было для Мендельсона. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, лично онъ самъ, на перекоръ своей натурѣ, такъ мало интересовался философіею? Напротивъ: онъ выдалъ намъ, чѣмъ была занята лично его мысль, когда чертилъ на дачѣ Глейма классическое «*hen kai pan*» (единое и все)—а между тѣмъ, онъ толковалъ съ Глеймомъ о его «пѣсняхъ Гренадера», и его поэмѣ «Халладатъ». Дѣло въ томъ, что не время еще было чистой философіи стать живымъ средоточіемъ нѣмецкой умственной жизни,—и Лессингъ молчалъ о философіи; умы современниковъ были готовы оживиться поэзіею, а не были еще готовы къ философіи,—и Лессингъ писалъ драмы и толковалъ о поэзій. Не тяжелое ли самоотреченіе было это съ его стороны? Съ перваго взгляда, можетъ показаться такъ. Тому, въ комъ есть философскій духъ и кто разъ увлекся въ область философіи, трудно оторваться отъ ея великихъ вопросовъ для мелочныхъ, сравнительно съ ними, вопросовъ частныхъ наукъ, и если эти науки имѣютъ для него какую нибудь занимательность, то обыкновенно только ради отношеній своихъ къ задачамъ философіи. Но для натуръ, подобныхъ Лессингу, суще-

ствуешь служеніе, болѣе милое, нежели служеніе любимой наукѣ,— это служеніе развитію своего народа. И если какой нибудь «Лао-коонъ» или какая нибудь «Гамбургская Драмабургія» приходится болѣе на пользу націи, нежели система метафизики или онтологическая теорія, такой человѣкъ молчитъ о метафизикѣ, съ любовью разбирая литературные вопросы, хотя съ абсолютной научной точки зрѣнія *Виргиліева «Энеида»* и *Вольтерова «Семирамида»*—предметы мелкіе и почти пустые для ума, способнаго созерцать основные законы человѣческой жизни.

Какъ молчалъ Лессингъ о философіи, точно также молчалъ онъ и о вопросахъ государственной жизни,—потому что умы его современниковъ были еще слишкомъ слабы для того, чтобы возбуждаться къ жизни философіею или государственными науками. Живымъ вопросомъ эпохи до сихъ поръ была для Германіи литература. Лессингъ служилъ ей, и молчалъ о томъ, что не нужно еще было той эпохѣ. Не дѣлая ничего на половину, онъ, если молчалъ, то уже молчалъ. Безъ случайнаго разговора съ Якоби, случайно вызваннаго самимъ Якоби, который и не предчувствовалъ, что съ Лессингомъ можно говорить объ этомъ, и который также случайно вздумалъ сдѣлать этотъ разговоръ эпизодомъ одного изъ своихъ сочиненій, мы только по догадкамъ могли бы судить о томъ, каковъ былъ хотя главный принципъ философской системы, таившейся въ мысли Лессинга—ни въ сочиненіяхъ, ни въ перепискѣ самого Лессинга мы не имѣли бы ясныхъ указаній даже на этотъ принципъ (не говоримъ уже о подробностяхъ системы, до нынѣ остающихся мало извѣстными),—и никто изъ знакомыхъ Лессинга не могъ припомнить, чтобы имѣлъ съ нимъ разговоръ, подобный записанному у Якоби.

Точно также, Лессингъ почти ничего не писалъ и почти никогда не говорилъ о гражданскихъ отношеніяхъ,—почти все, что мы знаемъ положительнаго относительно его понятій объ этихъ предметахъ, основывается на нѣкоторыхъ страницахъ его «Разговоровъ между Эрнстомъ и Фалькомъ», изданныхъ уже подъ конецъ его жизни, на двухъ-трехъ фразахъ, случайно попавшихся ему подъ перо въ перепискѣ съ друзьями, на нѣсколькихъ мелочныхъ замѣчаніяхъ, сдѣланныхъ двумя или тремя изъ друзей, писавшихъ о немъ. Только въ послѣдніе годы своей жизни онъ увидѣлъ, что нѣмцы могутъ интересоваться наукою государственнаго устройства; до того вре-

мени, говорить объ этихъ вопросахъ ему казалось преждевременно, нѣмецкая нація казалась ему еще недостаточно приготовленной, чтобы живо заниматься теоріями гражданскаго общества, и онъ молчалъ. Но когда убѣжденія человѣка составляютъ его натуру, а не бываютъ мнѣніями, принадлежащими только головъ и не совпадающими съ его характеромъ, вся личность такого человѣка, какъ бы, повидимому, ни сообразовался онъ съ обычаями, внушаетъ людямъ, имѣющимъ съ нимъ сношенія, тоже самое чувство, какое внушали бы его мысли, которыхъ они не знаютъ и быть можетъ не предугадываютъ. Въ Брауншвейгѣ, никто не предполагалъ, чтобы Лессингъ думалъ что нибудь особенное о порядкѣ дѣлъ, существовавшемъ въ Германіи его времени. Но всѣ инстинктивно чувствовали, что Лессингъ, какъ человѣкъ, не приходится къ этому порядку, противъ котораго онъ, повидимому, ничего не имѣетъ даже въ мысли, не только не возстаетъ на дѣлъ. Никто не могъ указать, по чему бы онъ не годился для придворной жизни въ Брауншвейгѣ или какомъ бы то ни было другомъ нѣмецкомъ владѣніи: онъ соблюдалъ обычный этикетъ, онъ соблюдалъ обычаи обращенія, какія господствовали относительно каждаго ранга; онъ одобрялъ, повидимому, все, что могъ одобрять каждый благоразумный человѣкъ, онъ меньше, нежели кто-нибудь, говорилъ о злоупотребленіяхъ и недостаткахъ,—и однако же, всѣ чувствовали, что онъ вообще не подходитъ къ той сферѣ, въ которой живетъ такъ мирно, которою, повидимому, доволенъ точно также, какъ и всѣ. Потому-то, при всемъ своемъ расположеніи къ Лессингу, принцъ Фердинандъ и не могъ ничего сдѣлать для Лессинга.

Вступивъ въ бракъ съ г-жею Кёнигъ, Лессингъ и не желалъ никакого измѣненія къ лучшему въ своихъ обстоятельствахъ. Глубокая симпатія, существовавшая между мужемъ и женою, дѣлала ихъ счастливыми. Люди, посѣщавшіе Лессинга въ это время, не могли говорить безъ восторга о характерѣ и качествахъ г-жи Лессингъ, и о тихой жизни въ ихъ домѣ. Осталось любопытное письмо Шпиттлера, впоследствии сдѣлавшагося знаменитымъ историкомъ. Онъ въ 1777 году, готовясь начать свою ученую карьеру, прожилъ нѣсколько времени въ Вольфенбюттелѣ, занимаясь въ тамошней библіотекѣ, и каждый день бывалъ у Лессинга. «Я пробылъ въ Вольфенбюттелѣ около трехъ недѣль, писалъ Шпиттлеръ Мейзелю, который не принадлежалъ къ числу друзей Лессинга:—«это

были три счастливейшія и поучительнѣйшія недѣли въ моей жизни. Не знаю, знакомы ли вы лично съ Лессингомъ. Увѣряю васъ, это величайшій другъ человѣчества, снисходительнѣйшій ободритель всякаго знанія. Незамѣтно, съ нимъ сближаешься до того, что неизбежно забываешь, съ какимъ великимъ человѣкомъ говоришь. И если бы возможно было найти въ комъ нибудь болѣе любви къ людямъ, болѣе искренней готовности сдѣлать добро каждому, то развѣ въ его супругѣ. Я не надѣюсь никогда въ жизни встрѣтить такую такую женщину. Безыскусственная доброта ея сердца, вѣчно полного кроткимъ спокойствіемъ, сообщается очаровательнѣйшею симпатіею всѣмъ, кто имѣетъ счастье находиться въ ея обществѣ. Знакомство съ этою женщиною высокаго благородства *) безконечно возвысило мои понятія о женщинахъ».

Но кратокъ былъ счастливый періодъ въ жизни Лессинга: черезъ годъ, жена его умерла отъ родовъ, послѣ тяжелыхъ страданій. Вотъ отрывки писемъ, сохранившихся отъ времени страшнаго удара, которымъ приблизилась могила и для самого Лессинга,—писемъ изъ этого времени, исполненныхъ переходовъ отъ радости къ отчаянію, отъ отчаянія къ надеждѣ, отъ надежды къ нравственному оцѣпнѣнію при роковомъ ударѣ.

(Къ Эшенбургу, 3 января 1778 г.). «Ловлю минуту, когда жена моя лежитъ совершенно безъ памяти, чтобы благодарить Васъ за Ваше доброе участіе. Моя радость была коротка. Грустно мнѣ было терять сына—но онъ былъ слишкомъ уменъ,—онъ не хотѣлъ рождаться на свѣтъ,—желѣзными щипцами заставили его явиться въ жизнь; онъ чувствовалъ, какъ гнусна жизнь, и расстался съ нею... Но онъ увлечетъ за собою и мать свою. Мало мнѣ надежды сохранить ее. Вздумалъ я: дай же, я буду имѣть радость въ жизни какъ другіе люди. Но дурно пришлось мнѣ счастье. Ich wollte es auch einmal so gut haben, wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen.

(5 января, къ брату). «Четырнадцать печальнѣйшихъ дней въ моей жизни прожилъ я. Была мнѣ опасность потерять жену, потеря которой горько отравила бы весь остатокъ моей жизни. Она родила мнѣ хорошенькаго мальчика, здороваго и бодрого. Но онъ

*) Шпиттлеръ выражается еще сильнѣе: dieser grossen Frau,—«этою великою женщиною».

прожилъ только двадцать часовъ,—онъ не перенесъ жестокой операціи,—или онъ мало радости ожидалъ отъ пиршества жизни, къ которому насильно пригласили его?... Мать лежала безъ памяти цѣлыхъ девять или десять дней, и каждый день, каждую ночь нѣсколько разъ прогоняли меня отъ ея постели, говоря, что мой видъ только дѣлаетъ тяжелѣе послѣднюю минуту ея. Потому что она и въ безпамятствѣ узнавала меня. Наконецъ, миновался кризисъ ея болѣзни, и съ третьяго дня я вѣрно надѣюсь, что сохраню ту, жизнь которой съ каждымъ часомъ становится необходимѣе мнѣ.

(7 января, къ Эшенбургу). «Должно быть, трагическое письмо написалъ я вамъ; не помню, что я писалъ. Стыжусь, если въ немъ было отчаяніе... Надежда на выздоровленіе моей жены опять ослабѣваетъ; я теперь надѣюсь только того, что скоро опять можно будетъ надѣяться.

(Эшенбургу, 10 января). «Жена моя умерла. И этотъ опытъ не миновалъ меня. Радуюсь я, что ужъ не остается мнѣ такихъ опытовъ, и мнѣ легко....

(Брату, 12 января). Моя жена умерла. Еслибъ ты ее зналъ!... Не буду ничего говорить о ней. Но, еслибъ ты ее зналъ!»!...

Слишкомъ черезъ полгода, въ сентябрѣ 1778, онъ пишетъ Элизѣ Реймарусъ, подругѣ своей покойной жены: «О, какъ часто готовъ я бываю проклинать то, что хотѣлъ быть счастливъ, какъ другіе люди! Но я слишкомъ гордъ, чтобы считать себя несчастнымъ; я скрежещу зубами и оставляю мой челнокъ плыть, какъ хотятъ вѣтеръ и погода. Довольно того, что я самъ не хочу опрокинуть его»....

Смерть жены нанесла рѣшительный ударъ самому Лессингу. Онъ подрихлѣлъ, казался утомленнымъ, сдѣлался задумчивъ до разсѣянности. Часто въ обществѣ, когда кругомъ шель живой разговоръ, въ которомъ прежде онъ былъ бы самымъ живымъ участникомъ, онъ сидѣлъ до того задумавшись, что казался дремлющимъ, и вдругъ, какъ бы очнувшись, спрашивалъ: «ну, что же такое»? Здоровье его быстро разрушалось. Лѣтомъ 1779 года онъ часто былъ боленъ такъ, что лежалъ въ постели. На слѣдующую зиму (1779—1780) здоровье его было еще хуже. «Эта зима очень печальна для меня, писалъ онъ въ концѣ ея:—изъ одной болѣзни я выпадаю въ другую; ни одна изъ нихъ не смертельна, но каждая

мѣшаетъ мнѣ владѣть моими душевными силами». Лѣто не поправило его здоровья.

Но именно къ этимъ послѣднимъ тремъ годамъ жизни Лессинга, когда онъ, сокрушенный потерей жены, изнемогалъ тѣломъ, и жаловался, что отъ болѣзней изнемогаютъ и духовныя силы его, относится самая сильная и блистательная дѣятельность его, какъ писателя. Всѣ прежнія побѣды его, какъ мыслителя, затмѣваются его послѣднимъ торжествомъ, всѣ прежнія его поэтическія произведенія далеко уступаютъ въ художественномъ достоинствѣ и историческомъ значеніи его послѣдней драмѣ.

Начался уже блистательный періодъ нѣмецкой литературы, подготовленный его трудами. Воспитавъ поэтовъ и критиковъ для своего народа, увидѣвъ людей, способныхъ продолжать его литературное дѣло, онъ уступилъ имъ дальнѣйшую разработку очищенной и вспаханной имъ почвы, и пошелъ далѣе съ своимъ плугомъ, принялся очищать и вспахивать новую мѣстность, на которую должна была перенестись послѣ литературной области жизнь нѣмецкаго народа. За Гердеромъ и Гёте должны были явиться руководителями нѣмецкаго народа въ историческомъ движеніи Кантъ и Фихте, за поэзію философія. И тутъ, первымъ человѣкомъ былъ Лессингъ. Приготовивъ періодъ поэзіи, онъ занялся трудами, которые приготовили періодъ философіи. За сознаніемъ единства по племени должно было слѣдовать въ нѣмецкомъ народѣ водвореніе единства въ общихъ убѣжденіяхъ, — положивъ основаніе первому, Лессингъ теперь полагалъ основаніе второму. И на сколько второй періодъ былъ выше перваго по историческому содержанію, на столько же труднѣе и блистательнѣе было его приготовленіе, совершаемое теперь Лессингомъ.

Такъ оканчивали мы предъидущую главу. Въ началѣ этой мы упомянули о фактѣ, который повидимому находится въ странномъ противорѣчій съ мыслью о приготовленіи Лессингомъ философскаго періода въ умственной жизни Германіи: Лессингъ почти ничего не писалъ по собственно такъ называемой философіи, и метафизическая система его (да и то только въ общемъ очеркѣ) положительно сдѣлалась извѣстна уже нѣсколько лѣтъ спустя послѣ его смерти, изъ случайно напечатаннаго другимъ ученымъ воспоминанія о случайномъ разговорѣ съ нимъ. И однакожь, дѣйствительно это было такъ: человѣкъ, не писавшій чисто философскихъ сочиненій, дѣй-

ствительно положилъ своими сочиненіями основаніе всей новой нѣмецкой философіи.

Начиная эту біографію, мы сказали, что хотимъ представить эпизодъ изъ исторіи нѣмецкой литературы, а не изъ исторіи нѣмецкой философіи или теологіи, что безмѣрно расширило бы объемъ нашего очерка, и безъ того уже слишкомъ длиннаго. И здѣсь, мы коснемся философско-теологической дѣятельности Лессинга только вскользь, на сколько это нужно, чтобы дополнить изображеніе личности Лессинга. О самомъ предметѣ его теологической полемики мы не будемъ говорить ничего, и расскажемъ только чисто біографическіе факты, и то какъ можно короче.

Издавая различныя рукописи, найденныя имъ въ Вольфенбюттельской бібліотекѣ, Лессингъ, между прочимъ, началъ печатать отрывки изъ сочиненія, авторъ котораго былъ въ то время неизвѣстенъ и которое имѣло предметомъ своимъ евангельскую и отчасти Ветхозавѣтную исторію. Сочиненіе это, принадлежавшее, какъ впоследствии открылось, извѣстному натуралисту и врачу Реймарусу, жившему въ Гамбургѣ и умершему около того времени, когда Лессингъ поселился въ Гамбургѣ, было написано въ духѣ англійскихъ деистовъ XVII вѣка, враждебномъ христіанству. Написано оно было съ такою ученостью, что далеко превосходило въ научномъ отношеніи не только поверхностныя теологическія сочиненія Вольтера, но и англійскихъ деистовъ, изъ которыхъ заимствовалъ свою ученость Вольтеръ. Въ рукописи, оно извѣстно было нѣсколькимъ лицамъ и распространялось все болѣе и болѣе. Англійскій деизмъ, проникавшій въ Германію черезъ протестантскихъ богослововъ, и французскій вольтеріанизмъ, находившій себѣ послѣдователей и въ Германіи, какъ повсюду, между людьми свѣтскаго образованія, приготавливали читавшихъ эту рукопись къ тому, чтобы безусловно соглашаться съ мнѣніями автора. Протестантскіе и католическіе богословы, остававшіеся вѣрными символамъ своихъ исповѣданій, писали множество возраженій противъ Вольтера и англійскихъ деистовъ, но рукописи Реймаруса они не касались и потому человѣкъ, знавшій ее, естественно приходилъ къ мысли, что мнѣнія, изложенныя Реймарусомъ съ болѣею ученою силою и полнотою, нежели какимъ нибудь другимъ противникомъ христіанства, остаются неопровержими: «Вы опровергаете Вольтера и Толанда, думалъ онъ:—что жъ изъ этого? есть другое сочиненіе, гораздо

болѣе ученое, нежели Вольтеръ и Толандъ, и, вѣроятно оно неопровержимо, если вы молчите о немъ».

Лессингъ думалъ вовсе не такъ. Онъ вовсе не считалъ мнѣнія Реймаруса справедливыми,—издавая отрывки изъ его рукописи, онъ снабжалъ каждый отрывокъ предисловіемъ, въ которомъ подробно объяснялъ въ чемъ и какъ ошибался Реймарусъ, и доказывалъ, что на предметъ разбисканій Реймаруса надобно смотрѣть совершенно съ иной точки зрѣнія, нежели какъ смотрѣли деисты. Зачѣмъ же онъ издавалъ рукопись, выводы которой самъ признавалъ ошибочными?—у него были на то свои причины. Умственная жизнь его націи готовилась отъ литературныхъ вопросовъ перейти къ ученымъ, и изъ нихъ прежде всего и больше всего заняться теологическими (дѣйствительно, во всей послѣдующей нѣмецкой философіи важнѣйшая сторона—та, которая имѣетъ отношеніе къ теологіи). Натура Лессинга требовала, чтобы онъ приготовилъ націю къ этому новому періоду, подавъ бы свой рѣшительный голосъ, который бы и очистилъ поприще для слѣдующихъ трудовъ, и далъ бы имъ точное направленіе. Въ протестантской Германіи готовилось развитіе философіи; эта философія должна была имѣть главнымъ предметомъ своимъ теологическіе вопросы,—и Лессингъ началъ говорить о протестантской теологіи, въ которой были тогда двѣ враждебныя школы: старо-лютеранская и раціоналистская.

Какъ ученый, Лессингъ не былъ доволенъ мнѣніями лютеранскихъ богослововъ, слѣпо повторявшихъ каждое слово Лютера и не обращавшихъ вниманія на успѣхи наукъ и цивилизаціи; ему казалось, что они своею закоснѣlostью въ понятіяхъ, которыхъ не сталъ бы защищать самъ Лютеръ, если бы жилъ во второй половинѣ XVIII вѣка, вредятъ и дѣлу протестанства и успѣхамъ нѣмецкаго развитія. Еще менѣе былъ онъ доволенъ Вольтеромъ, его учителями, англійскими деистами и послѣдователями Вольтера и англійскихъ деистовъ въ Германіи. Ему казалось, что мнѣнія этихъ нововводителей не послѣдовательны, и не могутъ выдержать строгой научной критики. Какъ человѣкъ жизни, онъ, кромѣ ученыхъ побужденій не соглашаться ни съ протестантскими богословами, повторявшими Лютера, ни съ нововводителями, имѣлъ и другія, болѣе живыя причины желать, чтобы оба эти враждующія направленія уступили мѣсто другому, болѣе основательному взгляду, который господствовалъ въ первобытной христіанской церкви.

Реформа Лютера, принесшая много пользы и католической и протестантской Европѣ, имѣла также и свои вредныя слѣдствія для историческаго развитія, которыя особенно тяжело легли на Германію, и въ XVII и XVIII вѣкахъ оказывались уже чрезвычайно пагубными для благосостоянія нѣмецкаго народа. Реформа Лютера раздѣлила Германію на двѣ половины, католическую и протестантскую; этимъ враждебнымъ раздѣленіемъ отнималась всякая возможность національнаго единодушія; оно было сильнѣйшимъ препятствіемъ къ національному единству. Съ этой точки зрѣнія, обѣ партіи протестантской теологіи, о которыхъ мы говорили, равно были виноваты: обѣ онѣ одинаково были враждебны католичеству, обѣ одинаково отталкивали пристрастными насмѣшками надъ католичествомъ почти половину нѣмецкаго народа отъ сочувствія образованнымъ стремленіямъ другой половины, потому что при всякомъ случаѣ кололи католикамъ глаза такъ называвшимся на ихъ языкѣ «католическимъ суевѣріемъ». Цивилизація и національное единство представлялись нѣмецкимъ католикамъ чѣмъ-то враждебнымъ, потому что представлялись чѣмъ-то неразрывно связаннымъ съ лютеранскими предубѣжденіями противъ нихъ самихъ.

Лессингъ рѣшился провозгласить и доказать, что долженъ быть другой взглядъ, при которомъ исчезла бы вражда между католиками и протестантами. Такъ какъ непосредственно онъ имѣлъ дѣло съ протестантскою половиною Германіи, то онъ занялся преимущественно протестантскими предубѣжденіями, и предпринялъ дѣло, которое смутило своимъ величіемъ обѣ протестантскія партіи и послужило залогомъ примиренію католиковъ съ протестантами, и основаніемъ новой науки.

Тѣмъ протестантскимъ теологамъ, которые закоснѣли во мнѣніяхъ Лютера, онъ началъ говорить: «Оружіемъ Лютера вы можете бороться только съ католиками; но есть у васъ другіе, гораздо болѣе сильные противники, отъ которыхъ не защититъ васъ Лютеръ; эти противники—деисты. Вы думаете, что успѣшно опровергаете ихъ нападенія доказательствами, которыя были удовлетворительны для борьбы съ католиками. Вы ошибаетесь;—напротивъ, вы отдаетесь имъ въ руки беззащитными: не послужатъ вамъ въ пользу аргументы, годные противъ католиковъ—напротивъ, всѣ эти аргументы обращаются противъ васъ деистами. Вы уже бессильны противъ Толанда и Вольтера, противъ Михаэлиса и Землера, и эта битва, ко-

торой вы теперь уже не можете выдерживать, еще ничтожна въ сравненіи съ тѣми, которыя вскорѣ должны начаться противъ васъ: теперь вы имѣете дѣло еще только съ одними застрѣльщиками, съ одною легкою конницею—за нею двинутся на васъ плотныя колонны строевой пѣхоты съ тяжелою артиллеріею—бесильные при всемъ напряженіи вашихъ силъ въ авангардномъ дѣлѣ, какъ устоите вы въ генеральной битвѣ? Вы воображаете, что всѣ силы противниковъ выставлены противъ васъ Вольтеромъ, Толандомъ и Михаэлисомъ: нѣтъ, деизмъ выведетъ противъ васъ людей, гораздо болѣе сильныхъ и искусныхъ. Вы думаете, что мои предсказанія — робость или обманъ?—вотъ вамъ доказательство, что это будетъ такъ: я издаю отрывки изъ рукописи, которая ходитъ по рукамъ въ протестантской Германіи,—рукописи, о которой до сихъ поръ вы не хотѣли подумать: сравните эти отрывки съ тѣми, что казались вамъ до сихъ поръ замѣчательнѣйшимъ между сочиненіями деистовъ,—вы увидите, что передъ этимъ неизвѣстнымъ авторомъ ея Вольтеръ не болѣе, какъ шаловливый школьникъ, Михаэлисъ—не болѣе, какъ трусливый заика. Лисица и волкъ были сильнѣе васъ—трудно ли будетъ растерзать васъ льву? Но и онъ—не послѣднее слово, не сильнѣйшій ратникъ деизма. Вы дождетесь того, что новыя поколѣнія воспитаютъ еще сильнѣйшихъ. Одна возможность вамъ побѣдить этихъ новыхъ противниковъ лютеранства: мнѣній Лютера не защититъ вамъ противъ деистовъ; попробуйте защищать ученіе Христа, проповѣданное рыбакамъ и младенцамъ, и это ученіе защититъ васъ. Оно недоступно никакимъ насмѣшкамъ остроумія, никакимъ возраженіямъ учености. Оружіе враговъ опустится передъ ученіемъ Христа, и они назовутъ васъ братьями своими, и благословятъ васъ. Но помните, что «тою мѣрою, которою мѣрите вы, будетъ возмѣрено вамъ», по ученію Христа: то, что деисты возстаютъ противъ васъ, есть только слѣдствіе того, что вы сами возстааете противъ всѣхъ христіанъ, не признающихъ, подобно вамъ, каждое слово Лютера за непогрѣшительное,—напримѣръ, противъ католиковъ. Вы ругаетесь надъ ними—и деисты поругались и поругаются надъ вами; вы устремляете всѣ силы ваши на то, чтобъ уничтожить ихъ—и деисты уничтожаютъ васъ. Вы поднимаете ножъ противъ собратій вашихъ—помните же, что Христосъ сказалъ: «всякій, поднимающій ножъ, ножомъ погибнетъ». Если вы хотите, чтобы проклятiя про-

тивъ васъ обратились въ благословленія, сами «благословляйте, а не кланяйтесь»—благословлять, а не кланять училъ Христосъ.

«Оставленія вражды противъ католиковъ требуетъ отъ васъ благоразуміе, говорилъ Лессингъ протестанскимъ богословамъ оставшимся вѣрными ученію Лютера,—требуетъ ученіе Христа; когда вы проникнетесь духомъ этого ученія, вы увидите, что того же требуютъ истина и справедливость; вы все толкуете о томъ, что католики вѣрятъ папѣ, а вы не вѣрите папѣ, вы вѣрите Лютеру, а они не вѣрятъ Лютеру, и забываете, что вы одинаково съ ними вѣрите Христу. До сихъ поръ, вы обращали свое вниманіе на черты различія между исповѣданіями, оставляя въ тѣни черты единства,—а послѣднія гораздо многочисленнѣе и драгоцѣннѣе первыхъ и для васъ и для нихъ. Христосъ не спрашивалъ пришедшаго къ нему юношу, саддукейскую или фарисейскую секту считаетъ онъ справедливою,—онъ требовалъ отъ него любви къ Богу и ближнему,—а въ признаніи этихъ заповѣдей вы совершенно сойдетесь съ католиками».

Такъ говорилъ онъ одной партіи протестантскихъ богослововъ, закоснѣвшей во мнѣніяхъ Лютера. Противной партіи, партіи деистовъ и раціоналистовъ, онъ говорилъ: «Вы торжествуете побѣду надъ вашими старо-лютеранскими и іезуитскими противниками,—но побѣда эта достается вамъ легко, слишкомъ легко для того, чтобы можно было вамъ торжествовать ее, чтобы можно было положиться на дѣйствительность ея. Вы видите, что укрѣпленія, воздвигнутыя противъ васъ, разрушаются отъ мелкой дробы, пускаемой въ нихъ вашимъ Вольтеромъ, отъ камней, бросаемыхъ изъ-за угла вашимъ Михаелисомъ; но вѣдь эти старо-лютеранскіе и іезуитскіе форты воздвигнуты недавно, людьми, плохо знающими свое дѣло, отсталыми по наукѣ, узкими фанатиками по сердцу; а за ними скрывается древній замокъ, котораго строители не были похожи на вашихъ жалкихъ противниковъ,—этотъ замокъ до сихъ поръ оставался внѣ вашихъ выстрѣловъ; его мирные жители—всѣ тѣ миллионы христіанъ, которые не знаютъ ни по еврейски, ни даже по латыни, эти младенцы душою, которыхъ признавалъ Христосъ истинными дѣтьми своими,—они и не слышали грома вашихъ битвъ, они не только непобѣждены вами, они даже не знаютъ васъ—рано же вамъ торжествовать побѣду. Нападая на отсталыя мнѣнія нѣсколькихъ старо-лютеранскихъ пасторовъ или іезуитовъ, вы имѣете дѣло только съ

ними, а не съ религією Христа—эту религію, живущую не въ лютеровомъ катехизисѣ и не въ буллахъ папы, а въ сердцахъ миліоновъ людей, не такъ легко поколебать, какъ вы воображаете; она глубже и тверже вашихъ теорій. Но вы не вѣрите тому, что она ближе къ человѣческому сердцу и прочтѣе вашихъ теорій, какъ не вѣрятъ и старо-лютеранскіе пасторы, что ихъ мнѣнія могутъ подвергнуться въ близкомъ будущемъ нападеніямъ людей, болѣе сильныхъ, нежели вы?—Я вамъ докажу, что ваши теоріи и аргументы безсильны противъ религіознаго чувства, и докажу на томъ же самомъ сочиненіи, которое выставлю для усмиренія гордости вашихъ противниковъ. Никогда еще ваша партія не производила ничего столь глубокомысленнаго и ученаго, какъ это сочиненіе,—и никто изъ насъ не въ состояніи изложить въ такой строгой формѣ такихъ сильныхъ доказательствъ въ пользу вашей теоріи. При той методѣ обороны, которой держатся донинѣ ваши противники, они сокрушаются подъ бременемъ неотразимыхъ ударовъ,—я покажу вамъ, что эти удары не только не опасны для религіи Христа, что они даже не касаются ея. Вы увѣрены, что на вашей сторонѣ наука и логика,—я докажу, что логики нѣтъ въ вашей теоріи, что наука, на которую вы, по вашимъ словамъ, опираетесь, свидѣтельствуєтъ противъ васъ, что вы или не умѣете или боитесь узнать истину. Я беру сочиненіе, которое далеко оставляетъ за собою всѣ другія ваши сочиненія силою мысли и знанія,—и я докажу, что ни одинъ выводъ этого сочиненія не выдерживаетъ строгой научной критики, что основной взглядъ его противорѣчитъ требованіямъ человѣческаго разума, а толкованія фактовъ, на которыя опирается этотъ взглядъ, противорѣчатъ историческимъ аксіомамъ.

«На этомъ рѣшительномъ испытаніи вы увидите, что если вы легко можете уничтожать нѣсколькихъ отсталыхъ отъ науки педантовъ изъ старо-лютеранскихъ пасторовъ или изъ іезуитскихъ хитрецовъ, то противъ религіознаго чувства миліоновъ вы безсильны и даже неправы, какъ неправы передъ логикою и наукою, что система вашей борьбы не ведетъ васъ къ торжеству. Вы увидите, что благоразуміе требуетъ, чтобы вы оставили эту систему. Но съ тѣмъ вмѣстѣ вы увидите, что того же требуетъ отъ васъ и справедливость. Вы теперь, по чувствамъ своимъ относительно религіи, раздѣляетесь на два разряда: одни изъ васъ, какъ Землерь, хотятъ передѣлать протестантство сообразно съ своими

теоріями, другіе, какъ англійскіе деисты, враждуютъ къ религіи. Первые убѣдятся, что на сколько ихъ поправки ученіе отсталыхъ отъ науки мнѣній, старопротестантскихъ пасторовъ и іезуитовъ, на столько же ученіе религіи, исповѣдуемой христіанами, возвышеннѣе и почтеннѣе этихъ нелогическихъ поправокъ, и они потеряютъ всякую охоту передѣлывать его. Вторые убѣдятся, что враждебныя чувства, возбуждаемыя въ нихъ узкими или фанатическими мнѣніями старо-лютеранскихъ пасторовъ и іезуитовъ, нисколько не возбуждаются тою религіею миллионовъ христіанъ, невредимость которой отъ всѣхъ деистическихъ и раціоналистическихъ нападеній докажу я, а что, напротивъ, эта религія въ каждомъ безпристрастномъ и любящемъ людей человѣкѣ необходимо возбуждаетъ уваженіе и любовь къ себѣ, какъ скоро онъ пойметъ духъ ея; и они потеряютъ всякую охоту враждовать противъ нея, — напротивъ, будутъ чувствовать влеченіе къ ней, и въ исповѣдующихъ ее увидятъ братьевъ своихъ».

Чтобы дать читателямъ хотя небольшіе примѣры знаменитыхъ статей Лессинга объ этомъ предметѣ, — статей, съ которыми по силѣ мысли и изложенія могутъ быть сравнены развѣ «Провинціальныя письма» Паскаля, мы приведемъ по отрывку изъ двухъ его листовъ. Одинъ, называющійся «Завѣщаніе Іоанна», написанъ въ отвѣтъ на замѣчанія Шуманна и направленъ противъ старо-лютеранскихъ теологовъ, забывавшихъ о христіанской любви въ своей ревности сохранить неприкосновеннымъ каждое слово Лютера. Отрывокъ, приводимый нами изъ другаго листка, озаглавленнаго «Парабола, съ небольшою просьбою и, на случай надобности, прощальнымъ письмомъ къ г. пастору Гёце» — направленъ главнымъ образомъ противъ раціоналистовъ, желавшихъ передѣлывать ученіе церкви сообразно своимъ личнымъ теоріямъ.

ЗАВѢЩАНІЕ ІОАННА.

—qui in pectus Domini recubuit et de purissimo fonte hausit rivulum doctrinarum,

НІЕРОНИМУА.

(—который на персяхъ Господа возлежалъ и изъ чистѣйшаго источника черпнулъ потокъ ученій.

Блаж. іеронимъ.

РАЗГОВОРЪ.

ОНЪ и Я.

ОНЪ. Очень вы затруднялись этимъ листомъ *), но это и видно по самому листу.

Я. Неужели?

ОНЪ. Прежде вы писали яснѣе.

Я. Въ наивеличайшей ясности была для меня всегда величайшая красота.

ОНЪ. Нѣтъ, я вижу, что вы начинаете склоняться на нашу сторону ¹⁾, только вы хотите отдѣлаться намеками на вещи, которыя извѣстны развѣ одному изъ сотни читателей, да и вамъ стали извѣстны, быть можетъ, только за день или за два ²⁾.

*) Предъвидущю полемическую брошюрою по этому же спору; она называется «О доказательствѣ духа и силы. Онъ, т. е. Шуманнъ, воображаетъ, что поставилъ Лессинга въ затруднительное положеніе, и что Лессингу было тяжело разрушить его возраженія.

¹⁾ Статья Шуманна противъ Лессинга была написана умѣреннымъ тономъ; потому и первый отвѣтъ Лессинга былъ очень деликатенъ; нѣкоторые воображали, что эта мягкость тона — слѣдствіе слабости, и въ похвалахъ, дѣлаемыхъ Лессингомъ умѣренности своего противника, увидѣли уступки его мнѣніямъ.

²⁾ Онъ намекаетъ на то, что Лессингъ щеголяетъ ученостью, которую собираетъ наскоро изъ словарей и т. п. справочныхъ книгъ. Со временъ Ланге, противники Лессинга любили твердить, что ученость Лессинга заимствована вся изъ «Словаря» Бэля и т. д. Въ самомъ дѣлѣ, тогдашнимъ специалистамъ, не занимавшимся ни чѣмъ, кромѣ своей специальной науки, очень трудно было понять, какимъ образомъ человекъ, писавшій о двадцати предметахъ, въ каждомъ предметѣ обладаетъ знаніями, чрезвычайно рѣдкими и въ специалитѣ, который всю жизнь трудился надъ однимъ предметомъ. Въ наше время, когда педанство ослабло, это понимается легче, и никто не скажетъ о Гумбольдтѣ или лордѣ Брумъ, что «они наскоро набираются своей мнимой учености».

Я. Напримѣръ?

Онъ. Не касаюсь вашей учености.

Я. Напримѣръ?

Онъ. Та загадка, которою оканчивается вашъ листокъ — ваше «Завѣщаніе Іоанна» ³⁾ — я напрасно искалъ его у себя въ Грабіусѣ и Фабриціусѣ ⁴⁾.

Я. Да развѣ кромѣ книгъ нѣтъ ничего на свѣтѣ? ⁵⁾.

Онъ. Такъ не книга это завѣщаніе Іоанна? Чтѣ же это такое?

Я. Послѣдняя воля Іоанна; — послѣднія замѣчательныя, много разъ повторенныя слова умирающаго Іоанна, — вѣдь это тоже можетъ называться завѣщаніемъ? Можетъ?

Онъ. Конечно, можетъ. — Но теперь ужъ мнѣ не такъ это любопытно. — А, впрочемъ, чтѣ же это за слова? Я мало знакомъ съ Абдіею ⁶⁾, и тому подобными сочиненіями, откуда они, конечно, взяты.

Я. Нѣтъ, они взяты у писателя, менѣе подозрительнаго. Іеронимъ сохранилъ ихъ намъ въ своемъ толкованіи на посланіе Апо-

³⁾ Предшествовавшая брошюра Лессинга, о которой ведется рѣчь, заключается словами: «Оканчиваю, желая: да соединитъ Завѣщаніе Іоанна всѣхъ раздѣленныхъ!»

⁴⁾ Грабіусъ и Фабриціусъ — авторы библиографическихъ сочиненій. Фабриціусовы «*Bibliotheca Graeca*» и «*Bibliotheca latina*» служатъ до сихъ поръ справочными книгами, содержа полнѣйшіе перечни греческихъ и латинскихъ авторовъ и сочиненій.

⁵⁾ Чтобы понять иронію этого оборота, надобно вспомнить, что, по ученію строгихъ лютеранъ, церковное преданіе и ученіе церкви не имѣетъ никакой важности. Они не хотятъ знать ничего, кромѣ Библии. Католическая церковь, вѣрная въ этомъ случаѣ ученію первобытной церкви (сохранившемуся въ Православной церкви), признавая всю важность Библии, съ тѣмъ вмѣстѣ говорить, что христіанская религія основывается не на одной только Библии, а «какъ на Библии, такъ и на ученіи церкви и преданіи церковномъ». Лессингъ говорилъ, что въ этомъ случаѣ ученіе Католической (и Греческой) церкви вѣрнѣ исторической истинѣ и полнѣе односторонняго протестантскаго ученія.

⁶⁾ Одна изъ апокрифическихъ книгъ Новаго Завѣта, которая рассказываетъ апостольскую исторію и приписывается Абдіи или Авдію, первому епископу вавилонскому. Извѣстно, что и Греческая, и Католическая, и Протестантская церкви признаютъ подобныя книги не заслуживающими вѣры, какъ подложныя и еретическія. Онъ намекаетъ, что Лессингъ любитъ еретиковъ и самъ еретикъ.

стола Павла къ Галатамъ. Поищите ихъ тамъ. Я не полагаю, чтобъ они вамъ понравились *).

Онъ. Почему знать?—Скажите же, что это за слова.

Я. На память? Съ обстоятельствами, которыя мнѣ теперь памятны или кажутся памятными?

Онъ. Разумѣется.

Я. Иоаннъ, тотъ благой Иоаннъ, который ни хотѣлъ никогда разлучаться съ паствою, собранной имъ въ Эфесѣ, которому эта паства казалась достаточно великимъ поприщемъ его поучительныхъ чудесъ и его чудотворнаго ученія,—этотъ Иоаннъ сталъ старъ, такъ старъ...

Онъ. Что благочестивое простодушіе думало, что онъ не умретъ.

Я. Хотя каждый съ каждымъ днемъ видѣлъ, что онъ все болѣе приближается къ смерти.

Онъ. Суетвѣріе иногда слишкомъ много, иногда слишкомъ мало вѣрить чувствамъ. Ужъ и тогда, когда Иоаннъ умеръ, суетвѣріе все полагало, что онъ не можетъ умереть, что онъ спитъ, а не умеръ.

Я. Какъ близко иногда подходитъ суетвѣріе къ истинѣ!

Онъ. Продолжайте рассказъ. Мнѣ тяжело слышать, что вы заступаетесь за суетвѣріе **).

Я. Неохотно и съ радостью, какъ другъ покидаетъ объятія друга, чтобы посѣлѣть въ объятія своей подруги, постепенно, но быстро, видимо разлучалась чистая душа Иоанна отъ столь же чи-

*) Намекъ, который объяснится, когда будутъ сказаны эти слова Иоанна Богослова. Читатель вспомнитъ, что, забывая для догматики о христіанской любви, лютеранскіе богословы должны были чрезвычайно разгнѣваться (и дѣйствительно чрезвычайно разгнѣвались), когда Лессингъ сталъ напоминать имъ, какое важное мѣсто въ религіи Христа должна занимать христіанская любовь — за это особенно и стали осыпать его проклятіями обѣ протестантскія партіи.

**) Старо-лютеранскіе богословы, а тѣмъ болѣе раціоналисты, находили, что Лессингъ отдаетъ суетвѣрію предпочтеніе передъ просвѣщеніемъ, доказывая, что нѣкоторые католическіе догматы, отвергнутые протестантствомъ, принадлежали первобытной церкви (они сохранились въ Греческой церкви) и содержатъ въ себѣ истины, болѣе глубокія, нежели какія содержатся въ догматахъ, которыми замѣнило протестантство. Напримѣръ, Лессингъ говорилъ это о томъ догматѣ первобытной церкви, что христіанская религія основана не на одной только Библии, но съ тѣмъ вмѣстѣ и на преданіи церковномъ.

стаго, но изнемогавшаго тѣла. Скоро его ученики едва могли *носить* его даже и въ церковь.

И, однако же, Іоанну не хотѣлось пропустить ни одного собранія, и не пропускалъ онъ ни одного собранія паствы, не сказавъ назиданія паствѣ, которой легче было бы лишиться насущнаго хлѣба, нежели этого назиданія.

Онъ. Въ которомъ, вѣроятно, часто недоставало искусственной обработки.

Я. А вы любите искусственную обработку *).

Онъ. Смотря по тому, какова она.

Я. Навѣрное, назиданіе Іоанна никогда не имѣло искусственной обработки, потому, что оно все шло отъ сердца; потому, что оно всегда было просто и кратко **), и съ каждымъ днемъ становилось проще и короче, до того, что наконецъ сократилось въ нѣсколько словъ.

Онъ. Какихъ же.

Я. «Милыя дѣти мои, любите другъ друга!»

Онъ. Немного словъ, но хорошія слова.

Я. Дѣйствительно, хорошія, по вашему мнѣнію?—Но и хорошее, и наилучшее скоро утомляетъ, когда становится ежедневнымъ. Въ первомъ собраніи паствы, когда Іоаннъ не *могъ* сказать ничего больше, какъ: «милыя дѣти мои, любите другъ друга!»—слова эти чрезвычайно понравились паствѣ. Они еще понравились и во второмъ, и въ третьемъ, и въ четвертомъ собраніи, потому что паства говорила: слабый старецъ не *можетъ* сказать ничего больше этихъ словъ. Но и когда старецъ отъ времени до времени чувствовалъ себя довольно бодрымъ, и, однакожъ, не говорилъ ничего больше этихъ словъ и все отпускалъ свою паству только съ назиданіемъ: «милыя дѣти мои, любите другъ друга!»—когда увидѣли, что старецъ не то, чтобы только не могъ сказать ничего больше, что онъ преднамѣренно и не хочетъ сказать ничего больше этихъ словъ,—

*) Ироническій намекъ на то, что протестантскіе богословы обрабатывали догматику по системѣ очень искусственной, и ставя въ томъ величайшую заслугу, забывали оживить свои системы духомъ христіанской любви.

**) Опять намекъ на то, что не слишкомъ вѣрны духу первобытной церкви протестантскіе богословы, излагающіе систему вѣры въ громаднѣхъ фоліантахъ, наполненныхъ страшною ученостію, такъ дѣлаютъ вѣроученіе доступнымъ только для спеціальнѣхъ ученыхъ.

то эти слова: «милыя дѣти мои, любите другъ друга!» показались слабыми, малозначительными. Братія и ученики стали скучать и наконецъ осмѣлились спросить благого старца: «Но, учитель, почему же ты вѣчно повторяешь одно и то же?»

Онъ. Ну, чтожь Іоаннъ?

Я. Іоаннъ отвѣчалъ: «Потому, что это повелѣлъ Господь; потому, что этого одного, если оно исполняется, довольно,—и достаточно».

Онъ. Такъ вотъ что! Такъ вотъ въ чемъ ваше Завѣщаніе Іоанна?

Я. Да.

Онъ. Гм! гм!

Я. «Милыя дѣти мои, любите другъ друга!»

Онъ. Да, да!

Я. Это «Завѣщаніе Іоанна» поставилъ нѣкогда символомъ своего ученія Нѣкто, Который былъ *соль земли*.

Онъ. Такъ всегда отговариваются отъ бѣды нѣкоторые господа!...

Hieronymus in Epist. ad Galatas, cap. 6.

Beatus Ioannes Evangelista, cum Ephesi moraretur usque ad ultimam senectutem, et vix inter discipulorum manus ad Ecclesiam deferretur, nec posset in plura vocem verba contexere, nihil aliud per singulas solebat proferre collectas, nisi hoc: Filioli diligite alterutrum. Tandem discipuli et fratres, taedio affecti, quod eadem semper audirent, dixerunt: magister, quare semper hoc loqueris? Qui respondit dignam Ioanne sententiam: Quia praeceptum Domini est, et si solum fiat, sufficit *).

*) Блаженный Іоаннъ евангелистъ дожилъ въ Эфесѣ до глубочайшей старости, такъ что ученики едва могли на рукахъ приносить его въ церковь, и, не имѣя силы сказать болѣе долгой рѣчи, онъ въ собраніи паствы каждый разъ ничего не говорилъ, кромѣ слѣдующихъ словъ: «милыя дѣти мои, любите другъ друга!» Наконецъ, ученики и братія, наскучивъ тѣмъ, что вѣчно слышали одно и то же, сказали: «Учитель, почему каждый разъ говоришь ты одно и то же?»—На то онъ далъ имъ отвѣтъ, достойный Іоанна: «Потому, что это заповѣдь Господа, и если ее одну исполнять, то и довольно».

ПАРАБОЛА.

«Мудрый и дѣятельный царь большого, большого государства имѣлъ въ своей столицѣ дворецъ неизмѣримаго объема, совершенно особенной архитектуры.

«Неизмѣримъ былъ объемъ, потому что царь собралъ во дворцѣ вокругъ себя всѣхъ, которые были помощниками или орудіями его правленія.

«Странна была архитектура, потому что противорѣчила, можно сказать, всѣмъ принятымъ правиламъ; но она правилась и соотвѣтствовала цѣли.

«Она правилась,—преимущественно тѣмъ, что возбуждала удивленіе, которое внушаютъ простота и величіе, когда кажутся скорѣе презрѣвшими богатство и украшенія, нежели не имѣющими ихъ.

«Она соотвѣтствовала цѣли,—прочностью и удобствомъ. Прошло много, много лѣтъ, а весь дворецъ стоялъ все въ той же чистотѣ и цѣлости, въ какой довершенъ былъ строителемъ, снаружи немного непонятный, но внутри повсюду свѣтлый и связанный.

«Всякій, кто воображалъ себя знатокомъ въ архитектурѣ, особенно недоволенъ былъ наружными стѣнами дворца, которыя имѣли мало оконъ, разбросанныхъ здѣсь и тамъ, большихъ и маленькихъ, круглыхъ и четырехъ-угольныхъ, но тѣмъ больше за то имѣли дверей и воротъ различной формы и величины.

«Непонятно этимъ людямъ было, какъ черезъ столь малочисленныя окна въ столь многочисленныя покои можетъ проходить достаточно свѣта. Что главнѣйшіе изъ этихъ покоевъ получали свой свѣтъ сверху, не приходило почти никому въ голову.

«Они не понимали, зачѣмъ нужно столько и столь разнородныхъ входовъ, когда гораздо красивѣе было бы сдѣлать большой одинъ порталъ съ каждой стороны,—онъ, казалось имъ, удовлетворилъ бы потребности. Потому что почти никому не приходило въ голову, что черезъ многочисленные маленькіе входы самымъ короткимъ и безошибочнымъ путемъ каждый, призываемый во дворецъ, можетъ приходиться туда, гдѣ онъ надобенъ.

«И, такимъ образомъ, возникли между мнимыми знатоками многочисленные споры, — споры эти обыкновенно велись жарче всего тѣми, которые всего менѣе имѣли случая ознакомиться съ внутренностью дворца.

«И было одно обстоятельство, о которомъ на первый взглядъ можно было подумать, что оно необходимо очень облегчить и сократить споры, но которое именно и запутывало ихъ больше всего, которое именно давало имъ богатѣйшую пищу для упорнѣйшаго продолженія. Именно, полагали, что есть различные древніе планы, которые приписывались первымъ строителямъ дворца; но эти планы оказались покрыты словами и знаками, языкъ и значеніе которыхъ было почти совершенно потеряно.

«Потому каждый объяснялъ эти слова и знаки по собственному желанію. Потому каждый, изъ этихъ древнихъ плановъ, составлялъ новый, какой ему хотѣлось, и нерѣдко тотъ или другой составитель такъ увлекался своимъ новымъ планомъ, что не только самъ считалъ его непреложнымъ, но то уговаривалъ, то принуждалъ и другихъ считать его непреложнымъ.

«Только немногіе говорили: «какое намъ дѣло до вашихъ плановъ?—они всѣ для насъ равны. Довольно того, что мы каждую минуту убѣждаемся опытомъ, что преобладаю мудростью исполненъ весь дворецъ, и что изъ него разливается по всей странѣ красота, порядокъ и благоденствіе.

«Часто плохо приходилось этимъ немногимъ! Потому что когда, улыбаясь, они начинали нѣсколько ближе изслѣдовать тотъ или другой изъ отдѣльныхъ плановъ, то люди, считавшіе этотъ планъ непреложнымъ, съ воплемъ объявляли ихъ поджигателями и раззорителями дворца.

«Но они не останавливались этими криками, именно черезъ то становились достойны причисленія къ людямъ, трудившимся внутри дворца, и не имѣвшимъ ни времени, ни охоты вмѣшиваться въ распри, которыя и не касались ихъ.

«Однажды, когда споръ о планахъ не столько былъ примиренъ, сколько ослабленъ утомленіемъ,—однажды около полуночи, раздался внезапно голосъ сторожей: пожаръ! пожаръ во дворцѣ!

«Что же тогда произошло? Каждый вскочилъ тогда съ постели, и какъ будто пожаръ не во дворцѣ, а въ собственномъ его домѣ, схватилъ то, что казалось ему драгоцѣннѣйшимъ изъ своего достоянія, — свой планъ. «Надобно только спасти планъ! — думалъ онъ:—если дворецъ и сгоритъ, то онъ тутъ, какъ есть, сохранится на бумагѣ!»

«И каждый выбѣжалъ съ своимъ планомъ на улицу, и тамъ,

прежде того, нежели оказывать помощь дворцу, одинъ сталъ показывать другому на своемъ планѣ, въ какомъ мѣстѣ, по его соображенію, горить дворецъ. «Посмотри, сосѣдь,—вотъ гдѣ горить онъ! Отсюда—вотъ лучше всего гасить огонь?»—«Нѣтъ, сосѣдь, вѣрнѣе сказать, что вотъ—здѣсь горить онъ!»

Таковъ былъ духъ и характеръ борьбы, начатой Лессингомъ въ одно и то же время противъ закоснѣлыхъ старо-лютеранскихъ пасторовъ, считавшихъ вѣчною истиною каждое слово Лютера, и противъ нелогическихъ нововводителей, вздумавшихъ перетолковывать догматы и факты религіи по своему личному соображенію. Теперь надобно сказать хотя два-три слова о томъ, какъ началась и развивалась эта борьба, и къ какимъ результатамъ привела она нѣмецкую націю.

По привычкѣ своей, всегда начинать съ какого нибудь частнаго случая, съ какого нибудь даннаго факта развитіе общихъ мыслей, Лессингъ воспользовался сочиненіемъ Реймаруса, какъ поводомъ для изложенія своихъ мыслей о двухъ боровшихся въ лютеранствѣ партіяхъ. Въ своихъ «Матеріалахъ для исторіи и литературы изъ сокровищъ Вольфенбюттельской библіотеки» (Beiträge zur Geschichte und Literatur), онъ, въ числѣ многихъ другихъ найденныхъ имъ въ этой библіотекѣ сочиненій, сталъ печатать и отрывки изъ рукописи Реймаруса, къ каждому отрывку прибавляя свое предисловіе, какъ то дѣлалъ при каждомъ сочиненіи, печатаемомъ въ этихъ «Матеріалахъ». Имени автора рукописи онъ не сообщилъ, не имѣя на то разрѣшенія отъ дѣтей, потому и самое сочиненіе Реймаруса осталось извѣстно подъ именемъ «Вольфенбюттельской рукописи» или «Рукописи Вольфенбюттельскаго неизвѣстнаго». Первый отрывокъ былъ напечатанъ въ третьемъ томѣ «Матеріаловъ», въ 1774 году. Онъ не возбудилъ никакихъ воллей противъ Лессинга, потому что никто еще не понималъ цѣли, которую имѣлъ въ виду Лессингъ. Изданіе отрывка изъ сочиненія, написаннаго въ духѣ, враждебномъ христіанству, не могло никого удивить въ Германіи, давно уже познакомившейся съ сочиненіями Баля, Вольтера, энциклопедистовъ, и ихъ нѣмецкихъ послѣдователей. Притомъ, даже тѣ изъ лютеранскихъ теологовъ, которые были закоснѣлыми фанатиками лютеранства, были уже на столько благоразумны, что понимали,

что сочиненія, подобныя Реймарусу, теряютъ часть своей опасности для ихъ ученія, когда издаются публично, вмѣсто того, чтобы распространяться въ рукописяхъ: тогда они становятся доступны опроверженіямъ, которымъ недоступны, пока таятся подъ секретомъ. Они помнили примѣръ Іеронима, на котораго впослѣдствіи сослался Лессингъ, и который даже перевелъ самъ на латинскій языкъ сочиненіе Оригена «*Peri archôn*», и доказалъ, что это дѣло полезно для истинной религіи. «Когда Іеронимъ *перевелъ* съ греческаго чрезвычайно вредное, по его собственному мнѣнію, истинной христіанской религіи сочиненіе Оригена *Peri archôn*, — замѣтите, *перевелъ!* — а перевесть нѣчто болѣе, нежели просто издать (говорилъ Лессингъ, защищаясь противъ Гёце), — когда онъ перевелъ это опасное сочиненіе съ тою цѣлью, чтобы охранить его отъ переправокъ и искаженій другаго переводчика, Руфина, то есть, чтобы сообщить это сочиненіе латинскому міру именно во всей его силѣ и во всей его искуственности, — и когда ему за то нѣкоторые люди стали дѣлать упреки, будто бы онъ взялъ преступный соблазнъ на свою душу — каковъ былъ тогда отвѣтъ Іеронима? — *O impudentiam singularem! Accusant medicum, quod venena prodiderit.* — «О, удивительное безстыдство! они упрекаютъ врача за то, что онъ обнаружилъ тайный ядъ!» — Зная этотъ примѣръ, многіе изъ ревностѣйшихъ защитниковъ стараго лютеранства, которому была особенна враждебна «Вольфенбюттельская рукопись», даже выражали свою признательность Лессингу за то, что онъ началъ знакомить ихъ съ этимъ сочиненіемъ.

Но чувства эти совершенно измѣнились, когда (1777) въ 4-мъ томѣ «Матеріаловъ» Лессингъ издалъ еще пять отрывковъ изъ рукописи Реймаруса, съ обширнымъ предисловіемъ, въ которомъ болѣе обнаружили мнѣнія Лессинга. Обѣ протестантскія партіи враждовавшія между собою, поднялись противъ него.

Прежде всего и съ особенною жестокостью возстали старо-лютеранскіе ревнители, и во главѣ ихъ Гёце, имя котораго пріобрѣло несчастное безсмертіе, благодаря его излишней охотѣ вступать въ неровную борьбу. Главнымъ содержаніемъ предисловія Лессинга къ издаваемымъ отрывкамъ было строгое разсмотрѣніе нападеній Реймаруса на христіанство, съ цѣлью доказать, что всѣ эти возраженія не могутъ поколебать той вѣры, которая живетъ въ сердцахъ народовъ, — и, однако же, лютеранскіе ревнители возмущались не

жестокими нападеніями Реймаруса на христіанство, а тѣми опроверженіями, которыя противопоставляетъ ему Лессингъ, доказывая непоколебимость религіи съ той точки зрѣнія, которую указали мы выше. Нападать на защитника жесточе, нежели на врага—это казалось безпристрастнымъ людямъ такъ неестественно, что они предполагали безумными или недобросовѣстными этихъ фанатиковъ лютеранства. Однако же, на самомъ дѣлѣ, эти фанатики дѣйствовали очень логично: рукопись нападала на христіанство, — это не касалось ихъ ближайшимъ образомъ; но предисловіе къ рукописи, защищая религію Христа, положительно признавало, что не хочетъ и не можетъ защищать лютеранства,—это уже прямымъ образомъ было нестерпимою опасностью для лютеранъ.

Послѣ закоснѣлыхъ лютеранъ, возстали противъ Лессинга и нововводители—это было совершенно понятно, потому что онъ положительнымъ образомъ доказывалъ несостоятельность ихъ ученыхъ истолкованій.

Горячая полемика закипѣла въ Германіи. Шумъ поднялся страшный, и опять, какъ въ дѣлѣ Клоца, всѣ сверстники Лессинга осуждали Лессинга,—одни за то, что онъ не признаетъ ученіе Христа тождественнымъ съ ученіемъ Лютера, другіе за то, что онъ признаетъ несправедливой вражду противъ христіанства, какою проникнуты издаваемые имъ отрывки —и снова Лессингъ, не слушая никакихъ предостереженій и совѣтовъ, неуклонно шелъ къ предположенной цѣли. Первые нападенія на него за его предисловія къ отрывкамъ издаваемой имъ рукописи появились около времени смерти его жены, — и, жестоко пораженный своею утратою, онъ, быстрыми шагами приближаясь къ могилѣ, выказалъ въ этой борьбѣ, что если слабѣло его тѣло, то умъ его сохранилъ всю свѣжесть молодости,—и не только всю свѣжесть,—нѣтъ, и всю юношескую силу идти вперед и вперед. Онъ издавалъ одинъ листокъ за другимъ противъ безчисленныхъ статей, брошюръ и книгъ, нападавшихъ на него,—и каждый изъ этихъ листковъ волновалъ умы Германіи, какъ никогда, ничто еще не волновало ихъ, и каждый листокъ былъ блистательнымъ торжествомъ его генія.

Среди этой борьбы, онъ вспомнилъ о планѣ драмы, нѣкогда задуманной имъ,—и рѣшился написать эту драму, служащую поэтическимъ воплощеніемъ мысли, которую защищалъ онъ противъ закоснѣлыхъ лютеранъ. Эта драма—«Натанъ Мудрый», выше кото-

раго въ нѣмецкой литературѣ по колоссальному значенію стоитъ только «Фаустъ» Гёте, явилась въ 1779 году, за полтора года до кончины Лессинга, и написана имъ среди страданій всякаго рода.

Результаты борьбы, веденной Лессингомъ въ послѣдніе три года его жизни, были громадны. Она приготовила направленіе послѣдующей нѣмецкой философіи, которая только въ послѣднемъ періодѣ своего развитія стала на ту высоту мысли, которая была указана ей Лессингомъ, но съ самаго начала была вѣрна духу, проникавшему его сочиненія, написанныя по поводу «Вольфенбюттельской рукописи» и споровъ, ею возбужденныхъ. По плану нашего очерка, имѣющаго главнымъ предметомъ одну литературную сторону дѣятельности Лессинга, мы только въ двухъ-трехъ словахъ коснемся отношенія между Лессингомъ и послѣдующими нѣмецкими философами.

Прямымъ ученикомъ его не былъ ни одинъ изъ знаменитыхъ философовъ,—всѣ они считаютъ своимъ родоначальникомъ Канта; Фихте говоритъ, что его система—довершеніе системы Канта, Шеллингъ былъ продолжателемъ Фихте, Гегель продолжателемъ Шеллинга, новая философія произошла изъ системы Гегеля. Но если мы сравнимъ всѣ эти системы между собою, то увидимъ, что духъ ихъ совершенно различенъ,—это потому, что у Фихте, Шеллинга и Гегеля были другіе учителя, кромѣ Канта. Они сами признаются, что очень многимъ обязаны Гердеру и Гёте, подъ вліяніемъ которыхъ воспиталось ихъ воззрѣніе на міръ,—черезъ Гердера и Гёте имѣлъ на нихъ вліяніе и Лессингъ, который такъ могущественно господствовалъ надъ развитіемъ Гердера и Гёте. Ужъ эта одна сторона его дѣйствія на нихъ имѣетъ чрезвычайную важность. Но еще гораздо сильнѣе было то вліяніе, которое имѣлъ онъ на развитіе нѣмецкой философіи не посредствомъ того или другаго изъ воспитанныхъ имъ знаменитыхъ писателей, а силою направленія, развитаго имъ въ умственной жизни всего народа, среди котораго возникли эти философы. Часто, когда говорятъ объ исторіи философіи, имѣютъ въ виду только связь философскихъ системъ между собою, забывая о связи ихъ съ духомъ времени и общества, въ которомъ онѣ развились,—а между тѣмъ, это забываемое отношеніе обнаруживало всегда самое рѣшительное вліяніе на ихъ характеръ. О философіи, въ которой общія стремленія человѣчества находятъ самое прямое выраженіе, надобно сказать скорѣе, нежели

о какой нибудь частной наукѣ, что она всегда бываетъ дочерью эпохи и націи, среди которой возникаетъ.

Изъ многихъ сторонъ родства всѣхъ философскихъ системъ, возникшихъ послѣ Канта въ Германіи, съ духомъ, проникавшимъ сочиненія Лессинга, мы замѣтимъ только двѣ, связь которыхъ съ характеромъ мнѣній Лессинга особенно ясна будетъ послѣ того, что имѣли мы случай сказать выше о его стремленіяхъ.

До Лессинга, нѣмецкая философія вообще имѣла протестантскій характеръ даже въ случаяхъ, когда являлась враждебною христіанству. Послѣ Лессинга, хотя по прежнему всѣ главные дѣятели ея принадлежали протестантской половинѣ Германіи, она становится въ другое положеніе. Философское міросозерцаніе становится столь же независимо отъ односторонняго протестантскаго оттѣнка, какъ прежде было независимо отъ католическаго. Изъ достоянія протестантской половины Германіи, философія становится дѣломъ общенациональнымъ.

При всемъ различіи въ своихъ принципахъ и выводахъ, всѣ нѣмецкія философскія системы сходятся въ томъ, что ни одна изъ нихъ не имѣетъ враждебности противъ христіанства, какою отличались системы нѣкоторыхъ англійскихъ и французскихъ философовъ. Каковы бы ни были понятія того или другаго нѣмецкаго философа объ общей системѣ міра, но каждый изъ нихъ на религію смотритъ съ уваженіемъ, высоко цѣня важность ея. Всѣ они чужды того суроваго ожесточенія противъ религіи, которое замѣтно, напримѣръ, у Гоббеса, или той насмѣшки, которая видна у Вольтера. Всѣ они смотрятъ на религію съ серьезностью, полною уваженія.

Эти двѣ черты сходства уже достаточно показываютъ тѣсное родство послѣдующей нѣмецкой философіи съ тѣми стремленіями, которыми одушевленъ былъ Лессингъ въ своей послѣдней борьбѣ. Но вполне оцѣнить геніальность его взгляда и силу его вліянія можетъ только тотъ, кто знакомъ съ новѣйшими нѣмецкими философскими системами, смѣнившими систему Гегеля: онѣ чрезвычайно близки къ тѣмъ понятіямъ, какія были выражены Лессингомъ. Мы ограничиваемся этими немногими словами, потому что разсмотрѣніе развитія философіи въ Германіи не составляетъ прямого предмета этой біографіи; но тотъ, кто захотѣлъ бы заняться отношеніями

Лессинга къ послѣдующимъ нѣмецкимъ философамъ, нашелъ бы гораздо болѣе признаковъ его сильнаго вліянія на ихъ системы.

Впрочемъ, все это не составляетъ еще главнаго значенія дѣятельности Лессинга въ послѣдніе годы его жизни. Еще важнѣе, нежели вліяніе его на характеръ послѣдующихъ философскихъ системъ, было то, что онъ приготовилъ умъ своего народа для принятія философской мысли. До того времени, философія была дѣломъ школы, котораго чуждалось и пугалось общество, какъ чего-то не только таинственнаго, но и ужаснаго,—философскія мысли, какъ скоро изъ тѣснаго кружка записныхъ ученыхъ проникли до свѣдѣнія людей, не имѣвшихъ науки своею профессіею, были отвергаемы ими, какъ что-то противное всѣмъ убѣжденіямъ ихъ и всѣмъ условіямъ жизни. Черезъ двадцать лѣтъ не такъ была принята обществомъ философія Фихте и потомъ Шеллинга, — напротивъ, общество встрѣчало философскія ученія съ живымъ сочувствіемъ, они быстро распространялись въ публикѣ и переходили въ ея убѣжденія. Эту перемѣну надобно отнести всего болѣе къ дѣйствию статей, написанныхъ Лессингомъ въ послѣдніе годы его жизни: онъ приучилъ нѣмецкую публику къ духу философскаго изслѣдованія.

Отъ замѣчаній о развитіи умственной жизни въ Германіи обращаясь къ прямому вліянію послѣдняго періода дѣятельности Лессинга на общественную жизнь, надобно сказать, что оно было также рѣшительно: съ той поры начинается замѣтное и постоянное ослабленіе непріязни, существовавшей между католиками и протестантами. Главною причиною, поддерживавшею эту непріязнь, надобно считать презрѣніе протестантовъ къ католикамъ, какъ людямъ, зараженнымъ грубѣйшими суевѣріями. До Лессинга, едва ли кто изъ протестантовъ смотрѣлъ на особенности, которыми отличалось католичество отъ протестантства, иначе, какъ на невѣжественные предразсудки, унижительные для ума человѣческаго. Нововводители, послѣдователи французскихъ энциклопедистовъ и англійскихъ деистовъ, были въ этомъ отношеніи не лучше, а можетъ быть даже хуже другихъ протестантовъ. Лессингъ сталъ говорить о католичествѣ безпристрастно, всегда съ уваженіемъ, иногда съ сочувствіемъ. Это простиралось до того, что многіе изъ его противниковъ обвиняли его въ измѣнѣ лютеранству для католичества, а самъ онъ, когда протестантскіе богословы ему грозили запреще-

ніемъ писать и юридическимъ осужденіемъ его сочиненій, былъ увѣренъ, что если бы дѣло дошло до такой крайности, то онъ напелъ бы защиту отъ католиковъ, перенесъ дѣло на рѣшеніе Имперскаго совѣта, въ которомъ католическіе члены станутъ на его сторонѣ, когда онъ имъ объяснитъ, что осуждагъ его, значило бы осуждать всѣхъ католиковъ. Примѣръ, авторитетъ и доказательства Лессинга открыли глаза большинству образованныхъ протестантовъ, и съ того времени насмѣшки надъ католиками ослабѣваютъ, ослабѣваетъ и возбуждаемое ими нерасположеніе католиковъ къ протестантамъ, и мѣсто непріязни занимаетъ терпимость и взаимное уваженіе. Мало того: Лессингъ развивалъ передъ нѣмцами воззрѣніе, въ которомъ должны сойтись, какъ братья, и католики и протестанты, и доказывалъ, что это воззрѣніе, будучи одно достойно человѣка по своему благородству, въ то же время одно только и должно считаться справедливымъ, потому что оно одно логично, оно одно внушается потребностями человѣческой природы и одно можетъ выдержатъ строгую научную критику. Эта сторона вліянія конечно казалась самою важною и для Лессинга. Именно, желаніе дать примирительное направленіе народной жизни и руководило Лессингомъ въ выборѣ теологическихъ вопросовъ предметомъ своей дѣятельности.

Но, будучи по преимуществу человѣкомъ жизни, почему не предпочелъ онъ вопросовъ болѣе близкихъ къ жизни—почему не писалъ юридическихъ и политическихъ сочиненій? По той же самой причинѣ, по которой не писалъ и чисто философскихъ сочиненій,—потому, что умственная жизнь его націи не достигла еще въ его время той зрѣлости, чтобы живо интересоваться этими вопросами. Лѣтъ двадцать прошло послѣ его смерти до той поры, когда насталъ для Германіи періодъ философскихъ интересовъ; еще позднѣе началась для нея пора юридическихъ и гражданскихъ стремленій.

Только въ одномъ мѣстѣ одного изъ своихъ сочиненій и писемъ Лессингъ нѣсколько касается понятій объ общественныхъ отношеніяхъ,—именно во второмъ изъ своихъ «разговоровъ между Эрнстомъ и Фалькомъ», которые издалъ только за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти. Предметъ этихъ разговоровъ—масонство. Эрнстъ, услышавъ, что его пріятель Фалькъ вступилъ въ число масоновъ, начинаетъ спрашивать его о томъ, что такое масонство, о кото-

ромъ всё говорятъ, и о которомъ ни отъ кого нельзя добиться правды. Фалькъ, связанный общаніемъ не открывать тайнъ масонства, отвѣчаетъ ему на этотъ вопросъ косвеннымъ образомъ, развитіемъ понятій Эрнста объ общественномъ бытѣ, доводя его до заключенія, что собственно цѣлью масонства могло бы быть облегченіе неудобствъ жизни, но что эта цѣль или не понимается масонами, или понимается ребяческимъ образомъ.

«Во всё времена, всё благородные и гуманные люди», заключаетъ Фалькъ, «заботились объ устраненіи и смягченіи неудобствъ, порождаемыхъ устройствомъ всѣхъ гражданскихъ обществъ». — Эрнстъ, подъ влияніемъ своей мысли о масонахъ, воображаетъ, что Фалькъ этими словами указываетъ ему главное стремленіе масоновъ. Обольщенный такимъ высокимъ понятіемъ о нихъ, онъ вступаетъ въ орденъ масоновъ — и, совершенно разочаровавшись въ своихъ ожиданіяхъ, возвращается съ упреками къ Фальку. «Я думалъ найти въ масонскихъ ложахъ заботу о благѣ человѣчества, а нашелъ только одну праздную игру въ таинственныя фразы и церемоніи, подъ которыми нѣтъ ровно ничего серьезнаго и полезнаго», говоритъ онъ своему другу. — «Но вѣдь я намекалъ тебѣ объ этомъ, сколько могъ, не нарушая положительнымъ образомъ общанія хранить тайну ордена», отвѣчаетъ Фалькъ: — «вольно же тебѣ было не замѣчать моихъ намековъ, довольно ясныхъ. Но теперь ты чловѣкъ, посвященный въ тайны, я могу говорить съ тобою прямо». Фалькъ начинаетъ рассказывать исторію Масонскаго ордена, — на томъ и останавливается пятый разговоръ. Далѣе, какъ мы говорили, слѣдовало бы, конечно, описаніе тогдашняго состоянія масонскихъ ложъ въ Германіи, — и изъ того возникали бы или размышленія о перемѣнахъ, какія должны быть произведены въ организаціи и стремленіяхъ ордена для того, чтобы онъ дѣйствительно приносилъ пользу обществу, или, что вѣроятнѣе, Фалькъ доказалъ бы, что никакія перемѣны и улучшенія не поведутъ ни къ чему дѣльному, потому что истинно великія и полезныя цѣли всегда достигаются только прямымъ и открытымъ образомъ дѣйствій, а не косвенными путями таинственныхъ обществъ, всегда оказывавшихся и долженствующихъ оказываться безсильными, и разговоры кончались бы провозглашеніемъ, что нѣмцы должны, покинувъ пустую игру въ масоны, подумать о приобрѣтеніи гражданскихъ добродѣтелей и дѣйствительномъ улучшеніи своего національнаго быта. Такъ надобно

полагать, судя по ходу первых пяти разговоровъ и дѣйствительному образу мыслей Лессинга о масонахъ, сохраненному нѣсколькими анекдотами. Въ Гамбургѣ, онъ вздумалъ поступить въ масонскій орденъ, чтобы удостовѣриться, дѣйствительно ли справедливы его предположенія о пустотѣ масонства, и скоро вышелъ изъ ордена, совершенно убѣдившись въ томъ. Когда одинъ изъ магистровъ масонской гамбургской ложи, по принятіи Лессинга въ число ея членовъ, спросилъ его: «ну что, не правда ли, вы не нашли въ масонствѣ ничего противнаго государству и церкви?» — Лессингъ отвѣчалъ: «не только противнаго чему нибудь, но и ровно ничего не нашелъ». Черезъ нѣсколько времени, Мендельсонъ разспрашивалъ его о масонствѣ, и не слыша отъ своего друга ничего дѣльнаго о цѣляхъ ордена, сказалъ ему: «вы, вѣроятно, боитесь разглашать тайны масонства?» — Лессингъ расхохотался и отвѣчалъ: «О, перестаньте, Мендельсонъ! — въ этомъ отношеніи орденъ совершенно безопасенъ».

Предметъ, подавшій Лессингу предлогъ къ разговорамъ Эрнста и Фалька, самъ по себѣ былъ незначителенъ въ глазахъ Лессинга, очевидно хотѣвшаго воспользоваться общимъ интересомъ, какой пробуждался въ Германіи толками о масонствѣ, единственно для того, чтобы, обнаруживъ пустоту этой забавы, обратить вниманіе, ею развлеченное, на предметы, болѣе достойныя мысли гражданина. Эти разговоры имѣютъ большую важность въ біографіи Лессинга, не по отношеніямъ къ масонству, которое служило ему только предлогомъ и казалось ему, совершенно справедливо, предметомъ незначительнымъ, но какъ сочиненіе, которымъ обнаруживается намѣреніе Лессинга сдѣлать еще новый шагъ въ приготовленіи развитія нѣмецкой жизни, какъ выраженіе намѣренія перейти отъ философско-теологическихъ вопросовъ къ вопросамъ общественнымъ. Только передъ самою кончиною своею Лессингъ увидѣлъ возможность обратить къ этимъ вопросамъ вниманіе нѣмецкой публики, — два послѣдніе разговора Эрнста и Фалька были напечатаны имъ за нѣсколько мѣсяцевъ до кончины; кончина застигла его раньше, нежели успѣлъ онъ написать объяснительныя и дополнительныя примѣчанія къ пятому разговору, которыми занимался въ послѣднее время жизни, и напечатанные имъ разговоры остались только свѣдѣтельствомъ того, что въ послѣдніе мѣсяцы жизни, среди физическихъ страданій и борьбы съ Гѣце, онъ задумалъ новое дѣло, столь

же важное, какъ два прежнія, имъ совершенныя: руководитель нѣмецкой націи сначала въ литературной, потомъ въ научной жизни, онъ передъ кончиною становился уже руководителемъ своей націи въ общественной жизни. Неудержимо стремилась впередъ могущественная мысль этого человѣка.

Границы дѣйствию этой мысли полагались не степенью силы ея, а степенью готовности нѣмецкаго общества живо принимать тѣ или другія впечатлѣнія, интересоваться тѣми или другими вопросами. Другіе писатели говорили о такихъ предметахъ, которыми сами они особенно интересовались или въ которыхъ были особенно сильны. Лессингъ говорилъ о томъ, что было наиболее доступно разумѣнію и интересамъ его публики въ данную эпоху. Умственная жизнь его публики была очень тѣсна и слаба. Онъ употреблялъ всѣ силы свои на то, чтобы постепенно расширять кругъ этой жизни, усиливать ея дѣятельность, возводить ее отъ однихъ интересовъ къ другимъ, болѣе живымъ и важнымъ. Смерть застала его при самомъ началѣ одного изъ такихъ фазисовъ и мы видимъ, что при каждомъ новомъ фазисѣ, онъ становился сильнѣе, обнаруживалъ все болѣе геніальности, что могущество его мысли все только яснѣе и полнѣе охватывало предметъ, по мѣрѣ того какъ предметы его дѣятельности становились выше и значительнѣе. На чемъ остановился бы этотъ процессъ, нельзя знать. Мы видимъ смерть его среди возрастанія могущества его мысли, но не видимъ признаковъ того, чтобы какая нибудь изъ разрѣшенныхъ имъ доселѣ задачъ поглотила всѣ его силы или удовлетворила его. Мы видимъ, что, по мѣрѣ возвышенія важности вопросовъ, за которые онъ брался, ближе къ его сердцу становились эти вопросы,—но не видимъ еще, изъ всѣхъ представлявшихся ему, ни одного вопроса, который бы являлся личнымъ душевнымъ его вопросомъ, разрѣшеніемъ котораго удовлетворялась бы потребность его личной натуры. Мы знаемъ только, чѣмъ до сихъ поръ позволяла являться Лессингу степень развитія его публики,—поэтомъ, критикомъ, ученымъ, теологомъ,—но не знаемъ, до какой степени исчерпывалась этими проявленіями его натура.

Половины того не сказалъ Лессингъ, что могъ сказать, что сказалъ бы, если бы прожилъ десятью-пятнадцатью годами долѣе. Приближались историческія событія, которыя должны были сильно содѣйствовать пробужденію нѣмецкаго племени. Государственные

перевороты во Франціи, потомъ войны германскихъ державъ съ Франціею и владычество Наполеона въ Германіи,—все это сдѣлало нѣмцевъ воспріимчивыми къ многимъ понятіямъ, которыми до тѣхъ поръ не интересовались они. Положеніе Германіи было очень затруднительно; болѣе, нежели когда нибудь, нуждалась она тогда въ руководителѣ. Почти всѣ извѣстные сверстники Лессинга дожили до этого времени: Рамлеръ до 1798 года, Вейсе до 1804 года, Николай до 1811 года, Виландъ до 1813; дожили до этихъ событій и люди, бывшіе старше Лессинга: Клопштокъ, родившійся пятью, и Глеймъ, родившійся десятью годами ранѣе Лессинга, дожили до 1803 года. Лессингъ былъ одаренъ отъ природы тѣлосложеніемъ болѣе крѣпкимъ, нежели всѣ эти люди. Но слишкомъ тяжела была его жизнь, и онъ одинъ, въ которомъ болѣе всѣхъ нуждалась Германія, не дожилъ до той поры, когда его ясный умъ и могущественное слово наиболѣе нужны были для его народа. Всего только пятьдесятъ лѣтъ было ему, но его крѣпкій организмъ уже изнемогалъ подъ бременемъ зла, не подозрѣваемого въ немъ медиками, потому что оно не свойственно было его годамъ, и принадлежить только періоду глубокой старости,—источникомъ его болѣзни было отвердѣніе хрящей, какъ узнали врачи послѣ его смерти,—то самое отвердѣніе, которое бываетъ причиною смерти столѣтнихъ стариковъ, когда организмъ совершенно ветшаетъ отъ продолжительной жизни. Онъ въ свои немногіе годы пережилъ и перенесъ слишкомъ много: нравственная сторона его существа выдержала все, оставалась бодрa и свѣжа до послѣдней минуты; но физическій организмъ сокрушился.

Со времени кончины своей супруги, Лессингъ изнемогалъ; съ каждымъ годомъ онъ становился хилѣе и хилѣе; симптомы одной болѣзни смѣнялись симптомами другой, все усиливаясь; но оставалась при всѣхъ другихъ болѣзняхъ одна, служившая основаніемъ для всѣхъ другихъ, — тяжелое удушье, становившееся все сильнѣе и сильнѣе. Друзья и доктора его опасались паралича. Онъ чувствовалъ тяжесть во всемъ организмѣ, утомленіе, доводившее его до летаргической дремоты. Въ концѣ 1780 и началѣ 1781 годовъ, это отяжелѣніе организма усилилось до такой степени, что съ открытыми глазами, онъ иногда терялъ сознаніе, не находилъ или забывалъ слово для окончанія фразы въ разговорѣ, не былъ иногда въ состояніи правильно написать двухъ строкъ; зрѣніе его затмѣвалось порою, такъ что онъ не могъ читать, вмѣсто одной буквы пи-

сать другую. Полагая, что скука одинокой вольфенбюттельской жизни губить его, онъ, въ началѣ февраля 1781 года, поѣхалъ въ Брауншвейгъ, чтобы нѣсколько развлечь себя обществомъ. Но въ Брауншвейгѣ болѣзнь усилилась такъ, что друзья увидѣли ея смертельность. До сихъ поръ, припадки удушья и летаргіи миновались въ нѣсколько минутъ; но 13-го фѣвраля, рано вечеромъ возвратившись изъ дружеской бесѣды, онъ почувствовалъ чрезвычайно тяжелый и продолжительный припадокъ удушья, такъ что долго не могъ сказать ни слова. Однакоже, онъ не хотѣлъ послать за докторомъ, и велѣлъ прислугѣ оставить его одного въ комнатѣ, которую приказалъ запереть. Ночь провелъ онъ очень дурно; однакоже, на другой день по утру, сталъ одѣваться, чтобы ѣхать домой, въ Вольфенбюттель. Другамъ стоило большого труда убѣдить его, что поѣздка эта была бы выше его силъ въ настоящее время, и уговорить его послать за лейбъ-медикомъ Брикманомъ, его пріятелемъ. Брикманъ тотчасъ же пустилъ ему кровь, и страданія больного облегчились. Друзья послали въ Вольфенбюттель за падчерицею Лессинга, Амалиею Кенигъ. Она поспѣшила пріѣхать. Припадки удушья часто возобновлялись, то сильнѣе, то слабѣе. Иногда казалось, что смерть очень близка, иногда надежда оживлялась въ друзьяхъ. Брикманъ и Зоммеръ, другой докторъ, надѣялись, что побѣдятъ болѣзнь. Но самъ онъ зналъ, что приближается минута смерти. Ночь съ 14-го на 15-ое была опять очень тяжела, но по утру Лессингъ сталъ чувствовать себя хорошо. Онъ могъ поддерживать разговоръ съ друзьями, иногда даже начиналъ шутить съ Брикманомъ и другими, даже вставалъ съ постели. Вечеромъ Амалия сидѣла въ залѣ, передъ комнатою больного, и плакала,—ее просили уходить изъ его комнаты, когда она не могла удерживаться отъ слезъ. Въ залъ вошли нѣсколько знакомыхъ, чтобы узнать о здоровьѣ Лессинга; ему сказали это. Онъ всталъ,—отворилась дверь его комнаты, онъ вошелъ въ залъ, страшно блѣдный, поклонился, встрѣчая гостей,—молча пожалъ руку дочери, съ выраженіемъ нѣжной любви во взглядѣ,—и упалъ. Его поддержали, отнесли на кровать. Тихо, спокойно закрылъ онъ глаза,—онъ уже скончался; выраженіе любви и спокойной радости еще сохранялось на лицѣ его.

Это было 15-го февраля 1781 года, въ 9 часовъ вечера. Лессингъ скончался на 52 году жизни.

Не пышно было погребеніе, совершенное 20-го февраля,—да и

хорошо, что не пышно было оно, потому что издержки, сдѣланныя на этотъ предметъ брауншвейгскимъ придворнымъ вѣдомствомъ,—154 таллера съ нѣсколькими грошами, были потомъ, какъ слѣдуетъ, вычтены изъ суммы, слѣдовавшей въ выдачу отъ казны наслѣдникамъ Лессинга.

На берлинскомъ театрѣ 24 февраля, на гамбургскомъ театрѣ 9 марта, потомъ на другихъ нѣмецкихъ театрахъ даны были траурные спектакли по случаю смерти перваго драматурга Германіи. Послѣ траурныхъ прологовъ, играли «Эмилию Галотти» на сценѣ, обитой чернымъ сукномъ. Актеры выходили на сцену въ траурномъ платьѣ.

Были вырѣзаны двѣ медали въ память покойнаго; одна, въ Брауншвейгѣ, Круллемъ, другая, въ Берлиѣ, Абрамсономъ.

Лицевая сторона обѣихъ медалей одинакова: бюстъ Лессинга; кругомъ бюста «Gotthold Ephraim Lessing», внизу: «Natus MDCCXXIX». На оборотѣ брауншвейгской медали: «Poëta Philosophus, Philologus, Criticus, Cermaniae Decus, Musarum et Amicorum dum vivebat amor, nunc desiderium sempiternum». На оборотѣ берлинской медали—погребальная урна; надъ урною склоняются Истина, съ опрокинутымъ факеломъ въ рукѣ, и Природа, съ лицомъ, закрытымъ траурною вуалью; кругомъ идетъ надпись: «Veritas Amicum luget, Aemulum Natura»; на пьедесталѣ урны: «Nathan der Weise»; внизу: «Denatus MDCCCLXXXI *).

Въ 1853 г. воздвигнуть, по національной подпискѣ, памятникъ Лессингу въ Брауншвейгѣ.

Лессингъ былъ человѣкъ высокаго роста, крѣпкаго сложенія, широкой кости, такъ что казался плотнымъ, хотя никогда не имѣлъ полноты. Ласковое выраженіе проницательныхъ темноглубыхъ глазъ придавало его правильному лицу особенную прелесть. Взглядъ его, обыкновенно кроткій и чрезвычайно спокойный, былъ въ тоже время такъ выразителенъ, что говорятъ, будто не только вблизи, но еще на очень дальнемъ разстояніи собесѣдники чувствовали его силу. Подъ конецъ его жизни распространилась мода носить парики, но

*) Надписи: на брауншвейгской медали: «Поэтъ, Философъ, Филологъ Критикъ, честь Германіи, при жизни любовь, нынѣ вѣчноскорбная утрата музъ и друзей».—На берлинской: «Истина оплакиваетъ въ немъ друга, природа—соперника.—Натавъ Мудрый.—Скончался 1781».

онъ никогда не слѣдовать ей, жалія своихъ густыхъ, прекрасныхъ темнорусыхъ волосъ, въ которыхъ рано начала показываться сѣдина. Походка и манеры его были непринуждены; едва ли не первый изъ нѣмецкихъ ученыхъ и поэтовъ онъ умѣлъ держать себя, какъ свѣтскій человѣкъ. Одѣвался онъ изящно, хотя всегда очень скромно. Одною изъ особенныхъ привычекъ его было то, что зимою никогда не носилъ онъ плаща, и круглый годъ ходилъ въ лѣтнемъ платьѣ,—привычка, свидѣтельствующая о чрезвычайной крѣпости здоровья. Ни въ наружности, ни въ манерахъ Лессинга не было ничего такого, что называется поразительнымъ или особенно замѣчательнымъ. Но каждый, встрѣчаясь съ нимъ, хотя бы не зная его имени, чувствовалъ, что видитъ передъ собою человѣка необыкновеннаго. Въ запискахъ Тьебо, француза, долго жившаго въ Берлинѣ и оставившаго намъ очень любопытныя наблюденія о тогдашней жизни въ столицѣ Пруссіи, сохранился анекдотъ, довольно любопытный. «Однажды, говорить Тьебо, я пошелъ къ Зульцеру и засталъ его съ другимъ знакомымъ, Бегленомъ, передъ большою, только что конченою картиною. Картина эта произвела на меня замѣчательное впечатлѣніе. Мы сидѣли и говорили, но мои глаза невольно все обращались на картину. На ней была изображена фигура мужчины. «Кажется, эта картина очень занимаетъ васъ? сказалъ Беглень.—Что вы скажете о ней?»—«Вьюсь объ закладъ, сказалъ я, что это чей нибудь портретъ, и портретъ должно быть очень похожій».—«Почему же вы такъ думаете?»—«Потому что въ лицѣ очень много натуры».—«Въ такомъ случаѣ скажите, какое понятіе составляете вы по этому портрету о человѣкѣ, котораго онъ изображаетъ?»—«Этотъ мужчина долженъ быть человѣкъ большого ума, дѣятельнаго, очень живаго и пылкаго ума. Тѣже качества должны отражаться и на его характерѣ. Кромѣ того, въ характерѣ у него должна быть замѣчательная твердость и большая природная веселость. Онъ добродушенъ, любить удовольствія и честенъ, но опасно затрогивать его убѣжденія или предубѣжденія».—«Значить, вы знакомы съ этимъ человѣкомъ?»—«Нѣтъ, я никогда не видалъ человѣка, изображеннаго на этомъ портретѣ».—«А вотъ вы рассказали о его качествахъ такъ вѣрно, какъ будто прожили съ нимъ цѣлую жизнь. Это портретъ г. Лессинга, писанный г. Граффомъ».—«Это большая честь г. Граффу, потому что я никогда не видывалъ г. Лессинга».

Домашній образъ жизни Лессинга былъ простъ, любовь къ по-

рядку доходила въ немъ до страсти. Въ кабинетѣ его господствовала чрезвычайная чистота. Въ Вольфенбюттелѣ, когда онъ писалъ, на рабочемъ столѣ обыкновенно сидѣла его любимая кошка и, если случалось ей разорвать или привести въ беспорядокъ бумаги, онъ не сердился, а начиналъ ухаживать за нею, зная, что эти беспорядки она дѣлаетъ только тогда, когда нездорова.

Въ Вольфенбюттелѣ Лессингъ вставалъ въ шесть часовъ. Черезъ два или три часа пилъ въ кабинетѣ кофе и продолжалъ работать до двѣнадцати часовъ, не выходя изъ кабинета, кромѣ тѣхъ дней, когда ему нужно было заняться въ Библіотекѣ. Въ первомъ часу онъ обѣдалъ (въ Германіи тогда вообще обѣдали очень рано). Часто изъ Библіотеки приводилъ онъ къ обѣду гостей и потомъ очень наивно извинялся въ своемъ хлѣбосольствѣ передъ женою и дочерью, которая занималась хозяйствомъ по смерти жены. «Мнѣ не ловко было не пригласить ихъ», говорилъ онъ. Но если къ обѣду приготовлено мало, такъ я буду ѣсть только закуску». Обѣдъ былъ очень незатѣйливъ. Никогда не дѣлалъ Лессингъ замѣчанія, если какое нибудь кушанье приготовлено неудачно. Какіе бы гости ни были за обѣдомъ, но разговоръ всегда шелъ за столомъ только о такихъ предметахъ, чтобы въ немъ могло участвовать все семейство: ученые вопросы и споры отлагались до другаго времени дня. Лессингъ говорилъ очень быстро и живо; но никогда не овладѣвалъ разговоромъ одинъ, всегда стараясь, чтобы онъ былъ общимъ. Послѣ обѣда Лессингъ никогда не спалъ; онъ отправлялся съ семействомъ прогуливаться пѣшкомъ или игралъ съ дѣтьми. Участвовать въ играхъ дѣтей было всегда его любимымъ удовольствіемъ. Вечеръ обыкновенно посвящалъ онъ обществу. До женитьбы онъ почти каждый день посѣщалъ театръ или знакомыхъ. Послѣ женитьбы знакомые обыкновенно собирались въ его домъ. Въ Бреславлѣ Лессингъ пристрастился къ картамъ. Впослѣдствіи, постоянно нуждаясь въ деньгахъ, не могъ вести большой игры и долженъ былъ бросить это развлеченіе; тогда склонность къ азартной игрѣ обратилась у него на лотерею. Изъ Франціи, гдѣ государственныя лотереи были однимъ изъ главныхъ источниковъ государственнаго дохода, эта финансовая спекуляція перешла и къ нѣмецкимъ правительствамъ. Лотереи разыгрывались безпрерывно, съ огромными выигрышами, на очень немногіе изъ безчисленныхъ билетовъ, продававшихся по очень дешевой цѣнѣ. Лессингъ постоянно бралъ лот-

терейные билеты, и чрезвычайно занимали его расчеты вѣроятностей выигрыша на тотъ или другой номеръ. За нѣсколько часовъ до смерти, онъ просилъ одного изъ друзей взять для него три билета, изъ которыхъ особенно рассчитывалъ онъ на одинъ № 52 и доказывалъ, что этотъ номеръ, по всей вѣроятности, долженъ выиграть. Любовь къ азартнымъ играмъ была у него не слѣдствіемъ жадности къ деньгамъ, которыми онъ очень мало дорожилъ, но слѣдствіемъ страсти его рисковать. Кромѣ картъ и лоттереи, онъ очень любилъ шахматную игру. Шахматы были началомъ сближенія его съ Менделесономъ. Въ Гамбургѣ онъ особенно любилъ играть въ шахматы съ Клопштокомъ, потому что Клопштокъ очень забавно сердился, когда проигрывалъ.

По своей разговорчивости и блестящему остроумію, Лессингъ былъ очень занимательнымъ собесѣдникомъ. Посреди самаго живаго разговора онъ часто вдругъ останавливался и молчалъ нѣсколько минутъ, увлекшись мыслью куда нибудь далеко отъ предмета бесѣды. Въ обществѣ онъ не давалъ воли своей наклонности къ горькому юмору, и шутки его были очень мягки и веселы. Но въ кругу семейства и близкихъ друзей его знали, какъ человѣка, который, при всей врожденной веселости характера, смотритъ на человѣческую жизнь чрезвычайно печально. При разсказѣ о какомъ нибудь бѣдствіи или пошлости, онъ улыбался такъ горько, что люди, видѣвшіе его въ такія минуты, увѣряютъ насъ, что никогда не видѣли человѣка столь печальнаго. При живости характера, онъ не могъ иногда удерживаться отъ гнѣва, и первый взрывъ негодованія былъ страшенъ холодною и равнодушіемъ, съ какимъ проносилъ два-три-убійственно-саркастическія слова. Но порывъ гнѣва проходилъ быстро и Лессингъ черезъ минуту становился снова добродушнѣйшимъ изъ людей, осуждая себя за то, что такъ серьезно разсердился на челоуѣческія глупости, заслуживающія только состраданія. Шутливость была неизмѣнною чертою всѣхъ его разговоровъ. У него, какъ и у всѣхъ добродушныхъ мизантроповъ, она постоянно прикрывала глубокое состраданіе къ бѣдствіямъ челоуѣческой жизни и глубокую скорбь сердца.

При чрезвычайной мягкости и снисходительности обращенія, домашніе необыкновенно любили его. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Лессинга, Кампе, проѣзжая черезъ Брауншвейгъ и остановившись въ гостинницѣ, спросилъ у кельнера, зналъ ли онъ

покойнаго Лессинга? Кельнеръ этотъ нѣкогда служилъ Лессингу. При одномъ имени покойнаго, онъ заплакалъ и долго рассказывалъ Кампе о томъ, какъ добръ былъ Лессингъ, какъ безъ всякой расчетливости помогалъ каждому нуждающемуся. «Часто выговаривалъ я ему зато, прибавлялъ слуга, но безъ всякой пользы». Для родныхъ и друзей Лессингъ постоянно жертвовалъ собою. Но самую отличительною чертою его характера было великодушіе. Другамъ служила источникомъ неистощимыхъ шутокъ его склонность во что бы то ни стало защищать оскорбляемыхъ или несчастныхъ, какъ бы ни были эти люди виноваты въ своихъ бѣдахъ. Жесточайшему врагу своему онъ прощалъ все, какъ скоро узнавалъ о какой нибудь непріятности, поразившей этого человѣка: тогда всѣ прежнія причины осуждать его или досадовать на него забывались Лессингомъ для желанія, чѣмъ возможно облегчить его судьбу и утѣшить его.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТРАН.
— Эстетическія отношенія искусства къ дѣйстви- тельности.	1—108
— О поэзіи. Соч. <i>Аристотеля</i> , переводъ <i>Б. Ордынскаго</i> . (Отеч. Записки 1854, № 9)	109—141
— Пѣсни разныхъ народовъ, въ переводѣ <i>Н. Берга</i> . (Современникъ 1854, № 11)	142—176
— Стихотворенія <i>Н. Огарева</i> . (Современникъ 1856, № 9). . .	177—185
— Стихотворенія <i>В. Венедиктова</i> . (Современникъ 1856, № 10). .	186—203
— Стихотворенія <i>Н. Щербины</i> . (Современникъ 1857, № 3). .	204—223
— Стихотворенія <i>А. Н. Плещеева</i> . (Современникъ 1861, № 3). .	224—238
— Лессингъ, его время, его жизнь и дѣятельность. (Совре- менникъ 1856, №№ 10—12; 1857, №№ 1, 3—6).	
Предисловіе.	239—246
Глава I	247—290
» II	291—324
» III	325—360
» IV	361—400
» V	401—427
» VI	428—461
» VII	462—509



Складъ изданія въ книжныхъ магазинахъ **Н. П. Карбасникова**: Петербургъ: 1) Литейный, 46. 2) внутри Гостиного двора, со стороны Невского, кладовая № 21. Москва: 1) Моховая, противъ Университета, домъ Коха: 2) Плющиха, д. Орлова. Варшава: Новый Свѣтъ, 67.

Тамъ же продаются нижеслѣдующія изданія
М. Н. Чернышевскаго:

Очерки Гоголевскаго періода русской литературы

(«Современникъ» 1855—1856 гг.). Цѣна **2** р.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ:

Пушкинъ. Гоголь. Тургеневъ. Островскій. Левъ Толстой. Щедринъ и др.

(«Современникъ» 1854—1861 гг.). Цѣна **2** руб.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
BERKELEY

Return to desk from which borrowed.
This book is DUE on the last date stamped below.

30 Sep '53 PV
REC'D LD
SEP 6 1956

LD 21-100m-7,'52 (A2528s16)476

M156478

903
E 79

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

